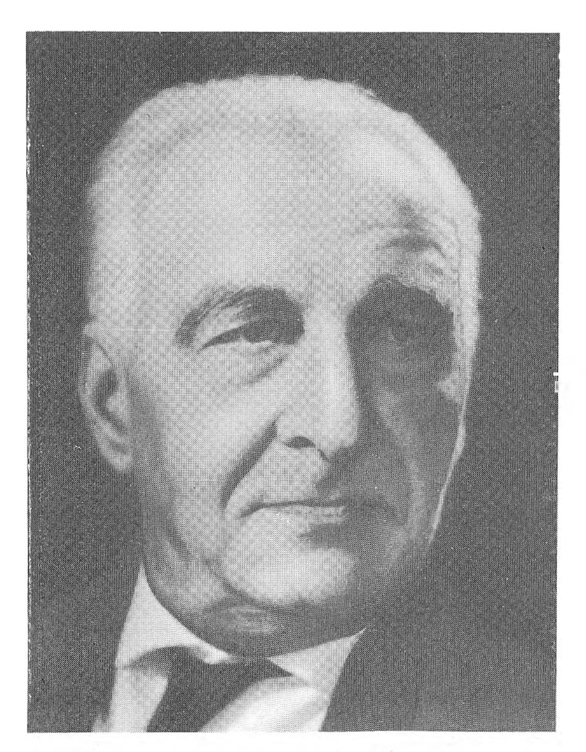
Николай Владимирович

ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ

•

ОЧЕРКИ
ВОСПОМИНАНИЯ
МАТЕРИАЛЫ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ им. Н.К. КОЛЬЦОВА
КОМИССИЯ ПО НАУЧНОМУ НАСЛЕДИЮ Н.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО



СЕРИЯ "УЧЕНЫЕ РОССИИ. ОЧЕРКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. МАТЕРИАЛЫ"

Основана в 1986 году

Николай Владимирович ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ

ОЧЕРКИ
ВОСПОМИНАНИЯ
МАТЕРИАЛЫ

Ответственный редактор
действительный член РАЕН
Н.Н. ВОРОНЦОВ

МОСКВА
"НАУКА"
1993

УДК 575 (091) Тимофеев-Ресовский Н.В.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский: Очерки. Воспоминания. Материалы. – М.: Наука, 1993. – 395 с. – (Серия "Ученые России. Очерки. Воспоминания. Материалы"). ISBN 5-02-005706-1

Настоящая книга представляет собой коллективный труд, посвященный памяти крупнейшего генетика современности, одного из основателей радиобиологии, выдающегося биолога-эволюциониста Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. В числе авторов книги коллеги, ученики, друзья и современники Н.В. Тимофеева-Ресовского – наши соотечественники и зарубежные ученые. Со страниц их воспоминаний перед читателем предстает не только выдающийся ученый, но и грандиозный по масштабам своей личности человек.

Книга предназначена не только для научных работников в различных областях биологии и истории естествознания, но и для всех тех читателей, независимо от их специальностей и возраста, для которых знание о людях-творцах может быть "ариадниной нитью" в собственной жизни и деятельности. Книга представляет интерес и для широкого круга читателей, впервые узнавших о Н.В. Тимофееве-Ресовском из известной повести Д.А. Гранина "Зубр".

Составитель Н.Н. ВОРОНЦОВ

В подготовке тома принимали участие:

МАРК АДАМС, И.А. БАШКИРОВА, А.А. КОСТОМАРОВА, Е.А. ЛЯПУНОВА, Р.В. ПЕТРОВ, Е.В. РАМЕНСКИЙ, А.Н. ТЮРЮКАНОВ, С.Э. ШНОЛЬ

Рецензенты:

доктор биологических наук, профессор В.Я. БРОДСКИЙ, член-корреспондент РАЕН Ю.Ф. БОГДАНОВ

Н $\frac{1903020000-280}{042(02)-93}$ 318–93, II полугодие

ISBN 5-02-005706-1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами сборник воспоминаний о жизни знаменитого биолога Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Впервые собраны живые свидетельства современников Н.В. Тимофеева, начиная с его гимназических лет вплоть до последних лет жизни. Авторы этих записок – наши соотечественники и иностранцы.

Имя Н.В. Тимофеева-Ресовского пользуется мировой известностью. Он был избран членом академий США, ГДР и Италии, был почетным членом многих научных обществ, его труды были отмечены международными премиями и медалями. После выхода в свет повести Д. Гранина "Зубр" судьба Н.В. Тимофеева-Ресовского сделалась в общих чертах известной массовому читателю.

Необычная биография Н.В. Тимофеева-Ресовского, включавшая двадцатилетний период работы в Германии (1925–1945), стала для лысенковцев в послевоенный период подарком судьбы. В тридцатые годы они шельмовали других ученых. Политической травле подвергались признанные лидеры советской генетики С.С. Четвериков, Ю.А. Филиппченко, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов, А.С. Серебровский, М.М. Завадовский и многие другие. Еще в 1929 г. был арестован и сослан С.С. Четвериков. Впоследствии были ошельмованы, арестованы и погибли трое из четырех президентов ВАСХНИЛ довоенного времени – Н.И. Вавилов, А.И. Муралов и Г.К. Мейстер, академики АН СССР Н.М. Тулайков, Н.П. Горбунов, Г.А. Надсон, член-корреспондент АН СССР Г.А. Левитский, академик АН УССР И.И. Агол, профессора С.Г. Левит, М.Л. Левин, Л.И. Говоров, Г.Д. Карпеченко, К.А. Фляксбергер, Б.А. Паншин, Н.К. Беляев. Был ошельмован и снят в 1939 г. с поста директора основанного им Института экспериментальной биологии Н.К. Кольцов. В 1940 г. была арестована и группа ленинградских генетиков, скоропостижно скончался затравленный Кольцов.

Однако потенциал советской генетики, заложенный ее основателями Кольцовым, Вавиловым, Филиппченко и Четвериковым еще в двадцатые годы, был столь высок, что, несмотря на все трудности тридцатых годов, в нашей стране смогла вырасти первоклассная научная смена. Молодые ученые советской генерации Б.Л. Астауров, С.М. Гершензон, Н.П. Дубинин, А.Р. Жебрак, Г.Д. Карпеченко, Ю.Я. Керкис, М.Е. Лобашев, А.А. Прокофьева-Бельговская, И.А. Рапопорт, Д.Д. Ромашов, В.А. Рыбин, В.В. Сахаров, Н.В. Тимофеев-Ресовский прославились открытиями, сделанными еще в предвоенные годы.

В 1948 г. лысенковцы избрали новые мишени для нападок, и в хорошо отработанной в тридцатые годы системе политической дискредитации противников особое место было уделено Н.В. Тимофееву-Ресовскому. На протяжении двух послевоенных десятилетий лысенковцы в публикациях, в выступлениях публичных и – в еще большей степени – в неофициальных писаниях пытались представить в искаженном свете творческой путь Н.В. Тимофеева-Ресовского (и Ф.Г. Добржанского).

Когда в 1955 г. Николай Владимирович появился на отечественном биологическом небосводе, это было полной неожиданностью для друзей и для врагов генетики. Со своим неуемным темпераментом он, по словам академика Б.Л. Астаурова, был "громогласным трубадуром" генетики, выступал перед любыми аудиториями, стал организатором неформальных курсов в Миассове (на Урале) и на Можайском море под Москвой. В восстановлении потенциала советской генетики особую роль сыграли основанный Н.П. Дубининым в 1955 г. при Московском обществе испытателей природы (МОИП) семинар "ликбез", ежегодные летние школы Н.В. Тимофеева-Ресовского в Миассове (с лета 1956 г.) и кафедра генетики Ленинградского университета, которую в том же, 1956 г., возглавил М.Е. Лобашев. Не имея никаких формальных возможностей, без степеней и званий Н.В. Тимофеев-Ресовский смог сплотить вокруг себя огромный "незримый коллектив". Крайне трудным в пятидесятые–шестидесятые годы было положение всех биологов, активно выступавших против обскурантизма в науке. Трудно подсчитать число доносов, писавшихся на них лысенковцами. Особенно сложным было положение Н.В. Тимофеева-Ресовского: двадцатилетний период в Германии и последующее десятилетие в Союзе представлялись неясными, давали повод для кривотолков.

Уже в конце шестидесятых годов в ряде статей в журналах "Природа", "Бюллетень МОИП. Отдел биологии" на основе анализа публикаций, воспоминаний очевидцев был дан очерк деятельности Н.В. Тимофеева-Ресовского. Центральной по объему фактического материала стала статья автора этих строк и А.В. Яблокова ("Бюллетень МОИП. Отдел биологии". 1970. № 5), где приведен полный список публикаций Н.В. Тимофеева-Ресовского. Повесть Д. Гранина, несомненно, усилила интерес к личности и судьбе героя "Зубра".

Н.В. Тимофеев-Ресовский (правильное русское написание – "Ресовский" с одним "с". Именно так публиковались труды этого автора в СССР до 1932 г. и после 1955 г. При публикации на Западе буква "с" между двумя гласными удваивается, в противном случае фамилия читалась бы как "Резовский") руководил Отделением генетики, позднее Отделением генетики и биофизики Института по изучению мозга общества кайзера Вильгельма. В Отделении в качестве постоянных сотрудников работали не более трех десятков человек.

В Германии им были выпущены работы о механизмах мутаций и природе гена, о роли мутаций в процессе эволюции, о механизмах действия ионизирующей радиации на биологические элементарные единицы, о

генетических последствиях облучения, проблемах эволюции, мутациях и географической изменчивости.

Н.В. Тимофеев-Ресовский за свою долгую жизнь опубликовал несколько сот статей и два десятка монографий. Все они выполнены на зоологическом (дрозофила, божьи коровки, чайки, овсянки) или ботаническом материале. Ни в одной из работ не использовался в качестве объекта изучения человек, поскольку Н.В. Тимофеев-Ресовский не был ни врачом, ни антропологом.

Замечу также, что Института кайзера Вильгельма как организации вообще не существовало. Существовало Общество имени кайзера Вильгельма (ныне Общество имени Макса Планка). В его состав входило множество институтов физического, химического, биологического и медицинского профилей. Связь между этими институтами была не большей, чем между разными институтами в одной академии.

Вопрос о соучастии отдельных немецких ученых в человеконенавистнической деятельности нацизма расследовался еще на Нюрнбергском процессе. Известен доклад французского майора Л. Александера, посвященный разоблачению этих преступлений. Тщательное исследование, предпринятое западногерманским генетиком Бенно Мюллер-Хиллом, позволило выявить круг лиц, концентрировавшихся в основном в Институте антропологии кайзера Вильгельма в Берлин-Далеме, чья деятельность действительно была связана с преступлениями нацизма против человечества. Итоги исследования опубликованы в книге этого автора "Смертоносная наука" (Гамбург, 1984 г.). Деятельность сотрудников Института антропологии (позднее Институт антропологии, наследственности человека и евгеники) была окутана глубокой секретностью и стала известна подавляющему большинству немецких ученых после разгрома фашизма. Обвинять любого сотрудника многочисленных институтов Общества кайзера Вильгельма в соучастии с преступниками примерно то же, что винить сотрудника любого института Академии наук в соучастии в терроре конца тридцатых годов на основании того, что "теоретические обоснования" искажениям законности были даны в трудах академика А.Я. Вышинского. В обширном списке лиц, упомянутых в книге Б. Мюллер-Хилла, нет имен Н.В. Тимофеева-Ресовского и сотрудников его лаборатории.

В исследовании западноберлинского историка науки Вернера Пларре о развитии генетики в Берлине (1987), где не затушевывается ответственность тех германских ученых, кто несет ответственность за "нарушение фундаментальных этических норм науки", специальный раздел посвящен Н.В. Тимофееву-Ресовскому. Там делается вывод: "Он безусловно не сотрудничал с нацистами".

В Германии, а затем на родине Н.В. Тимофеев-Ресовский занимался радиационной генетикой, радиобиологией, миграцией радиоактивных изотопов в природе, т.е. проблемами изучения биологических последствий радиации, что к проблемам управления ядерной энергией и к созданию самой бомбы отношения не имеет.

Историческую роль пионерских работ Н.В. и Е.А. Тимофеевых-Ресовских, подлинное значение созданного ими нового научного направления – радиационной биоценологии – мы в полной мере смогли оценить лишь после Чернобыля.

После выхода "Зубра" появились дополнительные данные об интернациональной антифашистской организации, в состав которой входил Дмитрий (Фома) Тимофеев-Ресовский. По воспоминаниям ее участников, антифашистские листовки гектографировались на квартире Тимофеевых, в спальне родителей Дмитрия. Бывший военный журналист, а затем сотрудник советской военной администрации в Германии К. Богачев опубликовал в калужской областной газете "Знамя" (5 ноября 1987 г.) интересную статью "Герои Берлинского подполья". В ней говорилось:

"В одну из таких подпольных организаций и входил Фома Тимофеев. Это была единая, широко разветвленная и хорошо законспирированная группа советских военнопленных, действовавшая на территории Германии и оккупированных ею стран... (Руководство организацией осуществлялось центром, носившим название Берлинский комитет ВКП(б)). Фома Тимофеев... выполнял ответственные поручения Берлинского комитета... К тому времени (лето 1942 г. – *Н.В.*) он уже был опытным подпольщиком. Его хорошо знали и ценили руководители берлинского подполья Николай Бушманов и Андрей Рыбальченко..."

Хорошо знали друг друга, по данным Богачева, знаменитый Муса Джалиль и Фома Тимофеев.

Передо мной лежит "Паспорт иностранца", выданный 24 августа 1940 г. (№ Т 40/40) Дмитрию Тимофееву-Ресовскому. Он был сохранен сотрудницей Н.В. Тимофеева-Ресовского Наташей Кром, проживающей ныне в Берлине. "Гражданство – СССР. Профессия – учащийся. Место рождения – Москва. Дата рождения – 11 сентября 1923 г.". Многочисленные штампы ежегодного продления. Последний штамп от 10 июня 1943 г. о продлении паспорта еще на год, до 11 июня 1944 г., а в конце июня 1943 г. Дмитрий Тимофеев-Ресовский вместе с другими подпольщиками был арестован и погиб.

Когда в шестидесятые годы мы, группа биологов, тайком от Н.В. Тимофеева-Ресовского начали понемногу собирать данные о германском периоде, мы собрали множество не вошедших в "Зубр" свидетельств мужества Николая Владимировича и его жены Елены Александровны, их ближайших коллег и друзей.

Среди многих спасенных от фашистской неволи "остарбайтеров" – ныне здравствующий профессор С.Н. Варшавский. Он вспоминал: «Это было такое время, когда дни исчисляются годами и когда действительная сущность человека не прикрыта никакими условностями и внешними соображениями. Я и многие, бывшие в моем положении, обязаны Николаю Владимировичу в подлинном смысле этого слова жизнью, этого забыть нельзя... Он многих спас от смерти, выдавая различные справки "остарбайтерам", бежавшим с фабрик, устраивал на работу и т.д.»

Вряд ли стоит задним числом представлять великого ученого более

красным, розовым или белым, чем он был на самом деле. Он был ученым, а не политическим деятелем. Но когда жизнь заставляла его делать выбор, он делал его в соответствии с принципами чести, на которых воспитывался он, его предки. Н.В. Тимофеев-Ресовский был удивительно цельным человеком, ученым необычайного кругозора и предвидения. Из-за нашей бесхозяйственности по отношению к талантам его огромный потенциал не был реализован в полной мере. На протяжении многих лет лысенковцы, а вслед за ними и критик В. Бондаренко пытались обвинить Н.В. Тимофеева-Ресовского в сотрудничестве с нацизмом и коллаборационизме. Истина их не интересовала. Эти политические ярлыки были нужны лысенковцам для борьбы с генетиками, а Владимиру Бондаренко, судя по сложившемуся у меня впечатлению от его статьи в журнале "Москва" (1987. № 12), для того, чтобы скомпрометировать на основе наветов в стиле минувших эпох героя "Зубра" и автора повести.

Одна из новаторских работ довоенной поры – опубликованный в 1935 г. "Зеленый памфлет" Н.В. Тимофеева-Ресовского, М. Дельбрюка и К. Циммера – на много лет опередила время и создало новые направления в науке. Ее популярному изложению посвящена знаменитая книга нобелевского лауреата Э. Шредингера "Что такое жизнь с точки зрения физики?" (1945, русское издание – 1947), положившая начало развитию молекулярной биологии. В апреле 1987 г. в известном английском журнале "Нейчер" ("Природа") нобелевский лауреат М. Перутц посвятил большую статью роли книги Шредингера[1] в популяризации идей "Зеленого памфлета", там же помещены фотографии всех трех авторов этой классической работы. В журнале "Химия и жизнь" (1988, № 1) было опубликовано интервью с одним из создателей двуспиральной модели ДНК Дж. Уотсоном, также лауреатом Нобелевской премии. Уотсон – прямой ученик еще одного нобелевского лауреата, М. Дельбрюка, – называет Тимофеева-Ресовского своим дедом в науке. Вот какое соцветие имен породил наш соотечественник. Вот как и для чего осуществлялась связь биолога с физиками.

До каких пор мы будем узнавать о славе наших соотечественников из работ зарубежных историков науки?

1991 год стал новым шагом в признании Николая Владимировича Тимофеева собственной страной. По Российскому телевидению прошел документальный фильм-трилогия (режиссер Елена Саканян) о жизни Зубра. 16 октября 1991 г. Генеральный прокурор СССР направил в Верховный Суд СССР свой протест, где поставил вопрос об отмене приговора Военной коллегии в отношении Н.В. Тимофеева-Ресовского и С.Р. Царапкина и прекращении уголовного дела за отсутствием в их действиях состава преступления.

А теперь слово старшим и младшим современникам этого легендарного человека.

Н.Н. Воронцов

---

[1] *Шредингер Э.* Что такое жизнь с точки зрения физики. Пер. А.А. Малиновского. М.: Изд-во иностр. лит., 1947. 146 с.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ
(Краткая автобиографическая записка)

Родился в Москве 7 сентября 1900 г. Отец – Владимир Викторович Тимофеев-Ресовский (1850–1913), инженер путей сообщения. Мать – Надежда Николаевна, урожденная Всеволожская (1868–1928).

Учился в Киевской I Императорской Александровской гимназии (1911–1913), а затем в Московской Флеровской гимназии (1914–1917), далее в Московском Свободном университете им. Шанявского (1916–1918) и в I Московском государственном университете (1917–1922).

Работал: преподавателем биологии на Пречистенском рабочем факультете в Москве (1920–1925), преподавателем зоологии на Биотехническом факультете Практического института в Москве (1922–1925), ассистентом при кафедре зоологии (проф. Н.К. Кольцов) Московского медико-педагогического института (1924–1925) и научным сотрудником Института экспериментальной биологии ГИНЗ (директор проф. Н.К. Кольцов, 1921–1925).

Я, по приглашению Kaiser Wilhelm Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften в Берлине и по рекомендации проф. Н.К. Кольцова и наркомздрава Н.А. Семашко проработал с 1925 по 1936 г. научным сотрудником и заведующим лабораторией при Институте в Берлин-Бухе, а с 1936 по 1945 г. там же в качестве директора отдела генетики и биофизики.

С 1945 по 1955 г. я работал заведующим биофизическим отделом объекта 0211, с 1955 по 1964 г. – заведующим отделом радиобиологии и биофизики в Институте биологии УФАН СССР в Свердловске, с 1964 по 1969 г. – заведующим отделом радиобиологии и генетики в Институте медицинской радиологии АМН СССР в г. Обнинске, Калужской обл., а с 1969 г. по настоящее время являюсь консультантом в Институте медико-биологических проблем в г. Москве.

Будучи по образованию и с молодости по интересам зоологом (зоопланктон, пресноводные рыбы и прибрежные птицы Палеарктики), я с 1920 по 1923 г. занимался гидробиологией среднерусских озер, с 1922 г. по настоящее время в основном генетикой, биофизикой и эволюционной проблематикой. В области генетики с 1920-х годов преимущественно на дрозофиле занимался феногенетикой, мутационным процессом, популяционной генетикой и разработкой некоторых основ микроэволюционных процессов.

С 30-х годов и до начала 60-х годов работал по изучению накопления и выделения ряда элементов, преимущественно гидробионтами и наземными растительными организмами, применяя метод меченых атомов (радиоизотопов); центром внимания этих работ было изучение судьбы некоторых элементов в пределах биогеоценозов.

В течение восемнадцати лет (с конца 20-х до середины 40-х годов) мною с небольшой группой сотрудников проводилась систематико-зоогеографическая и экспериментально-генетическая работа по монографическому исследованию внутривидовой изменчивости растительноядной божьей коровки Epilahna chrysomelina F. Это исследование было связано с разработкой процессов микроэволюции.

Из более общих достижений в некоторых областях современного естествознания мне пришлось принять посильное участие в разработке принципов попадания, мишени и усилителя в радиобиологии; в разработке и классификации явлений изменчивости фенотипического проявления в основном последний стадий постэмбрионального развития признаков, определяемых теми или иными мутациями под влиянием генотипической, внешней и "внутренней" среды; в области феногенетики, феноменологии проявления генов и, наконец, в разработке элементарных материалов и факторов микроэволюционного процесса и соотношений между микро- и макроэволюцией.

Теоретическому осмысливанию и упорядочению получаемых в экспериментах и наблюдениях результатов мне очень помогли два обстоятельства. Во-первых, с начала 20-х годов группой С.С. Четверикова в Институте Н.К. Кольцова был организован кружок по совместному обсуждению всех проводимых нами работ и важнейшей литературы по интересующим нас вопросам (вскоре, примерно с 1922 г., с появлением у нас в качестве главного экспериментального объекта дрозофилы этот кружок получил прозвище "Дрозсоор").

В дальнейшем, в течение всей своей жизни, я со своими сотрудниками и ближайшими личными друзьями из других лабораторий всегда организовывал такие же совершенно неформальные и свободные кружки, что очень оживляло научную жизнь и помогало в работе. Во-вторых, большое влияние на общее развитие моих научных интересов и на достижение мною и рядом моих сотрудников достаточной строгости в формулировках необходимейших биологических понятий сыграло счастливое сочетание условий, позволившее мне познакомиться, в ряде случаев навсегда сдружиться и в некоторых случаях научно сотрудничать или консультироваться со многими крупнейшими математиками, физиками, химиками, геологами, географами и биологами, не только в нашем отечестве, но и за границей; в частности, мне посчастливилось принимать участие в ряде семинаров "Круга Нильса Бора" в Копенгагене, а также организовать, совместно с Б.С. Эфрусси, (при финансовом содействии Rockfeller Foundation) небольшую (около 20 человек) международную группу физиков, химиков, цитологов, генетиков, биологов и математиков, заинтересованных в обсуждении важнейших проблем теоретической

биологии (эта группа собиралась в конце 30-х годов, до начала войны, на симпатичных курортах Дании, Голландии, Бельгии).

14 октября 1977 г.

Действительный член Германской Академии естествоиспытателей в Галле (ГДР) – "Леопольдина";

Почетный член Американской Академии наук и искусств в Бостоне (США);

Почетный член Итальянского общества экспериментальной биологии (Италия);

Почетный член Менделевского общества в Лунде (Швеция);

Почетный член Британского генетического общества в Лидсе (Англия);

Почетный член и член-учредитель ВОГиС им. Н.И. Вавилова (СССР);

Научный член общества содействия наукам им. Макса Планка (ФРГ);

Действительный член МОИП, Географического общества СССР, Всесоюзного ботанического общества;

Лауреат медалей и премий Лазаро Спалланцани (Италия), Дарвиновской (ГДР), Менделевской (ЧССР), Кимберовской (США), МОИП.

Н.В. Тимофеев-Ресовский

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ, ЗАПИСАННЫХ 12 ДЕКАБРЯ 1974 г. В.Д. ДУВАКИНЫМ

По университету из зоологов моими главными учителями являются Михаил Александрович Мензбир, Николай Константинович Кольцов и их ученики, более молодое поколение – Сергей Сергеевич Четвериков, Борис Степанович Матвеев, Сергей Николаевич Скадовский и еще несколько человек.

Из ботаников для меня наибольшую роль сыграли в моем биологическом образовании Голенкин и не бывший никогда моим непосредственным учителем Николай Иванович Вавилов. Затем геолог Алексей Петрович Павлов, замечательный палеонтолог Мария Васильевная Павлова, жена Алексея Петровича, и географ Анучин. Вот это были мои основные учителя.

К сожалению, я тогда не обратил должного внимания на физику и химию. Правда, в области физики, особенно для естественников, а не для специалистов, физиков и математиков, более или менее крупного учителя не было тогда в Московском университете. Химией я просто не занялся в те годы в достаточном размере. Я слушал очень увлекательные

лекции по общей химии Александра Николаевича Реформатского, время от времени слушал Каблукова, физическую химию, работал соответствующие практикумы. В основном же занимался зоологией.

По зоологии были тогда поставлены в Московском университете два совершенно образцовых, замечательных Больших практикума. Это, во-первых, и в первую голову, двухгодичный Большой зоологический практикум по беспозвоночным Кольцова и одногодичный, двухсеместровый практикум по сравнительной анатомии позвоночных животных при кафедре Северцова. Вел этот Большой практикум Борис Степанович Матвеев. Практикум кольцовский по зоологии вел Григорий Осипович Роскин, один из основных сотрудников Кольцова еще по университету Шанявского, его ученик и крупный цитолог и гистолог.

Особенно интересно был поставлен Большой практикум Кольцова. Стержнем практикума было изучение всех классов, а не только типов беспозвоночных, начиная с простейших, одноклеточных и кончая переходом к позвоночным – оболочникам. Работа на практикуме была построена очень интересно и очень правильно. Практикум был круглосуточный. Ключ от лаборатории хранился в условленном месте, и к нему в любое время имел доступ староста группы или его заместитель. Я сам был в течение года старостой Большого практикума, поэтому эти дела знаю хорошо. И действительно, несмотря на то что в Москве было холодно, голодно, единственным транспортом были только собственные ноги, мы все, "большие практиканты" Кольцова, работали очень много, поэтому ежели мы днем должны были заниматься какими-нибудь другими делами, то мы работали ночью. Теперешних рассуждений, что "ах! мальчики и девочки могут устать, переутомиться" и что-то вредно, а что-то полезно, у нас, конечно, не было. Мы были молодые нормальные люди.

Я еще будучи гимназистом последних классов буквально натренировался мало спать. После чего всю жизнь довольствовался максимум пятью часами сна в сутки. Этого для меня было совершенно довольно. Все эти рассуждения: "Человек должен спать восемь часов", передремывать можно и двенадцать часов. А я выучился крепко спать. Никогда я никаких снотворных средств не употреблял, но выучился этому делу. Очень просто. Когда мне в старших классах гимназии действительно стало не хватать времени на всякие мои интересы: и зоологические, и искусствоведческие, и кружки, и... всякую такую муру... Да и чтение книг интересных. В мире куча интересных книг. Я до сих пор завидую людям, которые еще либо по небрежности, либо по глупости, либо по необразованности не прочли массу интересных книг, которые я прочитал. Я им завидую! Им же предстоит огромное наслаждение.

Так вот, я натренировался мало спать очень простым способом: я всегда поздно ложился, в три часа ночи, до того занимаясь всякими делами. Под конец читал искусствоведческую литературу ночью. Последние двадцать минут перед тем как лечь, я несколько раз обегал вокруг нашего квартала, где я жил, на Арбате, в Никольском переулке, и ложился спать и засыпал, конечно, сразу. Ставил себе будильник на семь ча-

сов, т.е. через четыре часа будильник меня будил. И полтора-два месяца я ходил скучный, сонный, и мне хотелось спать. А потом помаленьку привык. И спал крепко, зато никогда не видел снов, ничего, никаких дуростей, спал себе как цуцик. И потом стал ставить себе будильник на полвосьмого. Четыре с половиной часа. Когда можно было, пять часов даже спал, но не больше. Больше пяти часов мне в жизни и не нужно было. Я рассчитывал так: "Ну что ж, станешь помирать – вроде обидно станет, что больше трети жизни проспал. Зачем? Спать и в гробу можно сколько угодно. Лучше побольше пожить-то". Ну вот, поэтому я приучился мало спать. И многие из нас спали мало. Только я-то через два месяца перестал от этого страдать еще до университета...

На практикуме дело было поставлено так. Григорий Осипович Роскин каждую неделю в четверг нас проверял. Человек нас было двадцать, не больше, так, от пятнадцати до двадцати варьировалось в те годы людей на Большом практикуме, в основном мужского пола, тогда только начали появляться девчонки в университете... И задавал материал на следующую неделю или две недели иногда. И очень следил за тем, чтобы мы не запускали материала, то, что нужно было сделать, чтобы более или менее вовремя, было нами сделано. А мы должны были готовить все препараты сами.

У нас была прекрасная демонстрационная коллекция микроскопических препаратов и по всем группам беспозвоночных – у Николая Константиновича Кольцова. Он работал и в Неаполе, и в Виллафранке, и на самых разнообразных других морских и пресноводных биологических станциях. У него был огромный материал препаратов. Но мы все, что было возможно, по чему имелся сырой материал, должны были сами делать. Кроме того, мы сами целый ряд экспериментов должны были проводить. Должны были, например, разводить несколько видов инфузорий, разводить в культурах амеб и других корненожек, жгутиковых, должны были "наблюсти", зафиксировать и окрасить все стадии деления у этих простейших, а у инфузорий все основные стадии конъюгации. Это очень важная вещь, чему сейчас, к сожалению, недостаточно учат, благодаря чему многие молодые биологи оказываются на первое время довольно ограниченными в своих привычках и навыках в обращении с живым материалом биологическим. Дальше мы должны были по всем основным группам, типам и классам, животных опять-таки готовить сами препараты. У каждого из нас скапливалась большая собственная коллекция препаратов по всем группам беспозвоночных.

Многое мы делали и для лаборатории. Лишние препараты сдавали в лабораторию, так что материал по препаратам разных групп животных в лаборатории постепенно рос и приумножался, что было существенным, потому что росло и число студентов на Большом практикуме. Так вот, практикум продолжался два года, четыре семестра. Но самое интересное и важное было окружение этого практикума.

При Большом практикуме читалось несколько специальных курсов, часть из которых сопровождались специальными практикумами. Напри-

мер, Дмитрий Петрович Филатов, замечательный наш экспериментальный эмбриолог, читал курс экспериментальной эмбриологии с практикумом, в котором мы, по возможности, проделывали самые простые эксперименты из области экспериментальной эмбриологии на дробящихся яйцах и зародышах лягушек, аксолотлей, тритонов.

Сергей Николаевич Скадовский читал нам курс гидрофизиологии с практикумом, в котором мы проходили основные формы планктона, пресноводного бентоса, обучались измерять pH воды, некоторые компоненты солевого состава воды.

Софья Леонидовна Фролова, замечательный цитолог из первой гвардии цитологов и кариологов нашего отечества, и Петр Иванович Живаго читали нам курсы цитологии и кариологии с соответствующими практикумами, где мы учились красить и считать хромосомы у удобных объектов.

Да! Сергей Сергеевич Четвериков читал в связи с Большим практикумом интереснейший курс, который назывался: "Курс экспериментальной эволюции", или "экспериментальной систематики". Это, в сущности, была комбинация курсов биометрии и генетики с основами теоретической систематики. Это был очень интересный курс, который повлиял на дальнейшую работу и научную жизнь некоторых из нас в очень значительной степени.

При практикуме по сравнительной анатомии позвоночных Борис Степанович Матвеев читал очень интересный курс с демонстрационным практикумом по органогенезу, собственно специальной эмбриологии, по развитию отдельных систем органов у позвоночных. Владимир Викторович Васнецов читал интересный курс основ сравнительной анатомии и систематики рыб. И ряд преподавателей вели в связи с обоими практикумами: матвеевским и кольцовско-роскинским – курсы по определению позвоночных животных, пользованию определителями по их различным группам.

Как видите, зоологии нас учили основательно. До того основательно, что в дальнейшем ни в преподавании, ни в научной работе своей – ни в чем не имея никакого дела со сравнительной анатомией позвоночных, и, в частности с центральной нервной системой оных, – я до сих пор могу наизусть перечислить все черепные нервы позвоночных, в артериальных и венозных системах могу перечислить основные вены и артерии и группы, у которых они впервые появились, или группу, у которых они исчезли в процессе эволюции, чего кончающие сейчас биофак зоологи обыкновенно совершенно не знают. Не то что забыли, а просто никогда и не знали. А нас этому учили и выучили так хорошо, что мы на всю жизнь это помним.

Из курсов зоологических, конечно, совершенно своеобразным явлением природы были курсы Николая Константиновича Кольцова. Он читал в мое время два курса: курс общей зоологии, который мы, те, кто могли, если как-нибудь могли, ежели не целиком, то хоть частями повторно слушали сколько угодно лет, потому что он видоизменялся, дополнялся

в связи с развитием наук и жизни каждый год, и Николай Константинович читал этот курс совершенно замечательно. Он был редким явлением в науке. Обыкновенно очень крупные ученые бывают неважными профессорами, так сказать, ораторами не бог весть какими, да и с точки зрения построения их курсы часто бывают сумбурны. И наоборот, кафедральные златоусты обыкновенно бывают научными пустышками, ничем не интересными исследователями. Вот одно из редких исключений – это Кольцов. Из немецких биологов – Макс Хартман и Альфред Кюн, из англичан – Джулиан Хаксли. Вот эти люди все были крупнейшими учеными и блестящими профессорами, блестящими лекторами и в то же время блестящими преподавателями, прекрасно и рационально строившими свои курсы, поэтому слушать их было не только архиполезно, но и в высшей степени приятно и утешительно. Вот таким профессором был Кольцов. Второй его курс был курсом зоологии беспозвоночных с очень кратким добавлением обзора позвоночных. Это, собственно, систематический курс зоологии. Он был столь же блестяще построен, всегда, так сказать, поддерживался, так сказать, со всеми добавлениями нужными, связанными с развитием наук, и оба курса сопровождались совершенно сознательно Кольцовым не всем известными, наскучившими, часто изодранными, измазанными таблицами и плакатами, на которых изображены чьи-нибудь кишки или еще что-нибудь, кровеносные системы вскрытой лягушки, рисунками, а собственными рисунками на доске цветными мелками. И это были (иначе не назовешь) художественные произведения. Кольцов их, читая лекции, во время изложения вопроса иллюстрировал своими цветными схемами. Так как он был прекрасным художником и графиком, то это было технически очень хорошо, ясно, много яснее, нагляднее любых изданных таблиц, но, кроме того, огромное значение имело – это синхронность самой лекции: он о чем-то говорил и это же схематически в это же время вычерчивал на доске. Вы следили за его изложением и за его же параллельным изображением. Это был прием, которым, конечно, мог пользоваться только такой всесторонне одаренный человек, как Николай Константинович Кольцов.

Из ботаников мне ближе всех был Голенкин. Он считался скучным профессором, читал лекции не блестяще, далеко было ему не только до Кольцова, но и до своих коллег ботаников. Но он был прекрасным ботаником, прекрасным морфологом и систематиком высших растений и прекрасным, умным эволюционистом классического времени и классического направления. Его ботанические лекции были потому для тех, кто интересовался сутью дела, почти всегда интересными.

Совершенно замечательными были лекции старейшины русской зоологии тех времен Михаила Александровича Мензбира. И я счастлив, что я прослушал в особенности его курс зоогеографии. Он был лектором-классиком по классическим проблемам зоологии. Когда мы слушали, его курс зоогеографии, исторической зоогеографии, у нас было впечатление, что мы сидим в аудитории дарвиновских времен и читает Дарвин, или Хаксли, или кто-нибудь из тогдашних классиков больших. Это был

действительно не столь блестящий, как Кольцов, но столь же вдумчивый, умелый и умный лектор. Читал он классически, немножко суховато, за исключением тех лекций, которые он сам особенно любил и которые любили все русские зоологи. Его курсы зоогеографии... Было, сколько помнится, две-три лекции о миграциях различных животных и в особенности о миграциях птиц. На эти лекции, уже после революции, когда появилось железнодорожное движение в Советской России, тогда в РСФСР, стали ходить поезда, и не только с товарными вагонами, а и с пассажирскими, и стали ходить очень точно по расписанию, точнее, чем сейчас в целом ряде случаев; съезжались на эти лекции по миграциям животных вообще и птиц в частности, на эти две лекции, на одну неделю, в Москву слушать Мензбира все его старые ученики, профессора из Казани, Киева, Харькова, Одессы-мамы, из Петрограда, тогда уже не Петербурга, а Петрограда, из новенького Пермского университета, иногда даже из Иркутского и Томского и из Саратовского университетов. Одним словом, все, кто мог, со всей России съезжались слушать Мензбира. Читал он в старенькой аудитории Высших женских курсов в Мерзляках. В эту аудиторию тогда со всего здания притаскивали стульев сколько возможно, рассаживались и на подоконниках, и на ступеньках аудиторий. Все было полно. Так читал Мензбир.

Очень интересны были лекции по общему курсу геологии Алексея Петровича Павлова. Я считаю большой бедой и глупостью, что уже давно кончают десятки тысяч нашей молодежи биофаки различные, не имея даже отдаленного представления о геологии. Этим самым значительная часть эволюционной биологии теряет конкретный смысл. Ну и палеонтологию, конечно, сейчас тоже биологи не изучают. Алексей Петрович Павлов каждый год группу студентов с общего практикума уводил на экскурсии в Подмосковье. Нам, не геологам, показывали, как выглядит геология в поле. Это тоже очень важно.

Наконец, не могу не вспомнить Марию Васильевну Павлову. Это действительно палеонтолог-классик, супруга Алексея Петровича Павлова. Знамениты ее работы по эволюционной истории исследований на позвоночных. Мария Васильевна была замечательным человеком, добрейшей души. В мое время она уже была глуха, как тетерев. Слышала, но плоховато. С большим увлечением читала нам палеонтологию и эти камешки всякие, окаменелости показывала, и мы очень ее уважали. А экзамены она принимала, всю группу... Рассаживались мы в маленькой аудитории какой-нибудь, и вот она принимала экзамен. Экзамен у нее протекал следующим образом. Во-первых, группа, по тем довольным временам, роскошно складывалась. Кроме того, в группе находился какой-нибудь стрекулист, у которого был блат ободрать в Ботаническом саду какие-нибудь оранжереи. Одним словом, мы всегда готовили Марии Васильевне роскошный букет. Заворачивали в белую полупапиросную бумагу, которую тоже где-то кто-то доставал, и этот букет перед экзаменом на подоконнике ставился и так прикрывался газетой, но так, чтобы Мария Васильевна видела, что там все-таки букет ей приготовлен. И она уже

немножко, так сказать, пускала слезу и, вообще, в растроганном виде начинала экзамен. Так как она была глуха, то, значит, брались несколько книг палеонтологических. Она кого-нибудь вызывает, задает вопрос, обыкновенно неглупый и очень общий вопрос. Тогда дежурные по книгам, значит, находили ответ нужный и довольно громко его, но однообразным таким, скучным голосом говорили. А спрашиваемый, около нее стоящий, кричал ей в ухо то же самое. Благодаря этому методу все сдавали блестяще, на сплошные пятерки. Мария Васильевна была страшно довольна и уже совсем растрогана. Я в группе был там тоже, ну вроде старосты. Ну потому что я умел дамам ручку поцеловать, моя обязанность потом была развернуть этот букет, поднести Марии Васильевне, поцеловать ей ручку по всем правилам искусства. Тогда Мария Васильевна в слезах меня целовала тоже. Вот как это происходило. Видите, всякие были учителя и всякие способы учиться.

Очень я любил и такого древнего классика Анучина, антрополога и географа. Он в возрасте лет восьмидесяти умер, кажется, в 23-м году. Все это было классично, интересно.

В общем, мы получали действительно прекрасное образование, помимо прекрасного специального образования, ведь на последних курсах мы занимались специальными разделами биологии, кто чем интересовался: ихтиологией, гидробиологией, генетикой, цитологией, биометрией, систематикой тех или иных групп. Но наряду с этим мы получали ну действительно высококвалифицированное обозрение, собственно, всего естествознания. Поэтому для нас какая-нибудь ботаника, зоология, энтомология, ихтиология или геология не была чем-то таким вот специальным, а по бокам шоры какие-то. Поэтому и геологи были образованы биологически. Даже химики, ведь они тоже на первом курсе и общую зоологию, и общую ботанику слушали, так же как мы общую физику, общую химию, общую геологию. У нас у всех была единая естественноисторическая подоплека.

Н.В. Тимофеев-Ресовский

О ПРОЖИТОМ
(из воспоминаний, записанных в 1977 г. М. Адамсом)

Родился я в 1899 г., родители как раз относительно кратковременно были тогда в Москве. Должен был бы я, в сущности, родиться в Калужской губернии на границе Мечевского и Масальского уездов, где у Всеволожских, а мать моя урожденная Всеволожская – это одна из древнейших русских фамилий Рюриковичей, было именьице небольшое. Всеволожские богатыми никогда не были. Было несколько довольно извест-

ных красавиц. Одну красавицу уморил Иван Грозный среди своих прелестных невест, которые не дожили до женитьбы. Затем была в пушкинские времена в Москве одна красавица, ножками которой Александр Сергеевич очень увлекался. Так что с материнской стороны у меня всякие такие вот высоко аристократические предки. Причем родство имеется и с Аксаковыми, и из литературных семей с Григоровичами, с целым рядом довольно хороших, но не самых знаменитых писателей.

С отцовской стороны Тимофеевы происходят из донских казаков. По семейным преданиям, которые были, так сказать, проверены, удостоверены какими-то документами, у Степана Тимофеевича Разина, который был донским казаком, а по профессии разбойником (в последнее время тогдашних разбойников считают почему-то революционерами, а он был честный разбойник!), был брат – Тимофей Тимофеевич. А у Тимофея Тимофеевича был Тимофей Тимофеевич – сын, значит племянник Степана Тимофеевича Разина – Тимошка Разин, который у него в каких-то поддодоманиях ходил молодым человеком. Когда Степана Тимофеевича благополучно "пымали" (поймали) и четвертовали, он, племяша, вместе с группой казаков умудрился драпануть в теперешнюю юго-западную Сибирь, или Северный Казахстан, тогда пустопорожние земли, принадлежавшие какому-то там сибирско-татарскому хану. И он завоевал эти пустопорожние земли. И потом произвел очень современную вещь: "товарообман" такой с московским правительством.

Алексей Михайлович тогда царствовал: "Ты мол, царь-батюшка, меня прости (это сейчас называется репатриацией). А я тебе за это под корону пустопорожние земли завоевал". Московское правительство на эту сделку пошло, приняло пустопорожние земли, а этого Тимошку не только возвернули обратно в Россию, но и посадили калужским воеводой. Вот этот предок, основатель фамилии, принял фамилию Тимофеев, и стал Тимофей Тимофеевич Тимофеев. Его дед был Тимофей, отец – Тимофей, сам он Тимофей. Сплошной стопроцентный Тимофей. Он получил, конечно, дворянство, записан был даже в шестую книгу, он был "калудский" (калужский) дворянин. Значит, мы, с одной стороны, донские казаки и какие-то (думаю о поколениях), какие-то земли были в какой-то станице – но никто из моих ближайших предков их уже и не видел никогда. Одним словом, моим ближайшим предкам, там – отцу, дяде, деду, прадеду, прапрадеду, это казачество было одна морока, потому что они были в общем городскими интеллигентами, и в последних поколениях все были военные и инженеры, главным образом военные инженеры. И быть горожанином-казаком, особенно со времен введения всеобщей воинской повинности, было очень неудобно. Обыкновенного русского человека призывали на военную службу, как положено: записывали, выдавали обмундирование, зачисляли в какой-то полк, в какой-то батальон, в какую-то роту, в какой-то взвод, давали койку и всякую такую штуку: оружие, когда надобно, и все такое. И потом муштровали. И казак рождался в полку своем: это ведь территориальное войско было. И с самого рождения он был казаком определенного полка и определенной станицы. И

когда время приходило ему отшагивать военную службу, он должен был являться на военную службу со своим конем, со своей амуничкой, со "штанцами" и всей прочей формой: с лампасами штаны и так далее, вплоть до винтовки и сабельки. И это, конечно, человеку, являющемуся каким-нибудь инженером и проживающему в Петербурге или в Ярославле. Ну из этого, конечно, находились всякие выходы и положения. В конце концов, мои предки все становились в таких случаях военными инженерами. Три поколения до меня все были инженеры. Отец-то был уже не военный инженер, он был инженер путей сообщения, а дед был военный инженер, в чине генерал-майора инженерных войск; брат был лейтенантом инженерных войск. Отец построил в России более пятнадцати тысяч верст железных дорог, уже будучи начальником дороги или главным инженером. Вот такое, значит, мое происхождение. С отцовской стороны каким-то гаком сродни предкам приходится Николай Васильевич Гоголь. Гоголь-Яновская – его тетка была моей какой-то прапрапрабабкой. И через них опять с какой-то еще линией писателей родство, но я уже позабыл. А главным образом с отцовской стороны были предки военно-морские, и крупные были мореходцы. В XVIII в. генерал-адмирал Сенявин – это тот, который придумал кильватерную колонну. До него морские сражения проходили по голландской тактике, так сказать куча кораблей сражалась против кучи кораблей, как могла. А Сенявин очень простую штуку и естественную придумал. Ежели в кильватерную колонну выстроить всю эскадру, то можно использовать полный бортовой залп. Ведь раньше пушки-то стреляли через дырки в стенке корабля. Значит, полный бортовой залп всей эскадры можно было дать, только расположив ее "гуськом", т.е. в кильватерную колонну. И это очень помогло выигрывать военные сражения. Он на этом очень прославился.

Следующий известный адмирал из моих предков – Головнин. Головнин замечателен был тем, что проделал второе после Крузенштерна русское кругосветное плавание; изучил Берингово море и Берингов пролив и там попал в плен к японцам. Три года прожил в японском плену; у него очень интересные записки по этому поводу; потом его выкупили, выручили и т.д. Он еще ряд плаваний далеких проделал, и считается собственно основным учителем всей группы крупных русских моряков в XIX в. Он учитель замечательного адмирала Лазарева, который, в свою очередь, стал учителем Нахимова, Корнилова и всей группы крупных морских офицеров и адмиралов – русских полководцев XIX в.

Сам Головнин умер рано в чине, кажется, даже еще не полного адмирала, а вице-адмирала в Петербурге от холеры. (Он же был учителем Гранделя, Литке). Грандель, Литке прославились потом по науке.

Одна из моих прапрабабок была теткой адмирала Головнина. Затем "морской" предок из известных мне (приходится и родственником и свойственником) – это Нахимов. Одной из моих четырех прабабок была Нахимова. Она была, по-моему, теткой адмирала. У Нахимова детей не было, но у его брата были дети, и один из его племянников женился на моей тетке – на сестре отца – Ольге Викторовне Нахимовой, урожден-

ной Тимофеевой. Они родили двух сыновей, Сережу и Никса. Это – мои двоюродные братья, но они были намного старше меня. И у Сережи был сын – тоже Сережа; он был призван на первую мировую войну "прапором" запаса и заслужил себе звание капитана. Он попал на знаменитое Кикскюльское предмостное укрепление на Западной Двине. Там были две-три русские батареи и соответствующая команда при них. Их убивали всех, затем посылали замену. И вот из каких-то там военных тактических соображений это предмостное укрепление держали против немцев полтора года. И вот этот Сережа Нахимов попал туда. Сережу раза три ранило. Его должны были несколько раз сменить и эвакуировать, но он умолил остаться там. Он привык под огнем. И там он, кажется, "Георгия" получил, георгиевское золотое оружие – всякую такую штуку. А после революции так он был агрономом, а не профессиональным офицером, ему плевать было на "Георгиев" и так далее. Он сразу постарался вернуться в эту самую агрономию. Но сперва его сделали каким-то начальником – командиром какого-то там артиллерийского полка. Он был капитан царского времени... и полковником красным. Он очень быстро демобилизовался и стал одним из первых агрономических директоров, по-моему, этих Горок Ленинских. Это было имение Совнаркома тогда. Ну, и вскоре помер от всех этих ран, контузий и так далее. Оставил сына. Сын пал смертью храбрых во второй мировой войне, а внук Сережи, мне, значит, внучатый племянник, жив до сих пор. Он был знаменит в пятидесятые годы, потому что по традиции, по-нахимовской, чуть ни по приказу самого Сталина его определили в Нахимовское училище: Нахимова – к Нахимову. Его снимали фотокорреспонденты и печатали снимки в "Огоньке". Я с ним не был знаком, но бывал в Москве у его бабки, у вдовы Сережи Нахимова.

И еще один родственник очень замечательный по материнской линии – адмирал Невельской. Я из всех своих "морских предков" уважаю двух: Головнина и Невельского. Невельской, как известно, освоил Дальний Восток, доказал, что Сахалин – остров, в чем сомневались до него на основании показаний француза Лаперуза, который просто ошибся. И он, Невельской, не считаясь с министром Николая I Нессельроде, которого солдаты-матросы называли Кисельвроде, присоединил Уссурийский край, остров Сахалин и основал город Николаевск-на-Амуре.

В это время Невельской был вызван в Петербург, где Кисельвроде его разжаловал в матросы, а он уже был капитаном второго ранга. По семейному преданию, в Петербурге произошло следующее. За него стопроцентно выступил Муравьев-Амурский, очень толковый генерал-губернатор Восточной Сибири из знаменитой семьи Муравьевых, где всякие были люди – от Муравьева-вешателя до Муравьева-декабриста. Так вот этот был посередке: разумный человек – и не вешатель, и не декабрист, а генерал-губернатор, и очень хороший, Восточной Сибири и Дальнего Востока. И он был приятелем Невельского. Под влиянием Муравьева-Амурского Николай I в один прекрасный день вызвал Невельского, уже разжалованного в матросы, к себе во дворец, встретил в передней: "Здорово,

матрос Невельской! Следуй за мной!" Пришел в следующую комнату. "Здорово боцман Невельской! Следуй за мной". Пришел в следующую комнату: "Здорово, лейтенант Невельской!" Так, когда они дошли до кабинета, он поздравил его с контр-адмиралом. Значит, несмотря на Кисельвроде, Невельской из капитана второго ранга, перескочив капитана первого ранга, сделался контр-адмиралом, в каковом чине и помер. Он вскоре вышел в отставку, был в Петербурге, писал книжки. Кажется, они назывались "Подвиги русских морских офицеров на Дальнем Востоке".

Наконец, был еще один адмирал у меня – предок по материнской линии. Это был мой внучатый дядя – брат моего деда, дядя моей матери – Всеволожский. Я его еще застал; он умер в 1906 году, по-моему, на 86-м году жизни. И умер вот как, я вам расскажу, занятно. Он был морским офицером и прославился в турецкую войну 1877 г. тем, что взорвал на брангеле турецкий флагманский линейный корабль... Брангель – это парусная лодочка быстроходная с длинным бушпритом, к которому прикреплялась бомба. На парусную лодку садились обыкновенно двое – офицер морской, лейтенантик какой-нибудь, и матрос. Обыкновенно это происходило в сумерки, утренние или вечерние, разгонялись в направлении вражеской флотилии, наметив какой-нибудь большой вражеский корабль. И весь фокус заключался в том, чтобы разогнать эту лодку и в последний момент успеть прыгнуть в воду. В принципе – спасайся как можешь. Бомба взрывалась – и неприятельский корабль тонул. Вот таким образом старший лейтенант Всеволожский с матросом взорвали вот этот самый флагманский линейный корабль, вовремя выскочили с этим матросом и под прикрытием тьмы (море было слегка волнистое) умудрились как-то спастись. Благодаря этому он потом очень быстро сделал карьеру. Получил офицерский "Георгий", георгиевское оружие... и очень быстро сделался адмиралом. В конце XIX в. он уже был полный адмирал, и вот тут с ним такой курьез произошел. Со своей эскадрой он проделывал учебное плавание по Средиземному морю. Он был уже старый человек. И приехали они в Тулон, французскую военную гавань. И из Тулона его умолили съездить в Монте-Карло – играть. Он взял с собой несколько золотых франков – поехал посмотреть, что такое Монте-Карло. Поставил золотой на какой-то номер и получил в 32-кратном размере обратно. Так и пошло, пошло и пошло. А банк срывался, вот я не помню точно – не то, когда 3 млн, не то, когда 5 млн франков в тогдашнем... Банк проигрывал – считалось банк сорванный. На этот вечер игра прекращалась до следующего дня. Значит, таким образом, этот мой внучатый дяденька сорвал банк в Монте-Карло и, к страшному удивлению, миллионером вернулся к себе на эскадру. Сразу написал своему брату, моему деду Всеволожскому в Калужскую губернию, что едет и просит где-нибудь поблизости от себя подыскать хорошее небольшое именьице и чтобы вокруг дома и сад был, и парк был бы старинный большой, и речка с мельницей, и прудами... И вскоре, через пару дней, поехал со своей эскадрой дальше. Останавливались в портах на Средиземном море,

французских, потом итальянских, потом австро-венгерских (теперь юго-славских), потом греческих, наконец, Константинополь, и самое замечательное, что из Константинополя он своему брату, моему деду, послал письмо-телеграмму: "Пришли 100 рублей на обратную дорогу". Умудрился все эти миллионы оставить в Средиземном море. Оказывается, заходя со своей эскадрой в порт, он на три дня рестораны открывал для местного населения: "Жри, за мое здоровье, и пей". Так как этих портов на Средиземном море до черта, несмотря на дешевые цены того времени, он эти 3 или там 5 млн умудрился спустить. Не сам, сам он был непьющий старик; пил хорошие вина; не пьяница и вообще не кутежник, ничего такого, а вот, значит, спустил таким образом. Приезжая мальчишкой с родителями, я еще застал времена, когда в итальянских кварталах помнили "И конто русс", который открывал на три дня ресторан. Я-то уже его знал более чем 80-летним стариком. Старик был замечательный. Причем он решил, что, когда он состарится, а состарится в 85 лет, он застрелится. Так сказать, жить глубоким старцем не стоит. Он договорился с каким-то старым военно-морским лекарем, что он выдаст ему после самоубийства удостоверение, что это было не самоубийство, а острое умопомешательство старого адмирала. Для того, чтобы похоронили по-православному, как следует, нормально, с церковными молебнами, церковными обрядами (самоубийц ведь не полагалось нормально хоронить). Так вот, он в 1906 г. через несколько недель после того как отпраздновал 85-летие, застрелился и был торжественно похоронен по церковному обряду – чин чином. А до того отколол очень замечательный политический номер. Политику он презирал всю жизнь, но его брат, а мой дед Всеволожский был в свое время видным деятелем освобождения крестьян, потом земским деятелем.

В 1903–1904 г. земство для борьбы с падежом скота решило организовать ветпункты (в теперешней сокращенной терминологии) – пункты ветеринарной опеки крестьянского и помещичьего скота, для того чтобы бороться с возникающими эпизоотиями и т.д. А калужским губернатором был какой-то противный немец прибалтийский, статский советник, даже не превосходительство собственного высокородия, но по должности превосходительство губернатор... Он чинил всякие препятствия земским. Большинство губернаторов тогда были во вражде с земством, а земства – с губернаторами. Земство под влиянием левацкой интеллигентской пропаганды было в скверных отношениях и с хорошими губернаторами; приходится сожалеть: это привело к очень большим несчастьям в России. Но это был сволочной губернатор. Так вот. Адмирал из соседнего своего кабинета слушал, как в зале происходили заседания земства и все эти земцы, с его братом, моим дедом, ругали губернатора и плакались, что вот никак нельзя ветпункты заводить, что он чинит препятствия. Он слушал, слушал, потом пришел к ним, говорит: "Что, не знаете, как нужно действовать, а тоже политикой занимаетесь. Бросьте всю эту ерунду, через дня три я вам привезу губернаторское официальное разрешение на открытие любого числа ветпунктов в Калужской губернии". – "Как

это вы, мы вот бьемся три года..." А у него камердинер служил (я забыл его имя), вот тот матрос, с которым он на брангеле тогда подрывал турецкий линейный корабль, который вместе с ним спасся. Он так и остался при нем на всю жизнь. Так вот на следующий день он заказал четвериком большую карету с запятками. (У нас был старый каретный двор; там всякие коляски, кареты; была малая карета, большая карета, малый возок, большой возок. Мы, дети, страшно любили в каретном сарае играть, там можно было черт знает в какие игры играть. Вообще в этих старых экипажах очень даже интересно.) Этот матрос, который намного моложе был, но тоже старик: ему тогда было уже за 70, надел свой отставной, боцманский мундир. А адмирал надел свой адмиральский мундир со всеми регалиями – через все брюхо, лента и звезды все первой степени "Станислав", и "Анна", и "Владимир", и "Александр Невский", и "Белый Орел", и Георгиевский крест, и георгиевское золотое оружие – одним словом, при полном параде. Велел в карету посадить шесть овец, и отправились они в карете в Калугу, и приехали – до Калуги было 70, нет 60 километров – прямо к губернаторскому дому. Ну, страшное, значит, возбуждение возле него. К губернаторскому дому подъехала шикарная карета, и приехало его высокопревосходительство – полный адмирал. Боцман в своей парадной форме соскочил с задних запяток, отворил ему. (Все эти 60 километров они, кажется, с этим моим дедом ехали вместе в карете, а в Калуге-то он на запятки влез.) Ну вот, соскочил с запяток, открыл дверь, помог вылезти старику – высокопревосходительству. Тут выбежал камердинер губернатора, и сам губернатор появился встречать высокого гостя.

Их высокопревосходительство губернатору руки не подал, а просто так поклонился. ≪Я помню, – говорит, – всех наших духовных лиц и гражданских лиц называл на "ты" по-старинному. Я к тебе, губернатор, по делу≫. – "Что изволите, ваше высокопревосходительство?" – "Я привез к тебе лечить своих овец". – "Ну (Василием звали этого боцмана), ну-ка, Василий, веди их". И Василий ошейниками, значит, три пары, шесть овец выгрузил из этой большой кареты и привел в переднюю господина губернатора. По непроверенным семейным преданиям, овцы после длинного путешествия нагадили на паркет ему, этому губернатору, и вот тот остолбенел. "Как так?" – "Да так!", – говорит. "Оказывается, ты запрещаешь в губернии ветпункты устроить. Где же мне своих овец лечить? Запрещаешь ветпункты устраивать, так лечи их, пожалуйства! Кто мне их будет лечить, если ветпункты запрещены!" – "Да меня неправильно поняли..." – "Тогда пиши!" Губернатор тут же вызвал какого-то своего начальника и продиктовал грозное послание: "Немедленно разрешить земству открытие любого нужного количества ветпунктов в пределах Калужской губернии". Их высокопревосходительство прочли – правильно ли. Подпись губернатор поставил при нем, печать тоже. Все сложил аккуратненько, положил в карман, потом откозырял, повернулся и ушел и вместе с овцами приехал домой. Не только с овцами, но и с бумажкой губернатора. И он земцам сказал: "Вот как дела делаются

политические! А вовсе не как вы: спорите тут сами черт знает о чем, ругаетесь и теории дурацкие какие-то; друг друга в теориях убеждаете. Вот в полчаса я все это сделал!" – "Так это вы, ваше высокопревосходительство!" "Ну, может, кто-то из вас мог вместо меня в свое время! Значит, начинать надо правильно".

Он был полный адмирал, а все прочие из моих знаменитых морских предков полными адмиралами так и не были. Нахимов погиб в чине вице-адмирала, по-моему. Невельской умер вице-адмиралом. Головнин контр-адмиралом умер от холеры в Петербурге. Ну вот генерал-адмирал Синявин – этот, конечно, высокого чина, но он не полный адмирал был, а генерал-адмирал, что соответствовало фельдмаршалу. Поэтому фамильная традиция, по которой и меня должны были, грешного, отдать в морской корпус, вроде как Сережку и Никса Нахимовых. Они потом благополучно выбрались на свет божий из морского. А у меня, слава Богу, отец был благоразумным и решил, что достаточно предков служили военными. Пусть идет в обыкновенную гимназию и далее на работу.

Учился я сперва в Киеве в I Императорской Александровской гимназии. Это была одна из последних в России военизированных гимназий. Когда-то до середины XIX в. в России были, помимо обычных, военные гимназии. Это был такой гибрид между корпусом и гимназией. Там много военного дела преподавалось, классы тоже были распределены по ротам и батальонам и т.д. Их за вторую половину XIX в. позакрывали и превратили в обыкновенные гимназии. Но вот несколько осталось. У нас было много военного строя, и каждую весну мы в лагере проводили май месяц в палатках, на берегу Днепра. Устраивали с кадетским корпусом морские сражения на лодках в ноябре. Это официально было запрещено, но, конечно, неофициально начальство смотрело сквозь пальцы. Только следило за тем, чтобы не принимали участия плохо плавающие.

Я-то плавал прекрасно. Я с 13 лет стал членом Императорского Российского общества "Спасатели на водах". (Было такое.) Пять классов гимназии нашей Императорской Александровской давали право при поступлении на военную службу поступать сразу младшим унтер-офицером. Права младшего унтер-офицера давали, их надо было выслужить. Солдату надо было стать сперва ефрейтором, потом младшим унтер-офицером, потом старшим унтер-офицером, сержантом – значит, младший сержант, старший сержант, фельдфебель, старшина. А в казацких войсках, куда потом я попал, вместо фельдфебеля был вахмистр. Я всегда хвастаюсь тем, что в 17-м году я одновременно выслужился до вахмистра, как товарищ Буденный. Так он потом карьеру сделал, в маршалы вышел, а я так вахмистром и остался. А кончал гимназию в Москве уже. Изучал все, что полагается в средней школе: русский, литературу – русскую и иностранную. Праязыки: латинский язык, в некоторых классических гимназиях еще второй мертвый был – греческий. Обязательные – немецкий и французский, необязательный – английский. Затем русская словесность и мировая литература. Затем история России, история всеобщая; затем география общая, география России, география Европы. В старших клас-

сах экономическая география и основы физической географии; основы законоведения, основы логики и психологии. И Закон Божий, конечно. История церкви. В старших классах очень интересный предмет – основы богословия, история православной церкви. Да, в младших классах – природоведение, а затем ботаника и зоология. В старших классах еще (это не всегда) анатомия и физиология. Обязательно Дарвина не заставляли читать... Кто хотел – читал, а не хотел – не читал. Я-то читал Дарвина. Начал читать "Путешествие ... "в девятилетнем возрасте. В 1917 г. я закончил гимназию и поступил в университет.

Примерно в эти годы я, с одной стороны, работал спасателем, дежурил, а с другой стороны, на Днепровской биологической станции гидробиологией немножко занимался и изучал рыб в бассейне Верхней Десны (это левый приток Днепра), а летом, бывая в имении в Калужской губернии, изучал левые притоки Оки, в особенности Жиздру. Это очень интересное место, где сравнительно недавно, т.е. совсем позавчера, как говорится, с геологической точки зрения, какие-нибудь полторы тысячи лет тому назад, Жиздра была еще притоком не Оки, а Десны, т.е. другого речного бассейна. Не Волжского, а Днепровского, не Каспийского, а Черноморского. И конечно, сравнивать ихтиофауны Верхней Оки и Верхней Десны очень занятно. И к сожалению, так никогда ничего и не опубликовал, потому что начал заниматься эволюцией, потом гражданская война, было не до этого.

С последнего предвоенного года и в годы первой мировой войны я много ездил в экспедиции. Дважды по Карелии, на Ладожское и Онежское озера, потом по карельским озерам и рекам, уходил в Кандалакшскую губу и, конечно, по заливу Белого моря. Там по берегу до Кандалакши, а затем пересекал Кольский полуостров до Екатерининской гавани тогдашней, теперь это Мурманск. Обратно обыкновенно уже на пароходе через Соловецкие острова в Архангельск, из Архангельска по железной дороге в Москву. Я два таких путешествия совершил летом 1915 и 1916 гг. Я собирал рыб для Московского зоологического музея университетского и для Зоологического музея Киевского политехникума.

Тогда Игорь Грабарь и Муратов впервые всерьез занялись расчисткой и реставрацией старинных русских икон. Грабарь и Муратов считаются по праву первооткрывателями древнерусской живописи, потому что все древние иконы раньше ценились тем больше, чем чернее и закопченнее они были. А Грабарь и Муратов организовали такую лабораторийку по реставрации живописи и там отмывали и реставрировали иконы. Обнаружили изумительную многокрасочную живописность старинных икон. Потом это было применено и к настенным фрескам, к реставрации древнерусских часовенных фресок. Этим я очень интересовался тоже, и Грабарь с Муратовым мне поручили, так как я в Карельской экспедиции два года проводил, собирать древнерусские иконы – "бублики". А древнерусские иконы назывались "бубликами" вот почему. Во времена Николая I одно время были преследования старообрядцев, которые призна-

вали только старинные дониконовские иконы. Было приказано полиции и жандармерии отбирать у старообрядцев древние иконы. А так как иконы – священный предмет, то обращаться с ними надлежало аккуратно. Дрелью прокручивали маленькую дырочку в уголку где-нибудь и на тонкую проволочку нанизывали как бублики. Штук 16–20 их нанижут, проволочку закручивают, припечатывают казенной печатью и сдают на хранение в церковные ризницы. Так они, между прочим, кое-где до сих пор долежали. А в те времена я в церковных хорах пел, а кроме того, всякие так называемые русские и русско-цыганские романсы. А тогда появился в Москве и Петербурге Вертинский. Известный такой куплетист эстрадный. Он был и в Америке известен в 30-е годы, и по всему миру. Известны знаменитые песенки Вертинского: "Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли...", "Сероглазый король" (на слова Ахматовой). И затем "До свиданья, друг мой, до свиданья" (на слова Есенина) и т.д. Я иконы собирал с художником Нестеровым, который был намного старше меня, и с тогда уже стариком Огневым, не Сергеем Ивановичем, зоологом, а его отцом, гистологом, профессором гистологии Московского университета Иваном Флорычем Огневым. Мы целую зиму ходили по всей Москве. Огнев, гистолог был величайший знаток всех московских церквей. Мы с Нестеровым у него этому делу обучались. По субботам вечером и по воскресеньям в предобеденное время ходили по всенощным и обедням во все московские церкви. Иван Флорыч Огнев нам рассказывал все замечательное о них, а мы с Нестеровым, кроме того, коллекционировали дьяконов – голосистых басов. Начать "Апостола" с нижнего "ля" – самого нижнего "ля" контрактавы" – это вообще не каждому дадено, а кончить на ми-бемоль наверху! Когда я в Карелии попадал в какое-нибудь село в церковь, я обыкновенно чай пил у батюшки, у священника, разговаривали мы с ним на духовные церковенные темы, и я у него выпрашивал эти самые иконы из ризницы. Он с удовольствием мне выдавал эти самые "бублики", чтоб не отвечать за них, а иногда священник уезжал на сенокос, потому что там сенокос часто где-нибудь за озером, в 30–40 верстах от села. Уезжал на несколько дней батюшка на сенокос, а дома оставались поповны, т.е. дочки священника. А эти северные поповны – это были девки, как раньше у нас говорилось, "на ять", что надо девочки. Но глубоко провинциальные, в газетах читали о Вертинском, но никогда не слышали, тогда не было никакого ни радио, ни телевидения, да и граммофонов почти не было, и пластинок почти не было, особенно у карельских-то. И вот попа, скажем, нет, поповен возьмешь в лодочку, белой ночью. Поповны обыкновенно (там какая-нибудь из поповен хорошо на гитарке играла) захватывали гитарки; я греб, катал их, значит, по озеру в белу ночь и распевал старинные романсы, русско-цыганские и песенки Вертинского. Поповны млели, конечно, особливо от песенок Вертинского. И я, значит, их быстро и просто уговаривал выкрасть из церковной ризницы "бублики" и подарить мне. Что они и делали. Так что я ни одного рублика на "бублики" не использовал. И набрал достаточное коли-

чество коллекций зоологических и коллекций "бубликов". Удовлетворил я зоологические музеи и организуемую тогда лабораторию реставрационную, которая сейчас превратилась в Центральный, кажется, государственный институт реставрации.

Затем с Сергеем Ивановичем Огневым я много болтался по зоологическим экскурсиям в Средней России. Долины всех крупных рек исходили мы, в озерном крае в северо-западном ходили. Ведь Сергей Иванович Огнев был замечательный фотограф. По тем временам были совершенно первоклассные его фотографии о животных в природе. И хороший он человек, и мы с ним с большим удовольствием экскурсировали и были в нескольких экспедициях. Особенно интересна была экспедиция наша в киргизские степи, теперь это Казахстан называется, совершенно избитая, иссушенная, испоганенная область. Тогда там обширные стада овец кочевали по киргизским степям. Там, на озерах Чингиз и Чалкар-Тенгиз мы коллекционировали птиц, опять-таки для музеев. Моей задачей было стрелять и обдирать тушки птиц. При этом приключилось однажды такое, благодаря чему вы сейчас имеете честь и удовольствие беседовать со мной. Дело в том, что я единственный, насколько мне удалось установить, много поездивший по миру, человек, обгаженный в природных условиях пеликаном. Найдите, пожалуйста, второго такого. Майр – старый орнитолог, и тоже, наверное, не знает ни одного, которого бы в природных условиях обгадил пеликан. А вышло это таким образом. Я уже "укекал" одного кудрявого пеликана; нужен был второй экземпляр. Тогда пеликанов было до черта, и ехал я один, верхом себе на лошадке – у меня казацкая была такая лошадка; не казахская, а казацкая, донская лошадка, замечательная, подъехал к небольшому озеру в лощинке. Какое-то солоноватое озеро, вокруг камыши и тростники, и на озере плывет целое стадо пеликанов: полукругом гонят в маленький заливчик рыбу. Пеликаны любят охотиться на рыбу. Полукругом таким плывут и своими этими мешками воду роют, и мелочь всякая, рыбешка, от них убегает. И они таким образом ее в заливчик или в бухточку загоняют, где и начинают жрать ее. Я с лошади слез, лег на живот и пополз за камышками. И когда подполз я на достаточное расстояние к пеликанам, пеликаны мне навстречу тоже на достаточное расстояние приблизились. Для верного выстрела я выбрал пеликана, которого хотел себе заиметь, выпалил и убил его. А остальные пеликаны страшно испугались, всей стаей поднялись в воздух и перелетели через меня. И со всеми с ними со страху случилась медвежья болезнь. И все в воздухе обкакались, а один пеликаний "как" угодил прямо мне в лоб. Понимаете? А это, надо вам сказать, величиной с телячье, по крайней мере, но рыбное, с пенцой и духом. Ужасно противная штука, должен вам сказать. Ну мне все равно пришлось бы лезть в воду за убитым пеликаном, ну я тут уже разулся, вернее, сапоги стащил, штанцы, по-моему, тоже сбросил, рубашку не стал снимать, потому что в рубашку попал весь пеликаний "как". И – в воду побыстрее, вымылся: песочек нашел, вместе с песочком себе голову вымыл. Убитого пеликана вытащил и поехал домой, в юрту нашу.

Я ездил по всяким странам, я во всех странах Европы, кроме Португалии, был. Даже во всех этих микрогосударствах был, конечно, и в Монако, и в Лихтенштейне, в Сан-Марино, и в республике Андоррии. В республике Андоррии я был в интересное время. Когда во всей Европе говорили о сокращении вооруженных сил в 30-е годы, я присутствовал как раз при утроении андорской армии. В Андоррии численность жителей, кажется, не достигает 10 тыс. И еще – там четыре деревни горные и территория, приблизительно вроде одного из крупных райнов города Москвы. Так в Андоррии, столице, была самая большая такая изба – это было государственное здание. Там правительство сидело, состоявшее из президента и его секретарш, и перед дверями стоял солдат, вернее, сидел на стуле и дремал. Затем были две казенные избы и склады. Один склад – для козьей и овечьей шерсти – это один продукт, который производила республика Андорра, а другой продукт – вроде брынзы, сыра, т.е. козий и овечий по преимуществу, – это в другом складе хранилось, до тех пор пока все это не свозилось. И перед этими государственными складами тоже сидели и дремали солдаты. В действии были три солдата и над ними командующий офицер. И было шесть солдат и два офицера, потому что до 12 ч они дежурили, и раз в сутки сменялись эти дремлющие военные силы. И вот кто-то из туристов наболтал андоррцам, в том числе и армии андоррской, о том, что во всех цивилизованных странах давно восьмичасовой рабочий день. Да, восьмичасовой рабочий день. Тут армия возмутилась, сказала: ”А мы какого черта 12 ч работаем? Значит, пришлось увеличить армию в три раза, потому что по 8 ч – это три смены, затем запасная смена, и вот, значит, соответственно офицерский состав был утроен, а солдат вместо шести было двенадцать. А офицеров – шесть. Вот так что это восемь – было явлением противоестественным. Весь мир заботился о сокращении войск и о мирной жизни, а республика Андорра утроила свои военные силы.

В конце 17-го года меня еще не призывали, не мой год, но мне было совестно, все воюют, а я вот рыб собираю. Я добровольцем пошел в действующую армию. Пошел-то я в первый Новочеркасский Донской казацкий полк. По причине своего казацкого происхождения я решил, что воевать-то казаком лучше. Казаки же – кавалерия, но в конце первой мировой войны вся кавалерия была спешена и превращена в пехоту. Мне все это стоило всяких хлопот, нервов и неприятностей. Во-первых, так как я попал в кавалерию, а 5 классов в Александровской гимназии давали право на младшего унтер-офицера пехотного, то меня на один чин понизили – сделали ефрейтором, а в казацких кавалерийских войсках ефрейтором назывался приказной казак. Меня приказным казаком сделали. Ну, я быстро в чине потом поднагнал. Вахмистром стал примерно одновременно с товарищем Буденным, который меня потом обогнал и вышел в маршалы, а я так и остался вахмистром. Но я-то верхом ездить мог почти как циркач: задом наперед и вверх ногами, как угодно. Я с детства к лошадям приучен – по имению. И в ночное гоняли лошадей без седла и всячески. Но никогда не проходил кавалерийского

военного строя. А ведь это вещь особая. Мы действовали на румынском фронте. С перерывами. Тогда уже началось помаленьку разложение. Подготовка Октябрьской революции. А потом, когда мы с Божьей помощью разложились и война для нас кончилась, со мной всякие приключения были. Я три месяца в бандитах проработал, это самая тяжелая работа была. Банды были еще задолго до Махно, года за два, в 18-м году. Я возвращался как раз верхом в конном строю с разложившегося фронта домой в Москву из Румынии. А на Украине тогда черт знает что делалось. Власти сменялись каждые два месяца. Были атаманы всякие и гетман Скоропадский, который вместе с немецкими оккупантами действовал. Немцы вели там себя безобразно до последней степени. Хуже чем гитлеровцы в некоторых местах России. Ужас, ужас. Я ж немецкий язык с детства знал: бывало, слушаешь, как приказ отдает немецкий офицер своим солдатам: "Чтобы всех свиней ликвидировать, этих русских свиней". Еще на бумажке это пишет.

И там образовались банды анархистов. Они себя называли анархистами. Они были и красные, и белые, и зеленые, и черные. И вот одна такая банда меня "пымала". И предложила на выбор: либо поработай с нами, либо мы тебя к стенке. Я говорю: "А вы на чем работаете?" – "А мы немцев гоним..." Я говорю: "Так это я с удовольствием. Приятнее немцев гнать, чем к стенке становиться, так ведь?" Так я три месяца проработал в банде папы Гавриленки. Он говорил: "Мы, анархисты. Я ученик самого пана князя Кропоткина". Он никогда пана князя Кропоткина в глаза, конечно, не видел. А я-то случайно родственник этого анархиста, потому что этот самый пан князь Кропоткин – т.е. "анархисть", он двоюродный братец моей бабушки. Причем младше моей бабушки значительно. Так что, когда он вернулся в 17-м году в Москву, потом я еще до его смерти с моей бабушкой несколько раз бывал у него на Пречистенке. И ел подаренное ему Лениным малиновое и вишневое варенье с чаем, и было очень занятно. Это был настоящий барин. Я был студентиком. Спорил с ним тогда я насчет дарвинизма. Я тогда не допонял его книжки "Взаимопомощь как фактор в борьбе за существование" – это очень умная книжка. Действительно, взаимопомощь – это важнейший фактор в борьбе за существование в естественном отборе. Было занятно. Он старый барин, ему было за 70 лет что ли там, настоящий такой джентльмен; причем он всегда мою бабушку Софью Васильевну на "вы" называл, а она его на "ты", потому что была на 20 лет старше его. По младости лет я спорил о дарвинизме, обо всякой всячине, об анархизме. А он очень мило, очень так по-джентльменски, тоже на равных правах мне отвечал. У меня удивительно приятные воспоминания остались. Все-таки настоящий старый барин – замечательное явление.

Так вот я этому пану Гавриленке раз сказал: "Ты мне про самого пана князя Кропоткина не ври, потому что ты его никогда в жизни не видел и не читал ни строчки этого пана-то Кропоткина, а мне-то вот он внучатым дядей приходится. Двоюродный братец моей бабушки". И тут пан Гавриленко воспылал большим почтением ко мне.

А работа наша была очень тяжелая. Нас было 17 человек конных. В основном казаки. И вот банда в несколько сот человек на тачанках, с бабами, с водкой, с шустовским коньяком, где-то реквизированным, со всякой жратвой. И в общем, мы-то должны были гнать немцев с Украины и кормить эту банду. Это было очень тяжело, потому что нас интересовали немецкие части не ниже батальона. А батальон – это все-таки несколько сот солдат, а нас 17 человек. У батальонов были значимые обозы, а наша задача была отбить у немцев прежде всего обозы. И к счастью, командиром нашей вот группы казацкой оказался мой школьный гимназический товарищ Чекунов, тоже казак донской по происхождению. Но я-то вахмистром остался, а он успел во время Керенского достичь чина хорунжего. Хороший очень парень был Чекунов, и мы разработали с ним замечательную тактику и стратегию. Нам хохлы доносили, где немцы расположены, и мы с наступлением темноты, по возможности бесшумно, отрядом в 17 сабель, подходили к хутору, занятому немцами, а потом при въезде в хутор рассыпались так называемой казацкой цепью.

И когда мы нападали на обоз, часто лошади не были даже распряжены, а просто им кормушки с сеном подвешаны. Угоняли обоз отстреливаясь. Пока немцы сообразят в чем дело, мы успевали выгнать обоз за пределы хутора и по нам известным, а немцам неизвестным грунтовым окружным дорогам – по направлению к банде. Таким образом и жили. В общем, это партизанская война своего рода была. И я с успехом этим занимался до одного печального случая. Мы влипли однажды очень здорово. Река Десна как раз только что замерзла, но не только конного, но и пешего лед не держал еще. Вдоль Десны идет шлях. А тут опушка леска с дикой грушей, колючки сплошные. Продраться через дикие груши невозможно. И мы идем. Нам донесли, что вот тут вот, в этом хуторе стоит немецкий батальон с прекрасным обозом. И мы, так сказать, с выработанной тактикой подходим, а за нами, оказывается, шел немецкий уланский эскадрон. А это – полтораста сабель и пики. Значит, наше конное преимущество – к чертям собачьим, а у немцев оказалась пулеметная рота.

Тогда только в конце первой войны появились эти отдельные пулеметные роты у немцев. У нас их не было, пулеметы были распределены по пехотным частям. А у немцев были уже отдельные пулеметные роты. И тут был батальон с обозом и пулеметная рота. Впереди пулеметная рота – она и в темноте косит; пулемет – это самая гнусная вещь. Артиллерия, можно сказать, ураганный огонь – пустяки. На мужиков малограмотных производит самое большое впечатление ураганный артиллерийский огонь, а на интеллигентов – пулеметный. Когда лежишь с пулеметом, прижавшись к земле, и знаешь, что вот достаточно случайно чуть-чуть дуло опустить, и тебя, очередью скосит. Гнусно. "Зер гнусно", выражаясь по-немецки. Так, впереди пулеметы, а сзади – эти. Но мы сразу с Чекуновым военный совет учинили, и в первый раз всерьез я применил математическую статистику в приложении к биологическим проблемам. Единственно вероятной для нас была такая штука. Направо не подашься – Десна; налево не подашься – груша. Впереди – пулеметная ро-

та чешет; сзади – уланы подходят. Мы решили, что единственная наша возможность куда-то пробраться, это пики – вперед, сабли наголо и врезаться в этот уланский эскадрон. Просто по теории вероятности: кто-нибудь проскочит, кто-нибудь останется на месте. Мы так и поступили. Сообщили нашим казакам, что вот единственная для нас возможность такая, мы обдумали зрело – и давай, ори "Ура"! и сабли наголо, врезайся в уланов и по возможности крой саблей направо и налево. Ну я, значит, среди первых. С Чекуновым мы тоже врезались в уланов. Я сабелькой махал направо и налево и потом – ничего не помню. Очухался: ночь темная, звездное небо, я на самой опушке этой колючей груши лежу на земле, рядом грызет с колючей груши кору мой казацкий конь. Он даже от мертвого казака не отходит долгое время. А конь-то не дурак, видит, что я живой еще. Ну, я стал приподыматься, гляжу, все вроде на месте, руки на месте, ноги на месте, башка трещит – ужас. Оказывается огромная шишка за теменем и огромная шишка рядом с самым виском. По-видимому, меня хватанул улан. Прежде чем я его хватил саблей, он – меня, но попал саблей плашмя, сбил с меня папаху, и я потерял сознание, по-видимому, и чебуракнулся с коня и такую шишку посадил уже, стукнувшись головой. Вот и "болить" страшно; все кости ноют. Конь страшно обрадовался: немножко так тихонько, шепотом, поржал, подошел ко мне, понюхал. Я его понюхал. Мы с ним немножко поласкались друг с другом. Я на него влез и к утру разыскал нашу банду. Мы с Чекуновым оказались, конечно, правы. Из 17 человек погибло только четыре, семь человек были ранены, считая меня. Причем легче всех я отделался: двумя шишками всего. Только и всего. Ни одной поломанной кости. Чекунов, бедняга, получил что-то 17 или 18 ран стреляных и резаных, но все легких. Его прямо как бифштекс, значит, обработали. Ну а пан Гавриленко его коньяком снаружи и "снутри" лечил. И вылечил: через две недели он опять на лошадь влез. Коньяк и снаружи действует стерилизующе – крепкий, хороший, шустовский коньяк. Тот, что исчез. Армянский. Ведь армянские коньяки – это шустовские. И в Ереване-то знаменитый завод, который показывают, коньячный – это шустовский завод. Через пару недель после этого случая я пришел к пану Гавриленке и сказал ему: "Ну довольно, послужил. Я теперь поеду "до дому", в Москву, прямо к пану князю Кропоткину". И он стал дарить мне всякие золотые вещи, которые они награбили, какой-то портсигар с надписью: "Дорогому Савве Морозову от благодарных рабочих" или что-нибудь этакое. Часы всякие с брелками. Я говорю: "Мне чужих вещей не надо. Ты мне сала побольше дай и хлеба несколько буханок". И он действительно мне всяких продуктов надавал. Торбы на лошади все были загружены у меня жратвой и еще – заплечный мешок. И я поехал опять продолжать свой конный поход из Румынии в Москву. Так, значит, в конце концов к самому пану Кропоткину и доехал. С легкими приключениями. Доехавши до границы, я сменял свой казакин, казацкую папаху изрубленную, на мужичий полушубок и мужицкую одежду, более подходящую к более суровому климату и наступившей зиме, валенки. Коня своего подарил

мужикам за границей уже, в пределах РСФСР. Свою винтовку, карабин был хороший, тоже выменял еще на какой-то хлеб или какую-то еду и с попутным мужиком – уже снег лежал на дровнях – поехал на север в направлении Москвы. Потом где-то подсел на какой-то товарный состав, который шел в направлении на север: так помаленьку, через несколько недель доехал до Москвы.

Приехавши в Москву, я стал грузчиком Центропечати и издательства "Жизнь и знание". Грузчиком на тяжелой работе. Это благодаря блату – на теперешнем советском языке. Да, по блату – через Бонч-Бруевича. Деньги, конечно, никакой наукой заработать тогда нельзя было. Тогда поголадывали и всякие академики, и профессора, и никому наука не нужна была. Но грузить литературу и бумагу нужно было. Поэтому под эгидой Бонч-Бруевича организовали мы артель грузчиков. Артель наша работала очень хорошо, мы получали карточки первой категории – дополнительные карточки за тяжелую работу. И кроме того, имели то, что сейчас называется "подработок налево". И это вот что. Тогда за бумагой и литературой (бухаринской "Азбукой коммунизма") приезжали всякие губернские и уездные комиссары со всей "ресефесери", даже Советского Союза. А уехать из Москвы, так же как и приехать в Москву, было очень хитро, потому что никакого расписания на железных дорогах не было и поезда ходили по "произволению господнему". Когда, значит, Бог пошлет возможность какому-нибудь составу, паровоз с прицепленными вагонами двинется, он и двигался в каком-нибудь направлении – либо от Москвы, либо к Москве. Значит, такие комиссары, получившие бумагу – кто бумагу, а кто литературу, – с огромным грузом иногда недели ждали, иногда пару месяцев, пока – как всегда у нас делается – им не говорили, что через три часа вы уедете. После того как они, скажем, семь недель ждали. И тогда их нужно было грузить в один момент и отправить на вокзал. Ну это их было собачье дело, они добывали через какое-нибудь учреждение одну из немногих тогда циркулировавших по Москве машин, а машины ходили на автоконьяке. Автоконьяк – это смесь спирта с газолином. На этой смеси работали немногие тогда грузовики московские. Но автоконьяк можно было употреблять и – более целесообразно – внутрь. Автоконьяк можно было великолепно пить, только нужно было выпить и крякнуть. Что и делали тогда. Это ценность была большая. Артель наша грузила, а это действительно тяжелая работа, всякие тюки, бумаги. И литература была двух сортов: малые – 5 пудов; крупные – 7 пудов. А 7 пудов таскать, особенно по лестнице, на собственной спине, как тогда было положено 8 ч в сутки, конечно, занятие скучноватое. Мы поэтому занимались этим медленно. Председателем нашей артели, так сказать начальником, был такой Иван Иванович. Пожилой уже рабочий от Грачева. Это в Охотном ряду было такое рыбное заведение: рыбой всякой торговали. И он всегда заранее узнавал, когда соответствующий комиссар, которого мы грузили на определенную машину, должен был прямо к отъезжающему поезду быть подвезен. Это для нас были самые выгодные случаи. Потому что мы могли

тогда использовать всю революционную демагогию. Значит, Иван Иванович был начальником артели, а я при артели состоял, во-первых, грузчиком, а во-вторых, демагогом. Мы грузили в таких случаях медленно очень и к четырем часам, когда полагался конец рабочему дню нашему, тут моя деятельность начиналась. Я начинал толкать речугу: "Попили нашей кровушки" и так далее; "Конец буржуям" и прочее; "Это вам не царский режим"; "Кончай, ребята, полно дурака валять" и так далее. Одним словом, на эту тему распространялся некоторое время. Комиссар этот, несчастный (а они в кожаных куртках с револьвером-пушкой на поясе приезжали), сперва рвался, хватался за этот самый револьвер. Мы его держим; я его похлопываю по плечу, говорю: "Успокойся, дурак. Ты в Москве, а не у себя. А то мы у тебя пушку отберем и морду еще набьем". А этот самый Иван Иванович-то к нему с другой стороны подходил. "Конечно, ежели посмотреть с точки зрения и при некоторых условиях можно и того". Пока этот дурак-комиссар не поймет, в чем дело. Ну, кончалось тем, что вся наличность, которая при нем была, к нам поступала. Кожаный широкий пояс чекистского образца к нам поступал. Он очень ценился на подметки тогда. Затем, ежели у него шапка хорошая, тоже к нам поступала. Одним словом, обирали мы его, как липку. А у нас в артели был еще Ванька такой. Паренек совсем молодой, ему лет 17 было, и он был специалист по автодырочке. А автодырочка – это то место, в которое впускают и из которого можно вылить автоконьяк при машине. Теперь это тоже есть. Такие автодырочки в машинах, где бак с бензином. Но тот бак все-таки с коньяком был. Шофер, конечно, пока мы обирали этого комиссара, тоже подходил. Ну а Ванька в это время (у нас артельный такой бачок был – литра на два) выпускал два литра автоконьяку из машины в нашу пользу. Мы всегда честно оставляли минимум на дорогу до вокзала. Мы же не разбойники какие-нибудь. Мы честные люди были. Жить-то надо было. И вот таким образом обирали этого человека, а потом, Господи, я же демагогически подавал команду: "А теперь, ребята, всерьез". И мы в 15 мин набрасывали полную эту машину 50-пудовыми тюками рогожными, и они благополучно уезжали на оставленном нами совершенно честно автоконьяке. И мы с автоконьяком артельно шли в извозчицкий трактир на Сретенке. В 18–19 гг. это было неизвестно, какое учреждение. Бывший владелец там был теперь управляющий. И в общем там можно было получить советское питание, которое интеллигенты, сведущие во всяких науках, называли бескалорийным. Никаких калорий в нем, якобы, не содержалось. А можно было замечательное получить: суточные щи с убоинкой и с кашей, и, главное, кусок хлеба за автоконьяк. Себе по рюмочке оставляли и великолепно питались. И оттуда я отправлялся в зоологический музей заниматься зоологией. А вечером – в кружки наши. Мы тогда занимались. Тогда поэзии развелось всякой до черта. Самое занимательное было направление "художественно-поэтические ничевоки". Издавались всякие эти символисты, и декаденты, и футуристы, и "ничевоки", и эгоцентрики, космо какие-то люди". Совместно издавали на какой-то клозетной бу-

маге такие сборнички; сами набирали. И "ничевоки" действительно оставляли пару пустых страничек. Они проповедовали, что для достижения поэтических вершин лучше всего никаких стихов не писать. И были совершенно правы, потому что все стихи были много хуже чистой бумаги. И этим занимались до поздней ночи. Я к тому времени был натренирован на малое спанье. И так до следующей какой-нибудь фронтовой авантюры. Ну, деникинцы там наступают, почти Тулу взяли, и опять же совестно стало, что другие люди воюют, а я вот автоконьяк "впущаю" из машин.

Отправился в 12-ю Красную Армию. Попал в 117-й отдельный стрелковый батальон 12-й армии, в особую лыжную роту. Ну, лыж там никаких, конечно, не выдали, а выдали лапти. Но не липовые, хорошие лапти, а ивовые лапти. Их жизнепродолжительность примерно 3–4 дня. Через 3–4 дня они разваливаются к чертям собачьим. Так что мы воевали в старых, картофельных, где-нибудь украденных мешках, которые мы шпагатом, веревками привязывали к ногам. И вот в таком виде воевали против деникинцев. И получили мы, как их называли солдаты, "пердянки". Берданки образца 1886 г. Четырехлинейные. (Линия – часть дюйма).

Во всем мире с конца XIX в. трехлинейные винтовки военные, а эти были четырехлинейные. Поэтому они для стрельбы были непригодными, потому что никаких четырехлинейных патронов давным-давно с конца 80-х годов – во всяком случае, в России, да и вообще в Европе – не существовало. Значит, стрелять было нечем. Штыки были такие, чуть ли не суворовского образца с большим коленом, огромные штыки. Но были берданки хороши тем, что, во-первых, ими можно было дрова заготавливать. Мы берданками, прикладами по команде в деревнях избы рушили. Значит, можно было сдернуть по бревнушку, а там в бревно, опять по команде, по одному слою три-четыре штыка вгонишь, повернешь по команде опять, бревно раскалывается. Каждую половинку нужно опять расколоть. Потом одну половинку на другую положив, начать прикладом их сбивать. Получаются из избы дрова в конце концов. А на дровах можно и варить чай, т.е. снег просто топить. А в качестве чая употребляли у кого что есть: листья сушеные, морковку сушеную, что придется. А иногда просто кипяток. Так что берданки не были вполне бесполезны. А можно было избы превращать в дрова и пользоваться берданками как холодным оружием, и по команде "ура", "в штыки" бросаться на врага, и прокалывать ему живот этими суворовскими штыками.

За кампанию мы Деникина в конце концов прогнали обратно аж до Черного моря. Нам приходилось в нашей особой лыжной роте отдельного 117-го батальона – отдельный батальон – это на правах полка, – нам приходилось у противника отбивать оружие стреляющее. Кончил я кампанию самым высшим классом тогдашнего оружия – японский кавалерийский карабин, небольшой легкий шестизарядный. Тютелька в тютельку подходили наши трехлинейные патроны; только обоймы-то были шестизарядные, еще лучше. Как они назывались, я не знаю – японские, японские кавалерийские карабины. Тогда это был высший тип оружия, самый модернистый. И главное – легкий, портативный, замечательная вещь.

А потом, победивши Деникина, Красная Армия рассыпалась. Я в какой-то группе уже двигался на север, дошел почти до Тулы, и тут переночевали мы где-то, по-моему второй или третий раз за всю зиму, в избе. А то ночевали просто в снегу на улице. И "пымал" "семашку". "Семашками" тогда назывались вши сыпнотифозные.

Семашко удивительно милый человек был. Так вот. Он в Берлин к нам приезжал, когда еще был наркомом до своей отставки, мы вспоминали с ним хорошие времена. Он говорил: "Тут работаешь министром, толку никакого же, никакой славы, ничего". А так вся Россия знает "семашки". Страшно рад был. Говорит: ≪Господи, на этом я прославился на веки вечные – "семашками"≫.

Так вот, "пымал" я "семашки" и заболел сыпным тифом. И переболел в брошенной деревне, зарывшись в сенном сарае, в сущности на морозе. По-видимому, сильным тифом, потому что несколько раз терял сознание, очухивался в снегу. И пока не нашла меня там какая-то проходившая красная часть, тоже остатки какого-то батальона или роты. И меня под Тулу привезли в так называемую сыпную часть.

Сыпной частью назывались тогда сыпнотифозные госпитали военные. Туда ссыпали красноармейцев и тифозных, и больных, и раненых, и всяких. И меня ссыпали. Там я проболел полтора месяца. И я был вторым, выписавшимся из этого учреждения – а учреждение было примерно на две с половиной тысячи душ, – я был за полтора месяца вторым выписавшимся. Значит, практически все дохли. В первое время у меня сил не было даже на брюхе ползать, как крокодил. А потом насобачился немножко переползать к покойникам. А у мертвого солдата в вещевом мешке все-таки есть вероятность корочку сухую найти. И так я по покойникам ползал, корочки собирал, иногда очень тяжело было с покойников последнюю корочку "сымать". Но меня выручила сестра милосердия. Все это учреждение было на одной сестре милосердия. Ну, сейчас они называются медсестрами. И правильно, они не милосердные сейчас, а скверные советские служащие. А тогда они действительно были милосердные сестрицы. И вот такая милосердная сестрица как-то появилась обозреть свои владения, кучу этих покойников. Кажется, через каждые три дня приезжал целый обоз фургонов с солдатами, которые всех этих покойников раздевали и в фургонах увозили в братские могилы, а одежду – в какое-то другое место; часть крали, конечно. И этот же обоз привозил новую партию, значит, еще живых, красногубых. И вот эта сестрица увидела, что я жив, двигаюсь и спросила: "Ты кто?" Я говорю: "Что, не видишь?" – "Откуда, – говорит, – видно-то". – "А я, – говорю, – студент Московского университета". Она страшно обрадовалась. "А я, – говорит, – студентка, медичка, Второго Московского университета". Это бывшие Высшие женские курсы, тогда были превращены во Второй университет. "Ну, – говорит, – как же ты до сих пор не помер?" Я говорю: "Я такой вот не смертельный. Меня ни пули не берут, ни сабли, как следует, не берут. Вот этот самый сыпняк тоже что-то. Помираю, помираю, а помереть не могу. Жрать только очень хочется". – "Это, говорит, – хорошо: значит, не помрешь".

А жратву нам приносили два ведра на все это учреждение. Две такие полуразрушенные фабричные залы были. Посередке каждой почти каждый день солдаты ставили по ведру "карьих глазок". А "карьими глазками" назывался вобленый суп. А что такое вобла, вам известно? Вяленая, сушеная. Пища нищих. А сейчас, когда где-нибудь появляется вобла, возникает длинный хвост из баб и дам, и чуть друг другу волосья не вырывают из-за этой воблы. Воблу вот в "Березке" можно купить – на доллары. А была это пища нищих. Она почти ничего не стоила. Покупали люди, которым жрать нечего. Так вот. Из отрезанных голов воблы варилось что-то вроде бульона, такая мутная жидкость. И из развалившихся голов глаза воблины выплывали на поверхность и плавали по поверхности. За это солдатики и называли эту похлебку "Эх вы, карьи глазки". Вот это только и приносилось. Но ее никто не ел, потому что все умирали. А я первое время не мог подползти к "карьим глазкам". Вот сестрица меня выручила. Она стала приходить каждый день в резиновых сапогах; эти "карьи глазки" и разваренные черепа отбирала в какую-то чашку, а жидкость сливала и приносила мне. И я набранные сухарики от покойников с "карьими глазками" стал есть. И помаленьку стал поправляться, потому что, оказывается, действительно, в конце тифа все-таки жрать надо.

И в конце концов в один прекрасный день мне сестрица принесла литер на проезд – это значит военный билет, – на проезд в Москву, на родину, для двухмесячного отпуска после перенесенного сыпного тифа. Выдано красноармейцу такому-то. И принесла, голубушка; я, к сожалению, тогда не записал, а потом забыл ее фамилию. Имя-то помню до сих пор – Ниной ее звали. Спасительница моя. И главное вот почему: она помимо моего литера принесла мне документы еще одного солдатика, который тоже поправлялся и должен был выписаться. Но у него был не сыпной, а возвратный тиф. И он возвернулся накануне, и сразу же богу душу и отдал. А документики уже готовые остались. Я сперва понять не мог, тогда еще был человеком серым. "А на кой черт мне покойницкие?" – "Э, голубчик, – она говорит, – ничего-то ты не знаешь. Ты вообще-то до Москвы не доедешь? Куда ты один поедешь? Ты идти-то не можешь". А я, действительно, ежели падал, то должен был на брюхе ползти до забора или до какого-нибудь дерева, чтобы подняться, держась за что-нибудь. Потом опять шел, пока не падал. А потом опять на брюхе доползешь до какого-нибудь предмета, по которому можно подняться. "А ты в Туле какому-нибудь здоровому-то краснопупу подари эти документы-то отпускные. Так он обрадуется, драпануть-то домой, москвича найди – он тебя и довезет". Так и получилось. Я действительно с раннего утра, как только забрезжил рассвет зимний, до темноты шел 10 км до Тулы. 10 км всего два часа ходу не очень поспешно. Я обыкновенно шесть километров в час ходил. И пришел в казарму 13-го Тульского стрелкового полка, через который я вот в 117-е отделение попал, когда на деникинский фронт попал. Вижу, казарма красноармейская, уже почти все спят солдатики, дежурный сидит. Вот фамилию дежурного до сих пор помню – Петька Скальчуев, московский

портной. Ну мы с ним разговорились. Я говорю: "Я тут, значит, вот, с дороги на фронт, и сейчас я вот выздоровел от сыпняка, не помер, в Москву еду". – "Ах, счастливчик!" Говорю: "Ты москвич?" Тогда, – говорю, – вместе поедем", – показал ему покойницкие документы. Он страшно обрадовался. Говорит: "Голубчик, ты мне уступи. Я тебе пищи на дорогу на нас двоих сейчас раздобуду. Довезу тебя. Куда ты, еле жив. Ты же один не доедешь". Я говорю: "Конечно, мне и сестрица вторые документы подарила, чтобы кто-нибудь меня довез".

"Ты за меня тут дежурь". Он взял свою винтовочку. А я сохранил через все приключения тифозные японский карабин. Он говорит: "Свой японский карабин – это в Москве в комендатуре нам понадобится. Я, – говорит, – со своей винтовочкой сейчас пойду по Туле. Говорю: "Прикладом стучать?" Он говорит: "Да! А ты откуда знаешь?" Я говорю: "Я же из этой же казармы выходил охранять хлебные лавки". – "Значит, прикладом постучим, глядишь, корки с каравая оторвут пекаря и дадут. Мы еще постучим, еще дадут. Ежели солдат с винтовкой, ему дают. Ежели солдат без винтовки, дак на кой черт ему давать. Ежели он с винтовкой, так приходится давать, так ведь? Ежели у тебя есть корка, а против тебя человек прикладом об тротуар стучит, что делать? Надо отломить полкорки и дать ему". Ну вот, и этот Петька Скальчуев исчез, я за него дежурю, нормально дежурю. Через несколько часов он вернулся с несколькими караваями хлеба, с какими-то кусками сала. Он настучал прикладом, значит, чертову прорву всякую – полезные штуки. Побывал на вокзале, на станции. Установил, что, по-видимому, в ближайшее время состав пойдет на север, т.е. в Москву. Будь я здоров, я бы пешком 185 верст от Тулы до Москвы. Я бы за сутки, за полтора суток или за двое суток, во всяком случае, с прохладцей дошел бы. Мы от дивизии удирали пехом 70–75 верст в день. Ежели подпирает, сзади опять же либо постукивают прикладами, или еще хуже на конях "сабельки наголо" сидят, так невероятную скорость развиваешь. По-итальянски это называется "аллегро-удирато". Знаете, наличие маленького итальяно " эко аллегро удирато". Вот. И он обнаружил уже вагон в этом составе, куда мы поместимся. Захватил свою винтовочку, конечно. И мы с ним вдвоем, он меня взял под руку – и на вокзал. Так где-то на каких-то путях нашли действительно состав товарных вагонов. Один не очень разрушенный вагон он выбрал, где дыр было мало и двери закрывались хорошо, и мы влезли. Он опять куда-то исчез и вернулся вскоре с "буржуйкой". А "буржуйка" – это не жена буржуя, а "буржуйка" – это маленькая железная печка. В те времена, в те годы мы все топились "буржуйками". Топить-то настоящие печи было нечем, а в "буржуйки" шли библиотеки, у кого есть, и мебель всякая, дорогая, все там сгорало, в "буржуйках". Так он где-то "стрельнул" "буржуйку", где-то сломал забор, целый ломаный забор; он несколько раз приносил целыми охапками досок заборных. Я говорю, что до Москвы-то нам всего-то и езды-то 185 километров. "Э, – говорит, – а когда мы приедем, почем мы знаем". Действительно, мы почти неделю ехали. Вот эти 185 километров. Но ехали комфортабельно. Жрали от пуза

и хлебушка, и сала, и что-то вроде воблы, даже получше что-то, какой-то сухой селедки он раздобыл. И кипятили мы себе чай. Он свой и чей-то чужой котелок взял. Мы на "буржуйке" кипятили себе кипяток, и у кого-то он спер в казармах морковного чаю; заваривали морковного чаю.

И приехали. Он жил на Смоленском рынке, а я в Никольском переулке на Арбате, ныне Плотников переулок, в самом конце его. Так что рядом мы с ним жили. За кусок буханки мы наняли на вокзале извозчика. Появились тогда извозчики в Москве, они главным образом за натуру только работали. Так как у нас был хлеб, мы все буханки-то сожрать не могли, у нас очень много осталось.

Так, значит, наняли извозчика, приехали. В нашем доме в Никольском переулке, дом 6, квартира 5 у нас была, лифт работал. И швейцар был старый. И он меня узнал несмотря на бороду. "Коленька, неужто это ты?" – "Да, – говорю, – я. У нас, – говорю, – есть кто-нибудь там?" – "Да нет. Надежда Николаевна на работе, а братья воюют; младший – в школе, сестра – в университете". – "Пусть, у меня есть ключ". Поехали. На третьем этаже жили. Приехали туда, отперли квартиру. Я завалился в бывшей столовой на диване и заснул. Ведь не спал долго и расслаб страшно. И так спал до тех пор, пока не пришла мать с работы. Она служила в Главбуме – Главное управление бумажной промышленности. Карточки давали, да и зарабатывать надо было. Ну и увидела, вроде бородатый мужик валяется на диване. Грязный. Сперва испугалась, потом приняла меня за следующего за мной брата Владимира, который тоже в те времена где-то воевал в кавалерийском полку. А потом наконец узнала меня. Расцеловались мы с ней. Она мне сообщила, что у нас газ есть в квартире и поэтому и в ванной газ есть. А у нас ванная была с газом. Помню, как сейчас. Ведь этот прогресс – эта научно-техническая революция – это все собачья дурь. До первой мировой войны наш дом был в смысле цивилизованным лучше современных домов в десять раз. Там всякие газы были, и электричество, и центральное отопление. Еще и функционировало, никогда не портилось. Так что сделала она мне горячую ванну, и я вымылся, мыло даже оказалось.

Настал уже 19-й год. У меня был двухмесячный отпуск. Я явился в комендатуру города Москвы предъявить свой отпускной документ и сдать свое оружие – японский карабин. Всех, всю комендатуру московскую мой японский карабин привел в такой восторг, в такую ажиотацию, которую я даже и не ожидал. Я сразу стал знаменитостью, и мне стали предлагать, что вы вот москвич, так в пределах Москвы мы вам можем предложить другое занятие; кто вы по специальности? Я говорю: "Специальность у меня – последнее время был бандитом". – "Ну, это, – говорят, – нам не подходит. У нас московских бандитов и без вас достаточно". Я говорю: "Вторая моя специальность – зоолог". – "Ну это, – говорят, – не знаем что такое, но вы это о зверях?" Я говорю: "Да, не только о зверях, но и о птицах". – "Так это вы можете лекции читать? Великолепно, вас устроим в Пувок – Политпросвет, управление военного округа Московского". В конце концов я гулял два месяца, а потом действитель-

но устроили в Пувок. Но, во-первых, я стал председателем культпросветкома Особого военного обоза Транспортного агентства центрального управления снабжения Красной Армии. Там я ликвидировал неграмотность среди солдат. Это позволило мне устроить на красноармейские пайки целый ряд дружественных нам дам, которые становились учительницами по ликвидации красноармейской безграмотности и за это получали красноармейские пайки. И остались живы, потому что в Москве тогда жрать было совершенно нечего.

Затем я стал петь. Самое выгодное мое занятие было – я стал петь первым басом в красноармейском хоре Московского военного округа. А за это давался фронтовой паек, двойной красноармейский паек. И наконец, меня сделали лектором по биологии и революционному учению в красноармейских клубах города Москвы. В качестве председателя Культпросветкома я имел собственный экипаж с парой лошадей и солдатом на козлах, который присылался за мной, когда мне нужно было, и куда угодно меня возил. Я, когда нужно было, в университет ездил, в зоологический музей на паре. Затем возил меня в клуб, где мне читать нужно было какую-нибудь лекцию об эволюции, о Дарвине или о чем-нибудь.

Тут у меня произошел однажды почти трагический, но оказавшийся комическим случай. Приезжаю я в шикарный большой клуб около Большого Каменного моста на набережной. Я не знаю, существует ли этот дом сейчас или нет. Он был шикарный Красноармейский клуб: залы на две тысячи мест были. И все полно народу. Все шикарно: и офицерши, значит, эти самые красные супруги красных командиров по преимуществу. Но оказывается большая неприятность. Объявлена тема моего доклада – по Великой французской революции. А я, грешным делом, помнил изо всей истории, из всей этой Великой французской революции, что какая-то девка в ванне Марата зарезала. А больше ничего я об этой революции не знал и знать не хотел. Как звали эту девку, забыл я, но помнил, что девка Марата зарезала. А больше ничего не помнил.

И стали мы с завклубом рассуждать. "Я ведь лектор-то биолог чистый. Я вам эволюционное учение могу рассказать. А вот о Великой французской революции я, – говорю, – я помню, что девка какая-то Марата зарезала". – "А это, – говорит, – и я помню. Как же девку звали?" И стали мы сперва вместе с завклубом вспоминать, как эту девку звали. Зачем уж мы вспоминали, неизвестно. А потом он хлопнул себя по голове: "Вы что-нибудь понимаете в искусстве?" Говорю: "Вот в искусстве я понимаю много, много больше всей этой вашей огромной аудитории. У меня есть набор диапозитивов по смене архитектуры XVIII в. на стиль ампир после Великой французской революции. И смена живописи на псевдоклассическую в последние годы XVIII в. тоже". – "Это шикарно". ≪Уточните тему моего доклада: "О смене архитектурных и живописных стилей в эпоху Великой французской революции". Тогда нам с вами нечего вспоминать, как звали девку, которая Марата зарезала... Зарезала – черт с ним, не наше это собачье дело; нам она без надобности≫. Ну и с большим успехом я там что-то, болтологию какую-то наплел насчет барокко, и рокок-

ко, и ампира, и черт-те чего, и в общем продолжалась лекция два часа. Не отпускали потом. Вопросов была куча, дамочки страшно интересовались кое-какими картинками.

Оказалось, удивительно, где-то хапнули, царапнули они, в какой-нибудь из провинциальных музеев замечательную коллекцию диапозитивов. Красноармейский клуб – и такая оказалась коллекция диапозитивов. Все к лучшему удалось благополучно, к полному удовольствию. Значит, не зря я получал красноармейские пайки. Но главное у нас, конечно, были вот эти концерты. Пели хорошо. Пели мы очень церковенно. Тогда ведь не было еще советской власти, а была свобода, равенство и братство. Мы как-то пели литургии Чайковского, пять номеров дернули, красноармейским хором. В Москве ничего, хлопали во всю. И пригласили Василия Родионовича Петрова – знаменитого баса Большого театра – спеть "Верую" Кастальского с бессловесным аккомпанементом, хором. Мы, значит, хором мычали, а он "Верую" Кастальского пел. Это был такой успех!

А университетские занятия шли своим чередом. Я мало тогда занимался в университете, откровенно говоря. В это время, значит, в 19–20-м годах в Москве начала налаживаться все-таки более или менее какая-то нормальная жизнь. Революция в общем кончилась, гражданская война кончалась, осталось только Врангеля еще немножко, и в начале 21-го года все кончилось. Надо было начинать работать и действовать. Тут, конечно, Ленин придумал очень замечательную штуку – новую экономическую политику. С помощью НЭПа действительно в пределах примерно одного года из совершенных руин была построена вот эта страна, в которой появились и торговля, и товары, и жратва, и занятия для людей, и всякая такая штука. Ну и тут большую роль НЭП сыграл в возрождении русской науки.

Ну, было у многих представление о том, что очень много русских ученых удрали в эмиграцию. А ведь это совершенно неправильно. Очень мало. И кто удрал в эмиграцию-то – только гуманитарии. Оно и понятно. Гуманитарию-то, окромя бумажки и карандашика, ни черта не требуется. А нашему брату, начиная с биологов и кончая физиками и, конечно, астрономами, надо лаборатории, оборудование, надо свою работу, свой материал – со всем этим не удерешь. Осталось все-таки большинство крупных естественников всяких специальностей в пределах России. Нужно было восстанавливать науку. Это было трудно. Ленинград тогда почти умирал от голода.

Вам никогда не приходилось видеть серию "Грабеж" Добужинского "Умирающий город"? Это совершенно гениальная серия рисунков Ленинграда 19–21-го годов. Страшные вещи. 40–45 рисунков. Я их видел уже в Берлине. Выставку привозили. Всю эту серию.

И тут очень большую роль сыграл Семашко. Николай Александрович Семашко – министр здравоохранения, по-тогдашнему Наркомздрава. Бывший земский врач. Очень хороший человек. Действительно, всерьез хороший человек, что тогда среди наших деятелей этих самых была ред-

кость. И вообще, как вам известно, среди политиков хорошие люди встречаются крайне редко. Хороший человек в политики не пойдет, а делом каким-то будет заниматься. А Семашко был действительно очень хороший человек. Он поставил себе совершенно сознательно задачи спасения науки в России и попытку протащить ее по возможности без потерь через революционные годы. Он, к счастью, оказался еще дореволюционным знакомым нескольких русских ученых, например Кольцова. Он очень дружен был с Кольцовым, Николай Александрович Семашко. Он был дружен очень с ученым-медиком Тарасевичем – микробиологом и иммунологом. Затем был знаком с целым рядом крупных ученых-медиков, кое с кем из физиологов. Вот они, посовещавшись, решили довольно правильно, что вот в этом почти вымершем, почти опустевшем, сильно подорванном Ленинграде, где Академия наук сидела тогда, один Ленинград и одна Академия наук не справятся с задачей. Им дай Бог как следует справиться с собственно голодом и холодом.

Ну так вот. Семашко, посовещавшись со своими учеными друзьями, развил очень важную и интересную мысль: создать, не нарушая Академии, ГИНЗ – Государственный институт народного здравоохранения, по его ведомству, в котором объединить в основном московские научные учреждения, как уже существующие, так и создаваемые, новые, для чего была заложена основа так называемым Московским обществом научного института. Фактически активно начала она действовать в 16-м году. Ряд институтов был намечен к постройке, и начал с постройкой и организацией Кольцовский институт экспериментальной биологии, Лазаревский институт физики и биофизики, Институт микробиологии Тарасевича, который тоже, кстати, был приятелем этого Семашки, Институт тропической медицины Марциновского, Институт физиологии питания, да и Институт социальной гигиены. Целый ряд институтов был намечен либо к достройке и доорганизации, либо к началу постройки и организации. Часть из этих институтов была размещена уже в имеющихся зданиях, которые были реквизированы под эти институты и из которых жильцы были переселены в другие здания. Часть зданий стала строиться заново. Это была очень интересная эпоха, которую европейцам и американцам представить себе трудно. При ней ничего не было. Нам практически почти нечего было жрать. Обносились мы до того, что я иногда мечтал о том виде, в котором я болел сыпняком: на мне все-таки не дырявые штаны были. А тут я ходил в разбитых остатках американских "танков", как мы звали – такие высокие, военные башмаки пехотные, которые зашнуровывались, но складывались впереди, без разреза. Очень удобная штука, вода не проникала. Вот единственное, что на мне было целое – это вот эти американские "танки", которыя я отбил в каких-то белых боях. С тех пор носил до самого отъезда за границу. Так и не сносил их. А все прочее было дранье. Жрать нам всегда хотелось. Сейчас я считаю, что это очень хорошо было. Я вот последние годы сильно страдаю, что я уже двадцать пять лет не голодал ни разу. Забываю чувство голода. Это ужасная вещь.

Конечно, представить себе трудно тогдашнюю жизнь. И в то же время мы жили очень весело, именно, может быть, потому что голодали. И холодали. Квартиры мы отапливали буржуйками, сжигали свою мебель, библиотеки. И строили лаборатории, и организовывали лаборатории. Во-первых, Семашко обнаружил, что во время первой мировой войны еще Красный Крест получил из Америки около 250 микроскопов "Спенсерленз" – она до сих пор существует эта американская фирма микроскопов. Американские микроскопы, не в обиду будь сказано, до вот самого последнего времени были дрянь невероятная. В спенсерлензских микроскопах – я принимал их тогда сотнями – при увеличении больше 250 была видна яркая радуга всех цветов – больше линии в основном. Так что многие были совершенно непригодны. Но все-таки это были микроскопы, и с малыми увеличениями можно было хорошо работать. Мы распределяли по формирующимся институтам вот эти микроскопы Красного Креста. На складах Красного Креста оказался целый набор термостатов, сушильных шкафов и всяких таких вещей. Это опять-таки создало основу для оборудования целого ряда научных институтов. В том числе и новых. Вот я тогда был занят организацией нового, так называемого Практического института – Пречистенского практического института в Москве. Когда-то, в дореволюционные годы, существовали Пречистенские рабочие вечерние курсы. Это было такое очень знаменитое учреждение, в котором интеллигенция, тогда еще недорезанная интеллигенция, была объединена после 48-го года в ИНИ недорезанных интеллигентов, или нормально он назывался Институт научной информации. Он и до сих пор существует и издает реферативные журналы. Когда после 48-го года всех порядочных людей повыгоняли из всех институтов и университетов, то ИНИ их принимал, потому что для реферативных журналов хоть какая-нибудь интеллигенция-то нужна.

А тогда была процветающая интеллигенция, которая строила вот эти новые институты. Очень замечательная, очень замечательная. И вот из этих Пречистенских вечерних рабочих курсов был создан первый советский рабфак – рабочий факультет. Вы знаете, что такое рабфаки? Это были для полувзрослых и взрослых людей подготовительные школы в вузы. Война и революция огромное количество молодежи выкинули из школ и учебных заведений. Образовалась целая армия недоученных, недоучившихся людей, которым надо было что-то делать, поступать в вузы. Для этого и были созданы рабфаки – рабочие факультеты. Идея исходная была – давать заканчивать какое-то среднее образование людям, которые желают поступать в высшие учебные заведения. Ну а потом помаленьку превратилось в среднее учебное заведение для взрослых и полувзрослых.

Пречистенские дореволюционные рабочие вечерние курсы превратились в первый большой рабфак – Пречистенский рабфак в Москве. В его организации и оснащении пришлось и мне принимать участие. Целая группа московской молодежи, научной, которая в то же время была и солдатами, кто солдат, а кто вроде меня хорист военный (или

лектор "по части революционной теории Великой французской революции"), мы все занимались организацией этого рабфака. Он сделался практическим институтом. В здании этого практического института на Остоженке сейчас находится какой-то пединститут московский, третий, по-моему[1]. Так что даром вся наша работа не пропала.

Параллельно я принимал участие и в оснащении Кольцовского института, который с 16-го поселился в Сивцевом Вражке в небольшом особняке двух с половиной этажном, с надворными постройками. Нам приходилось интересную тогда часть работы проводить: разбираться в наследстве Красного Креста. Вот там мы разбирались и в сотнях микроскопов "Спенсерлензˮ и малых приборов для научных целей, но вполне пригодными они оказались именно для педагогических целей. Потом мы учиняли некоторый "товарообменˮ – сдавали в университеты и в мединституты "Спенсерлензˮ а "Верлайт цайтˮ и "Райхертˮ забирали для научных институтов. Все-таки удавалось сделать "товарообманыˮ.

И в общем начали расти московские научные институты. Было очень интересно. Как я уже говорил, Семашко объединил все это в ГИНЗ – Государственный институт народного здравоохранения. И это в сущности стало, в известной степени, второй академией. А потом много похуже, уже в 30-е годы, когда, зря совершенно, в Москву перевели всю Академию – идиотский шаг, типичное было сталинское мероприятие, совершенно идиотическое, институты ГИНЗа, которые частично сделались академическими, послужили серьезной основой уже технической, научно-технической для обоснования в Москве академических институтов.

В это время – в революцию, голод и холод – продолжал существовать Московский университет, процветали Московские высшие женские курсы. Процветали вот почему: в 1911 г. министр Кассо – очень глупый и очень наглый человек, но очень злобный чиновник – учинил разгром Московского университета. Бывший тогда первым выборным проректором Мензбир Михаил Александрович, зоолог, попробовал не допустить полицию в пределы университета при каких-то там студенческих волнениях, или заседания, или собраниях в согласии с университетским уставом, законно утвержденным правительством. Кассо на это среагировал опять-таки противозаконно, сместив Мензбира. Тогда в качестве общественной акции более полутораста профессоров и преподавателей Московского университета во главе с Кольцовым, Тимирязевым и рядом других, ушли добровольно – подали в отставку. Московский университет опустел. Сейчас это стараются замалчивать и забыть, как вел себя знаменитый академик Северцов.

Так вот, этому академику Северцову, однако, до середины 20-х годов большинство порядочных москвичей, имевших отношение к науке, руки не подавали, потому что академик Северцов был типичным штрейхбрехером.

После того как Мензбир был изгнан из Московского университета,

---

[1]Московский институт иностранных языков.

конечно, была объявлена вакантной Кафедра сравнительной анатомии позвоночных Московского университета. И все добропорядочные зоологи России просаботировали это обстоятельство, кроме Северцова, которому нечего было и лезть, потому что он прекрасной киевской кафедрой заведовал в Киеве – кафедрой зоологии позвоночных и сравнительной анатомии позвоночных. Но он сразу же занял мензбировскую кафедру, что, конечно, было очень некрасиво с его стороны.

Я отнюдь не революционер, и не профсоюзник, и не за всякие забастовки и прочее, но, конечно, это было такое грубое штрейкбрехерство, за которое, конечно, совершенно правильно объявить общественный бойкот занявшему освободившееся место. И очень много мест так до самой революции оставались свободными. А Северцов сел на мензбировскую кафедру.

Я начал последнюю часть своего рассказа с утверждения о процветании Московских высших женских курсов. Так вот, все эти лучшие силы Московского университета, первоклассные ученые, устроились профессорами и доцентами на Московских высших женских курсах. Я оговорился, конечно, не все, а часть их. Другая же часть устроилась в Свободный Народный Московский городской университет им. Шанявского. Это было очень интересное предприятие.

А.Л. Шанявский был генерал-лейтенант и богатый человек. Интерес Университета Шанявского заключался в следующем. Это была собственно комбинация из трех учреждений. С одной стороны, действительно свободный университет, университетское отделение. Оно состояло из гуманитарного и естественноисторического факультетов с соответствующими кафедрами, четырьмя курсами и давало совершенно свободное высшее образование в области различных гуманитарных и естественнонаучных дисциплин желающим их получить и по каким-либо причинам не могущим поступить в обычный университет.

Второй частью Университета Шанявского были циклы научных и научно-популярных лекций. Отдельные курсы, читавшиеся различными крупными учеными, как отечественными, так и заграничными. Вот на чтение таких курсов приехал, например, бельгиец и стал профессором физической химии в Университете Шанявского. Между прочим, это была первая официальная кафедра физической химии.

Это я в качестве примера, что в Университет Шанявского приезжали и довольно крупные заграничные ученые читать отдельные курсы.

И наконец, третья часть Университета Шанявского включала чтение отдельных эпизодических популярных лекций на разные темы. Там читали искусствоведы, писатели, ученые различные, приезжали петербургские ученые читать отдельные лекции. Я еще гимназистом старших классов слушал там интересные лекции. И он, конечно, принял значительную часть изгнанных в 11-м году ученых из Московского университета. Высшие женские курсы и Университет Шанявского начали после 11-го года действительно процветать. И это процветание помогло группе московских ученых во главе с Семашко поставить на ноги московскую часть русской науки. Правда, Университет Шанявского прикрыли и сделали из

него Высшую "партейную" школу или что-то в этом роде, не полезное, а вредное. Высшие женские курсы, к сожалению, для нас, мужиков, тоже как таковые закрыли и превратили во Второй университет, который потом превратили во Второй медицинский институт. А объявили женское равноправие, и все эти курсистки запрудили университет. Получилась такая неприятность, что целый ряд наук попал в руки научных, прямо, надо сказать, озверелых дам, которые со страшной силой рвались в эту самую науку. И особенно пострадали две науки: химия и ботаника – они были наводнены бабьем, потому что в университет вернулись и появился ряд таких, так называемых профессоров – златоустных, прекрасных ораторов. Это были Александр Николаевич Реформатский, химик, и Полянский – прекрасный ботаник. Этот химик увлекал половину бабья в химию, а другая половина бабья увлекалась ботаникой у ботаника. И химия и ботаника с первого же курса наводнялись студентками, которые уже были не курсистки, а студентки. А Высшие женские курсы, прекрасно оборудованные, превратились сперва на очень короткое время во Второй университет, а затем во Второй медицинский институт, каковым является и до сих пор.

Новые вузы появились по различным причинам. Зоотехнический институт. Это было важное явление в истории советской генетики. Серебровский стал первым профессором генетики в Зоотехническом институте и устроил там генетическую лабораторию, дрозофильную во второй половине 20-х годов. Ветеринарный институт отдельный, который потом, кажется, был переименован в Ветеринарную академию. Она и сейчас существует.

Все эти новые прикладные биологические вузы создали в то время, как Высшие женские курсы закрыли, курсистками запрудили мужские университеты, в области сельского хозяйства были созданы специальные Голицынские женские высшие сельскохозяйственные курсы. В "Петровку" курсисток еще не принимали, а для них были созданы Голицынские курсы. А там, так же как в Зоотехническом институте, включили кафедру генетики и селекции. Все это создало в Москве очень благоприятную почву для создания новых современных научных дисциплин и научно-исследовательских институтов.

Следовательно, подготовительные кадры этих кольцовских учеников по Университету Шанявского и Высшим женским курсам стали и основой научно-исследовательских кадров Научно-исследовательского института экспериментальной биологии.

В сущности на очень долгий срок, на эту первую половину 20-х годов, рабочий план был для всех нас придуман в кружке, который был организован группой С.С. Четверикова в Институте Кольцова. Московская генетика в сущности родилась вот в этом кружке и в Дрозсооре. И я б сказал, что синтетическая теория эволюции там развивалась. В середине 20-х годов каждый год в Москву приезжал знаменитый мозговой анатом Оскар Фогт – очень крупный ученый. Он принимал участие в лечении Ленина, а затем в консервации мозга Ленина и в организации в Москве Института

мозга, который тогда по идее партии должен был в основном заниматься изучением ленинских мозгов. И все это шло, конечно, через Наркомздрав, через Семашко.

А Фогт всю жизнь имел несчастную неразделенную любовь к генетике и к изменчивости природной. Он, наряду с неврологией, психиатрией и морфологией центральной нервной системы человека, был энтомолог очень крупный – один из крупнейших в мире знатоков шмелей. У него была огромная, в несколько сот тысяч экземпляров, коллекция шмелей. Шмели очень интересно варьируют; внутривидовая и географическая изменчивость у шмелей очень занятны. Так вот, в новом институте, который тогда проектировался к постройке, я помню шестиэтажный институт, со всякими оранжереями, вивариями, со всякой всячиной и с собственной клиникой экспериментальной. Ему нужен был человек, который бы генетикой заведовал. А в Германии было пусто, ну были знаменитые люди вроде Бауэра, Гольдшмидта, Хартмана; Курт Штерн, ассистент Гольдшмидта, только что вылуплялся, так сказать, из яйца, и все. Да, Нацке – ассистент Бауэра. Все они были устроены, самостоятельные уже люди. Им некуда было уходить. И вот он обратился к Семашко и к Кольцову с просьбой: не можете ли вы в пределах вашего обширного отечества поискать кого-нибудь. И оба, независимо друг от друга почему-то на меня ткнули. Ну, во-первых, наверное, потому, что языки знал иностранные бойко, бойчее, чем большинство прочих, по причине футбола с мистером Вильсоном – английский язык, французский язык – в основном от бабушки – бабушка с нами практически по-французски разговаривала, а немецкий язык – ну все мы знали немецкий язык прекрасно, с рождения. Меня вызвал Фогт к себе. На Софийской набережной была тогда какая-то гостиница для важных иностранцев. Вас бы туда не посадили, а Фогта посадили. Шикарный номер там. Со своей супругой Цецилией, француженкой, приезжал. И он меня тоже стал страшно "уговаривать", а я стал отказываться, потому что мне очень не хотелось уезжать, очень не хотелось, так сказать, насиженные места бросать. Да и у меня библиотека была там в Москве – первая-то не хуже теперешней, в некоторых отношениях лучше. А Кольцов и в особенности Семашко меня прямо заставили. Уговорили таким аргументом: дурака не валяй, раньше мы за свои деньги ездили в Германию в научные командировки учиться. А вас, вишь, немцы учить приглашают за жалованье. Дак это гордиться надо. Таким вот шовинистическим аргументом на меня начали давить. Ну и в общем я согласился. Вот так оно и произошло. А потом приобретены были билеты – я одного дурака колоссально свалял – я часто в жизни этого же дурака повторял. Оказывается, Фогт мне предлагал – это потом мне разъяснил Николай Иванович Вавилов в своих приездах к нам в Берлин. Оказывается, мне полагались так называемые подъемные. Они должны были мне дорогу оплатить, а я тут в барственность сыграл. "Ну что это – я на свои деньги приеду к вам. Вот начну у вас работать, тогда начнем брать деньги". Какие-то подъемные, квартирные, черт его знает – все это я барственно отверг. А оказалось же, что все-таки переезд в Европу – серьез-

ная вещь. Там деньги – деньги. У нас деньги уже тогда начинали становиться, кончилась к 25-му году всякая инфляция.

Деньги наши были очень хороши тогда. Мы приехали и за червонец получали 22 марки. Больше, чем в царское время. В царское время 20 марок и 50 пфеннигов стоили 10 рублей. А тут 22 рубля. Значит, рубль стоил 2 марки 20 пфеннигов.

Отвечу на вопрос, имел ли я влияние на Дельбрюка, особенно в смысле кольцовской идеи о наследственной молекуле. Никакого особенного влияния тогда не имел. Это он выдумывает. Я недавно от него получил открыточку – очень милую и симпатичную. Наконец немецкую, а не английскую. Он последнее время сбивается часто на английский язык, а я ему продолжаю писать по-немецки, так же как и Майру. Что ему свой матерный язык-то забывать. Так ведь? С Дельбрюком мы, собственно, сошлись на божеской философии. Теперь конкретное переманивание Дельбрюка в биологию, которую я, сознаюсь, в основном произвел. Дельбрюк ведь чистый был физик-теоретик – ученик Макса Борна. Первые его работы были – расчеты молекул. И расчетами молекул он занимался по служебной надобности, прежде всего, потому, что он "хаузтеоретикер" вместе с Лизой Майснер состоял у Хана. В Германии был очень хороший обычай. В больших химических институтах вместо того, чтобы халтурить самим химикам, которые обыкновенно все-таки почти ничего не понимали в теории, содержали в зависимости от величины института одного или двух "хаузтеоретикер" – домашних теоретиков, своих собственных, так сказать. Ну вот, у Хана, конечно, Дельбрюку, как и Лизе Майснер, пришлось молекулярщиной заниматься. Теперь: он очень интересовался общей, так сказать, онтологией Бора. И я к тому времени заинтересовался уже общей онтологией Бора. Не Борна уже, а Бора, Нильса Бора. А он, будучи "хаузтеоретикер" у самого Хана, думал, что теоретик-физик – он все знает и кое к чему может снизойти. А прочее человечество – это такие придурки какие-то, человекообразные. Поэтому он к нам явился, так сказать, с откровением, что вот, между прочим, ведь отбором можно и количественно заняться, и начал что-то выписывать, какие-то дурацкие, не нужные давным-давно формулы и чертить кривую отбора. Тогда я позволил себе из собственной лабораторной периодики извлечь около дюжины книг, включающих и биологов-эволюционистов, и математиков типа Харди и Эро Фишера и Холдена, и всяких таких людей – презентовал ему, что "Америки вы покеда не открыли". Все это сделано частично, уже, почитай что, лет 75 тому назад. Он был несколько этим смущен. Он, что говорить, очень горд был. И с тех пор попросился в нашу буховскую группу – тоже своего рода "хаузтеоретикером" таким. Ну и тут быстро мы сконтачили. Я ему рассказал про кольцовское общее представление о молекулярной биологии генов и хромосом, что мы тогда в те времена путем индукции мутаций попаданиями ионизирующих излучений пытались экспериментально показать мономолекулярность принципиальную, в общем смысле, генов. То есть что это единая физико-химическая элементарная структура, так сказать, а не кусочек сливочного масла, ска-

жем, из множества совершенно одинаковых и равноправных молекул. Он в этом принял участие. Из этого родилась так называемая потом классическая зеленая тетрадка.

Да, повлиял. Но какое это влияние – треп один.

Второй вопрос. Когда вы были в Германии, какие контакты вы имели с русскими генетиками?

Контактов у меня было относительно мало, то есть очень много до 29-го года. Потому что масса русских ученых ездила в командировки к нам. После 29-го года, вот прямо Ниагарский водопад, свели к нулю. С 30-го года и все 30-е годы собственно чисто научных командировок не осталось. Последние из крупнейших наших ученых, вроде Вернадский в 34-м году последний раз был выпущен за границу, Кольцов – в 30-м году. До того Берлин был проходным двором, а все выезжавшие, потому что, куда бы ни ездили за границу, все через Берлин шло, все наши знакомые через нас выезжали. У нас многие останавливались. А потом стало ясно, что нам не следует поддерживать со здешними никаких отношений, потому что здешним, кроме серьезных неприятностей, от этого ничего не будет. Значит, мы по своей инициативе никаких контактов не завязывали. Ежели здешние с нами завязывали контакты, ну что ж, им видней, как говорится. Тогда мы отвечали. Но отвечала Елена Александровна всегда. Я человек не "письменный", я чернилом вообще последний раз писал выпускное сочинение в гимназии. А после того чернилом больше не писал, а только в последние годы начал, когда появились шарикоподшипниковые ручки, знаете, с шариками такими, а простыми ручками... – они у меня за бумагу цепляются, и кляксы получаются с брызгами. Вот. Теперь кто – ну все мои друзья так и остались моими друзьями. Я вернулся не обычным путем – меня, значит, "прилетели" сюда. Хотя я был завербован там, это тогда было 9-е управление Наркомвнудела– НКВД, а потом, значит, МВД, 9-е управление. А какое-то 3-е управление, которое ведало собственно ПСЖ, умудрилось до того учинить мне ПСЖ. ПСЖ – это посадить, офранцузенное слово посадить, будет ПСЖ. Меня, значит, посадили, случайно, так сказать, но Завенягин все-таки меня нашел. Потеряли там мою карточку – в качестве лагерника. Так что никто не знал: то ли я уже помер, то ли не помер и где я нахожусь. Потом как-то все-таки раскопали. И меня извлекли в Москву, в спецклинику МВД, потому что я успел начать помирать от пеллагры. Это было в 47-м году. А потом меня все-таки вылечили. А в это время почти два года ждал меня объект на Южном Урале. И ждали уже несколько немцев моих, четыре моих главных немецких сотрудника: Ли, Циммер – физики, Борн – радиохимик, не радиационный химик, а именно радиохимик, ученик Хана, и Кальч Шульц – генеральный врач, мы говорим, он по образованию медик, а по профессии был радиобиолог – самый молодой из них, и он вот меньше года тому назад скончался в Западной Германии. Они у меня проработали до 52-го года, а в 52-м году у них договоры кончились, и они обратно в фатерлянд поехали. Но, конечно, они тут на эту самую мадам "Сецилизма" насмотрелись: какая она прелестная девушка – и сразу же из Восточ-

ного Берлина драпанули в Западный, из Западного Берлина – совсем в Западную Германию. Ну уж, черт с ним, решили, конечно, гнусный капитализм – чего там хуже-то. Но уж как-нибудь переживем. Так-то примерно они рассуждали.

"А когда вы были в Берлине в конце войны, вы ничего страшного не ожидали? Из-за того, что вы были в Германии во время Гитлера?"

Я ожидал до конца. Но уже после мира ко мне явился генерал-лейтенант от МВД А.П. Завенягин – заместитель министра, глава атомной промышленности зарождавшейся, меня официально пригласил возглавить биофизический отдел в лаборатории Б (лаборатория А – это в Сухуми обезьянник). А мы были лаборатория Б. То есть я ничего не опасался. Да и оказалось, что это ошибка в пределах МВД случилась. Несогласованность. Ну и я вам, кажется, говорил, что я был очень поражен, когда меня привезли на Лубянку в главную тюрьму. Мы, живучи за границей, всегда думали, что ну всякое у нас случается, но уж ЧК-то работает "на ять". Оказалось, что это детское, совершенно дурацкое учреждение. Как и всякое, халтурное. Пьяная халтура с этой стороны ничем не отличается. Там кабак, а не порядок. Вообще мы всю жизнь заграничную думали, что каждый шаг наш известен, все известно о нас, потому что мы были все-таки на более-менее видном таком положении, не просто шофера такси, а заведовал я в Институте целым отделом большим. Оказывается, ничего, ничего не знали, решительно ничего. Просто сведения у них с какой-то желтой прессы, так называемой бульварной. Вот такой тип сведений. И кончилось глупо. Меня же, "закатали" и у себя же потеряли, а с другой стороны, оплачивали два года зря полдюжины очень дорогостоящих немцев. Они по шесть тысяч в месяц получали. Ставка такая – значит, новыми шестьсот, но шесть тысяч много больше, чем шестьсот. Потому что деньги-то теперешние-то на самом деле подешевели здорово.

Вопрос о Лысенко... Есть у меня приятель такой, он работал в моем же отделе в Обнинске, который коллекционирует всю эту поганую литературу. А я эту гнусность никогда не читал, я и Лысенки никогда не читал ничего. Я слышал, что он утверждал. Но я имел в виду, что в 45-м году вы уже знали, что случилось с Вавиловым, например? Тогда это не ассоциировалось с Лысенко? С Лысенко персонально, с соображениями карьерными, но не с принципиальными вещами научными? Нет, с принципиальными вещами научными. Это утверждал уже Вавилов в 34 году, когда последний раз мы с ним разговаривали. Но тогда это считалось, что Лысенке это удалось просто благодаря пронырливости. Что это не станет государственной политикой в будущем. Вот Вавилов уже тогда боялся, что это станет государственной. Но еще не стало. А, простите, разве физикам не стало ясно, что это государственное? Ведь в физике это началось у вас, а не в биологии. Кого повыгоняли из Московского университета первыми? Теоретиков. Так ведь? А это был конец 30-х годов. Нет, массовый выгон – 39-й год, а подготовлено-то было, что физики должны не какими-то мистическими атомами заниматься, а сталь варить. Это мы читали в советских газетах уже в середине 30-х годов.

Что вы считаете самой важной вещью, которой вы верили в науке? Что вы считаете влияло на развитие синтетической теории эволюции? То есть, что я самого важного в жизни сделал? В науке? Тем, что никогда не вносил в науку звериную серьезность. Вот. Это мое достижение в науке, по-моему. Единственное стоит считать, например. Да нет, можно было бы сказать, все-таки две вещи назвать. – Ну? Какие вы, интересно, можете назвать? – Я назову две вещи: теория. И? – И микровертица. – Ну это самое эффектное, что ли. – Да нет. Это ценное на самом деле. Ну это кое-что. Ну, это опять-таки не рассматривается с точки зрения звериной серьезности, а с должным юмором относится и к тому и к другому. А продолжение-то вопроса было что? Как я влиял на окружающую меня науку? – Во-первых, я еще не помер. Как известно, влияют или совсем перестают влиять только покойники. А живые люди не влияют, а стараются как-нибудь прожить. Я думаю, что я никогда особенно ни на кого не влиял широко, потому что я к этому никогда в жизни не стремился. Ни к каким типам, ни в какие академии, хотя какие-то чудаки меня избрали у вас в Бостоне в Америке почетным членом, вот-вот этой самой вашей "Академии оф арт и сайнс", прислали мне такую печатную бумагу, в которой главное подчеркнуто, что это самая старая академия в Соединенных Штатах. Правда это или "утка"? (Правда). Так что, думаю, что ни на кого особенно, во всяком случае скверно, не влиял. Скверно вы не влияли... Думаю, что одно из самых больших наших достижений в науке заключается в том, что в течение ряда лет мы трепались на научные темы перед моими молодыми физиками. Их уже 250 человек. И они делают будущую науку. – Вот видите, как настоящий-то профессор влияет вокруг себя. Что этот человек сказал? Что только через его шибзиков я на кого-то повлиял. Никогда не старался, потому что действительно всерьез многие это утверждают, а я всерьез действительно всю жизнь презирал звериную серьезность. Никогда не терял юмора.

Я РОДИЛСЯ РУССКИМ И НЕ ВИЖУ НИКАКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕНИТЬ ЭТОТ ФАКТ

В последнее время на Западе фигура Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, одного из основоположников современной генетики, вызывает всевозрастающий интерес. Ученые обращаются к его трудам, историки – к судьбе, изобилующей поступками мужества и чести. И только на горячо любимой им Родине не прекращается нелепый "изобличительный" процесс.

Не осмеливаясь подвергать сомнениям ценность научного наследия ученого, его "оппоненты", пользуясь аргументацией следователей бериевского НКВД, обвиняют его в коллаборационизме – сотрудничестве с

нацистами. Однако все коллеги ученого, работавшие с ним во время войны в Институте изучения мозга в Берлин-Бухе, в один голос заявляют о его абсолютной непричастности ни к евгенике, ни к военным программам нацистов, которые велись в Ауэровском обществе и Институте химии в Берлин-Далеме. Об этом свидетельствуют и публикуемые нами письмо Николауса Риля, отправленное в конце 1989 г. американскому ученому-генетику, проф. Дайане Пауль, резюме по итогам работы комиссии АН ГДР и свидетельство под присягой французского ученого Шарля Пейру, любезно предоставленные нам кинорежиссером, автором фильма "Рядом с Зубром" Еленой Саканян.

Николаус Риль, чье письмо исследовательнице наследия Н.В. Тимофеева-Ресовского мы приводим, в годы войны был одним из руководителей немецкого "уранового проекта". Через него при посредничестве известного физика и радиобиолога К.Г. Циммера Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский получал большую часть денежных средств на проведение исследований в его отделении генетики.

Из письма:

≪Уважаемая г-жа Пауль!

Сначала я хотел бы ответить на Ваше письмо проф. Борну от 20.8.89. Г-н Борн скончался уже более 2 лет назад. Его вдова попросила меня ответить. Вам. Вы писали г-ну Борну, что Вас очень интересует, был ли Тимофеев-Ресовский связан с германским "урановым проектом". На этот вопрос именно я, пожалуй, отвечу лучше всех. Ответ гласит: работа Т.-Р. ничего общего не имела с "урановым проектом". Хотя Т.-Р. хорошо знал многих людей, имевших отношение к этому проекту... Контакты появлялись благодаря общему интересу к биофизическим проблемам. По вопросам биофизики часто велись дискуссии, результаты которых не находили никакого практического применения.

Тесные связи между Ауэровским обществом и отделением генетики института в Бухе, возглавляемым Т.-Р., возникли по разным причинам: во-первых, из-за мною уже упомянутого чисто научного интереса к биофизическим проблемам, а точнее, к тому, что сегодня называется молекулярной биологией. Во-вторых, Т.-Р. и я родились в России, поэтому довольно хорошо знали как лучшие стороны русской действительности, так и ужасы большевизма. Естественно, от нас не ускользнуло сходство сталинской России и гитлеровской Германии. Между собой мы часто говорили по-русски.

Существовала еще и третья, совершенно независимая от первых двух, причина, связывавшая Ауэровское общество и генетическое отделение института в Бухе. После открытия искусственной радиоактивности доктор Вольф, руководитель радиологического отделения Ауэровского общества, которое преимущественно занималось поставками и сбытом природных радиоактивных веществ для нужд медицины, решил проявить интерес также и к искусственной радиоизотопии. Это произошло, к слову замечу, задолго до экспериментального расщепления урана, так что более поздний "урановый проект" здесь ни при чем.

Сам Т.-Р. не интересовался этими работами, но его жена (Е.А. Тимофеева-Ресовская) делала вместе с Борном опыты (и публиковала их результаты) по распределению недолговечных искусственных радиоизотопов в организме в основном для использования их как "изотопов-проводников" в диагностике (сейчас этот диагностический метод повсеместно распространен). Ауэровское общество осуществляло финансовую поддержку генетического отделения. И ничего общего с урановым проектом!

Человеку, который не пережил то время, невозможно реконструировать те отношения. Доказательством тому служит большинство вопросов, которые задают нам, старым людям, современные историки. До чего же они наивны (простите)! Схематически упрощенное деление тогдашних актеров на "добрых" и "злых", "нацистов" и "ненацистов" не передает действительности. А действительность была "оттеночно богаче", поэтому ее трудно представить. Это относится также и к судьбе Т.-Р., когда он находился в Германии. Он ничего не совершил такого, о чем можно было бы потом пожалеть, он остался верным себе. Он выжил среди нацистов, но лишь потому, что был окружен людьми, заслонявшими его от опасности. Уберечь его было трудно, но это удалось сделать не только по отношению к нему. Спаслись, например, биохимик, еврей по национальности, Варбург, физик Кальман и другие≫.

Из заключения комиссии.

Два года назад Прокуратура СССР обратилась в Прокуратуру ГДР с просьбой подготовить материалы о деятельности Н.В. Тимофеева-Ресовского в годы второй мировой войны. Прокуратура ГДР в свою очередь обратилась за помощью в Академию наук ГДР, где для изучения вопроса была создана специальная комиссия. За год добросовестной работы комиссия подготовила обстоятельное заключение на пятидесяти листах и направила его советскому заказчику. Однако результаты ее работы до сего дня оставались неизвестны советскому читателю. К сожалению, объем этого документа не позволяет нам поместить его полностью.

Резюмируя, эксперты установили следующее. Из документов, переданных в распоряжение, и из материалов, подвергнутых дополнительной оценке, вытекает, что исследования, которые проводил советский ученый Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, никогда не способствовали тому, чтобы сознательно укреплять фашистскую диктатуру в Германии или предоставлять фашистам средства для ведения войны.

1. Относительно утверждения писателей о предполагаемом участии Н.В. Тимофеева-Ресовского в изготовлении атомной бомбы, а также в опытах на людях.

Экспертиза установила, что подобные высказывания представляют собой чисто эмоциональные утверждения, не соответствующие действительности, и поэтому считаться обоснованными не могут.

Из материалов, подвергнутых дополнительной оценке, ясно следует, что так называемый Уран-Ферайн (в который входили ведущие физики-

атомщики, но не Н.В. Тимофеев-Ресовский) хотя и ставил перед собой задачу изготовить ядерный реактор и атомную бомбу, однако ему не удалось найти технически приемлемый путь для изготовления атомной бомбы с помощью средств, имевшихся в распоряжении Германии во время войны.

Кроме того, существуют свидетельства, что некоторые физики-атомщики сознательно затягивали проведение необходимых работ.

2. Сделанный Н.В. Тимофеевым-Ресовским в 1939 г. обзор о биологических институтах в Советском Союзе рассматривается как составная часть обвинения его в государственной измене. Однако необходимо принять во внимание тот факт, что этот обзор появился в момент действия договоров о ненападении и дружбе между Германией и Советским Союзом, т.е. в тот момент, когда между учеными обеих стран также возникли желание и интерес к более тесным контактам.

В этой связи необходимо также отметить, что в объем работы значимых научных учреждений всех стран входил также обмен публикациями. Как советские научные институты, за исключением военных лет, получали труды институтов Германии, так и научные институты Германии получали труды институтов Советского Союза.

3. При оценке высказываний, касающихся проблематики возвращения после 1937 г. в Советский Союз, необходимо учитывать сложившуюся ситуацию с генетикой в это время. Неоправданное государственное вмешательство в развитие естественных наук создало в первую очередь в генетике сложную ситуацию, которая выражалась в подавлении проведения основополагающих исследований в области генетики, а также в репрессиях ведущих генетиков.

Свидетельство чести.

В конце прошлого года советский физик Евгений Фейнберг, обеспокоенный задержкой реабилитации честного имени Н.В. Тимофеева-Ресовского, по собственной инициативе обратился за помощью к бывшему сотруднику Николая Владимировича, известному французскому ученому Шарлю Пейру, который отнесся к этой просьбе с достойной уважения ответственностью.

≪Я, нижеподписавшийся Шарль-Луи Жан Пейру, свидетельствую честью, что нижеследующее является абсолютной правдой.

Я познакомился с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским в середине 1943 г. Я был французским военнопленным в Берлине. Я работал в его отделе с октября 1944 г. по сентябрь 1945 г. С конца ноября 1943 г. я виделся с ним очень часто, много раз в неделю, иногда почти ежедневно, и мы вели долгие разговоры. Я считал его наставником не только в науке, но и в культуре и политике. Я могу торжественно утверждать, что Н.В. Тимофеев-Ресовский был убежденным антифашистом. Я не хочу сказать, что он научил меня антифашизму, ибо это отвечало и моим мыслям, но, будучи гораздо старше меня и имея больший, чем мой, опыт в нацистской Германии, он, несомненно, укрепил мои взгляды и подвел под них более прочный политический фундамент.

Н.В. Тимофеев поддерживал многих людей, подвергавшихся нацистским преследованиям, предлагая им работу в своем отделе. Характеризуя Н.В. Тимофеева, я должен добавить, что, по его рассказам, ему предлагали германское подданство, но он отказался в выражениях жестких и ироничных: "Сударь, я родился русским и не вижу никаких средств изменить этот факт..."

Работы, проводимые в отделе Тимофеевым, относились к генетике, в частности, к изучению мутаций под действием ионизирующих излучений у мух дрозофил, что, очевидно, не имело ничего общего с военными усилиями. Нужно хорошо понимать, что для бюрократии никакая научная деятельность не имела права на существование, если она не была провозглашена важной для войны с присвоением ей степени приоритета ("Dringlichkeitsstufe"). Низкая степень приоритета означала в действительности, что эта работа не имела никакого значения для войны, но без ее присвоения Тимофеев и его сотрудники не могли не только работать, но даже покупать манную крупу и сироп, необходимые для размножения дрозофил.

Правда, отдел генетики ("Genetische Abteilung") сотрудничал с научными службами Auergesellschaft, но это абсолютно не означало, что этот отдел работал на Auergesellschaft. Как раз наоборот, именно эти службы помогали Тимофееву, предоставляя и отлаживая аппаратуру, необходимую для облучения, снабжая радиоактивными препаратами, используемыми для биологического мечения (по-английски – tracers), а также оплачивая часть персонала, в частности тех подвергавшихся опасности лиц, о которых я говорил выше. Я думаю (но здесь я не уверен), что это сотрудничество началось перед войной и затем продолжалось, имея наверняка низкую степень приоритета.

Наконец, нужно отметить, что в конце войны Тимофеев много раз имел возможность перевести свой отдел на запад. Он никогда не хотел этого делать, желая, как я думаю, вступить в контакт со своей родиной и соотечественниками. Он наверное не остался бы в Берлине, если бы ранее проявлял хоть малейшую активность в деле помощи нацистским военным усилиям.

Наконец, известно, что его сын Дмитрий был арестован в 1943 г. за просоветскую деятельность; насколько я знаю, он переводил советские пропагандистские тексты с русского на французский для военнопленных французов. Дмитрий был заключен в концлагерь Маутхаузен, где исчез. Конечно, речь идет о Дмитрии, а не о Николае Владимировиче, но эта активность свидетельствует о воспитании, которое он, Дмитрий, получил.

Совершено в Женеве 4 декабря 1989 г.
Шарль Пейру, бывший директор отдела
ЦЕРН, почетный профессор университета
в Берне.

Рассмотрено в генеральном консульстве Франции с целью официального удостоверения вышеприведенной подписи г-на Шарля Пейру, расположенной справа и выше.

Женева, 4 декабря 1989 г.
за генерального консула и по
его поручению Клэр де Суза, вице-
консул, глава канцелярии≫

Публикацию подготовил С. Бура
Московские новости. № 27. 8 июля 1990 г.

ПЕРЕСМОТРЕНЫ ДЕЛА УЛЬМАНИСА, ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО И ЦАРАПКИНА, СИНЯВСКОГО И ДАНИЭЛЯ... КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Генеральный прокурор СССР Николай Трубин продолжает ревизию странной деятельности своих предшественников. В этот раз им признано, что в делах Ульманиса, Тимофеева-Ресовского и Царапкина, Синявского и Даниэля нет доказательств о совершении ими преступлений. Разные дела в этот раз легли на стол прокурора, никто их специально не подбирал. Но объединяет их одно: в тех томах следственных дел свидетельства полнейшего беззакония и террора Советской власти против инакомыслия.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский родился в 1900 г. В 1923 г. окончил биологический факультет МГУ, работал научным сотрудником в Институте экспериментальной биологии Наркомата здравоохранения, возглавляемом профессором Н. Кольцовым. В 1925 г. по рекомендации Кольцова и по специальному решению Наркомздрава Тимофеев-Ресовский был командирован в Германию, где работал научным сотрудником отдела генетики и биофизики Института мозга, потом возглавил этот отдел.

Сергей Романович Царапкин родился в 1892 г. В 1926 г. по рекомендации Тимофеева-Ресовского тоже был командирован для работы в Институт мозга.

4 июля 1946 г. приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР Тимофеев-Ресовский и Царапкин были признаны виновными в том, что, получив в 1937 г. предложение возвратиться на Родину, от возвращения в СССР отказались и остались проживать в фашистской Германии, продолжая работать в Научно-исследовательском отделе Института мозга в г. Берлин-Бухе.

Кроме того, Тимофеев-Ресовский признан виновным в том, что среди сотрудников Института неоднократно высказывал свои антисоветские взгляды по вопросам, "касающимся государственного строя Советского Союза", а Царапкин имел связи с антисоветскими эмигрантскими круга-

ми, в 1930 г. вступил в антисоветскую "Трудовую крестьянскую партию". Наказание обоим – по 10 лет лишения свободы с поражением прав на 5 лет и конфискацией имущества.

И в этом деле никаких доказательств совершения Тимофеевым-Ресовским и Царапкиным преступления не было. Фактически суд признал их виновными только за отказ возвратиться на Родину, хотя уголовное законодательство, действовавшее в период 1925–1946 гг., ответственность граждан, находящихся на законных основаниях за границей и отказавшихся по личным мотивам возвратиться в СССР, не предусматривало.

16 октября Генеральный прокурор СССР направил в Верховный Суд СССР свой протест, где поставил вопрос об отмене приговора Военной коллегии в отношении Н. Тимофеева-Ресовского и С. Царапкина и прекращении уголовного дела за отсутствием в их действиях состава преступления.

"Известия". № 248. 17 октября 1991 г.

М.А. Реформатская

ЮНЫЕ ГОДЫ

Гимназические годы пролетели как стрела и остались от них сладкие, лучшие воспоминания, да еще, пожалуй, самое главное – определенный уклад на всю жизнь.

Из дневника Н.В. Реформатской, 1920 г.

27 марта 1954 г. мои родители, Надежда Васильевна и Александр Александрович Реформатские, получили письмо, вызвавшее у них одновременно и радость и горечь. То была весть – после более чем четвертьвековой разлуки – от друзей их молодости Тимофеевых-Ресовских, уехавших в научную командировку в Германию в 1925 г. "Ну слава Богу, живы! И у нас, в России!" Но обратный адрес на конверте: г. Касли, Челябинской области, п/я 33/6 – для привычного глаза тех лет мог означать только одно: письмо из "узилища". Стало быть, не миновал и их этот "многих славный путь". Да и как могло быть тогда иначе?

Подтверждалась и мелькнувшая несколько лет тому назад догадка, что Николай Владимирович находится в СССР на каком-то закрытом объекте. Об этом А.А. сообщил его друг, лингвист В.Н. Сидоров, рассказавший, что в лабораторию его брата биолога (Б.Н. Сидорова) поступил в конце сороковых годов запрос из НКВД на выдачу подопытных мушек, тех самых, которые у нас тогда, в разгар лысенковского истребления

биологии предавались анафеме вместе с именами ученых, строящих на них свои работы. Название мушек было написано на приложенной записке по-латыни энергичным и размашистым почерком – в принадлежности его Тимофееву-Ресовскому, всемирно известному исследователю дрозофилы, среди биологов, знавших его в 20-е годы, не могло возникнуть сомнений.

Однако на страницах каслинского письма – совсем не этот характерный почерк, а спокойный ровный, Елены Александровны, несущий след многолетней эпистолярной практики. Сколько им было за всю их совместную жизнь написано и дружеских писем, и деловых бумаг, и, главное, под диктовку Н.В. научных статей и книг! В том мартовском письме Е.А. с врожденной деликатностью и вынужденным лаконизмом сообщала о себе, стремясь наладить общение с Москвой.

"22.III.54. Дорогая Надя, ты, наверное, очень удивишься, прочитавши подпись на этом письме. Да, это я и Колюша Тимофеевы-Ресовские. Ты ничего не слышала о нас 29 лет. С 1947 г. мы живем здесь. Все эти 7 лет я собиралась тебе написать и все не решалась. Не знаю, захочешь ли ты нам ответить. Но если бы ты знала, как мы хотели бы получить от вас хотя бы несколько слов. Как вы живете, как Шура? Что вы поделываете, есть ли у вас дети? Мы живем здесь – все вместе – я, Колюша, и наш младший сын Андрей. О старшем я тебе когда-нибудь напишу. Но за все эти годы нам ничего не удалось узнать о моих родных. Мне почему-то кажется, что ты или твоя сестра, возможно, знают что-нибудь о моей сестре Шуре. Надя, если ты только могла бы сообщить мне, где моя сестра или, если она умерла, где ее дети.

Здесь мы живем очень хорошо, много работаем, Андрей кончил в этом году университет (физик) и женился. У нас отдельный домик из 5 комнат. Единственно, что нас огорчает – это, что мы никак не можем восстановить связь с нашими друзьями и родными. Еще раз, дорогая Надя, прошу тебя, ответь мне, хотя бы совсем коротко.

Адрес наш: г. Касли, Челябинской области, п/я 33/6. Е.А. Тимофеева-Ресовская.

Колюша просит передать вам обоим самый сердечный привет.

Твоя Леля".

Осторожность тона письма внушена была неуверенностью в том, как в тогдашние суровые времена на имя Тимофеевых откликнутся в Москве. Ведь предшествующая их попытка подать о себе весть закончилась неудачей. С началом первого послесталинского года – январь 1954 – в Москву была откомандирована невестка Нина, единственный в семье "свободный человек", с поручением передать письма родным и знакомым. Но после тяжелой встречи с сестрой Николая Владимировича Верой Владимировной, отказавшейся с ней говорить, Нина не захотела куда-либо еще заходить и привезла письма обратно. У "негостеприимства" Веры Владимировны были тогда весьма мрачные и убедительные причины, о чем она через 35 лет нашла силы открыто сказать с экрана фильма Е.С. Саканян "Рядом с Зубром".

Незамедлительный ответ моих родителей на письмо Елены Александровны явился первой ласточкой, прилетевшей к опальным Тимофеевым с воли, из их прежней московской жизни. Ободренная теплым откликом, Елена Александровна писала второе письмо уже гораздо раскованнее и подробнее.

"4. IV. 54.

Дорогие Надя и Шура, вы не можете себе представить, как вы нас обрадовали своим письмом. Я была на работе, а Колюша дома (он сейчас взял себе неделю отпуска), когда пришло письмо. Колюша сейчас же мне позвонил, и я еле досидела до 6 часов. Придя домой, мы читали его несколько раз, собравшись всей семьей, затем оно было прочитано еще раз у наших друзей.

Эти 7 лет мы были совершенно оторваны от наших друзей и родных. Единственно, кому мы дали знать, что мы снова на родине, – это Вере – колюшиной сестре, но она не очень захотела нас знать. (...). Теперь вы понимаете, как особенно радостно было для нас ваше письмо – первое с большой земли от наших друзей (...) ...Колюше пришлось пережить 2 очень тяжелых года (1945–1947), (заключение в Карагандинском лагере. – *М.Р.*), он был очень тяжело болен, после чего потерял центральное зрение, он все видит, но читать совсем не мог. Но за эти годы он научился читать с лупой. Конечно, очень медленно. Так что я превратилась теперь в чтицу – каждый вечер с 7 вечера до 12 – 1 часа читаю ему вслух и научную литературу и беллетристику и даже детективные романы на английском языке, которые я прежде терпеть не могла. Кроме того, у Колюши обнаружился камень в почке, который иногда его очень мучает припадками, но вырезать его он не хочет (обратиться к врачу означало для него попасть в тюремную больницу, из которой еще неизвестно, куда попадешь. – *М.Р.*). Правда, сейчас припадки стали реже (последний был 7 мес назад). Зато я в смысле здоровья процветаю – совсем не болею, только здорово пополнела и стала гораздо более веселой, чем была прежде. Сын у нас малый хороший, внешне, пожалуй, взял все лучшее от меня и Колюши – высокий, стройный и на лицо красовитый, характер только, пожалуй, слишком спокойный. Вот старший Фома был весь в Колюшу – очень бедовый – ну вот из-за его увлечений и легкомыслия и попал в концентрационный лагерь (в 1943 г.) за свои левые убеждения. Первое время мы с ним переписывались, посылали посылки, а потом перестал писать, не знаю, может быть, он погиб там, а может быть, попал в Россию; но тут все наши поиски оказались тщетными. Мы все трое имеем паспорта, и единственное осложнение для нас – это выезд отсюда. Но все на свете изменчиво и, может быть, и это изменится. Кроме того, Колюша, возможно, сможет получить коман[illegible] Если получит, то очень скоро, в конце апреля. Но это то[illegible] нам хотелось попасть в Москву – пови[illegible] здесь ничего, кроме кино, нет. Но зато [illegible]ты, бываем 2–3 раза в неделю. Гла[illegible]бота и чтение. Но ведь это тоже непло[illegible]

чательных книг! Еще раз спасибо за письмо, за память и любовь. Очень, очень тронули нас. Ждем еще писем.

Любящая Вас Леля Тимофеева-Ресовская".

К письму Елены Александровны добавлялись приписка от Николая Владимировича: "Крепко обнимаю и целую! (...) На днях вышлю свою книжку, а ты, пожалуйста, пришли свою. До осени не приеду. Скоро напишу поподробнее. Страсть был рад твоему письму!" – и то его первое письмо, которое было заготовлено для январской поездки невестки Нины. Тут и предстал во всей красе знаменитый "шумный" почерк – только буквы от потери зрения стали еще крупнее и нажимы линий еще толще.

"10.01 54

Дорогой Шурка!

Вот уже 29 лет, как ты от меня вестей не получал, хотя, быть может, обо мне к тебе слухи и доходили. Ныне же седьмой год, все собираюсь написать, да по известной тебе "неписьменности" моей до сих пор никак не мог раскачаться.

Привет старейшему и по-прежнему дражайшему другу!

О нашей жизни (живем превосходно!) расспроси Нину, а о своей напиши и Нине расскажи поподробнее. Я по-прежнему увлечен науками, а также множеством всяких других вещей (географией, историей животных, солеными и особенно копчеными рыбками, водками разных сортов, историей отечественного естествознания и т.д.).

Посылаю тебе, in memoriam, книжицу своего in bellissima lingua italiana. Пришли, если сможешь, свою "Филологию": ее у меня нет.

Живы ли Залогины? Если да, то целую Егора и целую ручку Минечке. Кто еще существует из старой компании нашей?

Надеюсь когда-нибудь увидеться. Жаль, что не могу пригласить тебя сюда (Нина скажет – почему); поохотились бы! Глухарей тут чуть не за хвост ловить можно, а зайцев даже Андрей (не охотник, а шляпа и спортсмен!) стреляет.

Приветствуй всех, кто еще помнит меня! Крепко обнимаю тебя, целую ручку Наде. Не забывайте и пишите – вы ведь филологи, следственно люди "письменные".

Твой Н. Тимофеев».

Затем последовал приезд тимофеевских друзей и сослуживцев по уральской шарашке – Вознесенских, Сергея Александровича и Елизаветы Александровны, получивших реабилитацию и разрешение на побывку в Москву. Они рассказали родителям то, чего не поведаешь в письме, а после их ухода мы читали присланное и разглядывали кипу фотографий из германской жизни Тимофеевых 20–30-х годов и послевоенных лет на объекте, которые Н.В. окрестил "материалами для иллюстрированной биографии (или некролога)". Ох уж этот стиль "макабристого" юмора – он был мне хорошо знаком и по обыгрыванию "ваганьковских мотивов" в подобных отцовских шуточках.

С фотоснимков смотрели воодушевленные и красивые лица молодых деятельных европейцев Тимофеевых, аккуратные белобрысые малыши,

сцены, снятые в лаборатории, в буховском парке за игрою в городки, в компании с друзьями-коллегами. От всего этого исходило ощущение уверенности, ясности, открытости и жизненного подъема. И только по напряженным взглядам обоих и резко осунувшемуся постаревшему лицу Елены Александровны на последних снимках можно было догадаться, что пережито ими за войну и потом.

Я расположилась к ним сразу, хотя не без труда соединила европейски респектабельного Н.В. на полученных фотографиях с тем разбойным сорви-головой на карточках 1916–1918 годов в домашних альбомах и в многочисленных рассказах родителей, где Колюша всегда был заводилой гимназических выходок и студенческих эскапад. На фотографиях представал его диковатый облик с рубахой навыпуск и всклокоченной шевелюрой, а рассказы сообщали о мощной, как иерихонская труба, глотке, заставлявшей содрогаться стены, когда он пел арию варяжского гостя "О скалы грозные". Но при этом неизменно подчеркивалось основное свойство Колюшиной натуры – азартность, она в равной мере проявлялась и в более и в менее серьезных привязанностях, которые он имел обыкновение в юные годы часто и круто менять. То Колюша был поглощен спортом, особенно принимавшим тогда свой старт футболом, вступив в общество "Сокол", то увлечен нигилизмом, избрав в качестве идеала Базарова, то одержим религиозным духом и преклонением перед Достоевским и отечественными церковными древностями. Все, к чему бы ни прикасался Н.В., захватывало его полностью, но сильнее всего это сказалось в его занятии наукой. Тут обычно припоминались некие "выводящиеся карпы", из-за которых пришлось однажды отставить намеченную охотничью поездку, а охоте Н.В. в молодые годы отдал немалую дань.

Разные истории эпохи молодости моих родителей звучали так часто, что мне казалось, что я их отчетливо вижу, как наяву, а их герои – Колюша Тимофеев и мамины гимназические подруги – мои давнишние знакомые. Способствовала этому и привычка родителей показывать во время прогулок по Москве памятные дома, причем независимо от того, с кем они связаны: с теперешними друзьями или приятелями прошлого, литературными героями или историческими знаменитостями. Так, в недалеком от нас Сивцевом Вражке и Плотниковом переулке стояли дома друзей Залогиных и Ушаковых (куда мы реально направляли путь), а также Льва Толстого и М. Гершензона, Николая Ростова и молодого Колюши Тимофеева. Церковь Успения на Могильцах подавалась как приходской храм Ахросимовой из "Войны и мира", место венчания Кити и Левина из "Анны Карениной", а также Колюши и Лели Тимофеевых.

Такая приверженность к воспоминаниям, переживаемым не в элегическом ключе, а как череда реальных событий одновременно и из живой жизни, и из культурной русской традиции, была особенностью моих родителей. Мне кажется, она выражала потребность опереться на нечто здоровое, прочное, что было воспринято еще на заре (в кругу семьи и друзей, в

гимназии, в университете), что задавало линию их нравственного поведения и помогало выстоять в тех житейских передрягах, какие с лихвой выпали на долю ровесников XX века.

Точным ровесником века была моя мама (да и то после перехода на новый стиль). Елена Александровна была старше ее на два года, а Николай Владимирович и Александр Александрович, родившиеся осенью 1900 г., горделиво причисляли себя к веку минувшему. Захватив его кончик, они похвалялись, что опережают молодой XX век, которому только спустя несколько месяцев удастся их догнать и шагать с ними в ногу. Они взрослели вместе с веком. 1917–1918 годы, годы окончания гимназии, были серьезным жизненным рубежом не только для века, но и для их биографии. У Н.В. и родителей это окончание пришлось на весну 1918 г., для Е.А. на год до этого. Но почему-то у всех в памяти осталось 9 мая 1917 г., день предпоследнего выпуска старой восьмиклассной гимназии, отмеченный невероятным для майской поры состоянием погоды – вьюгой со снежными хлопьями, как бы несущей какие-то тревожные предзнаменования.

Николай Владимирович и Александр Александрович встретились в 1914 г., в пятом классе московской гимназии А.Е. Флерова, куда Н.В. поступил, приехав из Киева после смерти отца, инженера-путейца.

В Киеве же он посещал ту самую I Императорскую Александровскую гимназию, где прошли ученические годы его коллеги по биологии Л.А. Зенкевича, историка Е.В. Тарле, авиатора И.И. Сикорского, писателей М.А. Булгакова и К.Г. Паустовского, деятелей театра В.А. Лосского, И.Н. Берсенева, С.М. Лифаря и А.Н. Вертинского. О киевских годах Н.В. вспоминал, когда они с Еленой Александровной читали мемуарную повесть Паустовского.

От пребывания в Киеве у Н.В. остались некоторые особенности произношения: "вь институте", "вь истории", "вь итоге" (через "в" мягкое), выражения: "пара строк", "пара стаканов" – или рассказ о том, как вечерами, прогуливаясь на Подоле, гимназисты подкарауливали и избивали особо им ненавистных "педелей" – штатных "шпионов" за учениками. На киевских улицах был им подслушан и печально памятный клич: "Бей его, у него брат студент", злобный и тупой дух которого еще не раз оживет в XX столетии, так или иначе коснувшись судеб многих его ровесников. Своих гимназических приятелей Колюша занимал увлекательными рассказами о вольном лете под Киевом, безудержном купании, рыбной ловле и о работе на Днепровской биостанции.

Оттуда, из Киева, потянулась и ниточка, связавшая Н.В. с естествознанием, через товарища его отца по киевской гимназии гистолога Ивана Фроловича Огнева, а затем и его сына зоолога Сергея Ивановича. С ними Н.В. свиделся уже по прибытии в Москву. Д.А. Гранин на страницах "Зубра" говорит о том, как старший Огнев в компании с художником М.В. Нестеровым водил сына своего покойного друга по московским церквам слушать дьяконское пение – а в этом деле они знали толк! На

уроке у весьма почитаемого преподавателя психологии во Флеровской гимназии П.А. Рудика был проделан следующий эксперимент: Колюша Тимофеев и Шурка Реформатский залезли под парту и при гробовом молчании класса стали оттуда возглашать "Великую ектенью". На вопрос учителя: "А что вы тут делаете?" – умильно ответствовали, что де идем во диаконы, а потому все время и пробуем свои возможности.

На это же время, т.е. седьмой-восьмой класс гимназии, приходится и пробужденная И.Ф. Огневым и М.В. Нестеровым любовь Колюши к русской церковной старине, вылившаяся в разгар русско-германской войны в ревностную религиозность, сменившую предшествующий этап столь же яростного нигилизма. Закадычный друг и виршеплет-биограф Шурка посвятил этому периоду целую октаву в своем октете:

Но вновь Колюша через год
Меняет круто идеалы –
Он свечку к Иверской несет
И лбом поклонов бьет немало,
Читает "Бесы", "Идиот"
И чтит "единого сих малых".
Ведь "богоносец" наш народ!
Он старовер и патриот.

Но настоящая связь с естествознанием стала зарождаться уже на уроках у младшего Огнева, преподававшего во Флеровской гимназии зоологию. Его уроки напоминали серьезные университетские занятия, но иногда он разрешал своим ученикам и некоторые "вольности", если это шло на пользу дела. Так, в подтверждении того, что у медведки орган слуха расположен на лапе, все те же озорники, Колюша и Шурка, нарисовали на доске медведку в позе Татьяны Лариной, которой Онегин поет арию, дуя в лапу. Было известно, что Сергей Иванович, будучи начинающим зоологом, дал слово, что напишет книгу о зверях России, и он это слово сдержал!

Повезло флеровцам и с некоторыми другими преподавателями. В интересе Н.В. к географии "повинны" были замечательные географы. Сначала П.Н. Пашин. Он часто водил гимназистов на экскурсии, в частности, в подмосковные каменоломни по Курской дороге за аметистами и занимательно живописал о городах и реках России... Причем так красочно рассказывал, например, о Поволжье, что перед учениками возникало его население, базары, нравы, даже провинциальная интеллигенция. В старших классах Пашина сменил директор гимназии А.С. Барков, один из четырех авторов (Барков, Крубер, Григорьев, Чефранов, а на гимназическом языке – "четырех разбойников") известного учебника по географии, послужившего верой и правдой и в советской школе. Получению широких представлений о земном шаре, природе и человеке немало содействовал интересный предмет, точное название которого флеровцы запамятовали, а содержание его признавали весьма полезным (видимо, космография. – *М.Р.*). Он представлял соединение начальных элементов ант-

рапологии с теорией Дарвина и поправками к ней Клаача, разные этнографические сведения о новых и древних народах, историю культуры и чтение "Корана" по-латыни (?). Этот предмет вел А.П. Калитинский, человек артистичный и энциклопедически образованный, впоследствии получивший известность участием в сборниках по средневековой культуре ("Seminarium Kondakovianum"), издававшихся в Праге, куда он попал после 1919 г. с труппой МХТа, в которой играла его жена, актриса М.Н. Германова.

Особо пытливые гимназисты организовывали дополнительно к урокам домашние кружки на исторические и литературные темы. Довольно часто собирались на квартире отца А.А., химика А.Н. Реформатского, читали доклады и затевали горячие споры. То спорили "за" и "против" Писарева и Базарова, то обсуждали под руководством учителя истории С.М. Чемоданова крестьянскую войну Яна Гуса и зарождение английского парламента, о чем пылко вещал пятиклассник Колюша Тимофеев, воспетый в стихах своего приятеля:

В счастливый миг мечтаний чистых
Хвалил, открыв словесный кран,
Парламент мудрых англичан.

Почти лицеистскую восторженность испытывали флеровцы к своему словеснику В.М. Фишеру. В записках А.А. ему дана развернутая характеристика, и я ее приведу почти полностью. "Фишер – крупный талант, великолепный педагог и острый исследователь. Он был автором только что вышедшего двухтомного учебника, компактного и "тонкого" по мыслям, и интереснейшей статьи "Поэтика Лермонтова" 1914 г. На уроках факты русской литературы он излагал на фоне западной, так что мы узнавали о русских и западных писателях и, вопреки программе, заканчивающейся Тургеневым, знакомились с Достоевским и Чеховым. Рассказывал он, увлекаясь и увлекая других. Расхаживая между партами и размахивая руками, он декламировал Пушкина (он знал у него наизусть буквально все) и Байрона, которого сам переводил. Мы ходили с ним на лекцию М.О. Гершензона "Мудрость Пушкина", реферировали литературоведческие статьи, устраивали диспуты о проблеме отцов и детей, символистах и стиховедческих работах Андрея Белого. Словом, это было наше и мое, в частности, счастье!" Перебирая впоследствии вместе с Н.В. имена своих гимназических наставников и их судьбы, А.А. заметил, что Фишер по своему дарованию бесспорно смог бы украсить Московский университет, но после 1920 г. он оказался в Польше и погиб в гитлеровском гетто. "Как это все грустно, – сказал А.А. и, подумав, заметил – Конечно, и здесь ему было бы не так весело, особенно в 1949 г.... Вечная ему память за все, что он нам дал своей щедрой рукой".

Такое яркое педагогическое соцветие позволило многим ученикам получить весьма основательные знания, компенсировавшие даже нехватку систематического образования в вузовской чехарде двадцатых годов.

Как объяснить такую концентрацию солидных педагогических сил во

Флеровской, да, впрочем, и в некоторых других гимназиях России десятых годов? Здесь немалую роль играло и пристойное жалованье, которое назначалось в частных гимназиях, и прилив преподавателей университетского ранга в гимназии, и другие учебные заведения после конфликта профессуры Московского университета с министром Л.А. Кассо в 1911 г. Но главное заключалось в том, что просветительское дело (как и вообще многое в сфере культуры, науки и искусства) находилось тогда в России на большом подъеме. Собственно на этой волне и возникла Флеровская гимназия, выстроенная в Мерзляковском переулке в 1910 г. и оснащенная классами, кабинетами, залами по последнему слову. По фасаду ее тянулся фигурный фриз в антикизированном стиле (мудрые мужи наставляют младенцев) скульптура Л.С. Синаева-Бернштейна, принимавшего участие также и в декорировании цветаевского Музея изящных искусств. Кстати, любопытное совпадение: предполагают, что и здание по соседству с домом в Никольском переулке, где поселилась семья Тимофеевых, украшено забавным фризом того же скульптора, представившего на сей раз шествие великих писателей земли русской (Пушкина, Толстого, Достоевского), то ли шепчущихся, то ли целующихся с музами.

Основная установка Флеровской гимназии отвечала потребности общества в образованных, трудолюбивых людях, способных принести ощутимую пользу, и немалому числу ее выпускников удалось это исполнить и приобрести известность. Из одного класса, где учились А.А. и Н.В., в науке проявили себя экономист и историк И.Ф. Гиндин, историк культуры В.П. Зубов, геолог Д.В. Обручев, филолог С.А. Коновалов, зоолог С.Д. Перелешин, биолог Н.С. Архангельский, а из других выпусков искусствовед В.Н. Лазарев, биолог Б.Л. Астауров, литературовед Б.В. Михайловский, композитор М.В. Робер, актеры Н.И. Рыжов, И.В. Ильинский и др.

"Одним словом", – заключил при таких перечислениях А.А., – и учеными, и литераторами, и актерами наша Флеровская гимназия Русь обслужила!"

Не имея обыкновения выдерживать одну торжественную ноту, и А.А. и Н.В., помянув добром одних, пускались описывать и преподавателей "чудаков", с которыми гимназисты учиняли всевозможные розыгрыши, и "монстров", над которыми они язвительно насмехались, а уж анекдотам о колоритных персонажах из учеников – балбесах, второгодниках с "Камчатки" или забавных "антиках" (говоря словами Лескова) не было конца. Об одном из таких, кто упорно молчал у доски, флеровский выпускник В.П. Зубов иронически и велеречиво писал, что "семя учения не везде принесло плод, попадая на каменистую почву". Этот "молчун" с охотнорядским прямым пробором посреди жесткой черной гривы волос объяснял свое поведение тем, что "с жидами, инородцами и интеллигентами он не разговаривает. А так как преподаватели или жиды, реже инородцы, но уж во всяком случае они – интеллигенты, то отвечать он не желает". Зато после его отчисления из гимназии в 1916 г. Смоленский рынок пополнился новой палаткой с галантерейными товарами.

На переменках и нерадивые и прилежные гимназисты смешивались на дворе за игрой в футбол и лапту или просто в оживленной толкотне и потасовках. Нередко случалось, как под сильным напором разгоряченной толпы проламывался забор, отделявший гимназию Флерова от музыкального училища В.Ю. Зограф-Плаксиной, и кто-то из драчунов оказывался выброшенным на клумбу под нежные звуки юных плаксинских воспитанниц. Однажды в таком положении очутились Шурка и Колюша. Швейцар Степан обыкновенно зашивал пострадавшие при падении штаны, но никто не выдавал имен зачинщиков драки, как бы ни добивался этого инспектор. Не так воспитаны!

А иногда от неуемных проказников страдало гимназическое имущество – то исчезала отфутболенная кем-то тряпка, то разбивалось окно, то теряла девственную чистоту стена в курилке на чердачном этаже, покрываясь, как вспоминает И. Ильинский, во всю ширину надписью: ”Вясна ядеть!” – или подтверждающими ее призывный клич изображениями брачующихся зверей, нарисованными так похоже, что автору этого анималистического шедевра позавидовал бы уважаемый зоолог С.И. Огнев. Тогда появлялся сам попечитель гимназии А.Е. Флеров, прозванный за скрипучий голос козлом, и принимался увещевать гимназистов, начиная с неизменной формулы: ”Вы – дети интеллигентных родителей, а хулиганите!” – и кончая требованием внести штраф за причиненный материальный ущерб. Штраф в продолжение выходки собирался копейками и доставлялся в большом мешке.

Подобные истории передавались по всей Москве и обрастали легендарными подробностями. Они-то и создали Флеровской гимназии репутацию ”хулиганской”. В благонравной женской гимназии Алферовых, где училась Елена Александровна (тогда Леля Фидлер), ее сестры и моя мама, Надя Вахмистрова, одно упоминание о флеровцах вызывало шок, и чересчур разрезвившимся ученицам говорилось: ”Что вы делаете? Это же не Флеровская гимназия, а Алферовская!”

И тем не менее бывало, что воспитанники противопоставляемых гимназий заводили общие компании, ставили спектакли, дружили и даже впоследствии образовывали супружеские пары (Тимофеевы, Залогины, Реформатские). В годы первой мировой войны такие знакомства возникали и на созданных Земским советом пунктах помощи фронту. Учащиеся, живущие между Поварской и Пречистенкой (а к ним принадлежала большая часть флеровцев и алферовок), собирались по вечерам в пустующем особняке на Арбате, 16 (так называемом доме с привидениями). Они приносили в Земский совет деньги, собранные на домашних спектаклях, вместе со старшими упаковывали подарки в армию и доставляли их на железнодорожные вокзалы для отправки на фронт. Такие посылки воинам состояли из смены белья, мыла, кисета с махоркой, почтовых принадлежностей и вложенного письма. Среди педагогов-общественников здесь часто можно было встретить Софью Егоровну Фидлер, мать девочек-алферовок – Ксении и Лели (в будущем Е.А. Тимофеевой-Ресовской).

Алферовская гимназия, основанная в 1895 г., также обладала сильным

преподавательским составом (физик А.Б. Млодзеевский, историк М.С. Сергеев, выдающиеся философские умы Г.Г. Шпет и А.Ф. Лосев, сама директорская чета: математик Александра Самсоновна и словесник Александр Данилович), но славу ей составил ее либеральный и интеллигентский дух, который исходил от педагогов божьею милостью Алферовых. Если у Флерова преобладал трезвый деловой подход, то здесь большое значение придавалось собственно воспитанию.

Моя мама вспоминала: "Каждый переступивший порог Алферовской гимназии твердо знал, что подсказкам, списыванию, шпаргалкам тут объявлена война, за фискальство и малодушие презирают, трусость и вранье, даже самое невинное, не терпят". В отношениях между ученицами и учителями не было казенщины, ощущались доброжелательность и взаимное доверие. Со смущавшими юные души вопросами, вроде: "Можно ли жить без веры в Бога?" или "Как воспринимать учение Толстого?", ученицы приходили прямо к своему директору, а на уроках истории весной 1917 г. бурно обсуждали, что же пригоднее для России: прежняя монархия, английский парламент или республика? В 1913 г. алферовские гимназистки сочувственно встретили свежую новость: "Оправдан Бейлис!", принесенную Соней Унковской еще до опубликования в газетах; в марте 1917 ликовали, узнав об отмене смертной казни. Обо всем этом свидетельствуют мамины дневниковые записи. В семье отца, видимо, были похожие настроения. Там с особым значением хранился сборник статей "Против смертной казни", составленный М.Н. Гернетом, О.Б. Гольдовским и И.Н. Сахаровым (дедом Андрея Дмитриевича). Эту книгу подарил 29 мая 1906 года моей бабушке ее деверь, Леонид Николаевич Реформатский, со следующей надписью: "Будем верить, скоро конец черным дням". Через полвека, 29 мая 1960 года моя мама добавила новую надпись: "Маша! Передай эту книгу своим детям и так дальше. Пусть знают, чем жили их прадеды и прабабы".

При поощрении взрослых Алферовская гимназия вступила в "Московскую организацию учащихся", куда от старшего класса выбрали известную энергичностью и добросовестностью всеобщую любимицу, умную и веселую Лелю Фидлер. Члены организации мобилизовывали молодежь на помощь деревне, и для них специально читал лекцию по аграрному вопросу А.В. Чаянов. Жаждущие общественно полезной деятельности девушки готовились ехать в сельскохозяйственные дружины, на покос, подбирали политические брошюры и книги для обучения крестьян грамоте. Методическую программу по преподаванию взрослым людям грамоты предложил А.Е. Флеров (тот самый), а с культурно-просветительскими лекциями выступили известные историки, филологи, искусствоведы — А.А. Кизеветтер, С.А. Котляровский, Б.Р. Виппер, П.П. Муратов, А.К. Дживелегов, И.А. Орбели, собирая воодушевленную гимназическую публику в стенах Большой Богословской (позднее Коммунистической) аудитории Московского университета.

Многие представители старшего поколения, обращавшиеся к молодежи на Первом Всероссийском съезде учащихся в мае 1917 г., стремились

внушить ей серьезную ответственность перед Родиной и предостерегали от чрезмерного увлечения политикой. Возвратившись из ссылки, социал-революционер О.С. Минор призывал участников съезда не спешить с записью в какую-либо из партий и работать над собой: "Будьте прежде всего гармонической, свободной личностью! Будьте людьми!" Сходную мысль высказала и сама А.С. Алферова: "России теперь более чем когда-либо нужны культурные люди!"

Следовавшие ее заветам ученицы – и в их числе, конечно, Леля Фидлер – мало напоминали кисейных барышень и маменькиных дочек. Конечно, в гимназии были и такие, но основной дух все-таки определяли те, для кого установка на активное, честное и человечное была главным душевным стимулом. Говорят, что на алферовских гимназистках всегда лежал какой-то особенный отпечаток: их узнавали не только по синим беретам, но по манере держать себя. Конечно, под этим следует понимать не внешний этикет поведения, а глубокую внутреннюю воспитанность, естественный такт и искреннюю благожелательность. Этими качествами Елена Александровна обладала сполна, вобрав в себя все лучшее, что могли ей дать гимназия и семья.

При большом числе представительниц титулованного дворянства и крупной буржуазии основную массу учениц гимназии Алферовых составляли дети московской трудовой интеллигенции; сюда и должна быть отнесена семья Елены Александровны Фидлер. Ее родители были известные в Москве педагоги. Они принадлежали к обширному кругу обрусевших немцев, с деятельностью которых связано множество благородных и полезных начинаний в России по устройству лечебниц, аптек, книгоиздательств и учебных заведений, носящих имена Фидлеров и бывших с ними в родстве Штуцеров и Феррейнов.

Вслед за старшими сестрами Леля Фидлер поступила на естественный факультет Народного Университета А.Л. Шанявского. Это не только вытекало из круга профессиональных интересов домашней среды, но и отвечало в не меньшей мере нравственным побуждениям девушек той эпохи. Из них-то, этих курсисток, воспитанных в пору широко развернувшегося в начале XX в. в России женского образования, и составилась замечательная гвардия отечественных сестер-милосердия и фельдшериц, лаборанток, женщин-врачей и научных работников, зарекомендовавших себя ответственным и бескорыстным отношением к делу. Там же в Университете Шанявского произошло знакомство Елены Александровны с руководителем биологической кафедры Н.К. Кольцовым, роль которого в ее дальнейшей научной и личной судьбе трудно переоценить.

Судьба Алферовых была трагична. В августе 1919 г. их арестовали за принадлежность Александра Даниловича к кадетскому заговору и вскоре расстреляли обоих. Александре Самсоновне удалось переслать своим питомцам письмо-завещание, которое выучила на память одна из алферовок, Ирина Федоровна Шаляпина, и на их традиционной встрече у нас дома (а я помню 50-ю и 55-ю и еще несколько до них) воспроизвела собравшимся: "Дорогие девочки! Участь моя решена. Последняя просьба

к Вам: учитесь без меня так же хорошо, как и при мне. Ваши знания нужны будут Родине, помните постоянно об этом. Желаю вам добра, честной и интересной жизни. А. Алферова".

Гимназический батюшка Александр Добролюбов отслужил в церкви Николы Явленного на Арбате панихиду по расстрелянным Алферовым. Народу собралось много: пришли педагоги, ученицы, знакомые и просто сочувствующие. В последующие смятенные годы алферовки еще не раз помянут добром своих учителей. В 1920 г. моя мама запишет в своем дневнике: "Так не хватает теперь их обоих. Ни к кому не может быть столько доверия, любви и уважения, как к ним". И еще: "Александра Самсоновна руководила и душой и умом, и я знала, что она поможет разобраться в трудных и тяжелых минутах, направит тебя".

Для Елены Александровны рано началась самостоятельная взрослая жизнь. Многодетный – чуть ли не в десять человек – дом Фидлеров отличала обстановка исключительного трудолюбия и радушия. Но на него одно за другим начали обрушиваться несчастья: к зиме 1918 г. за короткий срок туберкулез и испанка унесли трех сестер и главу семейства.

В мамином дневнике под датой 19 декабря 1918 г. я нашла описание похорон Маруси Фидлер, бывшей курсистки, приехавшей домой из сельскохозяйственной коммуны в Ярославле на рождественскую побывку. В Москве тогда свирепствовала испанка, которая ее и скосила. Стояла стужа. Мела метель. Несчастной семье с трудом удалось нанять повозку с простыми козлами, на них поставили вынесенный из церкви Успения на Могильцах гроб. Но лошадь почему-то стала метаться, скакать по сугробам, а потом шальной рысью понеслась к кладбищу. Посторонний свидетель этой сцены, проходящий мимо некий "товарищ с винтовкой", не удержался от злорадной реплики: "Думают буржуи, что как прежде их хоронить будут". "Счастье, что Софья Егоровна и другие этого не слыхали – не до того им", – записывает мама, еще не подозревая, в какую страшную реальность превратится пущенная в декабрьскую пургу 1918 г. фраза случайного уличного прохожего и как отразится клеймо "буржуи" на судьбах членов фидлеровской семьи. Двое из них - сестра Е.А. Шура и брат Борис будут репрессированы. Шура и ее муж Алексей Александрович Пелопидас погибнут. Известие об этом придет к ней только в 1954 г., и тогда же, наводя справки о своих родных, Елена Александровна столкнется с еще одним горьким фактом – письмом некоей родственницы, расцененным ею как "пример грубости и неприличия". Не привыкшая все еще к нравам нашей жизни, Елена Александровна сетовала моим родителям: "Оно (письмо. – *М.Р.*) написано без обращения и подписи. Пишет она от лица своего поколения, что они не хотят меня знать. Пишет кратко, но ясно... Так что теперь у меня никого нет!"

К счастью, Елена Александровна ошиблась. Нашлась дочь сестры Шуры Таня (Т.А. Кисловская), с которой Тимофеевых соединила глубокая родственная близость, они ей отчасти заменили погубленных родителей. (Кстати, благодаря чуткому сердцу и умиротворяющему характеру Еле-

на Александровна сумела потом наладить добрые отношения даже и с вышеупомянутой родственницей).

Да, много из минувшей жизни всколыхнулось в памяти моих родителей при получении тимофеевских писем и фотографий. Сколько времени прошло врозь, а как свежи картины далеких лет!

Для Николая Владимировича Москва юных лет тесно связалась с его одноклассником Юрой Залогиным, именуемым Егором, и с одной из самых хорошеньких алферовских выпускниц Миней (Маргаритой) Шемшуриной, заключившими в 1924 г. семейный союз. А несколько раньше Минечка была предметом пылких сердечных воздыханий Колюши Тимофеева. У многих обитателей Никольского переулка, где они жили (их дома стояли по-соседству, чуть наискосок друг от друга), запечатлелась в памяти эта обращающая на себя внимание пара – благовидная барышня и разбойничьего вида, но с породистым лицом молодец. Они подолгу прогуливались или стояли у ворот дома № 13.

"Живы ли Залогины?" – справился в первом же письме Николай Владимирович. По счастью – да! Но тяготы военного времени сильно подточили их здоровье. В изможденном туберкулезнике трудно было теперь признать пользующегося славой лучшего флеровского форварда, ловкого игрока в городки и вдохновенного юношу Егора. Но когда он начинал говорить, слышалось не только хорошо знакомое заикание, но и не угасший "юрочкин" юмор, сочетающийся с его душевной открытостью и чистотой. Несмотря на материальную нужду, болезни и тесноту (одна из залогинских дочерей вынуждена была спать на рояле), в семье Залогиных царила атмосфера любви и гостеприимства. Трудно поверить, что в их коммунальной квартире, которую я застала набитой до отказа жильцами, когда-то устраивались спектакли. В 1917 г. силами гимназической компании были поставлены чеховские "Свадьба" и "Юбилей". Декоратором и гримером этих постановок, как и многих предшествующих, был Юрочка Залогин.

В дальнейшем эти художественные способности ему очень пригодились. Получив в Московском университете профессию искусствоведа и служа в Третьяковской галерее, он, отец трех девочек, чтобы обеспечить свою семью, подвизался как художник-оформитель, и в этом же качестве Юрий Георгиевич Залогин отслужил всю войну, изготавливая для фронта маскировочные присопособления. В армии у него развился тяжелейшей формы туберкулез, превративший его в пожизненного инвалида. И после демобилизации он то и дело прирабатывал к своей инвалидной пенсии оформительским ремеслом, время от времени делая остроумные изящные поделки в подарок близким. К пятидесятилетию окончания гимназии для собравшихся у Залогиных алферовок он сделал памятный картонный знак с вытесненной латинской буквой L (50), а в обнинскую квартиру Тимофеевых подарил любовно окантованные им репродукции "Царевны Лебедь" и "Пана", самых любимых его гимназическим другом картин Врубеля.

Тогда, в годы их юности, рождественские или пасхальные каникулы

обычно ознаменовывались домашними спектаклями, для которых избирались квартиры либо Шемшуриных, либо Реформатских. Они проходили под руководством матери моего отца, Екатерины Адриановны (преподавателя литературы), или старшего друга всей молодежи и нашего дальнего родственника Ивана Александровича Витвера, находящегося тогда на положении гувернера братьев Залогиных. Он занимался с мальчиками историей и поэтому прозывался "престарелый историк Жан", хотя был старше своих учеников всего лет на десять. Как вечный чеховский студент, он поочередно пребывал то в числе учащихся Московского университета, то в Консерватории, потом преподавал историю в средней школе, служил в Энциклопедии и окончательно утвердился в профессии географа. Возможно, этот шаг он сделал из-за того, что уже с середины двадцатых годов собственно историей заниматься становилось почти невозможно.

Витвер стал позднее крупным специалистом в области экономической географии Европы и Америки. О нем-то и шел разговор в очередном послании Николая Владимировича к моему отцу: «Друже! Только что прочел твое второе письмо, из коего узнал о том, что Ив. Ал. Витвер живет с вами (с 1938 г. наши семьи жили в одной квартире. – *М.Р.*). Помнит ли он меня многогрешного? Я же часто вспоминаю его, наши кружки, "Сикамбр" и то время, когда мы собирались коллективно под его высоким музыкальным руководством сочинять оперу "Мельхиседек". А затем урывками следил за его превращением из музыканта в географа (география, ведь, одна из моих "пассий"). Собирался в следующем письме спросить тебя о нем: а он – и вот он! Кланяйся Ивану Александровичу и приветствуй его от "полуколлеги". Буду рад, если он черкнет о себе. Я внимательно слежу по литературе за их дискуссиями о "предмете географии", "ландшафте" и т.п.. Выписываю "Вопросы географии" и "Землеведение". Поперек текста письма сделана красным карандашом дописка о географе из гимназии Флерова: "А ведь наш Ал. Серг. Барков еще жив!»

След упомянутых театральных затей сохранила дожившая до наших дней программа спектакля "Женитьба" Гоголя, состоявшегося 27 марта 1915 г. В нем в роли Кочкарева выступал Колюша Тимофеев под сценическим псевдонимом Пискарев-Рыбниковский, в роли Яичницы – Шурка Реформатский (Оралов-Горлодерский), декоратором значился Юра Залогин (Егор Плешивый), а режиссером – И.А. Витвер (Запузыркин-Швейцарский). Под началом Витвера в 1918 г. уже бывшие гимназисты организовали домашнюю студию "Сикамбр" (ее название взято по любимому восклицанию Сатина из пьесы М. Горького "На дне"), давшую несколько представлений в красноармейском госпитале в Мерзляковском переулке. «Совместно с моим другом Колюшей Тимофеевым, – вспоминает мой отец, – мы инсценировали рассказ Лескова "Грабеж", где я исполнял роли дядюшки и племянника, а Колюша и Егор Залогин – двух дьяконов: черного и рыжего». Весной 1919 г. этот же "театральный коллектив" поставил старинный французский фарс "Адвокат Пателен", разыгранный в кабинете А.Н. Реформатского (в доме в Дурновском переулке), став-

шим к моменту приведенной выше переписки комнатой И.А. Витвера.

Иван Александрович сделал также немало и в музыкальном просвещении своих подопечных и их друзей. Он подбирал музыку к спектаклям, сам сочинял шуточные арии, много играл сам, преимущественно Скрябина, водил молодежь на концерты Рахманинова, Орлова, Боровского, на симфонические циклы С.А. Кусевицкого, прививал любовь к опере, переживавшей тогда в России свою лучшую пору.

Чтобы попасть на знаменитых певцов – Шаляпина, Собинова, Петрова, приходилось простаивать в длинных очередях за билетами. Характерной чертой московского зимнего пейзажа тех лет были ночные костры, вокруг которых грелись заядлые театралы, обменивались впечатлениями, а иногда распевали любимые отрывки из опер. Колюша и Шурка стали страстными почитателями оперы. Они стремились послушать полюбившихся им исполнителей всюду: и в театре, и на концерте, и на церковной службе. На всю жизнь они запомнили, как истово и строго пел В.Р. Петров "Разбойника Благоразумного" в храме Христа Спасителя и как величаво он брал заключительное басовое "ми" на фоне звучащего хора в "Ныне отпущаеши..." в университетской церкви на Большой Никитской. Поэтому-то такой радостью для Николая Владимировича было получение книги о певце Петрове: "Громадное спасибо! Наслаждаюсь книгой о Вас. Род. и особенно воспоминанием о нем и наших с ним увлечениях", – пишет он моему отцу. Они и сами баловались пением, без особого певческого образования – душа просила!

В истории общения гимназических друзей есть еще одна, на мой взгляд, важная страница, имеющая отношение к сильно выраженному в них чувству "укладности". Оно проявлялось у них и в стиле поведения, и в особенностях речи, и во внутреннем самоощущении своей укорененности в отечественной истории и культуре. Эта сторона личности Николая Владимировича и ее истоки хорошо показаны в повести Д. Гранина "Зубр". Добавлю к уже известному лишь о том, что исходило из семьи моего отца, где Колюша Тимофеев был принят совсем как свой.

Нашим героям посчастливилось в раннем возрасте вкусить от русской усадьбы, проникнуться духом семейных преданий, приобщиться с детских лет к природе, земле и сельским занятиям. Словом, окунуться в атмосферу, о которой мы сейчас, на исходе XX в. судим лишь по книгам классиков русской литературы. Олицетворением этой атмосферы в семье Александра Александровича был его обожаемый родич, дед по материнской линии, Адриан Алексеевич Головачев. В его имении Покровском, расположенном в двадцати пяти верстах от уездного города Кимры, в старинном доме с островерхими окнами под "готику", на берегу большого озера и в окружении лип, саженных в петровские времена, протекали летние каникулы головачевского внука. К нему туда несколько раз приезжал гостить Колюша Тимофеев.

Головачев принадлежал к мелкопоместному, но довольно известному в Тверской губернии дворянскому роду. Его предки, начиная с XVIII в., были предводителями дворянства Корчевского уезда и передавали эту

должность по наследству вплоть до отца Адриана Алексеевича – Алексея Адриановича. На нем все и оборвалось, так как он "монаршею милостью" был лишен этого места и попал "в крамольники". Алексей Адрианович Головачев входил в Тверской комитет по освобождению крестьян и вместе с главою этого комитета А.М. Унковским вступил в конфликт с царем, подав слишком радикальный проект крестьянской реформы. В 1872 г. он издал книгу "Десять лет реформ" резко критического содержания.

Никто из потомков Алексея Адриановича не унаследовал ни его профессии экономиста, ни его публицистического дара, раскрывшегося на страницах "Современника" и "Отечественных записок". Однако забота о народном благе, общественный пыл передались его детям, сказавшись на их желании стать учителями и врачами. Его сын, Адриан, получивший образование в Московском университете и Петербургской военно-медицинской академии, работал врачом-хирургом в разных городах России, участвовал в трех военных кампаниях и лечил до последних дней всех, кто к нему обращался. Выйдя в 1907 г. в отставку, он затеял в своем любезном Покровском молочное хозяйство на рациональный лад и обеспечивал продуктами и собственное семейство, и молочные лавки Кимр, и даже что-то поставлял в московское объединение подобных предприятий, в так называемую Нормальную ферму у Соломенной Сторожки.

В Покровском, наряду с летними забавами, Шурку и его товарищей ждали и трудовые обязанности – участие в полевой страде. Когда в 1918 г. встала необходимость буквально "в поте лица добывать хлеб насущный", молодые люди оказались во всеоружии. Исполком разрешил и даже попросил прежних владельцев отработать летом в Покровском с условием, что они этим обеспечат и себе годовой паек по числу работников. Колюша, благо его хорошо помнили тамошние жители по предыдущим приездам, был выдан за члена семьи. И все во главе с зятем Адриана Алексеевича, пятидесятилетним Александром Николаевичем Реформатским "впрягались" во все "упряжки" по любой работе", трудились, как вспоминал мой отец, "не за страх, а за совесть". Косили, навивали стога, снаряжали жнейки и косилки (тогдашнее техническое новшество, заведенное еще Головачевым), запрягали лошадей и возили навоз.

Так что отец мой с полным основанием указывал в своем шуточном послужном списке профессию ассенизатора, а все они вместе, иронизируя над нашумевшим тогда, после Гордона Крэга, стилем театральных представлений "в сукнах", предлагали поставить "Гамлета" "в говнах". От Исполкома и местного "актива большевиков" их работу контролировал председатель Покровского сельсовета, кстати сказать, бывший до этого председателем местного "Союза русского народа". Наблюдая за этим превращением, почтенный профессор заповедовал своему сыну: "Никогда не будь б...!"

Пребывание в Покровском и впечатления от личности Головачева не прошли, как мне думается, бесследно для Николая Владимировича. Деятельный, увлекающийся, с оттенком чудачества и во всем чрезвычай-

но естественный, Головачев в чем-то напоминал и некоторых тимофеевских предков. Не исключено, что он, вернее, представляемая им традиция, и оказалась источником тех жизненных пристрастий, литературных вкусов и даже стиля речи и шуток, которые сближали между собой Тимофеева-Ресовского и А.А. Реформатского.

Задолго до приезда Колюши в Москву в 1955 г. я слышала обращенное ко мне: "Мал, глуп, туп, кривоног, соплив и Богу противен" – и многие другие присловья. С детства врезался мне в голову духовный стих-считалка про 12 апостолов, который Н.В., однако, знал в более полном составе и исполнял на большом артистическом подъеме:

А мы люди умные,
Мы люди разумные,
Над школами ставлены,
Да во попы поставлены.
Расскажите, что есть двенадцать,
Двенадцать апостолов,
Одиннадцать звездочек, виденных Иаковым,
Десять заповедей,
Девять чинов ангельских,
Столько же архангельских,
Восемь концов – честный крест.
Семь собор Святых Отец.
Шестокрылый Серафим,
Пяти язв во Христе,
Четыре Евангельи...,
В трех лицах Святый Бог.
У Марии сын Господь,
Он на небе царствует,
На земле господствует.
Королю-у-у-ует над на-а-ми.
Подайте слепенькому, Христа ради!

От Головачева шел интерес к природе, весенней тяге и охоте. Последнее он в свою очередь наследовал от своего отца, страстного охотника и приятеля "по перу", т.е. и по охоте, и по сотрудничеству в "Отечественных записках", Н.А. Некрасова, от которого он получил в подарок журнальный оттиск изъятой цензурой главы из поэмы "Кому на Руси жить хорошо" с надписью: "Доброму товарищу по литературе и охоте А.А. Головачеву на память. Н. Некрасов . 26 ноября 1876 года". В привязанностях Адриана Алексеевича к природе, охоте, музыке и литературе, а также к хозяйским начинаниям проступало какое-то особенное ощущение жизни как стихии, и это же можно отнести к его увлечению живым словом. В головачевском доме был заведен обычай читать вслух стихи и прозу. Особенно любили Пушкина, Гоголя, Аксакова, Лескова, Алексея Константиновича Толстого, Тургенева – эти же писатели были особенно дороги и Николаю Владимировичу и Александру Александровичу. За

делами и общими разговорами молодое поколение перенимало от старших отдельные словечки – "ретирада", "клистирная команда" – так генерал Скобелев именовал врача Головачева на Балканской войне, словообразования и каламбуры в духе Лескова, забавные присказки и присловья. В молодости Головачев вместе с писателем В.А. Слепцовым совершил путешествие по русской провинции в поисках оригинальных "языковых фактов". Головачев имел склонность представлять свою родословную в виде занятных маленьких историй. Он передал это умение и внуку. А у Николая Владимировича это выливалось в особый жанр блестящих импровизаций, которыми он имел обыкновение шармировать общество.

Тимофеевская манера говорить поражала колоритом вольного и сочного слова, абсолютно естественным соединением интеллигентской речи и серьезного тона со старомосковскими просторечными оборотами, пронизанными нескрываемой иронией. Имитировать ее, а такой соблазн возникает у многих, – гибели подобно! Сразу обнаружится фальшь. Такой же первородной стихией дышало и его пение, раздольное и одновременно эпически сдержанное, особенно в песне о Кудеяре-разбойнике. Интонацией и внутренним "дыханием" он владел захватывающе! Все шло из глубинных корней его натуры, и сам он казался удивительным явлением природы. Так что охрана его памяти – задача тоже и экологическая.

Но вернемся ненадолго в Покровское, чтобы указать на еще одну возможную линию сближения Колюши с хозяином дома. Тот учредил своеобразный культ князя-анархиста П.А. Кропоткина, в котором он видел достойную фигуру российского освободительного движения, высоко ценил за вольнолюбивый характер и почитал как географа и энтузиаста-путешественника, ибо и сам был бо́льшим охотником странствий. Тимофеевым Кропоткин доводился дальним свойственником со стороны мачехи Петра Алексеевича, приходившейся, как говорится, седьмая вода на киселе, племянницей генералу В.И. Тимофееву. Головачев и вовсе Кропоткина не знал, но очень гордился знакомством во время совместной службы на Балканском фронте с доктором О.Э. Веймаром, близким другом Кропоткина, организовавшим в 1876 г. его побег из тюремной больницы на черном коне по кличке Варвар. В честь этого события чугунный конь, принадлежавший головачевскому внуку, был назван Варваром, а фотография О.Э. Веймара, погибшего в 1885 г. на каторге, демонстрировалась в Покровском как дорогая реликвия.

Прославленному революционеру удалось хотя и косвенно, но поучаствовать и в жизни самого Николая Владимировича. Решительно выступавший против "красного террора", Кропоткин 14 августа 1920 г. заступился перед Лениным за людей, привлеченных по делу так называемого "Тактического центра", а среди них и за арестованного биолога Н.К. Кольцова, и вполне успешно: дело закрыли, Кольцова освободили. Он вернулся в науку, к ученикам и создал свой знаменитый кружок при Московском университете.

Вот там, после множества приключений и скитаний по России, под кры-

лом Кольцова и свели знакомство Николай Владимирович и Елена Александровна Фидлер. 10 июня 1922 г. состоялось их венчание в церкви Успения на Могильцах, после чего молодые поселились в тимофеевской квартире в Никольском переулке, дом 6/8. К этому времени его уже переименовали в Плотников, а ближайшим улице Пречистенке и Штатному переулку присвоили имя Кропоткина, жившего когда-то (до эмиграции) в этом старом квартале Москвы.

На свадьбу своего друга Шурка Реформатский написал уже не раз цитируемый здесь октет в осьми октавах под названием "История моего современника" со следующим финалом:

Теперь Колюша не юнец –
Он ассистентом у Кольцова
Сегодня двинул под венец
В исканье света жизни новой!
И песне надо бы конец,
Скажу еще к сему два слова:
Колюша, будь всегда мне друг,
Наукам – сын, жене – супруг.

Тимофеевы прожили вместе без малого пятьдесят один год. В 1972 г. справили золотую свадьбу с массой гостей разного возраста, шумными возгласами и теплыми словами. Моя мама на правах старого друга с юмором и той долей серьезности, которая подобает жанру праздничного тоста, осветила жизненный путь юбиляров, напомнив о многом, что уже было сказано на этих страницах. Комната в цветах и со столом, уставленным пирогами и июньскими ягодами, буквально источала свет, но сильнее всего он исходил от самих виновников торжества. Мама утверждала, что улица, где стоит дом Тимофеевых в Обнинске, потому называется Солнечной, что там живет самый лучезарный в мире человек – Лелечка. "Лелечке, которая лучше всех" – так мама обычно надписывала конверты писем к Елене Александровне, вызывая добрую усмешку у обнинских почтальонов и постоянную реплику со стороны адресата: "Ох, Надя! Ну ты совсем невозможная!"

Еще до отъезда за границу у Тимофеевых родился их первенец, окрещенный Дмитрием, но прозываемый Фомой – по популярной тогда песенке про Фому и Ерему. Андрей родился уже в Германии, и, кажется, от называния его Еремой родители удержались, но старшего они и их знакомые именовали Фомой в лицо, и за глаза, и после гибели. Елена Александровна жила надеждой, что Фома как-нибудь объявится, и долгое время не решалась запирать на ночь дверную задвижку. Каждый вечер молилась за него и все ждала и ждала.

В каслинском письме, написанном по следам первого приезда Андрея с женой Ниной в Москву летом 1955 г., Елена Александровна так высказалась о своих сыновьях: "Конечно, не хорошо хвалиться собственным сыном, но он, право, хороший, его гувернантка часто говорила мне, что Бог послал мне такого сына. Я никогда за всю его жизнь не имела от него

ни одной неприятности и в детстве, и в юности, и сейчас я всегда им довольна. Со старшим Фомой было много труднее – но у него характер был совершенно другой; много было огорчений и с его учением, и с его самыми разнообразными увлечениями, и с его настойчивостью. Он, пожалуй, был способнее Андрея, но учился плохо, музыкальнее, но не хотел учиться играть на рояле, зато изумительно играл на балалайке. Но свой характер, свою настойчивость он показал в тюрьме. Ну, об этом расскажу при свидании".

А свидание все откладывалось. Неизвестность нервировала. Почтовый ящик 33/6 свертывался, а новое место работы все еще не было определено. "Говорят что-то о Свердловске, – сообщает в ноябре 1954 г. Елена Александровна. – Это, пожалуй, лучше Новосибирска – все же ближе к Москве, – и признается: Очень тут тоскливо, и даже я со своим веселым характером иногда прихожу в уныние, а Колюша последнее время в невозможном состоянии. Минуты просидеть не может, хватается за книгу. Я ему читаю очень много, иногда вечером 4–5 часов. Больше у меня язык не ворочается". И рядом: "...уже семь с половиной лет я не была в концерте – я часто даже во сне вижу, как я вхожу в большой концертный зал и у рояля сидит Рихтер. Нет, этого я даже не могу себе представить! Такого счастья!"

Через полгода один из филиалов "Десьянс" (так называли Академию наук Н.В. и А.А.) принял Тимофеевых и начался переезд в две лаборатории – в Свердловск и Миассово. Николай Владимирович был занят сверх головы и изъяснялся в письмах кратко и эмоционально: "Жизнь – "прекратительная". Перевозить лабораторию в два разных места по таежным дорогам – тихий ужас"!

К осени Тимофеевы переехали в Свердловск, но пока не был сдан дом, жили в гостинице "Большой Урал". Одновременно с налаживанием лаборатории шла спешная подготовка к печати первого сборника "Биофизической лаборатории", доработка и вечернее прочитывание с сотрудниками в гостиничном номере. "...мы могли бы, пожалуй, переехать, – замечает Елена Александровна, – но Колюша ни за что не хочет, так как это, конечно, незаконно". Очень характерно для Николая Владимировича с его независимым нравом и одновременно дисциплинированным подчинением законопорядку. 13 октября состоялся, наконец, переезд в квартиру на улице Малышева. После этого Николай Владимирович прочел еще много докладов, проведал миассовскую биостанцию. В работе наступил небольшой передых и долгожданная Москва становилась уже реальностью. "Ну уж на той неделе мы обязательно выедем – иначе я психически заболею. Я до того жду Москву – и уж сколько времени!!!" – читаем в последнем письме Елены Александровны в преддверии Москвы.

Прибытие Тимофеевых 27 ноября 1955 г. на Казанский вокзал являло зрелище запоминающееся. Используя любимую присказку Николая Владимировича, можно сказать: "Не факт, а истинное происшествие!" Поезд, замедляя ход, проплывал перед перроном. В пролете тамбура

величаво выступали, заполонив собою все, светящиеся радостью Тимофеевы. Последовали объятия, раздавались громкие поцелуи. Посреди узкой платформы образовалась пробка, и из ее эпицентра в мокрую ноябрьскую хмарь выплескивались громкие, в прежнем колюшином стиле шутки. Минувших тридцати лет как не бывало! От приехавших исходила невиданная жизненность, распрямляющая энергия. Гранин очень точно описал обстановку той встречи, и я как ее очевидец могу это подтвердить.

Вот так Тимофеевы стали "врастать" в Москву и вообще в "большую землю"! С их приездом во многих московских домах, в том числе и в нашем, началась совершенно новая эпоха. Она растянулась на целые двадцать пять лет и заслуживает самостоятельного рассказа. Здесь же я попыталась отразить по преимуществу то, чему сама не была свидетелем, но что вобрала из рассказов домашних, из письменных документов (писем, родительских дневников и воспоминаний), хранящихся у меня дома.

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА РЕФОРМАТСКАЯ – искусствовед, специалист по древнерусскому искусству, преподаватель Московского университета. Дочь близких друзей юности Тимофеевых-Ресовских. М.А. Реформатская познакомилась с Тимофеевыми в 1955 г.

О.А. Чернова

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ

Я, ученица Николая Константиновича Кольцова и Сергея Сергеевича Четверикова, слушали их лекции, прошла Большой практикум Н.К. Кольцова и летнюю практику на Звенигородской биологической станции и начала там свою научную работу по энтомологии. Я не генетик и не буду писать о научных заслугах Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. При мне сформировалась на Звенигородской станции группа молодых московских генетиков, и мне хочется написать, как мы учились в университете в 20-е годы, кто были наши учителя, в каких условиях работали, как работали, отдыхали и веселились и каким я помню Николая Владимировича.

Я пришла в Московский университет в 1920 г. и почувствовала большую радость, что буду здесь учиться. Произвел большое впечатление огромный наплыв молодежи, и было заметно, что большинство поступивших приезжие. Радовались за женщин, так как раньше они могли учиться только на Высших женских курсах. В то время произошло слияние I государственного университета со II Высшими женскими курсами. Кроме

того, вблизи Арбатской площади и бывшей Б. Молчановки в большом (5-этажном) доме в Мерзляковском переулке находились кафедры нескольких профессоров, оставивших университет при министре Кассо. На первом этаже находилось помещение Михаила Александровича Мензбира, за ним – петрографический кабинет Миссуны, далее – геологический – ряд комнат и небольшой музей Александра Александровича Чернова и В.А. Варсонофьевой. На втором (или на третьем) и четвертом этажах у Николая Константиновича Кольцова были небольшая аудитория, кабинеты, лаборатории, ряд учебных комнат и кабинет Сергея Сергеевича Четверикова. Несколько в стороне было еще в этом доме помещение ботаников, где проводил занятия со студентами по анатомии растений Алексей Николаевич Строганов.

Тогда не было еще курсовой системы образования, а была предметная. Окончивший университет должен был сдать все упомянутые в программе дисциплины, но можно было слушать и сдавать экзамен и профессору, который был ранее на Высших женских курсах. А.А. Чернов (я его дочь) дал мне совет слушать общий курс зоологии, читаемый Н.К. Кольцовым. Этот совет определил мою дальнейшую работу на всю жизнь. С первой же лекции, начиная со строения амебы, я прослушала все лекции Н.К. Кольцова как завороженная, никогда лучше его лекций никого не слышала. Спокойно, прекрасно рисуя на доске, уверенно, с полным знанием излагаемого материала он сразу производил впечатление широтой знаний. Я одновременно начала слушать и лекции М.А. Мензбира, которого обожала, но со стыдом вспоминаю, что пришла слушать его преждевременно, не зная позвоночных животных, не смогла оценить его лекций по зоогеографии и сбежала. М.А. слушали студенты старше меня, уже работающие по различным группам позвоночных, изучавшие их систематику, распространение и биологию. Это были преимущественно москвичи, поступившие ранее, а многие студенты вообще не знали, что читаются лекции не только в стенах главного здания.

Николай Владимирович пользовался правом свободного выбора лектора и слушал лекции Бориса Степановича Матвеева по сравнительной анатомии позвоночных животных. Я также слушала позже эти лекции и отработала практикум по избранным главам, затем слушала курс биометрии, читаемый С.С. Четвериковым. На это уходило много времени, но мы не считались с тем, что придется в будущем сдавать много обязательных предметов. Не помню, были ли в программе геология и палеонтология, но как можно было упустить последние лекции Алексея Петровича Павлова и занятия по палеонтологии у Марии Васильевны Павловой.

Сколько времени занял Малый практикум по зоологии у Н.К. Кольцова, не помню. Вел занятия Авенир Николаевич Мартынов, который преподавал зоологию в частной гимназии В.В. Потоцкой, где я училась. Большой практикум проводил Григорий Осипович Роскин. Студенты, работавшие на Большом практикуме, продолжали с весны практику на Звенигородской биологической станции. Сергей Николаевич Скадовский проводил занятия по гидробиологии, ходил с нами на экскурсии, давал объясне-

ния, материал брали главным образом в реке, болотах, озере, в весенних лужах и даже далеко от станции в лесу, где в колее дороги в луже С.Н. достал нам апуса, который произвел большое впечатление. При станции была небольшая библиотека, и мы определяли большие и разнообразные сборы водяной фауны. Наша группа была менее 20 человек. Каждый имел оптику, и каждому было отведено рабочее место. Во второй половине лета по выбору студента можно было начинать научную работу. На станции было три основных дома – двухэтажное здание лаборатории и большая застекленная терраса внизу, наверху жилые комнаты, на другом конце территории также двухэтажное здание (дом с колоннами), в котором и внизу и наверху было несколько комнат, в которых жили большинство приехавших, и где была большая терраса – столовая. В третьем доме жил С.Н. с женой Людмилой Николаевной и две их девочки – Нина (Нуся) и Наташа (Ната) приблизительно 10 и 12 лет. Кроме того, был целый ряд небольших домиков, отдельная кухонька, домики, сарайчики, куда я никогда не заходила, но где работали, например, Вера Николаевна Шредер (гидрохимия), потом генетики, где разводили культуры дрозофил. За время пребывания моего на станции, в 1922–1924 и недолго в 1926 гг., я впервые видела в общей сложности работавших и временами посетивших станцию более 60 человек. На станции находились ученицы Сергея Николаевича, возможно, они были ученицами Кольцова еще на Высших женских курсах, человек 5–6. Затем были и из I государственного университета ученики Г.А. Кожевникова – несколько человек, С.С. Четвериков с женой Анной Ивановной и падчерицей Асей (Анной Петровной Сушкиной). С.С. был известный специалист по чешуекрылым, имел огромную коллекцию и интересовался популяционной изменчивостью. С ним были связаны энтомологи Д.Д. Ромашов, Б.С. Кузин и А.А. Шорыгин из Музея I МГУ. С.С. собирал на Луцынском торфяном болоте бабочек. Как-то при мне С.Н. и С.С. стали обсуждать вопрос о моей самостоятельной работе, С.С. посоветовал заниматься водными насекомыми, основываясь на очень слабой изученности их личинок.

Между Аниковской и Звенигородской станциями и ниже по реке был высокий правый берег, покрытый лесом, и заросшая травой пойма, на противоположной стороне не видно было деревень. Здесь, на правом берегу поймы, было Рыбукинское болото. По краям болота густо росли прибрежные растения. Высокое солнце освещало глубоко воду не тронутого человеком водоема, и я впервые увидела такое обилие и разнообразие водных насекомых, где каждый ключ жил своей особой жизнью. Уже тогда я подумала, что недолго здесь, под Москвой, будет существовать этот незастроенный берег реки.

На станции появились новые люди: Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский и его жена Елена Александровна, урожденная Фидлер. О родословной Н.В. подробно написал Д.А. Гранин: "Зубр" (Новый мир. 1987. № 1). О Елене Александровне знаю от ее родственницы очень немного. Фидлеры были москвичи, у них была гимназия.

Следует сказать о семье Скадовских. Людмила Николаевна была к нам

очень приветлива и часто приглашала к себе на вечер. Она прекрасно пела, С.Н. ей аккомпанировал, репертуар у нее был большой, разных композиторов, и мы очень любили ее слушать. Быстро заполняли большую комнату с плетеной мебелью, а Николай Владимирович садился на ступеньку у открытой двери.

Однажды в августе 1922 г. нас не пригласили. Скадовский принимал Н.К. Кольцова и Г.Дж. Меллера, который делал доклад на Аниковской биологической станции о результатах исследований с дрозофилой в лаборатории Моргана. Доклад его им очень понравился. Кроме того, Меллер привез пробирки с живыми дрозофилами. Николай Константинович еще до приезда Меллера интересовался дрозофилой, этим удобным объектом для экспериментов, и поручал проводить с ней опыты. На Звенигородскую станцию Н.К. приехал с определенным решением продложить своим ученикам заняться генетическими исследованиями на дрозофиле. Фактически он в тот вечер организовал будущую школу, предложить находящемуся у Скадовских С.С. Четверикову быть руководителем его молодых учеников. Еще был с Аниковской станции В.Н. Лебедев и доктор из Звенигорода. Мы же, ученики Кольцова и еще находившиеся здесь ученики Г.А. Кожевникова, тихо бродили вокруг, не предполагая, какие в ближайшие дни для некоторых наступят перемены. У дома стояла тройка лошадей с тарантасом, двуколка доктора и станционная лошадь Огонек, которая еле двигалась и была запряжена в телегу. Неожиданно ко мне подошел Церевитинов (студент Кожевникова), с которым я вообще ни разу не разговаривала, и предложил поехать покататься. Я села в тарантас и попросила подругу запеть, если кто-нибудь выйдет из дома и будет спрашивать о лошадях. Как только мы тронулись, тут же кто-то вскочил в двуколку, а затем на телегу с Огоньком навалилась дико орущая ватага. Когда мы выехали на проезжую дорогу, пристяжная оторвалась и побежала прямо в лес, а лошадь с двуколкой завернула налево и понесла домой к Звенигороду. В это время я услышала пение подруги. С появившейся телеги спрыгнул (кажется это был Н.В.) спаситель, быстро нашедший и привязавший пристяжку, и все вернулись. Встревоженные оставшиеся сообщили, что несколько раз выходил В.Н. Лебедев, что все давно собрались уезжать. И тут я вспомнила, что,будучи на Большом практикуме, я была спровоцирована А.А. Махотиным, большим мастером на всякие веселые выходки, о чем и теперь мне стыдно вспоминать, и поняла, что виновной сочтут меня, т.е. я была не на телеге, а в тарантасе, не видела себе прощения и рано утром уехала домой в Москву. Через день за мной приехала подруга, сказав, чтобы я возвращалась, что Сергей Николаевич меня простил. Через несколько дней я увидела Е.И. Балкашину и Д.Д. Ромашова с пробирками в руках и из их переговоров поняла, что они исследуют хромосомы, наблюдают кроссинговер и т.д. В то время, когда я была на Звенигородской станции, под руководством Сергея Сергеевича было всего 6 человек: Елизавета Ивановна Балкашина, Дм.Дм. Ромашов, Николай Владимирович и Леля, Александр Николаевич Промптов, затем позже приехавший Сергей Романович Царапкин, а Борис

Львович Астауров был на Аниковской станции и на Глубоком озере. Все они дружно, с увлечением принялись каждый за свою тему, входившую в общую задачу изучения генетики и эволюции. Сергей Сергеевич давно интересовался природными популяциями насекомых, и на Звенигородской станции возникла школа, изучающая генетическое строение природных популяций дрозофилы. С большим воодушевлением обсуждались каждая работа, сообщения о прочитанных исследованиях. В печати сообщалось, как проходили коллоквиумы, по существу "Соор" начался сразу летом 1922 г. Главные "ораторы" Н.В. и Д.Д., уже вдохновленные общей работой, горячо высказывали каждый свое мнение. И уже сообща обсуждался прием новых членов, я хорошо помню то время. Хотели привлечь к этой работе меня, но С.С. сказал: "Не трогайте ее!", что, конечно, мне сразу же было сообщено. Меня не привлекала экспериментальная работа, я была заворожена разнообразием видов, их строением и образом жизни. Б.Л. Астауров опубликовал в журнале "Природа", 1974 г. № 2 (по хранившемуся у него архиву: "С.С. Четвериков, Из воспоминаний". С.С. описал, как складывался научный генетический и эволюционный кружок, которым он руководил с 1922 г., получивший шутливое название "Дрозсоор" ("совместное орание дрозофильщиков") и широко известный в научной печати под сокращенным названием – "Соор." С.С. отнес время организации "Соора" к 24 году. С. 69). В 1924 г., когда у С.С. учеников стало 10 человек, когда продвинулись работы и беседы стали плановыми, С.С. убедился в полезности такого общения, к тому же почетными гостями, кроме Н.К. Кольцова, стал ряд ученых, и поэтому он описал свою организационную деятельность, принявшую более строгий характер, когда уже существовал полный состав. Начало работ генетиков на Звенигородской станции было очень важным для дальнейшего расцвета этой науки. Очень удачно были поставлены цели, и, что самое главное, работа была начата в условиях полной свободы. Такая же обстановка здесь была и для других начинавших здесь работать над своими свободно выбранными научными темами и потому для них интересными.

Днем все мы интенсивно работали, во время обеда и ужина никогда не засиживались за столом. Жила я в одной комнате с Асей Сушкиной, через узенький коридор была комната Анны Ивановны и Сергея Сергеевича, над нашей была большая комната, в которой жили мужчины. Николай Владимирович любил петь. Просыпались мы, и тут же на весь дом раздавалось громкое пение Н.В.:

Вставать пора, вставать пора!
Оставь свой сладкий сон и грезы,
Давно малиновки звенят,
И пышно распустились розы.
Давно малиновки звенят,
И пышно распустились розы.
Блестят росинки словно слезы . . . и т.д.

Ему иногда тихо подпевал Сергей Романович, а внизу Ася и я. После

ужина всегда все были вместе и много пели вещей из репертуара Людмилы Николаевны. Все сидели на ступеньках террасы, Н.В. стоял, глядя на всех, начинал бодро петь и часто дирижировал. Вот хотя бы сокращенно два примера из программы Л.Н.:

Милее всех был Джонни, мой милый, любимый,
Любил меня мой Джонни, так преданно любил.
Одним пороком он страдал, что сердца женского не знал,
Лукавых чар не понимал, увы, мне жаль, мне жаль.
. . . .

В небе заката лучи догорали,
Розовым блеском осыпан челнок.
Ро-о-озовым блеском осыпан челнок.
Час незаметно за часом проходит,
Дальше скользим мы по зеркалу вод,
В сердце, как в волнах, легко и спокойно,
Нет и следа в нем минувших тревог.
О, неужели на крыльях тумана
Утро опять их с собой принесет!
О-о-о-о, неужели опять принесет!

Однажды в репертуар Н.В. включил неизвестную всем тогда шутливую песенку. Первый раз исполняя ее, мы добросовестно пропели весь припев, но Анна Ивановна пришла от нее в ужас. Потом Н.В. опять раза два предлагал петь эту песенку "под Анну Ивановну". Она лишь много посмеивалась. Привожу ее текст:

Ты сказала: в понедельник приходи ко мне, бездельник,
Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела,
Ты же меня молодого з ума з разума свела.
Лучше б было не ходити, лучше б было не любити,
Лучше б было тай не знати, чем теперя забувати.

Далее:

Ты сказала: во середу, приходи к нам на беседу . . .

и опять тот же припев. Песенка кончалась в конце недели!

Ты сказала: во субботу, приходи к нам на работу . . .

и т.д. Это украинская песенка, но пели мы ее на русский лад.

Как-то утром у Н.В., по-видимому, возникло большое желание петь, он стоял против террасы и ждал, когда кто-нибудь выйдет и послушает его. Мне повезло, я вышла случайно, остановилась, так как он сразу начал петь "Эпиталаму" А.Г. Рубинштейна – "Пою тебе, Бог Гименей" . . . Я не знала этой вещи, восхитилась ею и удивилась великолепному исполне-

нию. Только ее услышав, я поняла, что у Н.В. прекрасный голос. Много лет спустя, когда в Москве передавали по радио эту вещь, мои домашние звали меня: ”Иди скорее, Лисициан поет ”Эпиталаму”, а я им каждый раз говорила, что Н.В. пел лучше.

Значительно больше пения по вечерам нас увлекали городки. Сидели однажды вечером на ступеньках, а Н.В. не было. Он вышел из-за дома, держа, как охапку дров, готовые городки, молча обозначил два городка, и без промедления начались игры. На Звенигородской станции, бесспорно, лучшим игроком был Н.В. Женщины били с середины оставшиеся в городе рюхи. У каждого была свою манера бить. Некоторые отходили немного назад и били с ходу и биту держали поднимая или били с ”локтя”. В то время я еще не умела стрелять, но почему-то вытягивала руку вперед, прицеливаясь. С.С. несколько раз говорил: Смотрите, смотрите как она бьет”, – вставал и показывал высоко поднятую руку и немного отведенную назад, а также отводил назал и ногу. Наверное, ему казалась моя позиция эффективной, почему-то я всегда била, стоя на левой ноге. Играли до темноты, приходилось класть белые бумажки на каждой рюхе. Так хорошо мы разминались перед сном. Я еще играла в 1925 г. на университетском дворе (химики против зоологов), и здесь главным игроком был А.Н. Несмеянов. Он мог выбивать целиком лежащие фигуры, поезд, колбасу и змею. А.Н. Несмеянов был высокий, сильный, красивый и тоже, как Н.В., очень живой. Его партнеры тоже хорошо играли, раза 2–3 даже акад. Зелинский выходил, но плохо помню, кажется, бросал и биту. ”Химички” не играли, но смотрели из окон. Химики всегда выигрывали, но мы все равно играли с удовольствием. На конце участка была маленькая скамеечка, и когда мы играли, стал приходить какой-то тип смотреть на игру, неприятный, не университетского обличия и внешне слабоватого вида, в общем неподходящий для нас и никому неведомый. Надо же так случится, что мне пришлось бить по ”попу” (стоящий городок). Он у меня полетел со страшным звоном и попал прямо в этого человека (явно к общему удовольствию). А Александр Николаевич, подбежав ко мне, потряс руки и очень громко сказал: ”Как Вы его, Ольга Александровна, здорово, да еще попом”. Дня через два или три я узнала, что наша игра запрещена: так как место небольшое и можно в кого-нибудь попасть. На Звенигородской станции Н.В. не забывал отмечать дни Ивана Купалы, или у костра, причем говорил: ”Мы как при дворе Людовика XV” – около огня многие босоногие да в темной неказистой одежде выглядели почти оборванцами.

Не знаю, сколько Асе Сушкиной было лет, но девочки Скадовских были значительно моложе ее, и когда мы все уходили работать, у нее не было сверстников, и только вечером она с нами пела и играла в городки. Но у нее было страстное желание куда-нибудь пойти в поход. Я не знаю, кто были ее отдаленные предки, но вспоминала выражение азиатских кочевников, которое с детства знала и любила ”Душу номада даль зовет” (знала это из описания экспедиции П.К. Козлова, 1907 г.). Какая-то частичка этого зова в ней была. Недаром она позже была на ”Челюскине”

и т.д. Но оставить работу, чтобы бродить по Подмосковью, у меня желания не было, я сдалась, потому что Л.Н. Скадовская нас всех водила к "Танеевке". Под Звенигородом была деревенька Дюдьково, или поселок "Танеевка", где жил композитор Танеев, а рядом прелестное место, окруженное высокими холмами, поросшими лесом, внизу же протекала речка, над которой порхали, как бабочки, синие красотки-стрекозы. Но зов асиной души наметил обратный путь по другой стороне реки. Пошли домой, в глазах все еще стояло виденное. Уже не было видно ни Звенигорода, ни долины реки, лишь ширь да гладь, по которой никого и ничего не было видно, а солнце садилось, вернее, его не было видно, так как надвинулась грозовая черная туча. Она нас накрыла и поливала как из ведра. Мы долго шли и потеряли чувство времени и пространства. Темнота была жуткая. Казалось, молнии столбами уходили в землю вокруг нас. Наконец по сторонам дороги оказались высоченные березы.

Мы вышли к реке и увидели огонек на другой стороне. Набрав полную грудь воздуха, мы одновременно во всю мочь закричали "лодку-у-у, лодку-у-у". Вот, думаю, наверное, все обрадовались, заждались, беспокоились, начнут нас расспрашивать. Быстро подошла лодка, молча греб Дмитрий Дм. Ромашов. Весь дом спал, воображаю, как нас ругал Н.В., как все возмущались, что мы причинили беспокойство Четвериковым. Стол с террасы был внесен в большую проходную комнату. Юлий Матвеевич Вермель стоял на столе под огромной лампой, которую, вероятно, раздобыл у Скадовских, и регулировал огонь (на нас он не кинул взгляда), Анна Ивановна быстро вышла из своей комнаты, молча поставила нам по тарелке с земляникой и ушла. В одну минуту мы ее уничтожили и бросились в свою комнату. Утром кто-то мне сказал, что Дм.Дм. потерял башмак. Потом еще другой, третий и еще несколько человек. Другие разговоров не вели. Уж кто, кто, а я понимала, что в эти годы не у каждого были башмаки. Дм.Дм. нервный человек, он не спал и бросился на наш зов. Он жил с матерью, в общем я как старшая опять оказалась не на высоте и нанесла урон Ромашовым и причинила беспокойство Четвериковым. Потом Ася еще два раза уговорила с ней бродить и оба раза с происшествиями (другой раз чуть не отхватила себе большой палец, строгая палку и пр.).

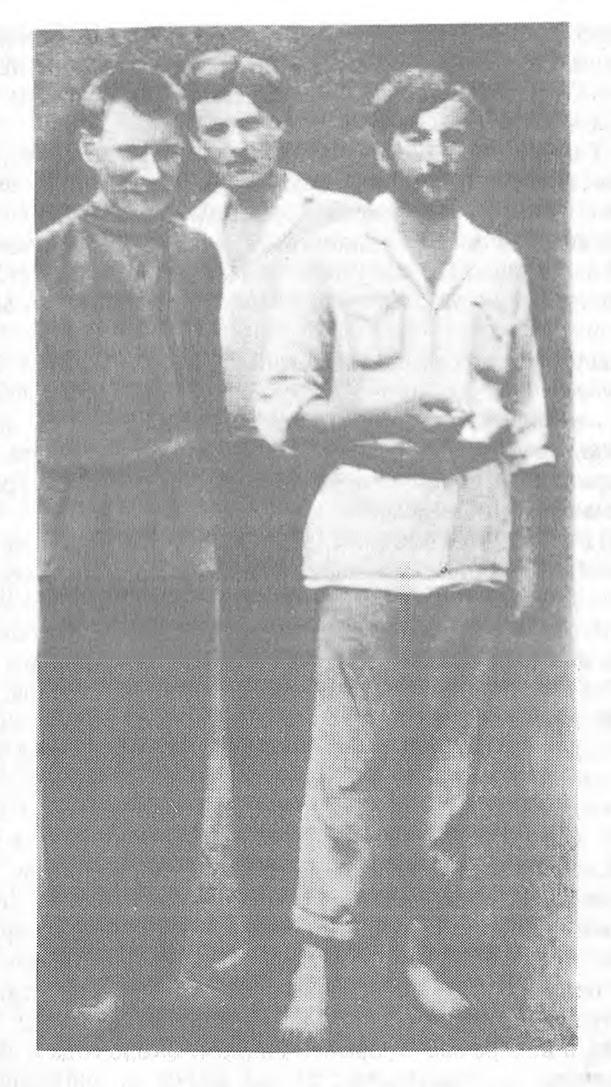
Примерно в 25 км от Звенигородской станции находилась станция на Глубоком озере, где работали несколько человек, в том числе Борис Львович Астауров и Анатолий Петрович Щербаков, мой однокашник по большому практикуму у Н.К. Кольцова. Вот они, вероятно, и пригласили нас к себе летом 1923 г. – Н.В., Лелю, С.Р. Царапкина, меня и моего однофамильца – Чернова, который был у нас несколько дней, и я не успела узнать его имени и чем он занимается. Глубокое озеро очень редко принимало посторонних, поэтому нас было всего пять человек. Мы были хорошие ходоки. Борис Львович снял нас у озера в лодке. У меня остались лишь эти две фотографии, которые мне дороги, мы сняты молодыми. В тот же день была снята улыбающаяся Леля и с веслом Щербаков. Б.Л. пояснил, что это не лодка, а ящик. Леля сидела (по-моему, доски там



Торфяное болото у озера Глубокое, 1924 г.
Слева направо: Н.В. Тимофеев-Ресовский, Е.А. Тимофеева-Ресовская, С.Р. Царапкин, О.А. Чернова, А.П. Щербаков, Чернов. Фото из архива О.А. Черновой

не было) на заднем крае ящика и держалась за края. К сожалению, Б.Л. не подарил мне эту фотографию, но я хорошо ее помню. Леля и Щербаков были далеко от берега. Н.В. увидел это, отошел от нас, подошел к берегу и очень серьезно и сосредоточенно смотрел на них. Я подумала, что он беспокоится, может быть, Леля плохо плавает. А в октябре 1923 г. родился Фомка. Летом 1924 г. я видела этого очаровательного ребенка, оставленного одного на простыне около деревьев, и отец ему издали крикнул: "Ори, ори, морда шире будет!". Мне казалось, что мальчик был очень похож на Лелю. Когда мы были на Глубоком озере, Леля ждала ребенка, я этого не знала.

Кажется, это было в 1923 г. Я шла в лабораторию и на дорожке встретила незнакомую женщину примерно моих лет. Неприметная, стриженая, без вещей, какой-то типичный облик невысокого ранга общественного работника. Она не поздоровалась со мной, ничего не спросила, но окинула меня таких злобным, неприятным, подозрительным и угрожающим взглядом, что я сразу поняла, что у нее имеются обо мне сведения. Мне кажется, что антагонизм к "звенигородцам" вызывался полным непониманием нашей увлеченности работой, нашей занятости, нашей свободы и нашей доброжелательной среды. А главное, как мы посмели обходиться



Озеро Глубокое, 1925 г.
Слева направо: С.И. Кузнецов, Г.Г. Карзинкин, Н.В. Тимофеев-Ресовский. Фото из архива Н.Н. Воронцова

без них, без "общественных деятелей", которые нам были не нужны. На этой дорожке мы встретились позже с Н.В. Он меня спросил, читала ли я объявление на дверях лаборатории (я работала на веранде, и у меня был другой вход). "Нет, не читала", – ответила я. "Я его сорвал". Я не спросила, что было в объявлении, раз он сорвал, значит, оно стоило того.

Когда я проявилась в университете, то узнала, что объявлена "чистка", что студенты, поступившие в 1919 и 1920 гг., должны сдать все экза-

мены, иначе их отчислят из университета. До этого нам не объявляли, что надо сдавать за каждый курс очередной экзамен. Это была явная атака на студентов. Студенты нервничали и стали сдавать экзамены. Вероятно, объявление, сорванное Н.В., сообщало о "чистке".

В 1925 г. Тимофеев-Ресовский уехал работать в Германию. В "Соор" вошли другие ученики: Н.К. Беляев, С.М. Гершензон, П.Ф. Рокицкий. Я была напугана "чисткой", готовилась к экзаменам, вне Звенигородской станции почувствовала себя одинокой. Будучи у Четвериковых, Анна Ивановна сказала мне, что получила письмо от Лели, пишет, что пока довольна, почувствовала себя человеком, даже ходит в парикмахерскую.

В следующий раз я была приглашена к Четвериковым в 1927 г. Было всего несколько человек, видно, Соор не состоялся, все были какие-то рассеянные, мне сказали, что С.Р. Царапкин с семьей тоже уехал в Бух. И меня удивило, почему Д.А. Гранин ничего не написал о нем. Когда он уехал из Германии и почему он не продолжал работу на Урале с Н.В. Что-то странное, все о нем забыли.

Не помню, в 1925 или в 1926 г. я справилась с экзаменами, но тут новое постановление, необходимо защищать дипломную работу, о чем все годы я и слыхом не слыхала. Стала дома писать работу. Сделала ревизию старой коллекции Музея МГУ, описала свои материалы новые, составила таблицы рисунков для определений семейств и родов по крылатым формам и личинкам. Все шло бурным темпом, в последний день узнала, что защищают двое: Юлий Матвеевич Вермель и я, защищать в один день с таким блестящим выдающимся своей начитанностью студентом, уже напечатавшим огромную работу. Вошла в аудиторию, вовсе удивилась; за председательским столом сидит академик А.Н. Северцов, рецензент моей работы проф. Г.А. Кожевников, а академик М.А. Мензбир прислал своего заместителя. Как шла защита Ю.М., я не слышала, но, вероятно, блестяще. Сама была еле жива, к тому же, когда начала говорить, А.Н., слышавший плохо, перенес свой стул и сел прямо у меня перед лицом. Вероятно, это на нашем факультете была первая защита после революции, так как народу набежала целая аудитория. Рецензент мой сделал одно замечание о том, что почти все материалы были собраны в одном месте. Все кончилось благополучно, и вскоре был оформлен диплом. Около года я работала на рабфаке академии им Тимирязева. Вышла замуж за диптеролога, аспиранта Г.А. Кожевникова – Б.Б. Родендорфа. Тогда по зоологии было всего два аспиранта – Георгий Георгиевич Абрикосов (мшанки) и Борис Борисович Родендорф (двукрылые). Последнего очень поддерживал ассистент проф. Кожевникова – Владимир Владимирович Алпатов, оповещая многих, что он "открыл" Родендорфа. Б.Б. очень много работал и сразу печатался. Но оставить при университете могли лишь одного (одно штатное место). Проф. Льву Александровичу Зенкевичу, ведущему огромную работу по изучению северных морей, был необходим помощник. Оставили Г.Г. Абрикосова, а так как Е.С. Смирнов тоже немного интересовался двукрылыми, оставлять второго по такой же специаль-

ности сочли излишеством. Кажется, Е.С. Смирнов посодействовал устроить Б.Б. на работу в Ташкент по изучению хлопковой тли. Так мы в 1929 г. оказались в Ташкенте. В этом же году С.С. Четвериков был выслан из Москвы в Свердловск, где работал консультантом Зоосада до 1932 г. Б.Б. и я, закончив порученные работы, решили поехать в Ленинград, я получила приглашение от Андрея Васильевича Мартынова работать в его отделе по поденкам. Приехав в Ленинград, мы были зачислены научными сотрудниками ВИЗР в лабораторию Н.Ф. Мейера, организующего биологический метод борьбы против вредных насекомых. Место у проф. А.В. Мартынова мне пришлось ждать более двух лет. Наступило время гонений на науку. Уже Соора не существовало. Лысенко особенно старался очернить генетику: менделисты-морганисты – враги советской науки и т.п. Н.К. Кольцов и С.С. Четвериков (естественно и Н.И. Вавилов) подвергаются гонениям. Так быстро была разгромлена московская школа генетиков.

Хочу упомянуть своих друзей. Борис Сергеевич Кузин первый раз сел в тюрьму в 1932 году, потом был взят вторично в один день вместе с Юлием Матвеевичем Вермелем – оба числились неоламаркистами и были уже изгнаны из Тимирязевски (*Мандельштам Н.* Воспоминания // Юность. 1988. № 8. С. 53). Б.С. Кузин любил стихи О. Мандельштама и часто об этом говорил. В 1930 г. весной и осенью он, по-видимому, был у Мандельштама. 30.III.31 г. он писал нам из Москвы, что хочет в мае приехать в Петербург на большой срок. "Это, конечно, в том случае, если Бог сохранит нас до того времени живыми и целыми. . . Из новостей более пикантных имею сообщить, что меня поперли из Комакадемии. . . Равно и Евг. Серг. (Смирнова), Анатолия (Желоховцева), Вермеля (Ю.М.) и других славных мужей. Теперь я работаю только в Музее и жалею, что не сделал этого (не ушел из Тимирязевки) много раньше. В Музее занимаюсь со страстью. Жаль только, что и отсюда рано или поздно погонят. Евгений Сергеевич теперь что-то совсем присмирел. Сидит со мною в Музее. Хочет опять заняться систематикой двукрылых". . . Н. Мандельштам описывает, как Б.С. таскали на допросы, и сообщает, что из тюрьмы ему помог выбраться чекист, увлекшийся энтомологией. Б.С. жил в Казахстане несколько лет. Жизнь его была искалечена. Б.С. писал стихи, часть их, написанных в ссылке, сейчас напечатана, Ю.М. Вермель, сосланный на 2 года в Магадан, не вернулся, погиб там. Погиб в 1937 г. и Н.К. Беляев. Была выслана Е.И. Балкашина. Б.Л. Астауров оказался в Ташкенте. С.С. Четвериков оставил генетику и в Москву не приезжал. Вот какому разгрому подверглись звенигородские начинания.

Николай Владимирович эти годы много работал, активно общался с учеными многих стран, развивал русскую генетику и сделал много открытий.

У меня сохранилось одно письмо Н.В., написанное им в 1940 г. из Берлина. Перед изложением его содержания хочу объяснить его возникновение. С 1930 г., уехав из Ташкента, мы стали работать в Ленинграде. В середине 30-х годов у Б.Б. кончался срок действия паспорта, и в ВИЗРе ему

сообщили, что он будет сокращен с работы, кроме того, был отменен курс его лекций в Институте зоологии и фитопатологии. Одновременно его вызвали в НКВД (точно не помню, как называлось это учреждение – туда в то время почти всех сотрудников Зоологического ин-та АН СССР вызывали) и предложили ему переехать в Сибирь. Сейчас уже смутно вспоминаю, что ему говорили о существующей "папке" бумаг против меня и еще ссылались на мою болезнь верхушек легких (смешно сказать, прямо забота о здоровье). На это Б.Б. ответил, что врачи мне советуют жить там, где я жила прежде, т.е. в Москве.

В Москве А.В. Мартынов, а затем академик А.А. Борисяк приложили много усилий к привлечению Б.Б. к работе по палеоэнтомологии, чему очень противились Дозорцева и Поликарпова. Б.Б. был зачислен в штат Палеонтологического института АН СССР и оказался в среде ученых-палеонтологов. Среди зоологов в Москве многих знакомых не оказалось, особенно из школы Н.К. Кольцова. Разобщилась связь людей, и не было тех, с кем можно было говорить откровенно. В Германии в то время процветал фашизм, и я не знала, живы ли Николай Владимирович и его семья. В 1940 г. наладились отношения с Германией, и я попросила Б.Б. написать письмо Н.В. Предлог был хороший. Удивительно, что у меня сохранился и черновик письма Б.Б., отправленного в Берлин-Бух.
Berlin-Buch 24.6.40 и адрес:

Борису Борисовичу	Herr Dr. B. Rodendorf
Родендорфу	Paläeontologisches
Палеонтологический	Institut der Academie
институт Всес.	der Wissenschaften
Академии наук	Moskau 71
Москва 71	U.S.S.R.
Б. Калужская, 75	

На нижней стороне серого, довольно тонкого служебного конверта адрес – Genetische Beteilung des Kaiser-Wilhelm-
Instituts
Berlin-Buch
Lindenberger-Weg
Telefon 56–81–36
Отправлено 4.6.40
Проф. д-р биол. наук Б.Б. Родендорф – Н.В. Тимофееву-Ресовскому

Глубокоуважаемый Николай Владимирович!

Вероятно, это письмо Вас удивит – меня Вы, надо думать, совсем забыли. Мы с Вами встречались на Звенигородской биологической станции в 1924–1925 гг., кажется.

Решаюсь писать Вам вот почему. Сейчас я работаю по эволюции крыльев двукрылых – эти исследования были непосредственным следствием изучения различных групп этого отряда насекомых. Исследуя морфологию крыльев Diptera, учитывая различные их функции как органов полета, их механику, мне захотелось посмотреть, какие изменения претерпе-

вают крыловые органы (крылья, чешуйки, гальтеры) в случаях уродств и в особенности у крыловых мутаций дрозофил.

Здесь в Москве я пытался достать нужный мне материал, но толком ничего не мог сделать. Вот я и решился просить Вашего совета – укажите мне, кто бы мог помочь в этом деле среди знакомых Ваших генетиков. Мне нужно иметь 3–4 экземпляра мухи (в спирту) каждой мутации, затрагивающей крыловые органы.

Очень прошу Вас меня простить за такую бесцеремонную просьбу; сам я буду очень рад быть Вам полезным в чем-либо.

Жена моя (О.А. Чернова) просит передать Вам свой привет.

Искренне уважающий Вас
Б. Родендорф".

Затем наклеена вдоль всего края бумажная полоса с чередующимися цензурными штампами вермахта и три наших круглых штампа в центре конверта – СССР 8.7.40 Московский почтампт и еще два СССР 8.7.40 Москва? и последний – СССР 8.7.40 Москва 71. Таким образом, каждое письмо шло две недели, т.е. обычное время. Письмо Н.В. написано 23.VI 40 на служебном бланке, я привожу его, сокращая списки мутаций.

"Дорогой Борис Борисович!

Очень рад был после столь долгого перерыва получить от Вас весточку,

Я с большим удовольствием готов выслать Вам все те крылатые мутации Drosophila melanogaster и Dr. funebris, которые у меня имеются. Я пошлю Вам спиртовой материал, по нескольку экземпляров, этикетированных и разделенных слоями ваты. Кроме нормальных у меня есть следующие мутации:

Drosophila melanogaster

x – хромосома: bifid (bi), fused (fu), Hairywing (Hw) ...
II – хромосома: Venae abnorme (Va) ...
III – хромосома: Beaded (Bd), Dichaete (D), curved (cu);
IV – хромосома: cubitus interruptus (ci)

Drosophila funebris

Сцепление с полом: eversae (ev), Venae abnorbum (va) и далее перечисление... . Если найдутся тут еще какие-либо крыловые мутации – то перешлю и их.

С искренним приветом Вам и Ольге Александровне от меня и жены.
Ваш Н. Тимофеев-Ресовский".

На первой странице письма наверху Б.Б. написал карандашом: "отвечено 3.10.40 – только общее письмо – об материале надо отвечать". Слово "надо" подчеркнуто, потому что этот материал был Б.Б. не нужен и передать его было некому. Свою иностранную переписку Б.Б. держал у себя на работе в Палеонтологическом институте АН СССР, и года три тому назад я просила это письмо мне отыскать, но его там не оказалось, я нашла

его дома среди своей плохо разобранной почты. Письмо было написано по моей просьбе, и Б.Б. его мне и отдал. Хочу еще обратить внимание на первую фразу их письма Н.В., что он рад после долгого перерыва получить весточку.

Помню, что к Б.Б. до этого письма от Н.В. было еще одно. Б.Б. мне показал конец письма, где Н.В. спрашивает, помнит ли Ольга Александровна наше золотое время на Звенигородской станции. На мой вопрос, с чем Н.В. обращается к нему, Б.Б. ответил, что "так, пустяки, это лишь предлог". Я плохо помню, кажется, что-то о жилковании крыльев двукрылых. Главное для меня было, что вспоминалась жизнь на Звенигородской станции. Из повести Д. Гранина "Зубр" (Новый Мир. 1987) я поняла, что, несмотря на то что Н.В. знал о репрессиях, он рвался в Москву, Б.Б. понял, что это письмо было предлогом что-либо узнать. К сожалению, я не запомнила, когда оно пришло, конечно, получено было оно в Москве не раньше 1935 г. Д. Гранин пишет, что Н.В. был потрясен, когда узнал о гонениях на Н.И. Вавилова, и мы, конечно, тоже знали об этом.

В 1935 г. Н.И. Вавилов был отстранен от президенства. Когда в августе 1940 г. мы обменялись письмами с Н.В., Н.И. Вавилов во время экспедиции на Украине был арестован, 6 августа 1940 г. [по сведениям А.Л. Тахтаджяна – Литературная газета, 25.XI.87 – и там же сообщено, что 26 января 1943 г. Николай Иванович умер в тюрьме в Саратове].

Вернувшись в Москву после эвакуации, я в сентябре 1944 г. была зачислена в штат Института Биологического факультета МГУ и числилась на кафедре энтомологии (зав. проф. Е.С. Смирнов). Первое время (несколько лет) трудно было работать, привыкать к преподаванию. Материала на кафедре не было, ездила (за свой счет) в ЗИН, отбирала у них дублеты, Е.С. старался идти в ногу с "передовой наукой", не забывал даже Лепешинскую. Мне очень помогли тогда Л.А. Зенкевич, Г.Г. Абрикосов и в то время заведующий кафедрой Б.А. Кудряшов. Я была привлечена к тематике кафедры ихтиологии, к проблемам изучения лососевых Дальнего Востока. Моей темой было тогда изучение богатой фауны поденок и их роль в питании лососевых. Работа была проделана большая. Мои экологические занятия на Звенигородской станции помогли мне составить морфоэкологическую классификацию личинок поденок. Г.В. Никольский был очень доволен моей большой работой. В один из приездов в Ленинград я узнала, что в Ленинграде в 1940 г. скоропостижно скончался Н.К. Кольцов. Он останавливался в Доме ученых. Узнав эту ошеломившую меня весть, я не запомнила, кто мне еще к этому добавил "говорят, что его отравили". Это мог мне сказать кто-то из пожилых зоологов.

Время бежало, наступил 1948 г. И Б.Б. и я очень много работали, мы мало интересовались событиями, происходившими в административных сферах. Алексей Алексеевич Захваткин, дружба с которым длилась более 40 лет, был профессором кафедры энтомологии. Часто мы встречались дома, так как летом и зимой жили близко, и дома я всегда обсуждала с А.А. волнующие меня дела кафедры, он со всем соглашался, а на ка-

федре, когда возникал спор у меня со Смирновым, робел и отмалчивался. В общем это был тихий человек. Летом 1948 г. узнаю, что вместо опытного Б.А. Кудряшова стал директором А.А. Захваткин, что зав. кафедрой эмбриологии проф. В.В. Попов уволен и назначен А.А. Захваткин. На даче стало беспокойно, к А.А. как к начальнику стало приезжать много людей по делам. Однажды утром жена А.А. Захваткина – Елизавета Михайловна сказала директивным тоном, чтобы я одевалась, так как должна ехать на заседание в университет – декана Юдинцева снимают. Я с деканом не встречалась, не имела дела и не знала даже его специальности, но послушала свое начальство. Только когда вошла в аудиторию, поняла, что будет что-то мерзкое. Аудитория была полна. Смирнов и Захваткин посадили меня между собой прямо напротив президиума. В президиуме были А.Н. Несмеянов, Салищев, И.И. Презент. "Такое неприятное дело, а А.Н. – подумала я – здесь". А он потоптался немного, что-то пошептал Салищеву и исчез. Несмеянов видел нас, и это было мне крайне неприятно. В толпе у дверей стоял проф. Сабинин. Началось заседание. Салищев обратился к Сабинину с каким-то вопросом. Сабинин ответил, что в течение одного дня он не может менять своего взгляда. Так нам такие не нужны, резко сказал Салищев, после этого он (я точно не помню, какая именно была формулировка) предложил желающему выступить. И мой сосед проф. Е.С. Смирнов с легкостью вбежал на кафедру и быстро произнес: "Вот теперь я спокойно могу сказать, что приобретенные признаки наследуются". И также легко и быстро вернулся на свое место. Мне было так тяжело и стыдно, что я стала какой-то отрешенной от происходящего. Совсем не помню, говорил ли что-нибудь Захваткин, наверное, если и говорил, его слова прошли мимо ушей. Вероятно, за эту поддержку И. Презента Смирнов много лет спокойно заведовал большой кафедрой энтомологии, ежегодно выпускающей много студентов. Сам он энтомологией не занимался, но был властью в энтомологии, и это многие понимали. Не помню, сколько лет "процветал" при Презенте наш факультет. Я довольна только тем, что, встречаясь, ни разу с ним не поздоровалась. Я об этом заседании написала, потому что всегда одновременно вспоминаю другое. Невзгоды в жизни приходят чаще, а счастливые события реже, зато бывают неожиданные и тем более радостные.

В 1955 г. прибежала ко мне добрая душа А.И. Иванова и сообщила, чтобы срочно бросила работу – у физиков будут делать доклад о генетике Игорь Евгеньевич Тамм и Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Пришла чуть ни первая, села в третьем ряду далеко от прохода. Мгновенно аудитория была заполнена, главным образом молодыми физиками. Впервые за многие годы я слышала настоящую речь крупнейшего ученого физика Тамма, говорящего о биологии, генетике с такой убежденностью и эрудицией, как о своей любимой специальности. Это было прекрасно, я наслаждалась и самой речью, и тем огромным значением, которое она будет иметь для возрождения биологии.

Физики тогда очень помогли оживлению биологии и порадовали ученых. Но не счесть людских утрат и ушедшего времени.

После И.Е. Тамма делал доклад Н.В. Тимофеев-Ресовский, я его не слушала, была под впечатлением выступления Тамма, лишь смотрела на Н.В. Когда он кончил, народ сразу схлынул, остался один Н.В., он, видимо, ждал вопросов, а я сидела далеко. Вошел Д.Д. Ромашов, я встала, поздоровалась с Д.Д., а Н.В. меня не узнал, сказал, что я стала толстая, что Лелька в соседней комнате. Мы встретились, мои глаза увлажнились, нам мешал поговорить какой-то тип, опекавший ее. Мне показалось, что в эту комнату вернутся физики, я заторопилась и ушла.

С Н.В. я виделась очень мало, на заседаниях или на похоронах. Не было разговоров, кругом люди, лишь перебросились немногими фразами.

Я встречалась не раз на университетском дворе с В.В. Сахаровым, разговаривали так, как будто недавно виделись, он все о своей гречихе рассказывал, с Б.Л. Астауровым и его женой виделись, но с Н.В. хотелось посидеть, поговорить и рассказать о своей жизни. Этого не случилось, жизнь была сложной, все стало трудным. После письма в 1940 г. мы увиделись 15 лет спустя. Конечно, Николай Владимирович был талантлив. Очень важное его качество – любовь к людям, он любил общение и притягивал людей к себе, как магнит. Сколько людей к нему ездили, и даже приставленный к нему "страж", Уралец, понял Н.В. и относился к нему с большим уважением. Н.В. был своеобразный человек, высокой культуры и любил пошутить. Он всех оживлял, не хочу полемику вносить, но иногда слышишь просто чушь про него, дескать работал у фашистов, значит, был фашист. Я где-то читала, что за границей (Великобритания) был издан труд, в котором учтены все ученые, работавшие с фашистами, Н.В. там нет. И в архивах Института мозга нет никаких материалов, компрометирующих его. Он был истинный патриот, обожал предков, страдал, когда увидел запущенный грязный пруд, где он возился ребенком. Из Германии он мог уехать в любую страну, но сидел и ждал прихода русских. Несчастье постигло его сына, Дмитрий погиб в гестапо. А младший сын, и жена его, и сам Николай Владимирович, работая в СССР, облучились. Елена Александровна умерла раньше мужа, в 1973 г., Николай Владимирович – в 1981 г. Оба похоронены на родной земле.

ЧЕРНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. Участница кружка С.С. Четверикова. Кандидат биологических наук. С. 1944 г. – ст. научный сотрудник кафедры энтомологии МГУ им. Ломоносова. ЕЕ муж профессор энтомолог Б.Б. Родендорф и О.А. Чернова знакомы с Тимофеевыми-Ресовскими с начала 20-х годов. Живет в Москве.

А.В. Савич

ЗАПОМНИВШЕЕСЯ...

23. I 1989 г. в клубе Института атомной энергии им. Курчатова (иначе ЛИПАНа) на вечере памяти репрессированных генетиков ко мне подошел профессор Н.Н. Воронцов и напомнил, что я года два назад обещал написать воспоминания о Николае Владимировиче Тимофееве-Ресовском.

После широкого успеха романа "Зубр" трудно написать что-либо новое о Николае Владимировиче, тем более что я не вел дневниковых записей и не использовал магнитофона. За свою жизнь, приближающуюся к наиболее статистически вероятному пределу, у меня не было практики в публикации мемуаров, и, не имея собственного стиля, я постараюсь написать в стиле бесед Николая Владимировича.

Какой к черту "Зубр"? Это дружеское, шутливое, меткое прозвище ходило в узком кругу, но никто Н.В. прямо "Зубром" не называл – он, несмотря на свою широкую душу и общительность, не допускал фамильярности. О "Зубре" можно упомянуть в биографии, но нельзя выносить в заголовок. Заголовок книги Гранина по своей фамильярности, пожалуй, перекрыт Вс. Ивановым в его произведении, названном "Императрица Фике". Будущую Екатерину Вторую в молодости в семье прозвали "Фикхен", от глагола "фикен" – переводимого на русский основополагающим глаголом матерщины. Как мне сообщил Н.В., этот глагол в немецком языке не имеет такого сакраментального звучания, и он знал немцев по фамилии Фикер – в переводе "...арь". Назвать биографическую повесть о Тимофееве-Ресовском "Зубр" так же бестактно, как назвать произведение на подобную тему о Резерфорде – "Крокодил".

Впервые я познакомился с Н.В. в 1924 г., в возрасте трех лет, на даче моего деда, профессора Г.И. Россолимо, соседствовавшей со Звенигородской станцией МГУ, основанной его пасынком С.Н. Скадовским. Н.В. много общался с моим отцом В.Г. Савичем, тоже работавшем на биостанции, и отмечал у нас знаменательные даты из жизни его малолетних деток. Он проявлял определенный интерес к моей тетушке Нине Гордеевне Савич (названной Граниным по неосведомленности Миной). Н.В. редко обращался с просьбами, но попросил достать ее фото тех лет. Находившаяся тогда еще в добром здравии ее младшая сестра Ольга Гордеевна мне, к сожалению, фото не дала.

Н.В. передал мне абсолютно непечатный анекдот, частенько употреблявшийся моим батей. (Мой отец был на 10 лет старше Н.В.). В связи с этим вспоминается отрывок из милицейского романа. Сотрудник милиции обвиняет задержанного в "неупотреблении нецензурных выражений", на что тот возражает – "А Пушкин и Есенин употребляли". – "Но им позволяла их культура!" – отвечает чин милицейский. Про моего деда Н.В.



интересно рассказывал, как тот проводил с молодежью биостанции психологический сеанс.

Мне и моему другу Михаилу Ивановичу Шальнову много приходилось общаться с Н.В. во время работы над тремя книгами: "Первичные радиобиологические процессы" (1-е изд. 1964; 2-е изд. 1973) и "Введение в молекулярную радиобиологию" (1980). День приезда в Обнинск устанавливался по телефону и Н.В. при хорошей погоде приветствовал нас с балкона. В передней он порывался помочь мне снять пальто, а при уходе – надеть, делая это с почтительной подковыркой. Во время работы над последней монографией, когда Елены Александровны уже не было на свете, по утрам всегда был накрыт стол на три персоны. Завтрак мы готовили сами по рецепту Н.В. В глубокую тарелку клали сырок творожный, заливали его бутылкой ряженки, добавляли меду, варенья, вина красного или коньячку и все это после тщательного размешивания, употребляли в пищу. Запив завтрак чаем, работали над текстом с перерывом на обед, в приготовлении которого Н.В. принимал активное участие, не доверяя нашей кулинарной компетентности.

Ко мне Н.В., всегда обращался на "вы" и старался величать по имени и отчеству, а Шальнова, старшего меня на два года, всегда звал Мишенькой и обращался на "ты". Может быть, это объясняется моей необщительностью, а может быть, в знак уважения к моей "высокой эрудиции", для проверки которой у него был вопрос на засыпку: "Когда на французском престоле царствовал Людовик XVII?" На этот вопрос, к его удивлению, я ответил без малейшей запинки.

Н.В. не терпел халтуры в науке и одновременно охотно выслушивал не слишком родственные ему концепции. Не уважал он, например, термин "молекулярная биология", предпочитая говорить "ДНКаканье", но все же со скрипом согласился внести его в заголовок нашей последней книжки. Возглявляемые им выездные школы биофизиков были основаны на самых демократических принципах, однако нельзя было преступить границ дозволенного. Однажды на Можайское море явилась без приглашения группа граждан и предложила сделать сообщение на тему экстрасенсирования и переговоров с духами. Н.В. резонно им ответил, что верующим надо дискутировать свои проблемы в церквах, а в случае неканонической веры – в помещениях для соответствующих молитвен-

---

На генетической станции Аниково, 1924 или 1925 г. Фото В. Лебедева (?)

Стоят: Слева направо (1–3, ?); 4 – А.Н. Промптов; 5 – Л. Фери; 6 – М.А. Арсеньева-Гептнер; 7 – Л.П. Промптова; 8 – ?; 9 – М.П. Кольцова; 10 – Б.Л. Астауров; 11 – С.С. Четвериков; 12 – Е.И. Балкашина; 13 – Е.А. Тимофеева-Ресовская; 14 – Н.В. Тимофеев-Ресовский; 15 – В.А. Бродская; 16 – ? ; 17 – С.Р. Царапкин; 18 – П.И. Живаго; Сидят: слева направо – 19 – В.А. Рацыборский; 20 – А.С. Серебровский; 21 – А.Н. Савич; 22 – Н.К. Кольцов; 23 – Е.В. Лебедева; 24 – А.И. Сушкина-Четверикова; 25 – И.Г. Коган; 26 – Н.Г. Савич (справа на траве). Сидят на траве (дети): слева направо С.В. Лебедев, Герасимович (?), Н.В. Лебедева (Эфрон), Т.П. Живаго, А.А. Серебровская. Из архива Н.Б. Астауровой

ных собраний, а не в научных школах. А во время ужина один из представителей этой группы, очкарик лет 30, стал в стиле местечковой демагогии обвинять Н.В. в зажиме молодых растущих дарований. Н.В., конечно, знал, как ответить, но ему не пристало полемизировать на равных с такого рода деятелями. Вынудили этого трепача прикусить язык мы с Мишей Шальновым, "обхамив" его по всем правилам.

Участвуя в застольях, Н.В. выпивал как-то элегантно, и казалось, что вовсе и не пьет, в то время как мы, грешники, зачастую выполняем эту рутинную операцию сверхдемонстративно. Н.В. выпивал рюмку с таким же совершенством, как К.С. Станиславский подносил даме букет цветов.

Н.В. был строг к себе, его можно считать антиподом человеку с "титаническим самоуважением". Он рассказывал о своей жизни на Западе, путешествиях, встречах с великими учеными, но, как мне думается, своим звездным временем считал службу в Красной Армии, на фронтах гражданской войны, когда он, бывший вахмистр, участвовал в кавалерийских атаках и не раз смотрел смерти в лицо. Он считал, что только Красная Армия может спасти Россию.

Любил Н.В. поддеть благопристойных граждан, рекламирующих свою ученость. Вот что произошло во время круиза по Лене по маршруту Осетрово-Якутск-Осетрово (1966 г.) На пароходе усиленно старались обратить на себя внимание элегантное трио: физик Барабаш с женой и их приятель Любимов – поклонники наскальной живописи эпохи неолита. Во время одной стоянки они наняли моторку и высадились на берег. Возвратившись на пароход, они рассказывали, как обнаружили высоко на скалах изображения неолитических зверюг. Шальнов же нашел на берегу плоскую каменную плиту, незаметно пронес ее в каюту и изобразил на ней "переднюю половину доисторического козла". Окрасил его раствором марганцовки, а затем покрыл диметилфталатом (средство от комаров и прочих гнусных тварей). Когда Шальнов вынес плиту на палубу, Н.В. воскликнул, обращаясь к фотографу: "Что вы там снимаете? Вот что надо снимать, посмотрите, что нашли!" Пассажиры бросились рассматривать "неолит". Плиту передавали из рук в руки, фотографировали. Подошли и "специалисты". "Да, то самое!", – сказал после длительного осмотра Любимов. Началось обсуждение. Говорили, что плиту надо отнести на берег – она, мол, достояние якутского народа. Барабаш предложил отдать им плиту, дабы показать ее самому профессору Окладникову. Были и сомневающиеся, но к ним не прислушивались. Чтобы прекратить споры, Тимофеев-Ресовский забрал плиту к себе в каюту. Вечером за чаем состоялся откровенный разговор. Н.В. громко кричал: "Я же сразу понял, что это шифер. Ну и молодцы!" Неолит с тех пор постоянно находился в каюте Тимофеевых, и Елена Александровна ставила на него чайник. Постепенно разговоры о плите утихли. Специалисты по неолиту покинули пароход, улетев на Ольхон. В конце путешествия на пароходе была выставка деревянных фигурок, которые вырезал из замысловатых корневиц Шальнов. Среди них лежала и плита с подписью: "Физики шу-

тят". Многие не сразу поверили, что это была шутка, а скептики торжествовали. Плиту потопили в Лене, недалеко от Осетрова. Прощаясь с плитой, Н.В. сказал: "Вот уже если кто-нибудь ее найдет теперь, то непременно сочтет за неолит".

Думаю, что Н.В. не одобрил бы включение в повесть "Зубр" персонажа Д. Из разговоров на эту щекотливую тему у меня сложилось впечатление, что Николай Владимирович по христианской традиции простил товарищу Д. "грехи вольные и невольные". Простим и мы, тем более не исключено, что в конце концов это было "во благо" и другой на этом посту причинил бы больше вреда.

Н.В. умел создавать вокруг себя обстановку душевного и физического комфорта, даже в отдельной палате Обнинской больницы, которую ему всегда заботливо предоставляла администрация. Гардеробщица этой больницы как-то мне сказала, что безошибочно узнает посетителей Н.В. по их сверхинтеллектуальному экстерьеру. До самых последних дней в больнице Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский сохранял присущую ему ясность мыслей. После кончины М.И. Шальнова он хотел написать со мной научно-популярную статью по радиобиологии, текст которой мы обсуждали в больнице. У меня дело шло плоховато, он отругал меня и сказал, жаль, что нет Мишеньки, мы бы с ним написали.

Последний наш разговор в больнице касался "Братьев Карамазовых". Анализируя текст романа, я прокомментировал высказывание Достоевского, что Алеша такой же Карамазов, как и остальные братья: как и они – параноик, внесший свой определенный вклад в смерть отца. Н.В. сначала поносил меня за то, что я влезаю в неизвестную и недоступную мне область, а потом молчаливо согласился с моей концепцией. Это была наша последняя встреча.

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ САВИЧ. Биофизик, доктор биологических наук, сотрудник Института биофизики Минздрава, в течение 20 лет (1960–1980) сотрудничал с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским по первичным механизма лучевого поражения. С семьей его отца, Владимиром Гордеевичем и Ниной Гордеевной Савичами, Н.В. был близок во время их совместной работы на Звенигородской биостанции Московского университета.

С.Н. Варшавский

ВОСПОМИНАНИЯ И МЫСЛИ О Н.В. ТИМОФЕЕВЕ-РЕСОВСКОМ

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский принадлежит к тем научным исследователям, которые заслуженно получили международное признание и которыми по праву гордится мировая наука. В нашей современной биологической науке он по такому же праву занимает одно из первых мест, будучи первооткрывателем или зачинателем ряда новых направлений в генетике, теории эволюции, создателем школы исследователей, плодотворно продолжающих и развивающих начатое им дело познания многих основных законов биологии и естествознания в целом.

Между тем полная реабилитация этого ученого тормозится[1]. В связи с этим нужно, очевидно, еще раз обратиться к данной теме, напомнив, кем являлся Николай Владимирович и как ученый и как личность (что в особенности важно в сложившейся ситуации), хотя данному вопросу и посвящены прекрасная документальная повесть Д.А. Гранина "Зубр", подробно и всесторонне освещающая жизненный путь Н.В. Тимофеева-Ресовского, а также публикации наших известных ученых-биологов – члена-корреспондента РАН А.В. Яблокова, профессора Н.Н. Воронцова.

Мои воспоминания – маленький осколок, лишь немного дополняющий названные произведения. Ценность их, может быть, состоит в том, что они относятся к тому периоду времени (ноябрь-декабрь 1944 – август-сентябрь 1946 г.), когда мне выпало счастье лично повседневно общаться и работать с Николаем Владимировичем.

Первая встреча и знакомство с Н.В. Тимофеевым-Ресовским произошли в конце 1944 г. В это время мы, трое советских людей (Клавдия Тихоновна Крылова, Иван Иванович Лукьянченко и я), находились в Берлине, куда попали, будучи вывезенными (из Ростова-на-Дону) в январе 1943 г. немцами, в числе очень многих наших соотечественников, на работу в Германию. Через распределительный лагерь попали в качестве "остарбайтеров" (восточные рабочие, сокращенно "ost") на одну из фабрик в Берлине.

Работая на этой фабрике, мы впервые услышали (из рассказов таких же "остарбайтеров" соседней фабрики) о том, что в Берлине, а именно в его пригороде – Бухе, живет русский профессор, который оказывает помощь советским людям и иностранцам, насильно вывезенным в Германию.

Слух этот циркулировал, по-видимому, давно, еще до нашего появления в Берлине, со временем же стал все более повторяемым, в особенности среди русских рабочих. Прежде всего он ходил на Alexanderplatz,

[1]Реабилитация осуществлена в конце 1992 г. –

одну из основных площадей Берлина, бывшую тогда, в военное время, центральным пунктом общения и получения всевозможной информации. По воскресеньям, бывшим выходными днями и для иностранных рабочих, названная площадь всегда была наполнена огромным количеством людей, включая и немцев; она представляла собой междунароный рынок, где можно было, имея деньги, купить почти все, включая, в особенности и прежде всего пищу. Немецкая полиция регулярно, но безуспешно (или без особых результатов) пыталась разгонять этот рынок, применяя резиновые дубинки и забирая первых попавшихся в участки. В один из таких полицейских налетов, между прочим, крепко досталось и мне – несколько раз дубинкой по спине и голове, но все же удалось убежать, так как на площадь выходило пять улиц и разгоняемые толпы народа прорывали полицейское оцепление.

Сначала слух об этом профессоре казался невероятным, но скоро нам стала известна и фамилия его – Тимофеев-Ресовский. Для меня как для биолога она ассоциировалась с некоторыми научными статьями по генетике, опубликованными за такой подписью в наших научных журналах в конце 20-х – начале 30-х годов. Можно было считать фантастикой, что автор этих научных работ и берлинский профессор – одно и то же лицо. Мы сошлись во мнении, что названный профессор, очевидно, какой-то старый русский эмигрант. Ведь никто из друзей ничего не знал о действительной истории жизни и пребывании Николая Владимировича в Германии.

Со второй половины 1944 г. бомбардировки Берлина союзной авиацией заметно усилились. Особенно страшными они стали с конца года, когда англо-американские самолеты проводили налеты не только по ночам, как ранее, но и систематически в дневное время. В некоторые дни сигналы воздушной тревоги почти не прекращались. Бомбардировки стали осуществлять по принципу "Bomben-tepich", когда сотни самолетов разрушали город по кварталам, имея в виду уничтожение всего, что было на бомбардируемой площади, независимо от наличия или отсутствия на ней каких-либо определенных объектов. Берлин горел в разных местах все время.

Одной из таких бомбардировок была уничтожена фабрика, на которой работали и мы. Все уцелевшие "остарбайтеры" разбежались. Пользуясь общей растерянностью в городе, мы втроем также бежали, решив найти профессора Тимофеева-Ресовского и просить его о помощи, у нас ведь не было иного выхода. Пройдя несколько километров по разрушенному и пылающему городу, мы добрались до северо-восточного пригорода Берлина – поселка Бух. Остановились в обширном парке с несколькими большими больничными зданиями; позднее узнали, что это был клинический городок знаменитого Института по изучению мозга профессора О. Фогта, того самого, который приглашался нашим правительством для консультаций во время болезни В.И. Ленина. Теперь клиники были заняты военным госпиталем для раненых офицеров и солдат.

Клавдия Тихоновна пошла на "разведку" и, вернувшись очень скоро,

радостно сообщила, что встретила на дороге быстро идущего человека, который и оказался Тимофеевым-Ресовским. Он внимательно и приветливо выслушал ее и сказал, что ждет нас у себя, показав, как пройти к нему.

Николай Владимирович встретил нас в небольшой рабочей комнате, насколько помнится, угловой, в том доме, где он жил с семьей и который все называли Tohrhaus, так как он находился у входных ворот в парк. Рядом была другая служебная комната с секретарем-машинисткой.

Познакомившись и выслушав наш рассказ, Николай Владимирович сказал, что наши фамилии ему известны по научным статьям, потом молча немного походил по кабинету своим характерным, быстрым шагом со слегка наклоненной вбок головой. Затем остановился и предложил мне подумать о возможности работать у него в лабораторном питомнике для экспериментальных животных, сказав, что, к большому сожалению, сейчас других должностей он не имеет, данное же место освободилось вследствие призыва в армию бывшего служителя питомника. Я, не раздумывая, конечно, с радостью согласился. Потом Николай Владимирович попросил извинения у Клавдии Тихоновны и Ивана Ивановича за то, что не может принять их также из-за отсутствия свободных мест. Но сказал, что достанет ей продовольственную карточку как члену семьи. Тут же написал для Ивана Ивановича небольшую записку своему хорошему знакомому (как он объяснил), старому русскому эмигранту А.И. Соколову с просьбой постараться устроить Лукьянченко в Бухе, в соседней гражданской больнице, где Соколов работал санитаром. Сразу же были оформлены документы, мне – справка о том, что я являюсь сотрудником лаборатории, Клавдии Тихоновне, что она – член семьи сотрудника, а Ивану Ивановичу, что он будто бы уволился из лаборатории в связи с поиском другой работы в больнице. Текст справок Николай Владимирович сам продиктовал девушке, сидевшей за пишущей машинкой в соседней комнате. Справки были готовы в течение буквально нескольких минут. События, кардинально перевернувшие жизни людей, только что бывших совершенно бесправными "остарбайтерами", совершились так быстро, что нам все происходившее казалось каким-то полусном, сразу никак не верилось, что это правда.

Необходимо пояснить, что в условиях немецкой (даже военной) действительности, с неистребимой приверженностью немцев к совершенному порядку, к выполнению приказов и законов (так отличающую их от нас – русских), подобные справки с печатью в должной мере обеспечивали благополучие, ибо играли существенную роль при какой-либо полицейской проверке. Принадлежность к русской национальности и советскому подданству могла обнаружиться не сразу или вовсе не открыться, ибо Берлин (как и вся Германия) был "насыщен" вывезенными на работы людьми самых различных наций. Рядовые немецкие обыватели, равно как и обычная полиция (не гестапо), относились к международному рабочему конгломерату в их стране вообще почти равнодушно или сравнительно безразлично, ведь они более или менее привыкли к пос-

тоянному присутствию иностранцев – последние жили и работали в Германии и раньше, в мирное, довоенное время, хотя, конечно, не в таком числе. Простые немцы эту разницу, конечно, видели, но в их психологии она отражалась (что надо подчеркнуть) только в количественном смысле, а не как что-то совершенно новое и необычное (следует вспомнить, что в старой России было то же самое; только после революции у нас люди из "капиталистического окружения" почти везде, за исключением, возможно, лишь Москвы, стали чем-то диковинным, на что следовало сбегаться смотреть). Может быть, этой особенностью немецкой психологии отчасти объясняется и то даже доброжелательное отношение к Николаю Владимировичу полицейского чиновника из Буха, о котором в "Зубре" пишет Д.А. Гранин. К тому же "герр доктор" и обитал в Бухе уже полтора десятка лет, т.е. являлся здесь в глазах даже рядового немца подлинным старожилом.

Немцы в массе очень не любили только поляков, считая их виновниками начала войны, и отчасти нас – "остарбайтеров" как людей, вывезенных из непокорившегося и воюющего с Германией государства. Ведь не считая евреев, только поляки и мы должны были носить на одежде специальные опознавательные знаки, они – "P" (-polen), а мы – "ost", все же остальные, работавшие в Германии – итальянцы, французы, голландцы, датчане, чехи и другие, внешне совершенно не отличались от обычных немцев. Так что незнание немецкого языка говорило лишь об иностранце вообще, а не о советском или польском происхождении и подданстве. Это небольшое отвлечение необходимо для лучшего и более ясного понимания той жизненной обстановки, которая окружала в Германии всех нас.

На другой день Лукьянченко уже действительно работал санитаром в больничном отделении для бессемейных и одиноких, оно нуждалось в обычной рабочей силе. На обязанности Ивана Ивановича лежали вынос трупов умерших в морг и подготовка их к захоронению (обязанности были несложные, зато через некоторое время и у него и у меня появились довольно сносные пальто с плеч усопших, и это было вполне своевременно – наступила холодная декабрьская погода).

При первой же встрече и оформлении документов Николай Владимирович познакомил нас и с девушкой, печатавшей на машинке. Это была секретарь-машинистка Николая Владимировича Н. Кром (Наташа Кром, как он любил ее называть).

Как мы потом узнали, она печатала много подобных справок и вообще разных бумажек, которые часто в буквальном смысле спасали жизнь тем, кто, подобно нам, искал помощи Николая Владимировича, находясь на краю гибели. Их было, наверно, несколько десятков человек. Это были и иностранцы, но прежде всего советские, русские люди, как вывезенные в Германию из оккупированных территорий СССР, так и, очевидно, военнопленные, которым удалось бежать из концлагерей (в особенности на последнем этапе войны, при массовых бомбардировках городов Германии).

Совершенно достоверно, что таким путем Николаем Владимировичем

была сохранена жизнь нашему талантливому молодому зоологу Н.Б. Бируле, который после войны возвратился на Родину и до своей преждевременной кончины работал в области медицинской паразитологии. Так же были спасены известный пианист Топилин, молодой генетик И.Б. Паншин и паразитолог А.Н. Никулина и многие другие жертвы войны, о которых упоминает Д.А. Гранин. Фамилии и точное число их мне неизвестны, так как Николай Владимирович по вполне понятным причинам никогда не касался этого вопроса.

Впечатление от знакомства и общения с Николаем Владимировичем было самое необычное. В то страшное время, когда дни исчислялись годами и когда истинная сущность каждого не была прикрыта никакими условностями, Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский во всех отношениях оказался Человеком с большой буквы. Не всегда укладывалось в сознании, что этот Человек, живя в столице смертельного врага нашей родины, рисковал собственной жизнью, спасая попавших в беду людей. Этот Человек был по-настоящему истинным русским патриотом.

Стены небольшого кабинета Николая Владимировича были увешаны портретами русских и советских ученых-естествоиспытателей и биологов – от М.В. Ломоносова, А.Ф. Миддендорфа до Л.С. Берга, Н.А. Северцова, М.А. Мензбира, Н.И. Вавилова, А.Н. Северцова, Н.К. Кольцова, Н.П. Дубинина, С.И. Огнева, Б.С. Виноградова и мн. др.

Николай Владимирович гордился этим ”иконостасом” (как он его называл). Однажды на мой вопрос он ответил, что ”иконостас” сделан для того, чтобы каждый посещающий лабораторию иностранный ученый-биолог мог на ”конкретном материале” удостовериться в том, каковы заслуги России в области естествознания, и в частности биологических наук. Русские ученые в огромной степени способствовали великим достижениям современной биологии, Россия и теперь далеко не оскудела талантами, нашим биологам предстоят еще выдающиеся открытия в дальнейшем во многих областях этой науки – примерно так не раз говорил Николай Владимирович.

Осмеливаюсь без малейшего хвастовства сказать, что Николай Владимирович иногда был со мной более откровенным в оценке научных достижений как наших, так и зарубежных биологов (генетиков, экологов) и почти всегда при этом ставил русских исследователей на первые места. Может быть (и даже скорее всего), он делился этими мыслями по той причине, что я хотя и был тогда лишь начинающим молодым научным работником, но был оттуда, из нашей общей Родины – России, которую он сильно любил и по которой тосковал. Возможно, некоторую роль играло и то, что я, будучи по специальности экологом, занимался вопросами популяционной экологии – научной области, бывшей наиболее, как мне кажется, привлекательной для Николая Владимировича после генетики и радиационной биологии.

Постоянно удивляли широта интересов, огромная эрудиция, поистине громадный кругозор, глубокая образованность и природная интеллигент-

ность этого человека, сущность которой так хорошо охарактеризовал Д.А. Гранин.

Николай Владимирович прекрасно знал современную научную литературу по различным отраслям биологии и смежных с ней дисциплин (генетика, популяционная экология, эволюционное учение, радиобиология, биофизика и т.д.). Меня буквально сразило, когда он сказал при первом же знакомстве (о чем я уже упоминал), что знает всех нас по научным публикациям, хотя мы тогда практически были только начинающими исследователями и имели к тому времени (1937–1941 гг.) лишь по 3-4 научные статьи.

Насколько помнится, Николай Владимирович одинаково хорошо говорил и писал, кроме русского, на французском, английском, немецком языках, что неоднократно демонстрировал (и по-моему, с видимым удовольствием) на наших небольших семинарах до освобождения. Обсуждая что-либо из научных новостей лаборатории, он говорил на одном из иностранных языков (обычно на немецком, его лучше знало большинство сотрудников), затем диктовал в протокол то же на английском и повторял суть сообщения по-французски (для французов) и по-русски (для нас). Вообще Николай Владимирович любил выступать и говорить о науке, проявляя удивительно глубокие познания в разных ее областях. Он был природным прекрасным лектором и популяризатором научных знаний.

Лаборатория генетики Николая Владимировича помещалась в одном из зданий, примыкавших к клиническому городку Института мозга, занимая несколько (кажется, 2–3 или 4) комнат на первом этаже. Лаборатория была совсем небольшой, штат ее насчитывал всего 25–30 человек.

Состав был интернациональным, в лаборатории числились, кроме Николая Владимировича и его супруги Елены Александровны, русские – С.Р. Царапкин (советский генетик, так же как и Николай Владимирович, но чуть позднее приехавший в Берлин в плане советско-германского соглашения об обмене учеными), И.С. Гребенщиков (сын русских эмигрантов, теперь известный генетик), кажется, В.И. Селинов (старый русский эмигрант), затем И.Б. Паншин, А.Н. Никулина, о которых упоминалось выше, 3 или 4 француза, среди них запомнились физик Ш. Пейру (вызволенный Николаем Владимировичем из лагеря военнопленных) и механик Машен, налаживавший и ремонтировавший все необходимое в лаборатории и питомнике, грек Канелис, китайский генетик Ма Сунюн, полурусский-полуеврей А.С. Кач (жену его, еврейку, Николай Владимирович тоже пристроил в какое-то учреждение по фальшивым документам). Между прочим, А.С. Кач, с которым у меня установились наиболее близкие отношения (Кач понимал и немного говорил по-русски, наши рабочие столы в лаборатории стояли рядом), рассказывал, что он и его жена тоже были буквально спасены от гетто и смерти Николаем Владимировичем, сумевшим с помощью "соответствующих" документов доказать немецким властям нееврейское происхождение их обоих. Было в лаборатории еще 2–3 технических служителя – немца. Впрочем, все это подроб-

но описано в "Зубре" Д.А. Гранина. Я был самым "молодым" по времени "поступления" в лабораторию.

Мои обязанности по лаборатории заключались в ухаживании за экспериментальными животными в питомнике (это были крысы, мыши различных чистых генетических линий и немного кроликов). Чистил клетки, кормил и поил, рассаживал для размножения или отделял подросших молодых зверьков от взрослых, давал справки сотрудникам относительно возможности использования животных в опытах, выделял их для экспериментов и т.д. В свободное время занимался, по рекомендации Николая Владимировича, "освоением" генетической литературы".

Питомник Николай Владимирович посещал очень часто, проверял здесь правильность производившихся пересадок и скрещивания рас подопытных крыс и мышей, интересовался и всеми другими вопросами, относившимися к питомнику.

Вообще он работал и в это страшное время очень много, не только писал, но и регулярно проверял результаты опытов сотрудников, обсуждая дальнейшие планы и цели исследований, часто вступая в спор, однако всегда прислушивался к аргументированным возражениям, нередко вполне соглашаясь с ними. До меня, работавшего по-соседству (питомник находился в оранжерее, примыкавшей к одной из стен лаборатории и соединенной с ней дверью), эти споры, которые велись на немецком или русском языке и нередко долетавшие с достаточной полнотой, производили сильное впечатление. Впервые за свою (правда, еще очень небольшую) научную жизнь я видел руководителя, который так внимательно оценивал чужое мнение, особенно если оно в чем-либо существенном противоречило или не совпадало с его предположением и выводами, и принимал это мнение, если оно убедительно оспаривало его собственное. Однако были моменты, когда разгорались жаркие прения, и тогда Николай Владимирович нередко превращался в рычащего льва, который вполне оправдывал данное ему в шуточной рукописной поэме "Бухиада", сочиненной в первой половине 30-х годов, определение: "Он элоквенцией своей всех переплюнул корифеев, и часто русский соловей с наукой чередует песни... но все ж, хотя он мил и прост, не наступай ему на хвост".

Тематика лаборатории, насколько я мог себе представить в общем, не будучи генетиком по специальности, была направлена на дальнейшее развитие количественной радиационной генетики, что позволило Николаю Владимировичу в дальнейшем сформулировать основные положения и представления современной радиобиологии. Я не берусь (да это и не является задачей воспоминаний) подробно и глубоко анализировать конкретную научную деятельность Николая Владимировича. Подобный анализ уже хорошо и неоднократно сделан многими нашими учеными — А.В. Яблоковым, Н.Н. Воронцовым, академиком Б.Л. Астауровым и другими в 1967—1988 гг. Скажу только, ограничиваясь эволюционно-генетическим направлением исследований Николая Владимировича, что здесь он дошел до вершин научного познания. Им были разработаны, развиты,

обоснованы, как пишут Н.Н. Воронцов и А.В. Яблоков в работе, посвященной 70-летию этого замечательного ученого, главнейшие понятия и общие принципы феногенетики, количественне закономерности природного мутационного процесса, освещена роль последнего в эволюционных изменениях организмов, сформулирована и развита теория микроэволюции и др. Всего этого Николай Владимирович достиг, глубоко и всесторонне изучая (до 1945–1947 гг.) плодовую мушку дрозофилу (которую так люто ненавидели лысенковские неучи в науке), а также некоторых жестокрылых (жуки) и птиц (чайки, овсянки).

Среди последних мне как орнитологу больше всего нравится выполненная Николаем Владимировиче вместе с крупнейшим немецким орнитологом Эрвином Штреземаном действительно первоклассная монография по географической изменчивости трех близких видов чаек – серебристой, хохотуньи, клуши. В этой работе, опубликованной в 1947 г., популяционная генетика очень хорошо связана с популяционной биологией (экологией).

Часто лабораторию посещал крупный немецкий биофизик Роберт Ромпе (у нас его звали Роман Романович). Р. Ромпе был не только неоднократным соавтором Николая Владимировича в научных исследованиях и публикациях, но и близким другом семьи Тимофеевых-Ресовских. Будучи "русским немцем" из Петербурга, он хорошо знал русский язык. Родные Ромпе покинули Россию очень давно, когда Роман Романович был еще ребенком. По рассказам А.С. Кача, тогда Ромпе вместе с матерью, Елизаветой Германовной, жил в другом районе Берлина.

О Роберте Ромпе теперь хорошо известно, что он был одним из активных участников, возможно, и одним из руководителей немецкого подпольного движения сопротивления фашизму. После освобождения Ромпе долго занимал крупные посты в правительственных органах ГДР. Перед самым падением Берлина он вместе с матерью совсем переехал в Бух, к Тимофеевым, встретил советские войска вместе с остальными сотрудниками лаборатории. Приезжая в Бух, Р. Ромпе всегда привозил разные новости. Сообщал он их Николаю Владимировичу по-немецки, а часто и по-русски, иногда стоя или сидя у окна близь питомника, так что и мне тоже было кое-что слышно. Новости сводились в основном к положению на фронтах, о чем Роман Романович был информирован очень хорошо. Однажды я слышал, как после очередного сообщения Ромпе о продвижении наших войск Николай Владимирович отозвался о маршале Г.К. Жукове, сравнив его с М.И. Кутузовым, наше наступление – с освободительным походом русских в Европу в 1813–1814 гг. Но вообще разговаривали они очень осторожно.

Не следует, как уже хорошо сказано Н.Н. Воронцовым, делать Николая Владимировича более "советским", чем он был. Николай Владимирович, будучи истинным ученым и отдавая всю свою жизнь науке, как и мы все, интересовался политикой, отзывался (хотя и очень редко) критически о событиях в СССР в период сталинизма и по-человечески не принимал их. Но ведь и для нас при нашей современной перестройке очень многое из

тогдашнего времени выглядит совершенно неприемлемым с точки зрения той же человечности. Но как истинный русский патриот он совершенно безбоязненно и с нетерпением ждал прихода наших войск и освобождения. Его планы о дальнейшей работе после окончания войны и переезда в СССР воодушевляли и нас.

Здесь необходимо немного отвлечься, чтобы сказать следующее. Помимо поведения самого Николая Владимировича, совершенно невероятно и противоестественно, чтобы такой антифашист и деятель подполья, каким являлся Роберт Ромпе (Роман Романович), мог быть большим и близким другом Н.В. Тимофеева-Ресовского и его семьи, или даже поддерживать с ним какие-нибудь связи как с человеком, если бы Николай Владимирович имел какое-то, хотя и самое косвенное, отношение к евгенике, опытам над людьми и созданию атомного оружия. Ведь, помимо "мнений", есть неоспоримые принципиальные истины, которые нельзя поколебать никакими наветами и ссылками из арсенала – "как говорят", "по имеющимся сведениям" (вернее, слухам) или "дыма без огня не бывает". И только на этом основании, абсолютно без фактов, но с позиций абстрактной "человечности" решать вопрос о том, следует ли кого-либо оправдать, как не имеющего вины перед государством и народом или же простить его от имени "великодушного" народа.

Продолжая воспоминания и говоря о лаборатории, нельзя не коснуться некоторых "мелких" вопросов быта, так как они тоже характеризуют Николая Владимировича как Человека с большой буквы. В то время вопрос питания был достаточно важным и актуальным для всех. Продуктов, которые получали по карточкам, не хватало. Но мы получили " дополнительное питание" из питомника.

Дело в том, что питомнику еженедельно (обычно по субботам) доставлялось несколько крафтовых (бумажных) мешков галет для собак в качестве корма для экспериментальных животных. Удивительно, но эти галеты были вполне съедобными и для людей и даже казались нам тогда довольно вкусными (их изготавливали из мучных отходов).

Николай Владимирович объяснил мне, что кормить крыс и мышей следует очень рационально, без "излишеств", чтобы к концу недели не все галеты были израсходованы. По субботним вечерам оставшиеся галеты, по распоряжению Николая Владимировича, делились между сотрудниками лаборатории. Распределяли галеты, как помнится, А.С. Кач, Ма Сунюн и я. Семейные получали по две порции. Порция галет выделялась и И.И. Лукьянченко. Этот обычай был введен Николаем Владимировичем, очевидно, еще до нашего появления, так как первую же при нас очередную дележку остатков галет сотрудники приняли как обычное явление. И надо сказать, что эти собачьи галеты были хорошим дополнением к скудному пайку по карточкам. Нередко подкармливала нас и Елена Александровна, когда удавалось достать что-либо съестное помимо продовольственных карточек.

Как я уже упоминал, я не переставал удивляться оптимистической настроенности Николая Владимировича во время его работы в лабора-

тории до освобождения. Он не только руководил текущей научной работой и определял ближайшие задачи дальнейших исследований, но и планировал тематику на послевоенные годы, причем не вообще, а совершенно конкретно в то самое время, когда Берлин изо дня в день подвергался все более страшным бомбардировкам, превращавшим в руины один район города за другим. Каждый день можно было этого ждать и для Буха, и стало ясно, что фашистская Германия доживает последние месяцы, если не недели.

Когда в апреле 1945 г. началось наступлений наших армий на Берлин, Николай Владимирович, придя утром 16 или 17 апреля в лабораторию с веселым настроением, сказал, что теперь уже ждать осталось совсем немного, очевидно, наши войска придут через несколько дней, нужно готовиться к встрече. В особенности в первую очередь необходимо сохранить все оборудование и ценности лаборатории, так как лаборатория, несомненно, будет нужна России. Перед этим у Николая Владимировича был Р. Ромпе, уже переехавший из Берлина вместе с матерью, и они вдвоем о чем-то говорили. И тут же Николай Владимирович сказал, что нам следует запастись продуктами на некоторое время до установления порядка после взятия города нашими войсками и что лучше всего будет, если мы для этой цели "обследуем" кладовые и кухни военного госпиталя и, собрав провизию, будем питаться вместе.

Дело в том, что за 2–3 дня до этого госпиталь начал поспешно эвакуироваться. Поспешность была такая, что немцы бросили все имущество госпиталя, вплоть до продуктов, и вывезли на машинах только раненых и обслуживающий персонал.

В кухонных помещениях и кладовых госпиталя мы нашли кое-что: хлеб, картофель, макароны, немного жиров, соль, сахар. Все это снесли в комнату лаборатории, где под руководством наших женщин и было организовано общественное питание.

Из курьезов этих последних дней фашистской Германии и первых дней после прихода наших, может быть, следует упомянуть о трех, характеризующих Николая Владимировича с чисто человеческой стороны.

Во-первых, в одной из палат госпиталя я обнаружил небольшой чемоданчик, битком набитый бумажными деньгами. Там было не менее нескольких тысяч рейхсмарок. До сих пор вспоминаю, с какой радостью я поддал ногой чемоданчик и развеял все деньги по палате. Когда я рассказал об этом Николаю Владимировичу, он ответил, что поступил я неумно, упустив возможность иметь достаточно большое "состояние", что деньги в особенности нужны будут сейчас, в бесправительственное время. Да и вообще любые деньги (будь они и гитлеровскими рейхсмарками) не могут потерять своей покупной ценности вдруг, сразу, ибо в противном случае все население страны лишится всех своих жизненных ресурсов.

Во-вторых, организация общественного питания после освобождения требовала дежурств сотрудников лаборатории, а от женщин – поочередного приго-

товления пищи. В одно из дежурств Клавдии Тихоновны в кухню вошел Николай Владимирович. Увидев жарившиеся котлеты, он сказал, что очень голоден. Затем, не сев за стол, начал есть горячие котлеты, беря их прямо со сковородки и перебрасывая с одной руки на другую. При этом он сказал, что никак не ожидал, что и научные работники могут очень вкусно готовить, а не только сидеть за пробирками или ловить животных для опытов.

В-третьих, наголодавшийся Ма Сунюн при сборе продуктов для общественного питания оставил у себя под кроватью 12 буханок хлеба из общего запаса. Через несколько дней хлеб заплесневел и случайно (по запаху) был обнаружен Николаем Владимировичем. Как влетело бедному китайскому генетику, лучше не рассказывать.

Вечером, накануне освобождения, мы все, по распоряжению Николая Владимировича, ночевали в подвале дома лаборатории. Наши войска вошли в Бух утром 21 апреля. Цепь автоматчиков "прочесала" парк, солдаты и командир, увидя нас у дверей подвала, подошли и спросили, кто мы такие. Услышав ответ на русском языке, командир после короткого разговора сказал, что с нами познакомится и определит нашу судьбу разведка 3-й Ударной Армии.

У клиник была оставлена охрана, а на другой день всех нас доставили в расположение контрразведки 3-й Ударной Армии, где 23–27 апреля прошли проверку у майора Быстрова, в оперативной группе Берлинского сектора Советской Военной Администрации в Германии (СВАГ). Первыми были коротко допрошены Николай Владимирович и Елена Александровна, затем все остальные, сначала русские, потом иностранные сотрудники лаборатории.

Решение было быстрое – продолжать работать и сохранять все в лаборатории до особого распоряжения военных органов 1-го Белорусского фронта. В ближайшие дни после освобождения Николай Владимирович был снова вызван в наши военные органы и, возвратившись, рассказал, что распоряжением Военного Совета 1-го Белорусского Фронта и Санитарного Управления РККА организован Институт генетики и биофизики, который переходит в ведение Отдела здравоохранения СВАГ, и что приказом начальника этого отдела генерал-майора А.Я. Кузнецова он назначен директором названного института. Это новое, возникшее после освобождения научно-исследовательское учреждение, позднее получившее название Медико-Биологического института СВАГ, просуществовало до начала первой половины 1946 г. Все мы (считая также Клавдию Тихоновну Крылову и И.И. Лукьянченко) были включены в состав научных сотрудников института со всем материальным обеспечением. Представителем Отдела здравоохранения СВАГ при институте был назначен майор С.Н. Егоров.

Позднее были еще неоднократные проверки. Нас проверяли в мае 1945 г. подполковник Бургман, в августе – группа майора Пашенцева, в октябре (уже после отъезда Николая Владимировича в Москву) начальник Оперативной группы СВАГ № II майор Кондрацкий. Работу института

оценивала комиссия, созданная в мае 1945 г., начальником Санитарного Управления 1-го Белорусского Фронта генерал-майором Поповым, комиссия начальника Главного санитарного управления РККА генерал-полковника Смирнова и директора Неврологического института Академии медицинских наук академика Гращенкова, посетившая Бух в июне 1945 г. и подтвердившая прежнее распоряжение о дальнейшей работе до времени эвакуации нашего иститута совместно с сотрудниками в СССР.

Работать мы начали сразу же после организации Института генетики и биофизики. В срочном порядке был составлен план научных исследований, который был утвержден Отделом здравоохранения СВАГ. Нам троим Николаем Владимировичем была дана тема "Изучение процессов сезонной динамики естественно живущих популяций мышевидных грызунов", которой он очень интересовался, часто расспрашивал о полученных результатах и рекомендовал не медлить с их обобщением. Это наша работа была закончена уже после отъезда Николая Владимировича в Москву. Результатом ее оказались две научные статьи, которые были опубликованы в 1948–1949 гг. в "Докладах АН СССР" и в "Зоологическом журнале". К огромному сожалению, упоминание о Николае Владимировиче как об организаторе и вдохновителе этих исследований было в тогдашних условиях редакциями вычеркнуто.

В сентябре 1945 г. Николая Владимировича вызвали в Москву. Уезжая, он поделился с нами своими соображениями по вопросу дальнейшего будущего института. Он был уверен, что вызван для организации переезда всего института в СССР. В связи с этим он спросил, хотим ли мы и дальше работать с ним, сказав, что думает организовать в составе института, как бы он ни стал называться впоследствии, лабораторию популяционной экологии, в которой я бы мог остаться заведующим. Вероятно, об этом говорить не совсем скромно, но сказанное – правда. Мы, естественно, дали согласие работать в институте Николая Владимировича при всех условиях. Но все вышло иначе. Из Москвы Николай Владимирович не вернулся, наш Институт просуществовал еще некоторое время, исполняла обязанности директора Елена Александровна, мне пришлось некоторое время быть, по распоряжению майора Кондрацкого, ее помощником. В первой половине следующего, 1946 г. семья Николая Владимировича (Елена Александровна и сын Андрей) уехала в СССР, а затем был ликвидирован и наш институт.

Мои встречи с Николаем Владимировичем на родине были хотя и неоднократными, но все же нечастыми и кратковременными. Об этом я искренне и глубоко печалюсь. Работали далеко друг от друга – я в Казахстане, он в Москве и Обнинске. Переписка тоже не была частой. Все предполагали – будет время и для более близкого общения и встреч. Но кончина Николая Владимировича все изменила. Остались только дорогие сердцу и уму воспоминания.

Заканчивая свое повествование, хочу сказать следующее. У меня нет ни возможности, ни времени и желания вступать в дискуссии с литературными деятелями, журналистами и критиками. Мне не выдержать

состязания с теми, кто способен поворачиваться в зависимости от настроения и обстановки на 180° при характеристике "объектов", которые привлекли их внимание. Как научный работник я привык исходить из конкретной действительности и руководствоваться только фактами, но все же удивляет, что мы до сих пор не только не можем по-настоящему оценивать и отдавать должное выдающимся людям (равно политическим и научным подвижникам) при их жизни, но в ряде случаев (к ним принадлежит Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский) не можем удержаться от посмертного принижения и очернения их.

Н.В. Тимофеев-Ресовский признан учеными всего мира одним из самых выдающихся биологов нашего времени. Его чтут и как человека за честно прожитую жизнь. Лишь у нас, правда, теперь только в отношении трагического периода этой жизни, связанного с невозвращением, продолжают оставаться какие-то, совершенно лишенные фактического обоснования, держащиеся на слухах и предположениях сомнения, о чем я уже говорил выше. Но эти сомнения страшны тем, что способны задержать оправдание невинного человека, даже такого выдающегося и крупнейшего ученого, каким является Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. А он достоин полной и безоговорочной реабилитации, а не высокомерного, как бы сбрасываемого с барских плеч прощения, даруемого нашим великодушным народом.

ВАРШАВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1909 г. в г. Витебске. Доктор биологических наук по специальности "зоология" (экология – териология и орнитология). В 1944–1946 гг. работал с Н.В. Тимофеевым-Ресовским в Институте генетики и биофизики (Берлин-Бух) системы СВАГ (Советская военная администрация в Германии). С 1960 г. – ст. научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского противочумного института "Микроб" (г. Саратов).

И.Б. Паншин

В БЕРЛИН-БУХЕ В 1943–1945 гг.

Написать воспоминания о Николае Владимировиче Тимофееве-Ресовском, тем более кратко, – задача для меня по существу невыполнимая, но бывали задачи, о которых и пойдет речь в этих воспоминаниях, еще более невыполнимые, однако же они были выполнены.

Дело осложняется тем, что мне придется писать и о себе, и, может быть, даже о себе больше, чем о Н.В. Тимофееве-Ресовском. Слишком тесно были связаны наши судьбы и действия и наиболее важный отрезок времени, о котором пойдет речь, многое останется запутанным и непонят-

ным. С легкой руки Даниила Гранина читатели его "Зубра" разбиваются на два враждующих лагеря: "зубристов" и "антизубристов", и только я один не отношусь ни к одному из них. Написать о Н.В. Тимофееве-Ресовском, не разбирая самых важных вопросов науки и политики и их взаимоотношений в прошлом, настоящем и будущем, а сделав главной темой личность этого выдающегося человека и его драматическую судьбу, не только немыслимо, но и, главное, не следует делать. В связи с большим количеством литературы о Тимофееве-Ресовском не только у нас, но и за рубежом, и высказываемыми в ней противоречивыми, часто некомпетентными мнениями, а подчас и клеветой трудно обойтись без полемики.

В судьбе и деятельности Тимофеева-Ресовского нашли отражение судьбы многих значительных людей, конечно прежде всего ученых, всегда и везде – и за рубежом (и не только в Германии), и на Родине – удивительным образом (видимо, по тому же принципу "матричного синтеза" Н.К. Кольцова) группировавшихся вокруг Н.В. и Е.А. Тимофеевых-Ресовских. Но называть многих из них я не буду не только из-за недостатка времени и места.

Мои воспоминания о Н.В. начинаются задолго до того, как я имел счастье познакомиться с ним лично. Студентом второго курса я начал работать в лаборатории генетики Николая Ивановича Вавилова, помещавшейся на Васильевском острове в трех минутах ходьбы от Ленинградского университета, и там мне сразу же стало известно о Н.В. как об одном из ведущих ученых в теоретических областях генетики, особенно рентгеногенетики. Дрозофильный отдел лаборатории (занимавшийся генетикой мух дрозофил) – М.Л. Бельговский, Ю.Я. Керкис – разрабатывал в значительной степени тематику Н.В. Тимофеева-Ресовского о влиянии генотипической среды на мутационный процесс. Радиационную генетику я начал изучать по работам Тимофеева-Ресовского на немецком языке. С проблемой эффекта положения гена, ставшей впоследствии основной в моей тематике, я познакомился в связи с только что опубликованной работой Ф.Г. Добржанского (о мутации "бароид"), работавшего в Америке. Хотя тогда и были еще сравнительно благополучные времена, работа двух наших ведущих ученых-генетиков за границей вызывала у меня и у других коллег сожаление и тревогу.

Сотрудниками лаборатории Вавилова с одобрением и надеждой был встречен приезд к нам на длительную работу генетика № 1 того времени (будущего нобелевского лауреата), американца из школы Моргана, Г. Меллера, известного своими симпатиями к Советскому Союзу. До приезда в Ленинград (со своей семьей, ассистентом К. Офферманом, лабораторным оборудованием, библиотекой и даже личным малогабаритным автомобилем) Меллер длительное время работал в Германии, в генетической лаборатории Тимофеева-Ресовского в Берлин-Бухе, где его привлекала не только дружба с Тимофеевым-Ресовским, но и общность интересов в радиационной генетике и условия работы. Устанавливаемое Тимофеевым-Ресовским сотрудничество с физиками при тогдашнем уровне развития науки в Германии открывало широкие перспективы, созвучные

научным интересам Меллера. Однако Вавилову удалось уговорить Меллера работать у нас, чему способствовал приход к власти фашизма. Приезд к нам Меллера прокладывал дорогу и к возвращению на Родину Тимофеева-Ресовского, и созданию у нас самой мощной в мире генетической базы, планировавшейся Н.И. Вавиловым. У меня вскоре состоялось знакомство и постоянные, чаще поздними вечерами, разговоры с Меллером. М.Л. Бельговский рассказал Меллеру об одной сделанной мной работе, которую считал интересной. Меллер предложил мне опубликовать работу не медля, что и было сделано. Вскоре Меллер предложил мне заняться эффектом положения гена, развить известное открытие Н.П. Дубинина и Б.Н. Сидорова в Москве, еще не опубликованное в печати, но уже известное Меллеру. При частых разговорах на генетические темы (причем Меллером не делалось различия между ним, знаменитым ученым, и мной, студентом третьего курса), Меллер любил рассказывать о разных ученых и лабораториях, давая им не всегда лестные оценки, но о Тимофееве-Ресовском всегда самые положительные и с озабоченностью за его будущее.

Планам Н.И. Вавилова в целом и в частности (с окончанием зарубежной командировки Тимофеева-Ресовского) не суждено было осуществиться. Летом 1936 г., когда я по окончании университета направился в Институт генетики АН СССР, созданный Вавиловым из его лаборатории генетики в Ленинграде при переезде Академии наук из Ленинграда в Москву, директор института уже не был его хозяином, вопросы приема на работу решала Р.Л. Дозорцева и ей подобные.

Вавилов сказал мне, что сейчас на работу в лабораторию Меллера он меня принять не может, следует повременить. То же сообщил мне до разговора с Вавиловым и Г. Меллер, желающий, чтобы я продолжил работу у него. Меллер дал самый положительный (как оппонент) отзыв на мою дипломную работу (я окончил университет с тремя опубликованными работами по генетике и одной по зоологии). При таком положении Вавилова, Меллера и, конечно, генетики о работе в Москве Тимофеева-Ресовского, длительно находившегося за рубежом, несмотря на его международную известность и признание, не могло быть и речи. И все же Вавилова не покидала надежда на лучшее будущее.

Вся драматичность и безысходность положения, складывающегося вокруг Тимофеева-Ресовского, стали мне более понятными после рассказов о Тимофееве-Ресовском известного цитолога кольцовского Института экспериментальной биологии (куда я попал после окончания университета) Софьи Леонидовны Фроловой. За помощью к С.Л. я обратился в связи с тем, что после выхода в свет известных работ Касперсона, определенно указывавших на значимость в хромосомном аппарате наследственности нуклеиновых кислот, мне, в связи с моими работами по эффекту положения, желательно было применение реакции Фёльгена, которой я не владел. За консультацией и помощью к С.Л. я обращался и по другим вопросам. Оказалось, что моя квартира на Миусской площади была неподалеку от дома С.Л., и мы часто возвращались с работы вместе. Видимо, я заслу-

жил доверие и понимание у С.Л., и она делилась со мной своими мыслями и воспоминаниями в связи с нараставшей угрозой генетике и Кольцовскому институту. В частности, шла речь и о продолжающемся пребывании Николая Владимировича в теперь уже фашистской Германии. Насколько помню, беседы относились к 1939–1940 годам. Рассказывая о высокой и разносторонней одаренности Тимофеева-Ресовского, С.Л. говорила о невозможности возвращения Н.В. на Родину, так как его сложные и не известные перипетии во время гражданской войны заставили Н.К. Кольцова временно отказаться от своего наиболее талантливого последователя и ученика. Теперь же возвращение Николая Владимировича немыслимо, так как оно будет использовано для очередной инсинуации против Кольцова и генетики.

В моей памяти, хотя это может показаться невероятным, сохранились воспоминания о гражданской войне, бесконечные обстрелы, смены власти, белополяки на улицах Киева, но главное – рассказы старшего поколения о трагических судьбах людей во время гражданской войны. Тогда, помимо своей воли, симпатий и национальности, человек мог оказаться сопричастным отрядам Махно или Петлюры либо обвиняться в этом. Аргументация С.Л. Фроловой заслуживала внимания.

Н.И. Вавилов не терял надежды на возвращение Тимофеева-Ресовского. Летом 1939 г. я случайно встретился с Вавиловым в теплице Дончо Костова в Институте генетики на Ленинском проспекте. Это совпало с пребыванием в Москве англо-французской делегации для заключения антигитлеровского союза. Было ясно, что соответствующй договор заключен не будет. Несмотря на это, Вавилов сказал мне: "Вот заключим договор и поедем на конгресс (в Эдинбург) и там решим вопрос о работе у нас в институте Тимофеева-Ресовского", но обычной бодрости в голосе Николая Ивановича не чувствовалось. Быть может, пример с возвращением П.Л. Капицы давал Вавилову надежду укрепить основной теоретический отдел своего института, добившись возвращения Тимофеева-Ресовского вместо уехавшего от нас Меллера.

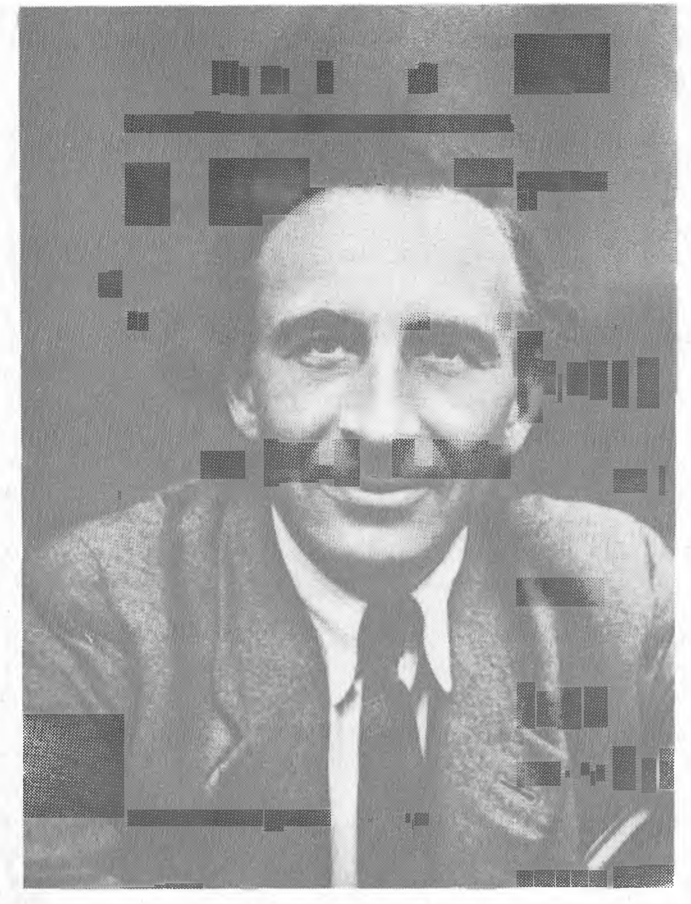
Следующую информацию о Н.В. Тимофееве-Ресовском я получил неожиданно и постарался, как и любую информацию военного времени, уточнить и дополнить. Когда я был военнопленным и переводчиком при штабе тыла седьмой танковой дивизии немцев, я имел много любопытных разговоров с образованными немцами из офицерского и унтер-офицерского состава, которые трезво оценивали будущее своей родины в безнадежно затянувшейся войне.

На этот раз весной 1942 г. разговор с архитектором из Мюнхена унтерофицером Ракелем имел более разнообразный и жизнерадостный характер. Оба мы оказались горнолыжниками, а он даже был постоянным тренером женских команд. Это, помимо лучшего в мире спорта, оказывается, несмотря на счастливый брак, давало ему множество волнующих переживаний, которых он лишился благодаря бессмысленной войне, начатой Гитлером. Когда в разговоре выяснилось, что я генетик (вопрос о гражданской специальности, а также о том, откуда у меня такое правиль-

ное немецкое произношение, обязательно задавался), Ракель рассказал мне, что проектировал виллу для немецкого генетика Веттштейна. Он слыхал о Тимофееве-Ресовском и полагал, что тот и сейчас в Германии. Это обстоятельство давало мне дальнейшие возможности внедрения в более высокие вражеские слои и позволяло избегать некоторых критических и опасных ситуаций. Конечно, с разрешения по полевой почте я на немецком языке написал письмо Тимофееву-Ресовскому, естественно выражая уверенность в победе немцев и выразив желание работать в Германии по специальности. Примерно через месяц я в сопровождении двух автоматчиков было доставлен во фронтовую контрразведку, где вежливые обходительные офицеры сообщили мне, что Тимофееву-Ресовскому известен русский генетик Иван Паншин, но не Игорь Паншин, а стало быть, вопрос подлежит выяснению. Так как Тимофееву-Ресовскому не могло быть известно мое полное имя, а только инициалы на оттисках, которые я ему посылал, мне стало ясно, что содержание и тон моего письма для него неприемлемы. Зондирование дало важную информацию, использованную мной успешно в дальнейшем более чем через год.

Обращаясь с письмом к Тимофееву-Ресовскому весной 1942 г., я не преследовал цели работать у него в Берлине. Подобное в то время было невыполнимо, а для меня и нежелательно. Но моя цель все же была в какой-то степени достигнута, так как вскоре я был вызван к командующему тылом девятой армии генерал-майору Эриху Гульману, которому, как оказалось, было известно о моем правдоподобно вымышленном немецком дворянском происхождении. Я получил назначение переводчиком в команду наших пленных, обслуживавших штаб генерала Гульмана. Там я снова встретился с унтер-офицером Ракелем. Целью настоящих воспоминаний не является описание удачных операций, не принесших нам никакого ущерба, в результате которых, видимо, у генерала сложилось ко мне определенное отношение, я был вне всяких подозрений. Дважды генерал Гульман столь существенно в критической ситуации мне помог, что без этого, скорее всего, меня давно не было бы в живых. Второй раз это относится к лету 1943 г. Тогда, стремясь выиграть время и воспрепятствовать отправке в Германию моей будущей жены и будущего соратника по операции "Тимофеев-Ресовский–Ромпе–Риль–атомное оружие", я обратился к генералу Гульману. Эта акция имела тот неожиданный оборот, что не только моя невеста, но и я были вынуждены уехать в Германию и принять вражеское подданство. Альтернативой до моего обращения к генералу был наш совместный побег и попытка перейти фронт, шансы же на благополучный исход (а в этом у меня был достаточный опыт) и информация ничтожны.

Теперь в лагере немецких переселенцев (в большинстве плохо владевших немецким языком) мое будущее осложнялось, так как брак был зарегистрирован и жена оставалась заложником. Тогда, стремясь выбраться с женой за пределы лагеря, я вторично (более чем через год) написал Тимофееву, но, учитывая его реакцию на мое первое письмо, в другом тоне. В частности, я написал, что знал о нем не только по работе, но и по



Н.В. Тимофеев-Ресовский. Берлин-Бух, 1943 г.
Фото проф. Э. Суомалайнена

рассказам сотрудницы кольцовского института С.Л. Фроловой. Вскоре я получил ответ с приглашением приехать в Берлин для переговоров о работе, но, как потом выяснилось, не только моя эпистолярная дипломатия послужила быстрому приглашению в Берлин – у Николая Владимировича не было другого выхода. Отказать в переговорах новоиспеченному гражданину гитлеровской Германии (вероятно, за заслуги, к тому же генетику), работы которого он знал и на которые ссылался, при условии, что старший сын недавно схвачен гестапо, а штат руководимой им лаборатории перегружен иностранцами и лицами "неарийского" происхождения, означало прежде всего рисковать судьбой сына, а также его товарищей, которых он знал и понимал. К тому же в моем письме были другие ноты в отличие от первого письма.

Мне не раз самым невероятным образом везло на войне, а на этот раз в

особенности. Я приехал в городок Бух, спутник Берлина, рано утром. Идти в институт было рано. Тут не было войны. В великолепном лесопарке, куда я зашел, чтобы осмотреться, нет ли "хвоста", стояли тишина и безлюдье. Бегали белки, по ручью плавал лебедь. В лабораторию я все же решил прийти пораньше. Там было пусто: меня встретила и проводила в кабинет-лабораторию Тимофеева-Ресовского теперь известная по литературе секретарь-лаборантка фрау Пальм (звали ее обычно Клаудет). Я был один в кабинете Николая Владимировича и не верил своим глазам. На стенах комнаты были портреты наших ученых – Кольцова, Вавилова, Четверикова и еще чьи-то, кого я теперь не помню, а в простенке между окнами крупным шрифтом на русском языке в рамке известное изречение Ломоносова о русском языке. Секретарша, проводив меня в кабинет Николая Владимировича, сказала, что он дома и появится, наверное, не сразу; она сообщила о моем прибытии. У меня было время обдумать, учитывая все, что я успел узнать за сегодняшнее утро, и то, что я знал о Тимофееве-Ресовском, как я должен вести себя при этой первой встрече, которая, к счастью, видимо, произойдет с глазу на глаз. Прежде всего – это язык и первое приветствие. На эсесовский манер выбросить правую руку, вытянуться в струнку и щелкнуть каблуками, что, конечно, же, я умел в совершенстве, или попросту по-русски кивнуть головой и предоставить хозяину говорить первым?

Мне пришлось ждать не менее получаса, затем через открытую в соседнюю лабораторную комнату дверь послышались быстрые шаги и в кабинет вошел, а точнее, влетел, самый русский из всех русских людей, с которыми мне когда бы то ни было приходилось встречаться. Официального знакомства и приветствия вообще не было, и разговор сразу зашел о людях, портреты которых висели на стенах, и о русской науке, которую они представляли. Разговор шел, конечно, на русском языке. После того как я вкратце рассказал историю мою и моей жены, вследствие которой мы оказались неожиданно немцами, а Н.В. рассказал о положении своей лаборатории, коснувшись в двух словах и атомной проблемы, он поведал мне и об аресте старшего сына Фомы. Я до сих пор поражаюсь тому, до какой степени откровенен был этот первый разговор, когда люди не столько обмениваются словами, сколько смотрят друг другу в глаза. Вероятно, это было возможно только с Николаем Владимировичем и только в критической обстановке. Затем выяснилось, что я с дороги голоден. Мы направились через парк, в котором находился Институт мозга Фогта, а в его крыле лаборатория (отдел) генетики Тимофеева-Ресовского, к Н.В. домой. Там я познакомился с Еленой Александровной и их младшим сыном Андреем Николаевичем. Поразительным образом, приехав в Германию, я оказался чуть ли не в России среди своих русских людей. Конечно, все это требовало еще осмысливания. После завтрака в доме Тимофеевых мы отправились в лабораторию, где я был представлен сотрудникам самых разных национальностей и вида. Сложнее было с немцами, так как следовало быстро определять характер поведения и разговора с ними и не перестараться показывать себя настоящим немцем.

В первый же день знакомства у меня с Николаем Владимировичем и Еленой Александровной установилось полное взаимопонимание, я был оставлен ночевать в их доме еще на двое суток, был принят на работу и получил соответствующую справку для предъявления лагерному начальству. Это оказалось как нельзя своевременно, так как в лагере немецких переселенцев производился призыв не только в армию, но и в войска СС.

Наш брак с Александрой Николаевной Райнхардт-Никулиной был зарегистрирован тут же в лагере. Кратковременность нашего знакомства до отправки в Германию не вызывала подозрения, оно отпадало при знакомстве с внешностью моей невесты и романтичностью ситуации. Склонным к сентиментальности немцам было очевидно, что встретившиеся во время войны отпрыски немецкого народа не могли поступать иначе. Причиной тому были не только внешность и возраст невесты, но и благородное стремление ступить на землю "фатерланда". С регистрацией брака возникли трудности, так как оказалось, что по возрасту круглая сирота не может вступить в брак без опекуна. Эта трудность была преодолена. Была найдена "опекунша" из тех мнимых немцев, которые предпочли стать немцами, лишь бы не быть угнанными в Германию на общих основаниях в лагерь для "остарбайтеров". Не помешала и скифская "с раскосыми и жадными очами" явно не немецкая внешность невесты. Отец Саши – военнопленный австриец первой мировой войны, оттуда и немецкая фамилия, умер, когда А.Н. было две недели. Мать тоже умерла рано. Хорошее знание и произношение немецкого языка у Александры Николаевны вынесены только из школы, первого курса медвуза, благодаря незаурядным способностям и длительной практике работы в немецком госпитале, где, конечно, же, было куда сытнее и облегчалось немецкой фамилией.

Мое знакомство с Александрой Николаевной, а затем вынужденный отъезд в Германию со всеми далеко идущими последствиями – одна из многих невероятных случайностей военного времени – состоялись благодаря наблюдательности и интуиции Виктора Дегтерева (фамилия, вымышленная Виктором; многие наших пленные скрывали свою подлинную фамилию). Летом 1943 г. в г. Орле В. Дегтерева, Ивана Пикина и двоюродных братьев Кузьменко мне удалось из общего лагеря военнопленных перевести в рабочую команду при штабе генерала Гульмана. Это были надежные люди, с которыми я надеялся перейти фронт при благоприятных обстоятельствах; Дегтерев и Пикин были десантниками, братья Кузьменко – партизанами. Тогда, летом 1943 г., работавшие при штабе пленные пользовались значительной свободой, получали даже немного оккупационных марок и могли прикупить табак и еду к скудному положенному питанию. Виктор рассказал мне, что по-соседству с домом, где мы квартировали, он познакомился в необыкновенной девушкой. Под аккомпанимент гитары она поет наши и немецкие песни, говорит по-немецки и вокруг нее увиваются фрицы. С ней можно будет познакомиться в соседнем маленьком доме, где она часто бывает у своей старшей приятельницы. Виктор считал, что это наши люди.

Вечером мы с Виктором незаметно отправились к дому Клавдии Дмит-

риевны Шкопинской, познакомились с ней и действительно дождались вскоре появления А.Н. Виктор не ошибся в своей оценке. После этого мы встречались каждый вечер на квартире у Клавдии Дмитриевны, а потом Саша познакомила меня и со своей тетей, у которой росла после смерти родителей. Не исключено, что в удаче операции "Тимофеев-Ресовский–Ромпе–Риль–атомная бомба" Александра Николаевна сыграла далеко не последнюю роль. Как-то раз, уже потом, при очередных разговорах на политические темы, Николай Владимирович сказал мне: "Ты, Борисыч (так он часто меня называл), плохой агитатор за советскую власть и коммунизм, а вот Александра Николаевна – очень хороший!" Сашке и агитировать было не нужно, она этого и не делала преднамеренно. Достаточно было ей оставаться самой собой и рассказывать о своей довоенной жизни и переживаниях во время войны, но главное было в твердом решении во что бы то ни стало вернуться на Родину. Не ошибся я и в Клавдии Дмитриевне Шкопинской: когда выяснилось, что нам с Александрой Николаевной придется отправляться в Германию, я попросил К.Д. при освобождении Орла нашими войсками дать обо мне соответствующую информацию в соответствующие органы и написать также обо мне домой матери и сестре, попросив запомнить адрес. Через несколько лет, уже в Норильске, я узнал по письмам из дома, что Клавдия Дмитриевна выполнила мою просьбу. Оказалось, однако, что еще до освобождения Орла одна из моих информаций о себе достигла цели: мою мать вызвали на Лубянку, где ее спросили о сыновьях. На ответ матери, что старший сын погиб в блокадном Ленинграде и что младший сын тоже, наверное, погиб, ей было, сказано, что я жив. О письме К.Д. Шкопинской мать и сестра сообщили секретарю парторганизации Института цитологии, гистологии и эмбриологии (так тогда назывался наш Институт экспериментальной биологии, созданный Н.К. Кольцовым) Елене Евграфовне Павловой, которая дружила с матерью и сестрой и оказывала им возможную поддержку, в частности во время их пребывания на Кропотовской биостанции института.

Как однажды сказала Елена Александровна Тимофеева-Ресовская, наше пребывание рядом с ней и Николаем Владимировичем облегчало им тяжкие тревоги за судьбу сына, мы были живой вестью и связью с Родиной. Сашка как образчик нашей молодежи, а я, хоть и не вызывающий сперва безоговорочного во всем понимания, – связью с нашей наукой и ее людьми. У нас оказалась масса общих знакомых и друзей.

После нашего появления в Бухе Н.В. не только устроил нас на работу, но и позаботился о жилье для нас. Так как сразу это решить не удалось, нас временно поселили в пустовавшую в данное время квартиру сотрудника лаборатории Циммермана. Там же временно жила лаборантка Мария Хегнер, очень привлекательной, вполне "арийской" внешности, явно гетерозисный немецко-еврейский "гибрид", вызывавший вполне оправданные поэтические эмоции у известного ныне генетика Игоря Сергеевича Гребенщикова, посвящавшего ей стихи. Гребенщиков и особенно его жена, Нина, также русская, оба были, несомненно, как и положено

русским, талантливыми поэтами, особенно на патриотическую русскую тему.

Реально и достаточно полно описать все то, с чем нам с женой пришлось встретиться в Берлин-Бухе в лаборатории и доме Тимофеевых-Ресовских, едва ли выполнимая для меня задача, настолько все увиденное, услышанное и пережитое казалось мне абсолютно невероятным. Однако все это было. После двух лет войны и самых разнообразных военных событий оказаться с женой (моложе меня на 8 лет) в мирной обстановке, будучи окруженными разными, интересными, дружески настроенными людьми, с большинством из которых вскоре можно было, не рискуя, говорить на любые темы (конечно же с ограничениями) и это, находясь в Берлине! И к тому же, как вскоре выяснилось, иметь возможность заняться экспериментальной работой по любой предложенной мною тематике. Необычность этой ситуации объяснялась, как я это потом понял, необыкновенностью личности Николая Владимировича и его судьбы.

Казалось, что война куда-то исчезла, где-то шли бои, бомбили немецкие города, но тут, в Бухе, не упала еще ни одна бомба, и сотрудники лаборатории пребывали во вполне благодушном настроении. Бух и особенно лаборатория Тимофеева-Ресовского, находившаяся в большом парке (там же по-соседству были и квартиры сотрудников; Тимофеевы-Ресовские, семья Царапкиных и Циммеры – в отдельном двухэтажном коттедже в 500 м от лаборатории), были своего рода оазисом не только по расположению, но и по еще не уничтоженному гитлеровским режимом традиционному немецкому почтению к науке. Но, главное, из десятка, не более, научных сотрудников немкой была только одна тишайшая Штуббе (к известному генетику Хансу Штуббе никакого родственного отношения не имела); пятеро были русскими (Тимофеевы-Ресовские, Царапкин, Гребенщиков и я), один немецко-еврейский, русского происхождения, отлично говорящий по-русски "гибрид" – Александр Сергеевич Кач, ближайший сотрудник и друг Николая Владимировича, остальные – грек Канелис, румын Раду, голландец Бауман, китаец Ма и затем позже еще русский Варшавский. Немцы генетики Циммерман и Эберхардт были на военной службе, Эберхардт безнадежно болел лимфогранулематозом. В большом здании Института мозга помещалась лаборатория Тимофеевых-Ресовских, по существу к Институту мозга никакого отношения не имевшая, занимавшая всего шесть комнат и еще две примыкавшие к зданию теплицы, почти пустовавшие. В одной из них было несколько аквариумов с рыбками и хамелеон (которого следовало кормить домашними мухами, он их великолепно ловил своим стреляющим языком), размещалась радиационная лаборатория, в которой работали научные сотрудники немцы Циммер и Борн, военнопленный французский офицер физик Шарль Пейру, лаборантка Феферкорн и лаборантка, называвшаяся Шо-шо, кажется, французского происхождения. Эта лаборатория с небольшим количеством ценного оборудования (главное – нейтронный генератор, счетные резерфордовские трубки) подчинялась концерну Ауэр и персо-

нально другу Николая Владимировича Николаю Васильевичу Рилю. Лаборатория была ими создана давно для кооперации биофизических исследований совместно с другим русскоязычным немцем – Робертом Робертовичем Ромпе, также близким другом и сотрудником Николая Владимировича. Эта лаборатория к Институту мозга также по существу отношения не имела. Лаборатория была небольшая, не более четырех комнат, но имела большой зал для нейтронного генератора.

Лаборантский состав лаборатории составляли больше немки. Среди них была русскоязычная Наташа Кром, жившая в том же коттедже, где Тимофеевы-Ресовские, моя жена Александра Николаевна, мой лаборант Пьер Пейру (брат физика Шарля Пейру), а также немецко-еврейские "гибриды" Негнер, Геншоу и Петер Вельт. Наше появление в Берлин-Бухе совпало с двумя крупными событиями: разгромом лучших немецких армий на Курско-Орловской дуге и американской бомбежкой Гамбурга. Миф о германских победах рассеялся и на земле, и в воздухе! Оттуда и хорошее настроение в окружении Тимофеевых-Ресовских. Будущее было тревожно, непредсказуемо, но появлялась надежда. Отсюда возник и постоянный интерес к нам с Сашкой. Каким образом мы тут появились? Как мы себя поведем? Кто мы такие?

Положение Тимофеева-Ресовского, его лаборатории и коллектива, удивительное несоответствие всей окружающей обстановке войны основывались, конечно, не только на авторитете общества кайзера Вильгельма (Немецкой академии наук), и личном научном авторитете Николая Владимировича. Как мне при первом же знакомстве дал понять Н.В., его лаборатория существует и пока даже ни в чем не видит недостатка благодаря сотрудничеству с Н.В. Рилем. Он же связан с весьма проблематичной идеей атомной энергии и атомного оружия. Это дает возможным считать работу важной в военное время, когда, конечно же, имеют право на существование только так или иначе значимые для войны работы. Все это, конечно, лишь видимость, но пока что срабатывает, так как ученые тоже кое-чему научились в обращении с власть имущими. Поэтому сперва я должен числиться сотрудником Н.В. Риля и даже, быть может, надо будет организовать в составе лабораторий концерна Ауэр радиационно-генетическую лабораторию. Для этого Н.В. отправил меня к Рилю с официальной анкетой по оформлению на работу. Риль принял меня в своем большом и мрачном кабинете в одном из корпусов исследовательского центра концерна Ауэр. Он был сдержан и официален, разговор был краток, конечно же, на немецком языке; при всех других встречах мы разговаривали (в Бухе, в лаборатории или дома у Николая Владимировича) с Николаем Владимировичем по-русски. Разговор шел о том, что нам с Н.В. следует тут, у него, организовать лабораторию. Хотя проводившая меня к Рилю личность при разговоре не присутствовала, нужно было зафиксировать мое посещение Риля в его директорском кабинете. Вероятно, эта первоначальная идея имела какой-то смысл, обдуманный Н.В. с Рилем, так как она сразу же была отменена, и наше с Александрой Николаевной рабочее место было потом рядом с кабинетом Николая Владими-

ровича, в большой лабораторной комнате, через которую был ход в кабинет Н.В. Там были и рабочие места Елены Александровны и Н.В. Встречались мы ежедневно и в лаборатории, и дома у Тимофеевых-Ресовских. Н.В. лабораторными работами почти не занимался, Елена Александровна появлялась в лаборатории ежедневно, но работала с мухами за бинокуляром тоже немного; может быть, несколько раз за все время мы их видели сидящими за пробирками с мухами рядом с нами. Правда, у Николая Владимировича в кабинете тоже был большой лабораторный стол со всем традиционным дрозофилиным оборудованием. Там он иногда, но очень редко работал с мухами. О счастливом времени, когда они от зари до зари считали мух, делая свои классические работы, Е.А. и Н.В. иногда вспоминали, но теперь у них были другие заботы и тревоги.

Чтобы иллюстрировать обстановку лаборатории Тимофеева-Ресовского в мою бытность там в 1943–1945 гг., лучше всего рассказать о собственной работе. Это прояснит и злободневную до сих пор тему о сопричастности Тимофеева-Ресовского, немецких ученых и моей к германскому урановому проекту.

Будучи принят на работу по урановому проекту, но не получив никаких научно-производственных заданий, я мог заниматься чем угодно по собственной генетической тематике. Сперва Н.В. предпринял некоторую официальную, но очень скромную проверочную акцию: мне было предложено сделать доклад о собственных опубликованных работах, известных по посылавшимся мной Н.В. оттискам. На моем докладе, происходившем в кабинете Н.В., слушателей было мало, но были известные мне лица, в частности фюрер парторганизации Института мозга Гирнт (личность, как оказалось, безобидная). Докладывал я, конечно же, по-немецки, впервые в жизни. Помогло мне прошлое чтение работ Н.В. на немецком языке. Кстати, были и некоторые словечки из солдатского жаргона, выскакивавшие как бы случайно. Доклад прошел успешно. Мои планы были одобрены, Н.В. и Циммер многозначительное кивали: "Да, это сейчас очень важно", хотя обоим было ясно, что важно это сейчас только для ученых.

Пожалуй, самым удивительным явлением была необыкновенно быстро установившаяся близкая дружба и взаимопонимание с Николаем Владимировичем и Еленой Александровной с первых же дней нашего знакомства. Ничего подобного в отношениях между людьми я не встречал ни до этого, ни после, разве только с друзьями и учениками Н.В. Скоро мы с Николаем Владимировичем перешли на "ты", несмотря на 15 лет разницы в возрасте и, конечно же, положения в науке. Несмотря на такое же отношение Н.В. и Елены Александровны к Александре Николаевне, тут неукоснительно соблюдались прежние обычаи: здороваясь и прощаясь, целовать руку, причем хозяин обязательно подавал гостям пальто. Это не мешало простоте и искренности в отношениях. Подобный стиль в отношениях с нами не был исключением, попросту мы вошли в круг друзей и единомышленников Тимофеевых-Ресовских. Конечно, нас сближала общность судеб, тревог и нараставших опасностей. Обращение

на "ты", даже при первом знакомстве, как мне стало ясно потом, было и своеобразным паролем стихийно возникавшего антифашистского подполья, а не только ближайшего окружения Тимофеевых-Ресовских, солидарностью научных работников их окружения. От очень большого числа людей, знакомых и друзей Н.В., посещавших лабораторию и дом Тимофеевых-Ресовских без особой деловой необходимости, а, очевидно, для того чтобы поделиться новостями и тревогами, получить моральную поддержку и отвести душу, видимо, все уже знали о моем появлении в Бухе. Праздных вопросов не задавали, но проявляли любопытство.

Прежде всего мне нужно было определить ясную линию поведения. Недостаточно было того, что Н.В., Циммер, Кач и другие знали меня по опубликованным работам. Оказалось, что Н.В. знаком и с работами моего отца, Бориса Аркадиевича, который посылал Н.В. оттиски своих работ, как и другие сотрудники Вавилова. Мне следовало прежде всего показать свою уверенность в будущем и заслужить авторитет коллектива Н.В. тут, в Берлине, в логове врага, и одновременно продемонстрировать свойственные каждому подлинному немцу прилежание в работе, стало быть, работать в лаборатории "от зари до зари".

По первоначально предложенной мной теме мне не удалось получить рентгенооблучением необходимых аналитических структур, подобных тем, с которыми были сделаны и опубликованы мои последние две работы, соответствовавшие тематике Н.В. и его сотрудников (Кача, Канелиса, Раду, Петера Вельта, Эберхардта). Но одновременно при этих неудачных опытах открылись возможности для другой работы по той же теме, очень трудоемкой по рентгеногенетике, которую было интересно продолжить и с нейтронным облучением. Эти страшные нейтроны были тем, что надо для маскировки. Все здесь понималось с полуслова!

Под эту работу я получил помощь двух лаборантов, чего не имели другие сотрудники, и оправданное рабочее место рядом с Тимофеевым-Ресовским. Одним из моих лаборантов была моя жена, другим – Пьер, т.е. Петр Петрович Пейру. У Николая Владимировича был обычай всех переименовывать на русский лад. Так, "гетерозисная" красавица Мария Хегнер, по которой вздыхали многие, называлась Машей и даже Машкой, Роберт Робертович Ромпе откликался только на Романа Романовича, иногда назывался ребе Ромпе. Это потому, что он "талмудист", так как любил цитировать Маркса, внешность у него явно "подозрительная" и к тому же его возлюбленная, танцовщица Инге уж явно "неарийского" происхождения. Конечно, "ребе" говорилось в узком кругу. После того как изобретательностью Пауля Розбауда – французского офицера физика Шарля Пейру удалось извлечь из лагеря и устроить работать к Циммеру, из Франции к Тимофееву-Ресовскому прибыл и младший брат Шарля, Пьер. Оба они имели "добро" на "коллаборационизм" от Жолио Кюри. О политических убеждениях Жолио Кюри, о том, почему он остался на оккупированной территории вместе со своим циклотроном, Тимофееву-Ресовскому и Ромпе было известно, но говорилось, как и о многом другом, только намеками и только своим.

Николай Владимирович, каким он врезался в память в берлинское время, был всегда собран, энергичен, работоспособен, в ровном, хорошем настроении и даже весел, всегда его слушали с неослабевающим интересом, чего бы ни касался разговор и что неизменно передавалось всем окружающим. И это несмотря на трагическое положение сына и грозящую ему опасность. Попытки через влиятельных знакомых воздействовать на власть имущих не дали ощутимого результата, появилась лишь надежда на избежание смертной казни. О том же, что дело сына не пустяковое, Тимофеевым-Ресовским было точно известно. Отказаться от хлопот за сына значило признать и свою сопричастность, что по существу и соответствовало действительности. Некоторые подробности стали мне известны позже, а вскоре мне пришлось убедиться, что Н.В. и Е.В. едва избежали участи Фомы, когда я был вызван в отделение СД, службу безопасности, в Груневальде (район Берлина). Там во время разговоров с довольно нудной личностью офицерского звания выяснилось, что контрразведку интересует не столько, кто я и как очутился в столь высоком научном учреждении, сколько личность Тимофеевых-Ресовских в связи с арестом их сына. Конечно, я привел веские аргументы тому, что знаменитый немецкий ученый хоть и русского происхождения, но старинного дворянского и даже царского рода, женат на немке, предан немецкой науке и потому избрал Германию постоянным местом своей жизни. Арест сына – величайшее несчастье для семьи, родители вне подозрения, с непутевым сыном не произошло бы несчастья, если б я прибыл в Германию раньше.

О немецкой фамилии Елены Александровны Николай Владимирович говорил: "Лёлька настоящая немка, так как от своих далеких немецких предков она унаследовала немецкие гены неспособности к иностранным языкам; она так и не научилась как следует до сих пор говорить по-немецки". Действительно, произношение у Елены Александровны оставалось явно русским. А Николай Владимирович, сохраняя при этом замечательную манеру говорить, с одинаково правильным, но характерным произношением говорил и по-немецки, и по-французски, и по-английски, казалось, что сама речь на любом языке доставляет ему удовольствие.

Несмотря на несомненную исключительность в отношениях между людьми, включая и нерусскоязычных немцев, лаборатория и дом Тимофеевых-Ресовских не была неким изолированным островом. Напротив, при постоянно продолжавшей нарастать напряженности и возможных опасностях и в лаборатории, и дома у Тимофеевых-Ресовских постоянно появлялось много, в том числе и незнакомых мне, людей, от которых поступала самая разнообразная информация. Из постоянных посетителей Буха это были, конечно, Ромпе, Риль, Меглих, недавно вырвавшийся из лагеря Паскуаль Иордан, Пэтау, Бауер, художник Цингер (русскоязычный немец, сын известного русского физика). Позже появился русский микробиолог Тарновский (Марковский?) – приятель Гребенщикова, наш известный пианист из пленных Топилин. При позднейших встречах уже в Союзе, в 1965 г. и позже, Н.В. мне с укором говорил: "Ну как ты не помнишь такого-то?"

Идет война, будущее ничего хорошего не предвещает, а в лаборатории, казалось бы, интересная жизнь. Только по Елене Александровне, когда она рассказывала об очередных тайным путем полученных сведениях о сыне, видно было, каково приходится ей и Николаю Владимировичу.

Мое сообщение о переписке с генералом особого интереса у Николая Владимировича не вызвало, но затем он сказал: "Черт тебя знает, чем ты там занимался у немцев".

Похоже, двусмысленность в постоянных остротах Н.В. приобрела однозначный смысл. У Н.В., который постоянно острил с элементом ненавязчивого актерства, трудно было понять, где шутка, а где продуманный смысл, который понимали знавшие его люди, было несколько вариантов, которыми он представлял меня своим друзьям. "Это партизанский главарь Паншин, сейчас он приземлился у меня в Берлине и стал снова ученым. Где он окажется завтра, никто не знает". Другой вариант: "Это советский комиссар Паншин, один из тех, кто вас завтра угонит в Сибирь". И наконец: "Это передовой отряд Красной Армии во главе со всемирно известным русским генетиком Паншиным и его толстой женой".

Все это по-немецки, что же касается "толстой жены", с которой иногда Н.В. в лаборатории дуэтом исполняли "Белой акации гроздья душистые" или что-нибудь другое, то Н.В. говорил: "Настоящее здоровье только у наших русских девок. Они даже на голодных немецких хлебах и работать и поправляться могут". Это был тот редкий случай, когда Н.В. ошибался, так как незначительная прибавка веса у Саши была результатом приготовления пирогов из кукурузной муки (корм для лабораторных мух дрозофил) и огорода фрау Дегнер. Кукурузную же муку, в которой пока недостатка не было, мы заменяли мукой из конских каштанов, а их кругом было много. Прежде чем попытаться изложить самое существенное в нескончаемых, практически ежедневных, разговорах на политические темы с Тимофеевыми-Ресовскими и наиболее частыми их соучастниками, прежде всего с Ромпе, Качем, Цингером, Топилиным и другими, побуждавшимися как событиями на фронтах так и все нараставшими бомбежками немецких городов и особенно Берлина, еще два слова о человеческом окружении. Из сотрудников Тимофеева-Ресовского только Борн был членом фашистской партии. О его партийной принадлежности Н.В. подтвердил уже мне известное. Некоторых немцев в партию затаскивали практически насильно: если ты настоящий немец, ты должен быть в партии. Попробуй, откажись. Такой, в общем, робкий человек, как Борн, не смог отказаться. Эберхардт был в армии и потом даже угодил в войска СС, куда его вовсе не тянуло, в Египте заразился лимфогрануломатозом, я видел его только один раз незадолго до смерти. Я никогда не задавал Н.В. вопроса, но ему самому хотелось объяснить и мне и себе, как возникло это, казалось бы, парадоксальное положение, в результате которого он, Царапкины и все его русскоязычные друзья разного национального происхождения, но все же тяготевшие к России, ока-

зались в Германии и остались там и после прихода фашистов и начала войны с Россией. Удивительно, что, оказавшись в Берлине, я очень медленно прогрессировал в разговорном немецком языке, по-немецки же почти ничего не читал, но, конечно, все протоколы опытов были записаны только по-немецки. Так было по моему распоряжению в моей группе.

Работа генетика требует много времени, и Н.В. был направлен Кольцовым к Фогту не на стажировку, не учиться у западных ученых, а организовать генетическую работу, которой Фогт интересовался не по линии Института мозга, а как биолог с широкими научными интересами. Как говорил Н.В., престиж русской науки требовал от него реальных успехов в научной и организационной работе. Следствием этого были периодические просьбы о продлении загранкомандировки и загранпаспорта, которые до поры удовлетворялись. Пребывание в Берлине затягивалось, а вместе с тем вести с родины были неутешительными, особенно в отношении тех ученых, кто длительно находился за рубежом да еще неудачно выбрал себе буржуазно-дворянских родителей. Информация была обильной и точной, не надо было читать эмигрантские издания или питаться слухами от русских эмигрантов. Проезжавшие через Берлин командировочные, тот же Н.И. Вавилов, останавливались у Н.В. или встречались с Н.В. Мне доказывать всю рискованность возвращения Н.В. на родину не было надобности, я это знал достаточно: арест отца и его сослуживцев в 1925 г. после загранкомандировки был далеко не редкий случай. Хорошо еще, что отец вырвался на свободу после 10 месяцев тюрьмы и 10 дней голодовки. Он своей твердостью спас и "однодельцев". Коллективное дело не прошло. Затем были 7 месяцев в тюрьме в 1930 г., снова шли "групповое дело", снова 7 дней голодовки, и затем вынужденный в значительной степени переезд с Украины в Ленинград. Печальную известность уже получили Соловки, особенно репрессиями против русского духовенства. Все это было за рубежом известно шире, чем на родине, и заставляло стремиться отложить возвращение домой в надежде на то, что эти зверства и прежде всего глупость, приносящие только вред народу и советскому государству, должны прекратиться. Надежды на лучшие времена оставались. Но не оправдывались.

Пребывние за рубежом затягивалось, и чем дольше оно продолжалось, тем опаснее было возвращаться домой. И тем необходимее было работать и заслужить научное имя. Оно, как может быть, по наивности думал Николай Владимирович, может стать и гарантией безопасности при возвращении на родину, и принести ей пользу. Так проходят годы, работа идет хорошо, уже достигнута широкая международная известность, налажены широчайшие международные связи в Европе и Америке практически во всех областях естествознания, благодаря универсальности русской образованности и убеждению, что новое возникает на стыке наук. Создан работоспособный коллектив ученых в Германии и основанная на кооперации с друзьями физиками экспериментальная база, подобно которой

нет пока нигде в мире. Возможность прихода к власти фашизма вызывает тревогу, но сперва расценивается как обычный национализм и реваншизм. Но даже после прихода Гитлера к власти ни Н.В., ни его ближайшие друзья, не допускали мысли, чтобы в культурной Европе и особенно в недавно еще демократической Германии гитлеровский режим мог принять столь варварские формы. Считалось, что в этой стране поэтов и мыслителей средневековье долго продолжаться не сможет. Одновременно из дома приходили плохие вести; на этот раз гонениям стали подвергаться не только люди, но и наука.

Особенно удручающим казалось то, что и сама наука, и оставшиеся на родине ученые-генетики подозревались не только в сопричастности тому нацистскому режиму, который укреплялся в еще недавно высококультурной Германии и приобретал все более средневековые формы, но и обвинялись в неспособности и бесплодности своих теоретических основ при решении задач в сельском хозяйстве. Из первых рук и подробно обо всем этом Н.В. узнал от Меллера, которому он полностью доверял не только как крупнейшему ученому, но и как своему давнишнему знакомому и другу. Особенно тревожными были нападки на Вавилова и Кольцова и невежество нападавших, не дававшее надежды на опровержение в научном споре.

Меллер останавливался у Тимофеевых-Ресовских в Бухе незадолго до того, как у Н.В. истек срок загранпаспорта. Единственным разумным решением было, в надежде на изменение дел на родине к лучшему (на что, собственно, надежды уже оставалось мало), попытаться еще раз продлить загранкомандировку. На свою просьбу Н.В. так и не получил ответа.

Я никогда не слыхал от него, чтобы ему было велено возвращаться или что ему, а также Елене Александровне и Царапкиным было отказано в советском гражданстве. Не имея загранпаспорта, он, по тогдашним немецким (и общеевропейским) законам, стал бесподданным – Staatenlos – это немецкое слово и понятие я услыхал впервые от Н.В. вскоре после обсуждения вставших перед нами общих проблем нашего будущего. Н.В. склонен был упрекать меня за принятие немецкого подданства. В некоторых случаях Н.В. действительно проявлял прямо-таки детскую наивность и прямолинейность. Естественно, я не смог объяснить ему всех обстоятельств своих решений.

Я никогда не задавал Н.В. вопросов; он рассказывал все мне сам, конечно, не специально, а когда к слову придется и к очередным военным событиям.

Так мне стали понятны все обстоятельства его длительного пребывания в Германии, в том числе и при нацизме. Возвращение на родину исключалось. После прихода к власти Гитлера встал вопрос о переезде в Америку. Переезд в другие западные страны был малореальным и еще более подчеркивал бы выбор капиталистической страны по политическим, а не по научным мотивам. С Америкой Н.В. был хорошо знаком. Он и Елена Александровна не раз рассказывали нам о своих аме-

риканских впечатлениях (так, Е.А. как-то вспомнила, что ее предупреждали американские друзья: "Ни в коем случае не садитесь в автомобиль, если незнакомые люди предложат вас подвезти!"). Итак, Америка не привлекала Н.В., но главное, отъезд в любую другую страну был равносилен окончательному отказу от России. В Германии, куда он был командирован, где его работа первоначально имела, быть может, разнообразные цели, дальнейшее пребывание (а не отъезд, точнее, бегство за океан) было объяснимо не политическим выбором, а им же созданными условиями для работы. Подобных условий он в обозримом будущем не мог иметь нигде.

Однажды, когда я неудачно коснулся расистско-нацистской темы, Н.В. рассердился: "А какая мне была гарантия в том, что в Америке не начнется то же, что устроили немцы? Расистов и в Америке самых разных давно хватало. Чем Гитлер с Муссолини хуже Чемберлена с Даладье? Кто старался снова стравить Германию с Россией? Англичане дома в Англии удивительно хорошие люди, а за границей и у себя в колониях это настоящие хамы".

События предвоенных лет и у себя на родине, и в Европе, для Н.В. и не только для него имели столь неожиданный и устрашающий характер, что не давали возможности для однозначно разумного выбора. Н.В. руководствовался кутузовским принципом: в сомнениях – воздерживайся – и достиг, применив на практике этот принцип, результатов не меньших, чем Кутузов.

Без атомного оружия к нужному сроку все жертвы и победы его многострадального отечества во второй мировой войне пошли бы прахом и оно стало бы рабом наших недавних англо-американских союзников, монополистов атомной бомбы. Это полностью сознавал Николай Владимирович. При нашей последней встрече в Обнинске между нами состоялся такой разговор:

Я: "А о Романе Романовиче у тебя есть какие-либо известия?"

Н.В.: "Ромпе жив, но уже два года на пенсии"

Я: "А Риль?"

Н.В.: "Николай Васильевич по-прежнему в ФРГ, глава немецких атомщиков, еще недавно был жив".

Я: "Николай Васильевич получил Героя Социалистического Труда за технологию получения плутония".

Н.В.: "Да, он один из немногих; тогда, вероятно, единственный из иностранцев, получивших Героя".

Я: "Если бы ты не вернулся в Советский Союз, не было бы у нас и Риля, а стало быть, и бомбы в 1949 г.".

Н.В.: "Значит, я дал Советскому Союзу бомбу".

Я: "Так это и есть, Николай Владимирович".

Это было осенью 1979 г.

Попив чай, мы попрощались по-братски, наверное, чувствовали, что видимся в последний раз. А когда спустились по лестнице и пошли по тротуару, жена меня остановила. На балконе третьего этажа стоял Нико-

лай Владимирович и глядел нам вслед. В последний раз помахали мы друг другу рукой на прощание.

С этого нашего последнего разговора с Н.В., т.е. с конца, начинались мои воспоминания, отосланные Д. Гранину. Ими и другими существенными моментами для своей "документальной" повести он не воспользовался.

В результате затянулась полемика вокруг гранинского "Зубра" у нас, а теперь и за рубежом. Множество журналистов получают авторские гонорары, над многотомным делом работает целый штат юристов. Н.В. при жизни не мог и мечтать о том, что посмертно его имя будет столь часто повторяться в печати. Поскольку Н.В. мелким тщеславием не отличался, для него это значения не имеет.

В печати, а также в разговорах со мной ставится один и тот же вопрос: возвращаться на родину Тимофееву-Ресовскому было равносильно самоубийству (следует добавить, что вслед за собой он в тюрьму увлек бы и многих других), но почему же он не бежал в Америку после прихода к власти Гитлера?

И никому не приходит в голову вопрос, а почему же он во время войны принял решение о возможном возвращении домой, когда это возвращение после военных лет, проведенных во вражьем стане, очевидно, было смертельным риском?

Очевидно, на эти вопросы как непосредственный участник событий последних без малого двух лет берлинской жизни Н.В. могу дать ответ только я.

Прежде всего бежать – не лучшее и единственное решение, оно оправдано только в абсолютно безвыходном положении. Такового у Н.В. не было, потому он и не последовал за своими коллегами по науке и друзьями – Дельбрюком, Штерном, Гольдшмидтом и др. Кроме того, бежать – значит бросить своих многочисленных друзей и единомышленников, которые для бегства ни моральных, ни конкретных возможностей не имеют.

Бежать на Запад от победоносно приближающейся русской армии значило перед всеми своими многочисленными друзьями и знакомыми продемонстрировать либо свою враждебность к Советской России, либо признать свою вину перед родиной. И то и другое не соответствовало сущности Николая Владимировича и Елены Александровны, их поведению в кругу друзей и знакомых в течение многих лет, не покидавшему их желанию возвратиться несмотря ни на что домой. Откладывать решение теперь было уже невозможно, но, главное, появились новые обстоятельства.

Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией и затем вскоре договор о дружбе и границе в конце сентября 1939 г. вызвал удивление не только у Н.В., но и у многих немцев. Трудно было поверить в его прочность, и все же у Н.В. появилась надежда, что Советский Союз не будет втянут в надвигавшуюся вторую мировую войну. Видимо, правите-

ли России и Германии поняли, что исторические государственные интересы Германии и России важнее идеологической вражды. Но вести с Родины еще хуже, чем раньше. Во всех подробностях известна эпопея с недопущением советской делегации на конгресс в Эдинбурге. Набирающая власть лысенковщина в лице своих невежественных псевдофилософов отдает генетику на откуп нацистско-расистской пропаганде, и, наконец, вести о надвигающейся катастрофе – арестованы Н.И. Вавилов, Г.А. Карпеченко, Г.А. Левитский, Б.А. Паншин. Возвращение на Родину отпадает снова, бегство за океан также, война в Европе уже разгорелась, попытка выезда в нейтральные страны Европы – тем более.

Ко времени моего появления в лаборатории Н.В., среди всего того многочисленного и разнообразного интернационала хороших людей, который к этому времени сгруппировался вокруг нее, в жизни Н.В. произошли большие перемены. Нападение Германии на Советский Союз было для Н.В. меньшей неожиданностью, чем для подавляющего большинства немцев, провал блицкрига и первый крупный разгром немцев под Москвой – закономерное явление в бездарной немецкой политике и военной стратегии. Война будет длительной и разрушительной, немцы снова проиграют войну.

Несмотря на военную цензуру, продолжались достаточно широкие связи ученых. Так, Н.В. стало известно об избрании Н.И. Вавилова (май 1942 г) в Английскую академию наук (Королевское общество). Из этого он сделал вывод о радикальных изменениях на родине: очевидно, Вавилов на свободе, другие генетики тоже. Он это связывал и с вступлением в войну Америки, с углублением союза и дружбы с Англией. Видимо, на родине происходят перемены к лучшему, об этом говорят и победы Красной Армии. Появились сведения о введении в армии старых русских погонов, русская православная церковь не подвергается гонениям и многое делает для победы. В Берлине встречались наши военнопленные и угнанные из России беженцы – "остарбайтеры". Война с Россией ставила перед ним новые задачи.

За два месяца до нашего прибытия в Берлин-Бух был арестован старший сын Н.В. Об этом Н.В. сообщил мне в первые же дни нашего знакомства. Не раз затем некоторые подробности при ежедневных встречах в лаборатории о делах Фомы рассказывала Елена Александровна. Я не стремился вникнуть в суть дела Фомы (Дмитрия). Из рассказов Елены Александровны было ясно, что им многое известно об антифашистской организации сына, с товарищем Формы по организации Александром Романовым они были знакомы. Мое знакомство с подробностями могло бы только повредить в случае провала и Н.В. и Фоме, помочь чем-либо Фоме возможностей не было, прежде всего следовало беспокоиться о судьбе Николая Владимировича и Елены Александровны и их друзей. С привычной нам точки зрения, Тимофеевы-Ресовские, их лаборатория, работавшие в ней люди разных национальностей, их многочисленные друзья и знакомые были явно враждебной существующему гитлеровскому режиму группой, свившей себе гнездо в Бухе под прикрытием научно-

го авторитета Немецкой академии наук (Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft) и личного авторитета Николая Владимировича. Можно было только поражаться, как их, во всяком случае русскоязычную часть, не посадили вслед за Фомой. "Военная тематика" по линии контакта с Рилем и урановым проектом была столь мизерна, и к тому же явственно "притянута за уши", и не имела никакого практического значения при сколько-нибудь внимательном рассмотрении, что никак не могла быть гарантией. Напротив, контакты с физиками давали возможности для подозрения в эффективном шпионаже по линии международных личных связей между учеными. Связи, как это ни удивительно, продолжали действовать, как об этом, со слов Р. Ромпе, можно было судить по действиям английских деревянных ночных бомбардировщиков типа "москитос".

То ли в гестапо сидели бездарные дилетанты, то ли немцы не придавали серьезного значения урановому проекту, то ли у них уже наступила апатия от неминуемо наступавшей катастрофы? Скорее всего, нам просто повезло – должно быть, хорошо молилась Богу за меня мать. Не думаю, чтобы мои разговоры в контрразведке могли иметь большое значение.

Прикрытием могла быть прежде всего интенсивная экспериментальная работа, дескать, этим не от мира сего букашкам-ученым нужно только возиться со своими букашками, остальное их не интересует. Это было очень удобным положением для меня, так как мне на деле следовало продемонстрировать свою уверенность в продолжении той же работы после окончания войны в Москве. Так как мы с женой работали в лабораторной комнате Тимофеевых-Ресовских и было известно, что оба мы ведем свою родословную от Института Кольцова, постоянно бываем в доме Тимофеевых-Ресовских, становится очевидным, что я являюсь наиболее приближенным к Н.В. человеком, что мои работы – это и его работа. Он не упускал случая повторять, как хорошо, что теперь у него имеется не только генетик, но и цитогенетик, которого ему недоставало. Конечно, работа была и спасением от нараставших тревог и опасностей: заниматься непрерывно обсуждением основной проблемы будущего – восток или запад, Россия или Америка, было невозможно и бессмысленно. Предвидеть развитие военно-политических событий даже в ближайшем будущем было трудно. Я считал, однако, что этой научной ширмы явно недостаточно. По мере обострения ситуации в лаборатории было слишком много неосторожных разговоров о том, где сейчас находится стрелка часов и что по этому поводу надо делать и думать. Кач и Шарль Пейру не могли удержаться, чтобы не рассказать очередной антифашистский анекдот, пространно комментировались события на фронте и в лагерях пленных, дипломатические события – и это все явно не по немецким источникам. Поэтому я предложил Николаю Владимировичу оформить стихийно уже сложившиееся вокруг него антифашистское подполье. Было это, насколько помнится, уже в начале 1944 г. На мое предложение он ответил: "Нет, ни в коем случае ничего подобного делать не следует, так у нас, Бог даст, все и получится, а с дилетантской подпольной организацией кто-нибудь проболтается или испугается и в результате мы все

последуем за Фомой". Я не стал спорить с Н.В., сказанное им, несомненно, имело основание. Не исключается и его опыт в такого рода делах во время первых лет жизни в Германии.

В конце 1944 г. Н.В. собирался в командировку в Гёттинген. Там он хотел выступить с научным докладом и предложил поехать и сделать какой-либо доклад и мне. Гёттинген англо-американская авиация совершенно не бомбила; считалось, что и не будет бомбить этот старый университетский город, в котором нет военных объектов. Бух (больничный городок Берлина) тоже почти совсем не бомбили. Н.В. предполагал договориться о переезде лаборатории в Гёттинген, чтобы избежать возможной бомбежки в Бухе, которая, кстати, и не последовала. Только один раз какой-то американец чуть было не угодил тяжелой бомбой в Институт, как раз рядом с комнатой, где работал мой друг и лаборант Петр Петрович Пейру, а в термостате были все основные линии дрозофилы. В действительности же некоторые предусморительные немецкие ученые (конечно, кто имел возможность) заблаговременно хотели перебраться в предполагаемую зону оккупации союзников. Моя поездка вместе с Н.В. означала бы, с одной стороны, согласие затем перебраться в Америку, но, с другой, это снимало бы с меня подозрения, которые могли уже возникнуть. Я решительно отказался от поездки. Н.В. сперва был мной недоволен, но когда я дал ему понять, что у меня есть веские основания воздерживаться от поездок по Германии, сердиться перестал. Возвратившись, он сказал, что доволен научным результатом доклада и что для нас достаточно подходящее место в Гёттингене обеспечено. В дальнейшем тема Гёттингена возникала неоднократно.

Альтернатива Восток–Запад решалась под влиянием многих факторов. Во-первых, англо-американской политики и их методов ведения войны. Очевидная затяжка в открытии второго фронта показывала, что союзники делают ставку на максимальное кровопускание и немцев и русских. При этом никто не забыл событий развязывания войны, оккупации немцами Австрии и особенно знаменитого Мюнхенского соглашения осенью 1938 г. Главным виновником второй мировой войны считали англо-американскую политику. Теперь же авиация союзников превращает в руины немецкие города, на фронте же они воевать, чтобы скорее покончить с войной, не желают. Особую ненависть и возмущение не только немцев вызвала бомбежка Дрездена, города искусства. Американская авиация не раз проходила над Дрезденом, не сбросив ни одной бомбы. Дрезденцы к этому так привыкли, считая, что культурные американцы не тронут их города, что и в бомбоубежище прятаться перестали. Но в один "непрекрасный" день, когда дрезденцы, задрав головы, смотрели на тучу "летающих крепостей" американцев, на них посыпались бомбы. В Дрездене были громадные жертвы среди мирного населения. Возмущение вызывала и история с Варшавским восстанием. Восстание было поднято в тот момент, когда измотанная предшествовавшими тяжелыми боями Красная Армия, не подтянув резервы, не могла наступлением на фронте эффективно помочь восставшим. Наступление в момент восста-

ния означало бы для нас громадные потери, но могло способствовать успеху восстания.

Мнения наши разошлись. Во время очередного спора, точнее, разговора на текущие темы Тимофеев-Ресовский, Ромпе и я собрались то ли в комнате Наташи Кром, жившей рядом с квартирой Тимофеевых-Ресовских, то ли это была комната Шамрай, молодой женщины из "перемещенных" лиц, жившей тоже рядом и помогавшей Елене Александровне по хозяйству. Темой дискуссии был не только Варшавское восстание, но и послевоенное устройство Европы. Мы с Ромпе считали неизбежным то, что впоследствии стало называться холодной войной, а Николай Владимирович, как и всякий хороший человек, склонен был переоценивать морально-политические качества союзников. Наступит, мол, тишь, гладь и божья благодать – должны же и те и другие понять, что в войнах теперь победителей быть не может. В споре страсти разгорелись, вдруг влетела Елена Александровна: "Что вы так раскричались, слышно ведь все в нашей квартире". Слышен был, конечно, прежде всего голос Николая Владимировича. На этот раз мы оказались плохими конспираторами. Конечно, в решении альтернативы Восток–Запад большую роль сыграл Роман Романович Ромпе. С Р.Р. Ромпе Николай Владимирович познакомил меня в первые же дни жизни в Бухе. Во время многократных встреч и разговоров в лаборатории и доме Тимофеевых-Ресовских у нас быстро установилось взаимопонимание. Н.В. достаточно прозрачно дал мне понять, как всегда двусмысленно и с шуткой, что Ромпе – коммунист.

Затем последовало подтверждение. Однажды, это было, наверное, уже весной 1944 г., как помнится, Ромпе был без пальто, мы встретились с ним на темной лестнице, ведущей в лабораторию. Я спускался, а Ромпе поднимался. Поравнявшись со мной, Ромпе приветствовал меня поднятием руки со сжатым кулаком – приветствие "Рот фронта", я ответил ему так же. Этого было достаточно. Сразу появилась надежда. Быть может, таким путем пришла связь? Позже Ромпе сказал мне, что во время войны вступил в партию. Возникшее у меня предположение о связи, конечно, уточнению не подлежало, во всяком случае с моей стороны, но развязывало мне руки.

Однажды, примерно в середине 1944 г., но тут я могу сильно ошибаться, Ромпе пригласил нас с Сашей отправиться в Берлин и зайти в кафе. Особых причин для этого приглашения не было, тем более что ресторанный образ жизни в войну отсутствовал и нам не был свойствен. Очевидно, Ромпе нужно было нас кому-то показать. Как сказал потом Ромпе, это скромное заведение в подвальном помещении было до войны традиционным местом встреч антифашистов. Каких-либо примечательных личностей я не обнаружил, небольшой зал был разделен низкими перегородками на отдельные секции. В одной из них мы выпили кофе. К сожалению, я забыл даже приблизительный адрес кафе. Неосторожности в этой акции со стороны Ромпе не было, так как к этому времени у нас налаживалось сотрудничество по флуоресцентной микроскопии. Для этого требовались как раз мощные ртутно-кварцевые лампы, которыми зани-

мался Ромпе как ведущий инженер-физик лампового концерна "Осрам".

Все рушилось, приближалась неминуемая катастрофа, Берлин уже превращался в развалины, но немцы продолжали работать и даже, по-видимому, были благодушны. Позже Ромпе прислал ко мне в Бух своего молодого инженера с новыми лампами и светофильтрами. В результате, допустив небольшую неосторожность со светофильтрами, я получил ожог глаз. Но зато теперь частые посещения Ромпе как лаборатории, так и дома Тимофеевых-Ресовских имели вполне официальное объяснение.

Для моего метода ультрафиолетовой микрофотографии мне нужен был флуоресцирующий экран, который я изготовил из обычных флуорохромов и показал Ромпе. Он же подверг меня осмеянию: "Зачем ты занимаешься кустарщиной, когда Риль лучший специалист по люминесценции?" Я немедленно получил экран от Риля. Помимо технических преимуществ, это имело еще и то значение, что Риль имел возможность убедиться в том, что я расширяю круг своих работ в расчете на лучшее будущее.

О флуоресцентной микроскопии я почти ничего не знал и познакомился с ней благодаря Игорю Сергеевичу Гребенщикову. Его друг по Югославии, также из русских эмигрантов, микробиолог Тарновский (то ли Марковский) работал в Институте микробиологии в Берлине и, услыхав о том, что я цитолог, а также зная о Ромпе и его лампах, познакомил меня с этой новой отраслью для возможного ее применения в цитогенетике. Необходимое оборудование я получил от Ромпе. Тарновский пригласил меня посетить Институт микробиологии в Берлине, где он и доктор Годе познакомили меня с техникой исследования и показали светящиеся препараты туберкулезной и дифтерийной палочек. Мне показали лаборатории Института и познакомили, очевидно, со знаменитым Клаубергом. Что это был Клауберг (фамилию я точно не помню), я выяснил позже, когда волею судеб сам стал медицинским бактериологом.

Флуросцентная установка, благодаря помощи Ромпе, получилась у меня даже лучше, чем в Институте микробиологии. Тарновский приезжал ко мне со своими препаратами дифтерии. Русские на чужбине быстро дружат, политические убеждения имели тогда среди русских второстепенное значение, главное – быть русским.

Тарновские при помощи Гребенщиковых также переселились в Бух, из Берлина от американских бомбежек бежали все, кто мог, а тут уже было столько своих людей вокруг Тимофеева-Ресовского! Тарновские вскоре пригласили нас с женой в гости, естественно, мы захватили с собой лабораторный спирт, выданный по этому случаю Николаем Владимировичем. Конечно, разговор зашел о проблеме Восток-Запад, мое будущее в случае прихода Красной Армии (как и Гребенщиков, Тарновский выехал с родителями ребенком, его жена, судя по возрасту, родилась за границей) представлялось вполне определенным.

Тарновский рассказал нам, что имеется русская организация, помогающая заблаговременно перебраться на запад Германии, которая будет заботиться и о дальнейшей судьбе людей. Хотя я вполне доверял Тарновскому, которого рекомендовал мне Гребенщиков, прямо отказываться не

следовало. Поэтому я сказал: "Знаете, эти басурманы даже водки по-русски пить не умеют", налил себе полный стакан и, чокнувшись с хозяевами, залпом его выпил. Тарновские все поняли.

Обсуждение альтернативы Восток–Запад продолжалось. Невозможно решить, что способствовало окончательному решению Николая Владимировича никуда не трогаться и дождаться тут со своим коллективом окончания войны и прихода наших войск. Его поездка в Гёттинген не была его инициативой, а исходила от руководства Немецкой академии, которая сохраняла еще в какой-то степени традиционную самостоятельность. Во всяком случае, разговор об эвакуации в Гёттинген ни разу после его возвращения из Гёттингена им в практическую плоскость не ставился. Из чего не следует отсутствие раздумий и колебаний, что вполне естественно, так как на карту была поставлена жизнь, и не только его самого. Один наш разговор с глазу на глаз закончился его словами: "Может быть, ты и прав, но ежели ошибаешься, то висеть нам с тобой рядом". Как-то раз Елена Александровна, придя в лабораторию, сказала: "Вчера у нас были такие-то, они говорят, что Николая Владимировича обязательно посадят, может, действительно, лучше сперва в Америку, а потом уже вернуться в Россию?" Та же тема была в разговорах с Топилиным и Варшавским.

И Топилина, и Варшавского волновала проблема возвращения на Родину. Установки – "последнюю пулю себе", "у нас нет военнопленных, а имеются только изменники" – имели широкую известность и практическое подтверждение. История моего появления в Берлине Топилину и Варшавскому была известна. Было очевидно, что в случае возвращения на родину больше всех рискую я, поэтому моя и жены твердая установка "никуда из Берлина не двигаться" вызывала одновременно и удивление, и надежду, и далеко идущие предположения о связи с нашей разведкой. С Топилиным мы встречались только у Тимофеевых, Варшавского мы как-то пригласили к себе угостить пирогом из кукурузной муки с фруктами из сада фрау Дегнер. Наша квартирная хозяйка была хорошей женщиной, относилась к нам почти по-родственному. Думаю, что в этом большое значение имело не наше положение "немецких переселенцев", а прежде всего человеческие качества фрау Дегнер. Конечно, мы взяли на себя сельхозработы по крохотному огороду и саду. Однажды у нас в гостях был Ромпе, заходил и Александр Сергеевич Кач, рядом в поселке жили (снимали комнаты) и другие сотрудники Тимофеева, так что визиты к нам были вполне естественны и снимали какие-либо подозрения.

Как-то (наверное, это было летом 1944 г.) Н.В. решил, что отец лаборантки, А.С. Кач, должен нам сделать великолепное угощение, потому что Н.В. приютил у себя его дочь. Отец был немец и имел завод охотничьих ружей, а мать лаборантки Геншоу – еврейка; Геншоу жила вблизи от нас. Приглашены были только мужчины: Кач, помнится, Канелис, еще кто-то (точно не помню). Угощение и особенно красное вино были великолепными, за его распитием Николай Владимирович под общий смех

распространялся о том, что вот сейчас этот "капиталистический паук" (имелся в виду отец фрейлен Геншоу) вынужден поить бургундским "советского комиссара" (имелся в виду я), так как от него теперь зависит будущее его дочери. Бургундское оказалось коварным. Комнатка, где мы собрались (присутствовала и мать Геншоу), была маленькой, стало душно. Оказалось, когда я попытался встать, ноги плохо слушались.

Этот удивительный в фашистской Германии оазис в Бухе вокруг лаборатории Николая Владимировича продолжал существовать, Канелис получал посылки из Греции с табаком, а затем у него в Берлине оказались знакомые армяне, у которых можно было табак купить. Более того, в парке Института сотрудники обзавелись грядками, где можно было табак выращивать и обрабатывать его листья в лабораторных термостатах. Раду из Румынии получил посылки с окороками, Н.В. по этому поводу острил, что эти румыны умеют только откармливать свиней.

Периодически в доме Тимофеевых-Ресовских устраивалось коллективное "пожирание кроликов" (Kaninchenfressen), предназначавшихся для облучения. Это были кролики "военной тематики". По этому поводу в своем кругу Н.В. и другие сотрудники не упускали случая посмеяться. "Военной тематикой" был занят, насколько помнится и могу судить (я в это не вникал, так как из разговоров с Н.В. было ясно, что это все посуществу организованное очковтирательство, из которого для генетики извлечь что-либо стоящее маловероятно, но необходимо для существования лаборатории) главным образом Кача. Это соответствовало его медицинскому образованию и было необходимо, чтобы уберечь самого Александра Сергеевича.

Его мать, происхождением из России, была из культурной еврейской семьи, отец – из русскоязычных немцев, в семье говорили по-русски, и Александр Сергеевич владел русским языком не хуже, чем немецким. После очередной бомбежки Берлина Кача мобилизовывали на разборку разрушенных домов, его положение становилось все более критическим, потому что его жена имела тоже каких-то еврейских предков. Кач жил в Бухе, основная его квартира была в Берлине, однажды он пригласил меня туда в гости. Но Кач продолжал заниматься главным образом прежними радиационно-генетическими работами по основной тематике Н.В. Однажды Кач принес показать мне под моим микроскопом препараты костного мозга крыс, подвергавшихся облучению. При этом он со смехом сказал: "Посмотри, это моя военная работа". Картина под микроскопом была красивая: громадные яркоокрашенные лейкоциты. В гематологии я тогда мало смыслил и только много лет спустя, став также волею судеб клиническим врачом-лаборантом, вспомнил, что то была картина лейкоза. Конечно, Кач мне объяснил, в чем дело. Оказалось, что Кач пришел не без дипломатии. Облученным военным крысам нужно было отрезать хвосты и выдавливать из него костный мозг, а его немецкие лаборантки делать эту варварскую операцию даже на благо "фатерланду" отказывались. Он слыхал, что Александра Николаевна хотела стать медиком, не поможет ли она ему в этой медицинской операции?

Качу нельзя было не помочь, тем более нервы у жены были крепкие, а хвосты приходилось резать редко.

Под прикрытием крысиных хвостов продолжалась прежняя радиационно-генетическая работа. Тут у меня с Качем был постоянный контакт по разделам одной темы по механизму образования хромосомных перестроек. Работал я очень много, материал оказался интересным, Кач помог мне уточнить расчет кривых. Иногда мне даже казалось, что в лаборатории, кроме меня, никто как следует и не работает. Мне же это было необходимо и для поднятия настроения у Тимофеевых-Ресовских – жизнь и работа продолжаются! Полученные кривые и мое их объяснение понравились Н.В., он предложил мне срочно написать предварительное сообщение для опубикования в журнале "Naturwissenschaften", редактируемом П. Розбаудом. Это имя редактора, как оно произносилось, очевидно, имело смысл. Мне не хотелось печататься в немецком журнале, но Николай Владимирович настаивал и даже рассердился на мою несообразительность – нужно было продемонстрировать, над чем работает его лаборатория и особенно над чем работал я. Работа была сделана на очень большом материале. В соавторы надо было включить мою жену и Пьера Пейру, это была уже моя идея. Н.В. сказал: "Да, это обязательно надо". Работа была опубликована в 1946 г. (Том 33. С. 27–28). Для военно-послевоенного времени быстро. Демонстрация тактики "не наука для войны, а война для науки", как она теперь только лишь очень далеко от истины формулируется, с моим участием с этого только начиналась.

Вскоре Н.В. предложил нам с Качем написать обзорно-теоретическую работу о механизме возникновения хромосомных перестроек; в нее должны были войти все радиационно-генетические работы лаборатории Тимофеева военного времени. Работу мы написали быстро, обсуждая некоторые разделы и с Н.В. Писал главным образом Кач, но и я тоже; Кач даже похвалил меня за малое количество ошибок в немецком. Когда работа была почти готова, ее обсуждали Николай Владимирович с его ближайшими сотрудниками – физиками Рилем, Ромпе, Циммером, Паскуалем Иорданом. Иордан часто бывал в Бухе у Н.В. и однажды (наверное, это была вторая половина 1944 г.) сделал нам доклад о своих физических представлениях по матричному синтезу, или конвариантной редупликации (Н.В. предпочитал второй термин). Докладывал он в нашей лабораторной комнате, были только сотрудники лаборатории, менее десятка. Слушать Иордана было трудно, он очень сильно и своеобразно заикался, быстро говорил несколько фраз или слов, а затем долго не мог произнести ни слова, отчего, видно было, смущался. Формулы на доске появлялись быстро и мне были непонятны. Иордан был очень живой и симпатичный человек. Помню его частый смех, сперва громкий бас, а затем такой же громкий, высокий, чуть ли ни визг. Как-то, подходя к лаборатории, мы услыхали раздающиеся из открытого окна кабинета Н.В. какие-то страшные вопли, не сразу поняв, что это смеется Паскуаль. Однажды Иордан появился с великолепным букетом красных цветов, предназначавшихся для лаборантки Кетхен Найцель.

Решили как-то организовать в Бухе собрание Немецкого биофизического общества; как говорил потом Н.В., это было единственное немецкое общество, продолжавшее еще действовать. На заседании должен был быть один доклад – наша с Качем радиационно-генетическая работа о механизме образования хромосомных мутаций. Должно было быть много приглашенных известных немецких ученых, следовало показать, что, несмотря на приближающуюся катастрофу гитлеровской империи, мы продолжаем работать, будучи уверенными в будущем. Следовало показать на практике лозунг "Не наука для войны, а война для науки", точнее, наука, несмотря на войну.

Следовало также воочию представить одного из докладчиков, "советского комиссара", одного из тех, кто в ближайшем будущем угонит всех немцев на каторжный труд в эту страшную Сибирь. Конечно, в каком варианте я фигурировал, когда, встречая приглашенных участников, меня им представлял Н.В., был ли я "комиссаром", "партизанским предводителем" или мы с Сашкой были "передовой командой Красной Армии, уже захватившей Берлин", или вперемешку употерблялось и то и другое, я не помню. Н.В. был "в ударе", как это с ним случалось, когда он встречался с интересными людьми. Предварительно была проведена подготовка. Кач за сходную цену уступил мне свой английского сукна черный костюм, соответственно и рубашку с галстуком. Качу он был великоват, а мне как раз впору. Осмотрев меня, Н.В. остался доволен и сказал: "Теперь этот дикий советский русский выглядит как среднеевропеец".

Собрание это состоялось в первой половине сентября 1944 г. в малом зале Института мозга. Подходящего помещения примерно для тридцати участников в лаборатории Н.В. не было.

Докладывал Кач очень последовательно и логично, предварительно он нарисовал основные таблицы, я его немного дополнил, как было условлено, последними своими данными. Много лет спустя я узнал, что наша с Качем работа все же была опубликована. У меня чудом сохранилась корректура (*Katsch A., Panschin I.B.* Uber die Entstehung der Chromosomenmutationen // Ztschr Vererbungslehre. 1948. Bd. 82, N 164. Cellular Biology. Baltimore: Williams and Wilkins, 1965).

После короткого обсуждения, вопросов и заключительного выступления Николая Владимировича, в котором он, в частности, подчеркнул большой масштаб моей с лаборантами работы, под командой Елены Александровны было организовано то ли кофе, то ли чаепитие для всех собравшихся в том же зале. Нашими лаборантками были принесены столы на 4–6 человек, никто не спешил уходить и естественно начались разговоры на злободневные темы явно антифашистского характера. То ли все собравшиеся настолько хорошо друг друга знали, что не боялись говорить прямо о неизбежности поражения Германии, то ли в создавшейся атмосфере собрания потеряли осторожность, трудно судить. Запомнился чей-то громкий возглас: "Теперь мы все погибнем!" Это относилось к применению против Англии баллистической ракеты ФАУ-2, говорилось,

что ракета оказалась малоэффективной, но за нее будет жестокое возмездие. К сожалению, я не запомнил и даже не мог запомнить неизвестных мне ученых, так как Н.В., представляя меня, не говорил, с кем он меня знакомит. Долгое время я был уверен, что был знаменитый физик Отто Хан, потом у меня появились сомнения; был известный биохимик Бутенант, конечно, все "наши", обычные посетители Буха, – Риль, Ромпе, Иордан, не помню, были ли Штуббе и Раевский. Очень смутно помню П. Розбауда. Не помню, был ли Руска, один из братьев-изобретателей электронного микроскопа, с которым мы вскоре начали совместную работу. Я не хотел участвовать в завязавшихся разговорах и ушел домой. Работа генетика-дрозофилиста иногда не терпит отлагательств. На обратном пути я встретил человека, которого я принимал за О. Хана, он быстро шел, о чем-то задумавшись, явно меня не замечая и не узнавая.

Через некоторое время Н.В. сказал мне, что Руска предлагает нам совместную работу по электронно-микроскопическому исследованию хромосом слюнных желез. Затем в лаборатории появился сам Руска – гистолог, высокий черноволосый человек лет 45. Объяснив, какого рода материал пригоден для электронного микроскопа, он сказал, что моим конкурентом будет работающий сейчас над тем же в Америке хорошо мне известный по работам и разговорам (в середине тридцатых годов с Меллером) американский генетик Демерец. Это был не первый случай, когда пришлось убеждаться в том, что ученые хорошо осведомлены о работе своих коллег по ту сторону фронта. О неспособности контрразведок справиться с международными связями ученых, могущими, по косвенным данным, делать важные выводы, говорят ссылки в нашей с Качем работе на американские и английские работы 1942 и 1943 гг. (в том числе и по генетическому действию нейтронов, которые и до сих пор ассоциируются с А-бомбой). Работа наша была принята к печати 27 ноября 1944 г. Удивительным образом мне удалось при помощи обычных препаровальных игол вытаскивать из ядер клеток слюнных желез дрозофилы достаточно чистые хромосомы. Елена Александровна досадовала, почему я не изобрел этого раньше, ей это могло бы пригодиться для изотопных исследований по химическому мутагенезу.

Лаборатория Руски находилась в индустриальном пригороде Берлина Сименсштадте. Видимо, мое посещение этой лаборатории было уже в 1945 г., так как через Берлин кратчайшим путем проехать было трудно, все было разрушено бомбежкой. Н.В. объяснил мне, как добираться до Сименсштадта по окружной электричке. Множество заводских корпусов стояли нетронутыми американскими бомбами, вокруг чистота и порядок мирной жизни, а около заводов новенькие самоходки, видимо только с конвейера, а неподалеку громоздились руины жилых кварталов Берлина. Когда я рассказал об этом чуде Н.В., он подверг меня осмеянию: "Как это ты не знаешь, что акции Сименса есть у американцев!"

По методике Руски вытащенные мной целенькие хромосомы следовало измельчить ультразвуком, что, конечно же, привело меня в негодование, но пришлось подчиниться. Оказалось, что для электронной микро-

скопии объект слишком велик. Моя задача состояла в том, чтобы этот "хромосомный винегрет" наносить на миниатюрный цилиндрик с отверстием в центре, которое было затянуто мономолекулярной пленкой. С препаратами я справился, отдал их Руске, который с ними отправился к микроскопу, а я занялся следующей порцией препаратов. Тут я взял у Руски реванш: в микроскопе хромосомы пустились в пляс, Руска пришел в ужас, так как ничего подобного ранее не наблюдал и испугался за свой микроскоп. Оказалось, когда он расспросил меня о методике "таскания" хромосом, выяснилось, что я применял глицерин, а он, оказывается, не испаряется в вакууме электронного микроскопа. Пришлось мне прополаскивать хромосомы в воде.

Руска сам привозил к нам в Бух электронные микрофотографии фрагментов хромосом, и мы их вместе с Н.В. с любопытством рассматривали. Некоторые были перспективны, так как явственно видны спиральные структуры, закрученные друг на друга, и можно было измерить минимальный диаметр нити. Работа только начиналась. Я сказал, что было бы любопытно, поскольку хромосомный материал предварительно раздроблен ультразвуком и самая структура хромосомы слюнной железы нарушена и неинтересна, проделать то же самое, убрав ферментативной обработкой белки. В завязавшемся разговоре Н.В. сказал, что, конечно же, вся эта электронная микроскопия интересна, но еще большее значение может иметь рентгеноструктурный анализ, а это умеют делать только в Англии отец и сын Брегги. Тут же он вспомнил работы Касперсона, с которым лично был хорошо знаком и чьи работы высоко оценивал. Как он говорил позже, с Касперсона начинаются все дальнейшие открытия, связанные с ролью нуклеиновых кислот.

Удивительные возможности открывало общение с Николаем Владимировичем. Он все знал и всех знал, все понимал и правильно оценивал, все к нему стремились и находили поддержку независимо от положения, занятого в науке, научной профессии и национальной принадлежности. Нежелание порывать связи с огромным коллективом европейских ученых, который вокруг него образовывался, сыграло, вероятно, не последнюю роль в том, что он, надеясь на перемены к лучшему, продолжал оставаться в Германии и теперь оказался в столь трудном и опасном положении. Но его поддерживал неиссякаемый в любых обстоятельствах живой интерес к науке.

Однажды в узком кругу Н.В. сделал нам очень интересный доклад о своих любимых чайках. Работы эти им опубликованы в известных сводках, а тогда мне не совсем было понятно, зачем сейчас нужны эти чайки. После доклада, конечно, были интересные рассказы о птицах, причем венцом творения оказывались отнюдь не млекопитающие и человек, так как человек – существо бескрылое, летать не умеет, зрение и слух у птиц лучше, петь человека научили птицы, а хвастаться разумом у человека, увы, пока что нет оснований. Затем следовал рассказ о том, как его в молодости обгадили пеликаны, а сам он совсем не какой-то там генетик, а зоолог. В молодости Н.В. собирался стать "рыбным барином", хорошо,

что, мол, у него есть работа по рыбам днепровских порогов. Он тоже одно время жил в Киеве, любил этот город и Днепр, на Днепре был в команде водноспасателей. Следовал рассказ о том, как надо в воде обращаться с утопающим. В холодное время года водноспасатель должен быть в шерстяном трико: в нем и плавать хорошо, и даже в воде оно греет. По поводу совершенства птиц рассказывалось с жестикуляцией освященной птице ибис.

Тема немецко-фашистского расизма почти не бывала предметом разговора. Для Н.В., его коллектива, так же как для часто бывавших в Бухе генетиков Пэтау и Бауера, "расизм" был настолько очевидной демагогической спекуляцией, ничего общего с наукой не имеющей и преследующей захватнические реваншистские цели, что вступать на эту тему в дискуссии означало бы признание претензий на научность расистской пропаганды. Только один раз Н.В. вскользь рассказал мне, как он выходил из положения, когда обстоятельства вынуждали его высказываться о расовых "теориях". Говорилось примерно так: "Расы, расы – это очень интересно, биологи, систематики ими давно занимаются". А далее следовал рассказ о божьих коровках, мухах, птицах и т.д., который прервать было невозможно, как и любую речь Н.В., и ни единого слова не говорилось о человеке и его расах. Единственное, что можно было разумного сделать, – эту публиковать в тех же немецких журналах подлинно научные работы – они могли заставить задуматься тех, кто не утратил под влиянием примитивной пропаганды способности думать. И только много лет спустя у Н.В. в Обнинске в 1965 г. я услыхал несколько его слов на ту же тему.

Н.В. заставил меня прочесть рукопись книги Жореса Александровича Медведева о лысенковщине. В этой в общем взвешенно написанной книге встретилась фраза, что в Германии были какие-то генетики, поддерживавшие расизм. Медведев работал в Обнинске и часто бывал у Тимофеевых-Ресовских. Когда однажды зашел разговор о его книге, я сказал, что мне неизвестны немецкие генетики-расисты, по-моему, таковых и не было. Николай Владимирович меня целиком поддержал, сказав, что были спекулянты-проходимцы вроде известных Бауера, Фишера и Ленца, зарабатывавшие себе политический и прочий капитал публикациями на немецко-расистские темы, подобно тому как на их "разоблачении" и клевете на науку также преуспевали у нас личности вроде Презента, но настоящими генетиками Бауер, Фишер и Ленц не были. Разве что дешевыми невежественными журналистами. Генетиков, по совместительству "расистов" в Германии не было. Тут же Н.В. сказал, что нельзя путать трех немецких Бауеров: первый – известный генетик, который даже не Бауер, а Баур, второй – настоящий дрозофилиный генетик Г. Бауер, часто бывавший у нас в Бухе, а третий – нацистский демагог и совсем никакой не генетик.

С Г. Бауером с первого же знакомства у нас установились дружеские отношения, мы сразу же перешли на "ты", то же было и с Меглихом. Как помнится, при втором посещении Буха Бауер показал мне страницу

небольшой книги, на ней я не сразу узнал свою схему из работы 1938 г. Это была обзорная статья Бауера, у нас была близкая тематика, в нашей с Качем обзорной работе много ссылок на работы Бауера, его совместную работу с Николаем Владимировичем 1943 г.

Но не только научные интересы привлекали людей в Бух к Николаю Владимировичу, в его русско-интернациональный коллектив, тут искали ответы на самые драматические вопросы и моральную поддержку. В лаборатории Н.В. продолжалась наука, и, видимо, не только по инерции. То же было и с Пэтау. В 1943 г. была напечатана его совместная с Н.В. работа, Пэтау часто бывал в Бухе. И Бауер и Пэтау работали в Берлин-Далеме. Как-то Пэтау пригласил меня к себе в лабораторию в Далем познакомиться с его работами ближе, затем я получил приглашение посетить его дома, где Пэтау познакомил меня со своей женой. Жили они очень скромно и извинялись, что по военному времени могут угостить меня только кровяной колбасой.

Пэтау был математиком, в значительной степени под влиянием Н.В. увлекался и цитогенетикой. Он рассказал мне, что примыкал к левому крылу социал-демократов, был мобилизован в армию, имел младшее офицерское звание. 22 июня он участвовал в нападении на СССР. С удивлением Пэтау рассказывал, что при переходе границы с нашей стороны не было ни единого выстрела, но вскоре начались жестокие схватки с нашими погранчастями, он был, к счастью, ранен в кисть руки (показал мне изуродованные пальцы) и демобилизован.

От меня ждали ответов на основной вопрос: Восток–Запад. Моя установка в этом становилась среди друзей Н.В. известной, и естественно складывалась определенная легенда, а моя сдержанность в разговорах принималась как подтверждение легенды.

Темы "уранового проекта" (само это словосочетание не было известно и в разговорах не встречалось) и атомной бомбы в разговорах с Н.В. никогда не поднималась. Всем сотрудникам было достаточно известно, что в военное время любое научное учреждение так или иначе должно служить войне и даже традиционно независимое Научное общество кайзера Вильгельма одной, "чистой", наукой заниматься не может. О том, что его лаборатория спокойно работает и хорошо снабжается благодаря давнишнему сотрудничеству с Н.В. Рилем и "Ауэр гезельшафт", которые подключены к атомной проблеме, мне от Н.В. стало известно в первые же дни знакомства, как и то, что создается видимость необходимости продолжения радиационно-генетических работ. Эти работы стали, дескать, особенно необходимы в связи с возможностью атомной энергии и бомбы. О реальном положении работ по атомной бомбе Николай Владимирович был хорошо осведомлен от физиков. С ведущими физиками он был знаком и даже дружен и мог в этом положиться на осведомленность Ромпе, о связях которого с антифашистским подпольем знал твердо.

Нам было достаточно известно, что ни атомного оружия, ни атомной энергетики у немцев в ближайшем будущем не будет. Нам было очевидно и то, что в послевоенные годы все теоретические разработки по биоло-

гическому действию ионизирующих излучений, начатые Н.В. еще в конце двадцатых годов, после войны будут иметь огромное значение, так как теоретически и атомная энергетика и бомба весьма вероятны. Однако как и где они осуществятся, никто не предсказывал. Последнее обстоятельство, одновременно с уверенностью Тимофеева в том, что Н.И. Вавилов теперь на свободе, и раз так, особенно в силе, значило, что на родине наконец-то поняли роль науки и ученых, и имело немаловажное значение для решения препятствовать, насколько возможно, переезду лаборатории Н.В. в Гёттинген. По существу Н.В. не ошибся в своих расчетах и и надеждах при столь, казалось бы, парадоксальном и опасном решении возвращения на Родину после того, как он отказался от этого ранее и не желал из Германии переехать в Америку. Гибель Вавилова могла стать причиной и его гибели, но "помогли" американцы созданием и применением атомного оружия.

Арест Н.В. в Берлине был для него после контактов с ведавшим атомными делами А.П. Завенягиным неожиданностью. Был ли приезд Завенягина в Бух результатом наших телеграмм Сталину, моих заявлений в Смерше и суде военного трибунала, установить едва ли возможно. Арест объяснялся, вероятно, нашей обычной межведомственной неразберихой, а может быть, и чьей-то злой волей. Но даже после осуждения Н.В. было предложено составить план работ по биозащите, что он и сделал. Вызов на этап и все последовавшее в Караганде было также неожиданностью, об этом мне Н.В. рассказывал уже в 1965 г. в Обнинске. Наша встреча в Норильске в 1961 г. (по его инициативе) не состоялась по чистой случайности.

Николай Владимирович, очевидно, через своих коллег-физиков знал об уровне ядерных исследований в Советском Союзе. Об этом он как-то рассказал мне в связи с характеристикой находящегося рядом, в лаборатории Риля и Циммера, нейтронного генератора: "Очень совершенная, но маломощная конструкция, пригодная только для некоторых теоретических исследований, в Советском Союзе уже есть более мощные ускорители". Ясно было, что на родине не могли не работать по атомной проблеме, что атомный век должен наступить – тут не было сомнений, но сроки были непредсказуемы.

Прояснению положения с атомным оружием послужила известная бомбежка американской авиацией Ораниенбурга в марте 1945 г. Подробности забылись, но запомнились слова Н.В., сказанные по-немецки: "Риль полностью разбомблен". В небольшом городке Ораниенбурге, не дальше чем в 40 км на север от Буха, находился подведомственный Рилю завод по изготовлению чистого урана. Других важных объектов там быть не могло. В это время немецкая пропаганда уверяла свое население в неприступности для Красной Армии оборонительной линии на Одере. Из уничтожения американцами Ораниенбурга (были и большие человеческие жертвы) следовали выводы: 1) разведка союзников точно осведомлена об атомных работах немцев, и ей известно, что атомного оружия у немцев не предвидится. В противном случае Ораниенбург они должны

были уничтожить на полгода раньше, что для них не представляло трудностей. Массовые бомбежки Берлина начались давно; 2) Ораниенбург (заводы Риля) уничтожены только лишь для того, чтобы они не попали в руки русским. Отсюда можно было заключить, что никакой неприступности немецкой обороны по Одеру нет и это хорошо известно союзникам. Русские будут в Берлине раньше англо-американцев; 3) соревнование за создание атомного оружия идет между англо-американцами и русскими. Немцы из него выпали и по существу опасными конкурентами не были уже давно. Очевидно также, что особого согласия между англо-американским блоком и Советским Союзом нет, англо-американцы стремятся к атомной монополии.

Становилось также очевидным, что любые разработки и особенно специалисты, ученые высокого уровня, связанные с атомной проблемой, будут иметь большую ценность, и прежде всего для Советского Союза, так как Америка войной была затронута очень мало и могла работам в области атомной проблемы уделить куда больше внимания и средств.

Вокруг Николая Владимировича, его лаборатории сосредоточился коллектив доверявших ему ученых, ценных по обоим разделам атомной проблемы: физико-техническому и радиобиологическому. Это имело для Н.В. едва ли не решающее значение для окончательного выбора.

В это время у меня с Н.В. и Рилем состоялся такой короткий, но показательный разговор. Я сидел за микроскопом один, прямо передо мной дверь в кабинет Николая Владимировича, справа дверь на лестницу, по которой вошел ко мне Риль. Увидав меня одного, Николай Васильевич, поздоровавшись, сказал: "Я слыхал, что Вы собираетесь после войны работать в Москве. А как в России буду принят я?" Я ответил: "Николай Васильевич, Вы будете приняты наилучшим образом". На это Риль сказал: "Один человек говорил мне то же самое". Затем Риль прошел в кабинет Н.В. и вызвал его из дома по телефону, благо квартира была рядом. Затем, насколько помнится, появился, как обычно, и Циммер и они за закрытой дверью о чем-то разговаривали.

Тот же вопрос задавали мне и Циммер, и Борн, и Кач. Циммер как человек логичный сказал: "Конечно, у вас имеется связь, но Вы нам этого не скажете". А Кач, с которым у меня были приятельские отношения, сказал: "У тебя, Борисыч, тут в лацкане пиджака зашита бумажка. Когда придет Красная Армия, ты ее вытащишь!" Конечно, на все эти разговоры прямых ответов не было и приходилось отшучиваться.

Обстановка среди сотрудников и продолжавших появляться гостей становилась нервозной. Больше нервничали немцы. Всем были известны страшные несчастья России во время войны, и за них ожидали возмездия. Под разными предлогами стремились перебраться на запад. Прямых распоряжений сверху об этом не было, напротив, были приказы против паникеров. Гитлеровская пропаганда уверяла, что все равно победа вот-вот будет одержана. Этому никто, конечно, не верил. Ходили разные слухи. Например, Красную Армию не допустят на территорию Германии. Вермахт откроет западный фронт и все силы перебросит на восточный,

чтоб не допустить русских. Будет заключен сепаратный мир против русских. И все же в "оазисе Бух" держались хорошее настроение, работа и юмористическое отношение к будущему. Голоса у Сашки и Кетхен были сильные, их слышно на лестнице, а мало ли кто там будет проходить.

В те месяцы Николай Владимирович всегда был в ровном бодром настроении, любил шутку и смех и этим поддерживал свой коллектив. То ли в конце 1944 г., то ли в начале 1945 г. у Н.В. явилась идея послать меня за радиоактивными изотопами в Париж к Фредерику Жолио-Кюри. "И Париж посмотришь, и Жолио покажешься, и расскажешь, что мы тут делаем и думаем". О том, что Жолио в Сопротивлении, Н.В. было доподлинно известно.

Идея эта мне, конечно, понравилась, поэтому я решил тренироваться в разговорном французском языке. Делал я это и раньше в разговорах с военнопленным французом, великолепным слесарем-механиком Машеном. В теплице у него стоял французский токарный станок, по поводу которого Н.В. рассказывал, что в технике французы лучше, остроумнее немцев. Немцы конструируют по принципу "Зачем делать просто, когда можно и сложно". С Машеном мы конструировали детали для моей установки микрофотографии в длинноволновом ультрафиолете. Я приходил к своему лаборанту Петру Петровичу Пейру младшему . Часто около него без особых научных надобностей оказывалась фрейлен Геншоу. Тут, используя романтическую обстановку, я "объяснялся в любви" Геншоу, а Пейру и Геншоу, также говорившая по-французски, поправляли меня. Однажды этот урок французского языка услыхал Н.В. (что он рядом, мы не знали). Н.В. был доволен и смеялся, затем последовал длинный (весь по-французски) рассказ о француженках.

Потом Н.В. отставил мою поездку в Париж, решив, что это неосторожно и может повредить Жолио. У Жолио по существу на единственном в Европе циклотроне работали и немецкие физики. Считалось, что это порядочные люди, кто-то из них должен был вскоре возвращаться и захватить нужные нам изотопы.

В обстановке наступавшей агонии третьего рейха, при которой, однако, не следовало сомневаться в ближайшей блестящей победе немецкого оружия, соблюдался "орднунг" и послушание приказам свыше. Николаю Владимировичу уже легче было убедить своих сотрудников немцев не спешить с переездом в Гёттинген. Это практически мотивировалось невозможностью демонтажа и перевозки по дорогам, которые бомбили, нейтронного генератора и другого менее ценного, но для генетики необходимого оборудования. А кроме того, где гарантия, что у новых хозяев Германии – американцев будет лучше, чем у русских.

Стихийно создававшаяся легенда о том, что я советский разведчик, основывалась не на каких-либо моих словах или обещаниях, а на моих личных планах после войны продолжить те же работы в Москве, где, я надеюсь, сохранились мои аналитические структуры (линии) мух. Это вызывало удивление, так как я более, чем Н.В. и тем более кого-либо из

коллектива Н.В., подлежал жестокой каре со стороны русских. Между тем я не делал каких-либо поползновений к переезду на Запад, и более того, продолжал расширять масштаб работы.

Вспомнилось: что-то мне не понравилось в организации термостатов в лаборатории Н.В. и ведении основных штаммов мух. Опыт был у меня большой, и сам я студентом организовывал дрозофилиную лабораторию. Знал я, как это делалось у нас в четырех лабораториях в Ленинграде и Москве, больших, чем тут, в Бухе. Я сказал о своих соображениях Н.В., а он рассердился: "Со своим уставом в чужой монастырь не суйся". Однако размолвки это не означало. Другой раз Наташа Кром забыла вовремя пересадить основные штаммы, что-то второстепенное из мух, помнится, погибло или почти погибло. В это время в парке по дороге из лаборатории к дому, где жили и Тимофеевы-Ресовские и Наташа, росли великолепные красавцы-мухоморы. Я не удержался и преподнес один Наташе Кром, а она всерьез обиделась и огорчилась. Елена Александровна меня укоряла. Наташа, оказывается, даже расплакалась! Кач меня тоже ругал за бестактность и злобность – и все это накануне, быть может, трагических событий!

Зато за импровизированный дополнительный термостат с терморегуляцией от руки Н.В. меня похвалил. Тут сразу следовали рассуждения, что всякие сложные приборы в науке не очень нужны. В лаборатории Резерфорда главные открытия были сделаны на приборах из консервных банок, проволочек и фотобумаги, и только потом, когда это стало нужно, и появился у Резерфорда Петр Капица, началось приборостроение.

Но к началу работ по флуоресцентной микроскопии, длинноволновой ультрафиолетовой микрофотографии и электронной микроскопии, сотрудничеству с Ромпе, Рилем, Тарновским и Руска и к моим для этого установкам Н.В. относился положительно; обсуждались и возможности вытаскивать отдельные нефиксированные хромосомы для изотопных работ Елены Александровны. "Ты попробуй изобрети там какую-нибудь иглу и пипетку, чтоб их тягать из ядра". Сам же Н.В. говорил, что в микроскоп не глядел чуть ли не со студенчества (с мухами работа ведется при помощи бинокулярной лупы), и вроде бы даже этим бравировал, но в микроскопии все знал.

Передавая мне свой микроскоп, в который и не глядел, рассказал, что оптика в нем отличная, догитлеровская, когда линзы шлифовались вручную великими мастерами заводов Цейса. Чтобы стать мастером, надо было лет 10 проработать подмастерьем, а теперь делается станками и далеко не то. Когда мне пришла идея о микрофотографии в длинноволновом монохроматическом ультрафиолете (попутно и на основе установки для флуоресцентной микроскопии), Николай Владимирович сказал, что для этого на заводе Цейса к объективу надо сделать коррекционную линзу. Он вызвал незаменимую Клаудет (ставшую потом известной как фрау Пальм). Она в единственном числе являла весь бюрократический аппарат лаборатории, да еще с мухами работала и снимала фотокопии нужной литературы (так Н.В. создавал лабораторную библиотеку). Она

все умела и знала. Н.В. рассказывал: "У Клаудет всего четыре класса образования, а на ней держится вся лаборатория!" Клаудет напечатала письмо на завод, взяла у меня объектив, и (о чудо!) через 10 дней объектив с коррекционной линзой возвратился по почте в лабораторию. "Орднунг" продолжался, и завод берег свой престиж! Этот объектив сберегла моя "военная" жена Александра Николаевна, а я ухитрился, будучи еще в лагере, получить его в Норильск. Наконец, осенью 1989 г. я подарил свой объектив Институту цитологии и генетики.

Все мои цитотехнические игрушки особого восторга у Н.В. не вызывали, делалось это попутно. А заслужил я от него похвалу за другое. Как-то к лаборатории подвезли (помнится, на повозке) кукурузную муку (корм для мух и для нас также) в мешках по 50 кг. Разгрузкой командовал сам Н.В. Я положил мешок на плечо и быстро поднялся на третий этаж. Видя это, Н.В. не утерпел и тоже взялся таскать мешки. Когда мы их наперегонки под восторженные возгласы наших лаборанток перетаскали, Н.В. сказал мне, что я на кое-что путное способен.

Однажды для чего-то понадобилось капитально вымыть первую примыкавшую к лаборатории теплицу, в ней жил хамелеон и рыбки (кажется, знаменитые лебистес), а Кетхен Найцел устроила себе уютный уголок, закрытый какими-то великолепными цветами. Все это куда-то убрали, и вот со шлангом в руках, из которого вырывалась горячая вода, в одних плавках, в клубах пара, окруженный лаборантками в одних купальниках и с тряпками в руках, Н.В. с явным удовольствием поливает потолок и стены теплицы. Затем поливает из шланга друг друга и вся босая мокрая бригада. Наконец, при укоризненных взглядах немцев и восторженных французов Н.В. поднимается в лабораторию. Н.В. доволен: "Вроде как в русский бане побывал". Затем следует, что европейцы даже мыться как следует не умеют, не умеют и пить, особенно водку, так как пьют после еды, от этого хмелеют и у них у всех болит живот; не умеют и есть, едят целый день маленькими порциями, что тоже вредно.

Определенное нежеление Н.В. переезжать в Гёттинген истолковывалось в коллективе его сотрудников довольно определенно. Очевидно, считали, что между Н.В. и мной имеется полная ясность и договоренность о том, чего я не могу сказать даже хорошо мне знакомым сотрудникам и что известно одному лишь Н.В. В этом видели надежду на будущее в случае прихода в Берлин русских. Но чем больше обострялась обстановка, тем больше было разговоров и обо мне, чему способствовала манера Н.В. представлять меня как "советского комиссара" и т.п. Все, привычные к характеру разговоров Н.В., понимали противоположно-двусмысленный характер этих острот. Однако теперь, когда мы с Н.В. явно отказывались от Гёттингена, зазвучал их прямой смысл. Плохо было то, что легенда обо мне дошла до Института мозга. Однажды соответствующий разговор о моих планах на будущее со мной завела фотолаборантка из Института мозга. Правдоподобно вывернуться было непросто. Оказалось, что легенда распространилась шире, чем следовало. Неожиданно прямой вопрос мне задала и лаборантка Циммера Трудхен Феферкорн.

На первом этаже, у входа в лабораторию, рядом с теплицами, была фотокомната, тут часто лаборантки снимали на репродукционной установке фотокопии с работ и их печатали. Тут же я испытывал свою ультрафиолетовую микрофотоустановку. На этот раз в фотокомнате рядом со мной работала златокудрая синеглазая Трудхен. Наряду с привлекательной внешностью она была, по словам Н.В., отличным работником, окончила известное немецкое учебное заведение Карнакхауз, выпускавшее лаборантов выше среднетехнического уровня. Трудхен снимала комнату в том же доме рядом с нами, часто встречались по дороге и на работе. В кабинете у Н.В. стоял холодильник (тогда еще редкость). В нем некоторым сотрудникам разрешалось хранить продукты, нередко мимо моего рабочего места проходили в кабинет Н.В. Трудхен и жена Циммера. Последняя отпускала мне обычно высший немецкий комплимент: "Всегда за работой, господин доктор". И вот при романтическом свете красного фотоосвещения Трудхен подходит ко мне на расстояние хорошей видимости, глядит своими синими очами мне в глаза и говорит: "Вы нам говорите, что после войны мы все будем работать в России. Кто Вы собственной такой, господин доктор, немец вы или русский? Ведь вас русские первого повесят". Я в удивлении развел руки и затем соединил их на гибкой талии прелестнейшей Трудхен. Она не слишком решительно вырвалась, открыла, засветив мне пластинку, дверь и на пороге, очаровательно улыбнувшись, сказала: "Только не силой, господин доктор!"

На этот раз, похоже, обошлось удачно, но было очевидно, что вся эта болтовня вокруг меня и Н.В. может плохо кончиться. Многого можно было бы избежать, если б Н.В. согласился на мое предложение оформить сложившийся около него антифашистский круг в подполье. Но в этом случае я брал на себя ответственность за судьбу и даже за жизнь многих мне симпатичных людей, по существу то же получалось и теперь, но определенный ответ я дал только Рилю и в нем не ошибся, как это показало будущее.

Иногда я приходил к выводу, что определенных решений и расчетов на будущее у Николая Владимировича не было, его действия имели чисто эмоциональный характер, но, быть может, это и было правильным решением, так как рассчитать что-либо было трудно. Созданная им подпольная организация могла закончить свои дни либо в гестапо, либо вызвать особую подозрительность и у нашенских олухов, не приемлющих никакой организованности без команды сверху. В последнем случае надежда могла быть на Ромпе.

Возможности для сравнительно удобного (конечно, уже без лаборатории) переезда на Запад были и тогда, когда скорый приход наших войск в Бух был очевиден. Об этом – воспоминания последних берлинских дней с Николаем Владимировичем. В них кое-что перепуталось в памяти по двум причинам. Во-первых, у меня плохая "привычка" в самый неподходящий момент заболевать какой-нибудь детской болезнью. В боях под Вязьмой у меня болел живот, скорее всего, была жестокая дизентерия, в

результате немцам удалось взять меня в плен. Я разрешил немцам себя вылечить. На этот раз реваншисты взяли реванш, заразив меня корью. Болезнь, как мне положено, я перенес на ногах, а тут еще как назло подвернулась одна операция, которая времени заняла мало, но действовала на воображение. К приходу наших войск в Бух я почти выздоровел, но в сочетании с несколькими бессонными ночами чувствовал депрессию. В результате мне не удалось убедить наших олухов не торопиться сажать меня за решетку со всеми отсюда отрицательными и для Н.В. последствиями.

Наверное, не более чем за две или три недели до вступления наших передовых частей в Бух у нас с Ромпе состоялся серьезный короткий разговор. Нам было ясно, что до окончательного разгрома немцев остались считанные недели и что в Берлин Красная Армия войдет раньше союзников. Я сказал Ромпе, что он хорошо знает людей, со многими связан, неплохо было бы поговорить с теми, кто не намерен бежать на Запад, и, быть может, затем и поработать в Советском Союзе. Ромпе сказал, что это следует сделать, составить список, зашифровав его обычным способом. Видно было, что этой работой он уже занят. Ромпе теперь подолгу жил в квартире Тимофеевых-Ресовских, мне это даже казалось неосторожным. Но дело было в том, что местный (Института мозга) партийный фюрер Гирндт, как считалось, опасности не представляет. Уже давно Н.В. мне сказал, что Гирндту было дано понять, что к нему хорошо относятся и что его имя известно за рубежом. Кроме того, берлинская квартира Ромпе пострадала от бомбежки и ночевать в Бухе было безопаснее, чем в непрерывно подвергавшемся бомбежкам Берлине.

Но у Ромпе было еще одно основание находиться рядом с Николаем Владимировичем. Как-то раз в лаборатории Елена Александровна сказала нам с Сашкой: "Я боюсь за Николая Владимировича, у него ведь в роду есть алкоголизм". Я не придал этому значения, пару раз мы пили с Н.В. во время "канинхенфрессен" (пожирания "радиоактивных кроликов"), как положено, стакан разведенного спирта, он и я оставались лись при этом "в форме". Опасения Елены Александровны показались мне напрасными. Но, может быть, она и его ближайший друг Ромпе знали состояние Н.В. лучше. На работе и дома, принимая гостей, он оставался все тем же сильным и жизнерадостным человеком, но каково было ему одному с мыслями о судьбе сына и всех доверявших ему людей, за будущее которых он брал на себя ответственность? Последнее было мне особенно понятно. Наука в лице близкого друга и многолетнего товарища по работе могли иметь для Н.В. большое значение. Сломаться могут и самые крепкие.

В середине апреля (возможно, и позже, даты я могу восстанавливать не столько по памяти, сколько по логической последовательности событий) мы с Сашкой поздно вечером возвращались от Тимофеевых. Уже подходя к дому, мы услыхали доносившийся с востока далекий мощный грохот, гул. Он слышался долго, это не могла быть бомбежка (американцы сбрасывали свои бомбовые "ковры" разом), это могла быть только

наша артиллерия. Значит, наша армия уже недалеко. Я рассказал о слышанном и моих выводах Н.В. Он к этому отнесся довольно скептически. Но на следующий день или через день мы с Н.В. и еще кто-то из знакомых сотрудников поднялись на высокую крышу Института мозга. С нее открывался вид далеко на восток. Оказалось, что Н.В. этот свой наблюдательный пункт посещает не впервые. На этот раз на расстоянии хорошей видимости мы заметили около восьми самолетов. Я сказал Н.В., что это наши штурмовики, "черная смерть" (der schwarze Tod, как их прозвали немцы). Значит, фронт уже совсем близко, Илы далеко не летают, это фронтовая авиация. По слухам, фронт на Одере уже был прорван.

Вскоре тому появились и наглядные подтверждения: по главной улице Буха (Шоссе) потянулись нестройные группы беженцев, запомнились тяжелые повозки, запряженные тяжеловозами.

19–20 апреля явно чувствовалось приближение фронта, но каких-либо действий со стороны местных властей не было, похоже, они находились в состоянии полной растерянности или же заблаговременно сбежали. В лаборатории мы уже бывали нерегулярно, а находились в квартире Тимофеевых-Ресовских.

Помню светлый день, иду я из лаборатории к дому Тимофеевых-Ресовских, выхожу из-под деревьев парка на прямую широкую аллею, которая замыкается двухэтажным домом, где живут Циммеры, Царапкины, Кром, а сейчас там в квартире Тимофеевых-Ресовских моя жена, друзья и сотрудники Н.В. И тут с востока приближается рокот моторов, совсем низко, слышны и разрывы легких бомб. Из подъезда дома выходят 5–6 человек и, задрав головы, смотрят на восток. До дома мне метров 100, бегу к дому и во всю глотку кричу: "В укрытие!" Кто-то заходит под крышу, и тут совсем низко звено наших Илов, звезды на крыльях. Одна машина из-за деревьев выходит прямо на дом. Сашка в восторге одна скачет посреди аллеи, машет руками и во все горло кричит: "Наши, наши!", в этот момент свист бомбы, и от ее разрыва вдребезги разлетается дерево слева в метрах тридцати от дома, никого не задев.

К исходу дня становится известно: "Бух не будет обороняться и эвакуироваться". Формулировка по-военному грамотная – Buch wird nicht verteidigt weder gereumt, – видимо, исходит от командования, и ей можно верить. Вечером мы с Сашкой идем домой, после разговора с Николаем Владимировичем решаем всем собраться ночевать в погребе их дома. По дороге к нашему дому полная пустота, поселок будто вымер, дверь нашего дома не заперта, дома пусто, квартирной хозяйки нет, в ее комнате легкий беспорядок – видимо, были сборы необходимых вещей. В нашей комнате все на месте, но ящик стола открыт, там явно рылись. Беру нужные бумаги, документы, на следующий день я их закопаю в парке и Сашке будет сказано отдать их только по моему распоряжению нашему командованию, что и было сделано.

В эти последние дни перед вступлением наших войск показывается Н.В. Риль с большим портфелем. Он добирался из Берлина как мог, я был

уверен, что Риль так и оставался у Николай Владимировича до вступления наших передовых частей. В подвалах дома Тимофеевых-Ресовских, благо они большие, собирался весь интернационал лаборатории и еще неизвестные мне личности. Мы захватили одеяла и кое-что из вещей, устраивались на ночь в маленькой каморке. В другой – Тимофеевы-Ресовские. Тут и Кач, братья Пейру, конечно, Царапкины, Варшавские, О. Цингер, Топилин, Ромпе, Циммеры.

На следующий день иду в лабораторию, там все открыто и пусто. В коридоре встречаю Гирндта. Впервые вижу его в партийной коричневой форме, на ремне пистолет. Смотрим друг на друга, едва раскланявшись (я жду, не будет ли он здороваться со мной положенным немецким приветствием "Хайль Гитлер", но этого не последовало), расходимся в разные стороны, не сказав ни слова. Встреча с Гирндтом мне не нравится, мало ли каких истерических выходок можно ожидать и от оставшихся еще партийных властей, и фольксштурма, который и в Бухе хоть и вяло, но организовывался. Чего доброго каким-то идиотам придет в голову взорвать институт.

Мое опасение, оказывается, было не напрасным, позже, когда мы втроем, Н.В., Ромпе и я, разыскивали политотдел, Ромпе мне рассказал, что удалось предотвратить взрыв буховской электростанции. Оказывается, Ромпе был связан и с местным подпольем. Тут кто-то из женщин, если не ошибаюсь, Наташа Кром, сказала мне, что совсем рядом с институтом сложено оружие. Действительно, в сарае рядом с теплицами, никем не охраняемые, лежали винтовки, гранаты и даже ручной пулемет, предназначавшиеся для фольксштурма, который, видимо, предпочел не собираться. Я пошел разыскивать Н.В. и Ромпе и повстречался через несколько шагов с Шарлем Пейру. Я решил показать ему оружие. Не считает ли он, что нам следовало бы им вооружиться или хотя бы спрятать оружие? Ш. Пейру моя идея понравилась. Он был офицером французской армии. Мы решили, что среди нас могут быть еще люди, умеющие пользоваться оружием. Мы могли бы предотвратить возможные эксцессы обезумевших немцев. Был слух, что в Бухе находятся и эсесовцы. Мало ли как может быть расценено сборище вокруг Николая Владимировича, какие у них могут быть приказы, тем более в отношении специалистов, имеющих хоть какое-то отношение к урановому проекту. Но тут появился Н.В. и пришел в ярость от моего предложения, нервы его были явно напряжены. Его обычная самоуверенность проявилась в категорической форме. Дискуссию тут, рядом с оружием, на виду у всех продолжать было непозволительно. Мы с Пейру не стали настаивать.

Был ли Н.В. прав, сказать трудно, я не склонен при всем моем почитании Николая Владимировича к апологетике всех его действий. Сам факт вооружения или даже изоляции оружия мог иметь для будущего Н.В. положительное значение, особенно потому, что в нем принимал участие французский офицер. Свои русские у нас тогда не котировались. В тот же или следующий день ко мне обращается Елена Александровна: "Я боюсь за Николая Владимировича, он уже трое суток ни на минуту не заснул".

Я пошел к Н.В. уговаривать его поспать и в ответ услыхал вполне спокойное: "А я могу не спать неделю". Пожалуй, так оно и было.

Звуки боя приближались. И вот днем послышались уже близко редкие автоматные очереди. Ответов на них не было. Выйдя на поле перед домом Н.В., я видел вдалеке нашу цепь. Белый флаг для дома был мной предусмотрительно заготовлен. Размахивая белой тряпкой, я пошел навстречу нашим солдатам. Как и положено в таких случаях, я был взят на мушку, но на короткой дистанции мы быстро на русском языке договорились. Я заверил командира отделения, что в доме русские и нечего остерегаться. Навстречу нашим солдатам вышли из дома Н.В. и другие русские. Мы с Н.В. поспешили к лаборатории. Тут было уже много наших офицеров и солдат. Штаб части разместился в одноэтажном доме против ворот Института. Нас туда проводил офицер, которому мы разъяснили необходимость выставить часовых у входов в Институт. В штабе полка состоялся более обстоятельный разговор. Нам было обещано передать нашу телеграмму Сталину: "Для работы в Советском Союзе нами сохранена лаборатория биофизики и генетики, имеющая большое значение". Об атомной проблеме телеграфировать было, конечно, нельзя. Надежды на то, что телеграмма будет отослана и дойдет, было мало, полк шел брать Берлин, но попытаться было необходимо.

Положение было сложное. То меня вызывали улаживать назревавшую ситуацию вокруг сидевших в погребе дома, где жили Циммерманы, наших лаборанток. Нашим солдатам следовало объяснить, что это не немки и что я тут имею полномочия. Часовые действительно были выставлены, но часть двинулась дальше, и нужно было начинать разговоры со следующей. Срочно нужно было повесить плакаты на русском языке с просьбой не заходить в лабораторию. Затем кто-то срочно потребовал меня помочь Николаю Владимировичу. Явно нетрезвый сержант, вынув пистолет, признал в Н.В. белогварцейца, и завязавшееся объяснение на высоких нотах могло плохо кончиться. К сожалению, у солдат оказалось немало трофейного спиртного. Тут забавная история произошла с Качем. Наши солдаты прониклись к нему (он им, конечно, рассказал, что боялся в последние дни за свою жизнь и жизнь своей жены) симпатией и вусмерть напоили его трофейным вином. И вот Кач, спотыкаясь, мчится ко мне, обнимает меня и восторженно говорит: "Борисыч, какие люди!" А я его обругал, даже слишком по-русски. Когда теперь вспоминаю, осуждаю себя за несдержанность, но не до радостей было. Следовало отыскать ближайший политотдел, выставить постоянную охрану и навести порядок. Трофейной выпивки оказалось много, хватало и для немцев. Дополнительные сложности вызвал склад метилового спирта в подвале часовни, находившейся в парке, туда надо было тоже поставить охрану. Метиловый спирт на территории Германии, как я вскоре убедился, принес нашим солдатам и офицерам много бед.

Прежде всего надо было уберечь от многих опасностей самого Николая Владимировича. Мне удалось довольно категорически убедить его отправиться со мной на розыски политотдела. Цингер, Варшавский и

другие в это время были заняты развешиванием плакатов на русском языке.

Нам с Н.В. очень повезло, через какие-нибудь полчаса на Буховском шоссе мы встретились с майором из политотдела. Я объяснил стоящую перед нами задачу и, хотя разговор не обошелся без эмоций, Н.В. в сопровождении младшего командира был отправлен в Институт, чтобы возвратиться вместе с Ромпе. Конечно, мной было сказано, кто такой Ромпе. Вскоре вернулись Н.В. с Ромпе, и мы в сопровождении конвоя то пешком, то на машине долго разыскивали политотдел.

Там мы снова обратились с просьбой направить телеграмму Сталину и обеспечить сохранность оборудования лаборатории и штата сотрудников. Затем нас на машине доставили в армейский Смерш. Как и раньше, на допрос я был вызван первым. Ни одна атомная бомба еще не взорвалась, и никому не было известно, взорвется ли когда-либо. В обосновании важности вопроса не хватало главного аргумента. Имели значение общеполитические моменты, и в частности личность Ромпе, о котором я, конечно, рассказал майору, начальнику Смерша. Затем были допрошены Н.В. и Ромпе. Во время наших розысков политотдела Ромпе напомнил мне, что мероприятие по вербовке кадров для возможной работы в СССР и, конечно, построению послевоенной Германии им выполнено. Об этом и я, и Ромпе заявили во время допросов в Смерше.

В заключение я снова был вызван к начальнику Смерша. Было сказано, что для сохранности лаборатории будут приняты меры; Тимофеев-Ресовский и Ромпе будут доставлены в Бух, меня же придется задержать до выяснения ряда обстоятельств. Мое задержание , а затем и арест дезориентировали Ромпе и Николая Владимировича и самым отрицательным образом сказались на использовании открывавшихся возможностей.

О всех превратностях судьбы Н.В. я знал из писем жены ко мне в Норильск. В 1946 г. на меня пришел запрос от А.П. Завенягина на работу, видимо, по атомной проблеме. Через много лет при разговоре с Н.В. это подтвердилось. Я отказался от этого предложения, отказался бы и в этом случае, если б точно знал, что запрос приходит по рекомендации Николая Владимировича. Наша встреча в 1961 г., когда в туристической поездке по Енисею Н.В. и Е.А. проезжали через Норильск, не состоялась – в письме Елены Александровны месяц июнь я прочел, как июль. Не найдя меня, Тимофеевы-Ресовские отыскали в Норильске мою сестру. Позже ко мне в Норильск с такой же туристической поездкой заезжали Андрей Николаевич Тимофеев с женой. Встретились мы только в 1965 г., когда Н.В. и наш известный генетик И.А. Рапопорт вызвали меня на конференцию на Можайском море.

Тогда же я предложил Н.В. совместно обратиться с заявлением в ЦК партии, в частности указав, какое значение имели в истории атомного века и судеб нашей биологии его работа в Германии и возвращение его с Н.В. Рилем на родину. Н.В. ответил: "Ты если хочешь, пиши, а мне это не нужно, я полностью реабилитирован". Думаю, этот его отказ имел столь же отрицательные последствия, как и много лет назад его отказ офор-

мить создавшееся вокруг него антифашистское подполье. С Еленой Александровной мы вышли покурить на балкон. Елена Александровна сказала: "Конечно, полной реабилитации у Н.В. нет". Писать мне одному не имело никакого смысла и, более того, могло быть понятно так, что я убедил Н.В. принять решение о столь опасном возвращении на родину и стремлюсь теперь достичь личных целей этим недоказуемым утверждением. Скорее всего, тогда заявление, написанное Н.В. или нами совместно, желаемой цели бы не достигло, но хотя бы сохранился ценный материал для настоящего и будущего. Вникать в подробности – реабилитирован ли он полностью или не полностью – Н.В. определенно не стал бы, разговаривать с ним на эту тему было бесполезно, так же как и о заявлении в ЦК. Имела ли тут решающее значение трезвая оценка обстановки, или оскорбленное самолюбие, или даже некоторая наивность в надежде на лучшее будущее, определить, конечно, невозможно.

Вызывая меня на Можайское море, Н.В. преследовал цель возвращения меня к генетике в Обнинске. Об этом была и его договоренность с директором Обнинского Института медицинской радиологии Г.А. Зедгенидзе. Без необходимых политических решений на определенном уровне в отношении Тимофеева-Ресовского и меня Зедгенидзе считал это бесполезным. Более того, мы вдвоем, работая в одной лаборатории, стали бы еще более удобным объектом для провокаторов различного профиля. В 1966 г. я получил от Н.В. в подарок оттиск (АН СССР, Уральский филиал. Труды Института биологии. "Радиационная цитогенетика и эволюция" 1965. Вып. 44) с надписью: "Дорогому Игорю – куда ты, черт побери, пропал? Читай и завидуй. [Подпись] Н. Тим..."

Я неоднократно посещал Н.В. в Обнинске после 1965 г. Письма от Н.В. писала Елена Александровна, он сам писать не мог (потеря зрения от громадных доз антибиотиков при лечении пеллагической бактериемии). Читать Н.В. мог только с лупой. Научную литературу, как я мог это наблюдать, находясь у него по нескольку дней в Обнинске, ему часто вслух читала Елена Александровна. Несмотря на частичную потерю зрения, он плодотворно работал. Николай Владимирович остался таким же, каким я знал его в Берлине, и по-прежнему его окружало множество людей, собиравшихся вокруг него, очевидно, по принципу его любимого матричного синтеза генов.

ИГОРЬ БОРИСОВИЧ ПАНШИН – в молодости генетик, работавший с Н.И. Вавиловым, Н.К. Кольцовым, а затем в 1943–1945 гг. в Берлине с Н.В. Тимофеевым-Ресовским. Будучи формально сотрудником немецкого уранового проекта, вместе с Н.В. Тимофеевым подготовил и обеспечил переход на советскую сторону немецких атомщиков и биофизиков в 1945 г. Арестован НКВД. После отбытия заключения остался в Норильске, работал фотографом.

О.А. Цингер

КОЛЮША – НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ

С раннего детства я увлекался животными, собирал коллекции жуков и бабочек. Мой отец очень поощрял эту деятельность и привозил мне часто для коллекции препарированных экзотических жуков. Со знаменитым Кольцовым и с Мензбиром мой отец был хорошо знаком, так же как и с директором тогдашнего Московского зоологического сада Котсом. Ребенком я начал уже повторять, что "я хочу быть залогием, как Кольцов". Папа обещал познакомить меня с художником-анималистом В.А. Ватагиным, чьи иллюстрации мне безумно нравились, но это все как-то не удавалось. Сперва я жил некоторое время в пансионе Яковлевой в Голицыне, а потом мы уехали в Харьков с Московским художественным театром. Моя мать была актрисой МХТа, и ей дозволили взять с собой мужа проф. А.В. Цингера, меня и нашу так называемую сиделку Оню (Анисью Гавриловну Юдаеву). Дело происходило во время гражданской войны, в Харькове, после взятия города генералом Деникиным: мы оказались отрезанными от Москвы. Потом мы попали в Ялту, где в местечке Темис-Су была устроена школа для детей. Несмотря на чрезвычайное количество всяких жизненных забот, ужасов гражданской войны, это время в Темис-Су осталось в моем воспоминании как существование в раю! Вот вам детская психология, непосредственность и оптимистическое отношение к жизни! Мы голодали, но отец мой блаженствовал в Никитском ботаническом саду, рисовал замечательно шишки, цветы и всякие растения. Папа был также преподавателем и директором в нашей школе! У нас были милые знакомые, нам массу читали вслух, я еще больше пристрастился к природе, собиранию насекомых и еще больше захотел быть "залогием, как Кольцов".

Папин друг детства, вернее, юности, П.П. Сушкин еще в Харькове рассказывал мне много о птицах и показывал свои исключительные препараты. В Севастополе, на биологической станции я начал у В.А. Никитина рисовать препарированных рыб. В Москву мы вернулись только весной 1922 г. Тогда наконец я и познакомился с В.А. Ватагиным лично. Я сам его сразу узнал! Он сидел в зоологическом саду на складном стульчике и рисовал горного барана. Я подошел к нему и спросил: "Вы Ватагин?" – "Да." – "А Вы видели когда-нибудь живую гориллу?" – "Нет, не видал, но орангутанов и шимпанзе видел много! – А Вы, наверное, Олег Цингер?" С этих фраз началась наша большая и глубокая дружба до самой кончины Василия Алексеевича.

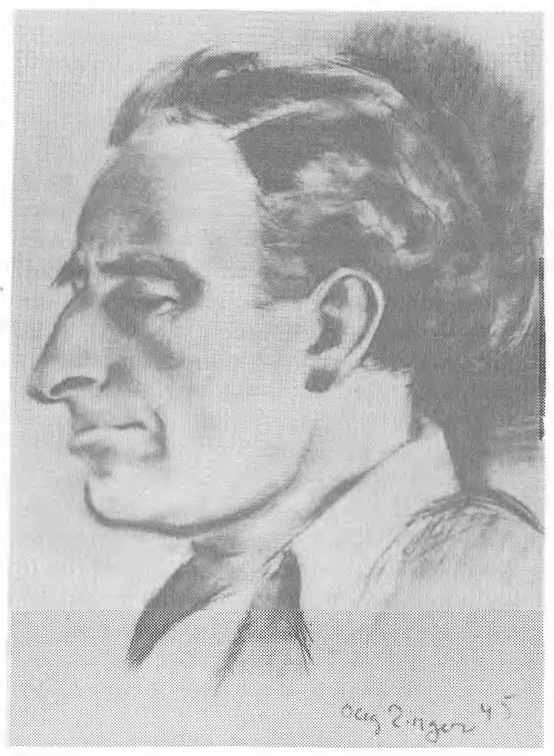
Осенью 1922 г. мы покинули Москву и переехали в Берлин. Мой отец получил разрешение на выезд для лечения у немецких специалистов. Мы



Е.А. Тимофеева-Ресовская, бюст работы В.А. Ватагина (около 1927 г.)
Фото сделано в квартире Тимофеевых-Ресовских Н.В. Тимифеевым-Ресовским, г. Обнинск, конец 60-х годов

выехали опять вчетвером: папа, мама, я и все та же Оня. С В.А. Ватагиным я тут же начал регулярную переписку. Я по-прежнему увлекался животными, но уже совсем "иной мир" вселился в мою душу. Еще из Москвы я вывез "восхищение вахтанговской Турандот" и модернизмом! Рисовал я много, но учился небрежно и плохо. Перспектива стать "зологием, как Кольцов" стала исчезать! Мой отец увидал, что я не унаследовал "научный" ум и "научную традицию" нашей семьи Цингеров и, по-моему, пришел даже слегка в паническое состояние.

Однажды он взял папку моих рисунков и акварелей и отправился со мной к Леониду Осиповичу Пастернаку, с которым он был хорошо знаком еще по толстовской Ясной Поляне. Это было мое первое посещение ателье настоящего художника. Я бродил по комнатам, заглядывал в папки, смотрел наброски углем, видел портреты Бориса Пастернака, тогда еще такого молодого. Видел портрет самого Л.О. Пастернака, сделанного знаменитым немецким художником Л. Коринтом. Портрет был написан косыми мазками (Коринт уже тогда начал страдать параличом), и чем-то мне тогда очень понравился! Л.О. Пастернак и мой папа возмуща-



"Колюша", Н.В. Тимофеев-Ресовский
Рис. О.А. Цингера, Берлин-Бух, 1945 г.

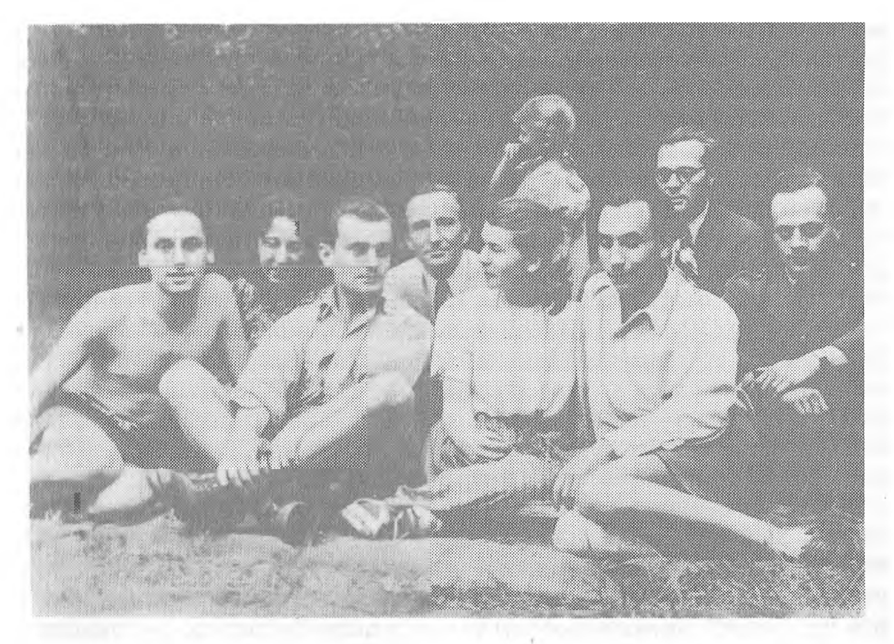
лись этим портретом и я "вдруг усомнился": а так ли уж хорошо все разбираются в живописи? Л.О. Пастернак невероятно подробно просмотрел мою папку рисунков и объявил папе, что он может быть спокоен! "Ваш сын все равно будет только художником". Папа пришел в восторг и рассказал, что в семье было достаточно ботаников, математиков и физиков – путь хоть один будет "малограмотный, но зато художник". (Я начал брать уроки у художника А. Арнштама, а потом поступил в Академию в Берлине). Так оно и стало. С Ватагиным мы переписывались очень интенсивно, и вот в 1927 г. он наконец решил приехать в Берлин, чтобы три месяца побыть со мной и поработать в Берлинском зоологическом саду. Ватагин остановился у своих московских друзей, молодых биологов генетиков Тимофеевых. Тут я и познакомился с Николаем Владимировичем, Еленой Александровной и с их маленьким сыном Дмитрием, которого прозвали Фомой. Жили Тимофеевы в маленькой квартирке, в Штеглице, у фрау Думке. Тимофеевы работали где-то в научном институте в центре города, а маленький Фомка оставался дома на попечении Владимира Ивановича Селинова. Селинов был милейший человек, знаток русской поэзии, он отличался чрезмерной скромностью, что характерно

для истинных русских интеллигентов. Колюша почему-то прозвал Владимира Ивановича Вартанесом. Тогда мне было 17 лет, а Колюша был лет на 9–10 старше меня. Мы очень быстро перешли на ты, и Елена Александровна превратилась в Лёльку, а Николай Владимирович в Колюшу. В.И. Селинов зарабатывал тем, что набивал табаком гильзы для русских папирос. Заработок был небольшой, и, для того чтобы ему помочь, Тимофеевы взяли Селинова к себе как "повара" и как "няньку" для Фомы. Тимофеевы не могли жить без того, чтобы кому-нибудь не помочь. Селинов скоро превратился в члена Тимофеевской семьи. Стряпать Селинов абсолютно не умел и мог приготовлять только котлетки, которыми он Тимофеевых и кормил в течение нескольких месяцев до тех пор, пока они не заболели от однообразного питания. "Нянька" он тоже был плохой и три раза на прогулке терял маленького Фомку, отчего родители каждый раз приходили в ужас, пока наконец Фому кто-нибудь ни приводил домой. В это время я почти каждый день рисовал вместе с В.А. Ватагиным в Зоологическом саду, а по субботам мы встречались вечером у Тимофеевых. Часто приходили различные гости. Это начались "вечера у Думке в уголке". Часто, в субботу, до "вечера у Думке" я встречался с Колюшей и его сослуживцем по институту в определенном месте с Шёнеберге, чтобы строем пойти на "рундик" (от немецкого слова "ейне рунде"), в балаган, смотреть на борьбу, бокс и кач. Плата за вход и за три "рунда" была небольшая, и всегда можно было остаться, доплатив еще на один, три или сколько хочешь "рундиков". Балаган был набит ужасной публикой. Просто страшно и стыдно было туда входить. Тогда я впервые видел бокс, борьбу и кач. "Атлеты" были грубейшие, татуированные мужики, которые устраивали из своих состязаний целое представление. Особенно при борьбе и каче. Швыряли друг друга об пол, вывертывали руки и ноги, били по спине, в лицо, в живот, строили ужасные гримасы и демонстративно стонали. Публика или возмущалась, или приходила в дикий восторг! Все это было для меня ново, и особенно нов был для меня сам Колюша! До тех пор я еще такого человека не встречал. На него находило "полувеселье", "полудикость" и все это вместе выливалось в какое-то особое "обаяние", под которое я сейчас же и подпал! Его "обаяние", его "словечки" были настолько своеобразны и "дики", что почти все, кто его знал, уже не могут забыть этого человека. Мне вот уже скоро 80 лет, и до сих пор я употребляю Колюшины словечки и передал их другим. Колюша в балагане приходил в какой-то раж! Аплодировал борцам или громко выражал свое недовольство, крича на весь балаган: "Ну и идиот, чертова перечница!"; "Глуп, туп, не развит и Богу противен!" Приходили к Думке мы обычно с опозданием, и Лёлька с упреком накидывалась на Колюшу: "Что, наверное, опять на "рундики" ходили". К ужину приходил Ватагин, который абсолютно не переваривал бокса, борьбы и кача. Приходили и другие гости, имена которых я забыл. Вспоминаю только испанского биолога дон Рафаэля Лоренцо де Но. Колюша с этим Лоренцо де Но подружился и поэтому стал восхищаться всем испанским. Немцев тогда Колюша презирал, называл их "туземцами" и

страшно смеялся над всякими "немческими обычаями". Особенно он высмеивал "немческий обычай" ездить в отпуска! По вечерам у Думке было обычно много самодельной водки (изготовляемой дома из чистого лабораторного спирта, сахара и воды), были, конечно, и неизменные селиновские котлетки и Селиновым же набитые папиросы. Колюша был еще совсем молод и темперамент его был просто неописуем! Когда он начинал ходить по комнате и что-либо рассказывать, то непривыкший человек просто обалдевал. На какую тему велись беседы, в конце концов было безразлично. Помню, что тогда я просто был в восторге от всего и где-то даже старался Колюше подражать. Дома от родителей я скрывал, что мы ходим иногда на бокс и борьбу, а по вечерам выпиваем порядочное количество рюмочек водки. Конечно, Колюша часто рассказывал о себе, и тогда у вас создавалось впечатление, что перед вами человек, проживший не одну, а пять жизней! Колюша быстро ходил взад и вперед и громко, с различным выражением, рассказывал, как он был "потешным", студентом, "зеленым" казаком (?!), как он был где-то ранен, но его верная лошадь от него не отходила и в конце концов его спасла. Где-то он страшно голодал и питался в сарае воробьями, которых убивал снежками. На Украине, где он бродяжничал (?!), у него была специальная дубинка, которой он отбивался от хуторских собак (тут проскальзывало даже нечто гоголевское, бурсацкое). Один раз, спрыгнув с поваленного дерева, он попал босыми ногами прямо на свернувшуюся гадюку. При всем этом он был и балетоманом, любителем русской живописи и русской поэзии. Все эти рассказы были настолько красочными, что нельзя было ими не восторгаться! Была в них какая-то смесь Ноздрева и Хлестакова с примесью Лескова.

И вот прошло три года, и Тимофеевы поехали в отпуск, отдыхать! Совсем как "туземные немцы". Поехали они на Балтийское море, в Аренсхоп. В этот год я женился, и мы с женой, по совету Тимофеевых, поехали в тот же Аренсхоп и в тот же пансион, где жили Тимофеевы. Это было в 1930 г. Колюша был в полном восторге от своего отпуска и все время повторял: "Не люблю я эти отпуска, ибо оные кончаются!" Это было мое первое пребывание на Балтийское море.

В детстве и юности я познал и Средиземное и Черное моря, и после юга мне Балтийское море совсем не понравилось. Вода мне казалась сероватой, морем не пахнет, крабов, морских звезд и ежей нет, и солнце жидковатое и редкое. Когда я высказал это Колюше, то он тут же на меня набросился и закричал: "Ну и Пифик же ты, слабоумный!" И тут же начал шагать по мокрому песку и доказывать мне, что Крым и Италия – это "дерьмо" и что ничего нет лучше Балтики! Что в Балтийском море невероятное количество сельдей, что загораешь на Балтике сильнее, что камушки на берегу – самые красивые камушки в мире и что вообще я дурак. Я обижался, но потом купался в прохладной воде и собирал камушки. По вечерам собиралось немецкое общество, где председательствовал опять же Колюша (тогда, кстати, я впервые услыхал имя Адольфа Гитлера!). Колюша на хорошем немецком языке восхвалял Бал-



В Берлин-Бухе, 1944 г.
(В центре Н.В. Тимофеев-Ресовский, справа от него Наташа Кром, первый слева Топилин, справа от Н. Кром Шарль Пейру)

тику, немецкий (уже не "немческий") обычай устраивать отпуск и отдых и еще раз заметил, что это очень плохо, что отпуска кончаются! Потом Колюша нашел очень "симпатичного" (обычно люди были Колюше сперва симпатичны) пивовара, с которым тут же начал спор о качестве различных пив, хотя сам пиво не пил и не любил.

Скоро после этого "балтийского отдыха" мы встретились в Берлине в субботу "У Думке". А вскоре "Думке" прекратились и Тимофеевы переехали жить в Бух, где был построен огромный институт Kaiser Wilchelm Institut für Hirn forschung, где у Тимофеева была собственная большая лаборатория. Тогда начались субботы и воскресенья в Бухе, которые приняли впоследствии просто какую-то "историческую форму".

Буховский период можно разделить на две части. Первый – краткий, в так называемом "большом доме", а второй в Торхаузе, т.е. в "доме у ворот". Сам институт, очень комфортабельный и большой, был построен в огромном парке, который когда-то предназначался для кладбища. Но почва для кладбища не подошла и парк оказался просто "парком при институте", но сохранилась капелла, которая должна была служить крематориумом. Сохранился и Торхауз, где должны были продаваться цветы. Довольно далеко от института были постройки для психически больных. "Большой дом" подходил к дороге и к этим больничным постройкам. В "Большой дом" поселили Тимофеевых только на недолгое

время, но и тут успели много воскресений поиграть в городки. Торхауз разделялся проездом, одну половину дома снимали Тимофеевы, а другая принадлежала семье Царапкиных. Тут у Тимофеевых уже было много больше места, чем на думковской квартире. Знакомых и друзей стало тоже много больше. Всем было приятно поехать за город и поиграть на чистом воздухе в городки. Игра в городки стала просто традицией при хорошей погоде. Гостеприимство Тимофеевых было неописуемо! Разве только в старые времена бывало что-то подобное! "Лёлька" умела усадить и накормить любое количество гостей. А гостей бывало много, ибо часто старые тимофеевские друзья привозили своих друзей. Я, например, привез в Бух Сергея Ивановича Мамонтова, моего друга Всеволода Добужинского (сына художника Мстислава Валерьяновича). Привез библиотекарей Дину и Андрея Вольф, художника Леву Ботаса. В доме жили еще София Максимовна Трегубова с сыном, всегда приезжали А. Всеволожский, архитектор А.М. Ломан, Ю. Блинов, Саша Фидлер (брат Лёльки!). Всех просто нет сил припомнить и описать.

Играли в городки с азартом! Лучший игрок был С.Р. Царапкин, сам Колюша и С.И. Мамонтов. Я тоже играл с азартом, и, когда промазывал, Колюша кричал: "мисьлюнген" (от немецкого "Misslungen" – не вышло!). Иногда Колюша любил кричать: "Три почти за одно вышло, тогда у китайцев считается!" Кричали вообще все и страшно суетились, расставляя в квадрате, начерченном на земле, разные фигуры: "бабушка в окошке", "пушка", "покойник", "забор", "паровоз" и т.д. Иногда Колюша играл босой, в распущенной рубахе и чем-то даже напоминал Толстого, несмотря на свой острый нос. Неподалеку, за решеткой, собирались психически больные из больниц и сосредоточенно наблюдали за нашей варварской игрой. Это были "туземные алкоголики", как их называл Колюша. В плохую погоду и зимой в городки, конечно, не играли. Городки заменялись "блошками". Полулежа на столе, под лампой, под которой раскладывался зеленый войлок, нужно было цветной фишкой накрыть фишку противника или ловко попасть в деревянный горшочек. И тут Колюша проявлял страшный темперамент. С отвисшей нижней губой он походил на медведя-губача, и все время слышался его возглас "мисьлюнген!" или "так ему и надо, сучку!"

Новая, буховская квартира была очень просторной и довольно уютной, с большой столовой и продолговатым кабинетом, с зеленой кафельной печкой. Это был кабинет Колюши, и здесь обычно и собирались гости до и после различных трапез. Колюша по-прежнему шагал из одного угла кабинета в другой и о чем-нибудь громко говорил, но со времен "Думке" Колюша сильно переменился. Появился еще один сынок Андрей, которого Колюша неизменно называл "личность чрезвычайно малозначащая", и по тому, как он произносил это, чувствовалось, что Колюша очень нежно любил этого ребенка. К Фоме же Колюша начал придираться. Он был Фомой недоволен. Мол, плохо учится в школе (во французской гимназии в Берлине), ничего не умеет! Даже чистить рыбу не умеет! Часто покрикивал: "Глуп, туп, не развит, кривоног, соплив и Богу противен!"

Сколько самых различных людей перебывали в этом кабинете! Старые друзья, молодые знакомые ученые, какие-то дамы, певцы, девушки, юноши, важные немцы и даже советские военные. Колюша неизменно продолжал ходить из угла в угол и что-нибудь проповедовать. В то время он впал в черзвычайный шовинизм и чрезмерное православие. Он громко провозглашал, что самый паршивенький, самый вшивый русский мужичонка лучше Леонардо да Винчи или этого "треклятого Гете!". Гете он всегда произносил как Гоете и обычно продолжал: "Етише и поетише уебунген фон хер Гоете!" Утверждал он совершенно невероятные вещи. "Все эти индусы, католики, турки, идолопоклонники и т.п. в конце концов просто дрянь и люди не верующие. Верующим может быть только русский, православный человек! И быть верующим может только православный!" Из русских художников он больше всех любил Сурикова и Нестерова. Я предпочитал с Колюшей на эту тему не спорить, ибо, споря с Колюшей, ты просто "рисковал своим существованием!" Иногда он так обрушивался на кого-нибудь, кто высказывал свое мнение, говоря, что существование Бога, мол, вообще, еще не доказано, что становилось страшно за присмиревшего собеседника. Помню, он один раз столь темпераментно доказывал существованье Бога, что Лёлька прибежала в испуге из кухни, а Колюша, приводя свои доказательства, вдруг кинулся на кафельную печку, обнял и, показывая пальцем на эту же печку, закричал, что если Бога не было, то и эта печка не могла бы тут стоять! Как это ни странно, этот вопль был чем-то страшно убедителен, и я до сих пор его забыть не могу. Еще я не могу забыть его рассуждения о "переселении в какую-нибудь страну". Кто-то хотел переехать в Америку и сделаться американцем. Колюша возмутился и начал объяснять, что путешествовать приятно, но стать кем-нибудь очень неприятно! Выражался он так: "Поехать в Папуасию очень хорошо, но БЫТЬ папуасом отвратительно!" Когда кто-нибудь заикался о красоте Рима, Парижа, Венеции или Флоренции, то Колюша возмущался и утверждал, что самый красивый город в мире это Масальск. Никто в Масальске не бывал, и обычно все молчали. На Италию он всегда обрушивался, называя итальянцев макаронниками, и громко утверждал, что Рафаэль – просто рисовальщие (?!) религиозных вывесок!

Забавно было, что Колюша всегда абсолютно забывал все им сказанное! Он то крыл Италию и итальянцев, то начинал хвалить чуть ли не все итальянское. Впервые попав в Рим, он рассказывал мне, что Рим очень красивый город. Ругая все "немческое", он имел массу немецких друзей, немцы его обожали, и Колюша всегда был готов защищать все немецкое! В Колюше была смесь какой-то напускной грубости с абсолютно чистой душой ребенка.

Колюша окончательно забывал о "немческих отпусках" и мечтал опять поехать в отпуск, как школьник, и вот мы опять поехали вместе на Балтику, но на этот раз не в Аренсхоп, а в Померанию, в деревню Ровэ. В Рове мы сняли огромный крестьянский дом с соломенной крышей. В одной половине дома поселились Тимофеевы, а в другой я с женой и

маленьким сыном. Деревушка была действительно исключительно живописной, на берегу речки Лупо, где можно было удить угрей, а неподалеку в чудесных дюнах лежать голым на солнце и загорать. Колюша вставал рано. Загоревший до черноты, в трусах, с палкой в руке и с детективным романом и полотенцем под мышкой он каждый день отправлялся лежать голым в дюнах, читать детективный роман и курить.

Иногда еще до своего ухода в дюны Колюша приготовлял для всех суп. В огромную кастрюлю кидались бобы, фасоль, морковь, кусочки мяса, томаты и еще всякая всячина. Потом кастрюля завертывалась в большое одеяло и ставилась в угол комнаты до 7 ч вечера. Вечером сам Колюша развертывал одеяло и разливал молча суп. Попробовав первую ложку, все с глубоким вздохом говорили: "гениально!"

Спину Колюша всегда называл "спиноза". "Спинозу ломит!" Прогулка называлась "шпацер". "Учинить шпацер" означало пойти погулять. Один раз Колюша и Андрей пошли "учинить шпацер" по берегу моря. Колюша распевал: "Ах шарабан-бан американка, а я девчонка да хулиганка..." Шли мы гуськом и наткнулись на труп дельфина. Я выразил желание получить дельфиний череп. У нас был с собой хороший нож, и Колюша, присев на корточки, объявил: "Ну, вспомним анатомию" – и действительно очень ловко отделил голову от туловища дельфина. Мы с женой потом очень долго вываривали эту голову, и в конце концов я получил чудесный дельфиний череп.

Хозяева нашего дома в Ровэ жили в том же доме, где и мы, но только на самом чердаке. Хозяина звали господин Фробел. Это был довольно туповатый боцман, который объездил все порты мира, но не умел ни плавать, ни ездить на велосипеде. Велосипед висел под крышей в сарае уже годами, и никто не имел права до него дотронуться. Колюша почему-то питал к нему уважение, и один раз страшно меня ругал, когда я перепрыгнул через повешенные сети, хотя я их и не задел. С Фробелем Колюша впал в какую-то "толстовщину", хотя Толстого не очень-то любил. Фробеля он ставил в пример мне, а особенно своему Фоме! Вот, мол, работающий человек, обрабатывает землю, работает на пароходе, человек природы! В природе Фробел ничего не понимал, землю не обрабатывал и на пароходе ездил только зимой, а летом сдавал свой дом за неплохие деньги! К этому же Фробелю мы вернулись и в первый год войны. Фробел захлебывался немецкими успехами в Польше и уверял нас, что немцам скоро будет принадлежать весь мир и что нет гениальные людей на свете, чем немцы! О всех бывших "качествах Фробеля" Колюша совершенно забыл и только "мычал" в ответ, а я со злорадством смотрел на Колюшу. Однажды Фробел поехал через озеро в ближайший городок. Там он напился и, возвращаясь на лодке через то же озеро домой, лодку опрокинул. Озеро было довольно мелкое, но все же выше человеческого роста. Не умеющий плавать, Фробел всю ночь простоял в воде, держась за лодку, пока его кто-то не спас. Вернулся он домой злой и мокрый. Фома и я со злорадством спросили Колюшу, как поживает его добродетельный моряк? Колюша кратко ответил, что Фробел правильно сделал, что так

напился, а иначе он простудился бы! Больше мы уже в Рове не ездили. В Бухе, в Торхаузе по-прежнему встречались старые друзья, но в общем после начала войны все изменилось. Колюша перестал называть немцев "немчурой" и немецкое "немческим". Немецкие успехи определенно производили на него большое впечатление, но не на одного Колюша!

Среди русских происходили расколы, несогласия и даже семейные драмы. Многие были уверены в победе немцев, считали, что немцы "освободят" Россию от Сталина и тогда они – русские вернуться на Родину! Другие были уверены, что немцы в конце концов войну проиграют. О войне было небезопасно говорить! Колюша, человек абсолютно аполитичный, был как-то растерян! Он был в ужасе от "бесчеловечности", которая происходила вокруг. Россию он любил всей душой. В начале прихода к власти национал-социалистической партии он не страдал, как например, я. Его не особенно раздражало изъятие Ван-Гога и других художников из музеев, сожжение книг. Он думал, что все это временно проходящее России совсем не коснется! Но вот коснулось! Среди немцев у Колюши было много друзей, как почти что у всех нас. Слово "фашист" мы не знали и применяли его только по отношению к Италии. Сами немцы сильно менялись соответственно происшествиям, сперва буквально все были за Гитлера. С началом войны с Польшей отпало десять процентов, с объявлением войны французам и англичанам отпало 40 процентов, так как все вспомнили Верден. После молчаливой линии Мажино и занятия Парижа опять прибавилось процентов на 10 за Гитлера. С объявлением (которого в общем не было) войны Советскому Союзу настроение упало окончательно, но осталось еще процентов десять "за". Пишу я это так, потому что я это сам наблюдал и совершенно уверен в правильности моих наблюдений. Русские, которые ожесточенно защищали свою Родину, это ощущают совершенно иначе. Немцы вели войну до конца так ожесточенно, отчаянно, смело и глупо не потому, что они кого-то ненавидели или кого-то защищали, а потому, что немецкая армия "исполняла свой долг" – каким бы глупым этот долг ни казался. Мы – русские в Берлине вносили еще кое-какую политику в наши взгляды, но немецкая армия была аполитична. Не занимались политикой также и Колюша и большинство его друзей! Колюша видел только хороших или злых людей, только умных или глупых, а политические взгляды он просто не понимал! Колюша лучше бы умер на месте, чем совершил бы какое-нибудь бесчеловечное, гнусное дело, но в политике он не разбирался. Но тогда у нас в Германии было абсолютно невозможно в чем-нибудь разобраться. Где-то существовали наци но о них мало знали. Часто в Колюшином кабинете сидели немцы в офицерской форме, но видно было, что это не настоящие военные. Иногда Колюша обращался ко мне в коридоре и говорил: "Видишь, какой Пуфик там сидит в майорской форме? Ведь совсем идиотский вид, а ведь это один из крупнейших физиков мира!" И действительно. Эти немцы в форме были чрезвычайно добродушны. Жестокость и варварство существовали где-то невидимо для нас! По-прежнему Лёлька устраивала ужин из кукурузной муки (полента), предназначенной для

лабораторных крыс и мышей. Водка продолжала фабриковаться из институтского спирта.

Как-то раз Колюша объявил, что все мы состарились и стали гнусными, и в этом была некая печальная правда! Война бросила свою тень и на буховцев. Многие рассорились, беззаботность пропала. Но бывали и вспышки былого. Иногда приезжали новые люди! Певец из Парижа или какая-нибудь дама, приятельница знакомого, появлялись первые русские из Югославии и советские русские, которые старались избежать принудительной или полупринудительной работы на немецких фабриках. Колюша помогал всем и делал все, что было в его власти! Образовася какой-то буховский "остров спасенья"! Советские военнопленные биологи, французы, евреи, юноши-студенты и т.д. Колюша как-то умел их пристраивать и защищать от властей, от этих наци, которые устраивали какие-то ужасы, о которых мы тогда ничего не слыхали и чему нам теперь не верят!

Колюша иногда оживал и начинал ходить по своему кабинету, рассказывая о "казацкой лошади" или о "воробьях" какой-нибудь новой даме, если оная была хороша собой, и тогда обычно Лёлька, Селинов, Андрей и я уходили в другую комнату, и Андрей говорил матери: "Ну, мама, папа опять начал шармировать!" Один раз я поехал с Фомой в город, чтобы купить хороший перочинный нож для Фомы. Нож мы получили, какой хотели, а потом пошли пить чай в кафе. И вдруг Фома сказал мне, что он хочет убить Гитлера, что он состоит в определенном заговоре с друзьями и что он уверен, что дело ему удастся!!! Говорил он бодро и весело! Говорил, что он никогда бы это не сказал отцу, с которым он вообще не может говорить, ибо отец его только ругает! Потом Фома долго говорил о России, где, по его мнению, были самые быстрые поезда, самые хорошие дороги, самые большие тигры и орлы и самые лучшие люди в мире. Я был тронут, что Фома был так искренен со мной, но мне стало одновременно печально и очень страшно. Я почувствовал, как Фома впитал в себя все то, что Колюша ему говорил о России в своих приливах патриотизма, и как по-детски он все это воспринял, и как опасно то, что он задумал! Я должен был дать слово Фоме, что ничего и никому обо всем этом не расскажу. Через несколько недель после этой беседы со мной Фома был арестован. Впоследствии он погиб в одном из лагерей смерти. Арест Фомы, конечно, очень сильно подействовал на семью Тимофеевых. Колюша как-то замолк, а Лёлька долгое время мужественно делала все возможное, чтобы Фоме помочь. Конечно, без всякого результата. Она ездила неутомимо по всевозможным местам, старалась передать пакетики с продуктами, добивалась свидания с Фомой или с какими-нибудь высокопоставленными личностями, но все это было в те дни, конечно, немыслимо.

Война принимала совершенно иные, зловещие формы. Люди все больше и больше расходились в своих чувствах и мнениях. Колюша совершенно перестал что-либо утверждать или проповедовать. Под конец он даже забыл свое православие и начал просто душевно страдать. Мы жили

воспоминаниями. Колюша вспоминал, как он с Лёлькой ездил в Америку, в Париж, в Лондон, как он ел ложками икру на каком-то конгрессе. Я вспоминал, как Колюша приехал к нам в Лихтерфельде, когда нас навещали Кольцов и Мензбир! Помню моего отца и этих двух знаменитых русских зоологов и как "мирно" Колюша тогда беседовал и не ходил из угла в угол. А потом в 1934 г. Колюша первый примчался к нам в тот же Лихтерфельде, когда услыхал, что мой папа умер. Это было 24 декабря. Стояла незажженная елка и лежали какие-то подарки. Мой отец в своей "последней воле" написал, что он хочет, чтобы его тело было отдано в университет! Моя мама пришла в ужас, и я не знал, что делать. Колюша чрезвычайно нежно и тактично убедил меня, что "последняя воля" моего отца является и последним уважением его к науке и что теперь важней думать об оставшейся в живых маме. Все это мы часто вспоминали и тихо об этом беседовали ночью у Колюши в кабинете, когда я оставался там ночевать. Колюша любил спать в натопленной комнате, покрываясь легкой простыней, а я же, наоборот, любил холодный воздух, открытое окно и теплое одеяло. Вот так мы лежали в натопленной комнате и беседовали о былом. "Н-да, – говорил тихонько Колюша, – много мы делали и говорили глупостей, но все же много было и хороших часов, да, пожалуй, и дней!"

Я жил в Берлине в ателье С.И. Мамонтова, который уехал в Австрию. Квартира моя была разбомблена, делать было нечего, еды было чрезвычайно мало, и я обычно лежал на койке или слонялся по полуразрушенному городу и многие часы и ночи проводил где-нибудь в погребе или в бункере, спасаясь от беспрерывных налетов. Часто сговаривался с друзьями или со знакомыми, чтобы вместе попасть в более надежный погреб или бункер. Питался я кое-как, в самое различное время носил на себе сразу три рубашки и три пары носков и всегда имел при себе чемоданчик с самыми необходимыми вещами. С женой я был разведен, жена с мальчиком жила в Бухе, где она снимала комнату неподалеку от вокзала, в километрах трех от Института, где жили Тимофеевы. В один чудесный весенний день я решил навестить жену и сына, что я делал регулярно. На подземном вокзале пригородной электрички я увидел, что поезд, нужный мне, идет как раз только до Буха, а не до конечной остановки Бернау, как полагается. Тут же мне бросились в глаза необычаная суета, а главное, большое количество солдат в полном вооружении и в касках с охапками ветвей для камуфляжа. Когда я влез в вагон поезда, идущего в Бух, я услыхал взволнованный говор людей. Все что-то обсуждали! Что поезд, мол, обстреливается из самолетов, что русские уже в Бернау и что на многих остановках поезд останавливается. В Бух я все же приехал благополучно, но на станции я увидал на стенах и рекламных вывесках дыры от пулементных пуль. Жена моя была дома и очень обрадовалась, что я приехал. Наш друг Владимир Иванович Селинов уже сидел у нее. По громкоговорителям все время что-то передавали и просили публику идти в погреба или в бункеры.

Мы вчетвером с чемоданчиками в руках отправились в главный боль-

шой бункер, находившийся в городском парке Буха. В этом парке мы наткнулись на стадо жалобно мычащих коров, которые определенно страдали от того, что их давно не доили. В бункере мы сразу нашли "уютный уголок", а моя жена решила идти доить коров. Этой идее чрезвычайно обрадовались все женщины, которые сидели в бункере с маленькими детьми. Жена моя тут же достала где-то два ведра и отправилась в парк к коровам. Иногда парк обстреливали, но жену мою это мало смущало, и ей удалось принести в бункер несколько ведер молока, что в это время было неописуемым чудом. Жена моя сразу превратилась в героиню. В бункере мы просидели два дня и две ночи. На третий день утром послышался отчаянный стук прикладами в дверь и зазвучала "родная русская матерщина". Меня охватило чувство страха и патриотизма! "Наши все же пришли в Берлин!" Немцы дрожали и умоляли Селинова или меня открыть дверь. И вот я открыл дверь первым русским солдатам. Это были парни лет 19, без касок, в пилотках и с автоматами. Я дрожащим голосом объявил, что я русский, и парень мне тут же ответил: "Мне наплевать, кто ты" – и тут же снял ловко мои часы с руки. Не буду описывать все эти столь волнительные и красочные дни! Тут было все! Что-то из "Войны и мира", что-то из "Капитанской дочки" и даже кое-что от Достоевского. Трудно описать этот "подъем", колторый вдруг на тебя налетел! И страшно, и противно, и жутко, и весело. Ко всему этому впервые я увидел советские танки, на которых сидели военные и распевали "Катюшу"! Квартира, в которой жила моя жена с сыном, была тут же конфискована, и в ней уже два солдата долбили дырки для телефонного провода. Селинов, моя жена, сынок и я стояли, как погорельцы, на улице и смотрели на эту работу. Потом мы отправились с нашими чемоданчиками в Институт к Тимофеевым. Колюша и Лёлька встретили нас со страшным волнением и радостью. Они уже успели пережить много чрезвычайно волнительных часов. И вот мы оказались с Тимофеевым в опустевшем Институте. Очень многие институтские деятели его покинули, кое-какие врачи покончили с собой, остались только немцы, которых Колюша уговорил остаться, как он уговорил остаться в Берлине и нас. Все, что я рассказываю, я рассказываю о Колюше, как о старом друге, а никак не о биологе и генетике, ибо в этих науках я ничего не смыслю! Остались на территории Института Тимофеевы, семья Царапкиных, советских биолог Паншин с женой, еще два советских биолога, человек шесть французских пленных, молодой советский пианист Топилин. И вот теперь еще явились и мы с Селиновым, пришли из Буха некие Гребенщиковы, Игорь и его жена, мои хорошие друзья! Потом оказалось, что был еще доктор Кач с женой, некий Петер Вельт, спасавшийся еврей, молодой еврей Розенкётер и какие-то лаборантки. Одним словом, полная смесь национальностей и профессий, которая тут же превратилась в "собственное государство", а Колюша – в предводителя, начальника и диктатора этого государства. Сразу все беспрекословно стали Колюше во всем повиноваться! Колюша дал себе титул "директора Института", что было чрезвычайно наивно и чревато последствиями. Колюша заведовал в Институте только генетическим от-

делением, весь Институт он не знал и знать просто не мог. Мы, годами бывавшие в Бухе, даже не знали, например, где находятся лечебницы, но и Колюша не знал, где они и как к ним пройти и кто и чем там заведует. Таким образом, это "директорство" в Институте принесло Колюше впоследствии много неприятного и тяжелого. Боже мой, до чего мы все тогда были несведущими и наивными людьми! Думаю, что человек, занимающийся политикой, даже просто не может это себе представить!

Первая, главная задача была оградить Институт от грабежей и порчи материала. Для этого был послан Селинов с грудой мной написанных плакатов, чтобы он их разместил на границах территории Института, что это, мол, "научный институт" и что тут строго воспрещается что-либо ломать или красть. Селинов так старательно прибивал эти плакаты, что иногда прибивал их даже около частных домов, желая защитить какую-нибудь женщину от лишних неприятностей. Первые три дня плакаты не помогали, и в институтский парк все время приходил солдаты! Когда мне случалось их встретить и я говорил, что тут научный институт, то часто, узнав, что я русский, солдат радостно палил из автомата в небо, говоря: "Вот тебе салют". Один раз въехали на конях чрезвычайно живописные казаки. Я даже не подозревал, что такие еще могут существовать. Но скоро появились и офицеры, и военные врачи, и Колюша с таким напором и темпераментом пристал к ним с просьбой о помощи, что они действительно тут же взяли Институт под свое покровительство. Дали нам даже часового с довольно старомодной винтовкой. Этот солдат был какого-то восточного происхождения, с черными, нежными глазами и тонкими руками, в которых он держал винтовку. Свое дело он принял очень всерьез и старался объяснить каждому солдату, что "тут работает очень умный, очень важный, очень хороший профессор и у профессора может быть мысль, очень важная, очень нужная, а ты, дурак, на своем велосипеде можешь ему помешать! И нет мысли!" Как это ни странно, солдаты его слушали и уходили. Врачи скоро заняли опустевшие помещения больниц под лазареты. То, что вдруг "туземных алкоголиков" не оказалось, нас слегка удивило. Восстановился порядок! Раненым было позволено спокойно гулять по парку, а некоторые больные солдаты ездили по парку на велосипеде.

Однажды утром приехал грузовик и кое-кого из нас арестовали. Выбор арестованных был довольно странный: Колюша, я, пианист Топилин, Паншин и два советских биолога. Мы, конечно, очень перепугались, но делать было нечего. Сперва мы провели ночь в бараке, а потом нас куда-то повели пешком. Вел нас военный очень небольшого чина и все время угощал нас сигаретами. Колюша беспрерывно старался этому бедному военному объяснить, что такое генетика, внушить ему интерес к судьбе Института и любовь и уважение к науке. Бедняга, конечно, ничего не понимал и твердил Колюше в ответ только одно: "Да не суетись ты, профессор! Ну что пристал!" Солдат вел нас по военной карте и не имел права сказать, куда он нас ведет. Мы шли по дорогам с утра до позднего вечера и пришли туда, куда можно было прийти через полчаса. По дороге

мы видели страшные сцены недавних сражений. Деревушка и вывеска пивной, повисшая над домом, прудик и в прудике девочка лет 14, лежащая головой в воде. Две немецкие, легкие пушки, кругом ящики с совершенно новенькими снарядами – почему-то с ярко-желтыми нарисованными кольцами вокруг гильз, солома, пушки покосились и человек 12 немецких солдат в различных позах, разбросанные веером вокруг. Все это выглядело как панорама, и мертвые были как из воска. По дорогам попадались мертвые собаки, а на обочине дороги мертвые люди – старики, дети! Опять все как из воска. Это было утро чудесного, весеннего дня. Весь день был роскошно-весенний! По Игорю Северянину, не должно было бы быть в такой день виновных!

Привели нас в очень уютный и чистый немецкий загородный дом и тут же накормили наскоро обедом. Для ночевки отвели в другой домик рядом, в саду цвели яблони и жужжали пчелы. Допрашивали нас по ночам и всех отдельно и, очевидно, очень по-разному. Мой допрос окончился в полчаса за одиннадцать дней. Колюшу допрашивали по нескольку часов каждую ночь. С утра мы начинали слышать "катюшу", которая обстреливала Берлин. Мы сидели под яблонями, громадный матрос, весь в коже, нас сторожил и угощал сигаретами и вел с нами длинные разговоры о кавказском побережье, о прелестях женщин и о злодеях-фашистах! Тут я впервые услыхал, что русские называли немцев фашистами. Через одиннадцать дней всех нас отпустили, кроме биолога Паншина. Мы вернулись пешком в Бух через полчаса и были радостно встречены нашими женщинами.

Началась какая-то фантастическая, нереальная жизнь фантастического буховского Института! Колюша из директора превратился в окончательного диктатора и так следил за порядком, что мы все его боялись, как огня! Все получили свое назначение. Я был назван "художником при Институте". Мы с женой (разведенной) и мальчиком получили чудесную квартиру, которую покинул какой-то бывший институтский немец. Игорь Гребенщиков – научный работник, генетик, получил с женой Ниной тоже очень хорошую квартиру. Пленные французы получили хорошие помещения и различные профессии: садовник, столяр, научный работник, физик и был даже один "философ". Владимир Иванович Селинов превратился в "консьержа", т.е. в привратника у входа в Институт. Он сидел в остекленном помещении около телефона, который не работал.

Колюша продолжал научную работу, но был душевно так одинок и нервен, что с ним нельзя было говорить! Люди его раздражали, а малейшая веселость приводила в ярость! Как-то он ругал какую-то невинную немецкую псевдолаборантку и кричал, что он на нее донесет и ее сошлют! Кому? Куда? Меня он тоже часто ругал и обвинял в том, что я корчу из себя какого-то англичанина и не чувствую "самого важного"! Что было "самое важное", никто не мог объяснить, но иногда ругань Колюши была не очень приятна и даже несправедливо оскорбительна. "Буховские вечера" в их былой форме прекратились, но все же мы иногда собирались в знаменитом Колюшином кабинете. Теперь часто присутствовали совет-

ские военные, главные образом военные врачи. Люди обычно исключительно приятные и образованные. Колюша, как раньше, начинал шагать из угла в угол через весь кабинет и что-то доказывать. С этими новыми военными Колюша был много любезней, чем прежде с нами, и поэтому его речь далеко не была такой красочной, как раньше! "Пифик слабоумный", "пожужжи мозжечком", "дурак с фанаберией" больше не попадались в его речи и "легким етишнечком" он тоже уже никого не крыл! Говорил Колюша главным образом об Институте, генетике, науке. Иногда он упорно советовал советским офицерам съездить в Париж или в Лондон! "Время у вас есть, теперь это для вас не очень далеко, а Париж все же стоящий город!" Военные обычно молчали или просто говорили: "Н-да, хорошо бы".

Я как "художник Института" носил белый халат, и поэтому все солдаты называли меня неизменно "доктор". Я сидел в обширном помещении и рисовал пером то личинки кузнечиков, то божьих коровок, то мышиные зубы. Иногда я выходил проветриться на лужайку перед Институтом. При Институте жили в больших клетках обезьяны, предназначенные для опытов, которых теперь не делали. Однажды, когда я стоял перед клеткой с павианом, ко мне подошел солдат и спросил: "Скажи, доктор, эти обезьяны в германских лесах пойманы?" Я ему ответил, что в германских лесах обезьян нет, а что это, мол, вот павиан из Африки, а там вот есть макаки из Индии и т.д. Я начал рассказывать об обезьянах, которых я, кстати, очень люблю. Через несколько минут я оглянулся и увидал человек 15, сидящих на лужайке солдат, которые с интересом меня слушают. Мне даже неловко стало! И вдруг один солдат говорит: "Вот, доктор, интересно рассказываешь, а то мы все воюем да воюем и ничего-то интересного не слышим!" Было что-то чрезвычайно трогательное и печальное в этих словах.

А еще один случай произвел на меня большое впечатление. Было роскошное летнее утро, я вышел на поляну и увидал группу людей перед входом в один дом. Рядом со мной стоял еще совершенно молодой солдатик с автоматом. Я его спросил, в чем дело? "Да опять какой-то немецкий доктор отравил себя, жену и двух детей! Вот там, у себя в доме их нашли! И чего это люди себя убивают? Такая погода, солнце светит, махорка есть! Чего еще надо?"

Отпраздновали мы в Бухе капитуляцию Германии. Смотрели из нашего парка на грандиозный фейерверк в небе над Берлином.

Я очень любил ходить в самодельный, примитивный театр, который устраивали для раненых солдат. Играли частично и профессионалы, но больше было любителей. Устраивали подмостки и занавес между деревьями, вешали фонари и на подмостках разыгрывалась всякая чепуха. Все же иногда с большим юмором и даже с талантом! Комические сценки, вроде "фронтовая Катюша", или история какого-нибудь "неудачного ухажора". Играла гармошка, много плясали, а иногда громко читали стихи. Лампионы, тень от каштановых листьев, музыка, даже запах махорки – все это было полно шарма и непосредственности. Иногда даже

напоминало "итальянскую комедию" – Comedia dell' Arte. Колюша на подобные вечера не ходил и даже очень сердился на меня, что я могу увлекаться такой ерундой. На советские фильмы он тоже не ходил и опять упрекал меня, что я не вижу "самого главного"! "Самое главное" для меня было загадкой. Колюша все время чего-то искал! Искал, может быть, то главное, чего ему не доставало и что он не мог найти. Свою работу? Колюша был патриот! Он безумно любил Россию, науку, свою работу и хотел работать в России, для России! Он многих русских уговаривал остаться, уговорил и многих немцев. Наци погубили его сына, сам Колюша только и делал, что помогал советским пленным, евреям, полуевреям и просто людям, которые просили его о помощи! И вот он дождался прихода "своих"! К нему были милы, но, очевидно, не все. Кто-то и где-то ему не доверял! Колюша был полон забот! Мы чувствовали только, что наше "хорошее настроение" Колюшу невероятно раздражало!

Я в это лето очень сдружился с Гребенщиковым. Жена Игоря Нина была чудесная поэтесса, и сам Игорь был не только биологом, но и поэтом. У нас образовались своего рода литературные вечера, где Игорь и Нина декламировали свои стихи, а Игорь иногда читал нам вслух различные романы. Владимир Иванович Селинов, большой знаток русской поэзии, всегда присутствовал на этих вечерах, а иногда приходили и Лёлька, Розенкётер , не понимавший по-русски, и еще кто-нибудь. Эти вечера были исключительно приятны, а к тому же было еще теплое лето, вечера были длинные и – в конце концов – мы все были тогда на этих вечерах очень счастливы, несмотря на голод, нужду и даже ужас, который окружал наш Буховский парк. Нина Гребенщикова назвала этот Буховский парк "очарованным садом", и этот "очарованный сад" несколько раз появлялся в ее стихах. Эти "литературные вечера" Колюша тоже не посещал. Он продолжал быть занятым своими тяжелыми мыслями и заботами. Спать мы сложились обычно очень поздно. Расходились по своим квартирам и искали что-нибудь съедобное. Варили себе на ночь какой-нибудь будь самодельный суп или доставали оставшуюся коробку сардинок, которые нам давали военные, которых мы фотографировали. Фотографирование солдат был тогда наш способ зарабатывать! Обычно обе стороны оставались довольными, и за хорошую фотографию мы получали корнбиф, сардинки, иногда муку или "трофейные сигареты". Так, в один из вечеров, уже в час ночи или позже, я стоял в кухне нашей квартиры и искал, что можно было бы "сожрать". Вдруг я услышал шорох автомобильных шин и увидал огромный, черный "Мерседес", который остановился прямо перед открытой дверью. Трое мужчин вылезли из машины и направились прямо ко мне. "Скажите, Вы не знаете, где тут живет профессор Тимофеев-Ресовский?" Я вызвался их проводить и повел их через парк к Торхаузу. Колюша тоже еще не ложился, и я сказал ему, что там три человека хотят с ним поговорить. Колюша вышел к ним, и приехавшие люди очень любезно попросили Колюшу съездить с ними в Берлин на какую-то конференцию! Через час или два его привезут обратно. "Ну а я пойду спать, – сказал я Колюше, – ведь завтра мы ужинаем вместе?"

После этого мы услыхали вновь о Колюше ровно через два года, а я уже больше Колюшу никогда не видал!

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЦИНГЕР (OLEG ZINGER). Родился в 1910 г. в Москве. Сын русских эмигрантов, за границей с 1922 г. Племянник знаменитого русского ботаника Н.В. Цингера. Художник. Познакомился с Н.В.Т.-Р. в 1927 г. в Берлине. Их связывала близкая дружба вплоть до отъезда Н.В.Т.-Р. из Берлин-Буха в 1945 г. Живет в Париже.

Бентли Глас

ПАМЯТИ ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО

Моя первая встреча с Н.В. Тимофеевым-Ресовским состоялась во время VI Международного конгресса генетиков в Корнельском университете в г. Итака (шт. Нью-Йорк). Это было в августе 1932 г. В то время я только что получил степень доктора философии Техасского университета, где я работал под руководством профессора Германа Джозефа Меллера над проблемой природы рекомбинации хромосом и их мейотической сегрегации в мутантных линиях дрозофилы с различной мозаикой окраски глаз. Мутации вызывались облучением рентгеновскими лучами. Занимаясь этой проблемой, я прочитал большое количество работ по генетике. Получив известие о том, что я принят в члены национального научного совета и, возможно, буду работать с Куртом Штерном в Институте кайзера Вильгельма в Берлине, я познакомился с литературой, выпускаемой на немецком языке, в результате чего встретился с работами Тимофеева-Ресовского. Лишь некоторые его работы были опубликованы на английском языке, большинство же на немецком. Я был восхищен его изобретательностью по части нахождения опытов для проверки своих гипотез, умению и скрупулезности, с которыми он доводил до конца свои анализы.

Во время конгресса я с большим интересом присоединился к аудитории, которая собралась, чтобы послушать его сообщение на тему "Генные мутации различных направлений". Было сделано великолепное резюме его работы по обратимости генных мутаций, которое обнаружило блестящее знание литературы по генетике и мастерское владение английским языком.

На конгрессе в Итаке был также Курт Штерн. После встречи и обсуждения с ним моей будущей работы, я узнал, что он изменил свое намерение немедленно возвращаться в Германию. Угроза взрыва антисемитизма казалась слишком опасной Штерну и его американской невесте для

возвращения в Берлин. Он решил подождать еще шесть месяцев, продлив свое пребывание в Соединенных Штатах, а затем вернуться в Берлин весной 1933 г., когда, как он надеялся, условия будут более подходящими. Я сообщил все это Меллеру, который немедленно устроил меня на работу: я должен был ехать в Осло в лабораторию Отто Лоуса Мора. Он тоже был на конгрессе и как только к нему обратился Меллер, любезно согласился принять меня в свою лабораторию. Через шесть месяцев я должен был продолжить мою работу в Берлине, куда я поехал с большой неохотой после счастливых дней, проведенных в Норвегии.

В Берлин-Далем я прибыл 1 апреля 1933 г. Однако Курта Штерна там не было. К тому времени он почти оставил всякую надежду когда-либо вернуться в Германию, так как политическая ситуация там была еще хуже, чем прежде: началось уничтожение евреев. Когда я приехал, Рихард Гольдшмидт, глава биологического отделения Института, был на отдыхе в Италии. Меня встретили его коллеги, среди которых не было генетиков, с кем бы я мог поделиться своими мыслями. Когда через две недели Гольдшмидт вернулся из Италии, он был очень добр ко мне. Однако, так как он еще не перенес свои интересы в генетике на дрозофилу, я все еще не знал, что делать. И мне казалось, что я могу сделать очень немного.

Как раз в это время Меллер побывал в другом отделении Института кайзера Вильгельма: в Научно-исследовательском институте мозга в Берлин-Бухе, где руководителем отделения генетики в то время был Тимофеев-Ресовский. С ним Меллер провел несколько недель перед своей поездкой в Москву, в Институт Н.К. Кольцова, в котором работали большинство московских генетиков. Так он намеревался пробыть не менее года.

Еще раз Меллер пришел мне на помощь. Он предложил мне перебраться в Бух и поработать с Тимофеевым-Ресовским. Это было гораздо лучше, чем работать в изоляции в Далеме. Я охотно ухватился за эту идею. Меллер позвонил в Фонд Рокфеллера в Париже, который заведовал американскими стипендиатами, работающими в Европе, и сразу же пришло необходимое разрешение.

Тимофеев выделил мне большую лабораторию, убедился в том, что у меня есть комната в доме для сотрудников Института, и переговорил со мной о моих исследованиях. Мы составили программу работ, которую я обсудил также с Меллером. Далее Тимофеев-Ресовский предоставил меня самому себе.

Время было страшное. Нацисты вмешивались во все, в том числе в работу научных учреждений, и интересовались теми, кто имел "подозрительную" репутацию. Некоторые из моих коллег вызывались по подозрению, но возвращались в Институт. Другие исчезали навсегда. Я не слушал радио, так как не мог выносить политические разглагольствования, которыми было наводнено все вокруг в те дни. Вместо этого я проводил свой досуг главным образом в концертных залах и великолепных музеях изобразительных искусств Берлина. Ничто не могло повлиять на их качество. Однажды вечером после оперы Вагнера, которую я слушал в

старом оперном театре, расположенном на старинной центральной площади Берлина, я увидел большую толпу людей, собравшихся вокруг множества книг. Перед толпой выступал человек, одетый в нацитскую форму. Я остановился, прислушался и смог понять его резкие выпады против "ненавестных предательских книг еврейских авторов, которые оказывали вредное влияние на немецкую молодежь". Когда он закончил свою довольно длинную речь, другие люди в форме облили книги бензином и подожгли их. Я понял, что присутствую при самом первом из печально известных впоследствии сжигании книг.

Я не говорил с Тимофеевым-Ресовским о политике, но знал очень хорошо, что он не симпатизирует нацистам не только из-за их ненависти к людям "неарийского" происхождения, но и из-за их угрожающего посягательства на свободу науки.

Однажды был организован замечательный вечер для всех сотрудников Института, который проходил вне здания Института в большом зале для танцев. Тогда Тимофеев-Ресовский показал мне, как надо пить водку, "как должен это делать русский". "Вы наполняете маленькую рюмку водкой, обильно насыпаете в нее черный перец и опустошаете за один глоток. Что не сделает водка, завершит перец", – были его инструкции. После вечеринки мои коллеги во главе с Тимофеевым-Ресовским вынуждены были прогуливаться со мной по улице с тем, чтобы я пришел в себя, подышав ночным прохладным воздухом. Я не помню, чтобы у меня была головная боль на следующее утро, и я пришел на работу как обычно.

В сентябре, за несколько недель до моего возвращения в Соединенные Штаты, Тимофеев-Ресовский сообщил мне о том, что планируется заседание Общества генетиков Германии в Гёттингене. Он собирался выступить на нем с докладом, а Бернадр Патцик, психиатр из Института мозга, который очень интересовался генетикой, должен был отвезти туда Тимофеева-Ресовского на машине. Мне было предложено поехать с ними. Я согласился. После чего было добавлено: "А почему бы Вам не подготовить доклад об исследованиях поведения хромосом различных мозаиков по окраске глаза дрозофилы и не выступить с ним? Напишите 2–3 страницы, а я переведу их на хороший немецкий; Вы же прочитаете доклад на заседании". Так я написал научный доклад на немецком языке.

Поездка была замечательной: через старые города Вернигероде, Хальберштадт, Магдебург и горы Гарц. Я вспоминал Генриха Гейне, чьи прекрасные стихи так любил. В то время на него готовился запрет: он был евреем. Мы приехали в тихий Гёттинген с его статуей гуся-девочки на главной площади, с университетом, знаменитым физиками, а в тот день и генетиками. После удачного выступления я вернулся на свое место, чтобы послушать доклады других участников и насладиться вечером. Через несколько дней я попрощался с Тимофеевым-Ресовским. Тогда мы оба думали, что будем встречаться часто и продолжим нашу дружбу.

Этому не суждено было случиться. Много лет спустя, в 1960 г., когда я был в Москве на Пакгоушской конференции по науке и всемирным проблемам, проходившей в Доме дружбы, я спросил, возможно ли

посетить Тимофеева-Ресовского в Обнинске или Москве. Я был членом Постоянного комитета, который организовывал конференции, и подружился с моими советскими коллегами по комитету. Мой друг академик А.В. Топчиев сказал, что он попробует что-нибудь сделать для меня. Позднее мне сообщили, что встреча невозможна: Тимофеев-Ресовский или в отъезде, или болен, или . . .

Будучи членом комитета по назначению кандидатур для награждения их Кимберовской золотой медалью и премией, созданного Академией наук США, я имел возможность включить Н.В. Тимофеева-Ресовского в список для награждения его такой премией в 1966 г. Для этого я подготовил краткое сообщение о его выдающемся вкладе в генетику, которое было заслушано при заочном назначении ему награды нашим комитетом. Такая награда рассматривалась как величайшая заслуга, которую мог получить генетик в Америке. До этого момента она была присуждена лишь 12 специалистам, и только Тимофеев и еще один кандидат оказались последними, кому она была присуждена. Тимофеев-Ресовский и Дж.Б.С. Холдейн – единственные неамериканцы, которым выпала такая высокая честь. К сожалению, Тимофеев не смог приехать в Вашингтон. Тогда мы надеялись, что он получит ее в Москве в марте 1967 г., когда туда прибудет группа представителей Академии наук США, чтобы встретиться с коллегами из Академии наук СССР для переговоров о научном обмене, а также по другим проблемам, представляющим взаимный интерес. Профессор Дж.Б. Кистяковский, вице-президент Американской академии наук, подготовил представление для вручения награды[1].

В 1969 г. я еще раз посетил Советский Союз. Американская ассоциация по научному прогрессу установила обмен специалистами со своим советским партнером обществом "Знание". В предыдущие годы несколько представителей "Знания" побывали в Вашингтоне во время ежегодных заседаний Ассоциации, им была оказана сердечная встреча. На этот раз мне как президенту Ассоциации было поручено нанести ответный визит. Я был также сердечно принят обществом "Знание". Во время посещения научных музеев мне показали последние научные издания, среди которых я с удовольствием отметил несколько публикаций по генетике и эволюции, принадлежащих Тимофееву-Ресовскому. Ими гордились, их широко распространяли. Я рассказал о своей дружбе с Тимофеевым-Ресовским и спросил, возможна ли встреча с ним в обществе "Знание" или в Обнинске. В тот визит входила моя поездка в Ригу на два-три дня для ознакомления с работой общества "Знание" в одной из советских республик. Затем я должен был ехать на несколько дней в Ленинград, где собирался побывать в Эрмитаже, Дворце на Неве, и посмотреть знаменитую советскую труппу клоунов. После чего я должен был вернуться в Москву, где думал, наконец, увидеть Тимофеева-Ресовского. Мои друзья и на этот раз обещали мне помочь. Однако, когда я вернулся, мне сказа-

[1]Премия была вручена в Академии медицинских наук СССР в присутствии узкого круга друзей Н.В.Т.-Р. – *Прим. ред.*

ли, что он отдыхает в Крыму и поэтому наша встреча не может состояться[1]. Я был глубоко разочарован.

Во время Международного конгресса генетиков, который проходил в Москве в 1978 г., когда, наконец, Тимофеев-Ресовский мог встретиться со своими зарубежными коллегами и возобновить с ними знакомство, я был слишком занят и не мог принять участие в его работе. Это был мой последний шанс увидеться со старым другом. Я находился под сильным впечатлением от цветных фотографий, сделанных в Москве в 1972 г. профессором Георгом Мелхерсом из Института биологии им. Планка (г. Тюбинген) во время торжественного обеда, состоявшегося по случаю встречи представителей Всесоюзного общества генетиков им Н.И. Вавилова и селекционеров из МГУ. На фотографиях за одним столом с Тимофеевым-Ресовским и его женой Еленой сидел профессор Ханс Штуббе из ГДР и еще один мой старый друг тех дней по Берлин-Буху. Все они были в таком приподнятом настроении. Как бы я хотел оказаться с ними!

Сейчас эти фотографии хранятся в Филадельфии в Американском философском обществе и принадлежат генетическому разделу. Америка располагает богатейшим материалом для историков генетической науки.

Перевод Л.Г. Богдан

ХИРАМ БЕНТЛИ ГЛАС (BENTLEY GLASS). Американский генетик и историк генетики, член Национальной АН США, ее вице-президент в 1965–1971 гг. Родился в Китае в 1906 г. Окончил университет Бейлора (штат Техас, 1926). С 1965 г. профессор университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке. Член Американской академии искусств и наук. Главный редактор "Quarterly Review of Biology". Познакомился с Н.В. Тимофеевым-Ресовским в 1933 г.

Б. Ренш

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО НЕОДАРВИНИЗМА В ГЕРМАНИИ

К концу 30-х годов несколько авторов полагали, что для объяснения филогенетического развития организмов достаточно мутации, рекомбинации генов и отбора. Например, генетик Тимофеев-Ресовский в 1939 г. писал: "Не существует никаких особых возражений против экстраполяции механизма микроэволюции на макроэволюцию и ее специальные проблемы (высшие, систематические категории, специальные адаптации, специальное развитие новых органов)".

---

[1]Н.В.Т.-Р. никогда не отдыхал в Крыму – *Прим. ред.*

В Берлинском музее у меня было много дискуссий со Штреземаном. Я едва мог выбраться в Берлин-Далем, но тесных контактов ни с кем так у меня не было. С другой стороны, у меня были контакты с группой из Берлин-Буха. Я встретил Тимофеева-Ресовского в Берлинском музее, и он пригласил меня проверить мои идеи на дрозофиле в его лаборатории. В результате я провел большую часть послеполуденного времени в лучшее время года в 1931–1933 гг. в Институте мозга в Бухе, проверяя последствие различного температурного режима в онтогенезе, в то время это был актуальный вопрос из-за выступлений Джолло. Несмотря на то что я проводил эксперименты на многих поколениях, результаты были отрицательными, и я ничего не опубликовал. Тем не менее я познакомился с техникой работы с дрозофилой, с мутациями дрозофилы. У меня было также много стимулирующих бесед с Тимофеевым-Ресовским, Клаусом Циммерманом, Царапкиным и иногда с Оскаром Фогтом, директором Института.

Б. РЕНШ (BERNHARD RENSCH) 1900–1990 гг. Крупнейший зоолог, один из активных участников создания синтетической теории эволюции. Автор учения о "кругах форм" (Rassenkreislehre). Встречался с Н.В. Тимофеевым-Ресовским в Берлине.

Э. Майр

ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ

У меня остались лишь очень смутные воспоминания о встречах с Тимофеевым-Ресовским во время моей работы в Берлине (1925–1930 гг.). Когда я встретился с ним в Москве в 1972 г., я сказал, что, вероятно, мы не встречались с ним раньше, но он это сразу же опроверг, заявив, что присутствовал на моей лекции по материалам моей докторской диссертации о расширении границ ареала канареечного вьюрка. Он запомнил ту лекцию так хорошо потому, что ее тема точно соответствовала проблеме взаимоотношений между эволюцией и географическим распространением видов, которая была предметом его главного интереса. Во время моего Берлинского периода я никогда не был в Берлин-Бухе. Я был очень занят тогда в короткий отрезок времени между защитой докторской диссертации и отъездом на Новую Гвинею, что, возможно, объясняет скудость моих контактов с Тимофеевым.

Когда я прибыл в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке (1931 г.), я начал жадно читать литературу по эволюции. Именно тогда я натолкнулся на несколько статей Тимофеева по географической

изменчивости и распределению генов в локальных популяциях. Мое знакомство с его работами было углублено его статьей в "Новой систематике" Хаксли. Я процитировал три его работы в своей книге 1942 г. Его работа в томе Геберера (1943 г.) также способствовала улучшению моих знаний о его работе.

Я уже отмечал, что его работа была столь близка мне потому, что он заострял внимание именно на тех аспектах эволюции, которые интересовали меня больше всего. Поскольку в работах большинства современных генетиков (за исключением Добржанского) отсутствует интерес к разнообразию, к вопросу локальных популяций, важности географической изменчивости, мне было особенно приятно, что существует такой генетик, который осознает важность популяционной структуры и географической изменчивости. В своей книге (1942 г.) я цитирую не менее 8 страниц из работ Тимофеева, в списке литературы привожу три его статьи.

Историки науки обычно пренебрегают вкладами Тимофеева в эволюционный синтез. Я привлек внимание к этому в своей недавней книге "К новой философии биологии" (с. 549). Здесь я отмечаю, что в Европе Тимофеев сыграл столь же важную роль в становлении эволюционного синтеза, как и Добржанский в Соединенных Штатах. В результате эволюционный синтез в Германии и других европейских странах развивался более или менее независимо от его развития в англоязычных странах, и это заслуга Тимофеева. Именно он убедил Ренша отказаться от веры в наследование приобретенных признаков.

Я не видел Тимофеева до 1972 г., когда я приехал в Москву. Одна из моих лекций проходила в Астауровском институте. Перед началом лекции я разговаривал с Астауровым в комнате позади лекционного зала, и он сказал мне, что, войдя в зал, я увижу старого друга. Когда я вошел в зал, могучий человек встал со стула в первом ряду, подошел ко мне и крепко обнял. Это был Тимофеев-Ресовский. У нас выступили слезы на глазах. Благодаря усилиям Астаурова ему было разрешено приехать из Обнинска на мою лекцию. После лекции Астауров предоставил нам возможность провести немного времени наедине в комнатке позади лекционного зала, где мы описали друг другу свое прошлое и выразили радость по поводу того, что наши эволюционные идеи были столь широко приняты.

Больше я никогда не видел Тимофеева, хотя мы продолжали переписываться. Он, несомненно, оказал важное влияние на мою жизнь.

ЭРНСТ МАЙР (ERNST MAYR) — известный американский зоолог и эволюционист, историк науки, член Национальной АН США и ряда других академий. Родился в Германии в 1904 г. В 20-е годы работал в Зоологическом музее Берлинского университета. Один из создателей синтетической теории эволюции. Профессор Музея сравнительной зоологии Гарвардского университета (Кеймбридж, США).

Ханс Штуббе

ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ ТИМОФЕЕВЕ-РЕСОВСКОМ

Я познакомился с ним в январе 1929 г., когда он впервые посетил меня в Институте селекционных исследований кайзера Вильгельма в Мюнхеберге. Он приехал с известным исследователем мозга Оскаром Фогтом, по-моему, в 1925 г. из Советского Союза в Берлин-Бух и руководил там в Институте отделом генетики. В то время он работал преимущественно в области радиационной генетики с мухой Drosophila и, видимо, слышал, что я работаю в той же области с высшими растениями. За его визитом в Мюнхеберг скоро последовал мой ответный визит в Берлин-Бух, и из этого первого знакомства, сопровождавшегося длинными дискуссиями о нашей работе, выросла связь, которая становилась все теснее и с течением лет превратилась в хорошую и надежную дружбу. Я часто бывал в Бухе и скоро основательно изучил результаты его работы. На своем объекте исследований он очень скоро смог установить весьма однозначную линейную зависимость между дозами облучения и частотой мутаций (до открытия ДНК), что позволило не только судить о структурных основах наследственности. Сам факт изменения генов под воздействием коротковолнового излучения имел большое значение для практической рентгенологии, так как он установил нижний предел излучения, влияющего на генетическую природу. Это было открытие, которое вначале существенно осложнило работу всех рентгенологов, как я узнал на конгрессе рентгенологов в Берлине.

Очень скоро Тимофеев стал одним из ведущих генетиков. Его исследования и большой мутационный материал, который обрабатывался в различных направлениях, привели к образованию новых понятий в генетике, таких, например, как пенетрантность и экспрессивность генов. Позже Тимофеев работал с физиками и с будущим Нобелевским лауреатом Максом Дельбрюком, а его коллега К.Г. Циммер продолжил разработку теории радиационной мишени. Особой областью исследований была для Тимофеева эволюционная генетика и генетика популяций, и здесь он вместе со своими товарищами добился важных результатов и ввел новые понятия, как, например, микроэволюция.

В начале 30-х годов мы встречались довольно регулярно у него в отделе или дома для разговоров на темы генетики, для маленьких генетических коллоквиумов, на которых коллеги докладывали о новых результатах своих исследований. Тимофеев умел, если требовалось, деликатно указать коллеге на те или иные неясные формулировки в его сообщении. Но он становился нетерпимым и ядовитым, если узнавал, что кто-то занимается работой, которую он считает ненужной и неинтересной.

Мы вместе бывали на международных конгрессах, например, на конгрессе рентгенологов в Швейцарии, в Цюрихе и С.-Морице и на неделе науки во Франкфурте-на-Майне в 1934 г. Научными апогеями 30-х годов были также маленькие заседания для избранного круга в Шпаа в Бельгии и в Клампенбурге вблизи Копенгагена. У нас было много друзей и коллег во всех странах мира.

В последний раз я видел Тимофеева на конгрессе генетиков в Москве в 1978 г. Он излучал невероятное жизнелюбие, которое влекло всех нас в его орбиту. Он был разносторонне образован, не только в естественных науках, но и в области литературы, истории культуры и искусств. Даже в тяжкие годы заключения после возвращения в Советский Союз он помогал своим товарищам по камере переносить все притеснения, муки и ограничения жизни, голод и нужду. Его воля к жизни не была сломлена, хотя здоровье было серьезно подорвано. Он всем нам был примером стойкости и жизнеспособности.

Хочу упомянуть о большом гостеприимстве Тимофеева и его жены Елены, которая была одновременно и его сотрудницей. После научных бесед нас всегда приглашали в его квартиру в Торхаузе и хорошо угощали, несмотря на нехватку продуктов в войну. Его сыновей я знал еще мальчиками, когда они посещали французскую гимназию. В последние годы войны я переехал в Вену и нечасто бывал в Берлине, поэтому наши встречи стали более редкими. Только позже я узнал, что его старший сын Фома активно участвовал в движении сопротивления, конечно, под влиянием духа, который царил в родительском доме. Только позже я узнал о его аресте и гибели в концентрационном лагере. Тимофеев и его жена были, безусловно, противниками нацистского режима, и мы часто вели критические беседы на эту тему, в которых Тимофеев высказывался бескомпромиссно. Ближе к концу войны друзья стали предлагать ему перебраться на запад. Он решил остаться в Бухе, и это решение имело тяжелые последствия для его дальнейшей судьбы[1].

Перевод О. Пахомовой

ХАНС ШТУББЕ (HANS STUBBE) (1902–1989) –всемирно известный генетик, член многих академий, директор Института селекционных исследований культурных растений кайзера Вильгельма в Вене (1943–1945). Будучи президентом Академии сельскохозяйственных наук ГДР (1951–1968) выступил как открытый противник лысенковской "агробиологии".

---

[1]Рукопись этих воспоминаний автор передал Н.Н. Воронцову и Е.А. Ляпуновой в Берлине в мае 1989 г. за день до своей внезапной кончины. – *Прим. ред.*

С.Э. Шноль

Н.В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ И СОЕДИНЕНИЕ РАЗОРВАННОЙ ЦЕПИ ПОКОЛЕНИЙ

Мне часто кажется, что раньше, в конце XIX – начале XX в., России людей масштаба Н.В. Тимофеева-Ресовского было много. Что они определяли научный потенциал и нравственный облик российской интеллигенции. Чуть прикроешь глаза и видишь яркие фигуры И.М. Сеченова, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, А.П. Богданова, П.Л. Чебышева, Д.И. Менделеева, Н.Е. Введенского, Н.А. Умова, В.В. Докучаева, П.Н. Лебедева, М.А. Мензбира, В.М. Бехтерева и чуть позже – В.И. Вернадского, Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова, Ю.А. Филиппченко, Д.Н. Прянишникова, А.Ф. Иоффе, В.Н. Сукачева, П.П. Лазарева, Н.И. Вавилова и еще чуть позже – М.М. Завадовского, С.Н. Скадовского, А.Н. Формозова, Э.С. Бауэра, Д.А. Сабинина...

Какой населенный выдающимися людьми мир! И это лишь часть длинного списка. И каждый – честь и гордость страны и всей Земли. И каждый был необходим для процветания и величия будущих поколений. Но чтобы вклад каждого в этих поколениях был реализован, нужна преемственность поколений. Связь времен. "Порвалась связь времен..."

Трагически прервана работа. Палачи погубили жизни носителей этой необходимой для жизни страны связи.

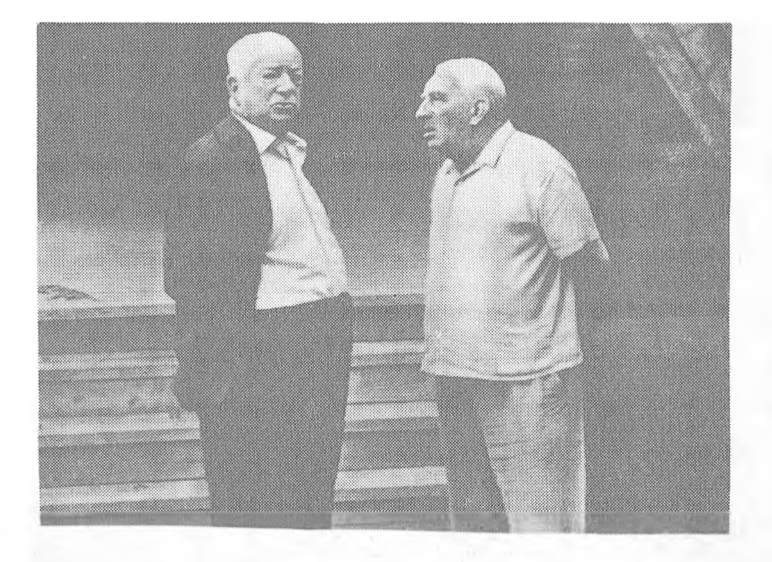
Студенты университетов в 40-е годы не слышали имен Кольцова, Четверикова, Вавилова, Филиппченко, Бауэра.

Но психология юности – энтузиазм, готовность восприятия, доверие к слову – и речи Дворянкина, лекции Презента, "труды" Лысенко вызывали энтузиазм, стремление быстрее принять участие в обещанном расцвете науки и "великих стройках коммунизма".

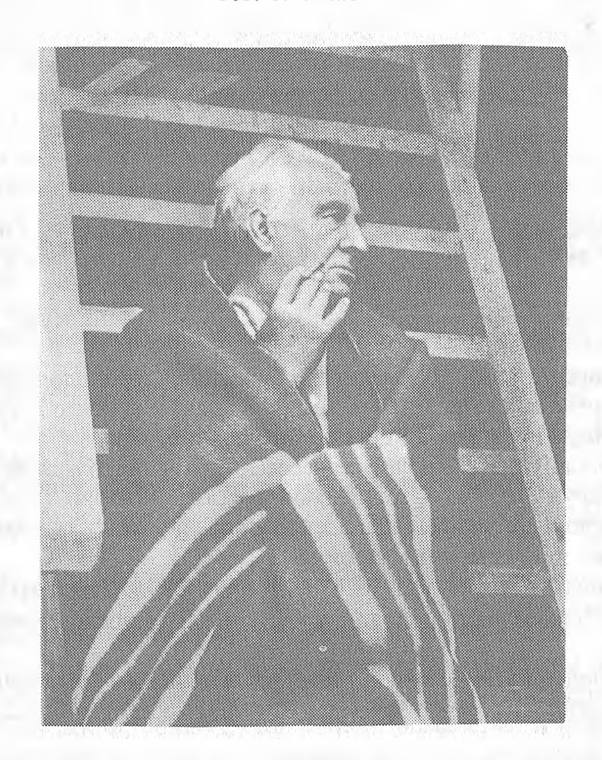
Студенты биофака МГУ приема 1949–1953 гг. – какой подъем духа! Прием в МГУ объявлен "мичуринским набором". Кипит восторг. На факультетских вечерах звучат стихотворные оды в честь Презента и Лысенко. Биолого-почвенный факультет (почвенный, чтобы соединить Лысенко и Вильямса) – лидер университетской самодеятельности – поет и пляшет в Москве. Поет и пляшет и читает лекции по мичуринскому учению в агитпоходах.

Пошел на каторгу В.П. Эфроимсон – представил в Прокуратуру РСФСР и в отдел науки ЦК КПСС обвинительное заключение о вреде, наносимом Лысенко и его окружением народу и стране. Студенты пели и танцевали, ни о чем не зная.

В 1948 г. умер А.С. Серебровский, после 1948 г. отстранен от дел И.И. Шмальгаузен, отстранен и умирает М.М. Завадовский, остранен и



Н.В. Тимофеев-Ресовский (справа) и Л.А. Зенкевич. Можайск, 60-е гг.
Фото С.Э. Шноля



Н.В. Тимофеев-Ресовский. На Можайском море, 60-е гг.
Фото С.Э. Шноля



Речь на закрытии Школы по биологии
Фото С.Э. Шноля

умирает обвиненный в космополитизме Д.Л. Рубинштейн, кончает самоубийством любимый профессор Московского университета Д.А. Сабинин...

Кафедру дарвинизма возглавляет Ф.А. Дворянкин, курс генетики читает Н.И. Фейгинсон...

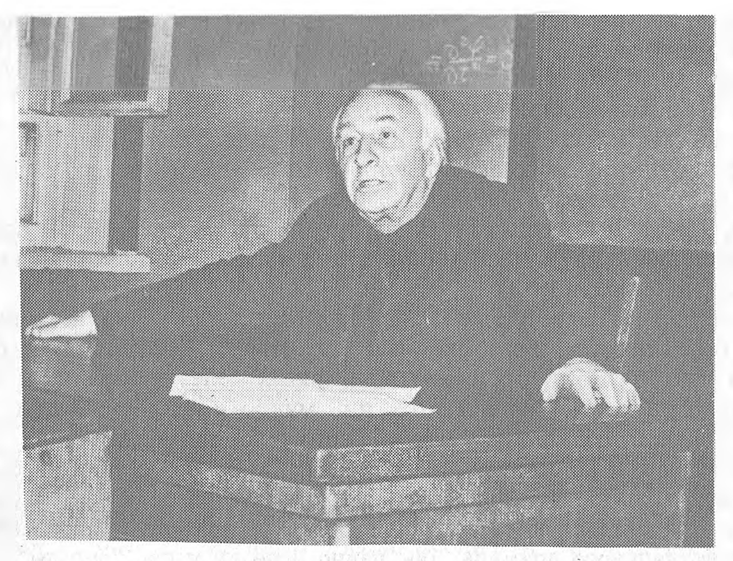
Мрак средневековья, обскурантизм, доносы, преследование мысли (домашний кружок сестер Ляпуновых, "дело" студентов Богданова, Воронцова, Ляпуновых, изучавших истинную генетику).

К этому "добавлена" "павловская сессия" – уничтожается физиология. Преследуется квантовомеханическая теория в химии (проф. Н.И. Гаврилов: "Это идеализм представлять электрон как вероятностное облако – это же уничтожение материи!").

Какая странная диалектика – Н.В. Тимофеев-Ресовский именно в силу трагических обстоятельств сохраняет честь и достоинство отечественной науки.

Его брат Владимир – революционер, убежденный большевик, директор крупного ленинградского завода, делегат 17-го съезда – расстрелян в 1938 г.

Его брат Дмитрий – зоолог, соболятник – на каторге.



Н.В. Тимофеев-Ресовский, МГУ, ноябрь 1973 г.
Последняя лекция: "Проблемы биологической эволюции"
Фото С.Э. Шноля

Н.К. Кольцов и Н.И. Вавилов предостерегают Николая Владимировича – погибнешь, не возвращайся!

Палачи звали его в Москву. А он не дался. Кажется, нашлись "патриоты", обвиняющие его в этом. Его, а не палачей, терзавших народ.

А теперь о другом. Чего это Г.Х. Попов в своей замечательной статье представил концепцию сделки "зубров" с государством! "Не занимайся политикой – будешь тогда жить в науке".

Какая там сделка! Затравлены зубры. Мечутся в поисках относительно безопасного угла. И лишь когда приближается облава, кидаются на преследователей.

Убит фашистами сын Фома, убит брат Владимир в России...

И сам Н.В. Тимофеев-Ресовский – дома! – Наконец! – арестован. Что было дальше, знают все.

Как же причудлива эта "связь времен". Это зам. наркома внутренних дел А.П. Завенягину мы обязаны сохранением Н.В. Тимофеева-Ресовского!

Сохранением человека, который и был концентратом российской культуры, научной и художественной. Концентратом прошедшего времени от Петра I до наших дней.

Это концентрирование прошедшего времени с живыми именами предков – адмиралов, царей, цариц, профессоров университетов, казачьих атаманов, музыкой, пением, старинными романсами и казачьими песнями. Путешествие по Северу за старыми иконами, первая мировая война, банда зеленых, сражения, "Лелька", Москва, Красная армия, Н.А. Се-

машко, Н.К. Кольцов, Д.П. Филатов, Н.А. Северцов, Д.Л. Рубинштейн – это не калейдоскоп, это роскошь драгоценных картин. Это наши современники в XVIII и XIX веках. Это бабушка Всеволожская, и это звенигородская биостанция в 20-е годы.

Мы видим (многие впервые!) просто "нормального" человека. Раскованного, четкого, свободно и быстро думающего, имеющего определенные и резкие суждения об окружающем.

И все это с художеством Н.С. Лескова – какие рассказы! И все это с компетенцией и эрудицией вполне артистическими. "А это, ученейший, все опубликовано в 1913 г..."

И впервые за 10 лет (после 1948 г.) громогласные лекции по "менделизму и морганизму", "дразофилиный" практикум, "слюни" – цитологический анализ гигантских хромосом слюнных желез дрозофилы и лекции по биогеоценологии, "вернадскологии", микро- и макроэволюции.

Чего мы все возбудились? Нормального человека увидали.

А их почти и не осталось. И видеть их необходимо, чтобы общество наше возродилось. И сколько же нас, полагающих себя его учениками! Нечего придираться к слову. Так, остро не хватало нравственного и интеллектуального примера. Так давно исчезли у нас "школы", а этот "даже не академик" создал разветвленное общество, члены которого имеют замечательное человеческое свойство – продолжаться уже в своих учениках.

А это и есть условие восстановления связи времен, условие могущества и славы нашего Отечества.

СИМОН ЭЛЬЕВИЧ ШНОЛЬ – профессор Московского университета, биофизик, заведующий лабораторией теоретической и экспериментальной биофизики Института биофизики в Пущине, участник семинаров у Н.В. Тимофеева-Ресовского в Миассове с 1961 г.

Н.Г. Арцимович

НЕСКОЛЬКО СТРОК

≪Вы читали "Зубра"? – спрашивали меня друзья. – Как же было на самом деле? Разве мог Лев Андреевич?..≫

28 июня 1987 г. я отправила в Ленинград письмо Д.А. Гранину, где вкратце описала историю отношений Н.В. Тимофеева-Ресовского с Л.А. Арцимовичем. Вскоре получила ответ с благодарностью, однако автор глубоко сожалел о том, что книга уже в наборе и дополнения и уточнения внести поздно. Позже, при встрече, я рассказала Даниилу Александровичу все подробности их встреч.

Я очень рада, что в книге появилась все же коротенькая приписка: "А еще позже они исполнились уважения друг к другу".

Подробности, которые я постараюсь изложить, печатаются впервые. Видимо, пришел час...

Начало мая 1945 г. Еще рвутся снаряды, полыхает Берлин. По приказу Сталина и Берии 36-летний физик-атомщик (так было принято тогда их называть) в форме полковника, с усами, в сопровождении охраны на специальном самолете летит в Берлин. В романе написано: "Прилетел из Москвы Лев Андреевич Арцимович, известный в то время физик..." Зачем, подумает читатель, чтобы руки Зубру не подать? А прилетел он с той же миссией, что и американская "Миссия Алсос" – добыть секрет атомной бомбы. Я и мои ныне здравствующие друзья с замиранием сердца слушали рассказы Льва Андреевича, который с присущим ему юмором говорил о своих почти детективных похождениях в Берлине.

За городом, вблизи старой мельницы, стоял дом, где он впервые встретился с К. Циммером. Пригласив его в свой джип, поехали вместе в Бух в Институт мозга на встречу с Рилем. Там произошла первая, но не последняя встреча с Николаем Владимировичем, которая достаточно правдиво описана в романе и прокомментирована автором. Нам же Лев Андреевич всегда произносил имя Николая Владимировича с большим уважением. По возвращении в Москву, вскоре по приказу Берии, Лев Андреевич был послан на Урал для строительства специальных объектов, где, как известно, работал позже сначала К. Циммер и Риль, а затем Тимофеев-Ресовский.

О работах на Урале мы могли только догадываться, так как Лев Андреевич, как правило, избегал разговоров на подобные темы. Так случилось, что, борясь открыто всеми силами с лысенковщиной, будучи в 50-х годах в Швеции, Лев Андреевич тайно, в спичечной коробке привез дрозофил. Прилетел в Москву ночью и стал разыскивать академика Н.П. Дубинина, чтобы передать ему драгоценную посылку, боясь, что мушки погибнут от голода. Значительно позже звонил Николай Владимирович, благодарил Льва Андреевича, называя его пра, пра, пра... дедушкой современных дрозофил. Звонил Николай Владимирович и из Обнинска с различными просьбами и советами к Льву Андреевичу как к академику-секретарю отделений общей физики и астрономии АН СССР.

Так случилось, что оба они страдали болезнью сердца, у обоих была сильная аритмия. Узнав о болезни Льва Андреевича (он лежал тогда в больнице на ул. Грановского в реанимации), Николай Владимирович позвонил мне, успокоив, что у него есть замечательное лекарство. Лекарство я получила назавтра и тут же отвезла его в больницу. "Мог ли я когда-нибудь подумать, что меня будут через 25 лет спасать люди, с которыми я впервые познакомился в Германии при довольно необычных обстоятельствах?" – с какой-то грустью сказал Лев Андреевич.

Николай Владимирович справлялся о здоровье Льва Андреевича регулярно, а я передовала ему все слова глубокой благодарности от Льва Андреевича и от себя лично.

У меня сохранилась копия письма Льва Андреевича Циммеру, которое мне любезно передал М.В. Келдыш. В нем говорилось:

"Дорогой профессор Циммер!

Разрешите мне выразить искреннюю благодарность за присылку ритмоцина. В настоящее время благодаря Вашей помощи у меня имеется запас ритмоцина, которым могут пользоваться многие советские ученые, нуждающиеся в лечении аритмии сердца.

Вы, вероятно, помните то далекое время, к которому относится наша первая встреча с Вами. Институт исследования мозга под Берлином, начало мая 1945 г. Дым войны еще не осел.

Помните, как советский полковник искал д-ра Риля по маленьким городкам и селениям Германии. Надеюсь, что Вы на меня не в обиде за те времена, хотя я опустошил все запасы Ваших сигарет и заставил исколесить порядочное пространство. У меня осталось от этого первого знакомства самые лучшие воспоминания о Вас. Боюсь, что ситуация тех времен не привела к аналогичной симпатии с Вашей стороны. Однако сейчас все это в прошлом, и я рад возможности послать Вам искренний привет и еще раз поблагодарить Вас не только от своего имени, но и от имени президента Академии наук."

Л.А. Арцимович

Хочу отметить, что ритмоцин К. Циммер присылал по просьбе Николая Владимировича.

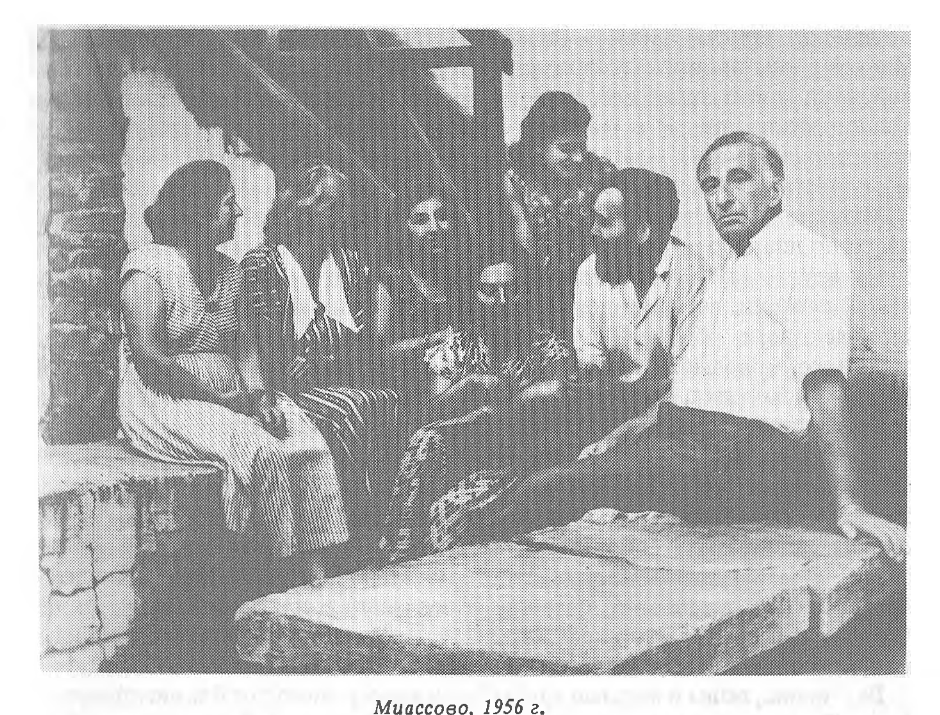
С большой теплотой вспоминал Лев Андреевич о Н.В. Тимофееве-Ресовским, Риле и К. Циммере, замечательных ученых, с которыми сохранил самые теплые отношения до последних своих дней.

НЕЛЛИ ГЕОРГИЕВНА АРЦИМОВИЧ – известный иммунолог, член-корреспондент Академии естественных наук, вдова Л.А. Арцимовича.

Ю.А. Виноградов

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СВОБОДЕ ТВОРЧЕСКОГО ДУХА

Жизнеописание Николая Владимировича здесь – в академическом издании – ставит перед авторами этого сборника ряд специфических проблем. Мало того, что сам Николай Владимирович относился без всякого почтения к разного рода "бумажным" свидетельствам значимости кого-то или чего-то. Он и в своих почитателях, слушателях, учениках – кому как повезло – вольно или невольно воспитал точно такое же



Миассово, 1956 г.
Слева направо: А.С. Ляпунова, Е.А. Тимофеева-Ресовская, Н.А. Баландина, А.Г. Гамбурцева, Н.А. Ляпунова, А.А. Ляпунов, Н.В. Тимофеев-Ресовский.
Фото Ю.А. Виноградова

отношение. Так что документов, в обычном смысле этого слова, вряд ли будет много. Что же касается наших воспоминаний, то чрезвычайно трудно, оказывается, отделить их от собственных впечатлений, а в событиях, лежащих в их основе, исключить многочисленные повторы. Мало ведь кто из нас может похвастаться тем, что то-то и то-то знает только один он. Да и так ли уж нужно избавляться от этих самых собственных впечатлений? Не являются ли сегодня как раз именно они, прежде всего они, самым важным из того, что оставил нам Николай Владимирович? Так что не только документы, воспоминания о тех или иных событиях, но и собственные впечатления, размышления людей, лично знавших Николая Владимировича, – все это, будем надеяться, поможет будущим читателям понять, что представлял собой этот человек в нашей истории, да и что такое наша история сама по себе.

С Николаем Владимировичем я познакомился в 1955 г., в первый, по-видимому, послевоенный его приезд в Москву. В 1956 г. был у него в Миассове, много раз – в Обнинске, чаще всего встречались в Москве. То, что он произвел сильное впечатление на нас – молодежь, неудивительно. С таким же, а затем годами и десятилетиями неослабевающим интересом общались с ним и люди старшего поколения, нередко профессиональ-

но далекие друг от друга, – биологи, математики, физики, литераторы... Многое в нем привлекало внимание: и редкостная эрудиция – не только человека много знающего, но и ко многому определившего свое собственное отношение, – и светлый, конструктивный ум, и – что, уверен, поражавшее многих – совершенно очевидное нежелание употребить все эти качества во благо себе.

Многим имя Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского стало известно лишь по роману Д.А. Гранина "Зубр". Но возникшее из небытия среди других имен, и имен замечательных, также едва не исчезнувших из нашей истории, оно привлекло к себе особое внимание. Привлекло тем, что раскололо обычный для нас монолит единого мнения: прямого, обратного, хорошего, плохого, никакого... – любого, нарушив тем комфорт единомыслия, а если не выбирать выражений, ласкающих слух, – недомыслия, к которому мы, признаться, давно привыкли.

Так что же в этом "Зубре" вызывало и вызывает восхищение одних и неприязнь других? Да, Даниил Александрович, конечно, прав – это прежде всего редкостная, реликтовая неподвластность внешним обстоятельствам. Уже здесь и прежде всего здесь происходит разделение на людей, видевших в этом качество замечательное, достойное, и людей, которыми обстоятельства, куда как более мелкие, помыкали, заставляли "колебаться вместе с линией", людей, такой независимостью оскорбленных, не желавших верить, даже видеть, что такое возможно вообще.

Да, "огонь, воды и медные трубы" – все это у Николая Владимировича было. И поездка молодым еще человеком в Берлин, к Фогту, ненадолго, как казалось. Но не учиться, как это веками было принято в России, а учить. И превосходные работы по радиационной генетике, признанные всем ученым миром (Бором, Шредингером и др.). И жизнь в гитлеровской Германии гражданином СССР. И гибель в нацистском лагере старшего сына. И собственная почти гибель в лагере отечественном. И первое появление среди московских ученых – фантастический семинар у Петра Леонидовича Капицы в Институте физических проблем, когда люди стояли в коридорах, на лестницах, в фойе, когда пальто и шубами были завалены все кабинеты, когда на вопрос не видевших доски: "Что за кривая?" сидевший у микрофона (Лаврентьев?) отвечал, быстро подобрав подходящую: "Синус квадрат". И вручение ему Кимберовской премии в стенах АМН (каждый из нас подержал тогда в руках килограммовую золотую медаль, отправленную Николаем Владимировичем в публику; впрочем, учредители позаботились и о бронзовой ее копии, предполагая, по-видимому, нелегкую жизнь лауреата). Все это было. А Николай Владимирович неизменно оставался самим собой – таким, каким мы его знали, кажется, всегда.

Так что же было за душой у этого "Зубра", которого никому не удалось, как ни хотелось, превратить во что-то домашнее, что можно было бы безбоязненно доить и стричь? Нет, нет, я не берусь отвечать на это, скорее готов сам спрашивать... Не является ли большая, тобою сделанная, социально значимая работа основанием, необходимым условием для

формирования такого человеческого самосознания, такого социального поведения? Не отсутствие ли этого за душой делает многих из нас столь чувствительными к мелочам жизни, делает эти мелочи крупными событиями, занимающими в душе человека вакантное место? Не отсюда ли Эйнштейн в Германии, Капица и Сахаров в России, не смотревшие на своих суровых повелителей снизу вверх? И не отсюда ли социальная пластичность других, занимающих номинально высокое положение, но не имеющих за душой сделанного дела?

Ну а если это так, то тогда нам недостает главного – размышлений о том деле, которым занимался Николай Владимирович. Деле, в нравственном его плане. Точнее, в самонравственном. Человек и его работа не из-под палки – что они друг с другом делают? Не является ли наше отношение к любой неподкомандной деятельности, стремление всенепременно извести ее самой фундаментальной, ключевой глупостью в строительстве нашего "планового" хозяйства? Не потому ли, повторяя все извивы на пути передовых, отставая все больше, мы тем не менее не в состоянии срезать ни единого угла, избежать хотя бы малой толики неразумного, сделанного и западными и восточными первопроходцами, – в этом, чуть ли не единственном, преимущество отстающего... И это, заметим себе, в предположении, что "они" идут куда надо, а ведь у нас были, кажется, сомнения на этот счет? Или мало у нас собственных "зубров"? Но, может быть, "зубры" привязного содержания уже не "зубры"?

Многие годы точку зрения "масс" формировали у нас люди, прежде всего озабоченные тем, чтобы эти самые "массы" не смогли составить собственного мнения, всемерно изолировавшие нас от любых источников информации. Может быть, именно потому у нас и сформировалось определенное недоверие к любым текстам – объекту, довольно беззащитному перед карандашом цензора и ножницами редактора. Может быть, именно поэтому мы с большим доверием относимся к кино и телевидению (кино – документальному, телевидению – прямого эфира), справедливо полагая, что здесь доля неподвластного контролирующим и редактирующим больше. Конечно, в любое другое время роман Гранина мы просто не увидели бы. Но сейчас нам предоставляется и еще одна возможность познакомиться с его героем – на студии Центрнаучфильм заканчивается работа над фильмами "Рядом с Зубром" и "Охота на Зубра" режиссера Е.С. Саканян. Нет, это не экранизация романа. В этом почти трехчасовом документальном фильме, кроме вещей, вообще недоступных иному искусству, есть и собственные находки, подчас в буквальном смысле. Ну вот хотя бы сцена, в которой из сарая кордонщика на озере Миассово вытаскивают два плотно набитых ящика с бывшими секретными документами из когда-то размещавшейся здесь лаборатории Николай Владимировича. Документами, улепленными грифами и увешанными печатями, в которых оказались рекомендации по биологической очистке земель и вод от радиоактивных загрязнений. С указанием, какие именно микроорганизмы очищают (накапливая в себе и оставаясь живыми)

окружающее от стронция, цезия, рутения и многих других радионуклидов, с которыми мы имели сомнительное удовольствие так хорошо познакомиться. А ведь работы эти, увидевшие свет (у сарая) в 1987 г., середины пятидесятых... Но и документы здесь не главное. Главное то, что читатель, а теперь и зритель увидят этого человека в лицо, услышат и увидят, что и как он говорит. Увидят и услышат людей, которым очень хочется в чем-нибудь его "измазать", увидят, как они это делают. Увидят и сами для себя решат, "кто есть кто". Но и миассовские работы не из таких. Их ведь делал уже сложившийся человек, крупнейший зоолог, первоклассный радиационный генетик, делал, задолго до многих, понимая, к чему идет человечество, загрязняя среду собственного обитания, делал, многое зная, многое точно, без тупых поисков, представляющихся некоторым фундаментальностью исследований, предвидя.

Но что же это за работы, которые могли бы быть отнесены к интересующей нас категории: потенциально или предположительно "зуброобразующих"? Об одной могут сказать без колебаний – это работа по определению размера гена. Именно о ней, работе двадцатилетней давности и рассказывал Николай Владимирович на том самом семинаре у Капицы, а незадолго до того – дома у Алексея Андреевича Ляпунова (в фильме Елены Саркисовны есть кадры, где встречаются эти "главы лженаук" – генетики и кибернетики). Я помню, какое впечатление произвела на нас, тогда зеленую молодежь, эта работа, та самая кривая зависимости числа мутаций от линейной плотности ионизации. Нет, это не была та биофизика, "когда биологи и врачи работают со слишком сложными приборами" (Николай Владимирович). Не было здесь и следа обязательного, привычного нам деления науки на науки, того стремления к административному порядку, в котором великое множество глубоких специалистов, десятилетиями выясняющих в своих штреках, "почему сие важно в-пятых" (Н.В.), проходит мимо такой изящной и, казалось бы, простой постановки задачи, задачи, решение которой имело необозримые последствия. Да... такая работа не могла пройти бесследно и для самого создателя...

Нарушение шахтоштрекового порядка в научном "Донбассе" Административная Система, конечно, стерпела бы (есть в ней подсистема исключений, да и весь "Донбасс" этот – объект периферийный). Но ведь "зубр" не ходил и по аккуратно размеченным дорожкам Центрального Административного Парка... – известно, например, что как-то раз от отказался двигаться по дорожке к моргу. А это уже грех непростительный. Так что то обстоятельство, что Николай Владимирович, будучи членом шести, если я не ошибаюсь, зарубежных академий, не состоял в нашей Академии наук, не вызывает, естественно, ни малейшего недоумения. А Систему так и хочется назвать демократической.

Но опять-таки имея в виду опыт "зубров" – не странно ли, что такие люди, пусть и редко-редко, но все еще встречаются? И странно и необъяснимо. Да, Николай Владимирович производил сильное впечатление даже на своих тюремщиков, но ведь о двух его братьях мы знаем лишь то, что они были... Повезло? Несомненно. И прежде всего нам. Ибо, пока в

обществе есть такие нравственные ориентиры, есть шанс вылезти из того непотребства, в котором мы так счастливо пребываем, двигаясь под руководством людей с философией онкологов к уже хорошо видимому концу.

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВИНОГРАДОВ. Родился в 1930 г. Работает в Институте прикладной математики РАН. Участник миассовских семинаров. Познакомился с Н.В. Тимофеевым-Ресовским в 1955 г.

А.Т. Мокроносов

У ИСТОКОВ РАДИОЭКОЛОГИИ

В 1947–1962 гг. Тимофеевы жили на Урале. Позднее в Обнинске я слышал от Е.А. и Н.В. Тимофеевых-Ресовских, что это были лучшие годы их жизни.

В уральском периоде было два этапа: первые восемь лет прошли на одном из атомных объектов (в "ящике"), где Тимофеев-Ресовский участвовал в работах в радиобиологии и биологической защите в советском атомном проекте. Кроме того, это давало ему возможность заниматься любимой "дрозофильной" генетикой. После свертывания этих работ, проводившихся на Южном Урале, Н.В. Тимофееву-Ресовскому было предложено создать лабораторию в Свердловске, в Биологическом институте Уральского филиала АН СССР (БИ УФАН). По времени это совпало с одной из первых крупных катастроф в советской атомной промышленности, когда значительная территория прекрасных гор, лесов и озер на Южном Урале оказалась в зоне радиационного заражения. Причины и подлинные масштабы катастрофы до сих пор, почти 40 лет спустя, не стали предметом гласности. А тогда, в первой половине 50-х годов, возникла проблема защиты людей, радиационной дезактивации и хозяйственного использования зараженных территорий. Потребовалась организация широкомасштабных радиоэкологических исследований. С этой целью Н.В. Тимофеев-Ресовский начал организацию Лаборатории экспериментальной биогеоценологии. Кратко и четко определил ее программу: развитие идей В.И. Вернадского о роли живых организмов в накоплении и миграции рассеянных элементов в биосфере. Такая постановка задачи позволила сосредоточить внимание на фундаментальных проблемах миграции рассеянных элементов в биосфере в сочетании с прикладными вопросами дезактивации экосистем, загрязненных осколочными элементами урана.

Наряду с лабораторией в Свердловске была организована Биологичес-

---

кая станция Миассово на берегу озера Большое Миассово на Южном Урале. Это удивительное место, прекрасные ландшафты гор и озер Южного Урала, на долгие годы стали основным полигоном для развития отечественной радиоэкологии.

Основу новой лаборатории составили сотрудники, пришедшие с Николаем Владимировичем из "ящика", имеющие большой опыт генетических, биофизических и радиоэкологических исследований: Д.И. Семенов, Н.В. Лучник, Л.А. Царапкин, А.А. Титлянова, Н.В. и В.Г. Куликовы, Б. Агафонов, Е.А. Тимофеева и др. Однако скоро стало ясно, что масштаб работ требует расширения состава лаборатории и привлечения молодых специалистов. Осенью 1956 г. Н.В. Тимофеев обратился на биологический факультет Уральского университета с предложением целевой подготовки биологов для новой лаборатории. Я был тогда молодым преподавателем кафедры физиологии растений. В это время заведование кафедрой переходило к В.В. Юркевичу. Ознакомившись с планами специализации студентов, Н.В. Тимофеев-Ресовский предложил дополнить подготовку некоторыми специальными курсами и направлять студентов на курсовые и дипломные практики в Миассово. Уже с 1957 г. началось содружество кафедры физиологии растений с лабораторией в Миассове. За короткий срок были подготовлены и стали сотрудниками воспитанники кафедры: В.И. Иванов, Л.Г. Халтурина (Кузнецова), П.И. Юшков, Э.А. Гилева, Е. Караваева, С.А. Агафонова и др.

В эти годы Н.В. и Е.А. Тимофеевы-Ресовские были постоянными гостями кафедры, активно участвовали в семинарах, защитах курсовых и дипломных работ, а работники кафедры были тесно связаны с лабораторией Н.В. Тимофеева. Разумеется, новая лаборатория пополнялась воспитанниками и других уральских и московских ВУЗов.

Надо сказать, что появлению Н.В. Тимофеева-Ресовского в Свердловске предшествовали устрашающие легенды, связанные с его прошлой деятельностью в Германии. О нем говорили как об одном из создателей расовой теории фашизма. Уже не было Сталина и Берии, возвращались узники лагерей, набирала силу "оттепель" периода Н.С. Хрущева, но общество все еще жило укладом недавнего прошлого. Вполне естественно, что появление такой необычной личности, как Тимофеев-Ресовский, было встречено с большой настороженностью и предубеждением. Уже первые встречи с ним поражали необычной личностной свободой и смелостью, которые нес этот человек. Еще более необычной и непривычной был высочайший уровень его эрудиции и полной свободы владения огромным наследием мировой науки и культуры.

В послевоенные годы мы пришли в наши университеты, в которых волна за волной шла "идеологическая борьба", проводником которой был Жданов. В биологической науке все более укреплялось научное мракобесие, связанное с именами Лысенко, Бошьяна, Лепешинской и других создателей "советского творческого дарвинизма". На этом фоне появление в Свердловске Н.В. Тимофеева-Ресовского было событием выдающимся. Он принес не только дух европейской культуры, но и

лучшие традиции русской науки 20-х годов. В этом была магическая сила, привлекающая к нему всех, особенно молодежь.

Николай Владимирович испытывал постоянную потребность в аудитории. Он организовал цикл лекций по генетике и радиобиологии. Вместе с профессором Н.К. Дексбахом они организовали Уральское отделение МОИП, которое стало активной трибуной для систематических выступлений самого Николая Владимировича и его единомышленников. Помню, как в 1956 (или 1957) году на заседании МОИП он вместе с А.А. Ляпуновым сделали первое сообщение по работам Г. Гамова и Ф. Крика о структуре двухцепочечной ДНК. Обоих привлекла в этих первых работах идея реализации матричного принципа и кодирования первичной структуры белка четырехбуквенным нуклеотидным кодом. Именно этот, информационный, аспект проблемы как прямой подход к молекулярным основам наследственности привлекал докладчиков. Они увидели в нем начало новой эпохи в биологии. Тогда Тимофеев-Ресовский много и увлеченно говорил о принципе конвариантной редупликации. Позднее в литературе сохранился термин "репликация", но и теперь я слышу рокочущий голос Николая Владимировича "конвариантная редупликация", подобный раскатам весеннего грома на заре новой эры в биологии.

Особенно широкий размах тимофеевские семинары приобретали в летние месяцы в Миассове, куда собиралось со всей страны множество самых различных людей, работавших в разных областях науки. Каждому, кто приезжал или приходил через горный перевал в Миассово, было положено выступить на семинаре на любую близкую тему. Здесь обсуждались проблемы генетики и радиобиологии, биофизики и экологии, теоретической физики и математики, геологии и истории.

Мое первое выступление на миассовском семинаре состоялось в сентябре 1958 г. Два вечера я рассказывал взыскательной аудитории о результатах исследований фотосинтетического метаболизма углерода. Мы осваивали новые по тем временам методы применения C^{14} для изучения фотосинтеза. Николая Владимировича особенно привлекала в этих поисках возможность использования углеродной метки не только для качественной оценки путей восстановления углерода, но и для количественного анализа кинетических параметров биохимии в фотосинтезе у разных объектов при разном функциональном состоянии. Я был тогда начинающим исследователем, и поддержка Н.В. Тимофеева-Ресовского имела большое значение для моих последующих работ.

Берусь утверждать, что уральские "трепы" Тимофеева-Ресовского значили для биологов 50–60-х годов также много, как знаменитые "капичники" для физиков. В миассовских семинарах Тимофеев умел создать ту атмосферу творческого подъема и духовной раскрепощенности, которая так необходима для развития научной мысли.

Определилось несколько направлений исследований Лаборатории в Миассове. Пожалуй, главным стало изучение способности различных гидробионтов и сухопутных организмов накапливать радионуклиды группы осколочных элементов урана. Основным количественным крите-

рием был избран ”коэффициент накопления” – отношение концентрации элемента в организме к его концентрации в растворе или иной среде. Коэффициент накопления достаточно просто определялся для гидробионтов, но применение его к сухопутным организмам встречало серьезныев методические трудности и было постоянным предметом острых дискуссий в лаборатории. Тем не менее по коэффициенту накопления была дана оценка поведения различных элементов в сотнях видов гидробионтов, сухопутных растений и животных. Этот материал, собранный в десятках публикаций, диссертационных работах и в монографии Е.А. Тимофеевой-Ресовской составлял экспериментальную базу для экологического моделирования судьбы рассеянных элементов (включая элементы группы урана) в биосфере. Ценность этого материала по достоинству была оценена радиоэкологами после Чернобыля.

Изучали роль животных организмов в миграции рассеянных элементов. Был применен оригинальный метод разделения корней на две пряди, одна из которых помещалась в раствор с изотопами, и наблюдалась их передача через другую прядь в раствор или почвенную среду (”кавалерийские опыты”). Е.А. Тимофеевой-Ресовской вместе с Б. Агафоновым и В.И. Ивановым были разработаны основы биологической очистки от излучателей воды, проходящей через каскад прудов с разными типами водных биоценозов.

Для изучения радиационного воздействия на растения были созданы гамма-поля, на которые исследовали летальные, повреждающие и стимулирующие дозы радиации по широкому спектру ответных реакций. Группой Л. Царапкина был обеспечен цитологический контроль за возникновением и репарацией хромосомных аберраций. Н.В. Лучник начинал первые исследования по стерическим принципам генетического кода. А.А. Титлянова и Н.В. Куликов вели активные исследования поведения изотопов в системе почва–растение. Группа Д.И. Семенова изучала роль природных и синтетических хелатообразующих соединений в миграции рассеянных элементов, включая выведение из организмов инкорпорированных металлов. Эти и некоторые не упомянутые здесь направления радиобиологических работ привлекли широкий круг исследователей. Быстрое накопление материалов обеспечило на Урале формирование сильной радиобиологической школы. Быстро росли научные кадры, защищались диссертации, работали семинары.

Хочу обратить внимание на один малоизвестный факт. В начале 60-х годов, посетив Белоярскую атомную станцию, Николай Владимирович, озабоченный безопасностью АЭС, высказал мысль, что при каждой АЭС должна существовать биофизическая радиобиологическая служба, которая сочетала бы в себе две функции: экологический контроль зоны влияния АЭС и фундаментальные исследования в области радиобиологии. Он считал, что нужен типовой проект такой биофизической станции, которая предусматривалась бы при строительстве любой АЭС. Эта идея была поддержана М.В. Келдышем и легла в основу строительства биофизической станции при Белоярской АЭС. Проектирование станции было

начато в 1963 г., а строительство завершено только через 13 лет. К сожалению, мечта Тимофеева-Ресовского не получила реализации в последующем атомном строительстве.

В эти годы Тимофеева-Ресовского волновали многие проблемы науки и научно-технического прогресса, далеко выходившие за рамки специфических интересов его лаборатории. В лекциях, на семинарах (особенно в зимние месяцы) Тимофеев-Ресовский активно обсуждал такие вопросы, как действие принципа усилителя в биологии, возможность переноса принципа актуализма из геологии в биологию, популяционная генетика и микроэволюция, "волны жизни", их происхождение и роль в гомеостазе экосистем, биохронология и структура биоценозов, уровни организации живой материи, теория "мишеней", физические и стерические факторы репликации ДНК и др. Обсуждение этих проблем привлекло биологов, физиков и математиков. Молодые физики-теоретики школы С.В. Вонсовского, П. Зырянова, Г. Талуц, Ю. Плишкин принимали самое деятельное участие в теоретическом анализе задач, которые так щедро формулировал Николай Владимирович. Он относился к молодым физикам с глубокой проникновенной любовью.

В конце 50-х годов на Урале появились первые признаки серьезного экологического нарушения среды. Сброс заводских отходов в реки превратил в мертвые потоки прекрасную Чусовую и десятки других рек. Около промышленных центров началось усыхание лесов, гибель рыбы в озерах и реках. Тогда, в 50-х годах, Тимофеев-Ресовский одним из первых во весь голос заговорил о рациональном природопользовании и охране природных экосистем. Он часто цитировал кого-то из немецких авторов: "Мы живем в век шофера, а шофер – это человек, который научился управлять машиной и думает, что ему все дозволено". Мне, как и многим другим, лишь позднее открылась подлинная глубина этой метафоры. Тогда же Тимофеев-Ресовский давал конкретный анализ работы некоторых заводов, которые не имели замкнутого цикла использования воды, экономили на строительстве очистных сооружений и создавали вокруг себя зону антропогенных пустынь.

В 1961 г. у Тимофеева-Ресовского возник новый интерес. Начало космических полетов и первый полет человека выдвигали сложный комплекс медико-биологических задач. Я пригласил Николая Владимировича прочитать лекцию в Научном студенческом обществе университета. Он охотно согласился, и 25 апреля 1961 г. мы впервые услышали блестящий анализ медико-биологических проблем, рожденных практической космонавтикой. Лектор рассказывал о принципах замкнутых экосистем, о роли фототрофных организмов в таких системах, о влиянии измененных магнитных полей, невесомости и световых ритмов на организм человека при длительных полетах. Вспоминая этот доклад, я не могу без удивления говорить о предсказаниях, лишь позднее получивших подтверждение. Например, говорилось о нарушениях минерального (преимущественно кальциевого) обмена костей при длительной невесомости, о влиянии невесомости на сердечно-сосудистую систему и т.п.

В 50–60-е годы в летние месяцы мы много работали в университетской лаборатории в Свердловске или в экспедициях, и я могу только сожалеть что мне редко приходилось участвовать в летних собраниях в Миассове. Зато осенью, вернувшись из экспедиций, я часто приезжал на опустевшую биостанцию. Тимофеевы-Ресовские жили там почти до начала зимы. В Миассове не было паломников, листопад заносил пепел летних кострищ и отпечатки палаток, а по утрам на пляж к Романтической скале до самого ледостава выходила единственная купальщица – Елена Александровна. В такое время мне часто приходилось коротать долгие осенние вечера вдвоем с Николаем Владимировичем в бесконечных разговорах. Это были неторопливые размышления об истории науки и человеческой культуры. Мы много говорили о Московском университете 20-х годов, о проблемах генетики и экологии, о вопросах литературы и искусства. Тимофеев-Ресовский любил рассказывать о своих любимых университетских учителях, особенно о Мензбире, Северцове, Кольцове, Вернадском, с откровенной иронией вспоминал о Тимирязеве. Речь часто заходила о музыке И. Стравинского и С. Рахманинова, о "русских сезонах" С. Дягилева, о французских импрессионистах и русских авангардистах. Рассказывая о своих экспедициях, я показывал свои снимки, и каждый из них мог стать предметом давних воспоминаний, например, о старой и новой Волге.

Однажды (1959 г.) я застал Николая Владимировича больным. Он сказал, что пишет воспоминания о Движении Сопротивления в Европе. Пояснил: в этой войне было два великих человеческих подвига – победа Советской и Союзных армий над фашизмом и Движение Сопротивления в Европе. О втором мало известно в нашей стране. Елена Александровна начала читать уже продиктованные страницы, но Николай Владимирович остановил ее и стал рассказывать о том, что ему известно о саботаже немецкими физиками создания атомной бомбы. Тимофеев рассказывал о том, как на территории Института кайзера Вильгельма в Бухе работали группы Сопротивления. Они создавали и производили присадки к смазочным маслам, которые использовались на паровозоремонтных заводах в Чехословакии и вызывали быструю коррозию поршней и цилиндров. В Бухе укрывались от фашистов участники Движения Сопротивления и проводились операции, обеспечивающие их безопасность. В этих действиях видная роль принадлежала известному генетику Г. Меллеру, Нобелевскому лауреату, сотруднику и другу Н.И. Вавилова. Для меня было интересно узнать, что паролем Сопротивления в Европе были такты Революционного этюда Шопена. Когда я спросил Николая Владимировича, собирается ли он это публиковать, он ответил с грустью: "А кто в это поверит?"

Однажды, после тура по Енисею, Тимофеев нарисовал линию реки, впадающей в Океан, и разделил ее на три зоны. "Молодая наука" – далее следовал рассказ о молодом научном центре в Красноярске, об Институте академика Киренского, о биофизических исследованиях И.А. Терского и И.И. Гительзона. Севернее лежала зона "Аборигены", и следовал рассказ

об Эвенкии, о состоянии коренных племен и народностей, населяющих Енисей. Третья зона – Диксон и Таймыр – была названа "Цвет русской интеллигенции" – это были воспоминания о лучших людях России, чья жизнь прошла через этот суровый край или в нем завершилась.

После отъезда четы Тимофеевых-Ресовских в Обнинск наши встречи стали редкими, но я часто получал письма от Елены Александровны.

Осенью 1968 г. я отметил новую волну нападок на Н.В. Тимофеева-Ресовского. Той осенью на крупных заводах (московский "Серп и молот", Горьковский автомобильный, Свердловский "Уралмаш" и др.) выступили лекторы с официальной версией событий в Чехословакии. В этих лекциях говорилось о необходимости проявлять бдительность к классовому сознанию интеллигенции и молодежи. Отмечалось, что при проверке воспитательной работы с молодежью в Обнинске было установлено, что такой работой не занимается ни комсомол, ни другие общественные организации и только профессор Тимофеев-Ресовский находится в самом тесном общении с научной молодежью. Далее говорилось о том, что судьба творческой молодежи отдана реакционеру, который обосновал расовую теорию фашизма и работал в гитлеровском логове. Разумеется, такая постановка вопроса встречала однозначную реакцию многотысячной рабочей аудитории.

В апреле 1973 г. скончалась Елена Александровна. Мне удалось приехать в Обнинск только через 3–4 дня после похорон. Мы несколько часов провели вдвоем с Николаем Владимировичем в темной зашторенной комнате. Был долгий прерывающийся разговор-воспоминание, размышление о науке и религии. На столе лежали страницы, исписанные Еленой Александровной. Это было начало последней книги "Очерки истории генетики в России". Николай Владимирович попросил меня читать эти страницы. Прерывал, комментировал, вносил поправки, а когда чтение закончилось, сказал: "Последний мой долг перед нею – написать эту книгу". Выполнить этот долг ему было не суждено. Когда мы прощались, Николай Владимирович неожиданно сказал: "На мои похороны не опаздывай и посмотри, в какую землю я положил Лельку!"

Через семь лет на кладбищенском холме, на окраине Обнинска, 1 апреля 1981 г. я вспомнил эти слова – могила была в чистом желто-белом песке. Эти чистые песчаные недра, принявшие прах Николая Владимировича, напомнили мне пески Святогорского холма на Псковщине, принявшие прах Великого поэта.

АДОЛЬФ ТРОФИМОВИЧ МОКРОНОСОВ – физиолог растений, действительный член РАН. Директор Института физиологии растений РАН. Родился в 1928 г. Знаком с Н.В. Тимофеевым-Ресовским с конца 50-х годов.

А.В. Яблоков

ОБ УЧИТЕЛЕ

Для меня Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский был Учителем с большой буквы, каких в жизни ученого никогда не бывает много. Мой первый учитель – Петр Петрович Смолин, – сделал из меня гражданина и натуралиста. Николай Владимирович научил меня работать в науке. Он в значительной степени определил область моих эволюционно-генетических интересов, по существу – сформировал меня как исследователя.

Поскольку я никогда не отличался способностями рассказчика и воспоминателя, я должен сразу же предупредить читателя, что могу гарантировать лишь смысловую (но не текстовую) точность излагаемых ниже воспоминаний.

Впервые я встретил Н.В. на каком-то вечере в квартире А.А. Ляпунова на Хавско-Шаболовской улице, где я оказался по приглашению Н.Н. Воронцова. От этой, как и от последующих нескольких мимолетных встречах, у меня не осталось ярких воспоминаний. Зато первый серьезный разговор с Н.В., который состоялся, наверное, спустя полгода после первой встречи, на квартире у Реформатских, мне запомнился очень хорошо. Я рассказывал Н.В. о планах работы по изменчивости морских млекопитающих и с более далеким загадом – о планах более крупного обобщения, которое мне хотелось сделать в виде докторской диссертации. Честно говоря, я до сих пор не могу понять, что во мне привлекло тогда Н.В. – я был 26-летним младшим научным сотрудником, увлеченным сравнительной анатомией китообразных и ластоногих, проблемами охраны живой природы и не то комсомольской, не то профсоюзной работой (я был либо секретарем комсомольской организации Института морфологии животных им. А.Н. Северцова, либо председателем месткома). Возможно, ему нравилось, что я был настоящим "мокрым зоологом", каким он гордо называл и самого себя, подчеркивая, что биолог должен быть либо зоологом, либо ботаником, либо микробиологом, а потом уже генетиком, физиологом, биохимиков, палеонтологов и т.д.

При этой первой продолжительной встрече (мы говорили, наверное, часа три-четыре) меня поразила его способность, выспрашивая собеседника, подводить его к новым, ранее не просматривавшимся выводам так, как будто он (собеседник) сам приходил к ним, самостоятельно. Я уже отметил, что меня интересовала сравнительная анатомия морских млекопитающих. Правда, не в классическом смысле или, точнее, не столько в классическом, описательном смысле, сколько в плане изучения феногипической изменчивости. Много работая на промыслах китов и тюленей, я понял, что ни один вид не может быть достаточно точно охарактеризован ни единичными экземплярами, ни даже небольшими сериями особей. И по строению легких, и по строению печени, скелета, мозга –



Н.В. Тимофеев-Ресовский 14 февраля 1963 г. Силуэт работы В.М. Смирина
Архив Н.Н. Воронцова

всех органов обнаруживался значительный спектр вариаций, обычно привлекавший ранее специальное внимание исследователей-зоологов только с позиций внутривидовой систематики.

Наводящими вопросами Н.В. быстро привел меня к заключению, что наиболее интересным было бы сравнение, как мы называем, теперь популяционной изменчивости у ряда широкораспространенных массовых видов. Только такое сравнение позволило бы глубже проникнуть в текущие процессы эволюции в природных популяциях – микроэволюционные процессы. Не помню, тогда ли либо позднее мы внимательно рассматривали возможные варианты объектов такого микроэволюционного исследования. Он предлагал арктических гольцов, говорил, что это была его давняя мечта – заняться популяционной изменчивостью этой группы. Я рассказал о больших возможностях изучения популяционной изменчивости, связанных с массовым промыслом морских зверей в северных и дальневосточных морях. Прежде чем согласиться с этим, он заставил меня с карандашом на листе бумаги произвести операцию, которую я и сейчас вспоминаю с удовольствием и изумлением. Он говорил примерно так: "Для характеристики популяций нужно взять не один,

а много признаков, причем разных систем органов. Максимально много, но и не безумно много, чтобы можно было провернуть все исследования одному научному сотруднику с единственным лаборантом". Скажем, нужно 20–30 признаков. Учитывая различия половые и возрастные, нужно быть готовым к анализу десятка выборок особей из каждой популяции. Популяций для сравнения внутри каждого вида надо привлечь не менее четырех, чтобы иметь масштаб для сравнения различий. Видов тоже должно быть несколько, скажем 3–4, чтобы не нарваться на какую-то очень видоспецифическую ситуацию. В общем, выходило, что фактический материал должен был быть обобщен в виде около 10 тыс. вариационных рядов (соответственно с вычислением их статических параметров – сигм, ошибок, коэффициентов, вариаций). Получение такого массива данных позволило бы осмысленно привлечь разрозненный, но существующий материал по другим группам млекопитающих. Учитывая полевые сезоны для сбора материала и время для камеральной обработки собранного материала, вся работа оказывалась "проворотимой" на протяжении нескольких лет.

Все получилось так, как было намечено. В результате пяти лет работы была создана сводка, посвященная популяционной изменчивости млекопитающих. Я практически одновременно с группой исследователей, связанных с С.С Шварцом в Свердловске, пришел в 1965 г. к формулировке представлений о популяционной морфологии как сравнительно новом направлении в классической морфологии. Я не исключаю сейчас, что С.С. Шварц "шел" параллельным со мной курсом также после разговоров с Н.В.: известно, что после рассекречивания и освобождения Н.В. несколько лет работал в институте, возглавлявшемся С.С. Шварцем, и у того произошло явное изменение взглядов – тоже в микроэволюционном направлении.

Надо сказать, что Н.В. никогда не влезал в тонкости работы, проводимой мною: его интересовали природа, социальные отношения людей на севере и востоке и теоретические обобщения. К последним он относился крайне скептически, критиковал справа и слева, сверху и снизу, но без брюзжания, а с удовольствием. И он всегда бывал очень доволен, если от его критики эти построения не рассыпались, а сохранялись, хотя бы частично.

Чтобы закончить историю с диссертацией, скажу, что в моем родном институте мало кто верил, что я написал стоящую работу, не верил этому, по-моему, даже мой официальный руководитель и заведующий лабораторией, где я работал, замечательный по своим человеческим качествам проф. С.Е. Клейненберг. Да и не принято было в биологии в 32 года защищать докторские. Мне посоветовали защищаться там, где больше, чем в ИМЖе, занимаются изменчивостью. После какого-то вялого обсуждения работы на семинаре в ЗИне (Ленинград) орнитолог К.А. Юдин, наверное один из самых блестящих умов тогдашнего ЗИна, отвел меня в сторону и сказал примерно следующее: "Катитесь Вы из ЗИна поскорее и подальше. Ваша идеология нам не подходит. Ведь Вы ищете везде изменяемость, а

мы, систематики ищем какую-то стабильность, определенность". Через полгода я успешно защитил диссертацию в Новосибирске, в Объединенном совете по биологическим наукам, который работал тогда под председательством чл.-корр. АН СССР Д.К. Беляева и с Н.Н. Воронцовым как ученым секретарем. Не могу не отметить, что именно Н.Н. Воронцов сыграл решающую роль в организации моей защиты. Оппонентами были Р.Л. Берг, К.К. Флеров и Н.Б. Тимофеев-Ресовский.

По предложению Николая Владимировича я принял участие в создании двух сводок под его лидерством – "Краткого очерка теории эволюции" и "Очерка учения о популяции". Это было в период 1967–1971 гг., когда я часто, практически еженедельно, бывал у него дома в Обнинске, проводил там время с утра до вечера в беседах, спорах, стучании ("с обезьяним проворством", как многократно определял Н.В.) на машинке под диктовку обычно носившегося по комнате Н.В. Несмотря на кажущуюся безалаберность, он был удивительно организованным в работе и, как ни ворчал на мое стрекотанье на машинке, всегда бывал крайне доволен, когда в результате каждого рабочего дня мы получали пяток, а то и с десяток страниц машинописного текста.

Когда Н.В. стал научным консультантом Института медико-биологических проблем Минздрава СССР у академика О.Г. Газенко, он регулярно, еженедельно, бывал в Москве и обычно останавливался у нас дома с ночевкой. Мне трудно, просто невозможно, в хронологической последовательности вспоминать наши разговоры на самые разные темы, которых было не счесть, не только и не столько научные. Ниже я кратко постараюсь восстановить несколько методологических по существу позиций неоднократно отстаивавшихся Н.В.

"А зачем все это нужно в-пятых?" Такой вопрос часто звучал из уст Н.В., когда кто-то впервые рассказывал ему о какой-либо научной работе. Мы привыкли работать в науке исходя из конкретных задач года, не больше. О наших перспективных планах – для чего затеяно и ведется то или иное исследование – если и вспоминаем, то только тогда, когда пишем планы или отчеты. Вопрос: "А зачем все это нужно в-пятых?", задаваемый Н.В., часто приводил к тому, что с огромной пользой для дела пересматривалась стратегия исследования, намечалась именно программа работ, когда одно выполненное задание оказывается основанием для выполнения следующего, и так до получения искомого ответа на первоначально поставленную проблему. Н.В. страшно не любил, если кто-то, отвеча на поставленный в начале абзаца вопрос, пытался спрятаться за казенными формулировками типа, что, дескать, тема спущена сверху или что это задание какой-то более общей научной программы и т.п. Он всегда требовал осознанного ответа на вопрос, какую научную проблему решает или помогает решать данная научная работа. Удивительным мне в первый раз, когда я сам попал под такой "обстрел", показалось, что для Н.В. вполне достаточным ответом на вопрос было: "Это интересно для меня самого". Такой ответ, как я теперь вполне понимаю, абсолютно корректен, но, как правило, всегда вызывал дискуссию, не

стоит ли в наше время, когда любопытных и интересных вещей в науке так много во всех областях, выбирать среди них те, которые общезначимы, касаются принципиальных вещей, а не тех, "которые и без нас сделают немцы". Чаще всего бывало так, что рассказывающий о работе сдавался на милость Н.В. и сам спрашивал, что же полезного можно извлечь из его работы. Тогда начиналась конструктивная часть разговора, которая всегда (я не слышал об исключениях) кончалась очень продуктивно. Оказывалось, что не такая уж и глупая работа проводится, что полученные данные могут сказаться не просто интересными, а крайне интересными для того-то и того-то. В результате после такой парилки люди уходили от Н.В. не раздавленные его величием и необъятной эрудицией, а вдохновленные, с укрепленной верой в собственные силы. Мне кажется, что Н.В. мог любую научную тему, даже абсолютно бессмысленную (что не так уж и редко случается) сделать осмысленной, найти в ней общенаучно интересное.

"Ножка у сороконожки". Обычно Н.В. избегал прямых критических оценок работ других исследователей (за исключением, конечно, ненаучных в своей основе работ, вроде лысенковских). И одной из самых нелестных характеристик в его речи было: "Это изучение ножки у сороконожки". Это не означало презрения к зоологии вообще или к сороконожкам в частности. Это лишь символизировало частное, недалекое, не вызванное главными задачами развития науки, исследование.

"Отделить существенное от несущественного". Пожалуй, этому он чаще всего старался обучить нас (хотя ни о каком прямом школьного типа ученичестве никогда нельзя было говорить). Его статьи показывают, как это он умел делать сам. Мой опыт работы с ним над двумя сводками позволил мне наблюдать воочию в момент рождения тех или иных концепций, как твердо-направленно шел он к решению намеченной проблемы, оставляя на обочинах рассуждений вполне интересного, не меньшего, а может быть и большего уровня находки. Кстати, как и всякий крупный ученый, он никогда не скупился на идеи – раздавал их направо и налево и ни в малейшей степени не претендовал на авторство.

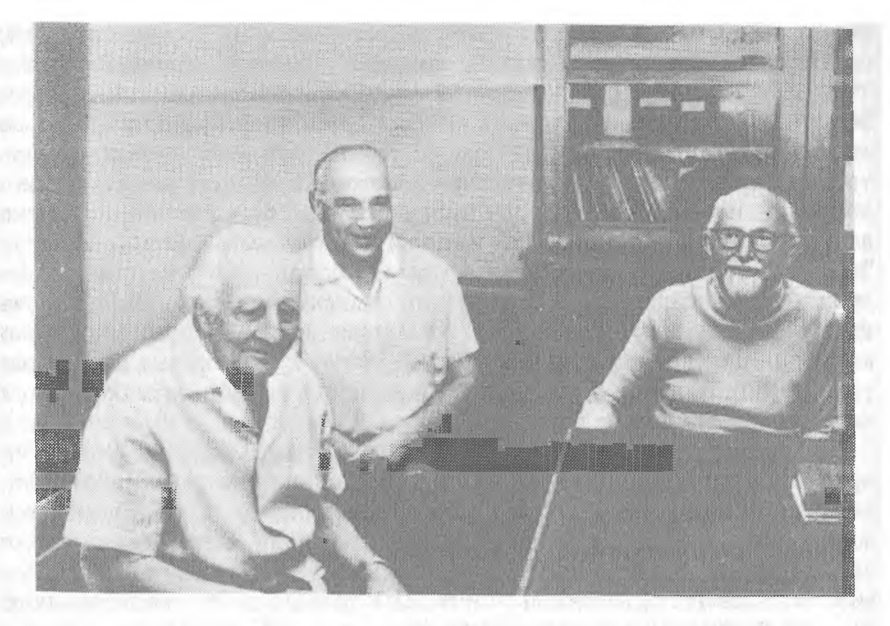
Наверное, с этой постоянной тенденцией отделять существенное от несущественного связана и его нелюбовь к примерам. Я неоднократно был участником разговоров и споров, когда я предлагал, скажем, описать какую-то проблему, дав ряд примеров и из них выведя для читателя какое-то положение. Николай Владимирович ворчал: "Пример можно подобрать для любой чуши".

"Сесть и подумать". Начиная с 70-х годов в науке стал модным так называемый системный подход. Сам Николай Владимирович принимал активное участие в разговорах об этом, выступал в дискуссиях (в частности, мне запомнилась двухдневная дискуссия в Институте истории естествознания и техники АН СССР). Но всегда он подчеркивал, что системный подход – это, по существу, старое доброе правило: сесть и подумать, прежде чем делать или писать что-то. За этой нехитрой формулой скрывалось требование все "разложить по полочкам", что для

него означало не только отделение существенного от несущественного, сколько установление иерархии понятий, событий, явлений. Вклад Тимофеева-Ресовского в системный подход обычно связывается с разработанной им концепций уровней организации живой природы. Он после долгих размышлений, как он сам вспоминал, выделил только четыре уровня организации: молекулярно-генетический, онтогенетический, популяционно-видовой и биогеоценотически-биосферный. Обычно выделяют больше уровней, в частности клеточный, органный и т.д. Тимофеев-Ресовский кипятился по этому поводу: не хотят люди додумать до конца, по какому принципу выделяются уровни? Ведь речь идет о выделении уровней организации живого, а не соответственно методам исследования или каким-то структурам. Критерием выделения уровня было наличие в нем единиц и явлений, несводимых без потери качества к событиям на другом уровне.

По существу этот же – системный, как мы теперь назовем, – подход ярко проявился в формулировке Н.В. концепции микроэволюции, которая оказывается вот уже много лет наиболее методологически совершенной частью современной теории эволюции. В ней Н.В. выделил элементарные эволюционные материал, факторы, явление, единицу. Все это связывается действием "пусковых механизмов эволюционного процесса". Многие коллеги в спорах со мной не раз утверждали, что четыре элементарных эволюционных фактора, сформулированные Н.В., могут быть легко дополнены. Однако стоило попытаться на самом деле добавить хоть один новый фактор, как сразу становилось ясным, что конструкция микроэволюционной теории, предложенная Н.В., не просто крепкая, но и стройная – ни убавить, ни прибавить. Наверное, можно потом будет построить другую концепцию наряду с микроэволюционной, но вряд ли можно будет разрушить микроэволюционную.

"Некисельность" мира. По-существу Николай Владимирович был крупнейшим методологом не только в биологии. Я уже как-то писал об одном из своих последних с ним разговоров, за пару месяцев до его смерти, в больнице, в Обнинске. Как-то неожиданно для меня он сказал, как будто продолжая какой-то внутренний монолог, что, наверное, самое крупное, что ему удалось сделать в жизни – это формулировка "принципа усилителя". В 1935 г. в небольшой работе с К. Циммером он показал, что исходно энергетически ничтожные явления могут приводить к последствиям, энергетически на несколько порядков более значимым (речь шла тогда о мутациях, но сама формулировка "принципа усилителя" охватывает все биологические явления). "Принцип усилителя" тесно связан с дискретностью всего сущего. Мир не "кисельный по Лему", а дискретный, в разных вариациях я много раз слышал от него это выражение. Тимофеев-Ресовский часто подчеркивал методологическое значение представлений о дискретности. Прямо – нет, но я уверен, что именно дискретность сущего как фундаментальный признак известной нам Вселенной позволяло ему напрямую и многократно утверждать методологическое совершенство генетики как науки.



Слева направо Н.В. Тимофеев-Ресовский, А.А. Кирпичников, Дж.-Г. Симпсон
В лаборатории А.В. Яблокова, май 1977 г.

Приведенные выше заметки, отражающие методологический характер работ Тимофеева-Ресовского, может быть, окажутся полезными при широком науковедческом анализе того огромного естественнонаучного феномена, с которым мне посчастливилось близко столкнуться, – фигурой моего Учителя, Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского.

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯБЛОКОВ – родился в 1933 г. в Москве, член-корреспондент РАН. Известный зоолог, эколог, эволюционист. Советник Президента России по вопросам экологии и охраны здоровья. С Тимофеевым-Ресовским познакомился в доме Р.Л. Берг, в Ленинграде, в конце 50-х годов. В 1965–1973 гг. активно сотрудничал с Н.В. Тимофеевым-Ресовским. Соавтор монографий: Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.Н. Воронцов, А.В. Яблоков "Краткий очерк теории эволюции" (М.: Наука, 1969, 1977, нем. пер. Gustav Fischer Verlag, 1975), Н.В. Тимофеев-Ресовский, А.В. Яблоков, Н.В. Глотов "Очерк учения о популяции" (М.: Наука, 1975, нем. пер. 1977, Gustav Fischer Verlag).

Е.Н. Сокурова

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – УЧЕНЫЙ И ЧЕЛОВЕК

Мы считаем себя его учениками. Я пишу эту фразу во множественном числе, так как уверена, что под этими словами подпишутся многие из тех, кому с молодых лет повезло работать под его руководством, кому повезло с этим в более поздние годы, и даже тем, кому волею судьбы выпала удача работать поблизости или общаться с ним по другим каналам, не имеющим прямого отношения к науке. Всем нам в этом отношении повезло, поскольку Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский действительно личность: он безусловно один из самых крупных ученых XX в. и совершенно замечательный человек.

Николай Владимирович был ученым очень широкого профиля. Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания современной генетики. Им сформулирован один из общебиологических принципов – принцип "конвариантной редупликации", который сам Николай Владимирович считал развитием идей Н.К. Кольцова.

Николай Владимирович разработал теорию микроэволюционных процессов, ведущих к видообразованию, поэтому он может считаться преемником в развитии Дарвиновских идей. Он нашел точки сближения генетики и эволюционного учения.

Николай Владимирович был создателем количественной радиобиологии и радиационной генетики.

Наконец, Николай Владимирович является также преемником развития учения В.И. Вернадского о биосфере и одним из первых, после Вернадского, ученых, заговоривших о необходимости защиты и охраны биосферы Земли.

В своей экспериментальной работе Николай Владимирович широко кооперировался с учеными самых разных специальностей, в том числе с физиками и математиками, и неоднократно выступал в печати и устно с обобщением основных принципов живой природы, и его взгляды, безусловно, лягут в основу создания теоретической биологии.

Уже этого краткого перечисления научных заслуг Николая Владимировича достаточно, чтобы видеть, что рабоать рядом с ним не могло быть неинтересно. К тому же Николай Владимирович никогда не относился к тем важным и недоступным руководителям, к которым трепеща стучатся в кабинет, которые всегда "очень заняты" и которым не следует лишний раз мешать. Николай Владимирович был всегда среди своих сотрудников. Большей частью у него даже и не было никакого отдельного кабинета, а если и был, то двери в него не закрывались. К нему всегда можно было войти любому без всякого трепета. Да и сам он не так уж часто сидел за столом своего кабинета, если таковой имелся.

В более молодом возрасте, например при работе в закрытом институте на Урале (в "зоне"), он часто сам принимал участие в постановке опытов, не гнушаясь при этом и самой черной работой. Его можно было видеть и за переноской тяжелого лабораторного оборудования (при этом он еще хвастался, что лучше него никто это не сделает, поскольку он является профессиональным грузчиком), и за набиванием ящиков с землей для опытов с растениями, и за замачиванием большого количества семян в радиоактивных растворах.

Итак, Николай Владимирович не был кабинетным ученым. Ему был необходимы аудитория, слушатели. Он был прирожденным оратором и вообще был бесподобным "говоруном": он мог удерживать внимание тысячной аудитории и мог вести беседу на любую тему с одним или несколькими людьми так, что для каждого время летело незаметно. На его публичных выступлениях и лекциях никто никогда не смотрел на часы. Стоит напомнить при этом, что после пережитой им в лагере дистрофии он почти не видел (полное отсутствие центрального зрения) и на лекциях и докладах не пользовался не только конспектом, но даже планом. Все его публичные выступления были весьма совершенными в логическом плане, оживлялись шутливыми замечаниями, а память его удерживала бесчисленное множество фактических данных и фамилий.

Николай Владимирович не был любителем уединения. На работе он всегда находился в гуще своих сотрудников, а ежедневные чаепития во время перерыва происходили, как правило, в большой компании. По вечерам в квартире Тимофеевых-Ресовских тоже очень часто собирался народ – вероятно, редкий день обходился без гостей.

Николай Владимирович был большим оптимистом. Его редко можно было видеть огорченным или тихо грустящим. Почти всегда он был деятельным, энергичным и веселым и своим оптимизмом заражал окружающих. Если же ему что-либо не нравилось, то возмущался он тоже очень энергично и очень громко.

В конце 40-х годов, когда Николаю Владимировичу не исполнилось еще и 50, он, по своему обыкновению напористо и энергично, начал заниматься организацией, можно сказать, первых радиобиологических исследований в нашей стране. Планы были самыми широкими, несмотря на то что после недавнего пребывания в лагере и тюрьме его здоровье не было еще полностью восстановлено. Надо добавить при этом, что тогда он был еще и просто заключенным: у него не было никаких документов, не было никакой возможности выезда за "зону", не было права переписки с родственниками и друзьями и имя его не упоминалось в открытой печати. То же распространялось и на его семью. И в этих условиях он не только не выглядел сломленным, но был примером человеческого достоинства и действительной преданности науке. Как истинный ученый он не представлял себя вне науки, и возможность снова заниматься наукой вернула его к жизни.

Конец сороковых–начало пятидесятых годов было временем самой ярой лысенковщины. И хотя сам Николай Владимирович считал генетику

совершенно необходимым звеном в исследовании природы, как раз генетикой ему заниматься в то время было запрещено. Тогда и спасла его широта интересов. Он занялся самыми разными радиобиологическими проблемами и создал безусловно лучшую в то время в нашей стране лабораторию широкого профиля. Уже в то время он занялся и развитием идей Вернадского, и именно у нас, в "зоне", были получены первые результаты по действию долгоживущих отходов реактора на сообщества растений, гидробионтов и микроорганизмов.

Мы не можем не считать Николая Владимировича своим учителем, поскольку он не только научил нас работать, не только сделал из нас научных работников, но всегда был примером высоко нравственного отношения к науке и строгого и честного отношения к научным фактам. Даже с принимаемыми на работу лаборантами он лично беседовал, добиваясь понимания ответственности за выполняемую работу. Несмотря на то что в своих бытовых рассказах, например о своих предках, Николай Владимирович не пренебрегал изрядной долей фантазии и, в зависимости от настроения или состава слушателей, мог рассказывать об одном и том же несколько иначе, относительно научных факторов он неизменно требовал строгого отношения, четких трактовок и понимания задачи. Если Николай Владимирович замечал у какого-либо сотрудника легкомысленное, недобросовестное или безответственное отношение к работе, то на его голову сваливалась буквально лавина негодования, и все это было слышно очень далеко. Не обходилось и без язвительных подковырок по этому поводу потом, Николай Владимирович и сам говорил: "Я – человек громкий". Смеялся он тоже громко, и, вообще, прислушавшись, можно было определить его местонахождение в институте.

Николай Владимирович был человеком веселым. Все лабораторные семинары, чаепития и собрания как на работе, так и дома всегда проходили весело и сопровождались взрывами смеха. При этом деловому характеру обсуждения работ на семинарах это ничуть не мешало.

Его способность активно включаться в обсуждение самых разных научных проблем, широта и оригинальность его мышления, умение в любой работе увидеть главное (т.е. то, что и называется талантом) в сочетании с живостью и чувством юмора создали ему огромную популярность. Когда Николай Владимирович перестал быть пленником "зоны" и с середины 50-х годов стал появляться в Москве, на его доклады и лекции собиралось огромное количество народа. Огромное количество людей из самых разных мест и самых различных специальностей собирались и на его летние семинары в Ильменском заповеднике. А когда он работал в Обнинске, доложить свои материалы у нас на научном семинаре считали за честь и многие столичные ученые.

Популярность и слава Николая Владимировича в научном мире росли стремительно. Его 50-летие пришлось на работу в "зоне" и публично не отмечалось. 60-летие Николая Владимировича отмечалось при большом стечении народа в Москве, на квартире у Алексея Андреевича Ляпуно-

ва. Желающих приветствовать Николая Владимировича по случаю 70-летия не могла вместить никакая квартира, и этот юбилей отмечался в огромном зале ресторана "Пекин".

Николай Владимирович как человек обладал большой притягательной силой: однажды увидев его, с ним стремились познакомиться самые разные люди. Бывало, что он и подтрунивал над окружающими, иногда безобидно, а иногда и довольно зло. Некоторые порой обижались на него за это, но едва ли кому-нибудь бывало с ним скучно.

Собственно, когда Николая Владимировича "выудили" из лагеря для работы в "зоне", то он был уже известным во всем мире ученым и отдел в "зоне" создавали для него. Поэтому у него было право отчасти подбирать кадры самому – это касалось главным образом немецких специалистов. Отчасти же кадры были случайными: среди них были молодые люди, только что окончившие вузы, и заключенные из разных лагерей. Молодежь к тому же была сильно подпорчена лысенковщиной и другими крайностями нашей тогдашней жизни. Но у Николая Владимировича был и явный организаторский талант, поскольку из этого разнокалиберного народа создал заинтересованный и ответственный научный коллектив.

Значительность личности Николая Владимировича ни у кого не вызывала сомнения, и многим хотелось работать непосредственно с ним. Хотелось этого и мне, хотя на первых порах я попала в лабораторию одного из немецких специалистов. Урок ответственного отношения к делу я получила от Николая Владимировича очень скоро. Когда я попросила его о переводе в его группу, он посмотрел на меня очень строго и сказал: "Елизавета Николаевна, Вам платят за ту работу, которая Вам поручена в настоящее время. Впрочем, если Вы действительно хотите заняться микробами, то я могу подписать Вам пропуск на вечернюю работу, и Вы сможете заняться чем хотите". Я согласилась, и только после того, как были получены первые результаты, он перевел меня в свою лабораторию.

Мы считаем себя учениками Николая Владимировича не только потому, что он дал нам необходимые основы и методологические установки для самостоятельной научной работы, но и потому, что он был примером высокой честности в отношении науки и жизни вообще, высокой принципиальности и добропорядочности. Свобода совести не была для него лишь словами. Работая в Германии и в Советском Союзе, он никогда не занимался ничем, что могло бы не соответствовать его совести (хотя позднее нашлись люди, которые его в этом подозревали).

Добропорядочность Николая Владимировича сказывалась во всем. Ни для кого не секрет, например, что некоторые представители научного мира, пропагандируя свои взгляды, замалчивают данные и имена других ученых, в том числе своих предшественников. Николай Владимирович был активным пропагандистом научных имен. Он читал прекрасные лекции и писал статьи о своем учителе Н.К. Кольцове, о Вернадском, Сукачеве и других русских и иностранных ученых. Никакие запреты в этом отношении его не смущали. Еще в 1949 или 1950 г., в разгар лысенковщины, он говорил о Николае Ивановиче Вавилове и Сергее Сергеевиче Чет-

нерикове, имена которых в те годы были преданы забвению и судьба которых была тогда неизвестна. В этом тоже проявлялась высокая честность Николая Владимировича. Он был человеком открытым и взглядов своих не скрывал. Не скрывал он своего отношения и к лысенковщине, открыто подсмеиваясь над сим "научным направлением" в самый разгар его "торжества". Для этого нужна была еще и смелость.

Хотя заниматься экспериментальной генетикой в те годы было нельзя, Николай Владимирович читал лекции для научной молодежи по радиационной генетике. (Здесь надо отдать должное и начальнику "зоны", в то время полковнику МВД Александру Константиновичу Уральцу. От него многое зависело в жизни "зоны", но он как человек незаурядного ума понял, что Николай Владимирович действительно крупный ученый, доверял ему, предоставил ему свободу действия в пределах своих возможностей и никогда не вмешивался ни в какие научные вопросы. За все это мы сохранили об Александре Константиновиче добрую память).

Будучи человеком высокой морали, Николай Владимирович и представить себе не мог, что можно думать одно, а делать "для порядка" другое, что в обстановке тех лет для большинства было самым обыкновенным. Например, нам "для порядка" полагалось проводить занятия по пропаганде лысенковской биологии, что и было поручено мне соответствующими общественными инстанциями. У меня возникло довольно щекотливое положение, поскольку я сама слушала лекции Николая Владимировича по генетике. Проводить эти "занятия" за его спиной представлялось еще более неудобным, и я всегда извещала о них Николая Владимировича, втайне надеясь, что он откажется, сославшись на занятость. Но не тут-то было: Николай Владимирович всегда приходил и, не перебивая, слушал, а потом, даже спустя много лет, вспоминал, как "Лизавета пыталась его переучить".

Николай Владимирович был абсолютно честным человеком. Не говоря уже о честном отношении к научному материалу, просто невозможно было себе представить, чтобы Николай Владимирович мог бы, например, кого-нибудь "подсиживать" или подводить. Его высокая честность распространялась вплоть до жизненных мелочей. Например, много лет спустя, уже в Обнинске, две сотрудницы отдела, не видя в этом никакого криминала, рассказали при нем, как они купили один на двоих месячный билет на электричку. Он почему-то этим заинтересовался, стал выяснять подробности и, когда узнал, что на этом билете фамилия одной из них, а фотография другой, стал громко возмущаться и говорить: "Это же подлог, так и украсть можно!"

Николай Владимирович был человеком щедрым, как в прямом, так и в переносном смысле. Он любому человеку мог отдать последние деньги, и, надо сказать, после смерти Елены Александровны находились люди, которые этим пользовались. Николай Владимирович был щедрым и относительно своих научных идей и собственных научных материалов. От него часто можно было слышать слова: Вы этими материалами можете пользоваться, как Вам будет угодно.

Говоря о Николае Владимировиче, просто невозможно не вспомнить и Елену Александровну. Николай Владимирович и Елена Александровна были некое единое понятие. Они, наверное, и не разлучались никогда до самой смерти Елены Александровны, за исключением того времени, когда Николай Владимирович был в тюрьмах и лагерях.

Елена Александровна была самой прекрасной женщиной, какая встретилась мне на жизненном пути. До старости сохранив следы былой красоты, она и внутренне была исключительно красивым человеком. Она было человеком очень честным, очень благородным, доброжелательным, искренним и веселым. Не знаю никого, кто ее бы не любил. К тому же Елена Александровна была большой труженицей. Не помню, чтобы она когда-нибудь сидела в лаборатории без дела. Николай Владимирович поручал ей когда-то самые трудоемкие опыты по генетике, а позднее по изучению водных сообществ и их изменениям под действием радиоактивных веществ. Кроме того, Елена Александровна писала для Николая Владимировича работы под его диктовку и читала ему на всех языках научную и художественную литературу. А ко всему прочему, Елена Александровна принимала дома бесчисленное множество посетителей, которые поодиночке и группами появлялись в их доме. Елена Александровна принимала посетителей неизменно доброжелательно и неизменно с улыбкой, независимо от того, являются ли они своими сотрудниками или малознакомыми людьми.

Елена Александровна была интеллигентной и благородной, очень мягким, деликатным, сдержанным человеком с очень милой и доброжелательной манерой общения. На всех, кто с ней общался, она оказывала благотворное влияние.

Эти благородные Тимофеевы-Ресовские при полном отсутствии каких-либо гражданских прав (при жизни в "зоне") и с клеймом "изменников" даже не заикались никогда о своем старшем сыне, участнике антигитлеровского сопротивления. Николай Владимирович вообще никогда не касался в разговорах этой темы, а Елена Александровна стала об этом говорить только, когда открылась возможность поисков затерявшихся следов сына. Эти поиски были безрезультатными, пока не вышла книга Д. Гранина "Зубр", но к этому времени уже не было Елены Александровны. Может быть, и к лучшему, что только сейчас выяснилась героическая и трагическая судьба их старшего сына – ведь у Елены Александровны теплилась надежда найти сына живым.

Ни Николай Владимирович, ни Елена Александровна никогда не заикались и о людях, спасенных Николаем Владимировичем в нацистской Германии – среди них были и советские и немецкие подданые. Даже позднее, когда некоторые из этих людей появлялись у Тимофеевых-Ресовских, они неизменно представлялись просто как "наши старые друзья". Благородство и чувство человеческого достоинства, которыми отличались Тимофеевы-Ресовские, не позволяли им воспользоваться этим для реабилитации своего имени. По этой же причине Николай Вла-

димирович при своей жизни и слышать не хотел о подаче документов на официальную реабилитацию.

Очень возможно, что Николай Владимирович спас не одного человека и из наших советских лагерей. Безусловно, ни Николай Владимирович, ни Елена Александровна никогда ни словом об этом не обмолвилась, и то, что я пишу, исключительно мои предположения.

Вместе с Николаем Владимировичем в командировку в Германию поехал еще один сотрудник из лаборатории Н.К. Кольцова – Сергей Романович Царапкин. Я также лично знала его по работе в "зоне". Сергей Романович Царапкин был исключительно добропорядочным, мягким и спокойным человеком, но выдающимся ученым он не был. Так же как Николай Владимирович, Сергей Романович жил в Германии с семьей (жена и трое детей), и, так же как и семья Тимофеевых-Ресовских, Царапкины были так называемыми "невозвращенцами". В этом фактически нет никакого преступления, однако в те "серьезные" годы невозвращение клеймилось словом "предательство", а возвращение гарантировало только верную гибель, а возможно, и гибель всех членов семьи. Когда закончилась война и появились надежды на поворот к демократии и к большему милосердию относительно своих сограждан, Царапкины, как и Тимофеевы-Ресовские, решили вернуться на Родину. Сергей Романович, как и Николай Владимирович, был арестован в 1945 г. Но у Николая Владимировича было тогда уже громкое имя в научном мире, и именно поэтому его в конце концов разыскали в Карагандинском лагере, поставили во главе организующегося научного отдела и даже предоставили возможность частично самому подбирать себе кадры. Очень возможно, что тогда он назвал имя Сергея Романовича Царапкина. Иначе почему бы органы МВД искали в лагерях и тюрьмах (и нашли) никому неизвестного С.Р. Царапкина? В "зону" была перевезена и вся семья Царапкиных.

Итак, мы считаем себя учениками Николая Владимировича и потому также, что он является для нас примером и в нравственном отношении, примером благородства, добропорядочности, смелости и гуманизма. К счастью, обстоятельства сложились так, что не пропал, а смог проявиться его незаурядный талант ученого и человека. Это – к счастью, поскольку сам талант не является защитой ни от жизненных неприятностей, ни от жизненных катастроф. Примером тому могут служить судьбы Николая Ивановича Вавилова и многих других. Мог бы не уцелеть и Николай Владимирович, переживший гражданскую войну, гитлеровский и сталинские режимы, тюрьмы и лагеря. Николай Владимирович никогда не занимался политикой, однако своего отношения к "великим вождям" не скрывал и при случае отзывался о них не слишком лестно. И уж, во всяком случае, никогда их не прославлял, как делали даже крупные писатели и академики. Для этого было необходимо немалое мужество.

Находятся, однако, люди, которые сами, работая в свое время при Сталине и Берии, ставят Николаю Владимировичу упрек за работу во времена Гитлера. Я была свидетелем, когда в один из приездов в Моск-

ву Николая Владимировича попытался "уесть" один слишком "правоверный" ученый. Он спросил у Николая Владимировича: "Как Вы могли тогда работать в Германии?" В ответ на это Николай Владимирович гневно и громко спросил в свою очередь: "А позвольте узнать, что Вы делали в это время здесь и как Вы могли?" Подобные выпады против своего человеческого достоинства Николай Владимирович пресекал сразу же, и только после его смерти подобные разговоры снова стали возникать.

Никогда не занимаясь политикой, Николай Владимирович был всегда истинным патриотом своего отечества. Об этом свидетельствует и судьба его старшего сына – ведь он воспитывался в их семье. Чувство гражданственности и патриотизма доходило у Николая Владимировича иногда до чудачества. Например, при исполнении государственного гимна, даже в домашней обстановке, при встрече Нового года, он всегда вставал и от всех присутствующих требовал того же.

Николай Владимирович был русским по национальности и русским по своему духу и характеру. Хорошо знал, высоко ставил и пропагандировал русскую культуру. Он мог наизусть продекламировать стихотворения Державина и с большим чувством и даже знанием дела напеть некоторые церковные песнопения. Вместе с тем Николай Владимирович был истинным интернационалистом. Среди его друзей и сотрудников были люди десятков различных национальностей. В людях он ценил больше всего порядочность и увлеченность своим делом.

Не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, что в глазах его ближайшего окружения Николай Владимирович был человеком без всяких недостатков. Мы и не относились к нему как к некоему ангелоподобному существу, наделенному только достоинствами. Его бурный темперамент часто, как говорится, "заносил" его. Николай Владимирович был известным острословом – кого-то он мог публично высмеять, кого-то демонстративно "не замечать" и потому умел наживать себе не только друзей, но и врагов и недоброжелателей.

Не был он и беспристрастным человеком. У него никогда не было ровного и одинакового отношения как к сотрудникам, так и к окружающим его людям. Это, наверное, вполне естественно, но большинство научных руководителей стараются это скрывать, казаться со всеми ровными. Будучи человеком открытым, Николай Владимирович никогда этого не скрывал, и среди окружающих у него всегда были "любимчики", а также люди, которым он открыто выражал свою антипатию. Другой вопрос, что не все из его "любимчиков" выдержали испытание временем, а некоторые оказались даже в стане недоброжелателей.

Для нас же, его истинных друзей, это был наш Николай Владимирович, со всеми его достоинствами и недостатками, и мы любили его за все: за то, что он такой крупный ученый, за то, что он незаурядный, нестандартный человек, за то, что он гуманист и интернационалист, за то, что он открытый, громкий и веселый, за то, что он далеко не беспристрастный и язвительный, за то, что он вспыльчивый, как многие честные люди.

Уже после его смерти его недоброжелатели снова подняли голову и

обрушили на него целый град обвинений и подозрений во всех смертных грехах и все с позиций будто бы "объективности" и "исторической правды". Кто же эти люди? Во-первых, это отъявленные сталинисты, которым очень хочется сделать из него врага. Во-вторых, это лжепатриоты. Некоторые из них даже не знали лично Николая Владимировича, однако в пылу своих "благородных, патриотических" чувств высказывали весьма кровожадные мнения, считая, что Николай Владимирович должен был пойти на гибель и свою и своей семьи, но вернуться по зову "партии и правительства". А что бы сами решили эти лжепатриоты, окажись на его месте? Наконец, третью категорию недоброжелателей Николая Владимировича составляют просто завистники, которые и после его смерти завидуют его огромной популярности, его мировой известности. Завидуют тому, что имя его упоминается среди плеяды замечательных ученых.

Теперь несколько слов о последних годах Николая Владимировича. Уход из жизни Елены Александровны подействовал на Николая Владимировича катастрофически. В значительной степени пропали его веселость и общительность. Он стал более раздражительным, предпочитал уединение и охотно общался лишь с немногими близкими людьми. Стал чаще болеть, однако помощь принимал далеко не от каждого. Как правило, сам готовил себе еду, а убирать в квартире приходила женщина, которая делала это еще при Елене Александровне и которая была вполне надежным человеком. Однако после смерти Елены Александровны вокруг Николая Владимировича стали появляться и весьма ненадежные и подозрительные личности. Надо сказать, что Николай Владимирович и Елена Александровна никогда не были людьми "с достатком". Николай Владимирович далеко не всегда получал большую зарплату, денег им часто не хватало, сбережений у них не было, в квартире была простая мебель и не было ничего дорогого, кроме книг. Тем не менее, когда Николай Владимирович остался один, был пущен слух, что вот живет один "богатый" профессор, у которого в квартире во всю стену стеллаж, уставленный черными папками, "битком набитыми деньгами". И к нему потянулись самые разные люди за деньгами "в долг". Приходили и молодые девицы, выдававшие себя за "бедных студенток", и пожилые женщины, "попавшие в беду", и какие-то мужчины, в том числе подвыпившие. Николай Владимирович сначала деньги давал, иногда и последние отдавал, однако долгов никто не возвращал. Однажды к Николаю Владимировичу даже приходил милиционер, чтобы предупредить его относительно слухов о его "богатстве", хранившемся в "черных папках". А как-то Николай Владимирович даже испугал меня, когда с гордостью сообщил, что "есть еще у него сила" и что он "нокаутировал чужого пьяного мужика и вышиб его из своей квартиры". Николаю Владимировичу было тогда уже почти 80 лет и он болел.

В последние годы жизни у Николая Владимировича еще более резко стала проявляться его пристрастность к одним людям и неприятие других. Он очень любил общество Владимира Ильича Иванова, Тамары

Илларионовны Никишановой и Александра Александровича Ярилина, но первые двое жили в Москве и в Обнинске не имели возможность часто приезжать.

Но на одном из своих последних "пристрастий" Николай Владимирович едва не "погорел". Однажды, придя к нему, я застала у него миловидную, совсем молодую девушку. Николай Владимирович был весьма оживлен и представил ее как своего "нового юного друга". Девушка оказалась почтальоншей. Почувствовав к ней большое расположение, Николай Владимирович отдал ей ключи не только от почтового ящика, но и от своей квартиры. Однажды в его отсутствие (Николай Владимирович тогда еще ездил в Москву, поскольку был консультантом в Институте космической биологии и медицины) она привела в его квартиру свою компанию.

На последний юбилей Николая Владимировича – 80-летие – дома у него собралось много народу, как когда-то было при Елене Александровне. Николай Владимирович, несмотря на болезнь, был взволнован, оживлен и произнес в честь присутствующих речь, смысл которой заключался в том, что ему в жизни очень везло, так как на его пути встречалось много порядочных людей. Это было как прощание и фактически им и было. Вскоре он попал в больницу и в свой дом уже не вернулся.

Уже после смерти Николая Владимировича, находясь в каком-то общественном месте, я услышала обрывок чьей-то фразы, относящейся, возможно, ко мне: "..это из клана Тимофеева-Ресовского". Ну что же, я лично горжусь принадлежностью к этому "клану". Ведь это означает свободная и чистая совесть, достоинство, благородство и неравнодушное отношение к жизни.

ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА СОКУРОВА [1925–1991] – старейший сотрудник Николая Владимировича, микробиолог, работала в начальный период разработки основ радиационной экологии на Урале, а затем как радиобиолог в отделе Николая Владимировича в Обнинске. Знала Тимофеева-Ресовского с 1949 г.

Ю.И. Новоженов

МОГУЧИЙ ДУХ МЫСЛИ

В конце 50-х годов поползли слухи о том, что где-то в глубине Ильменского заповедника на Южном Урале, недалеко от станции Миасс обосновался какой-то странный профессор с не менее странной двойной фамилией (что само по себе вызывало необычные ассоциации), который пропагандирует запрещенную генетику. Многие сомневающиеся и ищущие

стали мечтать о посещении Ильменского заповедника. Мне повезло больше, чем другим, так как после окончания Уральского университета в 1956 г. я был направлен в Ильменский заповедник в качестве младшего научного сотрудника, энтомолога. В самом заповеднике, т.е. на "базе", где обосновалась власть и наука заповедника, протекала обычная провинциальная жизнь, полная невзгод и мелочных интриг, характерных для изолированных групп. Для того чтобы попасть в другой мир с другим измерением, необходимо было прошагать 25 км по старой, заросшей дороге на кордон, расположенный на берегу живописного озера Большое Миассово в центре заповедника, что я вскоре и сделал. То, с чем я там познакомился, поразило и потрясло меня. Однако, чтобы понять это, надо вспомнить, что представляли собой выпускники университетов в те мрачные для науки времена. Генетика считалась "продажной девкой империализма", кибернетика – "буржуазной лженаукой", дарвинизм требовал очищения от мальтузианства и внутривидовой борьбы, а биология – от математики, статистики, экспериментирования и прочих "загрязняющих" ее влияний и веяний западной "пропаганды". Сами мы были – учениками советских "творческих дарвинистов", создающих новую современную, коммунистическую науку, отличную от западной, лживой и загнивающей. Эта точка зрения распространялась не только на науку, но и на искусство, мораль, этику, политику и весь наш образ жизни. Желая как-то усовершенствовать и расширить свои знания, глубже приобщиться к науке, я добросовестно изучал классиков того времени, вождей нашей биологической науки: Лысенко, Лепешинскую, Бошьяна, Красильникова и других менее популярных, но не менее именитых. Я готовился также стать преобразователем природы, не собираясь ждать от нее милостей.

Столкнувшись с коллективом единомышленников и учеников Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, я понял, что попал в другую, чуждую моему воспитанию и образованию среду. Я, выпускник не очень провинциального в стране вуза, понял свое ничтожество, свою ограниченность, необразованность и полную отчужденность от науки. Я не понимал даже того языка, которым они говорили. Он был насыщен новыми именами, новыми терминами, которых я раньше не слышал, словами иностранного происхождения, уже давно вошедшими в науку и составляющими ее методологический фонд, но не звучавшими с университетских кафедр; новыми выражениями, новыми для меня афоризмами, пословицами и поговорками, типа БСК (бред сивой кобылы), МНТ (метод научного тыка), которые шокировали не сами по себе, а тем, что их походя и с юмором произносили "ученейшие дяденьки и тетеньки". Самое же главное, что я, как и многие мои сверстники, не понимал, о чем они говорят, во что верят, почему разносят то, что общепринято, и восхваляют то, о чем обычно молчат. На стене в кабинете Тимофеева-Ресовского висели портреты неизвестных мне людей, на полках стояли малопонятные книги неизвестных авторов, всюду царил дух свободы и творчества, культ науки и знания, иностранных языков, математики, физики,

мировой культуры, искусства и еще многого, что делает человека личностью, а не особью из толпы равных и солидарных своей тупой правотой. Комплекс совершенства и причастности к передовому и новому трансформировался у меня в комплекс неполноценности при столкновении с истинной наукой и ее настоящими представителями. Один мой знакомый выпускник сельхозинститута признавался, что он был так потрясен этой необычной ситуацией, что обратился к своему непосредственному начальнику с вопросом: "Что тут творится?" и не следует ли об этом кому-либо сообщить. На что получил ответ: "Не твоего ума дело!" В итоге, всем нам пришлось вновь браться за ум, чтобы войти в эту среду и понимать хотя бы, о чем говорят, судя по всему, неглупые люди.

Надо признаться, было потрачено немало сил, энергии и времени, чтобы приобрести второе, истинное образование и не чувствовать себя бездарным неучем в этой среде. Сейчас уже многим известны эти Миассовские семинары, душой и организатором которых был Николай Владимирович, семинары, которые внесли огромный вклад в возрождение научной биологии в нашей стране. О них писали в разное время и дочь академика Л.С. Берга – Раиса Львовна Берг, и дочь академика А.А. Ляпунова – Наталья Алексеевна Ляпунова, и писатель Даниил Гранин, но вот что интересно. Мне пришлось побывать отнюдь не на всех семинарах, так как долг "полевого зоолога", как нас называл Н.В. Тимофеев-Ресовский и очень любил эту специальность, вынуждал ездить по разным местам для сбора материала. Однако, где бы мне ни приходилось встречаться с теми, кто общался с Н.В. Тимофеевым-Ресовским, слушал его, бывал на семинарах, лекциях и т.п., я всегда безошибочно узнавал этих людей по каким-то неуловимым флюидам, которые они от него восприняли. А восприняли очень многие, некоторые из них уже давно заслуженные ученые, академики или "член-коры", профессора или "кандибоберы", но этот эмоциональный дух, дух науки, оригинальные мысли, нетривиальности и независимости взглядов и суждений сохранился у них и сохранится на всю жизнь. Я в этом все больше убеждаюсь.

Тимофеев-Ресовский был излучателем энергии. Он излучал знания, любопытство, интерес к жизни, веру в науку, в добро, в справедливость и, главное, в истину. Сколько людей в мире испытали на себе этот "лучизм", восприняли его и передают другим. Я пытался как-то подсчитать их, но после выхода книги "Зубр", после многих прочитанных научных и биографических источников список этот все увеличивался и превращался в цепную реакцию, в центре которой стоял один человек – обладатель могучего духа мысли. Память о нем будет вечной в сердцах тех, кто общался с ним, кто стал благодаря этому человеком и ученым. Эта память трансформируется в научных трудах его учеников, в лекциях, в воспоминаниях. Я уже много лет читаю лекции по дарвинизму, генетике. экологии, и трудно припомнить хотя бы одну из них, где бы я ни упоминал его имени, ни пользовался его мыслями, выражениями, ни гордился своим учителем или не излагал его идей. И делают это все, кто его слушал. А слушали многие.

Тимофеев-Ресовский обладал исключительной щедростью на слово, на мысль, на общение ("за идею мы платим копейку"). У А. Блока был случай, когда он читал лекцию одному человеку, но это был человек, который сохранил слово великого поэта. Тимофеев-Ресовский часто не заботился даже об этом, он просто был так создан природой, чтобы делиться с людьми тем, что имел. Где только он ни читал своих лекций: и в Уральском университете, и в Лесотехническом, Сельскохозяйственном, Педагогическом институтах, выезжал из Свердловска в Москву, Ленинград, где его тянули нарасхват как популярную звезду все, кто только мог. М.Е. Лобашев как-то сказал перед началом ежегодного курса лекций по генетике в Ленинградском университете, что мы не имеем возможности оплатить его лекций, но Н.В. Тимофеев-Ресовский всегда бескорыстно приезжает к нам, за что мы ему очень признательны. После такой небольшой речи и поздравления Н.В. Тимофеева с юбилеем корифеи генетики поцеловались на глазах у изумленного студенчества. Он увлеченно читал всегда и одному человеку, и двум, и большой аудитории. При этом поражало то, что каждый раз он говорил новое, импровизировал, мыслил вслух. Никогда он не пользовался конспектами, да их и не было. Лишь на семинарах, конференциях, докладах и других разовых выступлениях у него был план на небольшой бумажке, которая оставалась без употребления до конца доклада. В конце он смотрел в нее через лупу (он тогда уже плохо видел – результат заключения) и сообщал аудитории с юмором: "Все", как будто кто-то, а не он написал этот план и он лишь выполнил порученное дело.

При обсуждении научных вопросов и докладов он выступал первым ("Пока люди думают"). Как корифеи: ему бы полагалось выслушать всех и затем с важным видом "заключить", ан нет, он первым бросался в бой и не дай Бог попасть ему под руку. Тимофеев был беспощаден к глупости, научному чванству, безграмотности, отсутствию эрудиции и компетентности по обсуждаемому вопросу. Некоторые незадачливые докладчики на всю жизнь запомнили его "порку", хотя и не отрицают, что она была справедливой и пошла им на пользу.

Вместе с тем он был внимателен и заботлив к молодым, начинающим исследователям, если видел в них желание искать, видел интерес к науке, истине, тягу к знанию. Горой стоял он за аспирантов, тем более если им что-либо угрожало. Помню, как однажды он спас одного из аспирантов, которого обвинили в пьянстве на основе одного случая. Обстановка на аттестации была гнетущей, и Тимофеев-Ресовский неожиданно задал вопрос обвиняемому, опохмеляется ли он?. Тот, естественно, ответил "нет", хотя такого вопроса на столь значимом собрании ученых мужей не ожидал. Тимофеев-Ресовский вдруг воодушевился почти до крика, торжествовал и смеялся, возбудил всех: "Так он же не пьет!" Обстановка была разряжена, аспирант спасен и впоследствии стал большим специалистом в одной из редких отраслей биологии.

Нетерпимость к глупости и конъюнктурности в науке сочетались в Н.В. Тимофееве-Ресовском с плюрализмом и уважением других мнений,

если даже он и был не согласен с ними. Помню, как на первом совещании по популяционной генетике в Ленинграде, когда выступал А.А. Любищев, я спросил у Николая Владимировича, почему он не возражает номогенетику. На что он ответил, что не обладает достаточным знанием философии, как А.А. Любищев, чтобы спорить с выступающим. Зато частые споры и дискуссии, которые он вел со своим другом математиком А.А. Ляпуновым после миассовских семинаров подчас до поздней ночи, были очень интересы для молодежи. Н.В. Тимофеев-Ресовский как петух наскакивал на А.А. Ляпунова, разбивал его аргументы, а математик, достаточно хорошо знающий генетику, интеллигентно отбивался. Для нас эти споры были лучше любых университетов, мы слышали живое слово науки, видели истинно увлеченных наукой людей, учились у них отстаивать свои взгляды, учились мыслить и говорить, постигали уровень мировой культуры.

Одна из внутренних трагедий Николая Владимировича заключалась в почти полной неизвестности его как крупнейшего ученого современности, особенно среди молодежи. Мы, биологи, окончившие университеты, не знали ни одной его научной работы. Все пользовались лишь только слухами, и лишь личное общение позволяло почувствовать современный уровень истинной науки. С большим трудом ему удавалось сдерживать свое раздражение нашими глупыми вопросами и наивными размышлениями. В те времена основным генетиком, которому удавалось активно печататься, был академик Н.П. Дубинин. Регулярно появлялись его рефераты и литературные обзоры в ”Итогах науки”, которые были для многих из нас откровением. Естественно, мы считали его крупнейшим генетиком, особенно после того, как вышли его учебники и солидные монографии. Свои восторги по поводу Дубинина и его трудов мы не могли сдержать и в разговорах с Н.В. Тимофеевым-Ресовским, который находил в себе волю и такт ограничиваться юмором или краткими комментариями.

Еще большей выдержки требовалось от него, когда он пытался ”обратить в свою веру” некоторых вчерашних студенток-отличниц, добросовестно усвоивших курс ”советского творческого дарвинизма” и ”мичуринской генетики”. Не имея ни такта, ни понятия, упорно навязывали они ему длительные и бесплодные дискуссии. Вообще, мне часто было жалко время и энергию, которую отнимали у него очень многие беспардонные и недалекие люди, любившие вращаться в центре событий и удовлетворять в этом свое самолюбие.

Однажды я был свидетелем, как и он не сдержался, хотя такие случаи были редки. Дело происходило в тесных кабинетах, где располагалась в зимнее время вся группа Тимофеева-Ресовского в Уральском филиале АН СССР на ул. Софьи Ковалевской. После полного рабочего дня Николай Владимирович читал, как обычно, курс лекций по генетике для небольшой группки молодежи (школьников, лаборантов, аспирантов), разными путями узнавших об этой возможности. После почти двух часов его импровизированных воспоминаний о том, как зарождалась генетика

и создавались ее основные достижения, один из слушателей прервал уже уставшего лектора "дурацким вопросом". И тут Н.В. Тимофеев-Ресовский взорвался, несколько минут он беспощадно разоблачал незадачливого слушателя за его глупый вопрос. Его проработка сводилась к тому, что тот задает вопрос, не дав себе труда подумать, насколько он не соответствует тому уровню науки, о котором шла речь, и свидетельствует, что автор его превращает серьезное дело в бесполезное времяпровождение, что его вопрос говорит о полном неуважении к лектору, который тратит свое время и здоровье на чтение лекций. И действительно, он трудился с полной самоотдачей, думал, говорил, ходил из угла в угол, я это могу оценить только сейчас, когда сам уже 20 лет читаю лекции в вузах, а мы, в том числе и вопрошающий, сидели на столах и болтали ногами, не очень-то вдумываясь в смысл его сообщений. Сейчас бы их, вероятно, записывали на магнитофон. После уничтожающего разноса лектор быстро разрядил обстановку, спросив нас, "здорово ли он разнес начальствующего типа", так он называл всех причастных к административной системе.

Полнейшей неожиданностью для нас, заставившей впервые задуматься о том, с кем нам удается общаться, было присвоение Тимофееву-Ресовскому Дарвиновской медали по случаю 100-летнего юбилея выхода в свет классического труда. Медаль эту привезли к нам из Германии прямо в Миассово в забытый и ничем тогда еще не примечательный уголок Южного Урала. В нашей стране ее получили лишь четыре самых выдающихся биолога (в их числе С.С. Четвериков и И.И. Шмальгаузен), внесших большой вклад в развитие дарвинизма. Узнав о прибытии этой знаменательной награды, А.А. Ляпунов неожиданно прервал волейбольную партию, которую, как всегда, судил со своими веселыми комментариями ничего не подразумевающий юбиляр. Все быстро собрались в лабораторный корпус, никто ни о чем не догадывался, и все чего-то боялись. После краткой вступительной речи А.А. Ляпунов вручил награжденному медаль, после чего все были приглашены на юбилейный импровизированный ужин.

После этого была еще Кимберовская премия, которой удостоены только крупнейшие генетики мира: Г. Меллер, С. Райт, Ф.Г. Добржанский, Дж. Б.С. Холдейн, К. Штерн, Б. Мак-Клинток, Г. Бидл, Т. Соннеборн и Н.В. Тимофеев-Ресовский. В 1958 г. вышел знаменательный третий номер "Ботанического журнала" со статьей Н.В. Тимофеева-Ресовского, где впервые в нашей стране была опубликована синтетическая теория эволюции. Без всякого преувеличения можно сказать, что одной этой работой он познакомил все наши и последующие поколения советских биологов с современной наукой. До этого мы блуждали в потемках и находились бы там еще неизвестно сколько, если бы не та огромная просветительная и творческая деятельность, которую Н.В. Тимофеев-Ресовский смело проводил на своей Родине после возвращения. Можно было только удивляться его мужеству после того, что ему пришлось пережить и вынести, но этот русский человек не мог вести себя иначе. Другой прав-

ды он не знал, ложь к нему не приставала, он верил в торжество разума и не заботился о своей судьбе и карьере.

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ НОВОЖЕНОВ, родился в 1933 г. Доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой зоологии Уральского государственного университета, г. Екатеринбург. Работает в области лесной энтомологии, популяционной генетики, фенетики, полиморфизма насекомых, а также социобиологии. Познакомился с Тимофеевым-Ресовским в 1956 г. в Миассове.

М.В. Придня

МОИ ВСТРЕЧИ С Н.В. ТИМОФЕЕВЫМ-РЕСОВСКИМ

Весной 1962 г. (я работал тогда в Свердловском НИИ лесной промышленности), будучи в командировке в Ленинграде, по просьбе нашей сотрудницы я консультировался в Агрофизическом институте по вопросу о возможности повышения всхожести лесных семян и темпа роста сеянцев с помощью радиоактивного облучения семян. С такими вопросами я обратился к Н.Ф. Батыгину – в то время старшему сотруднику этого института. Он отнесся ко мне очень внимательно, подробно осветил проблему, около часа я внимательно слушал этого замечательного, в то время молодого ученого, за окном кабинета которого на опытных делянках колосилась пшеница. Я понял, что проблема в такой постановке "тупиковая". Заключение Николая Федоровича было для меня неожиданным, обескураживающим. Оно сводилось вот к чему: почему с этими вопросами я пришел к нему, а не обратился на месте в Свердловске к Н.В. Тимофееву-Ресовскому – точнее и полнее, чем Николай Владимирович, никто и нигде в стране сейчас дать по этому вопросу ответ не сможет.

Осенью того же года наши сотрудники "пригласили" меня на защиту докторской диссертации Н.В. Тимофеева-Ресовского. Разговоры о защите докторской диссертации Н.В. звучали как-то неясно – ведь все мы были убеждены, что он профессор и, стало быть, доктор наук, а поэтому непонятно, зачем доктору наук защищать диссертацию. По крайней мере в сообщении об этой защите заключалось нечто неординарное. Мы, т.е. несколько молодых сотрудников, приехали в БИ УФАН. В небольшом голубоватом двухэтажном "корпусе", что стоял в глубине ботанического сада, обычное крыльцо, коридор, деревянная лестница на 2-й этаж. В актовом зале, уже почти заполненном преимущественно гостями, среди которых "растворились" члены Совета и оппоненты, за столом президиума – профессор С.С. Шварц. Зал не вместил всех прибывших, много народа стояло в коридоре перед залом, даже на лестнице. Станислав Се-

менович просит девушек – молодых сотрудниц из лаборатории Николая Владимировича – уступить место гостям, мотивируя это тем, что они слышат и видят Николая Владимировича каждый день. Мне посчастливилось, и я занял место в первом ряду за поперечным (в зале) проходом. Стремительно и непринужденно ходит перед сценой и в продольном проходе Николай Владимирович, на нем распахнутый свободный пиджак, свободный (без заколки) галстук. На замечание о галстуке одного из оппонентов Николай Владимирович ответил, что галстук, как и мысли, должен быть свободным. В проходе столкнулись Николай Владимирович и его оппонент профессор П.Л. Горчаковский, схватили друг друга "под мышки", в порыве борьбы едва не "грохнулись" на пол, как настоящие борцы. Наконец, все члены Совета в сборе. С.С. Шварц открывает заседание, после непродолжительных формальностей на трибуне Николай Владимирович. Четкая речь, приятный звонкий певучий голос, предельно ясное изложение казалось бы непостижимо трудной проблемы радиационной биогеноценологии, тема доклада: "Некоторые проблемы современной радиационной биогеоценологии". Сила убеждения, точность результатов, полученных на основе логически построенной и рационально выполненной системы экспериментов, в целом, безупречная логика познания – это и многое другое как бы перевернуло мое сознание, сформировало заново мое мировоззрение, напомнило прелесть лучших страниц трудов русского естествознания, открытых корифеями отечественной науки В.В. Докучаевым, Г.Ф. Морозовым, В.И. Вернадским, В.Н. Сукачевым. Свой блестящий доклад Николай Владимирович заключил словами о том, что развиваемое им направление науки можно назвать "вернадско-логическое учение с сукачевским уклоном". Интересны были необыкновенно высокие оценки оппонентов, в частности, предлагалось присудить степень доктора геолого-минералогических наук, физико-математических наук и рекомендовать избрание академиком АН СССР. В докладе я впервые услышал новые для меня сведения об уровнях познания живой природы, позже в ряде работ многих авторов стали все чаще появляться представления почти в тех же выражениях (почти дословно), но уже об уровнях организации живой природы (Е.М. Лавренко, М.И. Сетров и др.). Конечно, если открыты уровни познания живой природы, то почему бы не считать, что это уровни и организации ее, раз она "позволяет" познавать себя на этих уровнях, значит, она организована так. Но, по-видимому, не только так. Там, на этой защите, я впервые, может быть подсознательно, ощутил прелесть нашего отечественного естествознания, испытал истинное желание быть участником этого притягательного процесса научного творчества. Напомню, что это было за два года до известного постановления октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС, которым предусматривалось покончить с монополизмом лысенковского догматизма в биологии и науке в целом. Это было время, когда научные сотрудники не только в таких НИИ, где я работал, но и в АН СССР не могли много говорить и думать о том, что не укладывалось в официальную доктрину, в биологии господствовал еще догматизм,

иссушающий душу и мозг человека. Это я уже позже ощутил, когда стал аспирантом БИ УФАНа и потом научным сотрудником лаборатории лесоведения этого же института. Но в эти же годы уже в списках ходила книга Жореса Александровича Медведева по истории биологии в стране.

В.Е. Береговой читал исторический очерк генетики в своих лекциях для широкой аудитории (общество "Знание"). Но еще подвергались остракизму ближайшие ученики Н.В. Тимофеева-Ресовского, "не вписывающиеся" со своими темами в планы НИР лаборатории, например Ю.И. Новоженов, В.Е. Береговой. Более чем странной выглядела история с докторской диссертацией В.Е. Берегового (научный консультант Н.В. Тимофеев-Ресовский), когда не были обеспечены элементарные нормы защиты. Например, сразу после защиты в Новосибирске (Институт цитогенетики СО АН СССР) исчезла диссертация, необходимо было восстановить первый экземпляр, на что ушло три месяца, после чего все-таки ВАК отклонил диссертацию. На этих сотрудников показывали пальцами как на адептов Н.В. Тимофеева-Ресовского и на нас как на их друзей, соратников и учеников – тоже. Удивляет все же такое состояние, когда очень много лиц слушали специальные лекции Николая Владимировича, участвовали в его коллоквиумах и семинарах и очень немногие "пошли за ним" в своих работах. Видимо, прав Ю.И. Новоженов, что семена упали на еще не готовую почву. В 60-е годы в БИ УФАНе еще теплился дух Николая Владимировича (хотя он уже работал в Обнинске) благодаря его ученикам и сподвижникам (Новоженов, Береговой), да и директор С.С. Шварц, как меня просветили мои друзья-зоологи благодаря встрече с Николаем Владимировичем, благодаря частым "чаепитиям" и "биотрепам" стал расти в научном плане не по дням, а по часам. Поддерживался этот дух также и его учениками – А.Н. Тюрюкановым, В.И. Ивановым и другими, иногда приезжавшими в Свердловск в наш институт. Можно лишь восхищаться умением Николая Владимировича "выбирать" научные направления работ, формулировать проблемы, актуальность которых со временем не падает, а возрастает. Это относится и к радиационной биогеоценологии и в целом к проблеме "Биосфера и человечество", постановкой которой Николай Владимирович предвосхитил нарастание сложности и тревожности этого взаимодействия и даже появление работ "Римского клуба".

В связи с этим хотелось бы остановиться еще на одной встрече с Николаем Владимировичем уже в другой научно-педагогической аудитории. Вторая памятная встреча была в 1968 г. в Уральском университете, где Тимофеев-Ресовский участвовал в обсуждении темы "Биосфера и человечество". Для меня и, думается, для многих из большой аудитории (актовый зал был полон и при этом спектр слушателей был очень широк – от студентов до ректора, от биологов до юристов) было откровением и сама постановка проблемы, и развитие путей решения как собственно проблемы "БиЧ" и особенно в ее контексте, раскрытие роли теории микроэволюции (эволюции популяций) в решении многих задач этой комплексной проблемы. К сожалению, эта лекция в том объеме не опубликована,

думаю, тем, кто ее тогда услышал, надо воспроизвести содержание этой лекции и опубликовать. Этому могут помочь опубликованные Н.В. разделы этой единой проблемной работы, как назвал тогда А.Т. Мокроносов, не лекции, а замечательной актовой речи. Правда, опубликованы они как бы в обратной временной последовательности и порознь (Микроэволюция; Биосфера и человечество). До сих пор у нас в стране должным образом еще не осознана роль методов и принципов вскрытия механизмов эволюции популяций, популяционной экологии, биологии для решения проблем охраны живой природы. Мы заново осознаем эту проблему уже через зарубежные источники, преимущественно американские (см.: Биология охраны природы. М.: Мир, 1983; Жизнеспособность популяций: Природоохранные аспекты. М.: Мир, 1989), хотя уже в те часы уральского зимнего дня (13 февраля 1968 г.) Николай Владимирович прямо указывал на необходимость применения принципов и методов и результатов исследования экологии и биологии популяций для решения природоохранных проблем, в частности убедительно доказал значение для этих целей конкретных феноменологических сведений о популяционных волнах, механизмах изоляции, мутационном процессе, генетико-автоматических процессах и т.п.

Вообще, его слова оказались удивительно пророческими (хотя "нет пророка в своем отечестве") в том плане (он об этом говорил на лекции), что если мы не увеличим умственную работу в конкретных областях биологии и экологии, в изучении конкретных видов популяций, не сохраним всего разнообразия генетического богатства природы, то буквально завтра "нам нечего будет жрать, нечего будет пить, нечем будет дышать".

Как все-таки медленно мы усваиваем эти истины, я вижу на примере тех наших научных коллективов, где мне пришлось работать (лаб. лесоведения БИ УФАН СССР и Кавказский государственный биосферный заповедник). Укоренился догматический лысенковский взгляд на экологические и биологические проблемы, которым были "пропитаны" все специалисты, вышедшие из тогдашних университетов и институтов, а у некоторых до сих пор не выветрился этот дух лысенковщины. Беден арсенал таких исследователей. Не случайно С.С. Шварц часто говорил, что биология сделала такие шаги вперед, что работы, не учитывающие достижений познания эволюции популяций, стали вдруг анахронизмом. Сам Н.В. Тимофеев-Ресовский неоднократно повторял, что любое биологическое исследование, не преследующее далекую либо близкую, но обязательно эволюционную цель, не имеет смысла! Если при слушании защиты докторской диссертации у меня возникла едва ли ни физическая потребность всерьез приобщиться к исследованию живой природы, следствием чего и было поступление в аспирантуру, то на этой лекции (БиЧ) появилась не менее острая потребность сказать людям слово о результатах науки, читать лекции, хотя до этого мне в голову не приходило, что я смогу стать квалифицированным лектором. Благодаря могучему таланту Николая Владимировича "выступать" я набрался смелости и начал

читать лекции в 1968 г. и вот уже 22 года читаю на Урале и на Кавказе в самых разнообразных аудиториях: от Нижнетагильского металлургического комбината до средних школ и поликлиник по ряду тем "Биосфера и человечество" (экологические проблемы регионов, биосферные заповедники, экономика и экология природопользования, заповедное дело и охрана природы и др.), включая преподавание в школах и вузах. Боязнь аудитории прошла именно в тот день (13 февраля 1968 г.) благодаря мастерству расковывать человека, которым, безусловно, обладал Николай Владимирович сполна. Надеюсь, мои слушатели не потеряли зря времени на моих лекциях: помню счастливые минуты, когда ко мне "за кулисы" после лекции подошла одна из моих слушательниц со словами благодарности, поинтересовалась корнями моей подготовки как лектора.

С тех лет мои научные интересы идут в русле популяционно-биологического направления, сопряженного с природоохранными и "заповедными" проблемами. Далеко не все удается реализовать, приходится уделять много внимания и времени борьбе с "заболачиванием", "выползанием из трясины", в которые затягивает жизнь, особенно в провинциальных коллективах, где зачастую много околонаучных тем. Впрочем, это характерно и для других научных коллективов и центров, они нередко теперь распадаются (недавно узнал о тяжелом положении науки в Обнинске). Общество наше еще не ценит свой научный потенциал, доказательство тому и "бичи" от науки, и сторожа от нее же, и суициды, и – теперь – проблема утечки умов. Николай Владимирович был большим ученым и великолепным учителем. Кроме этого, добрым человеком, хотя я его, кажется, естественно, стеснялся и даже боялся.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ПРИДНЯ - доктор биологических наук, заведующий лабораторией Кавказского биосферного заповедника, геоботаник – лесовед, знаком с Николаем Владимировичем с 1962 г.

Р.Л. Берг

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ

Одно из самых ярких впечатлений моей жизни – закомство с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским, моя встреча с ним. Не знаю, как обозначить драгоценные впечатления от общения с ним, это все равно как увидеть первый раз в жизни полную арку радуги или северное сияние, не подозревая, что они существуют. Чтобы воспроизвести силу впечатления, нужно еще поселить впервые увидевшего радугу в мир, лишенный красок. Все серое, тени чуть погуще – а так, ни малейшей подцветки, всегда, всю жизнь. И вдруг – полная дуга радуги! Я читала его работы, цитировала их в статьях, где речь шла об отрицательной корреляции между доминантностью нормального аллеля и частотой

возникающих в нем мутаций. Его великолепные работы, где сочетание сравнительного и экспериментального методов служило решению кардинальных вопросов биологии.

Он вроде бы числился невозвращенцем, а устрашающий этот ярлык подразумевал предателя родины, врага народа, подлежащего каре в соответствии с уголовным кодексом. Но он был менее проклинаем, чем, например, Добржанский. Цитировать Тимофеева не возбранялось.

Он издали представлялся мне тихим русским интеллигентом, наподобие М.Н. Римского-Корсакова или Валентина Александровича Догеля, зоолога.

Я знала – вот он уже не просто за границей, он в нацистской Германии, в стране, находящейся в войне с Советским Союзом. Мое чувство все больше преисполнялось болью, тревогой за его судьбу. Я знала, что он арестован, заключен в сибирский лагерь, и оплакивала его, и сетовала, что ничего не делаю, чтобы помочь ему.

В самом начале 1956 г. я очутилась в Москве, где в Географгизе печаталась моя книга о путешествиях моего отца Л.С. Берга по озерам Сибири и Средней Азии. Вот заметьте, если в цепи эпизодов, относящихся к одному и тому же событию, один много ярче других, вы, за давностью, вспомните только его, а все превосходящее изгладится начисто из вашей памяти. Я попала в доклад Николая Владимировича. Он говорил о радиостимуляции растений. Ведь должна же была чудовищная несвобода, в которой он жил почти четверть века, больше половины своей сознательной жизни – 12 лет нацизма, 10 лет лагерей и работы в "шараге" под надзором властей, – наложить отпечаток на его повадки, подчинить его трафарету. Работа, о которой он докладывал, была сделана в "шараге", в обстановке, которая, надо полагать, к веселью не располагала. И пиджак на Николае Владимировиче был какой-то уж очень грубошерстный, видимо еще оттуда. Но ни малейшей скованности, академической засушенности, "звериной серьезности", по его собственному выражению, презрительному конечно, не было в его изложении. Тихим русским интеллигентом он не был никогда, и ничто не могло его втиснуть в какую бы то ни было категорию. Сам язык его доклада, преисполненный бодрой иронии, был необычен. Одна "юшка" – раствор стимулятора, в котором замачивали семена, – чего стоила. На записки Николай Владимирович не отвечал. Понять по его поведению почему, было невозможно. Потом я узнала, что заработанная им в лагере пеллагра сделала его полуслепым, он не мог читать, поражено было центральное зрение. Вот так, как к своей полуслепоте, он относился ко всем страданиям своей мученической жизни. Он скрывал их, но в соответствии с первейшим правилом аристократического поведения в обществе их не демонстрировал. Он никого не приглашал в судьи палачей, не искал сочувствия и помощи. Он развлекал, радовался общению, радовал окружающих. Пресмешно рассказывал он, как молодой немец, ученый, очень добивался внимания гостей, особенно дам, пел, читал стихи, но не преуспевал. А другой поиграл на скрипочке, и всем понравилось. Неудачник впал в уныние: "Ich habe nun verstanden man muss eine Geige haben" – "Я понял, мне

нехватало скрипки". Вся соль рассказа была в этой скрипке. Николай Владимирович в скрипке не нуждался. Что бы он ни пел, что бы ни рассказывал, все было смешно. Отец ведет сына за город, туда, где виселицы. Отец наставляет сына быть честным, чтобы избежать их участи, послушай, как ужасающе каркают вороны – und diese kreischen so fürchterlich. Мы услышали песни нищих, калик перехожих.

Мой молодой друг Слава Воронин говорил: "Когда люди говорят, они молчат. Когда люди молчат, они говорят".

При мне Николай Владимирович рассказывал В.П. Эфроимсону, что такое пеллагра. Своим невообразимо пружинистым голосом он говорил: "Если вам per os вольют в рот чайную ложку чая, она тут же выйдет из вас per rectum со всеми своими тремя чаинками". Бодрость рассказа была неописуемой. Этиологии и последствий заболевания он не касался. Наедине с собой он был слепым. В Миассове, на его уральской станции я случайно увидела его, когда он отделял обгоревшие спички от неиспользованных. Он не бросал, закурив, спичку на землю. И те и другие были в одном коробке. Он думал, что никто не видит. Он ощупывал каждую спичку. Пишу, душа болит, как будто выдаю то, что он скрывал. Как многое в его, казалось бы, бесшабашном, предельно "душа нараспашку" поведении раскрывают эти кругленькие головки не бывших в употреблении спичек.

Тютчев пишет об осени:

Ущерб, изнеможенье, и во всем
Та робкая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страдания.

Нас познакомил Николай Петрович Дубинин.

Следующий акт драмы. Яркость отдельных эпизодов продолжает опускать занавес над связующими звеньями событий. Я сижу в столовой Дубинина по левую руку от Николая Владимировича, а по правую руку сидит Елена Александровна. И ей я сочувствовала, когда думала об аресте и заключении Николая Владимировича. Я получила приглашение приехать в Миассово. Поехала летом того же года. Я тогда с мухами не работала и заделалась ботаником. Независимость одних признаков от других признаков того же организма очень меня занимала. Называлась она, эта независимость, корреляционными плеядами. Павел Викторович Терентьев на лягушках, в изгнании пребывая (бойскаутом он был в детстве, и за это поплатился), эту независимость открыл и корреляционными плеядами назвал. А я эту независимость на растениях изучала. Цветки настурции меня на мысль навели. Стандарт размеров цветков настурции поражает, если сравнить с широчайшим размахом изменчивости размеров растения в целом и особенно листьев. Изучение независимости одних признаков от других очень вписывалось в мою биографию, оправдывая и придавая юмористический характер моей неудаче в выборе супруга. Доверилась своим оценкам по одним признакам, а стала жертвой других.

Прибыла я на грузовике в Миассово с ворохом наперстянок, по дороге набрала, чтобы измерять. На пороге дома, где жили Николай Владимирович и Елена Александровна, меня встретил математик, красавец-бородач Алексей Андреевич Ляпунов: он и его премилая жена Анастасия Савельевна были в гостях у Тимофеевых. Мои наперстянки ни у кого, само собой разумеется, удивления не вызвали. Николай Владимирович очень мою тематику одобрил. Он высоко ценил работы, сделанные, как он выражался, "на соплях". Выражение это, не такое уж изящное, полно смысла и значения. Фундаментальная черта методологии познания Николая Владимировича – простота. Главный инструмент раскрытия тайн бытия – человеческий разум. Ценность исследования определяется не сложностью применяемой аппаратуры, а уменьем расчленить объект исследования на составляющие компоненты, усмотреть элементарное явление дать ему имя. Когда его занимала проблема изменчивости проявления признака, он занялся изучением мутации, редуцирующей одну из поперечных жилок на крыле Drosophila funebris. Мутанты отличались друг от друга положением оставленного не затронутым наследственным недугом кусочка жилки и его размерами. У иных мутация не проявлялась. Каждый тип отклонения от нормы получил свое имя. Термины "специфичность проявления", "экспрессивность", "пенетрантность" вошли в медицинскую генетику так, как их определил Тимофеев-Ресовский.

Жизнь, с его точки зрения, покоится не просто на редупликации макромолекул, не только следует детерминистическому, а не статистическому принципу действия генов, не только реализует наследственную информацию, закодированную в наследственном веществе, эти принципы, привнесенные Тимофеевым-Ресовским в физику, послужили основой для книги Шредингера "Что такое жизнь с точки зрения физики?". (Шредингер Эрвин. Что такое жизнь с точки зрения физики? М.: Изд-во Иностр. лит., 1947). В основе жизни, согласно Тимофееву-Ресовскому, лежит конвариантная редупликация. Без нее эволюция – неотъемлемая черта жизни – невозможна, но не она дает импульс к началу эволюции. Элементарное эволюционное явление – сдвиг в численности нормального и мутантного аллелей. Только начиная с этого сдвига, чем бы он ни был обусловлен, изменчивость приобретает векторизованный характер. Мысль Тимофеева-Ресовского определила построения и Кольцова и Шредингера. Всякое наукообразие претило ему. Он сам высмеивал излишнюю формализацию познания и поощрял, когда его сотрудники высмеивали все свое скопище, включая его самого. Изумительная повесть была сочинена в Миассове в насмешку над применением кибернетики в лингвистике. Идет заседание, докладчик выписывает на доске формулу за формулой. Внезапно в зал входит робот. Он подходит к доске. "Сей знак фальшь", – говорит он и заменяет пси кситое на кси пситое. Роботы изгоняют обитателей станции в лес и те превращаются в первобытных людей. Первобытный Т.-Р., с волосатой грудью без рубашки, на которой против пупа дырка и в которой он щеголял повседневно, с его зычным голосом, выписан в сатирическом этом произведении со всей тщательностью.

Я восхищалась этой "разухабистостью", этим пренебрежением к искони заведенному не самим по себе, а по контрасту с его деликатностью, истинным джентельменством, с его рафинированной воспитанностью, которые были сущностью его натуры. Он не целовал дамам руку, но то, как он наклонял голову, не сгибая спины, и сдвигал каблуки, делало его приветствие каким-то особенно почтительным.

Возвращаюсь в 1956 г. Миассово. Это была райская жизнь. Каждый вечер работал научный семинар. Начало заседаний фиксировано, а конец наступал за полночь, когда полемика грозила стать нескончаемой и когда раздавался робкий голос Елены Александровны: "Может поспим? А?". Николай Владимирович принял самое деятельное участие в сборе материала для сравнительного анализа корреляционных зависимостей у растений. Березовые и сосновые леса Южного Урала какие-то особенные. Среднего яруса леса нет, а нижний ярус сделал бы честь царскому садоводству. Огромность, яркость, разнообразие цветов, всех этих желтых ястребинок, алых сыльнянок, розовых, как пена вишневого варенья, тысячелистников, синих шпорников невообразимы.

"А теперь возьмемся вот за эту малявку!" – говорил Николай Владимирович. Мы не срывали растение, чтобы измерить его. Измерение производилось с точностью до миллиметра, и в ход шла портняжная миллиметровая линейка. Были в нашем окружении и животные. Курица сумела где-то тайно высиживать яйца и приходила, только проголодавшись. Ее кормили, и она скрывалась. У нее не было имени. А собаку звали Мышка, она была маленькая, скотч-терьер. Где она нагуляла пузо, неизвестно, но, как воскликнул в один прекрасный день рассеянный профессор Ляпунов: "Курица ощенилась. Мышка привела цыплят!" Николай Владимирович стоял на четвереньках около кровати, под которой находилась Мышка с потомством, вдвигал под кровать блюдце с молоком и говорил: "Попей, Мышка, бедная, тебе больно".

Со жратвой было плохо. На грузовике станции ездили время от времени в ближайшую деревню за продуктами. Запомнились чудовищно отвратительные дороги, невероятная нищета обитателей деревни. Вечером, когда в избах горела "лампочка Ильича", крыши просвечивали, лошади, изредка попадавшиеся на пастбищах, еле держались на ногах. Огороды обнесены высоченными заборами, чтобы не разворовали урожай.

Люди ехали и ехали к нему. Юлий Яковлевич Керкис рассказывал, как изгнанный после ареста Вавилова из Института генетики, он после скитаний в поисках работы, изгоняемый отовсюду, очутился наконец в Таджикистане и стал директором овцеводческого совхоза. Рабочие совхоза и представители местной партийной власти травили его, губили скот, подстраивали такие штуки, что угроза ареста была каждоминутной. Когда погибали ни в чем не повинные животные, не из страха за себя, а из жалости к телятам Керкис бросался на койку и рыдал, по его словам, "как баба".

В.П. Эфроимсон рассказывал, как пытали его в тюрьме перед тем, как отправить в Джезказган.

Николай Владимирович, при мне по крайней мере, не проронил о своей лагерной жизни ни звука. Кое-что узнали мы здесь от Солженицына, который был с Николаем Владимировичем одно время в одной камере. Изредка проскальзывал обрывок воспоминаний: "Оглянешься, бывало, и видишь, как прекрасен мир", а о том безобразии, которому был противопоставлен этот прекрасный мир, ни слова. Там были замечательные люди, был священник, который читал заключенным цикл лекций "О непостыдной смерти". Очень хотела узнать. "Это как?" – спросила я. Он не ответил. И еще: "Можно заставить человека рыть ямы под телеграфные столбы, а думать иначе, чем он думает, человека заставить нельзя".

Николай Владимирович и Елена Александровна приехали в Ленинград, и при мне Абрам Федорович Иоффе, волнуясь, с великим почтением приглашал Николая Владимировича возглавить лабораторию биофизики в Агрофизическом институте ВАСХНИЛ. Абрам Федорович основал этот институт, но ко времени приглашения Николая Владимировича он не возглавлял его. Руководство ВАСХНИЛ, а президентом ее были в это время не кто иной, как Лобанов, тот самый, который председательствовал на побоище, именуемом Августовской сессией ВАСХНИЛ, когда на генетике был, казалось навечно, поставлен крест, так вот руководство Академии в лице Лобанова воспротивилось, и Николай Владимирович остался в Свердловске. Он заведовал лабораторией биофизики Биологического института Уральского филиала Академии наук. Девять лет без малого находился он на этом посту.

В 1962 г. Николай Владимирович защитил докторскую диссертацию, защита состоялась в Институте биологии УФ АН СССР. Диссертация знаменовала зарождение новой отрасли знания – экспериментальной биогеохимии. Биогеохимия – наука о судьбе химических элементов на нашей планете – детище В.И. Вернадского, и Н.В. называл то, чем он занимался, "вернадскологией". Тема диссертации – накопление радиоактивных элементов, включение их в состав своего организма представителями некоторых животных и растений – обитателей водоемов. Эти животные и растения – ассенизаторы акваторий, друзья, помощники, благодетели человека. Защиты человека от вредоносного действия радиации как была, когда он изучал мутагенное действие Х-лучей, так и оставалась в центре внимания Николая Владимировича. Шредингер пишет о том, что Тимофеев-Ресовский был одним из первых, кто осознал опасность применения Х-лучей в диагностических и терапевтических целях для потомства и для персонала рентгеновских кабинетов.

То, что Институт биологии[1] допустил диссертацию Николая Владимировича к защите, было звеном в цепи головокружительных по смелости поступков, великим фрондерством, восстанием против засилия

[1] В 1957 г. Ученые советы Ботанического института и Института цитологии АН СССР присудили Н.В. Т.-Р. степень доктора honoris causa без защиты диссертации, однако это решение было отклонено ВАК'ом. В 1962 г. ВАК разрешил Ученому совету Ин-та

"лысенковщины", которая мужала по мере того, как Хрущев все более обалдевал от всевластия. То, что Высшая аттестационная комиссия присвоила Николаю Владимировичу искомую степень, было актом трусости, результатом случайного совпадения событий разных причинно-следственных рядов. В октябре 1964 г. Хрущев был смещен с должности. Один из бесчисленных поводов его низвержения – возвышение им Лысенко. Генетика была реабилитирована, и присвоение степени доктора биологических наук генетику Тимофееву-Ресовскому за его негенетическую работу было ярчайшей демонстрацией приверженности новому курсу со стороны заправил ВАКа. Для палачей науки диссертация Николая Владимировича была драгоценным подарком судьбы. В 1963 г. Н.В. организовал и возглавил лабораторию радиационной генетики в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук и переехал в Обнинск Калужской области. Я была в его лаборатории в 1968 г. Видала-перевидала я на своем веку генетические лаборатории на трех континентах, включая лабораторию Меллера в Институте генетики АН СССР, но такого совершенства, разнообразия тематики, такого усердия в работе сотрудников лаборатории ни до, ни после не видела. Она была уничтожена, эта лаборатория, по приказу КГБ. В 1971 г. Тимофеев-Ресовский стал социалистическим безработным. Бывали такие среди многих знакомых академиков: Иосиф Абгарович Орбели, после того как он воспротивился разбазариванию царских коллекций картин Эрмитажа, Иван Иванович Шмальгаузен, после победы шарлатанства над наукой. Протест мировой общественности против изгнания Тимофеева-Ресовского из науки очень обогатил сферу контактов между учеными разных стран. Макс Дельбрюк, в прошлом сотрудник Тимофеева-Ресовского, его соавтор, лауреат Нобелевской премии, не только своим заступничеством перед М.В. Келдышем – тогдашним президентом АН СССР – способствовал подысканию службы для безработного светила науки, но и читал доклад по биофизике – речь шла о душе обыкновенной плесени. Чудо, что за доклад был. В 1972 г. Н.В. стал консультантом в Институте медико-биологических проблем в Москве и оставался в этой должности до смерти, девять лет. Реабилитация генетики облегчила участь Николая Владимировича только в одном отношении. Он получил степень доктора биологических наук; бумажку "заимел" для бухгалтерии, и зарплата его увеличилась, ибо начислялась зарплата, и по сей день начисляется, не за работу, а по чинам.

Травля, которой Тимофеев-Ресовский подвергался с того момента, как, выйдя по амнистии из заключения, он очутился на родной земле, после реабилитации генетики усилилась. Нападать на генетика, после того как "лысенковщину" подобуздали, стало не таким хлебным делом,

---

биологии УФАН принять к защите совокупность трудов Н.В. Т.-Р., однако результаты голосования не были утверждены ВАК'ом до снятия Н.С. Хрущева. Р.Л. Берг пишет здесь об обстановке первой защиты, происходящей без доклада Н.В. Т.-Р. и об утверждении ВАК'ом итогов второй защиты. *Прим. ред.*

как до того. Преследование сконцентрировалось на поведении Тимофеева-Ресовского в его бытность в Германии, на его невозвращенстве — отказе попасть в кровавые когти сталинской опричнины. Что именно содержали доносы, мы так и не узнали бы никогда, не выплесни гласность клевету во всей ее красе на страницы советской прессы. А тут еще нашелся — едва удерживаюсь от бранных эпитетов, совсем неуместных в воспоминании об истинном аристократе, — нашелся немецкий профессор, член директората Института генетики в Кельне, в Западной Германии, по имени Мюллер-Гил, специализирующийся по весьма нужному делу — монографическому описанию преступлений нацизма против населения Германии. Он сконцентрировал свое внимание на преступлениях антропологов, психиатров, генетиков. Его книга "Смертельная наука" (Benno Müller-Hill. Tödliche Wissenschaft. Die Aussonderung von Juden, Zigeunern und Geistes Kranken. 1933–1945. Rowohlt, Reinbeck, 1984. Английское издание. Murderous Science: Elimination by Scientific Selection of Jews, Gypsies, and others. Germany, 1933–1945. Oxford Univ. Press, 1988) дает сведения о создании расовой теории и о ее претворении в жизнь. Среди двухсот имен ученых и наименований тех институтов, где сотрудничали с палачами ученые, имени Тимофеева-Ресовского нет. Мюллер-Гил пишет: "Я описываю только самых активных, чтобы избежать упрека, что я отделываюсь описанием второстепенных и третьестепенных персонажей" (с. 100–101). То, что среди этих второстепенных и третьестепенных Мюллер-Гил числит Тимофеева-Ресовского, мне довелось узнать в Торонто, в 1988 г., на Международном генетическом конгрессе. На секционном заседании, посвященном этическим проблемам генетики, докладчик Вейнгарт, не поименованный в программе, говорил о роли немецких ученых в создании и применении расовой теории. Он назвал одно имя, имя Тимофеева-Ресовского. На мой недоуменный вопрос, что он имел в виду, он ответил, что Тимофеев-Ресовский поддерживал расовую теорию. Завязалась полемика. С сенсационным заявлением выступил Мюллер-Гил. По его словам, в институте, где заместителем директора был Тимофеев-Ресовский, состоялся симпозиум по расовой теории, где выступали Розенберг, главный идеолог расизма, облаченный административной властью, министр и сам Тимофеев-Ресовский. У него, Мюллер-Гила, есть возможность доказать документально — Тимофеев-Ресовский поддерживал расовую теорию. Не называя Тимофеева-Ресовского по имени, но явно в его защиту выступил Бочков, директор Института медицинской генетики в Москве. Он сказал, что в Советском Союзе евгеника никогда не была на службе расовой теории, а единственно служила целям медицинской консультации и первая в мире медико-генетическая консультация была организована Давиденковым в 1929 г. Гонения на генетику начались с административных мер против медицинской генетики и задержали ее развитие.

Яростные дебаты с Мюллер-Гилом разгорелись после заседания. Юрий Богданов, Валерий Сойфер и я пытались убедить Мюллер-Гила, что он ошибается. Куда там! Его нападки становились все более чудовищными. Свою разоблачительную в отношении Гитлера деятельность он

сумел сделать чуть ли не гвоздем конгресса. Канадские газеты наперебой печатали о его достижениях. Вырезки из этих газет были вывешены на почтовом стенде Конгресса. Я была очень удивлена, когда в моем Сент-Луисе я получила копию письма Мюллер-Гила Богданову и компрометирующие Т.-Ресовского материалы. Из материалов следовало, что заседание, о котором только и шла речь в выступлении М.-Гила на конгрессе, было не в институте, а в школе для гауляйтеров. Тоже хорошего мало, но Т.-Р., согласно сообщению в журнале "Новый народ" ("Neues Volk", 1939), говорил о мутациях. Воспроизведен только доклад Розенберга – приказ фальсифицировать науку в угоду расовой теории на благо арийской расы. Приведена фотография Тимофеева-Ресовского в его институте, как гласит подпись, в окружении высоких чинов – затравленный зверь среди злобных морд вражьей силы. О чем говорил Тимофеев-Ресовский на семинаре, явствовало из присланной мне М.-Гилом статьи Т.-Ресовского, напечатанной за четыре года до семинара в медико-генетическом журнале ("Der Erbartzt". 1936. № 8. S. 117–118). В популяциях мух и жуков изобилуют вредные мутации. Большинство мутаций не выявляется у их носителей в силу рецессивности. Надо изучать географическое распределение и изменчивость проявления мутаций, чтобы познать законы насыщения популяций вредными генами и чтобы контролировать их выщепление в целях расовой гигиены.

Я написала, что вся статья посвящена генетическим основам медицинской консультации. Те данные, которые Тимофеев-Ресовский считал необходимыми собирать, являются в настоящее время обычными критериями оценки вероятности выщепления вредной мутации для врача-консультанта.

Пришли новые компрометирующие материалы, книга Мюллер-Гила "Смертельная наука", его статья "Генетика после Аушвица" – все, что тот наскреб, чтобы подтвердить свою правоту. Мне не надо было верить в невиновность Тимофеева-Ресовского. Я знала, что он безупречен. В 1984 г., в мою бытность в Германии, я знакомилась с биологическими публикациями нацистской эры. Мои конспекты содержат невероятные по цинизму обслуживания расизма со стороны одних, сдержанные реверансы великой эры преобразований – других. Статьи Т.-Р. составляли разительный контраст. Теперь, благодаря дознанью Мюллер-Гила, я получила документальное свидетельство непричастности Тимофеева-Ресовского к преступлениям нацизма. Новые материалы состояли из двух статей Вольфа и его сотрудников (*Wolf P.M., Born H.J.* Über die Verteilung natürlich radioaktiver Substanzen im Organismus nach parenteralen Zufuhr. Strahlentherapie. 1941. N 70. S. 342–348. *Gerlach J., Wolf P.M., Born H.J.* Zur Methodik der Kreislaufzeitbestimmung beim Menschen. Archiv für Experimentale Pathologie und Pharmakologie. Bol. 199. S. 83–88). Они изучали циркуляцию крови животных и человека. Меткой служил торий-Х, радиактивное вещество, вводимое внутривенно. Регистрация времени прохождения тория осуществлялась вне организма. Несколько лет назад мне с целью диагностики вводили радиактивную метку в кровь и я вместе с

врачом могла наблюдать на экране телевизора ее беспрепятственное удаление по выделительной системе моего организма. Из справочника по токсикологии "Handbook on Toxicity of Inorganic Compounds" Eds. H.G. Seiler, H.S. Sigel, A. Sigel. N.Y. and Basel.: M. Dekker, 1987) я узнала, что торий-X и другие радиоактивные вещества широко применяются в диагностике и что доза облучения при их применении намного меньше, чем при просвечивании X-лучами, практикуемом во всем мире. Тимофеев-Ресовский публиковал с сотрудниками Вольфа статьи о применении радиоактивных веществ и радиация в биологии и химии. Он писал об X-лучах, они о тории-X. Эти сведения о соавторстве Т.-Ресовского почерпнуты мною из ссылки в статье Герлаха с соавторами (с. 86).

Мюллер-Гил пишет, что эксперименты на людях, которые делал, по его утверждению, Тимофеев-Ресовский, "отвратительны" и что Тимофеев-Ресовский начал делать инъекции во время войны. Вольф, однако, ссылается на работы этого рода, которые проводились еще в двадцатые годы. Корреспондент Мюллер-Гила пишет ему, что вводимые Тимофеевым-Ресовским дозы были летальными. Бумага терпит все. Еще одну статью, печатать которую, по мнению Мюллер-Гила, со стороны Тимофеева-Ресовского было "отвратительно", я прочитала с большим интересом. Сотрудник Тимофеева-Ресовского, работавший в его лаборатории, Царапкин напечатал статью "Исследование изменчивости формы головы у некоторых групп людей". (*Zarapkin S.R.* Über die Variation der Korperform bei einigen Menschengruppen. Leitschrift für Rassenkunde. 1943. Bd. 13. S. 113–134). Царапкин поставил целью проверить вывод Боаса, опубликованный в начале века в США. Боас на основе измерения черепов евреев, приехавших в США, и их потомков, родившихся в США, пришел к выводу, что индексы формы черепа меняются под влиянием среды и эти изменения передаются потомству. Мой отец, Л.С. Берг, использует данные Боаса для обоснования своих антидарвинистических взглядов (*Берг Л.С.* Номогенез, или эволюция на основе закономерностей. Петербург.: Гос. изд-во, 1922. С. 113, 114, 117, 119, 284). Царапкин полемизирует с Боасом и его последователями, но Берга не называет. Цитировать антифашистскую книгу Берга, даже критикуя, было, видно, под запретом. Царапкин ничего не мерил. Он воспользовался измерениями Боаса. Боас ошибочно принял возрастные изменения индексов за влияние среды и наследование приобретенных признаков. Эпистолярный комментарий Мюллер-Гила: со стороны Тимофеева-Ресовского публиковать такую статью с целью показать, что еврей остается евреем, где бы он ни жил, отвратительно. Я ему про Фому, он мне про Ерему. Корреспонденция завершилась статьей Мюллер-Гила в "Nature": *Benno Müller-Hill.* Heroes and villains. Der Genetiker: Das Leben des Nikolai Timofejew- Rissowski, genannt Ur. By Daniil Granin. Translated from the Russian by Erich Ahrndt. Pahl-Rugenstein Cologne 1988. *Даниил Гранин.* Герои и злодеи: Генетик: Жизнь Николая Тимофеева-Ресовского, названного Зубром / Перевод Эриха Арндта. Nature. 1988. Vol. 336. N 2229. 1988. P. 721–722.

Статья-рецензия на повесть Гранина "Зубр". Повесть эта напечатана в

двух первых номерах журнала "Новый мир" в 1987 г. Когда я написала, что гласность выплеснула на страницы журналов клевету на Тимофеева-Ресовского, я не имела в виду повесть Гранина. Гранин считает себя передовиком среди передовиков, свободолюбцем, отстаивающим попранную истину, рискуя навлечь на себя немилость державных преобразователей. Среди многих он слывет буревестником не первой уже на его веку перестройки. Это заблуждение. Гранин только делает вид, что ходит впотьмах по краю пропасти. Он не спускает глаз с этого края и отлично знает расстояние до него, обеспечивающие безопасность. Он даже перебарщивает в своей осмотрительности. А публика, принюхавшаяся к смраду сталинщины, не знающая, где граница дозволенного, приученная бояться всех и всего, с благоговением взирает на смельчака, рискнувшего приблизиться к краю пропасти, как ей кажется, слишком близко.

Сделать невозвращенца положительным героем повествования Гранин не мог себе позволить ни в коем разе. Не вымышленная личность романа, а человек, чья биография – сюжет книги, должен был стать в предперестроечные времена светочем добродетели, достойным благодеяний советской власти.

Гранин не только сам осуждает Тимофеева-Ресовского, он изображает его осознающим свою вину перед Родиной. Умеренный сталинизм Гранина лучше всего выявляется, когда он хвалит книгу Н.П. Дубинина "Вечное движение" (М.: Госполитиздат, 1972. 2-е изд. 1975), называя эту апологетику сталинщины, брежневщины в их махровейших проявлениях, этот донос на мертвых "честными и смелыми воспоминаниями".

Пребывание Тимофеева-Ресовского не просто за границей, а в гитлеровской Германии поставило перед Граниным почти неразрешимую задачу. Как ни кинь – все клин. Скажешь правду – нацисты не тронули Тимофеева-Ресовского по причине его мировой славы, он им нужен был, чтобы изображать застенок, в который Гитлер превратил Германию, гуманнейшей страной мира, царством свободы – такая трактовка уже очень будет смахивать на Эзопов язык, переориентацию мишени. Уж очень гитлеровская Германия походила на советскую Россию, где тоже не сажали тех, кого знали за рубежом. Аналогом Тимофеева-Ресовского в Германии был Гейзенберг, в Советском Союзе насаждаемыми знаменитостями были Вернадский, Пастернак, Павлов. Но и оболгать Т.-Ресовского Гранин не мог. Человек, угодничавший перед Гитлером, вообще не мог удостоиться стать героем повествования. Гранин пошел на приукрашивание гитлеровщины. Тимофеев-Ресовский – гений, и нацисты сохранили ему жизнь и его высокое положение заместителя директора[1] Института по изучению мозга, считая гения неприкосновенным. Этот "сдвиг по фазе" не обошелся Гранину даром. Он стал мишенью клеветников в Советском Союзе и в Германии вместе со своим любимым героем. Обвинения, Мюллер-Гила, "мстителя" за уничтоженных нацистами евреев, опубликованные им в "Nature" в рецензии на повесть Гранина, и злобное шипение приверженцев общества "Память", ярых антисемитов, великодержавных шови-

[1]Н.В. Т.-Р. не был заместителем директора. –*Прим. ред.*

листов Бондаренко и Кузьмина, на удивление схожи.

Рецензия Мюллер-Гила в развязном тоне ставит под сомнение мировой ранг Тимофеева-Ресовского как ученого и пачкает его моральный облик. Каких-либо доказательств участия Тимофеева-Ресовского в создании и проведении в жизнь расовой теории, помимо тех, которые фигурировали в письмах ко мне, рецензия не содержит. Неизвестно откуда взялось утверждение, что Тимофеев-Ресовский пригласил гауляйтеров, участников симпозиума к себе в институт. То, что "приверженец расовой теории", "пособник нацизма" возведен в ранг героя, тревожит Мюллер-Гила – не станут ли расизм, нацистская евгеника частью советской идеологии? "Шарлатан Лысенко был против евгеники. Его бывший враг генетик Дубинин тоже был против евгеники. Но Тимофеев-Ресовский был за нее. Не значит ли это, что теперь настало время признать, что евгеника была и безусловно является и поныне хорошей вещью? "Но разве расовая гигиена не была при нацизме?" – вопрошает в тревоге Мюллер-Гил. Есть, однако, существенная разница между составом "преступлений" Тимофеева-Ресовского как его рисует М.-Г. и как изображают его Бондаренко и Кузьмин (*Бондаренко Владимир.*. Очерки литературных нравов. Москва. 1987. № 12. *Кузьмин А.* К какому храму ищем мы дорогу? Наш современник. 1988. № 3). Бондаренко не интересуют такие "мелочи", как экспериментальное обоснование расовой теории на мухах. Он пишет: "В 1944 г. под руководство Зубру отдали часть физиков-атомщиков, работавших над проблемой бомбы... Значит, если бы немцы сделали свою бомбу и бросили ее на нас, в этом была бы заслуга Зубра?.. Почему немецкие физики-атомщики перешли в его подчинение?" (с. 190). Что перешли, Бондаренко ясно. Неясно только почему. Кузьмин свидетельствует, что "у отдела генетики института в Бухе был секретный контакт с военным министерством и верховным комиссаром по атомной физике" (с. 164). Этих обвинений ни материалы, присланные мне, ни рецензия, напечатанная в "Nature" М.-Гилом, не содержат. Уж будьте уверены, кабы был огонь, породивший этот вонючий дым, М.-Гил учуял бы его.

Они сходны друг с другом – Кузьмин и Мюллер-Гил – во многом. И М.-Г. и Кузьмин ставят под сомнение вклад Тимофеева-Ресовского в науку. И тот и другой утверждают, что фашизм больше импонировал Т.-Ресовскому, чем социализм его родины. Этим предпочтением и определялся его отказ вернуться. Оба осуждают Тимофеева-Ресовского за то, что он инъецировал смертельные дозы тория-Х обреченным на гибель людям. Оба "злодею" Тимофееву-Ресовскому противопоставляют героя Дубинина. Невзирая на гранинские реверансы Дубинину, Кузьмин защищает Дубинина от Гранина, а Мюллер-Гил отстаивает Дубинина, несправедливо охаянного советской властью. Тождественны и теоретические основы суждений обоих авторов. И тот и другой исходят из представления о групповой вине. Кузьмин стоит на классовых позициях – общественное бытие определяет индивидуальное сознание. Мюллер-Гил обвиняет в своей книге "Смертельная наука" все и всех, начиная с самой науки. Не только люди, обратившие достижения науки против лю-

дей, виновны в злодеяниях нацизма, а наука как таковая. Виновны все немцы, за исключением жертв истребления, о врачах и ученых уж и говорить нечего – все они преступники.

Вот пишу и гложет меня мысль, что, как с теми головками необгоревших спичек, сам Николай Владимирович не одобрил бы моих сообщений: оправдывать его перед своекорыстными обвинителями – значит унижать его. Его непричастность нацизму – такое же императивное свойство его природы, как его непричастность к лысенковщине. Из одного больного общества он попал в другое, очень похожее. Мы были с ним раз в Ленинградском дворце пионеров. Он читал доклад пионерам. Во дворе роскошного здания строилась небольшая колонна пионеров. Белые рубашечки, красные галстуки, красные фесочки испанских революционеров, знамя, барабан. "До чего похоже на молодежные отряды нацистов", – сказал Н.В. Чуждый любому проявлению стадности, он не был анахоретом. Он подчеркивал свою непричастность к политике, так как в политике усматривал все несовершенства. Мерило свободы – количество информации, циркулирующей в обществе, число запретных тем со знаком минус. Н.В. не просто делал науку: в бесчисленных публикациях и выступлениях он нес знания людям. Он не спорил с лысенковщиной, он вкладывал в руки людям оружие истины. Это и была его политическая, гуманистическая деятельность, его протест против стадности. Потомственный аристократ, он не причислял себя ни к какому классу. Он отрицал само существование классов. "На одном полюсе аристократ и пролетарий, на другом – мещанин", – говорил он. Сам он был и аристократом и пролетарием одновременно. Он оставался самим собой абсолютно спонтанно. Спросили как-то Будду: "Ты Будда будешь ли?" – "Да, – отвечал он, – был и буду". Это был его любимый анекдот.

Его мировая слава облегчала его участь и в Германии и в Советском Союзе. Не будь ее, и Сталин и Гитлер уничтожили бы его. Но и у него самого было средство добыть себе свободу действий при любом режиме. Навязать ему официальное мнение было невозможно.

Властители, осуществляющие диктатуру, ловят человеческие души, удят их на наживку материальных благ и чинов. Нужна презумпция неподкупности, чтобы не клюнуть.

Я знала таких людей, предпочитавших свободу мнений дарованным свыше благам. Эфроимсон, Любищев, Вавилов, Ухтомский, оба брата Орбели, Вернадский, Филатов, Светлов, мой отец. Любого из них могли уничтожить, как уничтожили Вавилова, но те, кому удавалось выжить, обретали свободу. Цена ее, которую они платили, – сумма привилегий, даруемых "тихомирным". Подумать только, ведь тут и дачи, и машины с персональным шофером, клиники, врачи и лекарства на уровне мировых стандартов, и директорские посты, и членство в правительстве, и заграничные командировки, и чины, дающие право на посмертную славу, памятники за счет казны, публикации трудов. Чтобы оценить, как велика цена свободы мнения, нужно учесть, от чего избавляли привилегированных их привилегии. Коммунальные квартиры, очереди за самым

необходимым, больничные палаты на множество людей, койки в коридорах больницы, комкастые матрацы этих больничных коек, отсутствие лекарств, искусственно созданный в добавление к естественному дефицит и необходимость давать взятки, взятки, взятки за все то, что находится под прилавком, под Прилавком с большой буквы. Не могу без боли вспоминать, что среди людей, во множестве отправлявшихся в Прагу и в Брно на чествование Менделя в связи со столетием со дня выхода в свет его статьи, не было Тимофеева-Ресовского и Эфроимсона. С восхищением думаю о той свободе, которую он имел, не беря наживку с крючка ни одного из режимов, под игом которых он прожил свою жизнь.

РАИСА ЛЬВОВНА БЕРГ. Крупный генетик, дочь отечественного географа и биолога академика Л.С. Берга. Живет в США, работала в Университете Миссури, факультет биологии (Сент-Луис). Познакомилась с Н.В. Тимофеевым-Ресовским в 1956 г.

Н.Н. Константинов

РАЗМЫШЛЕНИЯ О Н.В. ТИМОФЕЕВЕ-РЕСОВСКОМ

С Н.В. Тимофеевым-Ресовским меня познакомил А.А. Ляпунов – мой научный руководитель по аспирантуре. До этого я уже был знаком с Тимофеевым-Ресовским односторонне – бывал на его выступлениях. Впервые я увидел его на знаменитом семинаре в Институте физических проблем, о котором много писалось. На семинар было очень трудно попасть – ажиотаж был огромный. Я думаю, что к этому времени немногие из наших физиков слышали о Тимофееве-Ресовском, а те, кто слышал – помалкивали (я не знал этого имени, хотя читал книжку Шредингера "Что такое жизнь с точки зрения физики", в которой Тимофеев-Ресовский упоминается). Вскоре после этого Тимофеев-Ресовский выступил на Физическом факультете МГУ. Это его выступление было очень яркое – эмоциональное и значительное по содержанию. Это была программа грамотных взаимоотношений человека и природы. Н.В. привел расчеты В.И. Вернадского о чистом приросте живого вещества на планете в расчете на одного человека ($10^4 - 10^5$ т в год). "Что мы выращиваем? Пшеничку – растение, которое случайно оказалось рядом с человеком на заре цивилизации! А богатства Природы остались почти нетронутыми, если не считать, что мы их порядочно попортили" – вот примерный лейтмотив выступления, как я его запомнил. Все эти идеи и сейчас, спустя 30 лет, не стали, к сожалению, общеизвестными. Тогда они произвели на всех слушате-

лей большое впечатление. Дело в том, что ничего подобного в те времена не публиковалось. Помню, еще в начале 50-х годов мои друзья – студенты младших курсов Физического факультета МГУ делали попытки оценить ресурсы Земли (не имея фактических данных). Для нас был очевиден бред официальной тогдашней науки о том, что ресурсы безграничны (всякая иная точка зрения объявлялась "мальтузианством"). Понятно, как небезразлично (разными людьми по-разному) воспринимались слова Тимофеева-Ресовского.

В Миассове я наконец познакомился с Николаем Владимировичем "двусторонне". Это было летом 1961 г. Уже не знаю, что про меня наговорил А.А. Ляпунов, но Н.В. отнесся ко мне как к большому специалисту и в дальнейшем сохранял такое отношение, хотя я ни разу не подтвердил своей репутации. Думаю, что эта маленькая деталь имеет ключевое значение. Сильный человек и других считает сильными. Это подтверждают многие примеры. Сильным, когда я поступал в аспирантуру, меня считал и А.А. Ляпунов, а ведь он помнил только, что я, будучи десятиклассником, задавал ему вопросы на его лекции для школьников. Тогда я отличился только тем, что не понимал его лекции – и этим завоевал репутацию, достаточную для поступления в аспирантуру. А дело, видимо, в том, что и Тимофеев-Ресовский и Ляпунов необычайно уважительно относились к людям. Вернее, они относились так, как и должно относиться, а слово "необычайно" возникло здесь потому, что нас долго приучали, что мы – навоз, насекомые, и, видимо, в какой-то степени приучили. Мы пережили целую систему попрания человеческого достоинства. Но что-то от него все-таки осталось! И вот – в Миассове это "что-то" возрождается, поддерживается благодаря сложившимся традициям, идущим не в последнюю очередь от истинных дворян – Ляпунова и Тимофеева-Ресовского. У Николая Владимировича в Миассове был кабинет, а в нем над письменным столом на стене висели портреты замечательных людей, тех, которые, по мнению Н.В., сыграли наиболее выдающуюся роль в создании современной биологии. Николай Владимирович любил проводить экскурсию по этой портретной галерее. Н.В. мало говорил о тех людях, которых не любил. Яростно ненавидел, как и все мы, Т.Д. Лысенко. Мне понравилось одно его словечко: про человека, которого "выхваливали" к ним из другого института (это – в Обнинск, через несколько лет).

Распорядок в Миассове напоминал тот, который Н.В. завел в научном обществе камеры Бутырской тюрьмы: утром научные заседания, вечером – трепы. Собрание людей в Миассове было интересным, так что на трепы всегда хватало тем. Если бы не Тимофеев-Ресовский, в Миассове все равно было бы интересно, но тонус жизни был бы не тот. Помню, как Н.В. однажды на пару дней уехал. Возникло ощущение некоторой пустоты. Устроили танцы. Кто-то сказал: "Кот из дому – мыши впляс". У меня было ощущение, что многие почувствовали облегчение в отсутствие великого человека.

В Миассове я прослушал много лекций Тимофеева-Ресовского, участвовал в обсуждениях (на них в основном молчал). Надо заметить, что мое внимание было разделено между двумя основными впечатлениями: пер-

ное – это Тимофеев-Ресовский и вся компания, второе – это заповедник и Уральские горы. Я никогда до этого не жил в заповеднике и не представлял себе, что впечатление может быть столь потрясающим. Оба впечатления сливались. А когда через месяц мы уезжали, нам на дороге встретился грузовик с рабочими – женщинами, строившими объект. Их измученный вид, а также вид объекта, потонувшего в грязи среди сказочных гор, создали по контрасту яркий образ того кошмара, который люди нарочно создали себе, чтобы в нем жить.

Я расскажу о своих взаимоотношениях с биологией. Начну со школы. Кстати, с годами рассказ о тех временах становится все интереснее.

В детстве я увлекался биологией, в девятом классе посещал школьный кружок, работавший на биофаке. Шел 1947/48 учебный год. Большая часть наших занятий проходила на кафедрах генетики, динамики развития, физиологии животных, кажется, еще и дарвинизма. Занятия по генетике вела Эльфрида Адольфовна Абелева, с которой я после тех занятий не виделся много лет, но запомнил ее благодаря ее удивительному имени-отчеству (оно помогло мне найти ее, чтобы пригласить преподавать генетику в биологическом классе 57-й школы). Занятия в кружке были теоретические и практические (на мухах). Проводились опыты по скрещиванию, в микроскоп мы разглядывали хромосомы и т.п. Подготовка шла на хорошем уровне, подтверждаю это словами Тимофеева-Ресовского, обращенными ко мне: "Ну, генетику Вы знаете!" Пишу об этом не для того, чтобы похвастаться (хотя своего не упущу!). Думаю, не нужно объяснять, что знания мои были, конечно, же весьма скромными. Но я хочу подчеркнуть, каким был биофак. Ведь к 1961 г., когда были сказаны приведенные слова Н.В., к моим школьным знаниям добавилось немного. Интереснейшие занятия кружка происходили на кафедре динамики развития.

Несомненно, до 1948 г. на биофаке существовала настоящая биология. Существовала она и в некоторых других институтах того же уровня. Вне биофака и этих институтов в стране была весьма неблагоприятная среда – всеобщая серость, т.е. малограмотные ученые с Т.Д. Лысенко во главе и партийное руководство, для которого Лысенко был своим человеком. Высокий уровень, как и серость, видны в сравнении. Серость не может мириться с тем положением, когда есть возможность сравнивать ее с высоким уровнем. Высокопоставленная серость ради самосохранения старается уничтожить высокий уровень, она старается не оставить здорового места. Серость, залезшая наверх, должна либо перестать быть серостью, либо уйти, либо приобрести психологию убийцы: все, что шевелится, задавить. И вот, весной 1948 г. в газетах начала публиковаться биологическая дискуссия о внутривидовой борьбе.

Должен признаться, что демагогия Лысенко сперва привлекла меня своей неожиданностью. Дело в том, что в научном мировоззрении я был тогда весьма нетверд и плохо отличал схоластические рассуждения от содержательных. Потом была августовская сессия ВАСХНИЛ. Для кружка она стала катастрофой: мало кто пошел на биофак, некоторые искали еще сохранившуюся науку в Рыбном институте и других местах. Дискус-

сия поначалу казалась мне честной, но то, как она завершилась, окончательно раскрыла мне глаза на ее характер. Еще не совсем веря своим глазам и ушам, я пошел в районную библиотеку и взял толстые тома Мичурина с предисловием Лысенко. Прочитав в течение вечера это предисловие, увидел только пустоту и словесную эквилибристику. Про сессию мне стало все ясно, а про себя я задумался: как я попался на удочку о внутривидовой борьбе? Результатом этих размышлений явилась переоценка значения биологии и математики в моей жизни. По-прежнему я считал, что биология – интереснейшая наука, трактующая глубинные вопросы жизни, а математика – неинтересная. Но биология меня не сделала умнее – она была лишь объектом, а не собеседником. Математика же, которой я увлекся с 7-го класса, всякий раз, когда я делал глупость, сообщала мне об этом и делала это почти без задержки. Таким образом, она стала усилителем моих умственных способностей, и я решил – нужно поставить свой ум на математике. Забегая вперед, сообщу, что постановка затянулась. То, что я стал профессионалом в ней (постановке), привело меня к педагогической деятельности, которую мои друзья и ученики считают моим главным занятием. В 10-м классе у меня одновременно существовало два ума: недоразвитый, расслабленный – для биологии, и собранный, заостренный – для математики. Осознав это, я надолго запретил себе думать о биологии. В 10-м классе в моем поле зрения появилась физика. Я постарался подготовиться к физической олимпиаде, понравился ее организаторам (Мике Бонгарду) и благодаря их агитации пошел на физфак.

Окончив физфак, я стал преподавать математику на своем факультете. Первые годы были очень интересными: я общался с интереснейшими людьми. Некоторые из моих учеников этого времени упоминаются в повести Д.Гранина: Хромосома, Хеопс. Но с ужасом я обнаружил, что большинство студентов совершенно не знают генетики. Я чувствовал, что владею откровением, скрытым от людей. Пользуясь характерной для университета полнейшей бесконтрольностью, я в ряде групп стал проводить одно двухчасовое знятие по генетике, стараясь колоритно изложить основные содержание книги Шредингера. Было это примерно в 55–57-годах. В 59 году я пошел в аспирантуру, руководителем выбрал А.А. Ляпунова. Дело в том, что все эти годы я постоянно возвращался к размышлениям на биологические темы. Меня интересовала проблема распознавания геометрических образов. Бонгард считал эту проблему математической и логической. Без этого она просто не может быть поставлена. Но после этого она может стать и физиологической. Все эти проблемы меня очень интересовали, и мне казалось, что я что-то там придумал. Однажды я обнаружил статью Л.В. Крушинского об экстраполяционном рефлексе, опубликованную А.А. Ляпуновым в "Проблемах кибернетики". Она произвела на меня большое впечатление, и я пошел к А.А. Ляпунову рассказать о своих идеях. Он принял мой рассказ хорошо и вскоре стал моим руководителем.

Теперь возвращаюсь в Миассово.

Как-то раз был сильный ливень. Все промокли в своих палатках. Прибежал Хром и попросил меня что-нибудь рассказать. Дело в том, что Тимофеева-Ресовского в этот день не было и запланированного трепа тоже не было. И я тогда впервые рассказал о проекте искусственнного зрительного центра. Это была как раз та тема на грани логики и биологии, о которой я рассказывал А.А. Ляпунову. Как я теперь считаю, то что я тогда рассказывал, был бред (как выражался Н.В., БСК – бред сивой кобылы), но через него я шел к интересной работе о том, как моделировать шарнирную систему. В 1969 г. мои ученики вместе со мной довели эти зачаточные идеи до программы, рисующей мультфильм, а потом эта работа в какой-то степени послужила толчком к деятельности по стереохимии в Институте молекулярной биологии (о возможности такой деятельности догадался тот же Хром). А тогда я только начинал об этом думать. И вот одно острое, неожиданное, а главное – вовремя сделанное замечание Н.В. послужило для меня подсказкой. Сделано оно было, кажется, только в моем присутствии: "Может быть, отличительной чертой жизни, которую можно взять в определение жизни, является глубокая перекодировка?" (Определение жизни пытался тогда сконструировать А.А. Ляпунов). Когда программа, рисущая мультфильм, была уже готова, мне захотелось рассказать о ней Н.В. Он тогда выступал в МОИПе. Н.В. только что оправился после болезни, просил трудных вопросов не задавать. На мое сообщение о том, что наша программа рисует мульфильм, реакция Н.В. была мгновенной и категорически отрицательной – он заявил, что в кино вообще никогда не ходит и глупостями не интересуется. Ну а я, конечно, со своими идеями не навязываюсь. Его реакцию, однако, считаю неправильной. Замечу при этом, что Н.В. хорошо чувствовал собеседника. Ведь замечание о перекодировке он сделал именно при мне, угадав, что это мне будет интересно, хотя я вроде бы и не подталкивал его к разговору об этом. Он никогда не заводил со мной разговоры о религии, так что об этих его интересах я узнал только от его знакомых.

Приведу некоторые примеры, в которых проявились острота и точность суждений Тимофеева-Ресовского. Мне кажется, где-то у Гранина проскользнуло пренебрежительное отношение к рассуждениям Н.В. по вопросам экономики и хозяйственной системы. Я же, как многолетний старший научный сотрудник Института экономики Академии наук, автор многих трудов (правда, совместных) авторитетно заявляю: очень глубокие суждения, дай Бог многим нашим научным сотрудникам! "План можно выполнить, – говорил Н.В. – Это я понимаю. Но как можно его перевыполнить? Либо выполнить, либо не выполнить, а перевыполнение – это абсурд. У нас выполнение плана считается по тому, сколько извели денег". Я как-то заметил, что наша система все-таки может хорошо работать, пример – Эстония. Он оборвал: "Там другая система! Когда вы на машине пересекаете границу Эстонии и РСФСР, то качество дороги резко изменяется". Экономическая грамотность Н.В. была результатом его собственных раздумий.

Выступления Тимофеева-Ресовского были во многих случаях даже бо-

лее глубокими, что выступления Ляпунова на аналогичные темы. Часто в словах одного чувствовалось влияние другого. В человеческом плане в них было много сходства, но были и различия. Оба были активно доброжелательными к людям и резко враждебными к силам зла. При упоминании Лысенко Ляпунов преображался – казалось, что он с саблей на коне. Однажды с Н.В. беседовали в Обнинске мои школьники. Один из них сказал: "Но почему же вы смогли допустить, что Лысенко стал заправлять делами науки?" Н.В. взорвался: "А потому что не я был тогда диктатором России!"

Тут уместно вспомнить некоторые высказывания Н.В. на темы политики. Один из его гостей стал с восхищением говорить о заслугах Н.С. Хрущева в деле реабилитации (это было до его снятия). Н.В. согласился крайне неохотно и добавил: "Но у него руки в крови по локоть". На высказывание, что для спасения от перенаселения планеты необходимо в будущем ввести регулирование рождаемости, Н.В. резко возразил, что возможностей планеты хватит еще на сотни лет, а регулирование, по крайней мере при нынешнем уровне организации общества, недопустимо, так как обязательно попадет в руки негодяев (с фашистами Н.В. был знаком не по рассказам).

Все же мне кажется, что открытость и доброжелательность А.А. Ляпунова носили более активный характер. Он искал и всегда находил людей, нуждавшихся в помощи (всех обязанных ему мы никогда не узнаем), хотя и Николай Владимирович также был активно добрым. Но мне кажется, что часто он видел сначала идею, а потом стоящего за ней человека. Приведу один факт, который, возможно, подтверждает эту мысль (а если нет, то сам по себе достаточно интересен). В Миассове Н.В. рассказывал о семинаре по биофизике, который он проводил в Бутырской тюрьме. Н.В. проследил судьбу всех его участников. Примерно из 10 осталось в живых один или два (такова была смертность в лагерях). А в 1964 г., когда Н.В. читал курс лекций "Системы управления в живой природе" для математических классов школы № 7 (об этом речь ниже), был такой разговор. Мы шли на его лекции (он – читать, я – слушать) и встретились случайно по дороге от остановки к школе. Я еще почему-то для себя отметил, что вот мне 32 года, ему 64, а моим ученикам по 16. Вдруг Н.В. говорит мне: "Да. Жорес Медведев передал мне привет от Солженицына! Он, оказывается, тоже был участником моего семинара в Бутырках, а я про него совсем забыл!" Когда Н.В. и А.И. вскоре заново познакомились (и подружились), выяснилось, что Н.В., конечно, не забыл Солженицына, а только не вспомнил по фамилии, да и из виду выпустил. Но Н.В., конечно, никогда не забывал доклада, который сделал Солженицын на семинаре. Из рассказа А.И. мы знаем, с каким вниманием Н.В. отнесся к докладу, а вот докладчик выпал из памяти. Задаю себе вопрос: а мог ли Солженицын забыть участников этого семинара (речь не о Н.В., впечатление от которого было огромным)? Думаю, что всех помнит, и даже всех действующих лиц их рассказов о своей лагерной и долагерной жизни. Скорее свой доклад бы забыл, чем людей!

Иногда суждения Тимофеева-Ресовского были не на высоте. Таковы его издевательства над "дэ-эн-ка-канием". Могу допустить, что просто ему это слово понравилось, но думаю, что дело тут глубже. В науке бывают разные амплуа. Н.В. очень уважал Г. Менделя. В своих лекциях Н.В. отмечал, что главным моментом открытия Менделя была, как выражался Н.В., "нахальная гипотэза" о том, что есть два начала, одно из которых доминантно. У Менделя амплуа первооткрывателя. Таково же у Уотсона и Крика. Но Н.В. выбрал себе другую роль – он был рыцарем истины. Свой корабль он вел среди подводных камней заблуждений и не наткнулся на них. А такая роль ведет к некоторой скованности мышления. Н.В. не страдал бедностью фантазии, но он совершенно сознательно надел на нее железные обручи самодисциплины. Он подчеркивал, что идеи ценятся крайне невысоко ("У нас на семинаре считалось, что каждая идея стоит пятак, ну а теперь, после денежной реформы – полкопейки"). Высшая ценность – истины, а не идеи. Но даже работая в таком стиле, Н.В. мог бы выйти на открытие двойной спирали, если бы его работа не прерывалась. Ведь те, кто ее открыл, считают Н.В. одним из своих предшественников. И то, что Н.В. оказался как бы в стороне, вызвало, я думаю, отрицательные эмоции по отношению к самому открытию, тем более что он, конечно, понимал, что это одно из ярчайших открытий века.

У открытия, я думаю, бывают две причины: уровень, на котором мыслит век, и личный вклад того, кто сделал открытие. Роль века значительно больше, чем обычно принято думать. Когда открытие сделано раньше, чем до него дорос век (примером такого открытия являются законы Менделя), то не возникает и мысли о том, чтобы кто-то присвоил себе приоритет – дай Бог, чтобы кто-нибудь прочел! Если же век дорос, то открытие делают обычно одновременно или почти одновременно несколько человек и часто возникает спор – кто сделал первый. Интерес к такому спору чисто спортивный, подобно вопросу, кто пришел первый в случае, если разница едва уловима: болельщикам все равно важно знать. В науке тот, кто сделал вторым, часто бывает огорчен, так как получается, что он работал зря. Я про это думаю так. Все дело в том, что́ считать целью работы. Если целью является сделанное открытие, то с таким же успехом можно считать, что зря работал тот, кто оказался первым – ведь если бы он не работал, то открытие практически в то же время все равно было бы сделано. Результатом всякой творческой работы (часто главным) является поддержание среды, в которой культивируется этот самый уровень века. К работе можно относиться как к задаче в классе: если ты не первый, кто ее решил, она все равно интересна. Неофициальная оценка учеными работы друг друга является значительно более точной, чем формальная оценка по трудам, приоритетам и т.п. Но даже если все эти мысли верны, они и меня самого не убеждают. Борьба за приоритет лежит в нашей природе, и ее не подавить никакими рассуждениями.

Однажды Н.В. заметил, что появление в течение короткого времени большого количества гениальных людей, которое наблюдалось в эпоху Возрождения в Италии, не лезет ни в какую статистику. ≪Должна быть

какая-то "сверхстатистика", которая могла бы это объснить≫, – говорил Н.В. на лекции о Н.И. Вавилове в 57-й школе. О чем здесь речь? Я думаю – о творческой роли века, а может быть, о той тайне, которая существует между учителем и учеником и о которой у меня еще будет повод поговорить.

Я не согласен с резко отрицательной оценкой, которую дал Н.В. последней работе Владимира Павловича Эфроимсона (о гениальности). Даже если эта работа в чем-то неверна, она верна в главном, а если социологические идеи В.П. сомнительны, то это не имеет к биологической истине никакого отношения. О работе Эфроимсона я узнал сначала от Тимофеева-Ресовского: "Это глупости. Это не официальные глупости, но они ничем не лучше официальных". Более подробно я узнал о работе Эфроимсона из его публикаций и из доклада, который он сделал на моем семинаре, куда я его пригласил. Как же относиться к таким неточным мнениям? Не разрушают ли они образ рыцаря истины? Думаю, что в какой-то степени это так. "Нужно сомневаться, чтобы знать, нужно верить, чтобы действовать" – слова Леонардо да Винчи. Сомнения одолевали Ньютона, Дарвина, Менделя. Никто из них не был центром общества, как Н.В. Тимофеев-Ресовский. Вокруг Леонардо, может быть, и создавалось какое-то общество, но сам Леонардо постоянно из него ускользал, так что Леонардовская академия существовала без Леонардо. Значит, в суждениях Н.В. была плата за ту роль, которую он на себя взял. Как не может быть титестером (пробователем чая) человек, который курит, так не может быть центром общества человек, сутью которого является домогание истины. Итак, у меня теперь получается, что сутью Н.В. было не только служение истине, а еще и объединяющая роль в ученой компании, ради которой пришлось чем-то пожертвовать. В целом роль, которую Н.В. на себя взял в силу своего характера, была великолепна. Может быть, его оправдывают слова Л. Толстого: не важно, если мысль неверна, главное, чтобы она была отчетлива.

Недавно кто-то вспомнил, что А.Т. Твардовский говорил: история идет не пластами, а волнами. Мехмат, 1947 г. (когда я впервые увидел его) был волной, пришедшей из первого десятилетия века. Впечатление, что он является иным миром, было очень сильным. При первом же посещении мехмата (И. Яглом читал для школьников лекцию "Об индукции в геометрии") я почувствовал незнакомую мне раскованность, право на мысль. Все это чувствовалось во многих мелочах: все стены были заклеены объявлениями, которые студенты и преподаватели писали друг для друга. У меня сразу возник вопрос: а кто проверяет и утверждает эти записки? Неужели никто? Так и оказалось – пиши и вешай! Кружки и семинары мог вести любой – это никем не проверялось. Правда, если хочешь получать за семинар деньги, нужно было согласование с кафедрой. Конечно, все это было по недосмотру системы. Но ведь это откуда-то взялось! Вот это и есть волна, о которой я сказал. С годами волна стала затухать, и к сегодняшнему дню она настолько слаба, что ее прямо так не увидишь.

Для меня падение университета невыносимо. И я стал пытаться брать кое-какой реванш, продлевая дорогую мне жизнь на иной почве. Сутью этой жизни, мне кажется, является отношение к науке как к духовному богатству, обладающему безусловной самостоятельной ценностью. Этот дух обладает цельностью. Математики могут жить и бездуховно, если занимаются теоремами, не интересуясь всеми этажами возникающих гуманитарных и общечеловеческих связей. Духовное отношение к науке я пытался утвердить на кружках "альфа" (1960 г.) и "бэта" (1961 г.), правда, думаю, что чрезмерное увлечение техникой не дало ученикам почувствовать эту внутреннюю пружину занятий. Сначала я так и думал, что жизнь математики будет держаться на кружках. Но вот возникли математические школы – Новосибирская и 425-я в Москве. Кронрод первый понял, что произошло великое событие – появляются опорные точки для математики. И он уговорил меня работать в школе. Кружки пришлось забросить (они сохранились в другом качестве – как средство набора в школу), а некоторые элементы методики кружков (система листков, большое количество преподавателей) перешли в математические классы. Теперь уже в школе я пытался создать полноценную жизнь. А она, по моим понятиям, включает занятие триадой – математикой, физикой и биологией (в кружках "альфа" и "бэта" была эта триада). Административная система сопротивлялась тому, чтобы мы могли вести классы так, как мы хотели, но все-таки что-то все эти годы удавалось.

Математиков, которые желали преподавать в классах, находилось немного, но все же находились. Физиков было совсем мало. Это были мои друзья – И.И. Иванчик, В. Борисов (Хеопс) и некоторые другие. Биологов же я найти не мог. В это время Н.В. Тимофеев-Ресовский уже переехал в Обнинск, и я обратился к нему с просьбой порекомендовать мне какого-нибудь молодого биолога, который захотел бы прочитать биологический спецкурс для школьников-математиков. Я был упорен, звонил в Обнинск, ездил к Н.В., писал письма. Наконец, Н.В. сказал мне: "Пожалуй, тем молодым человеком, который вам нужен, являюсь я". Это было в сентябре 1964 г. Положение Т.Д. Лысенко, несмотря на поддержку Н.С. Хрущева, было неустойчивым, и в университете были организованы лекции Н.В. по генетике. Они проходили раз в две недели. И вот в те дни, когда Н.В. читал лекцию в университете, он заезжал в школу и читал лекцию для школьников. Было это по субботам, с 12 ч., для этого школа согласилась изменить расписание. Конечно, я поступил не совсем красиво, не предупредив директора о той опасности, которой мы его подвергли – ведь в школе генетика тогда была еще запрещена. Но вскоре сняли Хрущева, были опубликованы статьи против Лысенко и опасность миновала. Н.В. попросили помочь в переподготовке учителей, и он, не помню много ли, но сколько-то занимался и этим. Итак, Н.В. отнесся к преподаванию в школе как к важному делу. Я этот курс прослушал. Фактический материал был мне знаком, а систему изложения я высоко ценил. Курс назывался "Системы управления в живой природе". Идея системы управления была руководящей нитью, которая позволила соединить биологию

в единый курс. Уровни управления – это разделы биологии. Первоначальный вариант программы Н.В. написал своей рукой – толстым карандашом, необычайно крупными буквами (запись неходится у меня). Эта программа сохраняет практический интерес как основа ныне создаваемого школьного курса природы. Из слушателей этого курса два школьника связали свою работу с биологией (после окончания мехмата).

Важным полезным выходом математических классов я считаю то, что очень большой процент этих выпускников отдал много своих лучших сил преподаванию в таких же классах, в каких учились они сами. Это, конечно, заслуга не только Н.В., а всех ученых, которые показали ученикам личный пример. Самый тонкий вопрос – что же они показали. Я думаю, что в отношениях учителя и ученика есть тайна. Иначе не объяснить, почему у всех (вернее, почти у всех) ученых учителями были живые люди, а не книги. Наверно тот, кто чувствует себя обладателем этой тайны, чувствует потребность передать ее ученикам, а кто не чувствует тайны, тот к ученикам равнодушен. Если тайна глубока, она может создать глубокое взаимопонимание. Потому и нужна неразрывная нить. Это рассуждение кажется очень ненадежным, однако удивительно, что оно подтверждается. Большое впечатление производит цепочка личных влияний, прослеженная С.Э. Шнолем, которая ведет от публичной лекции, прочитанной в конце прошлого века, через Кольцова и Тимофеева-Ресовского к двойной спирали. А начать, я думаю, нужно с Г. Менделя, статью которого, оказывается, не все забыли, а прочитал и включил в свои лекции еще в прошлом веке Иван Федорович Шмальгаузен, профессор Московского университета (отец советского академика Ивана Ивановича Шмальгаузена, заведовавшего кафедрой дарвинизма биофака МГУ до августа 1948 г.).

На лекциях Н.В. я узнал еще об одном личном влиянии. Когда Н.В. был гимназистом старших классов (это было перед самой революцией), у него с друзьями возник естественнонаучный кружок. В нем было человек пять. Помню, что почти все они (кроме Н.В.) стали впоследствии геологами, и притом академиками. Руководителя у этого кружка не было. Задумывая заняться какой-либо темой, члены кружка прикидывали, кого бы пригласить для чтения лекций. Таким образом, были сменные руководители, но выбирали их сами ученики. Как-то раз они решили познакомиться с логикой. Выяснили, что логикой занимаются, с одной стороны, математики (это тогда было ново), а с другой – классики, изучающие античность. Какую логику предпочесть не знали и решили пригласить сразу двух руководителей. Так и сделали, но каждый из руководителей не был предупрежден, что приглашен не только он. Два логика схлестнулись к удовольствию гимназистов. Победу, с их точки зрения, одержал математик. Это был Н.Н. Лузин. Его пригласили и на следующее занятие, а затем он провел целый цикл. Н.В. на лекциях в 7-й школе перечислил науки, которые он считал базовыми для биологии. Среди них – логика. У Д. Гранина говорится о семинаре по философии, в котором участвовали Лузин, Тимофеев-Ресовский, Бердяев. Можно

себе представить качество общекультурного кругозора, культивировавшегося в этом кружке и заложенного в сознание его молодых участников еще с гимназических лет.

Престиж математики среди необразованных людей очень высок. Это связано, я думаю, с тем, что ее никто не знает, но каждый помнит из школы, что математика помогает получать результаты. В меньшей степени этот же ореол окружает физику и программирование. Престиж биологии невысок – объект рядом, и многим кажется, что все понятно. Невысок ее престиж и в среде математиков (речь, конечно, не обо всех). Эти ходячие представления имеют глубокую причину. Дело, по моему, в том, что математика, физика и программирование связаны с Мыслью профессионально, а не только потребительски. Биология, как может показаться после прохождения школьных биологических предметов в средних классах, не предъявляет к Мысли особых требований. Но и в биологии начиная с конца XVIII в. пробивает дорогу точный стиль мышления. Это подчеркивал Н.В. Тимофеев-Ресовский в своих лекциях по истории генетики. По С.Э. Шнолю, получается, что основные научные идеи нашего века зарождались именно в биологии (математики и физики обычно считают иначе). Для биофизики, у истоков которой стоял Тимофеев-Ресовский (называют также Мёллера, Эфроимсона и др.), характерно как раз то, что по содержанию это биология, а по стилю – физика. Биофизика основана на точной мысли в такой же степени, как экспериментальная физика. Конечно, Николай Владимирович размышлял на эту тему. Примерно в 1964 или 1965 г. я с группой школьников приехал к нему в гости в Обнинск. Немедленно Николай Владимирович отрядил одного десятиклассника в магазин за закуской и водкой. Это место моих записок вызвало негодование одного из моих друзей. "Ты этим все испортил!" – сказал он. А я подумал, что улучшение Тимофеева-Ресовского не входит в мою задачу и мне нужно воспользоваться случаем, чтобы об этом сказать. Когда я сказал, что не пью, Николай Владимирович спросил: "А почему?" Я сказал, что водка мне не нравится. Тот мгновенно возразил: "А другим, что – нравится? Всем не нравится, а пьют!" А потом задумчиво сказал: "Математики почему-то очень берегут свою голову. Я никогда не видел в этом надобности. Или, может быть, я никогда по-настоящему не пользовался головой?"

Однажды мы приехали в Обнинск втроем: со мной были Г.А. Соколова – организатор биологических классов 57-й школы и ее ученица по биофаку Оля Сигал. У этой девушки замечательная история. Она от рождения глухая, но ее научили понимать речь по губам и говорить. Училась она в обычной школе (в той самой 57-й, когда там еще не было спецклассов) и окончила ее с золотой медалью. А затем окончила биофак. Целью нашего посещения было "охмурить" Н.В., чтобы он согласился приехать в 57-ю школу и выступить на собрании, посвященном годовщине со дня рождения Н.И. Вавилова. Эта наша поездка в Обнинск запомнилась потому, что Николай Владимирович был в состоянии особого душевного подъема. Войдя, я представил одну спутницу: "Галя Соколова,

биолог, окончила биофак и на нем работает". "А у кого Вы окончили?" – спросил Николай Владмимирович. "У Роскина". Тот: "Вот это да! И я ученик Роскина. Я проходил у него Большой практикум. Какой замечательный ученый! Только зачем он связался с клистирниками?" Я: "Но человек открыл реальный способ борьбы с раком, как же он мог пройти мимо этого?" Николай Владимирович: "Открыл – и хватит, дальше – не твое дело!" Он не знал, что у Соколовой были к этому времени серьезные основания придерживаться похожей точки зрения. Видимо, Николай Владимирович считал, что работа с медиками – не лучший путь достижения истины. Потом я представил вторую спутницу: "А это – Оля Сигал, окончила бывшую кафедру Роскина у Соколовой, а Большой практикум проходила у той же Соколовой. Учтите, что она совершенно глухая, хотя понимает речь и может говорить. Николай Владимирович: "Как, Вы совершенно ничего не слышите?" Оля: "Да, но я все понимаю, если вижу говорящего". Николай Владимирович: "И Вам достаточно закрыть глаза, чтобы оказаться в полном одиночестве?" И на протяжении всего вечера Н.В. обращался в основном к Оле, следил, чтобы все говорящие были освещены, переспрашивал ее, поняла ли она, не нужно ли повторить и т.п. Результатом было посещение Николаем Владимировичем 57-й школы.

Выступая перед школьниками, он расцвел. Лекцию он начал так: "Обычно на вопрос, какие существуют типы животного мира, отвечают: черви, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие и человек. Это говорят люди, весьма поверхностно знающие биологию, хотя и изучающие ее. А можете ли вы ответить на этот вопрос?" Слушатели насторожились, их проверяли. Одна маленькая девятиклассница, робея, подняла руку и назвала все типы. "Вот теперь я понимаю, что нахожусь среди биологов", – сказал Н.В., и дальше был полный контакт, затем в подвале чай с самоваром (за этот подвал и самовар потом выгнали всех биологов из 57-й школы, теперь они работают в 520-й), беседа о Н.И. Вавилове, воспоминания и т.п. Мои ученики из математической 179-й школы тоже там были, но о Тимофееве-Ресовском поняли, кажется, только то, что он стар. Они не были подготовлены к этой встрече, и я еще раз понял, как трудно наводятся мосты.

У Тимофеева-Ресовского всегда хватало интереса на новые знакомства. В этом смысле он был вечно молод. Однажды он рассказал, как случайно встретился на теплоходе с А.А. Марковым. Они понравились друг другу, в течение всей прогулки много беседовали. Рассказывая об этом, Н.В. добавил: "С Колмогоровым я не знаком, а познакомился бы с интересом". Про Тимофеева-Ресовского я часто рассказывал друзьям. Один такой рассказ случайно слышал А.Н. Колмогоров (он проводил экскурсию по горному Крыму для членов жюри Всесоюзной математической олимпиады в 1969 г.). Андрей Николаевич тогда сказал, что ему было бы интересно познакомиться с Тимофеевым-Ресовским. Мне тогда не пришло в голову, что эти разговоры к чему-либо меня обязывают. Через некоторое время (возможно, через несколько лет) я как-то сказал Николаю Вла-

димировичу, что А.Н. Колмогоров высказал пожелание познакомиться с ним. "Вот Вы нас и познакомьте!" – сказал он. Вскоре я зашел к Андрею Николаевичу по делам, связанным с математической олимпиадой. Я сказал Колмогорову, что Тимофеев-Ресовский поручил мне познакомить их. "У меня совершенно нет на это сил", – сказал Колмогоров. "Ну хорошо, – сказал я, – вернусь к этому вопросу как-нибудь в другой раз". "В другой раз тоже не будет сил, так что больше не возвращайтесь", – сказал А.Н., что я и выполнил. Точно не помню, но этот разговор был примерно в 1974–1975 гг., жаль я не запомнил. Но я прикинул, что, именно в это время Колмогоров мог прочитать про Тимофеева-Ресовского в "Архипелаге". А прочитал он его (может быть, в другое время) несомненно, иначе не мог бы написать в газете, что это – гнусная книга. Вот, думаю, причина перемены.

Влияние Н.В. Тимофеева-Ресовского на большинство людей, которым довелось его знать, очень велико, и пройдет, вероятно, много времени, прежде чем мы полностью поймем, чем оно определяется. Свою роль играют и масштаб человека и ученого, и стиль взаимоотношений с людьми, открытость, артистизм, собранность, требовавшая от людей ответной собранности. Обращаю внимание еще на несколько качеств: непредвзятость, трезвость мышления, отсутствие каких-либо шор. Кажется, дело простое. но не здесь ли главная наша потеря? Весь пафос нашей идеологии был, мне кажется, в том, что все не так, как это видит глаз, а совсем наоборот и что на все нужно смотреть через специальные очки. Так мы жили и за это дорого заплатили. Нам еще долго предстоит излечиваться. Созерцание перед собой трезвого человека делает нас самих более трезвыми, помогает противостоять напору лжи. Но и это, конечно, не главное. Н.В. был именно таким, каким он был нужен современникам – частью героической русской культуры, которая показала удивительную живучесть, не сгинула и, может быть, и нам поможет выжить.

Впрочем, вероятно, не стоит торопиться с созданием "концепции" Тимофеева-Ресовского. Я старался записать то, что само выплыло из памяти, добавив некоторые уместные размышления. Я пытался только записать верные (иногда противоречивые) впечатления о нем.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КОНСТАНТИНОВ. Родился в 1932 г. Кандидат физико-математических наук, ст. научный сотрудник Института экономики РАН, г. Москва. С Н.В. Тимофеевым-Ресовским познакомился в 1961 г. в Миассове.

В.И. Корогодин

ШКОЛА Н.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО

Первые встречи

Впервые я услышал о Николае Владимировиче Тимофееве-Ресовском в 1956 г., весной, когда он только начал приезжать в Москву после амнистии и поселения в Свердловске. По биофаку МГУ (где я работал тогда на кафедре биофизики) прошел слух, что в Москве "появился какой-то Тимофеев-Ресовский, который работал в Германии, сотрудничал с фашистами, сидел в тюрьме, теперь выпустили и разрешили лекции читать". Генетик. Менделист-морганист. Узнав, где будет лекция, я отправился туда вместе с А.Л. Агре и Г.Г. Поликарповым... Зал был переполнен. Из-за кулис вышел коренастый плотный мужчина с гривастой головой. Оглядел зал. Снял пиджак, повесил на спинку стула. И заговорил... Я не запомнил темы и содержания лекции, кажется, что-то о биогеоценологии. Поразила нас тогда речь, превосходная русская речь, без малейшего (ожидавшегося) акцента, и ясность изложения, нами никогда не слыханная... Зачарованные и несколько оглушенные впечатлениями, мы вернулись на кафедру.

Вторая встреча произошла тем же летом, но не с самим Николаем Владимировичем, а с отчетами его лаборатории. Вместе с группой сотрудников кафедры я был в командировке в "Закрытом городе", где работал реактор, охлаждаемый водой из озера. Вода, естественно, содержала радиоактивность ("пассивность", как писали в секретных документах). Нашей задачей была определить, сколь долго это озеро можно эксплуатировать подобным образом. Первые недели мы брали пробы воды, грунта, водных растений, моллюсков, рыб и здесь же определяли содержание в них радиоактивных изотопов. Лишь к концу работы кто-то подсказал, что в "закрытой" библиотеке, в Особой папке, хранятся отчеты ранее работавших здесь экспедиций. Взял эти отчеты и обнаружил, что уже ряд лет здесь проводились работы, подобные нашей, и были получены такие же, точно такие же результаты. Уже несколько лет, не будучи уведомлены о предшественниках, разные люди делали одну и ту же работы, получая, естественно, идентичные, никуда далее "спецхранения" не идущие и никем не используемые результаты, излагаемые в форме отчетов (в единственном экземпляре!) сухим канцелярским языком... Но вдруг среди этой груды макулатуры несколько папок с отчетами из "пункта С" — превосходные научные работы по радиобиологии и радиационной цитогенетике, по радиоэкологии пресноводных водоемов и т.п., выполненные в лаборатории Н.В. Тимофеева-Ресовского (когда он был еще заключенным) и подписанные тогда никому не известными, и ныне хорошо знако-

мыми специалистам именами, такими, как Е.А. Тимофеева-Ресовская, Н.В. Лучник, Н.А. Порядкова, Е.Н. Сокурова, Л.С. Царапкин и др. (все эти отчеты спустя много лет были "рассекречены" и опубликованы в виде статей). Как детективные романы, я запоем читал эти отчеты, эти заживо похороненные творения интеллекта, на несколько лет опередившие западные публикации на подобные темы. Я уже не говорю о наших, отечественных, исследованиях... Только теперь я увидел, что такое настоящие научные работы...

Вернувшись в Москву, я уже с нетерпением ожидал сведений о новом приезде Николая Владимировича, решив во что бы то ни стало с ним познакомиться. Надо сказать, что в этом ожидании была и своя корысть. Весной того года я обнаружил новое, как я надеялся, явление: свойство клеток восстанавливаться от летальных лучевых повреждений, но не мог сыскать в Москве ни достойного критика, ни достаточный "критерий значимости", т.е. специалиста, который умел бы объективно оценить этот феномен и либо поддержать мои дальнейшие изыскания, либо помочь избавиться от заблуждения. Б.Н. Тарусов, заведующий нашей кафедрой, которого мы, молодежь, очень любили, таким критерием значимости для нас к сожалению, не был.

Осенью мне сообщили, что Николай Владимирович опять в Москве и будет читать лекции на мехмате, на кафедре Алексея Андреевича Ляпунова. Мы с Г.Г. Поликарповым, конечно, отправились на эту лекцию (кажется, она была посвящена принципу усилителя в биологии). Мы уже знали к тому времени, что отдел биофизики Института биологии УФАН СССР, которым руководил в Свердловске Николай Владимирович, располагает биостанцией на берегу одного из уральских озер – Большое Миассово, в Ильменском минералогическом заповеднике, и решили испросить разрешение провести там летом отпуск. Это единственное, что мы смогли тогда сказать Николаю Владимировичу, и тотчас же получили его согласие. "А что Вам привезти?" – спросили мы. Николай Владимирович на мгновение задумался и ответил: "Дрозофилиные пробирки!" – "Сколько?" – спросили мы, не ведая даже, о чем идет речь. "Побольше"... Нас несколько озадачило, что Николай Владимирович даже не спросил, кто мы и где работаем. На всякий случай мы попытались назвать наши фамилии, но обратил ли он на это внимание, была не ясно. Полные ожидания летней поездки, мы пошли в общежитие попить пивка... Но встретился я с Николаем Владимировичем значительно раньше, чем надеялся. Произошло это так.

Вскоре я закончил писать кандидатскую, и ее следовало представить к защите на Ученом совете биофака. Самое трудное здесь было – получить отзыв от научного руководителя, проф. Б.Н. Тарусова. У него свой стиль в отношении к диссертантам (да и к другим сотрудникам) – давать им полную свободу действий, а уж читать-то, что они напишут, или тем более писать отзывы на их работы – этого он терпеть не мог. В очередной раз вторгшись в его кабинет с мольбой об отзыве (завтра – Ученый совет), я застал у него незнакомого несколько растерянного молодого муж-

чину, сидевшего на диване. "А, это Вы, заходите! – неожиданно обрадовался мне Борис Николаевич, – знакомьтесь, наш сотрудник..." И затем, обратившись ко мне: "Владимир Иванович, Иван Александрович завтра защищает у нас докторскую, я у него оппонент, пожалуйста, сядьте и напишите за меня отзыв... А Вы, Иван Александрович, пожалуйста, напишите мой отзыв на кандидатскую Владимира Ивановича, завтра будем представлять к защите..." – и вышел из кабинета, оставив нас одних. Так я познакомился с Иваном Александровичем Терсковым, замечательным человеком и оригинальным ученым, будущим академиком и директором созданного им с И.И. Гительзоном, Института биофизики СО АН СССР. За пару часов мы написали отзывы, рассказав предварительно друг другу о сути наших работ, разговорились, вместе пошли обедать. Я поведал Ивану Александровичу и о встречах с Тимофеевым-Ресовским. Он очень заинтересовался, и созрел план: Иван Александрович за счет своей кафедры приглашает меня в Красноярск прочесть лекцию, мы вместе после его защиты выезжаем, по пути делаем остановку на несколько часов в Свердловске и посещаем Николая Владимировича в его лаборатории.

Испросив телеграфно согласие Николая Владимировича, приезжаем в Свердловск, находим институт. Суббота, рабочий день закончен, никого нет... До следующего поезда – три часа. Разочарованные и обескураженные, стучимся в запертые двери института. Наконец, нам открывает сторожиха: "Вам что?" – "Да вот, мы приехали к Тимофееву-Ресовскому, а здесь все закрыто, нам три часа до поезда..." – лопочем мы с Иваном Александровичем. "К Николаю Владимировичу? Так бы и сказали!" – говорит сторожиха, протягивает нам записку и захлопывает дверь. На обравке бумажки – адрес, и больше ничего. Отправляемся по этому адресу.

На наш звонок дверь распахивается – на пороге Николай Владимирович. "А вот и вы!" – восклицает он, даже не спросив, кто мы (что он меня не узнал, я был уверен, и оказался прав). – Идите сюда, раздевайтесь! – не дав нам объяснить свое вторжение, продолжает он, вводя нас в гостиную. – Вот Лелька придет, чайком напоит!" Не спросив опять! – ни кто мы, ни где и кем работаем, а лишь поинтересовавшись, чем мы занимаемся, и услышав от Ивана Александровича, что он из Красноярска, Николай Владимирович тот час начал расспрашивать его о Сибири, похвалил красноярскую школу физиков, заговорил о судьбе Байкала, о енисейском хариусе, начал доставать с полок и показывать нам какие-то книги по ихтиологии, а когда через час мы поднялись и стали прощаться, категорически никуда нас не пустил, заявив, что ночуем мы у него, а уедем завтра, это дело решенное...

Еще через час пришла Елена Александровна, неся набитую авоську, и сразу же направилась на кухню... После отличного ужина с водочкой и заключительного чаепития, далеко заполночь, вняв уговорам Елены Александровны: "Колюша, ребята устали, дай им отдохнуть!", Николай Владимирович отвел нас в гостиную, где было уже постелено на диване и

раскладушке, положил на стол несколько альбомов репродукций на разных языках – "Это чтобы вам не скучно было" – и ушел. Мы переглянулись и легли спать. Говорить о чем-либо было невозможно. Это была стихия, явление природы, совершенно неведомое нам, с которым мы столкнулись впервые.

Уехали мы на следующий день, после радушного, обильного, весело прошедшего завтрака, сопровождавшегося рассказами Николая Владимировича о встречах с Нильсом Бором, о поездках по Америке, о работе в "пункте С" и о том, как руководил там институтом Николай Васильевич Риль, известный радиохимик, лауреат сталинской премии, а затем директор института в ФРГ...

Защитив кандидатские диссертации и получив дипломы, мы с Геннадием Григорьевичем Поликарповым (тогда он уже работал в Севастополе), летом 1958 г. приехали в Миассово. Николай Владимирович тотчас же окрестил нас "кандибоберами". Вскоре появился и третий "кандибобер" – Олег Вячеславович Малиновский, из Колтуш. Дрозофилиные пробирки мы привезли, выпросив два ящика у Н.П. Дубинина, лаборатория которого (прообраз будущего Института общей генетики АН СССР) размещалась тогда в маленьком домике, на территории Ботанического сада АН СССР.

Мне никогда не забыть обстановку, поразившую меня на биостанции: отсутствие формализма, лживых понятий "трудовая дисциплина" и "рабочий день", органическое слияние жизни и работы. "Науку надо делать без звериной серьезности" – любил говаривать Николай Владимирович, и здесь это полностью воплощалось в жизнь. Работа в лабораториях, экскурсии по заповеднику, обсуждения на семинарах и во время застолий, шутки друг над другом и над вновь прибывающими, курс лекций по генетике, специально читавшийся Николаем Владимировичем для гостей, а таких, вроде нас с Г.П. Поликарповым, было немало, целый палаточный городок – все это создавало непередаваемое словами ощущение Праздника, Полноты Жизни, Торжества Духа...

О летних "сборищах" в Миассове много уже писалось. Хочу добавить лишь одно, о чем редко вспоминают, но что было чрезвычайно важно, хотя и не всегда осознавалось, для всех, кто соприкасался с Миассово, Николай Владимирович был тем, кого (или "чего"?) нам более всего недоставало – Критерием Значимости. На семинарах в Миассово, в беседах с сотрудниками Николая Владимировича и, конечно, с ним самим получали оценку результаты наших работ, наши идеи, наши планы, и не только оценку, но и корректировку, и осмысление, чего неизменно требовал от нас всех Николай Владимирович своим сакраментальным вопросом: "А скажи-ка, почему сие важно в-пятых?" Это было, пожалуй, даже важнее просветительской роли его лекций, из которых многие из нас (и я в том числе) впервые узнали, что такое формальная генетика, пресловутый "вейсманизм-менделизм-морганизм". Все это приводило к тому, что побывавшие в Миассове как бы несли на себе особую печать, нечто вроде зеленой чалмы правоверных, посетивших Мекку...

Помимо общемировоззренческого, если хотите, методологического

значения, для меня лично эта поездка была важна еще в двух отношениях. Во-первых, я окончательно уверился, что найденное мною направление работы достойно, чтобы "копать" его и далее. После моего доклада на семинаре по предположению Николая Владимировича была организована "бригада добровольцев", призванная проверить мои эксперименты. Две недели экспериментов не только позволили воспроизвести мои результаты, но дали и дополнительные факты в их поддержку. Николай Владимирович с явным удовольствием констатировал это на отчетном докладе группы. Во-вторых, я впервые с абсолютной ясностью осознал, насколько я сер, невежествен даже в той области биологии, которой сам занимался. Более того, я понял, что мне необходимо знать...

Уезжая, я поклялся себе, что буду работать вместе с Николаем Владимировичем.

Вернувшись в Москву, я начал читать, что мог достать, по генетике, и прошел "малый практикум по дрозофиле" у Марка Леонидовича Бельговского. Не удовлетворившись самообразованием, осенью я "понес знания в массы" – поставил практикум по дрозофиле и прочитал несколько лекций по генетике для студентов только что организованной кафедры биофизики физфака, которой заведовал Л.А. Блюменфельд. Шла осень 1958 г. Дрозофила вернулась на биофак МГУ через 10 лет после ее изгнания. Так мы отметили 10-летие "исторической сессии ВАСХНИЛ"...

А обстановка на биофаке продолжала оставаться мерзкой. Б.Н. Тарусов всерьез опасался, что меня, а возможно, и его после моих лекций прогонят с работы. Попытки проф. Л.Г. Воронина – декана факультета – организовать лекцию Николая Владимировича в один из его приездов в Москву потерпели фиаско. Партбюро, где деминировали "лысенкоиды", сплошной стеной встало против приглашения на факультет "этого фашиста". Вход ему был открыт лишь на нашу кафедру, кафедру биофизики: Б.Н. Тарусов, сам из породы "альфа", высоко ценил Николая Владимировича как ученого и за его личные качества – гражданское мужество и ярко выраженное чувство собственного достоинства.

Николай Владимирович посетил нашу кафедру раза три (здесь, кстати, произошла его первая послевоенная встреча с Шарлоттой Ауэрбах, приезжавшей в нашу страну) и выступал с лекциями. Присутствовавшие на одной из этих лекций студенты кафедры генетики решили пригласить его на заседание научного студенческого общества, что вылилось в первое официальное выступление Николая Владимировича на биологическом факультете. Организовал его выступление председатель НСО Д.М. Глазер, тогда студент 3-го курса, а ныне доцент кафедры генетики (я очень благодарен Д.М. Глазеру за воспоминания об этом событии, использованные мною ниже с его разрешения).

Надо сказать, что задача была не из легких. С одной стороны, на предварительное приглашение, переданное через меня, Николай Владимирович ответил бурным отказом, ясно было, что ему претило повторение неудавшейся попытки Л.Г. Воронина. С другой стороны, ясно было и то, что партийные организации биофака, и особенно кафедр генетики и дар-

винизма, будут категорически против. Новый заведующий кафедрой генетики – В.Н. Столетов, одновременно министр высшего и среднего специального образования, сделавший карьеру во времена Лысенко, правда, заигрывал с "недобитыми" генетиками (будучи политиканом, он предвидел скорый крах Лысенко) и дал согласие на приглашение Николая Владимировича на студенческий кружок, но предупредил (явно из осторожности), что сам присутствовать "не сможет". И тогда мы разработали "коварный" план. Д.М. Глазер, прорвавшись через свиту к В.Н. Столетову в перерыве между его лекциями, сказал ему, что Трофимов-Ресовский соглашается выступить перед студентами с одним условием: если на его докладе будет Столетов. Получив согласие, немедленно по телефону сообщил мне, а я позвонил Николаю Владимировичу и сказал, что Министр лично просит его прочитать доклад и хочет с ним познакомиться. Николай Владимирович согласился – он "уважал начальство". Доклад был назначен на следующий день. Объявления, развешенные на биофаке, были вскоре сорваны представителями партбюро, но все и так уже обо всем знали, и аудитория была переполнена задолго до начала семинара. Доклад был великолепен. Николай Владимирович вообще любил выступать перед молодежью, а здесь и отклик был адекватный – ведь аудитория была биологической. Доклад носил общеметодологический характер и завершался утверждением, что "ученый должен быть как боксер – уметь бить противника из любой позиции". Аплодисменты, возгласы, все формы изъявления восторга – в общем, было здорово. Затем состоялось знакомство Николая Владимировича и В.Н. Столетова и, на что мы и рассчитывали, официальное предложение прочитать курс генетики на кафедре МГУ. Такой же курс лекций уже несколько лет Николай Владимирович читал на кафедре генетики Ленинградского университета...

Теперь мы часто виделись с Николаем Владимировичем, каждый его приезд в Москву. Мы встречались на кафедре биофизики, или в доме у Реформатских, где обычно он останавливался, или на квартире Ляпуновых. И в одну из таких встреч он сообщим мне, что ему предложили организовать институт ("небольшой, знаешь, такой институтик"), на Урале, недалеко от Свердловска, для изучения последствий "плевка" – загрязнения весьма обширной территории леса и ряда озер радиоактивными изотопами в результате недавнего взрыва хранилища радиоактивных отходов в "Закрытом Городе". Николай Владимирович должен был быть научным руководителем этого института, а меня он приглашал в качестве административного директора. Моя мечта о совместной работе казалась близкой к осуществлению, и я не раздумывая согласился. Тотчас принялись за работу: писали проспект института, его задачи, структуру, перечень необходимых помещений, оборудования, список предполагаемых сотрудников и т.д. Николай Владимирович быстро ходил по комнате и диктовал, затем я перечитывал вслух написанное, следовали поправки, шлифовка фраз, уточнения деталей – официальный документ отрабатывался как научная статья, доводился до предельной ясности и лаконич-

ности. За день-два все было готово и отвезено в Главк. Вскоре меня пригласили оформлять бронь на московскую прописку и получать назначение. И вот тут-то я узнаю, что сам Николай Владимирович в этом институте работать не будет и даже не будет "допущен" к нему как консультант... Я, конечно, отказался ехать на Урал, как и другие из научной молодежи, готовые работать в любых условиях, но только под руководством Николая Владимировича. Не знаю, кто повинен в "отставке от института" Николая Владимировича, но в результате "Институт на плевке" так и не был создан и наше отечество упустило уникальную возможность квалифицированно изучить последствия загрязнения радиоактивными изотопами больших территорий и разработать научные основы мероприятий по их последующему использованию. Никакие фрагментарные работы ни на самом "плевке", ни в различных "ящиках", как и в родившемся много лет спустя под Обнинском ВНИИсельхозрадиологии и его филиалах, не могли восполнить этот пробел – отсутствие систематической, по единой программе, комплексной разработки проблемы радиоактивных загрязнений. В результате к таким событиям, как чернобыльская катастрофа, мы оказались совершенно не подготовленными...

Итак, первая моя возможность работать с Николаем Владимировичем не реализовалась. Вскоре, в начале 1960 г., я перешел в только что организованный при Курчатовском институте отдел биофизики, где, после 4-часовой беседы с начальником отдела о программе работы, подал заявление об увольнении и остался "на бобах"... но это оказалось к лучшему. Через несколько дней Н.П. Дубинин предложил мне должность заведующего лабораторией в одном из "ящиков", которую он занимал ранее по совместительству (вышел приказ, совместительство запрещающий), и я, конечно, согласился. А в конце 1961 г. я узнал, что в Обнинске открывается новый институт – Институт медицинской радиологии АМН СССР, где предполагаются исследования по радиобиологии. Я познакомился с директором этого института академиком АМН СССР Г.А. Зедгенидзе, и в начале 1962 г. переселился в г. Обнинск в качестве заведующего лабораторией радиобиологии клетки. Директор мне понравился. Институт был новый и, кажется, с большим будущим. Я решил уговорить директора пригласить в институт Н.В. Тимофеева-Ресовского.

Обнинский период

При первом же удобном случае я заговорил с Г.А. Зедгенидзе о Тимофееве-Ресовском. "Тимофеев-Ресовский? – переспросил он. – Знакомая фамилия... Он не работал под Берлином?" – "Работал, – ответил я, – в Берлин-Бухе, заведовал отделом генетики в Институте мозга". – "А! Там я его и видел. Я был в комиссии по ознакомлению с немецкими институтами... У него в лаборатории такие установки, такие установки..." И в ответ на мой недоумевающий взгляд пояснил: "Установка стоит, в ней – дрозофила. Клетка поделится – мутация произошла! – лампочка зажига-

ется..." С трудом сообразив, что речь идет о термостате, подхватываю тему: "Эти же установки у него и здесь, в Свердловске". – "Как, разрешили вывезти?" – "Он их и сюда перевезет, если к нам поступит..."

Через несколько недель, проведя по поручению Г.А. Зедгенидзе "разведку", я ему сообщил, что никакие запреты на Тимофееве-Ресовском не "висят", что ему можно проживать в любом месте страны и занимать любую должность. "Очень хорошо. Остальное за мной. Мы его пригласим прочитать лекцию, Вы нас вторично познакомите и мы его пригласим работать".

"Вторичное знакомство" произошло примерно через полгода, в моей квартире. Во время обеда Г.А. Зедгенидзе предложил Николаю Владимировичу перейти в наш институт. Николай Владимирович тотчас согласился, заявив, что сам он "родом из Калужской губернии" и ему "приятно будет помереть на родине". В течение последующего года в Обнинск переехали те сотрудники Николая Владимировича, которых он брал с собой из Свердловска, а весной 1964 г. прибыли и Николай Владимирович с Еленой Александровной. Николай Владимирович возглавил отдел радиобиологии и экспериментальной генетики, куда, помимо двух наших лабораторий, вошла еще лаборатория молекулярной радиобиологии (ею заведовал Ж.А. Медведев), а позже – группа медицинской генетики (которой руководил Н.П. Бочков) и лаборатория радиационной иммунологии (заведующий К.П. Кашкин). Ядро лаборатории экспериментальной генетики составили свердловчане В.И. Иванов, Е.А. Тимофеева-Ресовская и Н.В. Глотов, а также вскоре поступившие к нам И.Д. Александров, Б.Ф. Чадов, Е.А. Гинтер, Е.М. Хованова и В.А. Мглинец. Вскоре друзьям Николая Владимировича удалось добиться в ВАКе присуждения ему степени доктора наук (по совокупности работ), а затем и звания профессора – ведь у него не было не только кандидатской степени, но даже диплома о высшем образовании, и он получал какую-то мизерную зарплату.

Последующие несколько лет, до конца 60-х годов, были, по крайней мере мне так кажется, лучшим периодом для института, да, пожалуй, и для самого Николая Владимировича. Г.А. Зедгенидзе очень хорошо относился к нашему отделу, и особенно к Николаю Владимировичу. "В нашем институте, – говаривал он, – есть два типа ученых: те, кому я показываю иностранцев, и те, кого я показываю иностранцам". Мы принадлежали ко второй, немногочисленной группе. В основе отношения к нам у директора лежал принцип: "Не мешать работать!" Наш отдел занимал превосходные помещения, имел все необходимое, заведующие лабораториями сами намечали тематику исследований. Мы не ощущали никакого администрирования. Георгий Артемьевич Зедгенидзе очень ценил в других людях чувство собственного достоинства и умение самостоятельно работать и не скрывал этого. Если ему надо было побеседовать с Николаем Владимировичем, он сам (а не через секретаря) спрашивал по телефону, когда Николай Владимирович сможет уделить ему время, и приезжал к нему на машине в точно назначенный срок (административный корпус института отстоял от нашего, экспериментального, примерно на 7 км). Такое отно-

шение директора очень импонировало нам всем и, конечно, весьма способствовало той открытой, свободной и творческой атмосфере, которая так естественно складывалась вокруг Николая Владимировича.

"Творческая атмосфера". Это когда работаешь с удовольствием, когда ходишь на работу, как на праздник, когда твои успехи радуют окружающих, а неудачи или ошибки порождают не злопыхательство, а стремление помочь. Желание работать. Умение гордиться своей работой, но не "выпендриваться". Умение здраво оценивать результаты своей работы (любимый вопрос Николая Владимировича на семинарах – "А почему сие важно в-пятых?"). Отношение между сотрудниками, когда доминирующее значение имеет не диплом, не степень, не возраст, а только результат... Все это естественно и неизбежно складывалось вокруг Николая Владимировича, настолько естественно, что людям, работавшим со студенческой скамьи только с ним, казалось, что так и должно быть, что иначе не бывает.

И, что особенно важно, Николай Владимирович был "критерием значимости". Отсутствие критерия значимости – хроническая болезнь нашей науки. Общественное мнение ученых, научных работников практически исчезло, ведь оно у нас ничего не значит. "Большие ученые" тоже потихоньку как-то "слиняли": после того как "продвижение по служебной лестнице", награды и почести стали зависеть не от результатов работы, а от умения угодить начальству; после того как почетное академическое звание обернулось кормушкой, пожизненным лакомым кусочком, подкормкой "за верную службу", наступило несоответствие общественного положения и научных заслуг большинства "Ученых Мужей" и их мнение "критерием значимости" быть перестало. Взамен пошли в ход суррогаты: число публикаций, особенно в зарубежных журналах, умение воспроизвести данные, не очень давно опубликованные зарубежными авторами, ссылки на собственные работы, особенно в зарубежной литературе... Наша наука становилась все более подражательной, копиистской... Но и такой суррогат признания не всем доступен, добираться до него долго и далеко. А для поддержания тонуса "критерий значимости" должен срабатывать постоянно, это как бы "обратная связь", корректирующая твой путь: "Да, ты на верном пути, так держать", или "Стоп, где-то ты сбился с дороги", или же "Назад, братец, ты ломишься в никуда..." Николай Владимирович был критерием значимости, и так же естественно, как пил чай и дышал. Это свойство его проявлялось всегда: "в "трепе" за кофейком, в его вопросах и расспросах при обходе лабораторных помещений, во время отчетов, и, конечно, во время докладов на семинарах, и когда он подводил итоги, "отделяя существенное от несущественного", и когда он делал разносы, "возя мордой об стол", "вышибая дурь" из докладчика или аспиранта, прочитавшего ему свою первую статью.

При этом – и нам это, конечно, льстило, – функции Николая Владимировича как критерия значимости распространялись далеко за пределы нашего отдела. Сотрудники других лабораторий, других институтов – московских, ленинградских, киевских, минских и, конечно же, далеких

периферий – все, я подчеркиваю, все, от дипломников до академиков – считали честью выступить на нашем семинаре и удостоиться одобрения Николая Владимировича. Нередко "трепы" и общения, начатые на семинаре, продолжались вечером, дома у Тимофеевых-Ресовских, "за чайком", где собирались вместе подчас самые разные люди, от лаборантов и аспирантов до широко известных ученых, таких, как академик Б.Л. Астауров, Н.Н. Соколов, В.В. Сахаров, А.А. Прокофьева-Бельговская, писатели А.И. Солженицын и Д.А. Гранин, искусствоведы, психиаторы, экономисты, кинорежиссеры, кого только не перевидели мы на знаменитых тимофеевских вечерах, продолжавшихся практически ежедневно на протяжении почти пятнадцати лет.

Жили Тимофеевы-Ресовские в Обнинске недалеко от вокзала, что очень облегчало "доступ" к ним иногородних гостей. Квартира Тимофеевых-Ресовских была небольшой, из трех комнат (одна из них проходная), в "хрущебном" доме. Маленький кабинетик, со старыми (еще из Берлин-Буха!) диваном и письменным столом со стопками вновь поступивших книг, вдоль стены – книжные стеллажи; спальня Елены Александровны – единственная комнатка с новым мебельным гарнитуром, и гостиная (она же столовая, она же спальня для иногородних гостей, которые нередко здесь ночевали) с большим столом посередине, книжными стеллажами вдоль стен и картинами Олега Цингера, как правило, даже без рам ("Он так их нам и дарил!").

Вечера в доме у Тимофеевых-Ресовских были столь же естественной и неизменной слагающей нашей жизни в Обнинске, как и будни, а подчас и дни отдыха, проводимые в лабораториях. К Тимофеевым-Ресовским можно было прийти всегда, часов в 7 вечера. Ежедневно. На звонок неизменно выбегал Николай Владимирович, если было холодно, снимал с вас пальто, и сам вешал на вешалку (так же как и прощаясь – провожал вас и подавал вам пальто), и, введя в гостиную, предлагал садиться "где хотите". Если гостей набиралось много, они постепенно диффундировали в кабинет Николая Владимировича и даже в спальню Елены Александровны, размещаясь на чем только возможно. Независимо от того, сколько было гостей, появлялся самовар, и Елена Александровна, этот ангел-хранитель Николая Владимировича и всех нас, поила нас чайком. Когда подряд выдавалось несколько многолюдных вечеров, Елена Александровна иногда начинала ворчать, жаловаться на усталость и просила нас: "Ребятки, не приходите с недельку, отдохнуть надо". Но проходил день, два, и Елена Александровна говорила: "Володя или Коля, или Лиза), что-то Вы давно у нас не были, приходите сегодня!" – "Елена Александровна, да ведь Вам и Николаю Владимировичу отдохнуть надо", – отвечал Женя (или Володя, или Таня), и обычная реакция Елены Александровны: "Да мы уже соскучились..." Николай Владимирович уверял, что так было всегда – и в Свердловске, и в "пункте С", и в Берлин-Бухе... Собирались мы у Тимофеевых-Ресовских часто и по праздникам – на Новый год, на Пасху.

Хотя к Тимофеевым-Ресовским мог прийти кто хотел, это не означает,

что любой был желанным гостем. Если Николай Владимирович посчитает кого-либо непорядочным, он мог сказать ему об этом в лицо и предложить не бывать более у них в доме; однажды я сам был свидетелем такого эпизода. Порядочность – обычная нормальная человеческая порядочность – почиталась им очень высоко и ценилась более чем прочие (в том числе и научные) достоинства. Он был глубоко убежден, что непорядочный человек не может успешно заниматься научной работой, и говаривал: "Главное, чтобы человек был хороший".

На тимофеевских вечерах "трепы" бывали самые разные: обсуждали новые книги или кинокартины, реже – интересные научные статьи, слушали музыку, или Николай Владимирович рассказывал разные эпизоды из своей богатой событиями жизни, о встречах с разными людьми, о поездках по разным странам. Очень любили Елена Александровна и Николай Владимирович, когда у них собиралась только молодежь, даже както организовали молодежные музыкальные вечера, где слушали классическую музыку и лекции о творчестве разных композиторов. Потом эти вечера тоже поставили в вину Николаю Владимировичу "растлевал молодежь..."

Семинары и обсуждение текущей работы в отделе; вечерние чаи; лекции в Московском и Ленинградском университетах; лекции и доклады в Москве, Ленинграде, Ереване, Минске, Душанбе и других городах для научных работников и студентов; лекции в Обнинске и других местах Калужской области для агрономов, учителей, школьников, работников милиции и пожарной команды... Николай Владимирович никому не отказывал – он считал своим долгом, своей обязанностью нести знания всем, кто хочет их получить...

И при этом – постоянная научная работа, обсуждение планов и результатов экспериментов, шедших под непосредственным его контролем, по генетике популяций и феногенетике дрозофилы, по радиационной генетике арабидопсис, по радиобиологии почвенных микроорганизмов, по радиационной цитогенетике млекопитающих; слушание отчетов и диссертаций многочисленных аспирантов из разных союзных республик – Армении, Украины, Таджикистана; работа над статьями, зачастую переходившая в диктовку статей своим соавторам; работа над книгами. За обнинский период им с учениками и сотрудниками других институтов написано пять монографий, где досконально, с дотошностью выверены все факты, все ссылки, отшлифована каждая фраза – и это при том, что писать (точнее, диктовать) книги он не любил, долго не соглашался приступить к очередной, ругался и ворчал.

В эти же годы Николай Владимирович получает крупные научные награды: серебряную медаль имени Лазаро Спалланцани (Италия), серебряную дарвиновскую медаль (ГДР), серебряную менделевскую медаль (ЧССР) и Кимберовскую премию (США), представляющую собой Большую Золотую медаль (и ее бронзовую копию) и 2000 долларов. За границу получать эти награды его, конечно, "не пустили", и в нарушение всех правил их вручали ему в Москве. Так, Кимберовскую премию посол США

пручил Николаю Владимировичу в президиуме АМН СССР. Искренне удивившись его хорошему самочувствию, он спросил, почему же Николай Владимирович не приехал получить премии в США? "Так я же тринадцатый лауреат!" – отозвался Николай Владимирович... Часть денег от Кимберовской премии Николай Владимирович обратил в сертификаты, на которые ряд лет Елена Александровна закупала в Москве всякие вкусные вещи, скармливая их гостям...

В нашем "многоуважаемом, но обширном отечестве" Николай Владимирович был Почетным членом и членом-учредителем ВОГиС имени Н.И. Вавилова, а также действительным членом МОИП, Географического общества СССР и Всесоюзного ботанического общества. У нас он не получил ни одной правительственной награды, ни одного официального поздравления с юбилеями, ни одного предложения баллотироваться в члены-корреспонденты или действительные члены АН СССР. Научное руководство Академии его просто не замечало, постоянно игнорировало, хотя лично многие академики были с ним весьма близко знакомы. И дело тут, думаю, не в том, что он "был в опале" или "политически неблагонадежным". Решающую роль здесь, думаю сыграл его целостный, независимый характер, неспособность идти на компромиссы, предательство, подхалимаж, другими словами – то справедливо отмеченное Д.А. Граниным чувство собственного достоинства, что заставляло его всегда, в любой ситуации, оставаться самим собой и которое, вероятно, служило укором многим, сохранившим и упрочившим свое "положение" если не явным предательством, то уж, конечно, множеством компромиссов и умалчиваний, на что Николай Владимирович был абсолютно неспособен. Мне рассказывал Б.Н. Тарусов, как еще в то время, когда Николай Владимирович, будучи заключенным, работал в "пункте С", он, Тарусов, по поручению "кого-то сверху" встретился с Николаем Владимировичем и предложил ему написать небольшой пасквиль на Германию, где прошла его научная молодость, обещая за это скорую амнистию и разные блага. Николая Владимирович отказался.

Партийные власти Обнинска и Калужской губернии, в отличие от научных властей Москвы, отнюдь не игнорировали Николая Владимировича. Его независимые суждения, его стиль держаться – ни перед кем не заискивать и называть вещи своими именами, видимо, изрядно им претили с самого начала, т.е. с 1964 г. Расплата наступила, однако, лишь ряд лет спустя, после подавления "Пражской весны". Тогда повсюду дружно усилилась реакция. В Обнинске начали "шерстить" партийное и гражданское начальство; вместо весьма либерального первого секретаря горкома прислали какого-то "однорукого бандита" с ухватками хама; в жизни института на первое место встали наглядная агитация, политчасы, соцсоревнования, уборка картофеля, заготовка сеннажа и т.п. Вскоре потребовали, чтобы директор уволил Ж.А. Медведева, заведовавшего одной из лабораторий в нашем отделе. Следующей жертвой были Тимофеевы-Ресовские. Им было предложено уйти на пенсию. Предложение это поступи-

ло через начальника отдела кадров. Елена Александровна и Николай Владимирович, не встречаясь с директором, написали заявления. Их не провожали, а "выпроваживали" на пенсию – без торжественного заседания Ученого совета, без приказа с благодарностью, без "памятных подарков". Я заметался по кабинетам административного корпуса, пытаясь "выбить" из администрации хоть видимость приличия. Безрезультатно! Вечером пошел домой к Георгию Артемьевичу. Он был мрачен и краток. "Что Вы от меня хотите? Я уже получил выговор за Тимофеева-Ресовского. Скоро и меня выставят" – и все... На другой день мы устроили в отделе проводы Николая Владимировича и Елены Александровны. С шампанским, цветами, тостами, со слезами. Затем они уехали домой, чтобы никогда больше в институте не появляться, по крайней мере при жизни.

Теперь мы почти ежедневно собирались по вечерам у Тимофеевых-Ресовских. Держались они превосходно, как всегда, ни на что не жалуясь, угощали нас чайком. Темы ухода на пенсию все избегали. Через некоторое время Николая Владимирович сообщил нам, что Олег Георгиевич Газенко, его старый друг и директор Института медико-биологических проблем МЗ СССР, пригласил его работать в своем институте в качестве консультанта. В этом статусе пробыл Николай Владимирович почти десять лет, вплоть до своей кончины. Первые годы он регулярно, дважды в неделю, ездил в Москву, в Институт Газенко, для обсуждения планов работы и отчетов, бесед с сотрудниками и чтения лекций, а позже, когда это стало уж очень трудно, сотрудники Института, желающие побеседовать с Николаем Владимировичем, приезжали к нему в Обнинск.

Николай Владимирович не мог жить без работы, и статус консультанта его устраивал, лишь бы он опять мог участвовать в научной жизни. Со всех концов страны к нему опять приезжали люди, диктовались статьи, главы новых книг, а по вечерам – традиционные чаепития. Как будто бы все как прежде. Но... Беда в том, что в нашем-то Институте медицинской радиологии продолжалась расправа с бывшим отделом Тимофеева-Ресовского. Организатора Института и его директора, академика Г.А. Зедгенидзе, как он и предсказывал, тоже вскоре "выставили" на пенсию. Лабораторию Ж.А. Медведева ликвидировали сразу после его увольнения, лабораторию Николая Владимировича сократили и оставшихся сотрудников присоединили к моей лаборатории, отдел ликвидировали, начался нажим на меня – этакий психологический прессинг, когда чувствуешь, что "не ко двору", а сделать ничего не можешь. Так, на моем отчете на партбюро (хотя сам я беспартийный) обсуждали не итоги научной работы лаборатории, а то, почему в моей лаборатории мало членов партии и почему за десять лет работы не было ни одной склоки и ни одного "персонального дела". Ясно было, что пора уходить. Вскоре ведущие сотрудники бывшего отдела Николая Владимировича начали переходить на работу (обычно с повышением) в Ленинград, Москву, Новосибирск. В.И. Иванов, Е.К. Гинтер и В.А. Мглинец перешли работать в Институт медицинской генетики АМН СССР, Н.В. Глотов – на кафедру генетики МГУ. После моего ухода расформировали и мою лабораторию, распределив

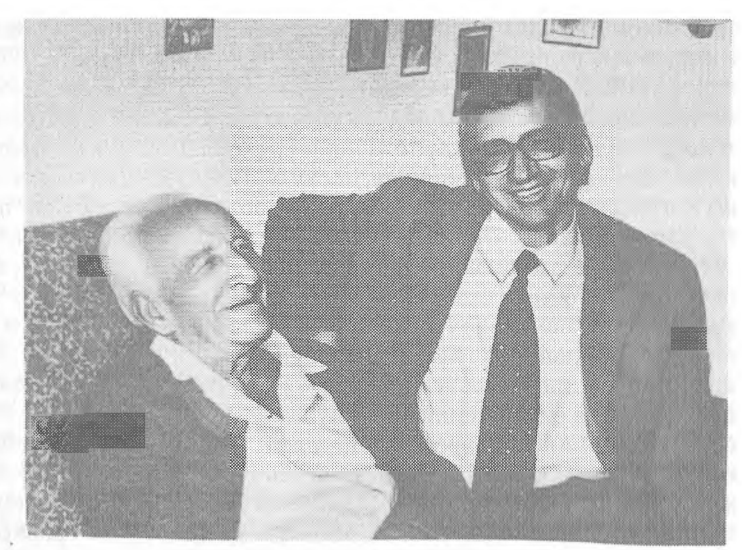
сотрудников по разным отделам. Новое начальство института провожало отъезжающих так радостно, что Е.К. Гинтер, прощаясь, сказал: "Дай Бог, чтобы нас так встречали, как вы нас провожаете". Радиационная генетика и радиобиология клетки были в институте практически уничтожены.

Еще когда не все мы покинули Обнинск, скончалась Елена Александровна. Как всегда, мы праздновали Пасху у Тимофеевых-Ресовских. На этот раз мы подарили Елене Александровне золотые часы-кулон, о которых она давно мечтала. Она сшила себе новое голубое платье, которое очень шло ей, была оживленной, даже веселой, выпила коньячку, произнесла несколько тостов, что с ней редко бывало. Было очень хорошо, "как раньше..." После ухода гостей прилегла немного отдохнуть. Только пришли мы домой, звонит Николай Владимирович: "Приходите, Лёлька умерла..." Умерла Елена Александровна, как святая, на Пасху, в светлом настроении, совсем без мучений.

Смерть Елены Александровны Николай Владимирович воспринял трагически. Он не мог ничего делать, ни с кем не разговаривал, только повторял: "Без Лёльки я не владею техникой жизни..." Его старались не оставлять одного, пытались отвлечь, развлечь разговорами. Только необычайная живучесть Николая Владимировича позволила ему преодолеть это несчастье, с тем чтобы постепенно готовиться к собственной смерти. Он наотрез отказался переехать к сыну, в Свердловск, или в Москву, к дальним родственникам, заявив, что должен умереть здесь и быть похороненным рядом с Еленой Александровной. Не разрешил никому поселиться у него, чтобы за ним ухаживать, видимо посторонний в квартире, особенно в комнате Елены Александровны, его раздражал. К нему приезжали и приходили, приносили продукты, готовили еду. В Москву он ездил теперь совсем редко, но обязательно в начале каждого лета – на панихиду, которую заказывал в маленькой церквушке на Ленинских горах, около университета, где собирались лишь близкие друзья, отправлявшиеся затем на поминки в квартиру Реформатских.

Теперь Николай Владимирович все чаще возвращался к разным периодам своей жизни, перебирая их, рассматривая как бы заново, оценивая с этических позиций. Он подводил итоги. Интеллект его оставался все таким же могучим, хотя сосредоточение на чем-то внешнем давалось все с большим трудом. Шло подведение итогов, итоговым, по существу, был и его последний доклад, прочитанный 28 февраля 1980 г. на заседании Московского отделения ВОГиС им. Н.И. Вавилова и посвященный проблеме эволюции. Новый взгляд на проблему эволюции, не высказывавшийся им ранее, но явно давно созревавший, прозвучал как научное завещание. А осенью 1980 г. он собрал в Обнинске, в своей квартире, друзей, с явным намерением попрощаться.

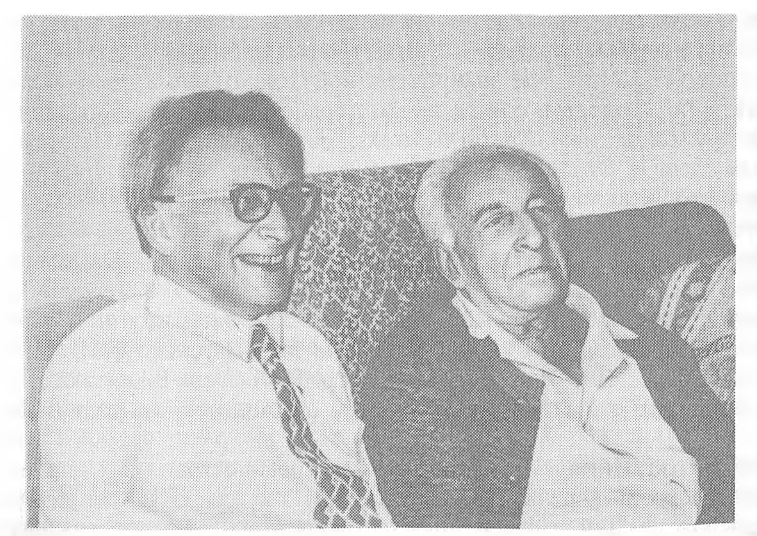
Народу собралось много, вся квартира Николая Владимировича оказалась заполненной. С трудом разместились вокруг стола, на котором стояли водка и множество разных закусок. Подняв рюмку и встав, Николай Владимирович обратился к присутствующим. "Я счастливый человек, – сказал он. – Я прожил хорошую жизнь. А почему? А потому, что вокруг



Н.В. Тимофеев-Ресовский и В.И. Иванов
В день 80-летия (Обнинск, 7 сентября 1990 г.).
Фото С.Э. Шноля



Н.В. Тимофеев-Ресовский (в центре)
Слева А.Г. Маленков, справа А.Ф. Ванин. В день 80-летия.
Фото С.Э. Шноля



Н.В. Тимофеев-Ресовский с сыном А.Н. Тимофеевым-Ресовским. В день 80-летия

меня всегда были хорошие люди..." К сожалению, никто не записал его прощальный тост. В волнении даже забыли включить магнитофоны, специально для этого случая приготовленные.

Вскоре Николая Владимировича, уже совсем слабого, увезли в больницу. Он умирал медленно, но в полном сознании, почти никого не желая видеть и ни о чем не сожалел. Похоронили его рядом с Еленой Александровной.

Школа Тимофеева-Ресовского

Похороны Николая Владимировича не обошлись без казуса. Новая дирекция института боялась провести гражданскую панихиду в конференц-зале, и лишь когда позвонил академик О.Г. Газенко и сказал, что он выезжает на панихиду, "вопрос был решен положительно", как говорят бюрократы.

Выступая на панихиде, О.Г. Газенко сказал, что Н.В. Тимофеев-Ресовский принадлежал к тому типу ученых, значение которых для развития науки будет все более осознаваться и возрастать с течением времени после их смерти. И относится это в значительной мере к такому крайне редкому в нашем отечестве феномену как научная школа. Школа Тимофеева-Ресовского.

Кто-то из мудрецов сказал, что не учителя подбирают себе учеников, а ученики находят своего учителя. Я уже говорил, что ярко выраженной особенностью Николая Владимировича было его просветительство. По своей природе он был Учитель. Он щедрой рукой сеял семена знания в

самых разных аудиториях, и, если такое семя попадало на подходящую почву, оно начинало прорастать. Я много раз наблюдал, как запавшее в душу слово Николая Владимировича побуждало еще и еще послушать его, затем побеседовать с ним, потом поработать в его лаборатории или под его руководством. Такой контакт, даже если он был непродолжительным, всегда оставлял в сердце и разуме человека глубокий след. Влияние его лежало в широком диапазоне – от благодарного чувства причастности до изменения направления работы, профессии и места жительства, т.е. всей жизни. Я знал людей, придерживавшихся концепций Лысенко и Лепешинской и возвращавшихся из поездки в Миассово убежденными сторонниками формальной генетики. Я знаю крупного ученого-фитопатолога, который, будучи студентом философского факультета, из чистого любопытства пришел на лекцию Тимофеева-Ресовского, и это круто изменило его судьбу: из философа он стал первоклассным биологом.

Учительство Николая Владимировича распространялось далеко за пределы трех стандартных форм – лекций для самых широких аудиторий, циклов лекций и бесед для специалистов и руководства научной работы аспирантов и молодых сотрудников, часто диссертантов или докторантов. Обучал он всей своей повседневной жизнью – своей речью, манерой общения, уважением к личности человека, доброжелательностью к людям, нетерпимостью ко лжи и верхоглядству, всегдашней готовностью помочь, ярко выраженным чувством собственного достоинства и ответственности за всех соприкасающихся с ним, своей шкалой этических и духовных ценностей. Я уже говорил, что общалось с ним множество людей – разных возрастов, профессий, национальностей. Каждый заимствовал у него что мог согласно своей индивидуальности и форме общения, от внешней манеры держаться или говорить (обычно как неосознанное подражание) до общеметодологических установок и конкретных направлений исследований.

Общенаучная методология – это, пожалуй, то, что наиболее характеризует разномастную группу специалистов в самых разных областях биологии, претендующих на звание учеников Николая Владимировича. Он учил нас методологии научной работы, напомню, дело происходило двадцать–тридцать лет назад, когда кастрированная лысенковщиной биология только начинала приходить в себя, а головы студентов и аспирантов забивали "Кратким курсом" и диалектико-материалистическим словоблудием. Высокая требовательность к фактам, умение "отличать существенное от несущественного" и стремление осознать, "почему сие важно в-пятых", – это, пожалуй, и есть то общее, что объединяет работы на самые разные темы, характерные для школы Тимофеева-Ресовского.

И в заключение несколько слов о чтениях памяти Тимофеева-Ресовского. Эти чтения были задуманы сразу после его смерти, но реализовать их все не удавалось. То партийное начальство города не разрешало (в Обнинске), то партийное начальство хотя и не запрещало, но и не одобряло (в Пущино). Наконец, когда в 1982 г. группа учеников Николая Влади-

мировича встретилась на семинаре в Ереване, было решено организовать эти чтения в Армении, где Тимофеевы-Ресовские несколько раз бывали и очень ее любили. Нам повезло. К этому времени вышел "Советский энциклопедический словарь", в котором написано: "Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович (р. 1900), советский биолог, один из основоположников радиационной генетики, биогеоценологии и молекулярной биологии. В 1925–1945 гг. работал в Германии. Труды по популяционной и эволюционной биологии и феногенетике". Этих нескольких строк оказалось достаточно, чтобы ЦК Армении санкционировало проведение чтений. Первые чтения, в Ереване, состоялись 25–27 мая 1983 г., сборник трудов вышел в том же году. Приглашенных было немного, около 30 человек, почти все – непосредственные ученики или сотрудники Николая Владимировича. Но диапазон тем, обсуждавшихся в докладах – от радиационной микробиологии до генетики природных популяций и проблемы "Биосфера и человечество", – прекрасно отражал широту интересов и сферу научного влияния нашего учителя. Вторые чтения состоялись в конце апреля 1986 г. в Чернигове и были посвящены в основном радиобиологии – дисциплине, одним из основателей которой был Николай Владимирович. Я надеюсь, что традиционные чтения памяти Тимофеева-Ресовского будут лучшей формой выражения нашей признательности учителю.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КОРОГОДИН, родился в 1929 г. Доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела биофизики Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований, г. Дубна. Работает в области радиобиологии клетки, общей радиобиологии, радиационной генетики, мутагенеза, теории информации. Знаком с Н.В. Тимофеевым-Ресовским с 1956 г. Соавтор монографии Н.В. Тимофеев-Ресовский, В.И. Иванов, В.И. Корогодин "Применение принципа попадания в радиобиологии" (М.: Атомиздат, 1967).

С.В. Вонсовский

СУПРУГИ ТИМОФЕЕВЫ-РЕСОВСКИЕ

С супругами Николаем Владимировичем и Еленой Александровной Тимофеевыми-Ресовскими я познакомился в те дни, когда они переехали в 1955 г. из Средмашевской базы, расположенной на севере Челябинской области, в Свердловск, куда они были переведены на работу в Институт биологии Уральского филиала АН СССР (УФАН). Очень интересно, что в моей жизни это была вторая встреча с семьей очень крупных русских

биологов. Первая встреча произошла еще в мои юношеские годы. Я родился в 1910 г. и первые свои 20 лет жил безвыездно в городе Ташкенте в семье учителей средней школы. В Ташкент в 20-м году, после окончания гражданской войны, ликвидации так называемой оренбургской пробки генерала Дутова, прибыло из Москвы несколько эшелонов основного состава ученых и научного оборудования для только что созданного по декрету В.И. Ленина Среднеазиатского государственного университета (САГУ). В числе ведущих профессоров биологов САГУ в Ташкент приехал Даниил Николаевич Кашкаров. Это был один из представителей блестящей плеяды русских биологов тех времен. Среди его учителей были Кольцов, Сушкин и другие знаменитости. Сам Даниил Николаевич считается теперь родоначальником русской экологии. Между прочим, его учеником был директор Института биологии УФАН академик Станислав Семенович Шварц, именно того института, куда в Свердловск приехали работать ученые. Семья Д.Н. Кашкарова была очень близка моей матери, Софии Ивановне Вонсовской, еще с ее юношеских лет, когда она училась в Мариинской гимназии в Рязани в 90-е годы прошлого столетия. Поэтому после приезда из Москвы в Ташкент в 20-м году семья Кашкаровых была одной из самых близких нам семей. Я очень привязался к Даниилу Николаевичу. Он был необычайно интересным человеком, крупнейшим ученым-зоологом и экологом, знатоком живописи, скульптуры, поэзии, литературы и музыки, прекрасно рисовал сам, стены его квартиры были увешаны чудесными собственными акварелями. Даниил Николаевич был совершенно исключительный лектор, его лекции были всегда наполнены глубоким содержанием и изумительны по форме. Это было счастьем для моей юности, что я смог близко познакомиться с таким интересным человеком.

И вот в 1955 г. для меня как бы возник двойник Д.Н. Кашкарова в лице Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. В это время Даниила Николаевича уже не было в живых. Он скончался в самолете при эвакуации из осажденного Ленинграда у себя в родной Рязани. В начале 30-х годов он уехал из Ташкента и стал профессором Ленинградского университета. Там, когда я был студентом ЛГУ, я и виделся с ним.

Вот почему во время моих встреч с Николаем Владимировичем и Еленой Александровной я часто вспоминал и зрительно и по всем интонациям речи этих ученых, ощущал как бы внезапное возвращение такой же четы Кашкаровых. Обе эти семьи были представителями наиболее культурной среды настоящей русской интеллигенции, для которой была характерна чрезвычайная широта интересов во всех областях культурной жизни и какое-то глубокое внутреннее благородство. Общение с такими людьми всегда бывает необычайно интересным, обогащающим душу и сердце и, конечно, расширяющим умственный кругозор. Недаром это прекрасно чувствовала творческая студенческая молодежь, которая "боготворила" и окружала огромным "роем" таких людей, какими были и Д.Н. Кашкаров, и Н.В. Тимофеев-Ресовский. Весь облик супругов Тимофеевых-Ресовских – это стопроцентная интеллигентность в самом высо-

ком смысле этого слова. Здесь и высочайшая культура речи, неизменная оригинальность и глубина суждений, о чем бы ни шла речь, изумительная простота общения с людьми, независимо от их официального положения (лишь бы это не были морально недостойные люди), какой-то совершенно особенный аристократический демократизм, который присущ истинным аристократам духа. Уже при первой встрече с ними, буквально с первых фраз, мне стало совершенно ясно, что мы уже давно знакомые люди, а это бывает только при общении с истинно культурными и прекрасно воспитанными людьми. И здесь я опять ощущал всегда как бы возвращение далеких юношеских лет, когда я общался с семьей Кашкаровых. И когда я несколько раз бывал на квартире у Тимофеевых-Ресовских, к сожалению почему-то это не было очень часто, меня окружала та же знакомая демократическая обстановка квартиры настоящего ученого – книги, книги, книги... У Николая Владимировича среди них был очень любопытный заветный стеллаж с детективными романами на разных языках, которые служили интеллектуальным отдыхом при его сверхнапряженной научной деятельности. По-моему, период для их прочтения был что-то около двух лет. Через два года начало напрочь забывалось и начинался новый период чтения!

В жизни Николая Владимировича огромное значение имело то, что ему посчастливилось встретиться с такой замечательной женщиной, как его жена Елена Александровна. Она была совершенно исключительным, прекрасным человеком. Вся ее жизнь была посвящена той же науке. Здесь, конечно, напрашивается аналогия с двумя другими парами – П. Кюри и М. Склодовской и Ф. Жолио и И. Кюри. Но, наверное, это только внешняя аналогия. В супружеской паре Тимофеевых-Ресовских было слишком много истинно русского, и, наверное, можно было найти много общего с супружескими парами великих русских писателей и других представителей русской культуры и искусства. Теперь я только могу сожалеть, что мало общался и с Николаем Владимировичем и с Еленой Александровной. Здесь больше посчастливилось моей покойной супруге – Любови Абрамовне Шубиной. Дело в том, что нам помог случай быть очень близко вместе с Тимофеевыми целых две недели в одном из санаториев около озера Чебаркуль в Челябинской области, рядом с Ильменским заповедником. Это было связано с тем, что обычно зимой наш Институт физики металлов (тогда УФАН) устраивал на Урале зимнюю школу теоретический физики, так называемую "Коуровку" (по названию первого места, где начались эти школы). В этот год школа была в Чебаркуле, и мы пригласили туда Николая Владимировича и Елену Александровну. К этому времени вся свердловская "теорфизическая" молодежь уже обожала Николая Владимировича и была ему хорошо знакома. Во время работы школы Николай Владимирович почти всегда присутствовал на наших заседаниях. А Елена Александровна и моя жена там бывали реже и поэтому много времени проводили вдвоем. Вот так они как-то очень сблизились, особенно во время регулярных прогулок по чудному зимнему уральскому лесу. У них было много похожих личных семейных траге-

дий, и эти две женщины горько вспомнили своих любимых, ушедших... Рассказы жены еще лучше высветили чудесный образ Елены Александровны...

Я уже высказал свое сожаление, что недостаточно общался с Николаем Владимировичем, но одно я сделал очень решительно – всячески способствовал общению с ним моих бывших и настоящих учеников. При этом они не только слушали Тимофеева-Ресовского, получая от него как от замечательного педагога заряд для своего будущего интеллектуального развития, но начинали активно работать вместе с ним в области актуальных проблем биофизики. Особенно в этом преуспел один из наших очень талантливых молодых физиков Павел Степанович Зырянов, к великому нашему горю трагически погибшей в расцвете своего яркого таланта. Николай Владимирович его очень любил. Летом Николай Владимирович и Елена Александровна обычно уезжали из Свердловска на свою научную базу, расположенную у озера Миассово, в Ильменском заповеднике, который также входил в состав УФАН. Вот это Миассово и было своего рода Меккой для научной молодежи Свердловска и других городов нашей страны.

Хотя мое общение с Николаем Владимировичем и было ограниченным, но все же два существенных эпизода в этом общении мне очень запомнились. Николай Владимирович, будучи в Германии, имел возможность близко познакомиться не только со своими коллегами генетиками, но и с учеными других специальностей. Особенно близко он был связан с физиками, такими знаменитыми учеными, как М. Планк, В. Гейзенберг, Н. Бор и др. Поэтому он и был не только биолог, генетик, но в значительной степени и биофизик. После возвращения в СССР он также общался с физиками. Интерес к физике у него не ослабевал. И вот один из запомнившихся мне эпизодов и связан с этим глубоким интересом Николая Владимировича к современной физике.

В те годы, когда мы вместе были в УФАНе, в физике элементарных частиц начали выдвигаться исследования недавно открытой элементарной частицы – пи-мезона, играющей основную роль в сильных взаимодействиях адронов. И вот Николай Владимирович меня попросил сделать обзорный доклад по состоянию физики пи-мезонов. У нас в ИФМ регулярно работал научный семинар, на котором практиковались и такие доклады. Я согласился с этой просьбой Николая Владимировича, хотя для меня это было не совсем простая задача, поскольку я не являлся специалистом по физике высоких энергий и элементарных частиц. Но я с большим удовольствием ознакомился с основными оригинальными статьями и лучшими, уже тогда имеющимися обзорами по этому вопросу и сделал доклад. Как всегда, я не был доволен своими результатами доклада, но Николай Владимирович пытался меня уверить, что ему все очень понравилось. И после доклада мы вместе с другими физиками много говорили именно о возможных биофизических перспективах в связи с физикой элементарных частиц. Все это, конечно, было очень интересно и полезно для всех участников. Очень жалею, что такая ситуация

была всего один раз. На этом своем докладе я также очень хорошо почувствовал, каким замечательным слушателем был Николай Владимирович. Наверно, если и был чем-то действительно хорош мой доклад, то главным "виновником" этого был такой слушатель, как Николай Владимирович.

Второй "случай", который сохранился так же ярко в моей памяти, связан с днями пребывания в чебаркульской "Коуровке". Кроме занятий школы по программе, в вечернее время, свободное от этих занятий, практически ежедневно возникали, как мы их называли, "междусобойчики", где их участники с бильшим жаром обсуждали самые животрепещущие вопросы физики, биологии, философии и культуры. Вот так в один из вечеров проходил такой "междусобойчик" в одном из холлов военного санатория Чебаркуля, где жили участники школы, и главным действующим лицом этого спонтанного "совещания" был, конечно, Николай Владимирович. Я уже не очень хорошо помню детали этих жарких споров, но, по-моему, это были вопросы биофизики, связанные с открытиями последних лет в области генетического кода. Почему мне запомнился этот "междусобойчик"? Дело в том, что в организации "Коуровки" именно в Чебаркуле большое участие принимал бывший ректор Челябинского педагогического института Евгений Михайлович Тяжельников. В тот год он был уже первым секретарем Челябинского обкома партии, но тем не менее он по-прежнему активно помогал в организации школы. И вот в этот вечер он специально приехал в Чебаркуль, чтобы лично побывать в школе и пообщаться с ее участниками. Был поздний вечер, все программные занятия были закончены. И к удивлению Евгения Михайловича Тяжельникова и сопровождающих его спутников – двух генералов, они застали целую группу участников школы в самый разгар их "междусобойчика", когда голос Николая Владимировича "трубил" на весь санаторий. И тогда Евгений Михайлович обратился к генералам: "Ну вот видите – школа работает до позднего времени, значит, все в порядке!" Кроме активного участия в "междусобойчиках", Николай Владимирович прочел для участников школы по заранее договоренной программе небольшой цикл лекций по наиболее актуальным вопросам науки. Лекции, как всегда, были яркими и вызвали огромный интерес у всех участников школы. Вообще все мы были очень рады пребыванию Николая Владимировича в школе. И можно было назвать эту очередную "Коуровку" тимофеевской!

Вскоре после этой "Коуровки" Тимофеевы-Ресовские покинули Урал и переехали в Обнинск. Они оба тосковали по родине, и им хотелось закончить свой жизненный путь в родных местах. Для всех нас, свердловчан, их отъезд был большой потерей. Конечно, после их отъезда практически прекратилось всякое общение, кроме случайных мимолетных встреч в Москве да поздравительных открыток к большим праздникам.

Я очень благодарен судьбе, что мне удалось встретиться с супругами Тимофеевыми-Ресовскими и провести несколько лет в интереснейшем

общении с этими замечательными учеными и не менее замечательными людьми...

Академик СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВОНСОВСКИЙ (родился в 1910 г.). Крупный специалист по магнетизму. Живет в Екатеринбурге. В течение многих лет возглавлял Президиум Уральского филиала, позднее Уральского научного центра Академии наук СССР.

А.Н. Тюрюканов

ФРАГМЕНТЫ К ВОСПОМИНАНИЯМ ОБ УЧИТЕЛЕ

Для меня говорить и писать о своем Учителе – Николае Владимировиче Тимофееве-Ресовском трудно и ответственно, потому что для этого светлого и мудрого человека не хватает достойных слов, а тем более достойных фраз. Речь идет не о любви или печальной "постфактумной" верности (это было и есть), а об уважении к человеку, у которого понятия и действия – Родина, История и Наука сливались в триединое Я.

Он корнями весь русский, сошедший со Среднерусской возвышенности в сумасшедший двадцатый век низости, подлости и войн. Он много сделал, много повидал стран и людей. Он был сильный мужчина, не измельчавший. Ему чужда была пошлость во всех ее проявлениях. Почти четверть века мы были вместе. Никогда он на меня не кричал, несмотря на его темперамент и бас. Нам было о чем поговорить. Когда-нибудь, может быть, я напишу подробнее, а сейчас в книгу его памяти я впишу фрагменты воспоминаний и мысли тех лет и наших дней.

Сейчас почему-то акцент делается на "германском периоде его жизни" и на тюремных годах. Все это было. Но Николай Владимирович в "свободный" советский период сделал так много в науке, что дух захватывает. И прежде всего отмечу, что им создана научная школа – явление исстари в России приветствовавшееся, а ныне ставшее дефицитом. Вторым по важности (на мой взгляд) стало создание им радиационной биогеоценологии. Он работал в этой молодой, созданной им науке мощно, напористо, как бы предчувствуя Чернобыль и его Уральские предтечи. Идеи и имена Докучаева, Вернадского и Сукачева стали для него общей платформой в радиационной стратегии. Его сильно "придавливали" в те годы, но он успел много сделать. Об этом надо писать. Третьим делом в этот период стало возрождение общей генетики и внедрение в нее знаний и достижений точных наук. Он был "безмикрофонный", но его бас, вещавший о нашей и мировой классике, логике научного исследования, биосфере и человечестве, методологии и методах науки, слышали десятки тысяч

людей. Многие пробуждались от его логики и убежденности. С ним были верные друзья – Реформатские и Ляпуновы, не испугавшиеся его биографии. А сколько "прижилось" к нему молодежи. Прижился и я, так как на биофаке МГУ и особенно у почвоведов учиться было не у кого. Спустя десятилетия я благодарен Николаю Владимировичу за то, что он вложил в меня "русский дух" и нарек Тюрюканычем. Любил он вспоминать о доброй традиции Русского географического общества, присваивавшего за заслуги ученым-географам вторую фамилию, например П.П. Семенов-Тян-Шанский и т.д. "Тебе, Тюрюканыч, по старым временам надо присвоить фамилию Тюрюканов-Опольский за твои работы в опольях Центральной России". Не правда ли, лестно от него слышать это, когда кругом шипение и профсобрания. Он обладал лучезарным юмором, но очень не любил пошлых анекдотов. Ему претило это. Как-то уже в конце его жизни я зашел к нему утром. Он ждал меня и, как всегда, сказал: "Садись, лопай". Он был хлебосол. Сколько народу у него кормилось... "Что нового, Тюрюканыч?" Точно помню, это было на второй день после смерти Буденного. Я ответил:

– Буденный помер.

– Жаль. Мужик был боевой. Ну и как его помянули? – спросил он.

Я сказал: "Нормально. Все начальники подписали некролог". – "Ну слава Богу. Читай мне некролог". Я прочитал. Он спросил: "Кто подписал?" Я сказал: "Все".

– Ну и кто же конкретно? – спросил он.

Я стал читать:

– Брежнев, Косыгин и длинный шлейф чужих, нам неизвестных фамилий...

Он слушал внимательно. Когда же я кончил этот 4–5-этажный перечень неизвестных нам начальников, он, помолчав, задумчиво сказал:

– А главной подписи все-таки нет.

– Как же? Ведь вся верхушка расписалась. Кого же нет, Николай Владимирович?

И он внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Лошадей России.

Так он нестандартно мыслил, вспомнив о заслугах Буденного в спасении лошадей в век "научно-технического прогресса".

...Шел 1964 г. 4 апреля Николай Владимирович приступил к работе в Обнинске. Еще не было ни Володи Иванова, ни Коли Глотова – двух апостолов генетики, но Мефистофель Лучник уже устроился в институт. В те дни Николай Владимирович был в крайнем возбуждении. В нем все трепетало. В течение трех недель он не отпускал меня от себя, требуя моего присутствия ежесекундно. Я не мог выехать к семье, нес круглосуточное дежурство. Ходили мы с ним "жрать" в кафе "Огонек", это почти напротив окон его дома. Он заказывал для меня шесть или восемь бифштексов, себе два или четыре и при этом говорил очаровательной официантке, что мы с Тюрюканычем "жрецы". И при это долго убеждал ее в том, что Тюрюканыч главный жрец, а он не главный. Если бы вы знали,

как великолепна была в эти дни Елена Александровна. Чистота этой женщины всегда была совершенством, а здесь в Калужской области уже начинал срабатывать эффект импритинга. В Алексинском уезде, за Окой, находилась деревня Картин – родовое имение Елены Александровны, а в ста верстах великолепное Конецполье – родовое поместье Всеволожских, а позже Тимофеева-Ресовского. С удивительной женственностью и теплотой Елена Александровна обживала дом. В те дни я по-мальчишески романтически верил, что мысли Учителя и мои тоже свершатся и наша генетика возродится.

И действительно, вдогонку мировой генетике кинулись его и мои друзья – братья Смирновы и Рэмушка Петров, Коля Глотов и Володя Иванов, любимейший Женя Гинтер и Арам Зурабян, Ромик Атаян, Эдик Акопян и Володя Корогодин, Жорес Медведев и Володя Мглинец, Леня Семериков и Лева Животовский, Коля Воронцов и Леша Яблоков, замечательная пара Богданов и Туся Ляпунова. А наша команда биогеоценологов: Юра Абатуров, Алла Николаевна Летова, покойная Галя Кашкина, Гензель Гегамян, а если вспомнить еще, что далеко, за Уральским хребтом, осталось много лучших учеников Николая Владимировича – Коля Макаров, Аргента Титлянова, Инна Молчанова, Галя Махонина, Стелла Тарчевская. Это его гвардия. Да ведь и не перечислишь всех замечательных людей. Не всех припомню, да простят они мне: в Москву уезжал из Свердловска замечательный человек и ученый Адольф Трофимович Мокроносов, а какая масса очаровательных людей и сейчас работает в институте у Олега Георгиевича Газенко. Нельзя не сказать о Юрии Свирежеве, с которым я провел длительный период своей жизни. И конечно, я не могу забыть своего незабвенного друга – Новомира и самого последнего и наиболее настоящего по духу ученика Николая Владимировича – Сашу Ярилина. Об огромной команде биофизиков я уже не говорю. В этой книге они заговорят сами.

Я когда-нибудь расскажу о замечательной семье Реформатских, особенно о Елене Васильевне Вахмистровой и Надежде Васильевне Реформатской. Вот этим людям я и обязан своими знаниями. А перед этим я окончил 218-ю московскую школу, где учился у замечательных учителей и учительниц в сообществе потенциально выдающихся людей: Сабинин, Малинин, Симонов, Раунер, Лурье, Гросс, Копосов, Бочкарев, Архангельский, Багаев и др. Это золотые люди. Только с годами понимаещь, как повезло мне в жизни. А жизнь готовила все новые встречи с замечательными людьми, хотя попадались и такие, которых жизнь для истории зашифровала под буквы Б, Г, Д, К и др. Но опять скажу, что мне везло на хороших людей. Каким теплым было общение с Иваном Георгиевичем Петровским и Николаем Николаевичем Семеновым, от них веяло свободным раскованным мышлением. Эти гиганты науки и духа, истинные сыны Отечества. Светлая им память!

И опять возвращаюсь к Николая Владимировичу Тимофееву-Ресовскому. Он был мне отцом, по нему, по его совести и мысли я сверял и проверял людей, особенно ученых и псевдоученых. Ушел он к своей Лелечке в

родную Калужскую землю, а над ними шелестит их "антенна" – родная береза. Без этих людей опустела земля. Не дожили они чуть-чуть до перестройки. А как ждали они, что придет то время, когда скажут о репрессиях, голоде и о войне правду; когда честные люди станут предпринимать неимоверные усилия по спасению и возрождению России. Не дожил он и до Чернобыля. Я не знаю, как бы он прореагировал на беду, но что он весь отдался бы этой проблеме, сомнений нет. Это его фронт. В фильме о Чернобыльской аварии справедливо звучат слова одного крестьянина-чернобыльца: "А где же наука? Куда она смотрела?" Хочется ему ответить спокойно, хотя это нелегко. Простые люди, да и руководители часто тоже путают науку с техникой, а это одна из ошибок всей так называемой научно-технической революции, или прогресса. Наука – это сгусток множества наблюдений, описаний, экспериментов, умноженный на логику ума исследователей и научный опыт предшествующих поколений. Техника – это реальное материальное воплощение того, что открыла наука. В технику воплощается малая доля открытий фундаментальной науки, но зато включаются огромные массы людей, средств и материалов. В науке все решают личности и коллективы под руководством личностей. Как говорили раньше: "Лучше стадо баранов, предводительствуемое львом, чем стадо львов, предводительствуемое бараном".

Чернобыль – это трагедия социально-технического, а не научного фланга нашей жезни. Наука несет ответственность прежде всего за то, что практически не разрабатывала проблемы человеческого фактора. Технари и технократы всегда имели дело с бездумными металлами, машинами и прочими "болванками". Как видите, от "болванок" до "болванов" один шаг и этот шаг случился в Чернобыле. Если в науке главное – думать, а потом работать, то в технике и ее обслуживании крен сделали на "работу". Если в науке "творили", то в технике часто "вытворяли". Вспомним мелиорацию с ее бульдозерной идеологией.

Чернобыль – это уже горькая рельность. Что делать с ним сейчас? Какая наука за это в ответе? И есть ли она? Такой науки не то что бы нет и не то что бы она есть. Опираясь на труды Вернадского и Сукачева о биосфере и биогеоценозах в 50–60-х годах, профессор Н.В. Тимофеев-Ресовский, известный теперь всем как герой повести Д. Гранина "Зубр", создавал радиационную биогеоценологию как науку о судьбе радиоизотопов в биосфере, т.е. в почвах, водах, живых организмах и т.д. А судьба радиоизотопов нас сейчас очень волнует, так как она теперь неразрывно связана с судьбой людей. В лаборатории Зубра были поставлены тысячи различных оригинальных экспериментов, вскрывших многие "тайны" обитания и поведения радиоизотопов в природе. К сожалению, и на Урале, и в Калужской области эти работы постепенно угасали вместе с "запрограммированной" судьбой Зубра.

И, когда смотришь фильм "Колокол Чернобыля", поражаешься дремучему невежеству хороших добрых людей, доверчивых к науке и бодрящихся при виде наших славных воинов-победителей. Но Чернобыль прежде всего не военная проблема, там не солдаты нужны и не те, кто

десятилетиями получал зарплату за охрану среды, сидя в "почтовых ящиках". Нужны истинные ученые. Не закрытость, а всенародная гласность и ускоренное просвещение людей нужны нам как главное лекарство пробуждения от летаргии доатомного средневековья.

Радиационная биогеоценология, радиобиология, медицинская генетика и другие дисциплины должны сейчас развиваться приоритетно, как, к сожалению, становится приоритетной так называемая проблема "мирного атома", принесшего столько горя и без того многострадальной моей Родине.

При нынешней остроте природоохранных проблем и при их социально-обманном нынешнем решении я бы хотел рассказать немного из истории охраны природы России.

В середине 50-х годов при Академии наук возникла инициативная группа по охране природы СССР. Ее душой был замечательный русский ученый – профессор Московского университета орнитолог Георгий Петрович Дементьев. Эта группа издала несколько сборников по охране природы. Эта группа настаивала на необходимости развертывания в СССР работ по охране природы. Тогдашний президент Академии наук СССР – Александр Николаевич Несмеянов выразил этим желаниям и призывам глубокую искреннюю поддержку. Однако он четко говорил, что, пока мы не найдем достойного лидера этой проблемы, способного решать ее на мировом уровне, трудно будет говорить о создании Института охраны природы при Академии наук. Члены комиссии не смогли найти такого лидера, но его нашел президент Академии наук – А.Н. Несмеянов.

Президент собрал в своем кабинете сравнительно расширенное заседание (приблизительно в 20 человек) и попросил сделать доклад (впервые в истории Академии наук) о состоянии и перспективах природоохранной работы в СССР Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского.

Как сейчас помню, на заседании присутствовали, кроме Николая Владимировича и меня, Алексей Андреевич Ляпунов, В.М. Клечковский, В.С. Покровский, Л.К. Шапошников и др.

Николай Владимирович сделал один из лучших докладов в своей жизни, развернув всю панораму необходимой охраны природы страны. Будучи зоологом, он поставил проблему необычайно широко, говоря о радиоактивных загрязнениях наших биогеоценозов и почв, о химических загрязнениях биосферы, о необходимости спасения редких видов. Он включил в доклад свои обширные знания по охране природы в европейских и других странах. Его доклад эмоционально энергичный и многоплановый своим аргументами и логикой привел в возбуждение невозмутимого мудрого Александра Николаевича Несмеянова. Резюмируя итоги доклада (а никто из сидевших в кабинете не выступил), президент сказал, что на научной платформе, высказанной Тимофеевым-Ресовским, Академия наук пойдет на создание в своей структуре Института охраны природы. Заключительные слова президента были восприняты молча, и заседание закрылось.

Спустя некоторое время я узнал, что Лев Константинович Шапошни-

ков тотчас помчался в Министерство сельского хозяйства СССР и "запродал" всю проблему в это ведомство. Так, на 30 лет охрана природы нашей Родины была спрятана в недра "охотничьего ведомства", где процветало "охотничье" хозяйство, способствующее коррупции и разложению среди руководителей нашего сельского хозяйства. И поныне над заповедниками и природоохранной наукой витает тень Минсельхоза и Агропрома, а в заповедниках стоят охотничьи домики бывших "лидеров" нашего сельского хозяйства.

Если бы 30 лет назад научная концепция Тимофеева-Ресовского об охране природы и мудрость нашего замечательного президента Академии наук А.Н. Несмеянова не были бы подсечены охотничьей страстью наших аполитичных лидеров, то ход всей истории охраны природы в СССР был бы иным.

Жалкое состояние нынешнего Института охраны природы есть следствие того, что в конце 50-х и начале 60-х годов дело охраны природы было отдало на откуп высокопоставленным охотникам и их высокопоставленным мелкокалиберным ученикам.

За так называемой безобидной охотой в заповедниках, за небрежением стратегических начал охраны природы, обоснованных Н.В. Тимофеевым-Ресовским и А.Н. Несмеяновым, как тень, как следствие стали Урал и Чернобыль, Байкал и Арал, переброска рек и Волга-Чограй, мертворожденные и дети-уроды, различные заболевания в индустриальных центрах, пестициды и нитраты и многое другое.

Этой драмы человечества и трагедии многих миллионов людей возможно, не было бы, если хотя бы в нашей стране мы послушались призыва А.Н. Несмеянова и Н.В. Тимофеева-Ресовского о научном и государственном обеспечении дела охраны природы и не отдали бы это важное звено в жизни нашего народа в руки охотников-браконьеров с псевдовысшим, к тому же заочным, образованием.

Я пишу эти строки с горечью о многих тысячах погибших и миллионах больных от так называемого загрязнения окружающей среды.

Как видишь, читатель, и здесь моему учителю была подставлена очередная подножка, цена которой – нынешний крик людей и экологическая беспомощность государства. Такие воспоминания устные или письменные я приучил себя кончать словами Юлиуса Фучика, писавшего свой "Репортаж с петлей на шее" в берлинской тюрьме Панкрац, куда был заключен и сын Н.В. Тимофеева-Ресовского – Дмитрий (Фома) Николаевич Тимофеев-Ресовский: "Люди, я любил вас, будьте бдительны".

АНАТОЛИЙ НИКИФОРОВИЧ ТЮРЮКАНОВ. Родился в 1931 г., г. Москва. Академик РАЕН. Профессор почвоведения, ВНИИ охраны природы (г. Москва). Специалист в области почвоведения, биогеоценологии и проблем биосферы. Ученик Н.В. Тимофеева-Ресовского. С 1957 г. и до кончины Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского работал с ним по проблемам радиационной биогеоценологии и общей теории биосферы.

А.Г. Маленков

О Н.В. ТИМОФЕЕВЕ-РЕСОВСКОМ

Эти заметки написаны через 10 лет после смерти Николай Владимировича по памяти. В их основу положены беседы с Николаем Владимировичем, состоявшиеся у нас в последние годы его жизни, во время моих или наших с братом Егором приездов к нему в Обнинск. Именно эти беседы в тяжелые и печальные дни после смерти Елены Александровны, а не лучезарные, полные радости дни и месяцы в Миассове, когда Николай Владимирович мог пробежать, держа под уздцы лошадь, 10 верст, был громоподобен и бесподобен в своих лекциях и репликах, позволили приблизиться к пониманию отношения Н.В. Тимофеева-Ресовского к наиболее волновавшим его вопросам: о добре и зле, о предназначении России, о бессмертии души... Взгляды Николай Владимировича на эти вопросы, насколько мне известно, не освещены еще, а именно они, как мне представляется, позволяют и увидеть наиболее полно общий масштаб личности Николая Владимировича, и понять внутреннюю логику его поступков.

Первоначальным импульсом, способствующим установлению дружеских, доверительных отношений между нами, в немалой степени способствовал, вероятно, один случай из жизни Николая Владимировича, рассказанный им мне уже в шестидесятые годы, когда мы были вместе в Ленинграде. Во время ночного разговора, последовавшего после экзотического ужина, когда мы осилили немалое ведерко мороженого с бутылкой "Хванчкары", Николай Владимирович вдруг сказал: "А знаешь, ведь меня освободил из "Челябинского ящика" твой отец. Я хоть был там большим руководителем, однако оставался заключенным. Писал разным начальникам, чтобы освободили и перевели в Академию: и Ворошилову, и Молотову, никакого ответа не было. Посоветовали написать Г.М. Маленкову. Я написал, и через два месяца был освобожден и устроен в Академию". При первой же встрече с отцом я, конечно, спросил у него, не помнил ли он о том, что в свое время распорядился освободить Н.В. Тимофеева-Ресовского, о котором к тому времени отец много знал от нас. Отец засмеялся и сказал: "Нет, конечно, такого случая я не помню". Как же так? Я был уверен, что прекрасная память отца должна была удержать нетривиальную фамилию и письмо Николая Владимировича. "Возможно, я и не видел этого письма, – продолжал отец, – но мною для аппарата моего была дана четкая установка такие случаи решать положительно".

Как я понял по осмыслению всего мне известного из фактов жизни Николая Владимировича и его суждений, он никогда в существенном не отступал в жизни от своих убеждений и принципов. Я не буду, конечно, пересказывать и сопоставлять достаточно хорошо известные благодаря

повести Д. Гранина факты удивительной жизни Николая Владимировича с его суждениями. Просто очень кратко перескажу суть тех мыслей, которыми он со мною делился в свои последние годы. . . Каждый сам может делать сопоставления и выводы. Собственная работа мысли все равно необходима, чтобы осознать сполна жизнь и деятельность Тимофеева-Ресовского. Но достоверная информация необходима.

Н.В. Тимофеев-Ресовский был глубоко верующим человеком. Он любил и очень хорошо знал обряды и каноны православной церкви. Многие слышали его могучее исполнение духовных гимнов. Николай Владимирович говорит, что, вероятно, Россия держится на той благодати, которую дали миру ее святые. Так он понимал нравственную силу истории. Для Николая Владимировича было безусловно, что добро во Вселенной абсолютно, а зло относительно и преходяще. Науку Тимофеев-Ресовский, конечно, никогда не противопоставлял вере, так как "это две большие разницы. . ." Наука отвечает на вопрос: "Как?", это инструмент и плод разума. Но занятие наукой для Николая Владимировича имело и значение приобщения к вечному. Мировая наука (а другой-то нет) много выше быстротекущей, превратной и изменчивой повседневности, общественных мнений и т.д.

Родина, Россия в конкретном смысле любимой им родной Калужской губернии и в обобщенном смысле всей нашей необъятной страны были для Николая Владимировича самыми дорогими понятиями. Николай Владимирович видел Россию не просто одной из стран или одним из государств. Он говорил, что Россия – это материк, как прочая нероссийская Азия или Европа. При этом он имел в виду прежде всего не размеры, не площадь суши, а богатство разнообразия и единство исторической судьбы нашей Родины.

После написания совместной работы об А.А. Ляпунове[1] мы несколько раз обсуждали будущую работу о "предназначении России". В ее основу по замыслу надлежало положить идею о России как едином особом материке и мысль о том, что сила и будущее русской культуры – в ее уникальной способности соединять, творчески синтезировать, переплавлять на базе собственной почвы культурные традиции и достижения Востока и Запада и на основе этого создавать свою самобытную и неповторимую культуру.

Будучи европейски образованным человеком, впитавшим дух и семинаров Нильса Бора, и великого искусства романских и германских стран, глубоко уважая и зная европейские и американские научные школы, Николай Владимирович говорил: "Никогда не делай того, что и так сделают немцы. Все равно так, как они, не сделаешь!" Он точно чувствовал и понимал те оттенки развития науки, которые в наибольшей степени соответствовали Российскому духу. В этом он, по-видимому, был полностью солидарен с глубоко им почитаемым Докучаевым, который, как известно, считал, что для российской науки в наибольшей степени подходят те

---

[1]*Тимофеев-Ресовский Н.В., Маленков А.Г.* Знание—сила. 1982. № 2.

направления, которые требуют комплексного, всестороннего охвата сложных явлений и их взаимосвязи со всем остальным миром. И это между тем не мешало самому Николаю Владимировичу быть сильнейшим аналитиком при решении конкретных задач, но все же широта подхода и непременное требование ответа на вопрос: "А для чего это нужно в-пятых?" – более характерны для него.

Николай Владимирович прекрасно видел недостатки и уродства нашей жизни и глубоко понимал их корни. Беспощадность его суждений (вроде того: "Да у нас же не деньги, а дензнаки") была неразделима у него с душевной болью за судьбу Родины и конструктивной, деятельной готовностью всегда сделать все полезное для страны и людей, что было в его возможностях. А возможности свои он не ограничивал никакими формальными рамками. Законопослушание Тимофеева-Ресовского, в соответствии с которым он, например, считал, что его осуждение на десять лет как невозвращенца законно в рамках диких, но принятых правил, которые тогда господствовали, сочеталось у него с полной свободой высказываний, которую он себе всегда позволял в отношении вопросов, его волновавших. Н.В. Тимофеев-Ресовский никогда не пытался приспосабливать свои суждения к чьему-либо мнению. Но при этом сохранял уважительное отношение к каждому человеку. Примером тому может служить его удивительное, но психологически конкретно точное предложение следовательно, который, пытался заставить его подписать признание в том, что Тимофеев – английский шпион. "Я понимаю, конечно, у Вас служба. Я могу подписать что угодно, но потом ведь потомки прочтут, и стыдно будет. Давайте компромисс: я подпишу, что был шпионом, только не английской, а уругвайской разведки". Такое вот отношение к людям и событиям: с пониманием их реального положения, с юмором, но без всякого высокомерия, вероятно, почти всегда располагало людей к нему. Во всяком случае, по словам Николая Владимировича, следователь рассмеялся и сказал: "Ну ладно, не подписывай, десятку я тебе и так дам".

Тимофеев-Ресовский всегда хотел видеть в каждом человеке лучшее и радовался, когда кому-нибудь из его сотрудников или учеников удавалось сделать что-либо хоть мало-мальски действительно интересное. В последние годы разговоры с Николаем Владимировичем у нас складывались преимущественно на общие темы: бессмертие души, судьба России, основы православной веры и ее преимущества, изначальность добра и относительность зла, наиболее волновавшие его да и меня интересовавшие максимально. Однако иногда он выслушивал и рассказы о конкретных научных достижениях. И бывало, я слышал от него: "А вообще-то ты зря занимаешься этой клистирной наукой (так он называл мои занятия биофизикой ткани, взаимодействием клеток, онкологией). Павлуша Вейсс (P. Weiss) много лет копался в этом деле, и вроде было что-то интересное, а все же это не то". Но когда удавалось кратко изложить (а длиннот Николай Владимирович не терпел) действительно новый результат, он загорался и, нимало не заботясь о противоречии с только что им

же сказанным о клистирной науке и бесплодности исканий "а ля Павлуша Вейсс", начинал со своим привычным мне по Миассово задором дотошно разбирать новые факты, строить или опровергать гипотезы.

Конкретность и конструктивность суждений оставались сильнейшей стороной Николая Владимировича – ученого до последних дней. И это во всех разбираемых вопросах.

Как ему хотелось верить в бессмертие души! Помню один мой приезд в Обнинск. Весь день был заполнен страстным монологом Николая Владимировича о доказательстве бессмертия души. Он, конечно, опирался прежде всего на свидетельства людей, переживших клиническую смерть. С доскональностью, присущей бывшему "дрозофилятнику" и человеку, наделенному почти абсолютной памятью, перечислял, сопоставлял и обобщал все известные ему из литературы 500 таких свидетельств . . .

Веру в бессмертие мысли, которая всегда поддерживала Николая Владимировича, очень хотелось дополнить верой в вечность индивидуальной души.

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ МАЛЕНКОВ – доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН. Основные работы относятся к биофизике ткани, биофизике развития, экспериментальной онкологии, этике творчества. С Н.В. Тимофеевым-Ресовским знаком с 1957 г.

Р.В. Петров

МИАССОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

"Осетр рождает осетра" – это одна из начальных фраз первой лекции Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Первой лекции курса по генетике, который был прочитан нам на биостанции Большое Миассово летом 1959 г. Курс лекций сопровождался великолепным дрозофилиным практикумом.

Кому это нам читал Тимофеев-Ресовский? Кто заставлял его, и кто посылал нас в Большое Миассово на Урал? Никто. Мы нашли его сами и приехали в свои отпуска. Он готов был обучать каждого жаждущего узнать, что такое генетика. Он не жалел для этого времени и сил, да и не мог не обучать неграмотных, как не мог не помогать, если это было в его силах.

Я расскажу чуть позже как мы "пришли" к Тимофееву и что это значило для нас, изуродованных официальным биологическим образованием, которое называлось в период с 1948 по 1964 гг. учением Мичурина–Лысенко. Сейчас я хочу процитировать еще одну фразу из лекций Николая

Владимировича. Эту фразу он любил повторять: "Самое главное – это уметь отличить главное от неглавного и понять, почему это важно в-пятых".

За много лет знакомства я много раз хотел расспросить его об этих фразах, но каждый раз приходил к выводу, что расспрашивать было бы глупо. В этих фразах частицы его сути, его способа изображения этой сути, его "глыбистости" не только в понимании существа, но и в преподнесении его. Преподнесении в выпуклой, навсегда запоминающейся форме.

Почему, начиная рассказ о генетике, он сказал "Осетр рождает осетра?" Не мышь рождает мышь, не лев – льва или человек – человека, а осетр рождает осетра. Хотя как исходная стартовая позиция для характеристики главного феномена генетики годилось бы любое животное, растение или микроб. Но он не сказал, что от представителей того или иного вида рождаются только особи данного вида. Он бы не был таким Учителем, если бы мыслил и говорил столь нудно. Он так не мог. Он сказал короткую сверхъемкую фразу из трех слов. А объектом избрал редкостный древний вид, который все равно порождает себя. Вымрет, но не изменит генам своим. В этой короткой формуле его, тимофеевское, правило – уметь отличить главное от неглавного, предусмотрев следствия, по крайней мере, во-первых, во-вторых . . . в-пятых.

Мой путь к Тимофееву-Ресовскому, а с ним в генетику начался со знакомства с Володей Корогодиным, который в то время – я имею в виду 1957–1958 годы – был старшим лаборантом или младшим научным сотрудником в лаборатории при кафедре биофизики МГУ, а я – в радиобиологической лаборатории Института биофизики МЗ СССР. Нас свела необходимость дать рецензии на одну из научных работ, посвященных действию радиации на эритроциты. Мы пришли оба к положительному заключению. Однако в моем рассмотрении факты анализировались в той части, которая касалась механизма гемолиза эритроцитов. А он причину необычности эффектов видел в том, что эритроциты не размножаются, что в них вообще нет ядерного материала, нет генов. Когда мы с ним обсуждали результаты, он видел, да я и не скрывал, что я абсолютно ничего не знаю о генах. Он видел, что меня это угнетает, что я понимаю неполноценность своего образования (я учился в Воронежском медицинском институте с 1948 по 1953 г., т.е. в самый разгул лысенковщины, и был обучен, что никаких генов нет, что генетика – прислуга империализма). Он спросил меня: "Хочешь, я тебе покажу дрозофилу? У нас на кафедре есть одна линия с мутацией Vermilion". – "Конечно, хочу, – ответил я, – и не только потому, что запретный плод сладок".

В те годы среди наших биофизиков и радиобиологов бурно обсуждалась, вернее, критиковалась теория мишени как основа биологического действия ионизирующих излучений. Глядя в бинокуляр на дрозофил, я рассуждал о понимании неизбежности различия последствий поражения разных молекул в клетке. Выбивание десятка макромолекул из миллиона тождественных не повлияет ни на что, но выбивание одной структуры,

если она уникальная и ее ничто не дублирует, может оказаться смертельным.

– Ты прост, но близок к истине, – говорил Володя, – внеси уточнение: уникальными макромолекулами являются гены. Рассуждая на этом уровне, ты поймешь трефер-принцип Тимофеева-Ресовского, разберешься, почему большинство клеток под влиянием радиации погибают не сразу, а после деления или при попытках разделиться. Одним словом, здесь радиобиология и генетика сходятся. Но без дрозофилиного практикума тебе не обойтись. Законы генетики, понятия доминантности и рецессивности, мутации, аберрации и другие "хромосомные свинства", как говорит Тимофеев-Ресовский, без дрозофилинового практикума понять и усвоить очень трудно.

– А где же этот практикум?

– Только в одном месте, у Николая Владимировича на Урале.

Мы написали письмо и попросились на биостанцию. Мы – это я и двое моих друзей из института биофизики – Миша Шальнов и Володя Беневоленский. Корогодин рекомендовал нас.

Приехали на станцию Миасс, пришли в конторку правления Миассовского заповедника. Этот заповедник не сумели закрыть чиновники, стремящиеся угодить Н.С. Хрущеву, так как декрет о его создании был подписан Лениным. В конторке мы провели два дня и две ночи, дожидаясь полуслучайной полуторки, которая везла что-то на биостанцию.

Машину встречали Николай Владимирович и жена его Елена Александровна. Они давно ждали нехитрое оборудование для гидробиологических исследований. Увидев нас, он прогромыхал:

– А, клистирники приехали. Молодцы. Мы вам место для палатки приготовили. Разбивайтесь. Уже целая улица получается. Галя и Таня, биологи из Ленинграда, заведуют харчами. Вносите свой пай. А вечером к нам. Мы с Лелькой будем рады.

Наверное, мы были наименее генетически грамотными из всех слушателей этого летнего университета. И конечно же, в той или иной мере изуродованными биофаками или медвузами тех лет. Однако те, кто учился в Москве или Ленинграде, так или иначе сталкивались с инакомыслящими или "ненадежными" биологами, ловили этот ветер своими дырявыми парусами. В Воронеже, где я учился, как и в других малых городах все было сверхнадежно. На лекции по биологии приходили представители горкома. Учебник Бляхера изъяли из библиотек и отобрали у студентов. Я был как штык образца 1948, дробь 1953 года.

Я думаю, каждому знакомо чувство стеснения, если не понимаешь элементарных вещей и вынужден задавать дурацкие вопросы. Но я заставил себя переступить через это чувство. Я получил шанс разобраться, научиться отличать главное от неглавного, излечиться от синдрома десятилетней промывки мозгов. Я не уходил после лекций, пока не уяснял все. А Николай Владимирович не просто терпеливо, а с каким-то особым энтузиазмом отвечал мне на все вопросы, даже такого типа: А может ли рецессивный ген быть доминантным по отношению к еще более рецессив-



Озеро Большое Миассово.
Фото Р.В. Петрова

ному? А как же быть с теорией возникновения жизни на белковых коацерватных капель? А как же? А как же?

Я думал он возненавидит такого студиоза. А он полюбил. Уже в Миассове он стал называть меня Рэмушкой и потом так называл всю жизнь.

Кстати, на вопрос о том, как он считает возникла жизнь на земле. Я получил ответ:

– Nobody knows, кроме Опарина.

– А все-таки, – настаивал я.

И тогда Николай Владимирович сформулировал мысль, которая для меня стала незабываемой. Она всплывает всегда, при всех рассмотрениях этой темы. "Мы все такие материалисты, – рассуждал он, что нас всех безумно волнует, как возникла жизнь. При этом нас почти не волнует, как возникла материя. Тут все просто. Материя вечна, она всегда была и не нужно вопросов. Всегда была. А вот жизнь, видите ли, обязательно должна была возникнуть. А может быть, она тоже всегда была. И не надо вопросов. Просто всегда была, и все".

Николай Владимирович был человеком, которого интересовало все. Конечно же, в один из вечеров он расспросил меня о тех исследованиях, которые я веду в Институте биофизики. А я в то время "копал" обнаруженный вместе с Ларисой Ильиной эффект изменения антигенных свойств тканей после гамма-облучения. Опубликовав в 1955 г. этот факт, мы стали последовательно опыт за опытом отвечать на возникающие вопросы. Мы нашли наиболее изменяющиеся ткани. Разделили клеточ-



Р.В. Петров и Н.В. Тимофеев-Ресовский. 1962 г.
Из архива Р.В. Петрова

ные суспензии с помощью скоростных сепараторов на фракции, которые тогда называли цитоплазматической, микросомальной и ядерной. Узнали, где изменения наибольшие, появляются ли новые антигены или исчезают нормальные. Мы вводили животным две меченые аминокислоты с разными метками, чтобы увидеть, не изменяется ли соотношение аминокислот в белках, синтезируемых после облучения животных. Тогда мы еще не добрались до генетического контроля иммунитета. Это направление началось для меня после Миассова. Николай Владимирович заинтересовался всем этим и предложил сделать доклад на конференции, предстоящей быть здесь на биостанции в августе. Мы все остались на эту конференцию, не значившуюся ни в каких официальных планах академий, министерств и ведомств. Съехались "левые" биологи, биофизики, генетики, математики. Пожалуй, из молодых медиков я был один. Миша Шальнов – физик, Володя Беневоленский окончил биофак МГУ.

В конференции, кроме Тимофеевых-Ресовских, принимали участие Лучники, Царапкины, Титлянова. Приехали Ляпунов, Раиса Берг, Эфроимсон, Волькенштейн, Бреслер, Керкис, Тумерман, Андрюша Маленков и др.

Конференция проходила на лужайке у лабораторного дома. Погода была прекрасной. Дух конференции неповторим. Каждый делал доклад, казалось бы, о своем. Но это вызывало интерес у всех не только потому, что все были неравнодушные и образованные люди. Все были борцы за восстановление генетического фундамента биологии в стране. Но собраться и обсуждать генетические проблемы легально в то время все еще было нельзя. Лысенко сумел влезть в душу Хрущеву. Лысенковщина продолжала быть и хозяйничать в официальной науке. А здесь мы обсуждали доклад А.А. Ляпунова и А.Г. Маленкова о формализации основ генетики, доклад В.П. Эфроимсона о молекулярных основах на-

Палаточный городок
Стоит М. Шальнов. Фото Р.В. Петрова

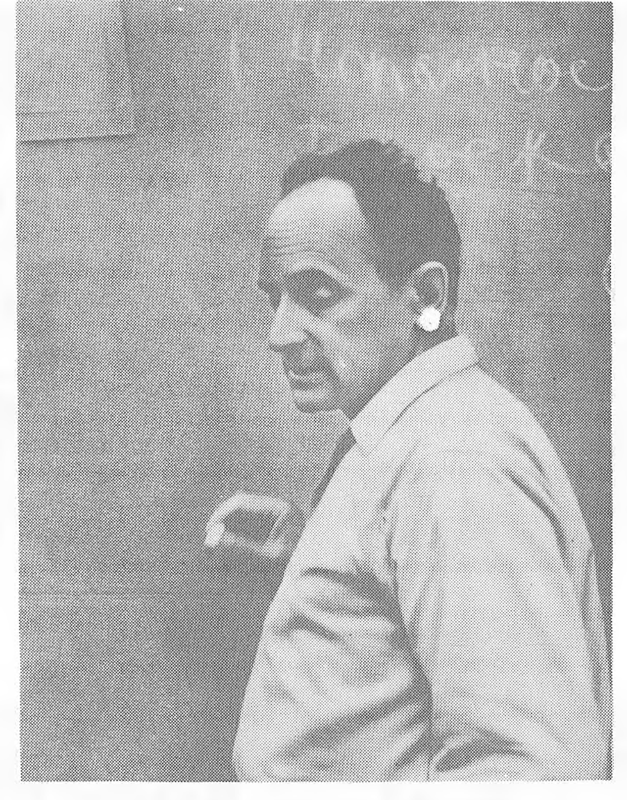
Н.В. Тимофеев-Ресовский помогает "палаточникам".
Фото Р.В. Петрова



Миассовский семинар. Вопрос с галерки.
Фото Р.В. Петрова



Миассовский семинар. Выступает М.В. Волькенштейн.
Фото Р.В. Петрова



Миассовский семинар. Выступает В.П. Эфроимсон.
Фото Р.В. Петрова

следственных болезней, М.В. Волькенштейна о биофизике нуклеиновых кислот. Но главное было даже не в докладах, а в страстных диспутах и взаимных подсказках ошибок и находок. Когда я доложил об изменении антигенных свойств клеточных ядер после действия ионизирующих излучений, я получил взамен целую программу, что делать дальше. Как подойти к роли генов в иммунных реакциях, на каких животных следует решать эти вопросы. Аудитория была удивлена тем, что часть моих опытов была проведена на генетически чистых линиях животных. Конечно, используя этих животных, я шел по иммунологической логике.

На этой конференции иммунология и генетика объединились для меня в одну логику. Вот это и было главной заслугой Тимофеева-Ресовского, его университета и его конференции – привести биофизиков, радиобиологов, иммунологов, медиков, математиков и физиков, занявшихся биологией, к генетическому знаменателю – основополагающему знаменателю всех биологических дисциплин и знаний. Ибо самое главное –



Миассовский семинар. Выступает М.В. Волькенштейн.
Фото Р.В. Петрова

"это уметь отличить главное от неглавного и понять, почему это важно в-пятых".

РЭМ ВИКТОРОВИЧ ПЕТРОВ – академик РАН, РАЕН и РАМН, вице-президент РАН, известный иммунолог. Знаком с Тимофеевым-Ресовским с 1957 г.

В.А. Ратнер

МАМОНТ
(заметки о Н.В. Тимофееве-Ресовском)

Прежде всего должен сказать, что ассоциация Николая Владимировича с зубром, укрепившаяся после публикации прекрасной книги Д. Гранина, кажется мне случайной и искусственной. По-моему, он больше похож на мамонта. Зубр мне всегда представлялся существом темным и злобным, с непредсказуемыми приступами ярости. Мамонта же никто из нас не видел, но в воображении нашем он кажется чем-то огромным, гигантом среди прочей живности, вымирающим гигантом, которого очень легко уязвить. Гигантом, который бродит среди окоченевшей пустыни,

разыскивая остатки иссохшей травы. Гигантом, который пережил свой золотой век и попал в эпоху оледенения.

Впервые я услышал об Николае Владимировиче весной 1961 г. Надо объяснить, что по образованию я физик и о биологии тогда имел довольно смутное представление. А о генетике не слышал вообще, что следует отнести на счет нашего самого передового школьного образования конца 40-х годов. Незадолго до этого момента после периода случайных блужданий я поступил на работу в Институт цитологии и генетики в Новосибирске, в лабораторию Д.К. Беляева, был полон всяческих надежд и начинаний, а главное – написал первую работу, которой очень гордился.

Мы помещались тогда в знаменитом темно-сером здании на ул. Советской, 20, в Новосибирске, где временно квартировала значительная часть Сибирской Академии. В соседней с нами комнате помещалась лаборатория Ю.Я. Керкиса. От своих товарищей я уже знал, что Юлий Яковлевич летом едет на Урал к своему другу – великому генетику, который находился там фактически в ссылке, но ежегодно собирает, как теперь говорят, "несанкционированные" летние школы по биофизике и генетике, где происходит нечто весьма загадочное и интересное. Помню, что я при случае спросил Керкиса, как можно туда поехать. В ответ он пояснил, что школы происходят на биостанции Миассово, что добираться туда можно самоходом, лучше со своей палаткой, что публика там очень интересная, а доклады бывают практически на любые темы, лишь бы было интересно. Что никакие приглашения на школу не рассылаются, а попасть туда можно только через знакомых, которые уже участвовали в предыдущих школах. В этом случае на железнодорожную станцию высылается полуторка. В остальных случаях, если вы очень "настырны", то до биостанции можно добраться пешком – около 40 км через лес, а если не очень, то без вас обойдутся. Нас, однако, Юлий Яковлевич обещал рекомендовать для участия в школе.

В июле мы поехали в Миассово с Алешей Груздевым и Артуром Шерудило. Добрались на полуторке с другими участниками. На биостанции машину встречал седой, плотный мужчина, очень живой и подвижный, с легкой походкой, несмотря на некоторую грузность фигуры. Это и был Николай Владимирович.

Мы жили в палатках, заседали в бывшем барском доме – лаборатории биостанции, слушали импровизированные лекции Николая Владимировича по генетике и выступали со своими докладами. Обстановка была очень демократичная – полное самообслуживание и отсутствие штатных фигур. При этом среди участников был ряд выдающихся ученых – Л.А. Блюменфельд, А.А. Ляпунов, М.В. Волькенштейн, И.А. Полетаев, Р.Л. Берг, В.Я. Александров, В.П. Эфроимсон, Ю.Я. Керкис ("ученейший Керкис", как называл его Николай Владимирович). В жару некоторые доклады переносились на берег озера, причем слушатели сидели в воде, а докладчик расхаживал в трусиках по берегу и вещал. Сохранились фотография В.П. Эфроимсона, читающего лекцию в купальном виде и с платочком на голове.

Николай Владимирович был пружиной всего действия. Его лекции поражали своей неакадемичностью. О генетике он говорил не отвлеченно, не книжно, а в лицах. Он говорил о том, как его хорошие друзья и знакомые додумались до прекрасных открытий. Например, о Стёртеванте он всегда говорил "умница Стёртевант", имея в виду, как он сообразил об эффекте положения генов. Он называл их всех по именам, часто давал им человеческие характеристики. И становилось ясно, что он – посланец из другого мира, из мира, где происходили важнейшие научные события, где человеческий гений играл и, взбрыкивая, творил великие дела, которые и не снились нашим угрюмым "преобразователям природы". Зрелище было незабываемое.

Набравшись наглости, я подошел к Николаю Владимировичу и спросил, нельзя ли мне рассказать свою первую работу, так сказать, в узком кругу специалистов. Он согласился. Помню, что мою теоретическую работу о корреляциях признаков и генов, помимо Николая Владимировича, слушали также Н.В. Лучник, Ю. Завильгельский и др. Обсуждение было коротким и очень резким. От работы не осталось камня на камне. Оказалось, что я просто ничего не понимаю в генетике и фантазирую там, где нужно знать предмет. Николай Владимирович говорил слова, которые я потом слышал от него много раз по другим поводам: "нельзя объяснять непонятное неизвестным", "нельзя относится к своей работе со звериной серьезностью" и т.п. В общем, я был разбит в пух и прах и крайне удручен. Впрочем, испытав полное отчание от провала, я выспался и утром осознал, что случилось великое благо. Случилась конструктивная критика, которую надо заслужить, понять и принять. Жизнь продолжалась.

Вспоминая этот момент своей жизни, я думаю, что мне очень повезло. На первом же шаге нового поприща я встретил человека, который несколькими движениями определил уровень требований, задал методологию науки, показал, что такое хорошо и что такое плохо. Этот импульс я ощущаю до сих пор.

Следует показать, что на фоне начала середины 60-х годов Миассовские школы и сменившие их в 1965 г. школы на Можайском море под Москвой выглядели как светлое пятно после убогого сумрака лысенковщины. Туда, как на огонек, слетались очень яркие личности, ехала молодежь. Собственно говоря, там формировались сильнейшие генетическая и биофизическая школы, которыми руководили Николай Владимирович и Л.А. Блюменфельд. С годами я стал неожиданно замечать, что подавляющая часть моих научных контактов, знакомств, интересов сложилась именно там. Там я встретил своих будущих друзей – Ю.М. Свирежева, С.Г. Инге-Вечтомова, Р.А. Полуэктова, А.С. Антонова и многих других.

Но вернемся к Николаю Владимировичу. Как и все участники миассовых "трепов", я очень любил слушать "тимофеевские байки". С высочайшим артистизмом он "трепался" о своей жизни, о людях, о случаях в науке и т.д. Напомню, что для физиков 50-е и 60-е годы были романтическим периодом. Нас завораживали легенды о Н. Боре, А. Эйнштейне, создателях атомной бомбы и т.д. И вдруг оказалось, что Николай Влади-

мирович не только был знаком с Бором и его окружением. Это были его друзья, он проводил в Копенгагене довольно много времени, и его увлечение радиационной генетикой разделяли выдающиеся квантовые физики копенгагенской школы. Напомню также, что один из молодых физиков этой школы – Макс Дельбрюк, пройдя через руки Николая Владимировича, стал одним из самых выдающихся основателей молекулярной генетики.

Николай Владимирович рассказывал о датском короле "Христианушке", который патронировал копенгагенским физикам, приглашал их к себе и держался весьма демократично. Дома Николай Владимирович показывал набор вересковых трубок для курения – подарок Короля. Рассказывал научные анекдоты той поры. Среди них я запомнил анекдот о публикации в самом престижном журнале – "Nature" статей-хохм, разыгрышей о "лево-" и "правожующих" коровах и других животрепещущих проблемах. Многие не знают, что именно тимофеевские "байки" были исходным толчком для публикации в конце 60-х годов прекрасного сборника "Физики шутят", который доставил нам большое удовольствие.

Ну а если говорить серьезно, то жизнь Николая Владимировича между 1955 и 1980 гг. была достаточно сложной. После освобождения из заключения в 1955 г. он был восторженно встречен выдающимися советскими физиками (П.Л. Капицей, И.Е. Таммом, Л.Д. Ландау и др.), но получил отказ от официальных инстанций на право жить и работать в Москве, Ленинграде, Киеве. Поэтому до 1963 г. он работал в Свердовске, фактически в полуизгнании.

Будучи почетным членом многих зарубежных академий, на родине он не имел не только докторской или кандидатской степени, но даже университетского диплома и аттестата зрелости (который оказался утерянным в годы гражданской войны). Докторскую диссертацию Николай Владимирович защитил только в начале 60-х годов, да и то не по крамольной генетике, что тогда было невозможно, а по радиационной биогеоценологии, которой он занимался на Урале. Мало того, защищенная работа еще 2 года отлеживалась в ВАКе, видимо, корифеи бюрократии просто не знали, что с ней делать. И только после снятия Н.С. Хрущева, который, как известно, поддерживал Т.Д. Лысенко, ВАК утвердил работу буквально в течение нескольких дней. Можно ли ожидать принципиальности от таких марионеток? Что касается избрания в Академию наук, то несколько попыток весьма авторитетных ученых выдвинуть кандидатуру Николая Владимировича закончились безуспешно. Невидимая бюрократия отражала эти попытки под стандартным предлогом: "А что вы делали в Германии до 1946 г.?"

Примерно в эти годы (1962–1963) встал вопрос о переезде Николая Владимировича в один из новых развивающихся научных центров. Столицы по-прежнему были для него закрыты, поэтому обсуждались два варианта: Новосибирск и Обнинск. В Новосибирском Академгородке у него было много друзей: А.А. Ляпунов, Р.Л. Берг, И.А. Полетаев, Ю.Я. Керкис и др. Недавно созданный Институт цитологии и генетики испытывал острую

потребность в крупных специалистах-генетиках. Председатель Сибирского отделения М.А. Лаврентьев, ранее пригласивший в Сибирь большое число выдающихся ученых, часто со сложной биографией, склонялся в сторону приглашения Николая Владимировича. Его поддерживали С.Л. Соболев и др.

Однако, судя по всему, ситуация для его переезда к этому моменту еще не созрела. Институт цитологии и генетики незадолго до этого был обескровлен снятием первого директора – Н.П. Дубинина, а бесчисленные комиссии пытались его закрыть или ограничить. Д.К. Беляев, ставший директором после Н.П. Дубинина, еще не успел достаточно укрепиться в этой позиции и в Академии. Возможно, Николай Владимирович был слишком крупной мишенью, в которую непременно должен был полететь град стрел и камней. Как бы то ни было, этот вариант переезда в Академгородок оказался под вопросом.

Тогда по инициативе А.А. Ляпунова был предложен другой вариант – организовать для Николая Владимировича отдел биофизики в Институте математики. Идея обсуждалась с Л.С. Соболевым, М.А. Лаврентьевым и М.В. Келдышем. В целом, поддерживая эту идею, но понимая всю сложность такого симбиоза, начальство Академии решило немного подождать. Тогда Николай Владимирович согласился переехать в Обнинск. Так Академгородок потерял великий шанс стать генетической Меккой!

Впрочем, Николай Владимирович неоднократно бывал в Новосибирске в 60-е и 70-е годы. Обычно Д.К. Беляев приглашал его на отчетные сессии института, чтобы внести критических дух и живость в обсуждаемые вопросы. И это полностью себя оправдывало. Николай Владимирович себе не изменял и с великим умением и артистизмом судил о новых направлениях работы Института и первых результатах. Постоянно иронизировал по поводу, как он выражался, "ДНКаканья" и повторял, что всю эту молекулярную генетику они (генетики) предвосхитили еще до войны. В чем-то он был несомненно прав, поскольку многие из молекулярщиков были "мигрантами" из других наук – физиками, химиками, медиками и т.д., не имевшими глубокого генетического образования и часто переоткрывавшими для себя заново то, что классические генетики знали и высказывали задолго до них. Однако эти выступления были скорее попыткой немного пощипать "выскочек", чем помешать им работать.

Иногда, выступая с трибуны, Николай Владимирович позволял себе "похулиганить". Однажды в прениях он произнес с невинным видом примерно следующий монолог: "В моей родной Калужской губернии имеется речушка Высса. Она сливается с другой речкой под названием Усса. А затем обе они впадают в третью речку побольше под названием Мо́ча..." Аудитория онемела, а он без тени улыбки продолжал свои калужские воспоминания, а потом плавно перешел к научным проблемам. Говорят, что Николай Владимирович устроил небольшой "цирк" при вручении ему Кимберовской медали за достижения в генетике.

Поразительно влияние личности Николая Владимировича на окружающих. Где бы он ни работал – в Кольцовском институте, в Германии, в

заключении, в Свердловске, Обнинске – вокруг него быстро формировался круг учеников и создавалась мощная школа. Это при том, что после заключения и перенесенной там тяжелой болезни у него резко упало зрение, читал он только при помощи огромной лупы. Это означало, что нормально работать в лаборатории он фактически не мог. Тем не менее само его присутствие как бы задавало окружающим людям высокие критерии работы и отношения к делу. Мне рассказывали о длительных попытках О.Г. Газенко добиться перехода Николая Владмировича в Космическое ведомство еще в 50-е годы. Эти попытки, понятно, были безуспешными. Только уже в 70-е годы, после ухода Николая Владимировича на пенсию, О.Г. Газенко смог пригласить его профессором – консультантом в Институт медико-биологических проблем. Фактически этот мудрый шаг был сделан, вероятно, для того, чтобы создать у себя обстановку повышенной требовательности и интеллектуальности, а с другой стороны, поддержать выдающегося генетика в трудный момент.

После реабилитации генетики в середине 60-х годов генетическая жизнь в стране возобновилась, возникли советы, общества, журналы, кафедры генетики. В научном совете по генетике и селекции была образована секция популяционной генетики, которую возглавлял Д.К. Беляев. Помню, он собрал первое заседание секции в своем директорском кабинете. Среди приглашенных был и Николай Владимирович. Стали делить роли, обсуждать мероприятия. Все радовались возможности открыто заниматься генетикой и были очень активны. Внезапно он спросил: ”А деньги у вас есть?” – ”Денег нет, – ответил Д.К. Беляев, – будем координировать развитие науки”. Тогда Николай Владимирович долго смеялся, потом сказал: ”Что вы там можете координировать без денег? Надо субсидировать, а не координировать. Это же очередная говорильня!” И рассказал о системе субсидий на науку, которые ведут известные общества и фонды за границей. Впрочем, секция популяционной генетики и Научный совет в целом организовали в те годы несколько очень неплохих конференций (Петергоф, 1968; Новосибирск, 1969; Елгава, 1970 и др.), где Николай Владимирович присутствовал и с удовольствием выступал.

В библиотеке Института цитологии и генетики хранится научный архив А.С. Серебровского, переданный в дар его семьей. В архиве содержится достаточно полная коллекция работ Николая Владимировича. Я несколько раз смотрел эти работы, пытаясь оценить в целом его вклад в генетическую науку. Впечатление создавалось поразительное. Он работал практически во всех крупных направлениях генетики: генетический анализ, феногенетика, радиационная генетика, популяционная генетика, теория гена, а также был одним из создателей синтетической теории эволюции, биофизики, теории мишени, радиационной биогеоценологии. Работы имели чрезвычайно четкий и законченный характер. Они написаны в такой классической форме, что их можно без правки включать в учебники. В каждом направлении им заложен фундаментальный камень, который остается там до сих пор. Видимо, в этом одна из причин его

мировой известности. Этот стиль резко контрастирует с часто встречающейся теперь даже у хороших ученых торопливостью, стремлением "застолбить" хорошую идею, сорвать цветок нового направления.

Уже в 80-е годы, перерабатывая курс молекулярной генетики, я понял, что через руки Николая Владимировича прошла одна из центральных идей молекулярной генетики – представление о гене как о кодирующей макромолекуле. Впервые эту идею высказал еще в 20-е годы Н.К. Кольцов. Затем его ближайший ученик Николай Владимирович вместе с М. Дельбрюком и К. Циммером оценил размеры гена как мишени для действия радиации. Известный физик Э. Шредингер развил эту идею, сформулировав представление о генетическом кодировании как центральной проблеме естествознания. Наконец, М. Дельбрюк, уехав в США, основал там генетику фагов в поисках реального генетического объекта, наиболее близкого по размеру к гену.

Идея кодирования генетической информации полностью оправдала себя в 50-е и последующие годы, предопределив стратегический успех молекулярной генетики.

Неоднократно я слышал из уст Николая Владимировича серьезную озабоченность необходимостью охраны природы. Он не уставал говорить о пользе зоологии и ботаники, поскольку, не зная природу, невозможно вести ее инвентаризацию. О себе он иногда говорил: "Вообще-то я не генетик, а специалист по десятиногим ракам". Действительно, будучи студентом МГУ, он специализировался по зоологии беспозвоночных. Это было его первой любовью, а генетиком он стал, вложив в эту науку всю свою долгую жизнь.

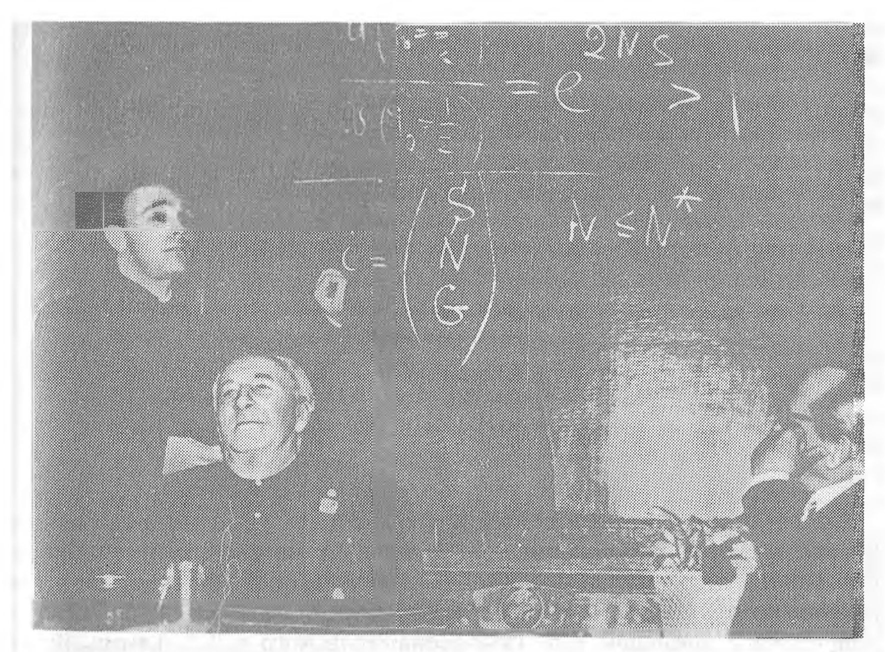
У русских людей, долгое время живших за границей, в русской речи часто начинает проскальзывать иностранный акцент, строй фразы, иногда они ищут давно забытое слово. В 1968 г. на Генетическом конгрессе в Японии я разговаривал с Ф.Г. Добржанским. Пробыв 40 лет в США, он говорил по-русски с едва уловимыми американизмами, причем было впечатление, что он переводит с английского на русский. Николай Владимирович, пробыв более 20 лет в Германии, легко говорил и писал по-немецки и по-английски, любил иногда вставить короткую иностранную фразу или слово. Например, часто говорил: "Nobody knows" – "Кто его знает, неизвестно". Однако, его речь осталась абсолютно русской по строю, образу, остроте. Было такое впечатление, что его организм отчаянно сопротивлялся иностранному влиянию, как инфекции, и справился с нею, выработав иммунитет.

В генетике у Николая Владимировича несомненно была очень глубокая и сильная идеология. Некоторые ее моменты, конечно, устаревали, но он, по-моему, не менял их. Сотрудничая и общаясь с самыми выдающимися физиками-теоретиками и математиками, имея учеников-математиков, он тем не менее математикой не владел и, по-моему, за всю жизнь не написал ни одной математической формулы. Он не скрывал этого и даже с некоторой бравадой говорил, что понимает математику только в присутствии самих математиков.

В 50-е и 60-е годы среди близких ему математиков одно из первых мест занимал А.А. Ляпунов. По-моему, Николай Владимирович нежно любил его несмотря на значительную разницу в возрасте. Шутя и подтрунивая, он с удовольствием произнес однажды примерно такую фразу: "Ляпушка милейший человек, и с великим энтузиазмом он может увлечь вас по совершенно неправильному пути. Потом, обнаружив свой промах, он с неменьшим энтузиазмом вновь увлечет вас по другому и опять совершенно неправильному пути. И т.д." А.А. Ляпунов хмурился, но не мог сдержать улыбку. В 1973 г. в июне А.А. Ляпунов поехал в Москву на какое-то совещание и там скоропостижно умер. Панихида состоялась в Математическом институте, где он одно время работал до войны. Пришел Николай Владимирович. Он стоял старый, седой, растрепанный, долго смотрел на неподвижное лицо своего друга, потом подошел, перекрестил его по-русски, поцеловал в лоб. А.А. Ляпунова похоронили на Введенском кладбище в Москве. Мы с Ю.М. Свирежевым были на похоронах и несли крышку гроба.

В последний раз я видел Николая Владимировича в августе 1978 г. на Международном генетическом конгрессе в Москве. В первых фразах книги Д. Гранина "Зубр" описывается банкет, на котором был и Николай Владимирович. Я тоже был на этом приеме в банкетном зале Дворца съездов в Кремле. Огромное пространство было заставлено столами с явствами и выпивками. Мы мирно выпивали и закусывали, общаясь между собой и с мигрирующими "а-ля фуршет" иностранцами под наблюдением неусыпных стражей спокойствия. Неожиданно к нашему столу подошла очень пожилая и интеллигентная пара иностранцев и на чистом старопетербургском диалекте спросила нас, знаем ли мы Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, жив ли он и здесь ли он. Я ответил, что Николай Владимирович здравствует и присутствует здесь, а затем отвел их к возвышению, где сидел Тимофеев-Ресовский. Он опирался на палку, повернувшись к залу, но людей фактически не видел, так как зрения его к этому времени уже очень сильно сдало. Меня он узнал по голосу и сказал: "А, Вадимушка!" Ну как дела?" Я представил ему пару бывших сотечественников и отошел, чтобы не мешать их разговору.

В том же году я получил приглашение от одного американского издательства на перевод своей книги (в дальнейшем этот перевод не состоялся). В связи с этим издательство запросило у меня curriculum vitae – краткую научную биографию. Среди вопросов к автору значился и такой: кто Ваши учителя в науке, кто оказал наибольшее влияние на формирование Ваших научных взглядов? Перебрав события своей жизни, я неожиданно понял, что одним из главных научных импульсов моей жизни была первая встреча с Николаем Владимировичем в Миассове, образ его мыслей, идеология, научные критерии, наконец, его личность. Я понял, что это точка отсчета, с которой сознательно или бессссознательно сверял все свои дальнейшие научные интересы и решения. Произошло своеобразное соприкосновение с талантом, касание музы, которое в науке нельзя заменять ничем. Так я и написал.



II Генетический съезд. Заседание секции популяционной генетики. Москва, 1972 г. За столом председательствующий Н.В. Тимофеев-Ресовский (слева) и сопредседатель Я.Я. Лусис. Докладывает В.А. Ратнер

Я недаром сказал вначале, что Николай Владимирович напоминает мне мамонта. Есть еще одна грань этого образа. Он, вероятно, был одним из последних энциклопедистов, человеком самых разнообразных человеческих интересов. Он вдохновлялся музыкой и стихами. Прекрасно знал историю, русскую литературу, любил стихи М. Цветаевой. Однажды сказал о ней так, "Мариночка хоть и баба, но поэт!" Нынешние таланты часто однобоки. А энциклопедистов среди них почти не сыщешь.

В своем ближнем кругу Николай Владимирович, возможно, был достаточно трудным человеком. Однако большое видится на расстоянии. Я никогда не работал у него, не был его учеником или сотрудником в прямом смысле. Возможно, это позволяет судить о нем по большому счету, без мелочей. Несомненно, он был великим русским генетиком, одним из самых выдающихся генетиков этого века, выдающейся ярчайшей личностью на небосклоне нашей науки. Таких людей сейчас очень мало. Я считаю, что Академия наук должна испытывать чувство глубочайшего стыда от того, что среди сотен "жестких" и "мягких" вакансий для своих членов она по конъюнктурным причинам не нашла персональной и почетной вакансии для Николая Владимировича. Он мог Академию только украсить!

Я счастлив, что был знаком с Н.В. Тимофеевым-Ресовским. Он оставил самый глубокий след в памяти всех, кто его знал.

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ РАТНЕР, профессор, доктор биологических наук, зав. Теоретическим отделом Института цитологии и генетики СО РАН. Специалист в области математической биологии. Участник миассовских семинаров Н.В. Тимофеева-Ресовского.

С.П. Капица

СЕМИНАР В ИНСТИТУТЕ ФИЗПРОБЛЕМ им. П.Л. КАПИЦЫ АН СССР

С идеями и работами Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского мы связываем проникновение представлений и методов физики в биологию. Поэтому на семинар П.Л. Капицы, которым он в течение многих лет неизменно руководил в Институте физических проблем, было решено пригласить с докладом Н.В. Тимофеева-Ресовского и И.Е. Тамма. Игорь Евгеньевич предложил сделать сообщение по работам Крика и Уотсона, приведших к открытию двойной спирали ДНК. Мне как секретарю семинара предстояло договориться об удобной дате, разослать повестки и объявления. Семинар всегда происходил в среду вечером. Начинали точно в 18 ч и оканчивали столь же точно через 2 ч. Контроль времени проходил по большим квадратным черным электрическим часам, висевшим в конференц-зале между экраном и доской и до сих пор неизменно отмеряющим время всех собраний, лекций и семинаров.

Уже по тому количеству телефонных звонков, которые раздавались в секретариате Института, было очевидно, что семинар вызывает громадный интерес как предметом, так и личностью докладчиков. Предвидя переполнение зала, решено было выставить в просторном фойе громкоговорители и собрать все наличные стулья, а также предусмотреть места в гардеробе и просить нескольких молодых и сильных физиков присмотреть за порядком.

За час до семинара меня в коридоре останавливает парторг института В. Хозяинов и говорит, что с этим заседанием семинара возникают большие трудности и ему доверительно сообщают, что против сам Н.С. Хрущев.

Я ответил, что дело уже не остановить, вся научная общественность Москвы оповещена и скоро народ будет собираться. А что касается его информации, то об этом надо говорить с Петром Леонидовичем. Мы прошли в директорский кабинет, и, кажется, мне пришлось излагать

просьбу перепуганного Хозяинова. Отец выслушал, переспросил Хозяинова, откуда у него такие сведения. Тот сослался на райком. Тогда отец раздвинул бумаги на столе, где под стеклом лежал список телефонов "Кремлевки", нашел нужный номер и позвонил по аппарату, на диске которого был герб Советского Союза.

Хрущев ответил сам, и я, стоя рядом, хорошо слышал их разговор. Отец представился и сказал: "Вот тут на Вас ссылаются, что Вы против того, чтобы у нас в Институте проходил доклад Тимофеева-Ресовского по проблемам биологии". Хрущев довольно резко ответил, что Вы директор института и Вы проводите семинар, зачем меня спрашивать.

Я должен заметить, что в то время отношения Петра Леонидовича с Хрущевым (были не лучшие из-за той поддержки, которую Никита Сергеевич оказывал Лысенко. П.Л. Капица снова сказал, что "ссылается на Ваше, товарищ Хрущев, мнение". – "А кто это говорит?" Тут Петр Леонидович проявил большую тактичность и не назвал лично Хозяинова, который стоял бледный как смерть у другого края стола. Хрущев в этот момент выразился крайне резко по адресу тех, кто всуе употребил его имя, я хорошо слышал его слова, так как телефон звучал очень громко, и сказал в заключение: "Я прошу Вас по таким вопросам меня не беспокоить".

Петр Леонидович положил трубку и, улыбаясь, сказал, чтобы подготовка к семинару проходила без задержки. Хозяинов выполз из кабинета и больше "не возникал".

Семинар прошел с большим успехом, зал и фойе были переполнены. Первым выступил Николай Владимирович, с блеском рассказавший о радиационных поражениях носителей наследственности, эффекте дозы и "мишенной" теории, которая давала возможность оценить размеры гена. Тамм, выступавший вторым, прекрасно рассказал о моделях Гамова и Полинга, о двойной спирали. Теперь обо всем этом написано в учебниках биологии, а тогда практически пришлось услышать в первый раз. Из присутствовавших я помню В.А. Энгельгардта и А.А. Ляпунова.

После семинара мы еще долго сидели в директорском кабинете, пили чай и слушали комментарии ко всему сказанному. И здесь, в узком кругу, могучая фигура Николая Владимировича несомненно доминировала, а я навсегда запомнил его мощный голос, уверенную и образную манеру говорить.

Николай Владимирович и Елена Александровна несколько раз бывали в доме отца, приезжали к нему на дачу. Как-то раз я вез Николая Владимировича, Алексея Андреевича Ляпунова и Николая Петровича Дубинина в своем маленьком старом "Москвиче" зимой по заснеженной дороге на дачу на Николину Гору. Кто-то заметил, что я могу один в автомобильной аварии окончально порешить всю антилысенковскую биологию. . .

Петр Леонидович неоднократно пытался вмешаться в судьбу Николая Владимировича, однако каждый раз наталкивался на то вязкое противодействие, которое прикрывало железную решимость ни на каком направлении не уступать. По-видимому, Николай Владимирович крепко наступил на хвост тем, кто еще и сегодня сводит с ним счеты.

Судьба Николая Владимировича важна для нас сегодня не только как урок его личной трагедии. Быть может, обращаясь к этому эпизоду недавнего прошлого, мы видим в этом частном случае проявление той системы подавления ученых, творческих индивидуальностей и личностей, которая была частью нашего тоталитарного прошлого. Однако эта характерная черта того времени опиралась и реализовывалась на сильных антиинтеллектуальных настроениях сталинской эпохи, как бы повторившей замечания Николая I на смотре выпускников университета: "Мне не умники нужны, а послушники", на том торжестве шариковых и швондеров, свидетелями и наследниками которых мы стали.

Однако непризнание интеллекта, неприятие творческих и мыслящих личностей происходит и сегодня, питаясь по существу теми же темными и глубоко реакционными настроениями. Тогда они эксплуатировались власть предержащими, но ведь судьба памяти Николая Владимировича не решена и сегодня, хотя сегодня и провозглашена ориентация на те силы, замечательным выразителем которых был Тимофеев-Ресовский.

Судьба ученого и художника, писателя и музыканта характеризует отношение общества к науке и искусству, к культуре. В современном мире как материальное благополучие, о котором мы как-то стали заботиться в первую очередь, так и наш духовный облик, смысл и содержание нашей жизни зависят в первую очередь от отношения к носителям знания, творчества. В конечном итоге звери, находя себе место спать и плодить щенков, находя пищу и спутников жизни, остро ощущают стеснения в свободе. Однако только свободный человек способен знать и чувствовать, передавать это другим в том феномене культуры, который принадлежит только ему.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ КАПИЦА – физик, действительный член и вице-президент РАЕН, заведующий кафедрой Физико-технического института. Познакомился с Н.В. Тимофеевым-Ресовским в 1956 г.

Н.А. Ляпунова

МИАССОВСКИЕ СЕМИНАРЫ Н.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО

В своих воспоминаниях я хочу рассказать о коротком периоде в жизни Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, а именно о лете 1956 г. Чем объясняется такой выбор? В наше время, когда объем научных знаний растет с такой скоростью, что мы едва успеваем следить за развитием своей узкой области науки, большую популярность приобрели

”школы” для специалистов определенных областей знаний, которые обычно собираются в интересных природных уголках нашей страны, где в течение одной-двух недель можно в концентрированной форме из уст ведущих ученых получить информацию о развитии идей в смежных областях науки. Широко известны школы по молекулярной биологии, биологии развития, генетике микроорганизмов, электронной микроскопии и др. Но, я думаю, мало кто знает, что происхождением эти традиции обязаны Миассовским летним семинарам, про которые даже не скажешь ”организованным”, а скорее ”спонтанно сложившимся” вокруг Николая Владимировича, заведовавшего тогда лабораторией биофизики Института биологии Уральского филиала АН СССР в Свердловске.

Летом 1955 г. лаборатории Николая Владимировича была предоставлена стационарная летняя база в чудесном месте, в центре Ильменского заповедника, на берегу озера Большое Миассово на Урале. В тот год в Ильменском заповеднике, известном в первую очередь своими минералогическими богатствами, проводил отпуск мой отец, Алексей Андреевич Ляпунов, математик, тогда профессор Московского университета, страстный любитель минералов. Вместе с мамой они экскурсировали по заповеднику, добирались до самых глубинных копей. В одной из таких экскурсий они встретили сотрудника Тимофеева-Ресовского Н.В. Куликова, занимавшегося подготовкой летней базы к приему лаборатории следующим летом. От него Алексей Андреевич узнал о существовании лаборатории, возглавляемой Николаем Владимировичем. Имя Тимофеева-Ресовского и его всемирно известные работы по определению размера гена благодаря книге Шредингера ”Что такое жизнь с точки зрения физики?” (М.: ИЛ, 1947), незадолго до того вышедшей у нас в русском переводе, были известны отцу, глубоко интересовавшемуся развитием генетики.

Осенью того же года, когда Николай Владимирович и Елена Александровна Тимофеевы-Ресовские по приглашению Николая Петровича Дубинина приехали в Москву, отец познакомился с ними, и между нашими семьями возникла самая тесная дружба, сохранявшаяся до последних дней жизни Николая Владимировича.

В мае 1956 г. лаборатория Николая Владимировича начала работать в Миассове. Сюда на лето перебралась большая часть сотрудников с семьями. Лаборатория расположилась в двухэтажном добротном бревенчатом. доме, построенном каким-то купцом еще до революции. Семьи сотрудников разместились в пяти щитовых домиках, вытянувшихся вдоль проселка, соединявшего базу заповедника, расположенную у станции Миасс, с кордоном. Половину домика, ближайшего к лабораторному корпусу, занимала семья Тимофеева-Ресовского: Николай Владимирович, Елена Александровна и их сын – физик Андрей Николаевич с женой Ниной Алексеевной.

10 июля 1956 г. в Миассово приехали первые гости – мой отец, мать – Анастасия Савельевна, сестра Алла (биолог-гистолог), ее муж Юрий Алексеевич Виноградов (инженер-электронщик), Нина Алексеевна Баландина, дочь академика-химика А.А. Баландина, студентка мехмата МГУ, и я,

тогда студентка 3-го курса биофака МГУ. Отца теперь влекли в Ильмены не только камни, но и возможность научного и дружественного общения с Николаем Владимировичем. Их объединяли безграничная преданность науке, истинная энциклопедичность знаний естественных наук в самом широком смысле, любовь и глубокое знание искусства, литературы, музыки. Между ними часто возникали споры, рожденные различием в оценках теорий, личностей ученых, направлений в искусстве. Присутствовать при этих спорах, слушать доводы, вникать в суть аргументов было истинным наслаждением для всях нас.

Николай Владимирович сразу же после нашего приезда предложил проводить научные коллоквиумы лаборатории, на которых просил всех сотрудников лаборатории сделать доклады, подводящие итоги почти десятилетних экспериментальных работ в области биофизического анализа действия ионизирующих излучений на живые организмы, изучения действия различных доз ионизирующих излучений и излучателей на сообщества наземных и пресноводных организмов, а также распределения ряда рассеянных элементов по различным наземным и пресноводным биоценозам. Кроме того, он предложил всем гостям рассказать о своих областях науки. Так начались ставшие в последующие годы широко известными в научных кругах нашей страны Миассовские семинары.

Здесь уместно вспомнить, что Николай Владимирович всегда придавал большое значение, как он говорил, "совершенно неформальным и свободным кружкам", которые "очень оживляли научную жизнь и помогали в работе". В становлении научного мировоззрения самого Николая Владимировича в свое время большую роль сыграли два обстоятельства. Во-первых, в 1921–1925 гг. он принимал активное участие в научном кружке С.С. Четверикова, в Институте Н.К. Кольцова, который участники шутливо называли "Дрозсоор" (что означало "совместное орание дрозофилистов"). Во-вторых, в конце 30-х годов он был участником международных коллоквиумов Нильса Бора в Дании, где собирались крупнейшие ученые Европы (среди них Шредингер, Дарлингтон, Гейзенберг, Дельбрюк и др.) для свободного нерегламентированного обсуждения насущных проблем естествознания. Такие обсуждения, по признанию Николая Владимировича, помогали достигать определенной "строгости в формулировках необходимейших биологических понятий", способствовали "теоретическому осмысливанию и упорядочению получаемых в экспериментах и наблюдениях результатов".

В то первое лето за неполных два месяца, с 12 июля по 10 сентября, состоялись 30 коллоквиумов, на которых заслушивались один, иногда два доклада, всегда сопровождавшиеся бурным обсуждением и дискуссией. Нет никакой возможности сколько-нибудь подробно рассказать о содержании всех коллоквиумов в кратких воспоминаниях. Стремясь ничего не упустить из того, что докладывалось и говорилось в дискуссиях, я старалась записывать все, что слышала. Три объемистых тетради сохранили эти записи, которые позволяют мне теперь поделиться своими

воспоминаниями. Я ограничусь перечнем докладов и короткими замечаниями. Мне хотелось бы этим показать ту высоко эмоциональную атмосферу, которая так захватывала всех, кто попадал в Миассово в лабораторию Николая Владимировича.

Из 30 коллоквиумов на семи (один раз в неделю) доклады делали сотрудники лаборатории. Эти доклады позднее легли в основу серии статей, опубликованных в Трудах Института биологии УФАН СССР (Сборник работ лаборатории биофизики. 1. Ин-та биологии УФ АН СССР. Свердловск, 1957. Вып. 9. 292 с. Сборник работ лаборатории биофизики. III. Тр. Ин-та биологии УФАН СССР. Свердловск, 1960. Вып. 13. 88 с.). Это позволяет мне ограничиться лишь перечислением докладчиков и названий их докладов.

1. Д.И. Семенов. Поведение излучателей в организме животных. 2. Н.А. Порядкова. Миграция радиоактивных веществ в почвах и влияние на этот процесс растительного покрова. 3. Н.В. Куликов. Стимуляция прорастания семян радиоактивным излучением. 4. Е.А. Тимофеева-Ресовская. Скорость подводного обрастания (перифитон) в зависимости от присутствия небольших доз радиоактивных излучателей. 5. Н.В. Лучник. Цитологический анализ радиостимуляционных явлений. 6. Н.М. Макаров. Опыты по радиостимуляции кормовых трав. 7. Е.И. Преображенская. Сравнительная радиорезистентность культуры растений. 8. А.А. Титлянова. Химические механизмы сорбции веществ.

Все доклады тщательно готовились, для их иллюстрации рисовались схемы и таблицы на больших листах фильтровальной бумаги. Прежде чем выступить на коллоквиуме, каждый сотрудник показывал свой материал Николаю Владимировичу. Он требовал большой четкости в изложении, наглядности иллюстраций. Нередко из его кабинета можно было слышать бурные споры, иногда на повышенных тонах. Но в своих высоких требованиях Николай Владимирович был неумолим. И таблицы и схемы переделывались по нескольку раз, постановки задачи и выводы формулировались еще и еще раз. А в результате каждый доклад превращался в настоящий праздник для всех обитателей Миассова. Равнодушных не было. И неизменно после докладов сотрудников лаборатории устраивался общий ужин, за которым продолжалось обсуждение удач и промахов докладчика. Заканчивался вечер пением песен под гитару (отличным гитаристом был Д.И. Семенов), и красивый звучный бас Николая Владимировича, очень любившего петь романсы, русские песни, народные баллады, выделялся на фоне общего хора.

На 9 коллоквиумах выступил А.А. Ляпунов. Темами его докладов были: 1. О кибернетике. 2. Устройство счетных машин (логические схемы). 3. Программирование для ЭВМ. 4. О структуре ДНК. 5. Логические схемы программ (логико-математические принципы программирования для ЭВМ). 6. Проблематика машинного перевода. 7. Теоретико-множественные подходы к вопросам стабильности и дивергенции видов. 8. Гомеостаз и изменчивость организмов. 9. Теории происхождения Земли.

При этом полезно вспомнить, что в 1956 г. в нашей печати впервые появилась статья А.А. Ляпунова, написанная им вместе с С.Л. Соболевым и А.И. Китовым, о кибернетике как науке, открывающей новые широкие возможности в анализе управляющих систем, работающих в технике, живых организмах, в обществе и пр. (*Соболев С.Л., Китов А.И., Ляпунов А.А.* Основные черты кибернетики // Вопр. философии. 1955. № 4. С. 137). До того кибернетика трактовалась как "буржуазная лженаука" и занятия ею объявлялись предосудительными. А.А. Ляпунов создал в нашей стране первые ячейки, начавшие под его руководством разрабатывать основы математического программирования. Предложенные им методы построения логических схем программ получили в дальнейшем всемирное признание. Тогда в Миассове мы слушали эти доклады с восторгом, ощущая свою причастность к рождению новых направлений в науке.

А структура ДНК. . . Работы Крика, Уотсона, Уилкинса, Чаргаффа, Гамова только начинали приобретать известность в нашей стране. Еще не найден генетический код, еще обсуждаются разные варианты его. Экспериментальное доказательство триплетного кода появится только в 1961 г. Доклад А.А. звучал захватывающе интересно и ново.

Николай Владимирович в то лето сделал 5 докладов.

1. Влияние ионизирующих излучений на мутационный процесс. 2. Теоретическая интерпретация явления радиостимуляции. 3. Географическое видообразование у чаек. 4. Полиморфизм природных популяций. Механизм поддержания полиморфизма по окраске (красные и черные формы) в популяции двуточечной божьей коровки. 5. Популяционная генетика (о работах Харди, Четверикова, Дубинина, Добржанского).

В этих докладах был дан глубокий физический анализ взаимодействия излучений с веществом, с биологическими структурами и макромолекулами, объясняющий эффекты действия излучений на клетки и организмы. Как настоящая поэма звучал рассказ о циркумполярном распространении подвидов чаек, проведенный Николаем Владимировичем вместе с Штреземаном еще в 30-х и 40-х годах (*Тимофеев-Ресовский Н.В., Штреземан Е.* Видообразование в цепи подвидов настоящих чаек группы серебристая–хохотунья–клуша // Бюл. МОИП. 1959. Вып. 2. С. 99). Это один из наиболее ярких примеров ступенчатого изменения вида с возникновением нескрещивающихся форм на стыке ареалов крайних вариантов. Излагая свою работу, в которой удалось вскрыть механизм поддержания численности красной и черной форм в популяции двуточечной адалии (божьей коровки) (*Тимофеев-Ресовский Н.В., Свирежев Ю.М.* Об адаптационном полиморфизме в популяциях // Проблемы кибернетики. М.: Наука, 1966. Вып. 16. С. 123), Николай Владимирович обращал особое внимание на то, как при минимальной затрате сил и средств можно провести научный эксперимент и получить интересный, принципиальный результат в случае, если четко сформулирована задача научного исследования. Это всегда было отличительной чертой блестящих докладов Николая Владимировича, чему бы они ни были посвящены: он не ограничи-

вался собственно предметом доклада, но в образных, запоминающихся формах стремился передать аудитории умение правильно найти предмет исследования, сформулировать задачу, выбрать адекватные методы исследования.

Во второй половине августа в Миассово приехала Р.Л. Берг. Она сделала 4 доклада на семинарах. 1. Стабилизирующий отбор в эволюции цветка. 2. Размах изменчивости в независимых чистых линиях махорки русской. 3. Эволюция генов и хромосом 4. Родина жизни. Вопросы происхождения жизни с точки зрения экологии. Ее доклады вызывали особенно бурную дискуссию.

Мне остается сказать еще о 6 докладах, сделанных гостями Миассова в то лето.

Ю.А. Виноградов рассказал об устройстве электронно-вычислительных машин, о существовавших тогда технических методах запаси информации в память машины.

Н.А. Баландина сделала доклад на тему: "Программирование для решения системы уровней с n неизвестными". После доклада все мы, слушатели, смогли попробовать самостоятельно расписать программу для решения конкретного уровнения с заданными коэффициентами. Это, конечно, не сделало нас профессиональными программистами, но позволило понять, ощутить, что может дать вычислительная техника при решении самых разных задач, и не бояться использовать ее.

А.А. Передельский, приехавший в Ильмены с небольшой экспедицией от Института биофизики АН СССР, посвятил свой доклад предмету и задачам "радиоэкологии".

О лесной типологии шла речь в докладе Е.М. Фильрозе, лесоведа из Свердловска. Доклад был построен на работах Морозова, Сукачева, Алексеева, Погребняка, Нестерова, Колесникова. Слабые и сильные стороны предложенных способов выделения типов лесов иллюстрировались применимостью разных схем в разнообразных условиях Ильменского заповедника.

С коротким визитом в Миассово в августе 1956 г. приехали лингвист из Москвы Н.И. Жинкин и ленинградский сценарист научно-популярных фильмов Е.Э. Мандельштам (брат поэта О. Мандельштама), который начинал тогда работу над сценарием фильма о генетике, генах, молекулярных носителях наследственной информации. Николай Владимирович и Алексей Андреевич Ляпунов с живым интересом отнеслись к идее создания такого фильма, и в результате бесед с ними Е.Э. Мандельштам написал первый вариант сценария.

На одном из семинаров Н.И. Жинкин сделал доклад "О механизмах речи", из которого слушатели узнали о генераторных, резонаторных и энергетических механизмах, обеспечивающих произнесение слогов – элементарных единиц речи, о существовании двух типов речевой памяти: длительной (словарный запас) и кратковременной (синтез фраз) – и о других, неожиданно новых для нашей аудитории фактах.

И наконец, последний семинар состоялся в первых числах сентября.

Доклад на нем делал Виктор Владимирович Тимофеев, брат Николая Владимировича, зоолог-охотовед, которому принадлежит заслуга восстановления численности соболя в Сибири, почти нацело истребленного там к началу 30-х годов.

Как я уже писала в начале этих воспоминаний, сразу после лета 1956 г. Миассовские семинары стали широко известными в научных кругах нашей страны. И во все последующие годы, с 1957 по 1964 (когда Николай Владимирович с Еленой Александровной и значительной частью сотрудников своей свердловской лаборатории переехал в Обнинск в Институт медицинской радиологии АМН СССР), летом в Миассово стали приезжать маститые и начинающие ученые, студенты и аспиранты, биологи, физики, математики, химики. В разные годы среди них были И.А. Полетаев, Ю.Я. Керкис (из Новосибирска), А.Н. Орлов, П.С. Зырянов, Г.Г. Талуц (из Свердловска), В.С. Кирпичников М.В. Волькенштейн, С.Н. Александров, С.Е. Бреслер, В.П. Парибок (из Ленинграда), Л.А. Блюменфельд, М.И. Шальнов, А.В. Савич, О.И. Епифанова, С.Э. Шноль, Г.Б. Завильгельский, В.П. Эфроимсон и многие другие из Москвы.

Многие из слушателей и докладчиков Миассовских семинаров, бывшие тогда студентами, аспирантами, начинающими научными работниками, теперь стали докторами наук, известными специалистами в разных областях биологических наук. Среди них были Вл.Ил. Иванов (теперь член-корреспондент РАМН), А.Н. Тюрюканов (академик РАЕН), Р.В. Петров (теперь академик РАМН и РАЕН и вице-президент РАН), Ю.Ф. Богданов (член корреспондент РАЕН), А.Г. Маленков (академик РАЕН), Вал.Ив. Иванов (академик РАЕН), О.В. Малиновский, В.И. Корогодин, Г.Г. Поликарпов (теперь академик) АН Украины), А.М. Жаботинский, А.И. Ванин и многие другие.

Рядом с Николаем Владимировичем непременным участником и душой Миассовских семинаров почти во все годы был А.А. Ляпунов.

В отдельные годы в июле-августе в Миассове собиралось до ста человек. На берегу озера вырастал палаточный городок. Был сооружен специальный навес со столом, лавками и печкой. По очереди, невзирая на чины, участники семинара дежурили на кухне, готовя еду на всех жителей палаточного городка. Лабораторная аудитория уже не могла вмещать всех слушателей, и доклады читались на лужайке около лабораторного корпуса. К двум березам была прикреплена меловая доска, а если не хватало наскоро сооруженных лавок, молодежь располагалась прямо на траве, на надувных матрацах или ковриках.

К сентябрю палатки постепенно свертывались, гости разъезжались. Жизнь в Миассове затихала, но взбудораженные миассовскими дискуссиями участники семинаров долго еще переживали и передумывали обильные впечатления от высказанного и услышанного на семинарах, от встреч и знакомств, от личного воздействия Николая Владимировича.

Впоследствии некое подобие Миассовских семинаров возродилось в виде школ для начинающих ученых, организованных Советом молодых ученых при МГК ВЛКСМ в молодежных лагерях на берегу Можайского моря, а затем на Клязьминском водохранилище. Составителем программ

и душой этих школ был Николай Владимирович. И наконец, эстафету этих традиций приняли Всесоюзные школы по разным направлениям науки, которые собираются вот уже более 20 лет и благотворное влияние которых испытывают на себе многие поколения нашей научной молодежи.

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ЛЯПУНОВА – генетик, доктор биологических наук, заведующая лабораторией общей цитогенетики Института генетики человека РАМН. В доме ее родителей в 1955 г. состоялось первое после 1925 г. неофициальное выступление Н.В. Тимофеева-Ресовского в Москве.

М.В. Волькенштейн

ВСТРЕЧИ С НИКОЛАЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ

Будучи физиком, а не биологом, я узнал о существовании Н.В. Тимофеева-Ресовского из книги Шредингера "Что такое жизнь с точки зрения физика?", в которой подробно рассказано о его классической работе вместе с Дельбрюком и Циммером. Как известно, в этой работе впервые была установлена квантовая природа мутаций и дана оценка размеров гена.

Второе упоминание о Николае Владимировиче, на которое я наткнулся, содержалось в отчете о сессии ВАСХНИЛ 1948 г. в выступлении Перова. Этот безграмотный и бесчестный лысенковец, утверждавший, что все белки произошли из "протогороховой кислоты", сказал: "Наш заклятый враг Тимофеев-Ресовский..."

В 50-х годах я поставил перед собой задачу перехода из физики полимеров в биофизику. Я общался с честными и компетентными биологами, учился биологии. Но мои друзья могли мне рассказать лишь о довоенной деятельности Николая Владимировича – они сами не знали, жив он или мертв.

В 1956 г. Николай Владимирович возник из небытия и появился сначала в Москве, а затем и в Ленинграде. Многие слышали о его первом публичном выступлении на семинаре П.Л. Капицы. Как известно, выступление это пытались сорвать, но не вышло. Раиса Львовна Берг познакомила меня с ним. Впечатление было сильнейшее, об этом дальше.

К этому времени в руководимой мною лаборатории в Институте высокомолекулярных соединений АН СССР началось систематическое ознакомление сотрудников с основами современной биологии, истребленной у нас лысенковщиной. 28 сентября и 12 октября 1956 г. Р.Л. Берг

рассказала на семинаре лаборатории о хромосомной теории наследственности и о связи генетики с эволюцией. А 26 октября Николай Владимирович прочел доклад "Биофизические основы мутационного процесса". Я горжусь тем, что первое выступление Н.В. Тимофеева-Ресовского в Ленинграде было на моем семинаре. Это было незабываемым событием. Три часа подряд Николай Владимирович ходил взад и вперед перед доской, как тигр в клетке, и рассказывал о вершинах современной науки. Собралось множество народу, все слушали как завороженные. Он говорил по-русски как никто другой. Лучшей русской речи я никогда не слышал. Это был гоголевский язык, предельно яркий и выразительный. Язык образный, проникнутый юмором, острый, неотразимый. Это – форма. Содержание было столь же замечательным. Ясная и сильная мысль, всегда оригинальная.

После 1956 г. я многократно слышал Николая Владимировича и разговаривал с ним о самых разных вещах. О чем бы ни шла речь, его суждение было четким и неожиданным. Почему Кант пришел к агностицизму? Потому что он не дожил до Ньютона биологии – до Дарвина – и не видел путей научного истолкования явлений жизни. Отмечу в скобках общность Канта и Дарвина – и тот и другой были основоположниками синэргетики. И модель происхождения солнечной системы и теория эволюции представляют возникновение порядка из хаоса. Николай Владимирович бывал резок, но главная особенность его речей – прелестный юмор. Он мог поиздеваться над собеседником, но не обижал его, если оный собеседник был честен. Молодежь, увлеченная молекулярной биологией, воспринимала как должное его насмешки над "ДНКаканьем".

Николай Владимирович был человеком исключительной моральной и физической силы. Пройдя через все испытания эпохи – гражданскую войну и сыпной тиф, через существование под надзором нацистов, пережив смерть сына в нацистском концлагере, чуть не погибнув от пеллагры в концлагере сталинском, он полностью сохранил творческий запал, размах и веселие души. Спал он от трех до пяти часов в сутки, и, как ни морили его бессонницей следователи Лубянки, ничего у них не получалось.

Как-то мы встретились в Москве и пошли на выставку в Музей изобразительных искусств – не помню уже какую. Живопись Николай Владимирович знал и понимал великолепно. Так вот, будучи много его моложе и не побывав в Карагандинских лагерях, я с трудом поспевал за ним.

Лучшими днями жизни и моей и многих других биологов и физиков были дни, проведенные в гостях у Николая Владимировича и Елены Александровны в Ильменском заповеднике на берегу озера Большое Миассово. Будучи в Свердловске в Отделе биофизики и радиобиологии Уральского филиала АН СССР, Николай Владимирович организовал для летних работ биостанцию и в течение ряда лет проводил в ней расширенные лабораторные совещания. Надо знать, что, в отличие от конференций и симпозиумов, такого рода мероприятия не требуют никакого оформления, ни включения в план, ни разрешения начальства. Н.В. и Е.А. Тимо-

феевы-Ресовские естественно и органично вписывались в чудесную природу Урала, так же как и в природу Подмосковья или Армении. И сейчас, спустя много лет, я не могу забыть несравненную голубизну озера, на мелководье которого встречались монокристаллы гранатов. А в лесу алел горицвет, ползали веретенницы. Друг и соратник Николая Владимировича математик Алексей Андреевич Ляпунов, чьим хобби была минералогия, уводил нас в заброшенные копи в лесу, где мы находили десятки минералов – и амазонит, и письменный гранит, и кристаллический кварц. Ильменский заповедник – заповедник минералогический. Веселье, смех сочетались с наукой неразрывно. Миассовские сборища были подлинной школой современной биологии и биофизики. Школой для меня особенно существенной, так как апробация первых моих биофизических работ на семинарах Николая Владимировича имела определяющее значение. Семинары эти проходили под ветвями деревьев. Если шел дождь, уходили в помещение биостанции, если было слишком жарко, продолжали дискуссии в "водной фазе", погрузившись в озеро по пояс. Но важнее было погружение в атмосферу чистоты и благородства, полное отключение от всего стороннего науке, культуре, юмору.

Абсолютная внутренняя свобода и независимость Николая Владимировича, его ум и темперамент влекли к себе со страшной силой. Его всегда окружала молодежь и не только молодежь – он был безусловным лидером. И рядом комплементарная ему Елена Александровна – воплощение мудрости, спокойствия и доброты. А чувство юмора было у них общим. "Колюша" и "Лёлька" были нераздельны. Д.А. Гранин, хорошо знавший и любивший Николая Владимировича, написал прекрасную книгу. Он назвал его Зубром, и это прозвище стало уже неотделимым. Но что оно означает? Николай Владимирович не был ископаемым, он активно участвовал в современной жизни и понимал ее всецело. Но был он совершенно уникален, и за ним постоянно охотились. Кстати, помню, как мы вместе с ним смотрели на зубров, пасущихся в Приокском заповеднике, напротив Пущино. Мы приехали туда во время Международного генетического конгресса в Москве в 1978 г. Гранина с нами не было, и никто еще не знал, как он назовет Николая Владимировича в будущей книге.

Я имел счастье общаться с Николаем Владимировичем в Ленинграде, в Москве, в Дубне, в Пущино, у озера Миассово, в Обнинске, на Можайском море и в Аксакове, рядом со знаменитым селом Федоскино. В двух последних местах тоже создавались летние биологические школы, им возглавляемые. И тоже было чудесно! Днем шла усиленная работа, а вечером, у костра мы слушали его рассказы. О чем? О чем угодно, о его жизни, столь необычной и разнообразной. Но о Германии он говорил мало и редко. До сих пор за Николаем Владимировичем влачится хвост гнусной клеветы, лживых утверждений о его деятельности в Германии. Не так давно их вновь повторил Бондаренко в журнале "Москва", их повторяют дожившие до наших дней лысенковцы типа Иогансена. Расскажу лишь о том, что мне привелось узнать самому.

Если не ошибаюсь в 1970 г. я ехал в очередную командировку в ГДР.

Мой директор В.А. Энгельгардт, глубоко почитавший Николая Владимировича, загорелся идеей его избрания в академики. Зная мою дружбу с ним, Владимир Александрович послал со мной в Берлин два письма, адресованные немецким ученым, тесно сотрудничавшим с Николаем Владимировичем в годы гитлеризма. Это были генетик Штуббе, глава сельскохозяйственной науки в ГДР, и физик Ромпе. Я встретился с обоими и говорил с ними об Н.В. Тимофееве-Ресовском. Энгельгардт просил Штуббе и Ромпе написать ему о деятельности Николая Владимировича в гитлеровской Германии. При этом он гарантировал, что если они не захотят, то их имена не будут названы. Штуббе прочитал письмо и воскликнул:

– Но ведь это же была группа сопротивления!

И рассказал мне о том, как, рискуя жизнью, Николай Владимирович спасал евреев и коммунистов, советских и польских военнопленных, оказывавшихся в поле зрения Кайзер Вильгельм Института в Берлин-Бухе. А его сын в это время был уже арестован. На следующий день Штуббе уезжал на Кубу, но перед этим он переслал мне в гостиницу обстоятельное письмо для Энгельгардта. Ромпе подтвердил то, что рассказал Штуббе, но письмо писать не захотел. Произошел следующий диалог:

Ромпе: Вообще говоря, мы уже писали о Николае Владимировиче.

Я: Куда и что Вы писали?

Ромпе молчит.

Я: Это целиком Ваше дело, но я должен Вам сказать, что профессор Штуббе передал мне письмо, о котором просил Энгельгардт.

Ромпе: Штуббе – беспартийный, а я член ЦК. Но я подумаю и дам Вам знать.

Больше никаких известий от Ромпе не было. Не больно-то он мне понравился. Письмо Штуббе и сегодня хранится в архиве Энгельгардта. Энгельгардт, однако, одумался и отказался от мысли провести Николая Владимировича в академики. Действительно, нельзя было надеяться на успех. Не будут же волы, послушно шагающие в упряжке, голосовать за зубра.

Н.В. Тимофеев-Ресовский постоянно подвергался дискриминации. Самый крупный советский генетик и биофизик не только не был избран в Академию наук, но его не выпускали в ГДР на собрания Академиа Леопольдина в Халле – членом этой Академии он был с 1940 г. Не пустили его и в Чехословакию, куда он был приглашен на торжества, посвященные юбилею Менделя. Более того, организаторы Международного генетического конгресса в Москве постарались обойти Николая Владимировича, не дали ему пленарного доклада. А ведь более крупного генетика среди участников конгресса не было! Естественно, когда Николай Владимирович появился на конгрессе, именно он, а не влиятельные академики, оказался в центре внимания.

В 1966 г. Николаю Владимировичу были присуждены премия и медаль Кимбера. Надо рассказать, что это такое. Американский миллионер Кимбер разбогател на генетически обоснованном птицеводстве. В благодарность он учредил ежегодную денежную премию и Большую золотую

медаль за крупнейшие достижения в области генетики. Премия эта эквивалентна нобелевской – ведь есть нобелевская премия по физиологии и медицине! Н.В. Тимофеев-Ресовский первый и единственный русский ученый, удостоенный этой премии.

В это время он работал в Обнинске в Институте медико-биологических проблем Минздрава, связанном с Академией медицинских наук, в просторечии именуемой Акамедией. Президент оной – Н.Н. Блохин вызвал Николая Владимировича и предложил ему от премии отказаться. Тогда тот сказал: "Вы меня хотите опастерначить?! Не выйдет!" Конечно, в США Николая Владимировича не пустили. Известный американский ученый Кистяковский приехал в Москву, разыскал Тимофеева-Ресовского и вручил ему диплом, медаль и чек. Вручение состоялось все-таки в кабинете Н.Н. Блохина, но пресса смолчала об этом событии.

В конце концов Николая Владимировича изгнали из Обнинского института на пенсию. Это произошло в период общего упадка отечественной радиобиологии. Лишь Н.В., Е.А. Тимофеевы-Ресовские и их сотрудники продолжали свои классические работы, посвященные радиоэкологии. Николай Владимирович был самым крупным специалистом, изучавшим распределение радиоактивных изотопов в организмах животных и растений. Методы биологической очистки, разработанные Н.В. и Е.А. Тимофеевыми-Ресовскими, эффективно применялись после чернобыльской катастрофы. Но как их обоих не хватало в 1986 г.!

Олег Георгиевич Газенко, хорошо зная цену Николаю Владимировичу, пригласил его в качестве консультанта в свой Институт. Это тоже было не просто. Профессор Лев Лазаревич Шик случайно оказался свидетелем интересной сцены. Он сидел в кабинете Газенко, когда туда постучался и вошел некий сотрудник. Он сказал Газенко: "К сожалению, то, о чем Вы меня просили, не получается". – "Ну что же, – спокойно ответил Газенко, – очевидно, мы с Вами не сработаемся". Сотрудник изменился в лице и вышел, а Газенко объяснил Шику, что это его начальник отдела кадров и речь идет о зачислении Николая Владимировича. Последние годы он жил в Обнинске и приезжал в Москву, сотрудничая с О.Г. Газенко. Николай Владимирович останавливался у своего ближайшего друга – Льва Александровича Блюменфельда.

В 1973 г. в Обнинске умерла Елена Александровна. На похороны поехала моя жена – я лежал с высокой температурой. Через сорок дней Николай Владимирович и все мы – его друзья – собрались в маленькой церкви на Ленинских горах, поминая усопшую. Мы стояли с горящими свечками в руках, а Николай Владимирович молился.

Я никогда не говорил с ним о религии. Не знаю, что означала его вера, но одно знаю твердо – жизнь и деятельность Николая Владимировича отвечала самым высоким нравственным требованиям. При этом он был человеком горячего темперамента, учителем и бойцом.

В заключение привожу два юбилейных стихотворения, написанных мною в связи с шестидесятилетием и семидесятилетием Н.В. Тимофеева-Ресовского. Первый юбилей отмечался дома у А.А. Ляпунова, второй в





На праздновании 70-летию Н.В. Тимофеева-Ресовского. Москва, Ресторан "Пекин", 1970 г.

Фото Ю.А. Виноградова

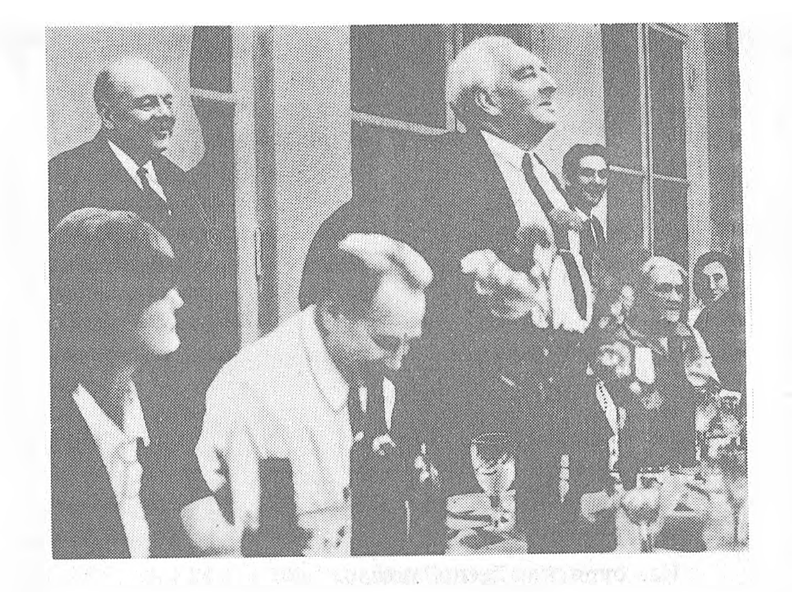
Вверху слева направо: Б.Л. Астауров, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Б.С. Матвеев. Е.А. Тимофеева-Ресовская выступает с воспоминаниями о гимназических годах.

Внизу слева направо: О.Г. Газенко, Н.В. Газенко, Н.В. Тимофеев-Ресовский

Вверху: Н.В. Тимофеев-Ресовский выступает с ответным словом

Стоят: слева Ю.И. Полянский, справа Ю.Ф. Богданов

Сидит слева от Т.-Р. Н.В. Реформатская



гостинице "Пекин". Стихи эти непритязательны, но характеризуют до некоторой степени атмосферу, окружавшую Николая Владимировича.

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ВОЛЬКЕНШТЕЙН (1912–1992) – известный физико-химик и биофизик, член-корреспондент РАН, лауреат государственной премии. Участник миассовских семинаров Н.В. Тимофеева-Ресовского.

К шестидесятилетию Н.В. Тимофеева-Ресовского 1960

Был мир непостижимо странен,
В нем без физических основ
Кишели сколопендры, лани,
Акулы, стаи воробьев.

Вилял хвостом сперматозоид,
Глотали рыбы немертин.
Зачем и почему такое –
Не мог ответить ни один.

Природа в диком беспорядке
Вела естественный отбор,
С лисой играли зайцы в прятки
Так, как играют до сих пор.

На куцых ножках перипатус[1]
За кислой мошкой поспешал.
По библии, шел брант на брата
Но без физических начал.

А физики глядели мимо,
Ловя за жабры электрон,
Из жизни суетной гонимы,
Как повелел еще Платон.

Во мгле времен таились гены,
Торжествовал безумный Дриш[2],
И вновь Венерою из пены
Из грязи возникала мышь[3].

Но сквозь мистические бредни
Прорвался славный юбиляр,
Достойный Дарвина наследник,
Как буря, как лесной пожар.

Разъяв мутацию на части,
Проникнув квантом в эту тьму[4],
Он показал, что в нашей власти
Узнать отныне что к чему.

Что в отправленьях организма
Кибернетическая суть.
Нормальный[5] к неоламаркизму[6]
Он указал нам светлый путь.

Будь здрав, создатель Миассова,
Кавалерист[7] и скороход[8]!
Уже мы выпили, но снова
Тебя приветствует народ!

---

[1] Перипатус — тип Онихофора, существа, имеющие общих предков с членистоногими и кольчецами.
[2] Известный виталист.
[3] Ссылка на теорию О.Б. Лепешинской о возникновении клеток из безклеточного вещества.
[4] Имеются в виду радиобиологические работы Николая Владимировича.
[5] Нормальный, т.е. перпендикулярный.
[6] Неоламаркизм — учение о наследовании приобретенных признаков, вдохновлявшее Лысенко.
[7] Николай Владимирович участвовал в гражданской войне в конных частях Красной Армии.
[8] Как сказано выше, за Николаем Владимировичем было трудно угнаться.

К семидесятилетию Н.В. Тимофеева-Ресовского 1970

Однажды мощный голос прозвучал
Над озером Большое Миассово
И, отразившись от уральских скал,
Над всей страною загремело слово.

Еще вершины занимал Трофим,
Еще кривлялись злобные кликуши,
Но это слово развевало дым
И проникало в заткнутые уши.

Глубокого познанья ясный свет
Рассеивал всю нечисть лженауки,
И затихал средневековый бред,
И у подонков опускались руки.

Все дело в том, что было что сказать
Об экологии, о квантах, о Пикассо.
Его чуждалась нынешняя знать,
О нем молчали телеграммы ТАССа.

А он, смеясь, рассказывал друзьям,
Как жизнь его ломала без успеха.
Он шел вперед, чиста его стезя,
И каждый шаг отмечен новой вехой.

Перипатетик[1], мастер дрозофил[2],
Кому близки и шмель и перипатус[3],
Пред нами он завесу приоткрыл
И показал Природы гордый пафос.

Двойной спирали прадед[4] и знаток
Повел он физиков к цветам и рыбам,
Включая многих в действенный поток,
Дабы ворочали познанья глыбы.

---

[1] Николай Владимирович говорил о науке на ходу, докладывал, шагая взад и вперед.

[2] С Drosophila melanogaster у него были личные отношения, основанные на глубоких знаниях.

[3] См. прим. 1 к предыдущему стихотворению.

[4] Николай Владимирович был одним из основоположников молекулярной биологии. Прямой путь вел от сделанной им оценки размера гена к открытию Уотсона и Крика.

И куровода Кимбера медаль
За все, что он закончил или начал,
И, как начальству пошлому ни жаль,
Его не удалось опастерначить.

Мы погружались в вод голубизну
И слушали реченья Ляпунова –
Что черепах таинственному сну
Не создал стресс препятствья никакого[5].

О генном поле смелый Рапопорт
Нам говорил, будя энтузиазм[6].
Плывем вперед, далек исходный порт,
Нам компасом победоносный разум.

Веди ж нас в даль, упрямый капитан!
Мы чествуем твой ум и темперамент.
Согласно генетической программе,
Вся жизнь твоя – любимый наш роман.

---

[5] А.А. Ляпунов считал, что черепахи отличаются от остальных пресмыкающихся тем, что у них не бывает стресса.

[6] И.А. Рапопорт развил в высшей степени оригинальную теорию "генного поля", о которой он рассказывал на Можайском море.

С.И. Аленикова

ВМЕСТЕ С НИКОЛАЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ И ЕЛЕНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ТИМОФЕЕВЫМИ-РЕСОВСКИМИ

Однажды, было это давно, в 1958 г., еще в начале нашей дружбы с Тимофеевыми-Ресовскими и жили мы тогда в Ленинграде, встретились они у нас с Менией Мартинес. Совсем тогда юная ученица Ленинградского хореографического училища, очень привлекательная залетная птичка из экзотической Кубы и к тому же талантливая певица, как бы моя приемная дочка, Мения (теперь она известная прима-балерина Бельгийского

балета), и вполне маститый будущий Зубр – имя это, благодаря Даниилу Гранину, стало нарицательным – тотчас друг друга нашли. Контакт между ними возник немедленно. Сперва запела кубинка, но вскоре включился бас Николая Владимировича. В этом дуэте она исполняла свои песни по-испански, а он по-русски духовные, оба проявили истинный артистизм. Разделить эту пару было уже нельзя, да и не хотелось.

Мения, которая любила говорить: "Вот вернусь на Кубу и скажу своим. – Хотите разориться, устраивайте ужин по-русски, они все сидят и сидят за столом, и говорят, говорят..." – решительно вдруг подняла всех моих гостей, притащила из детской красное одеяльце и в изящном танце стала призывать Николая Владимировича к нападению. Еще не названный зубром, Николай Владимирович изображал быка. Бык и тореро провели сражение по всем правилам тавромахии. Часа в три ночи от шума проснулись наши дети, выскочили в рубашонках и смотрели на это зрелище с великим изумлением и, конечно, наслаждаясь.

Мения потом призналась: "Вот в него-то я бы влюбилась".

Озорничал он часто, всегда артистически, пользовался с удовольствием своим актерским даром. Мне часто бросал словечки, а то и целые фразы на "гишпанском" языке. И с таким же увлечением, как изображал быка в корриде, исполнял разнообразные роли в наших домашних шарадах. Одна из наиболее примечательных шарад представлялась на праздновании защиты докторской диссертации Раисы Львовны Берг. Шарада имела отношение к науке и к лженауке: первое – неприличное слово из трех букв, второе – живописная страна, а целое – опять нечто неприличное, задуманное слово – "ген-Италия". Николай Владимирович в широкополой шляпе изображал гида, демонстрирующего Колизей. Естественно, он говорил по-итальянски и пользовался соответствующей выразительной жестикуляцией.

На этом веселом сборище мой муж, М.В. Волькенштейн, прочитал посвященные героине вечера стихи, которые оканчивались строками, особенно полюбившимися Николаю Владимировичу:

Пока смердящий труп Трофима
Лежит не убран у ворот,
Победно и неумолимо
Наука движется вперед.

Был Николай Владимирович и балетоманом. Относился к искусству балета серьезно, со знанием дела. Когда мне приходилось вместе с ним и Еленой Александровной быть на балетном спектакле, я и здесь превращалась во внимательную ученицу, как истинный ценитель, он радовался удачным фуэте, следил за каждым участником кордебалета и объяснял мне все тонкости балетной техники. Было рядом с Тимофеевым-Ресовским не только интересно, но и весело. Казалось, он всегда занимал большое пространство. Когда он входил в дом, он его заполнял. Не сидел, а постоянно ходил по комнате, быстро, энергично. И представлялось, что был он высок ростом и могуч фигурой, хотя ведь ничего такого в дей-

ствительности не было. И голос его, густой бас, тоже заполнял это пространство. А оттопыренная нижняя губа словно резонировала, и временами голос гудел. И все, кто находился в доме, тотчас начинали слушать только его. Он знал, привык к тому, что только его слушают, иногда вещал, декларировал, а то и распалялся, не очень внимая возражениям. А острил и шутил так, что не всегда мы понимали, шутка это или всерьез, байка или подлинная история. Бурный его темперамент выражался еще и в невербальном языке – языке жестов. Руки взмывали, разрезали воздух, пространство, усиливая, подчеркивая мысль, углубляя эмоциональное воздействие. Нельзя было не следить за ним, не идти за ним...

Какой рассказчик! Неистощимый. Он своим даром любил пользоваться. Ему было что рассказать. Однако об испытаниях трагических не говорил, скажет лишь с усмешкой: "Да что немцы, оболтусы во всем, вот наши, советские, такие могли изобразить пытки, что немчура сопляками выставлялась... Что до меня, то им тоже непросто пришлось, я ведь всю жизнь не больше четырех часов спал, так бессонницей меня не возьмешь..."

Нужно было, конечно, записывать все. Потому что такую русскую речь, насыщенную меткими метафорами, словечками, им самим придуманными, и притом безукоризненно чистую, богатую и словарем и интонациями, вряд ли где можно было услышать...

Человек – "чудо-юдо", подчас непредсказуемый, противоречивый, балагур и мыслитель, грубоватый ментор с душой лирической и мягкой, чистый и добрый, железно волевой, а в сущности, очень ребячливый... В чем же главный феномен его уникальности? Что делало его столь непохожим на других людей того времени? Об этом раздумываем мы сейчас и только теперь, как кажется, начинаем разбираться. Но про это позже. А пока про Елену Александровну. "Лелька" всегда была рядом. Они жили и действовали в паре. Внешне казались очень разными, но жизнь соединила их с великим искусством. Наделенные Богом и родом талантами, главным среди которых было благородство, они так воздействовали один на другого, что в обоих отстаивалось и возрастало все лучшее.

Елена Александровна высокая, беловолосая, со светлыми голубыми глазами помнится только улыбающейся. С нее, верно, можно было бы писать образ истинно русской женщины, может быть, из ряда тургеневских героинь. Учиться нам у нее можно и нужно было многому. Как мудро сохраняла она чистоту души и завидное чувство юмора, пройдя испытания, страшные даже для того времени. И еще, как умела иногда вовремя одернуть, негромко посмеиваясь, своего распалившегося подчас мужа: "Колюша, ну уж разошелся, да уймись же... Ну уж ты, Колюша, и размахнулся..." А бывало и так, что тихо встанет и уйдет в сторону или в другую комнату. И "Колюша" тут же осядет, умерит пыл, а то пойдет за нею. Истинным стержнем или уравновешивающим рычагом в этом тандеме была по существу эта негромкая, заразительно похихикивающая "Лелька", женственная, ненавязчиво внимательная к окружающим и безотказная в дружбе. И в науке, как говорят, тоже сила.

Случалось, Елена Александровна тяжко болела, ноги отекали, отказывали служить, а она, в Обнинске, туда-сюда на велосипеде, на работу и по хозяйству. Силюсь вспомнить (и не могу), чтобы кто-нибудь из этой пары пожаловался когда на физические недуги или на какие-то трудности, бытовые неудобства, на отсутствие чего-то, чего другим людям обычно не хватало... Все-то у них было хорошо, таков порядок поведения. Удивительно сочетались в этой паре различные стороны – Николай Владимирович мог быть по-барственному широк, водителю такси дать на чай не менее двух-трех рублей, деньги считать не любил, с легкостью их раздавал, хотя в семье их было не густо, гостеприимство же в доме было всегда истинное, а быт скромный и непритязательный.

Когда в последний период их жизни они стали жить и работать в Обнинске и приезжали временами в Москву, оба были всегда подтянуты, в форме, добродушно настроены, даже веселы, всем довольны – и своей квартиркой и самим Обнинском, где, впрочем, не слишком были обласканы властями и где работа была напряженная, на истощение, но "Лелька" все же находила время и силы, чтобы читать "Колюше" вслух и научную и художественную литературу. Зрение его было подорвано пеллагрой, читал он с трудом, его глаза надо было беречь.

В письме к нам Елена Александровна писала (9 февраля 1969 г.):

Дорогие Стелла Иосифовна и Михаил Владимирович!

Спасибо за поздравление к Новому году, за память и любовь! Не сердитесь, что так и не были у вас. Мы нигде не бываем, сидим в Обнинске, работаем и читаем. На днях я говорила с одним нашим другом по телефону (с ним мы не виделись уже почти год) и спросила – "не забыли ли Вы нас?", а он на это ответил: "пока нет, время от времени достаю ваши фотокарточки и любуюсь на них, чтобы не забыть". Нет, правда, мои многочисленные родственники уже махнули на нас рукой. Изредка приезжают племянники. Живем мы как-то очень суматошно, работаем, а у Николая Владимировича все время какие-то консультации по самым разнообразным вопросам – и все это люди, которые приезжают не в Институт, а домой или вечером в будни или по субботам и воскресеньям. Кроме того, он за последние $1^1/_2$ года написал 2 книги, а сейчас у него договор на третью – "Очерки по современной генетике". Он ведь пишет не так быстро, как Михаил Владимирович, договор у него был сдан к 1 января, а сейчас уже февраль, а он только-только начал. Должен кончить к 1 марта!

Очень будем рады, если выберетесь к нам. Позвоните по телефону 38-80 и приезжайте.

Николай Владимирович шлет вам самые сердечные приветы.

Ваша Е. Тимофеева-Ресовская

Многому можно было поучиться у этой женщины – душевной широте, мужеству, тонкому чувству юмора и уменью стойко переносить физические недуги, такие удары судьбы, что и придумать трудно. Была Елена Александровна верна в дружбе и безотказно предана работе своей и научным идеям. Когда ее не стало, "Колюша" словно уменьшился в раз-

мерах, как-то сжался, перестал быть столь громкогласным, но общения со своей "Лелькой" никогда не прекращал, и на панихиде, и на поминках в их обнинской квартире, и потом до конца своих дней словно слушал ее советы.

Было рядом с ними всегда уютно и покойно, словно не жили мы тогда в мрачной сутолоке. Будто очищались от нечистот. И за это им обоим низкий наш поклон. В особенности эту "очистительность" все мы испытывали в сфере оазиса, на уральских сборищах, на озере Большое Миассово, а потом на Можайском море. Каждому, кому дала судьба там пожить, а большинству и поработать, надо завидовать. Самые светлые дни в моей жизни и моей семьи прошли в этом оазисе. Я это четко ощущала тогда и никогда об этом на забывала. Полагаю, что если в наших теперь уже совсем взрослых детях проявляется доброе начало, то заложено оно было именно тогда. Сыну нашему, когда мы его брали в Миассово, было 12 лет. А Маша еще не кончила школу, когда, усевшись прямо на земле, слушала доклады участников можайских собраний. Какое им выпало счастье, они понимают, в особенности сейчас, когда надлежит и самим воспитывать новое поколение.

Добраться до Миассова было нелегко. Сначала надо было долететь до Челябинска – двумя самолетами, с пересадкой в Свердловске. Потом поездом до Миасса и далее грузовиком. Проехав территорию, сильно загаженную промышленностью, мы попадали в тайгу и ехали через чудесный лес по бездорожью. Это занимало часа два-три. И наконец, мы оказывались в центре Ильменского заповедника, не берегу озера, окруженного скалами. Посреди поляны стояло несколько домиков, в стороне палатки для навалившейся сюда по зову и без зова молодежи. В главном деревянном доме жили и работали хозяева и сюда селили людей посолиднее. Никаких комнат и постелей, конечно, не хватало, и ночь гости коротали на полу вповалку, но сколько же было тогда остроумных бесед и хохот не утихал до утра. А с утра, между тем, надо было им, ученым, приниматься за дело, вести науку. И хозяевам еще надо было суметь накормить всю эту ораву. Нас было много, понаехавших из Москвы, Ленинграда и из других мест. И мы, естественно, "обжирали" хозяев, гостеприимство их было словно из сказки.

Хлопотать Елена Александровне помогали неизменные верные друзья, среди них как всегда была А.Б. Гецова, верный семейный друг, у которой Тимофеевы-Ресовские останавливались, когда приезжали в Ленинград.

Когда начинался "треп", я мало что понимала в недоступной мне науке, но испытывала необычайную гордость от того, что и мне давали местечко на одной из некрашенных скамеек, на которых восседали ученые мужи, – такие скамейки рядами расставлялись неподалеку от дома в роще и перед ними прямо на стволе дерева вешалась доска... "Треп", как правило, шел по восходящей, научные споры накалялись, голос Николая Владимировича покрывал всех, и эхо разносило его гудение далеко в лес. Шеф мог и "зайтись", помню, с каким сперва удивлением, а потом и с ужасом я наблюдала, как он напустился на Р.Л. Берг, что-то она не то, видимо, докладывала, и эта дама, тоже ведь не из робких, всегда

бывавшая в гуще социальных и научных событий и умевшая с отчаянным бесстрашием защищать свои крамольные идеи, вдруг скисла, стала сдаваться, по-женски обиделась, но ненадолго, мир, хоть и не сразу, был восстановлен...

Потом громовержец объявлял: "После обеда треп будем продолжать в водной фазе". И я, сидя на берегу, могла наблюдать и фотографировать уже "водные научные дискуссии". Голова Алексея Андреевича Ляпунова, с черной шевелюрой и густой черной бородой, возвышалась над водной гладью, он, по пояс в озере высоко воздев руки – истый Иоанн Креститель – что-то яро докладывал. Его громко прерывали, спорили, что-то спрашивали, услышать было трудно. Такие дискуссии бывало затягивались, участники выходили из воды с возбужденными лицами, явно довольные обретенной информацией.

Об Алексее Андреевиче Ляпунове надо было бы рассказывать отдельно. Без него Миассово не обходилось. Гуманист в самом высоком смысле, он активно включался в разные области социальной жизни. Находил даже время и силы для энергичной защиты крамольных тогда педагогических идей семьи Никитиных. В Миассове он был всегда окружен молодежью. Привлекали его глубокая влюбленность в природу, истинная образованность и тонкая интеллигентность, открытость и непосредственность. Было в Миассове много хороших ярких и неординарных людей, одаренных и веселых, и о них стоило бы тоже рассказать. Предводителем же всегда оставался Николай Владимирович. Если выдавалось свободное время, он собирал энтузиастов и уводил их подальше, в тайгу. Здесь он гордился своим царством. Эта природа принадлежала ему. Он был гидом и лектором. Его глубокое знание биологических особенностей местности, пронзительные рассказы захватывали нас, его спутников, настолько, что мы даже стоически выносили нападения комариных стай и бодро вытаскивали ноги из вязкого болота. Николай Владимирович шел впереди быстрее всех, был совершенно неутомим. А вечерами опять верховодил неугомонный "Колюша", снова устраивался треп, теперь у костра, звучали стихи и песни, спорили о поэзии или о живописи. И не хотелось расходиться.

У С.Э. Шноля сохранилась магнитофонная запись ночного трепа у костра на Можайском море. Сквозь общий громкий хохот и гвалт прорываются голоса Даниила Данина, Валеры Иванова, Симона Шноля, Льва Блюменфельда и еще другие, но всех покрывает бас Николая Владимировича. Поддевает то одного, то другого. Здесь и каверзные поучения, обращенные к нашей дочери, которые она обещает усвоить: "Ты, Машенька, впредь на меня не ссылайся, когда повзрослеешь, однако же усвой – излишней скромностью себя не прикрывай и не верь, что она украшает, а на пятерки уж точно учиться ни к чему, неприлично..."

А потом мы слышим серьезные размышления и философского и лингвистического характера, скажем об особенностях диалектов немецкого языка, о том, как формировался современный стиль английского, "ну, а русский-то замечательный, как никакой другой – хохот замолк, все внимают – многоплановый, вот у князя Трубецкого великого – лепные

работы об этом есть, глубоко разобрался..." А потом пошли яркие анекдоты, собранные в среде "икон", из его общения со шлиссербуржцем Морозовым, с Верой Фигнер и со многими другими истинно "иконными" личностями.

Участвовали в этих сходках люди самого разного возраста, занимавшие различные места в научной иерархии. Среди них были пострадавшие от лысенковщины, изгнанные с любимой работы... Эти изгои созывались Николаем Владимировичем в Миассово, получали от него моральную, а подчас и материальную помощь, реальную поддержку. Он знал и понимал людей, у него был острый нюх на стоящих, настоящих. Выяснилось, что такие люди не продавались за теплое место, были и в те времена против подлости. Николай Владимирович умел их вычислять. Они тянулись друг к другу. "Homo soveticus", как стали называть русского на Западе, особь, искаженная внешне и внутренне, за общим столом, на этих сборищах, дышал легко и свободно, приобретал свойства "Homo sapiens'a". Это чудо совершали Николай Владимирович и Елена Александровна Тимофеевы-Ресовские. Конечно, они оба были уникальны. Но если Елена Александровна привлекала к себе людей, то Николай Владимирович мог и отталкивать, пугать. В этом-то и был его феномен.

В той странной жизни появился человек, который посмел никого и ничего не бояться, плевал на отсутствие даров и на все угрозы, и толпа пресмыкателей растерялась. Эта шпана, не привыкшая к "ненормальной" реакции на доносы и оклики, поневоле перед ним отступала. С ним нельзя было справиться. Его можно было только уничтожить. К великому счастью для всех нас, этого не случилось.

СТЕЛЛА ИОСИФОВНА АЛЕНИКОВА (1909–1992) – жена М.В. Волькенштейна – друг семьи Тимофеевых-Ресовских с 1958 г. Филолог, переводчик с испанского языка. Участница гражданской войны в Испании. В последние годы – один из руководителей клуба интеллигентов "Московская трибуна".

А.Б. Гецова

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

Самый яркий период моей жизни – это встреча и дружба с четой Тимофеевых-Ресовских начиная с 1957 г. и до конца их жизни.

В лаборатории экспериментальной энтомологии Зоологического института АН СССР (зав. Д.М. Штейнберг) возник вопрос о работе с мечеными атомами. Посоветовали обратиться к Н.В. Тимофееву-Ресовскому на биологическую станцию Ильменского заповедника, одного из первых узаконенных В.И. Лениным.



А.Б. Гецова с Н.В. Тимофеевым-Ресовским в день его 80-летия 7 сентября 1980 г. г. Обнинск
Фото С.Э. Шноля

О Тимофееве-Ресовском, который еще в 1925 г. был командирован в Германию (Бух), я почти ничего не знала, так как его работы у нас были запрещены и он был известен как знаменитый ученый главным образом среди наших крупных генетиков. Его уговорил принять приглашение Оскара Фогта академик Н.И. Кольцов, у которого учился и работал Николай Владимирович. Мотивировка Кольцова заключалась в том, что в Бухе Николай Владимирович сможет всецело отдаться науке, не тратив уйму времени на заработки для содержания семьи. О Тимофееве-Ресовском как ученом, так и удивительном, ни на кого не похожем человеке, а также о его жене – Елене Александровне – совершенно неповторимой женщине, у могилы которой известный генетик А.А. Прокофьева-Бельговская сказала: "Нет ни одного человека, который смог бы сказать что-нибудь отрицательное или неуважительное про Елену Александровну", у нас и за рубежом много сказано и написано учеными разных рангов, представителями его школы и др., поэтому хочу вспомнить отдельные житейские и бытовые моменты нашего общения.

Итак, из Института было послано в Миассово письмо с просьбой разрешить приехать. До этого узнала от С.Г. Лепневой, крупнейшего специалиста по ручейникам, которая познакомилась с Тимофеевым-Ресовским, будучи в Берлине, куда она ездила к мужу. Ее суровое лицо при его имени сразу преображается, сияет. "Да, этот ученый какой-то феномен, он все знает и никогда не спит".

На наш запрос незамедлительно пришел ответ, что к 1 сентября, когда пройдет основной разъезд, мы (я и сотрудница Института Г.А. Волкова) можем приехать на месяц. (Это был второй год существования станции.)

В Миассе нас встретили. На газике ехали долго, так как прямой дороги нет. Переезд шел через перевал с кручами, ухабами, ямами, лужами. Машина буксовала, ломалась. Подъезжаем к станции поздно, много после 12 ч ночи. Я упросила шофера, чтобы он завез нас к себе, чтобы не будить хозяев. Но не тут-то было! Подъезжаем к поселку, первый домик Тимофеевых ярко освещен. На подножку машины вскакивает А.Н. Тюрюканов, почвовед из Москвы. На дороге, в сатиновых шароварах и распахнутой рубашке, жестикулируя, бегает взад-вперед Николай Владимирович и тащит нас в комнату. Входит "светская дама" в платочке на голове, покрывавшей папильотки, – Елена Александровна – все чинно, приветливо, гостеприимно. Бурная реакция Николая Владимировича. Расспросы про ЗИН, сотрудников лаборатории. Многих знает по литературе. Особенно интересуется профессором Б.К. Штегманом (орнитологом). «Хотя я "мокрый биолог", но знаю и люблю птиц». Кто зав. лабораторией энтомологии? – В.В. Попов. "А, это он в таком-то журнале, в таком-то году описал новый вид какого-то перепончатокрылого?". Пили чернейший чай. "Только такой надо пить". Кстати, с тех пор и я пристрастилась к крепкому чаю. Долго говорим и отправляемся спать.

Утром сразу за работу, предварительно просим купить уезжающего в Миасс шофера постельное белье и кое-что из утвари. С собой не взяли, думали, что в заповеднике все это должно быть. Николай Владимирович рассказывает о работе станции, водит по лабораториям, знакомит с сотрудниками. Ищем объект. Нашли в достаточном количестве маленького моллюска Aplexa hypnorum L. Сразу ставится опыт с коэффициентами накопления этим моллюском нескольких осколочных радиоизотопов урана. К концу месяца благодаря чете Тимофеевых, их постоянному руководству и чрезвычайной доброжелательности была готова статья, напечатанная в ДАН АН СССР.

По вечерам, за чаем бесконечные рассказы, воспоминания и о сборищах – "самые лучшие в мире" – у Нильса Бора, при этом часто вынимался из кармана уже изрядно потрепанный кожаный портсигарчик: "Это Нильсушка Бор мне подарил". И о знаменитом казачьем хоре Жарова и вообще много о музыке и музыкантах (знакомство с Рахманиновым, Шаляпиным, Карло Цекки и др.), о музеях мира с подробным описанием имеющихся там картин, о жизни авторов и многое другое.

Изумительная красота местности, тогда еще совсем нетронутая природа, обилие цветов, птиц, белых груздей на полянах, а главное для меня, совсем рядом удивительное озеро. Купались мы с Еленой Александровной все эти годы каждый день, невзирая на погоду (иногда даже когда выпадал снег). Жалкая троица, покрытая полотенцами и какими-то покрышками, плелась под возгласы станционных рабочих, которые прямо "складывались" пополам от смеха, глядя на нас. Николай Владимирович купался очень редко.

В Миассово мы с Г.А. Волковой приезжали каждое лето с 1957 по 1962 г. Почти все эти годы жили вместе. Помимо сотрудников, которым для жилья были предоставлены специально выстроенные коттеджи, много-

численные приезжие располагались в палатках, они организовывали своего рода "коммуну", которую называли колхозом, выделялись дежурные, готовили пищу.

День был заполнен полностью, помимо научных опытов, устраивались тематические коллоквиумы, читались циклы лекций, отдельные доклады, отчеты о работе. Каждый приезжающий – а были ученые разных специальностей и рангов – должны были доложить о своей работе. Из-за широкой тематики многие доклады были недоступны для большинства слушателей. Иногда во время доклада Николай Владимирович подремывал. Но когда кончался доклад, в своем выступлении Николай Владимирович обобщал все сказанное докладчиком в такой форме, что всем все становилось ясным и понятным, была вскрыта главная суть работы. Помимо "науки", было много развлечений: и купание, и катание на лодках (часто по ночам), и ловля рыбы, особенно преуспевал в этом чудесный человек, живший в то время в Новосибирске, известный генетик Ю.Я. Керкис, шарады, выставки "картин" с последующим жюри, хоровое пение, капустники. Спали урывками.

Вскоре после нашего первого посещения Миассова Тимофеевы приехали в Ленинград читать лекционные курсы в университете и уже прямо заехали к нам. Все последующие приезды, как правило, проводили у нас. Жили в маленьком отгороженном участке большой 36-метровой комнаты. Любимым местом Николая Владимировича было большое старинное кресло, где он читал при помощи лупы или беседовал с многочисленными паломниками, которых консультировал, рассказывал о своих поездках, встречах, вообще об эпизодах из своей личной жизни. Часто на его коленях сидела моя внучка Наташа, которую он называл "балеринкой", так как она посещала танцевальный кружок. Она ему "читала" больше по памяти, поскольку еще не очень владела грамотой, главным образом пушкинские сказки. Он ее поправлял и часто покрикивал: "Ну что ты все ерзаешь? Такие сказки надо вдумчиво читать". Привязанность к внучке продолжалась все время, и когда он приехал уже один (Елена Александровна умерла), он привез ей на память большие ручные часы Елены Александровны.

Ведала хозяйством моя свекровь, Клавдия Васильевна Каллиопина, дочь и жена священника, женщина благородная, культурная и очень религиозная. Они с Николаем Владимировичем дружили, часами вспоминали Евангелие, молитвы. Он пел ей своим красивым и могучим басом церковные песнопения. Она же – великолепный кулинар – кормила гостей вкусными блюдами, особенно превозносились "ленивые щи". Когда Клавдия Васильевна умерла, он с почтением сказал моей дочери: "А ты оказываешься молодцом, готовишь щи почти как Клавдия Васильевна".

Приезд в Ленинград начинался с прогулки на такси. Николай Владимирович садился с шофером и на вопрос: Куда? – Отвечал своим могучим басом: "Вы капитан и лучше знаете, что показать эдак часика на два". Эти прогулки по нашему удивительному городу сопровождались

пояснениями Николая Владимировича, кто, когда и что построил, кто в этих домах жил, характеристика хозяев, кого принимали и т.д. Если еще попадался шофер, любящий и знающий город, то об их диалогах можно было написать интереснейшее повествование. С таким шофером расставались друзьями, вручалась крупная купюра. Приехав домой, он делился впечатлением с членами нашей семьи, а затем заодно расхваливалось угощение хозяйки дома.

В трамвае он никогда не ездил, но однажды, возвращаясь из ЗИНа, никак не могли поймать "таксишку", было очень холодно и путь был весьма недалек, я его уговорила сесть в трамвай. И надо же случиться, что ему в трамвае оторвали пуговицу. Сколько раз об этом моем преступлении рассказывалось разным людям! Если собирались куда-нибудь совсем близко (например, к Граниным), иногда шли пешком. Он бежал вперед, затем быстро возвращался к нам и опять убегал вперед.

Всякий приезд в Ленинград читались в разных учреждениях (ЗИН, БИН, ВИЭМ, ЦИН и т.д.) и даже в каких-то важных военных организациях лекции, были встречи с многими людьми, возникали бесконечные споры. Он считал, например, что главными науками в биологии являются зоология и ботаника, а биофизика и биохимия как "приборы" к биологии. К "приборам" Николай Владимирович относился несколько настороженно. Главное ГЛАЗ. Он, входя в "счетную комнату" в Миассове, видя нас считающими при помощи логарифмической линейки, всякий раз восклицал, вероятно, не очень всерьез: "И как это вы умеете справляться с ней?" Он поражал своими знаниями в разных областях, памятью, анализом. Поражала также его внутренняя свобода, раскрепощенность, он никого и ничего не боялся и высказывал перед малознакомыми и часто нечистоплотными людьми свое отношение к происходящим событиям, отдельным людям – то, что произносилось многими шепотом, с оглядкой на присутствующих. В спорах всегда побеждал. Помню одну встречу с М.Е. Лобашевым (зав. кафедрой генетики ЛГУ).

Я прибежала из соседней комнаты, услышав очень громкие голоса Лобашева и Николая Владимировича. Весь красный, яростно кричал Лобашев: "Учитель! Ты неправ!", на что Николай Владимирович, еще более разъяренный, орал: "Ну что ты за чушь говоришь, а еще профессор!" Кончилась эта вспышка, как и в других случаях, в конце концов полным примирением.

Тимофеевы-Ресовские любили ходить в гости и принимать у себя. Я часто при этом присутствовала. Всегда было интересно, весело, тепло.

Помню визит академика А.Л. Тахтаджяна, когда оба за бутылочкой и вкусным чаем мечтали о поездке на Кавказ, где такие очаровательные гурии!

Как-то в Ленинград приехала из Англии читать в университете лекции по генетике известный генетик Шарлотта Ауэрбах. Лекции были очень интересными, их безукоризненно переводила Р.Л. Берг. Будучи у нас, они с Николаем Владимировичем вспоминали их встречи в Бухе, причем Шарлотта восхищенными, полными любви глазами смотрела на обожа-

емого ею Николая Владимировича. (В "Зубре" небольшая неточность – они виделись в Ленинграде много раньше), их встреча на конгрессе в Москве была через 45 лет разлуки.

Николай Владимирович был очень пунктуален, если мы были приглашены куда-нибудь к 7 ч, то он начинал задолго волноваться: "Не пора ли вызывать таксишку, мы опоздаем" и т.д. На наши уверения, что никто точно не приходит, можно и к 8 и к 9 ч, он приходил в ярость: "Это неприлично, раз зовут к 7 ч, надо соблюдать порядок, быть вежливым". К сожалению, мы почти всегда оказывались правы, обычно приезжали первыми и долго ждали остальных.

Тот же порядок был в его кабинете и вообще дома. Чуть сдвинутая книга сразу занимала свое положение. Большой письменный стол был свободен, нигде ничего не набросано. Так же и в других комнатах. По-видимому, к этому "руку приложила" Елена Александровна – порядок был у нее в крови.

Помню и такой эпизод. В Ленинграде было совещание, посвященное Н.И. Вавилову. Приехали много гостей, среди них и известные иностранные ученые. В один из этих дней в ЗИНе состоялась защита докторской диссертации В.С. Кирпичниковым. Зал был полон. Я пошла в вестибюль встречать Николая Владимировича. Вдруг дверь распахнулась, и в распахнутой шубе, с развевающимся теплым шарфом ворвался Николай Владимирович, а с ним еще два человека: Г. Штуббе – президент Академии с.-х. наук ГДР и крупнейший шведский генетик-селекционер О. Густафсон. Они вбежали вслед за Николаем Владимировичем в зал заседания, были притащены дополнительные стулья, поставленные впереди всех рядов, и защита началась. Это был настоящий праздник науки: блестящий доклад, много выступлений, среди них и прибывших гостей. В зале как будто присутствовал Н.И. Вавилов.

Не помню, в тот ли же день "гости", которые присутствовали на защите, и еще кто-то были приглашены к Д.А. Гранину. Там мы застали приехавшего тоже на вавиловский юбилей Жореса Медведева. За столом я сидела рядом с ним. Напротив – Штуббе в окружении незнакомых мне людей... Я спросила у Жореса, кто это рядом со Штуббе? Жорес на ухо мне шепнул: "Стукач!" После ужина оживленная беседа продолжалась уже в кабинете Даниила Александровича. Затем гости уехали в свою гостиницу, "стукач" же остался. Я спросила его, в какой гостинице он остановился. И на чистом русском языке мне было сказано, что живет он на Лиговке в коммунальной квартире! Оказалось, что это Л.Н. Гумилев, который пришел к Гранину по поводу какого-то вопроса о могиле А.А. Ахматовой. Медведевский "стукач" был по другую сторону от Штуббе. Как всегда, и в этот вечер тоже заводилой был Николай Владимирович и, пожалуй, Густафсон. Они много вспоминали о своих прежних частых встречах.

Мне приходилось видеть, как Николай Владимирович писал свои работы. Он обыкновенно размашистым шагом ходил взад и вперед по комнате и размеренным голосом диктовал Елене Александровне, не забывая от-

мечать и знаки препинания. Например, идет текст, затем пиши – запятая, нет, точка с запятой и т.д. Текст не перечитывался, корректура не правилась. Очевидно, все было так досконально продумано, что больше ничего не надо было делать.

Его отношение к отдельным людям было очень уважительным, теплым, дружелюбным, но настоящей близости, как я ее понимаю, я не замечала. Конечно, "Лёлька" с лихвой заполняла эту брешь целиком. Иногда мне приходила мысль, что если бы не она, смог бы Николай Владимирович достичь таких научных вершин. Несмотря на полную противоположность характеров, они составляли одно целое. После возвращения из Германии, когда Николай Владимирович после лагерей стал плохо видеть, она была его глазами: писала работы, читала, вела переписку и пр. Она была очень внимательна к людям, к ней всегда приходили за советами, делились своими бедами. С присущим ей оптимизмом она умела успокоить, вселить надежду. Ее воспитанность, интеллигентность, манера держать себя просто, раскрепощенно выделяли ее среди окружающих ее женщин, она была "дамой". Но, как и Николай Владимирович, совсем близко она выделяла, пожалуй, только Н.В. Реформатскую и свою племянницу Таню Кисловскую. Близкой им обоим была чета Ивановых. Владимир Ильич – замечательный человек, прекрасный ученый, так же как и его жена Таня, были настоящими друзьями Тимофеевых. Начиная со студенческих лет Володя всюду следовал за ними (Свердловск, Миассово, Обнинск), сформировался в окружении их семьи. Особенно это ощущалось в период их жизни в Обнинске. По всякому поводу: деловому, личному (особенно Е.А.) – обращались к Володе: "Вот надо поговорить с Володей, он скажет, как надо поступить". Таня приняла последнее дыхание Елены Александровны. Я считаю, что и в "Зубре", и в фильме "Рядом с зубром" эта дружба и роль Ивановых в жизни Тимофеевых очень неполно раскрыта.

Когда, получив известие о смерти Елены Александровны (кстати, мы никогда не думали, что она уйдет раньше его), я прилетела в Обнинск, Николай Владимирович крепко меня обнял, долго не отпускал и горестно, совсем по-детски плакал. "Это не одна смерть, здесь две смерти", – сказал он. Это действительно были две смерти. Николай Владимирович стал совсем другим. Он много лежал, молчал, почти перестал ездить в Москву, говорил: «Наука мне надоела, лучше лежать и читать "дефективы"». Особенно любил Агату Кристи. Его уговаривали переехать в Москву, в Обнинске почти не осталось близких, но он категорически отказался: "Я никуда от Лёльки не поеду".

Несколько оживил его Генетический конгресс. Очень хорошо написано Граниным в "Зубре" о присутствии на нем Николая Владимировича. Конечно, продолжались и консультации, и писание книг, и поездки на пароходе, и разные встречи, но в основном это уже был не тот могучий человек.

Дважды, приезжая в Ленинград, Николай Владимирович серьезно болел. Первый раз, садясь на вокзале в такси, он упал. Оказалась очень

высокой температура. Кстати, на вопрос: "У Вас температура?" – он отвечал: "Я еще не покойник". Оба раза требовался больничный режим. Организовывались дежурства, первое время круглосуточные. Первое заболевание было еще при жизни Елены Александровны. Дома готовилась пища, и Елена Александровна уходила на длительное время к нему. Болел он трудно, для него это было непривычное занятие. Однако, следуя своему принципу, что "все надо делать по закону", он выполнял все предписания врачей, например беспрекословно глотал все лекарства. Даже в начале болезни, при очень тяжелом состоянии, обращал всеобщее внимание на себя. Поправляясь, начинал "просвещение" больных и врачей. Зав. отделением профессор Алмазов часами беседовал с ним на разные, в том числе и на медицинские, темы. Оказалось, что Николай Владимирович хорошо знал сына известного медика, профессора Ланга, именем которого была названа большая клиника больницы. Сын жил за границей, там встречался с Николаем Владимировичем. Беседы с профессором Алмазовым продолжались и после болезни, уже дома, за чаем.

Еще хочется сказать добрые слова об академике О.Г. Газенко. Последнее место работы, когда Николай Владимирович был бесстыдно уволен из Обнинска, – это Институт, возглавляемый Олегом Георгиевичем. В последние годы жизни Николай Владимирович почти не принимал формального участия в работе Института, где числился консультантом. Некоторые сотрудники обвиняли директора за то, что он держит у себя Тимофеева-Ресовского. На что Олег Георгиевич отвечал, что он любого уволит, но не его. Известно, что Обнинское руководство резко отрицательно относилось к Николаю Владимировичу, приписывая ему бог знает что. Они даже решили устроить прощание в морге. Но приехал генерал Газенко и все встало на свое ~~место~~. Панихида состоялась в конференц-зале Института, были музыка, речи, обилие цветов. Сам О.Г. Газенко рассказал, какую огромную пользу Н.В. Тимофеев-Ресовский оказал его Институту и лично ему. Речь была очень проникновенной и по-человечески теплой.

АННА БЕНЕДИКТОВНА ГЕЦОВА (1909–1992) – гидробиолог, энтомолог. Работала в области радиационной гидробиологии с Н.В. Тимофеевым-Ресовским с 1959 г.

Л.А. Блюменфельд

ОЧЕНЬ КОРОТКО О Н.В. ТИМОФЕЕВЕ-РЕСОВСКОМ

В первый раз увидел и услышал Николая Владимировича в 1956 г. на знаменитом "капичнике" в Институте физических проблем, где он и И.Е. Тамм впервые за многие годы развернули перед московской научной аудиторией грандиозную картину современной генетики. Затем я встретился и подружился с ним в Миассове. Общение с Николаем Владимировичем на миассовских "трепах", во время семинаров на Можайском море, Клязьминском водохранилище, в Дубне, в Обнинске сформировало мое "биологическое мировоззрение". Особенно сблизились мы в последние годы, когда в дни его регулярных приездов в Москву из Обнинска он часто ночевал у меня дома. Долгие ночные разговоры о науке и религии, о людях, о прожитой им прекрасной и страшной жизни навсегда останутся в моей памяти.

Если попробовать возможно более коротко сформулировать главное, что отличало Николая Владимировича от нас, от всех людей, с которыми мне довелось встретиться на протяжении уже довольно многих прожитых лет, то, пожалуй, можно сказать так: он был полностью свободным человеком и оставался им при любых обстоятельствах.

Он всегда был самим собой, что, как известно, так и не удалось герою великой пьесы Ибсена "Пер Гюнт" (альтернатива: быть самим собой или быть довольным самим собой). Я не нуждаюсь ни в каких свидетельствах, ни в каких документах. Я (и все близкие к Николаю Владимировичу люди) точно знаю: в гитлеровской Германии, в сталинских лагерях, в уральской шарашке он оставался внутренне свободным, порядочным человеком.

Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне более 20 лет общения с ним.

Эти стихи были написаны и подарены Николаю Владимировичу в дни его 60-летию (в Москве, на квартире А.А. Ляпунова) и 80-летия (в Обнинске).

1960 г.
(не без влияния Корнея Чуковского)

Услыхали физики про митоз,
И решили физики – наш вопрос!
Не пойти ли нам, друзья, в биологию?
В нашей физике давно
Всё изучено,
В биологии темно –
Это к лучшему.

Все проблемы разберем
Мы заранее,
Математиков возьмем
Для кампании.
И поехали...
Кто сосет со всех сторон редубликацию,
Кто сует во все вопросы информацию,
Кто, Сент-Джорджи не избегнувши влияния,
Пребывает в возбужденном состоянии,
И иные, издеваясь над студентами,
Тихо давят их магнитными моментами.
А в углу шум и гам,
Говорят Тум и Тамм:
Психология, ботаника, генетика...
Все проблемы разрешит кибернетика!
В десятичной и двоичной сосчитал – и с плеч долой!
Мы и сами все с усами,
А, коль надо, с бородой.
Едут и смеются, формулы жуют.
Вдруг из-под Свердловска страшный великан:
Николай Тимофеев-Ресовский.
Он им пальцем грозит,
Низким басом говорит...
И сказал Николай Владимирович:
"Не болтайте-ка, товарищи, пустого,
Приезжайте-ка вы летом в Миассово.
Мы устроим вас получше,
Биологии обучим,
И вы сможете опять
Ваши формулы писать –
Может, что-нибудь у вас и получится!

———*———

1980 г.

Известно всем: в начале было Слово.
Важнее Слова вещи в мире нет.
Мы Слово услыхали в Миассово
Тому назад уж двадцать с лишним лет.

Ведь человек и суетен, и грешен,
Не отличает в слепоте своей
Немногие существенные вещи
От многих несущественных вещей.

Чему Вы только нас ни обучали,
Но если все до афоризма сжать,
То главное: и в счастье и в печали
Существенное в жизни отличать.

*

А это пели в Миассове летом 1962 г.

Биофизик, это буду я!
Граждане, послушайте меня!
Пятый раз я еду снова
На малину в Миассово,
Там идет большая трепотня.
Первым речь держал блатной Лучник,
Я к нему уже давно привык,
Он и Ратнер этим летом
Все распутали триплеты,
Что не сделал даже Беня Крик.
Я устал от лишних хромосом –
Два часа сплошной Эфроимсон.
В радиобиологии
Парибок с Парибогиней
Задавали этим летом тон.
Если вдруг придется в жизни нам
Отличать мужчин от милых дам,
После миассовских прений
Мы без всяких затруднений
Отличить их сможем по слюням.
Просвещать биологов готов
Теоретик Леня Кобелев.
Кроме ручки и бумаги,
Он ни в чем не копенгаген,
Просто знает много умных слов.
За докладом следует доклад,
Все без передышки говорят,
Только милые девицы,
Молодые "керкисицы",
Как воды набравши в рот, молчат.
Тимофеев треп наш заключил,
Все, что надо, вскрыл и обобщил,
И теперь скажу я снова:
До свиданья, Миассово,
Я тебя навеки полюбил!

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛЮМЕНФЕЛЬД. 1921 год рождения, г. Москва. Доктор химических наук, профессор. Главный научный сотрудник Института химической физики АН СССР, профессор кафедры биофизики физического факультета МГУ (с 1959 по 1989 г. – зав. кафедрой биофизики). С Н.В. Тимофеевым-Ресовским близко знаком с 1959 г. На кафедре биофизики физфака МГУ по приглашению Л.А. Блюменфельда Н.В. Тимофеев-Ресовский читал курсы лекций по биофизике, генетике и биоценологии.

А.А. Ярилин

ВЕЧЕРАМИ У ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО

В 1966 г. я, работавший тогда в Горьковском медицинском институте, собрался поступать в аспирантуру в лабораторию иммунологии Института медицинской радиологии, к К.П. Кашкину. Об этом случайно стало известно физиологу Т.Е. Калининой, которая бывала в Миассове, знала Н.В. Тимофеева-Ресовского и его окружение. Она сказала мне, что Николай Владимирович работает в Обнинске как раз в этом Институте, и обрисовала мне его и его историю так красочно и эмоционально, что я впал в длительное возбуждение и пересказывал услышанное своим знакомым. Имя Тимофеева-Ресовского я уже заприметил в книгах по радиобиологии: казалось непонятным и таинственным, что в библиографических списках значились целые столбцы ссылок на автора с русской фамилией, начертанной латинскими буквами. Рассказ Т.Е. Калининой все прояснил.

Самое большое мое везение состояло в том, что лаборатория иммунологии, как совершенно одинокая в Институте, была включена в отдел общей радиобиологии и генетики, который возглавлял Н.В. Тимофеев-Ресовский. Даже экзамен по специальности у меня принимали вместе с К.П. Кашкиным   Ж.А. Медведев и А.Н. Тюрюканов, сотрудники отдела, из которых второй был одним из ближайших учеников Николая Владимировича.

Попав в Институт, я изнемогал от нетерпения увидеть Тимофеева-Ресовского и просил сослуживцев непременно показать мне его, на что они отвечали: "Нечего показывать – сам догадаешься". И верно – показывать было излишне: никто не мог так выглядеть, так ходить, так говорить, как он. Помнится, я увидел его впервые стремительно вышагивающим, отчаянно размахивал руками, по аллее, ведущей к корпусу, в котором он работал. При его появлении все перегруппировывались таким образом, что центром внимания, почтения, любопытства неизменно становился он.

Это случалось каждый день уже по дороге в Институт. У него было собственное место в служебном автобусе – сзади, над колесом. Елена Александровна располагалась где-то впереди. Он же сосредоточенно, иногда хмуро усаживался на свое возвышенное место, и его соседями часто оказывались случайные люди, которые почти всегда попадали впросак, начиная несколько принужденный разговор с вопроса о здоровье. Он или взрывался возмущением (он всегда был здоров и болезнь считал бездельем), или, выражая ту же мысль, вышучивал незадачливого собеседника. Неопытным людям лучше было в таких случаях молчать. Впрочем, иногда он мирно и живо беседовал с попутчиками.

Наконец, наступил момент моего знакомства с Николаем Владимировичем. Произошло оно довольно нелепо. В Обнинск приехал мой земляк Г. Гузеев, который мечтал заняться генетикой. Он был настойчивым парнем и упросил меня свести его с Николаем Владимировичем. Хотя это было странно – знакомить с человеком, которому сам не представлен, я пошел на это (все-таки я уже числился сотрудником его отдела) и все, слава Богу, прошло благополучно – все знакомства состоялись. Всерьез я предстал перед ним во время моего доклада по будущей тематике моей работы. Она была посвящена антигенам гистосовместимости, и в докладе я изо всех сил старался акцентировать внимание на генетических аспектах проблемы. Уже тогда в генетике гистосовместимости были моменты, которые, с точки зрения классической генетики, выглядели в некоторой степени еретическими. Разумеется, говорить о вещах, как бы колеблющих традиционные устои генетики, но недостаточно твердо установленные, начинающему исследователю (да еще не генетику) едва ли стоило в той ситуации, но я отчаянно бросился в эту пучину, был бит, но не сильно – скорее получил несколько чувствительных, но шутливых щелчков – и оставил в общем благоприятное впечатление. Из того первого урока я вынес правило обсуждать с Николаем Владимировичем по возможности те научные вопросы, которыми я занимаюсь непосредственно и досконально знаю, и поменьше умничать на генетические темы, в которых я – дилетант.

Думая, что я получил от общения с Тимофеевым-Ресовским и пребывания в его отделе все, что можно было получить для формирования общебиологических взглядов и пополнения слабого биологического образования. Я не пропускал его докладов, семинаров и конференций в его отделе, ездил на летние школы на Можайское море и в Аксаково. Бесценными для меня были его лекции-семинары для маленькой группы негенетиков из его отдела, готовившихся сдавать кандидатские экзамены по специальности. Это была его инициатива, реализована она была с неизменной полнотой и добротностью; кажется, никакие другие лекции в жизни не были восприняты и усвоены мною так полно, как эти. Но во мне осталось твердое убеждение, что мое научное общение с Николаем Владимировичем было неполным и главного я от него не получил: учительства не в общенаучном или общекультурном плане (это было с избытком, если можно говорить об избытке в таком случае), а в области моей спе-

циальности. Но этого и не могло быть: Н.В. Тимофеев-Ресовский был далек от иммунологии. Я же ни в коем случае не хотел приставать к нему с разговорами на далекую для него тему, даже много позже, когда общение наше стало постоянным, а беседы – бесконечными. И все-таки несколько раз иммунология всплывала в наших разговорах, и я неизменно поражался, до какой степени точно он выделял самое существенное в чужой науке. Он, например, ясно понимал, что иммунология сделала своим основным предметом учение о соответствиях, сродстве, распознавании, причем с биологической точки зрения наиболее интригующей и трудной является проблема генетического обеспечения фантастического разнообразия антител (к сожалению, он не успел узнать о реанжировке генов антигенраспознающих структур и других открытиях иммуногенетики, которые произошли уже после его смерти). Возможно, важную роль в безошибочном выделении главного в далекой от него науке сыграли беседы с такими иммунологами, как Р.В. Петров и К.П. Кашкин, но я все-таки вижу здесь проявление его фантастического умения с первого взгляда выделять в любой проблеме самое существенное.

Все это было важно для меня при попытках по прошествии уже немалого времени определить для себя место, которое было уготовано мне относительно (не могу подобрать иного слова) Николая Владимировича. Это – не суетные заботы человека, греющегося у чужой славы. Таких в его окружении, по-моему, было мало. Но он был в нашей жизни, и мы понимали важность для нас его присутствия. Нам по сей день важно определить собственное место в его окружении. Так вот: мое место не было связано с наукой. В чем оно состояло, я надеюсь показать в дальнейшем изложении.

Обнинск тех лет (конец 60-х годов) был прекрасным городом, где жила свободная мысль, люди общались, думали. Отдел Николая Владимировича был типичной частью этого города. Это был многонациональный ковчег, в котором собрались люди (в большинстве – молодые) со всей страны и очень интенсивно работали – буквально не зная дня и ночи, выходных и праздников. У меня – сотрудника как бы "боковой" лаборатории – был ряд преимуществ: я мог во всем участвовать, со всеми дружить, не вдаваясь в проблемы и трудности взаимоотношений (они были). Многие сотрудники отдела остаются моими друзьями по сей день.

На основе молодежного дружеского общения возникла та затея Николая Владимировича, которая и позволила мне реально приблизиться к нему, а потом близко сойтись и подружиться. В 1967 г. в связи со сменой комсомольских билетов была переаттестация молодых сотрудников отдела с особым акцентом на их "общественной активности". Будучи в меру общительным, я тем не менее всегда старательно избегал официальных проявлений общественной работы. В этом я и был уличен на переаттестации. Происходила она в кабинете Николая Владимировича в присутствии верхушки отдела. Тут Николай Владимирович спросил: "Но ведь чем-нибудь, он, наверное, интересуется?", на что К.П. Кашкин ответил, что интересуюсь я, например, искусством. На это тот сказал мне: "Так

давай устроим трепы на разные темы, касающиеся искусства, для молодежи у меня дома, например, по субботам". Я, конечно, согласился. Так появились "субботние трепы". Это было в конце апреля, а 6 мая 1967 г. мы собрались в первый раз. Я сделал доклад о старых полифонистах. Я очень волновался и готовился очень старательно. Вечер удался, и мы стали собираться примерно раз в три недели.

У меня сохранился листок, напечатанный летом 1968 г. по случаю 25-го нашего собрания. В нем сказано несколько строк об истории "субботних трепов" и перечислены те 25 заседаний (после этого их было еще 15–20). Преобладали доклады на музыкальные темы, но были также вечера, посвященные живописи, архитектуре. Время от времени делались доклады и на научные темы, при условии, если они не были прямо связаны с нашими профессиональными интересами – об эвристике, науковедении, этногенезе, обзоры растительного и животного царств, царства минералов.

Бывало это так. В положенный час (часов в шесть) молодежь отдела и сочувствующие старшие собирались у Тимофеева-Ресовского в проходной комнате, где стоял знаменитый длинный раскладной (никогда не складывающийся) стол. Впрочем, публика вела себя вольно и оккупировала также соседнюю комнату Николая Владимировича, располагаясь на диване под фотографиями, акварелями, репродукциями с картин Врубеля, Филиппо Липпи. С полок брались книги – это как бы исходно было позволено, поэтому спрашивать разрешения не требовалось. Так продолжалось и во время докладов – кто-то смирно сидел за столом, а кто-то в соседней комнате листал книги. Негласно признавалась запретной только комната Елены Александровны, которая во время докладов не всегда сидела с нами за столом, а выходила только к чаю, причем располагалась всегда в торце стола у прохода. Место Николая Владимировича было на противоположной стороне стола. Рядом сажали докладчика и еще когонибудь, особо выбранного (обычно лицо женского пола).

Музыкальная тематика была удобна тем, что под рукой был проигрыватель (весьма скромная по качеству звучания "Ригонда") и пластинки, можно было говорить не очень много, а больше слушать. Очень важно, что наши "трепы" на темы искусства были принципиально непрофессиональными – любитель рассказывал другим любителям о том, что он любит и, зная, возможно, не лучше других, но потрудившись, обобщал и иллюстрировал. Поэтому вовсе не требовалось умничать и выходить за пределы собственной компетенции, что, конечно, было симпатично, естественно, и сближало всех. Думаю, что именно поэтому вечера прижились, были очень любимы всеми нами и сейчас вспоминаются с удовольствием. Конечно, в том, что установился такой стиль общения, основная заслуга принадлежит Николаю Владимировичу, хотя он специально ничего не устанавливал и никаких правил не предписывал. Важна была невозможность фальши и важничанья в его присутствии, дух искреннего интереса, естественности, взаимного уважения, который он порождал.

Докладчики у нас были в основном свои. Только однажды для сообще-

ния о минералах пригласили сотрудницу другого обнинского института (А. Летову), которая после этого вошла в наш кружок под именем "каменная дама". Хотя много было интересных и запомнившихся докладов, самыми интересными были реплики и вставки (иногда обширные) Николая Владимировича. Внимательно слушая докладчика, он, вдруг, извинившись, "встревал" и, отталкиваясь от какого-то конкретного момента, мог затем отдалиться в сторону достаточно сильно – к великому нашему интересу. Как правило, эти вставки имели более или менее личный характер. Он или иллюстрировал нечто на примере прямых своих контактов с людьми, о которых шла речь, или о своих данных впечатлениях и наблюдениях, или, наконец, высказывал собственные суждения по рассматриваемому предмету. Я помню, например, яркие его тирады по поводу последней сонаты Бетховена, мастерства оркестровки Римского-Корсакова.

Вершинами "субботних трепов" были его собственные доклады. Он их сделал довольно много – "Концертное творчество Шаляпина", "Оперное творчество Шаляпина", "Фортепьянные концерты Рахманинова", "Леонардо да Винчи", "Этногенез", "Научная информация", "Обзор животного царства". Помню ошеломляющее впечатление от доклада о Леонардо, на которого у Тимофеева-Ресовского был свой взгляд, свободный от груза традиций и многочисленных шаблонов, причем в равной степени неожиданным было рассмотрение Николаем Владимировичем научного и художественного творчества Леонардо. Материал преподносился так, что все было не только ново и интересно, но и волновало. Как-то я пришел перед одним из его докладов немного раньше обычного и присутствовал при последних минутах его подготовки, точнее, сборов, так как доклад, конечно, был давно готов. Он с сумрачным видом (эта сумрачность была проявлением сосредоточенности) расхаживал по комнате с обычной тяжелой стремительностью, размахивая руками – собирал мысли. Все было так серьезно, как если бы ему предстояло выступать на конгрессе. Ту же степень серьезности я наблюдал однажды перед приездом к нему для какого-то научного разговора мальчиков-десятиклассников. Меня сражала и восхищала эта ответственность, серьезность и полное напряжение сил перед выступлениями любого ранга – и прежде всего перед ни к чему не обязывающими, как будто пустяшными выступлениями.

Основная часть вечера у нас длилась обычно часа полтора. После этого был чай. Сидевшим одесную и ошую чай давался "по блату, без обмана", т.е. крепкий, не разведенный кипятком. Угощение было скромным – бисквиты, кексы, крекеры и проч. Разговор становился вольным, но никогда – праздным. Обычно он отталкивался от основной темы вечера. Иногда Николай Владимирович "исполнял" особый род рассказов, основанных на действительных событиях, но подвергнутых обработке, в результате которой они, не становясь литературными, приобретали завершенность, отточенность, своеобразную художественность. На мой взгляд, лучшим примером таких рассказов Николая Владимировича была история, посвященная судьбе пианистки Лотар-Шевченко (этот рассказ знают

многие, причем знавшие саму Лотар-Шевченко (например, Н.А. Ляпунова) свидетельствуют, что, придерживаясь реальных фактов, Николай Владимирович несомненно трогал картину своей кистью; судя по мемуарам, нечто подобное таким устным историям рассказывала А.А. Ахматова). Бывало, что за чаем тоже слушали музыку, но уже менее серьезную – "Калитку", хор донских казаков (Жарова). О служебных делах не говорили.

Хозяйкой стола была Елена Александровна, которую все очень почитали и любили (кажется, наиболее постоянный наш упрек Д.А. Гранину состоит в том, что он уделил ей недостаточно места в книге). Елена Александровна всегда активно участвовала в разговоре, иногда сдерживала его наиболее неистовые речи (укоризненное: "Колюша!"). Представляю, какой обузой должны были быть для нее эти наши довольно частые сборища! Но она была тактична, и создавалось впечатление, что наши набеги ничего, кроме удовольствия, ей доставить не могут. Я даже, признаться, не помню, были ли у нас какие-нибудь обязанности по подготовке к вечерам, покупали ли мы сами что-нибудь. Посуду, конечно, после себя мыли. Уходили обычно разом, возбужденные, с гвалтом.

Частью программы кружка были и наши массовые выезды на институтском автобусе на экскурсии в Суздаль, Владимир и другие города. Помню, ездили как-то в Третьяковку, предварительно договорившись с Марией Александровной Реформатской, и она рассказала нам об иконах XII в. так, что я до сих пор помню в деталях.

"Субботние трепы" разделили судьбу других культурных начинаний Обнинска, которые были разгромлены на рубеже 60–70-х годов. Обстановка тогда мрачнела на глазах. Решающим событием стала смена партийного руководства города. Новый лидер оказался деспотичным, бесцеремонным человеком, для которого в унижении интеллигенции заключалось, кажется, особое наслаждение. Должен признаться, что я плохо знаю начальную – весьма драматическую – часть отношений Николая Владимировича с новым начальством. Действия по отношению к Николаю Владимировичу были, конечно, частью общей репрессивной деятельности, направленной даже не против свободомыслия, а против интеллекта во всех его проявлениях. Тогда же были разогнаны "физики, которые шутят". Существенную роль в расправе с отделом Николая Владимировича сыграло присутствие в нем Ж.А. Медведева, особо нежелательной фигуры в те годы. Чем это закончилось, хорошо известно – отдел был в 1970 г. закрыт, Николай Владимирович отправлен на пенсию.

На нашем кружке отразились все этапы этой истории. Директор института Г.А. Зедгенидзе относился к Тимофееву-Ресовскому с симпатией, но вынужден бывал (по правилам, принятым у директоров) совершать поступки, направленные против него. Интересно, что кружок воспринимался в той ситуации достаточно серьезно, вовсе не как мелочь. Утверждают, что в высших городских, в особенности партийных, сферах кружок воспринимался как поле, на котором происходит реальное и действенное приложение "нежелательного" влияния Николая Владимировича на

молодежь (надо отдать должное их проницательности). Шутили, например, так: "Кто знает, может вы там атомную бомбу делаете?" Участники кружка были людьми, занимающими низшие ступени научной иерархии, и участие в нем никак не сказывалось на наших служебных делах, но советы прекратить все это давались постоянно.

Своеобразную попытку защитить нас предпринял Г.А. Зедгенидзе. С разрешения Николая Владимировича он направил на наши заседания своих делегатов (сотрудников отдела), которые одновременно были и как бы новыми членами кружка и в то же время людьми со стороны, если угодно – контролерами. Это были вполне приличные люди, они порядком скучали на наших заседаниях, но нам не мешали и вреда нам не причиняли. Позже этого оказалось недостаточно и было объявлено, что создается объединенный кружок, который будет собираться в отделе Г.А. Зедгенидзе. Даже эта акция была проделана достаточно тактично, хотя нам было ясно, что дело идет к концу. Я помню два интересных вечера из этого периода, посвященные Бетховену (рассказывал Б. Чадов) и грузинскому хоровому пению (докладчиком был сотрудник, прикомандированный к Г.А. Зедгенидзе из Тбилиси).

Именно в ту пору в "Комсомолке" неожиданно появилась маленькая заметка, в которой говорилось о том, как замечательно, что большие ученые так серьезно занимаются воспитанием молодежи: далее в ряду таких имен, как П.Л. Капица и Н.Н. Семенов, назывался Н.В. Тимофеев-Ресовский и коротенько говорилось о нашем кружке. Эта заметка произвела положенное ей действие: в Институте насторожились, задумались, как будто озадачились, но потом направили в газету человека для разъяснения ситуации (которая, конечно, была ясна автору заметки, писавшему ее с вполне определенной благородной целью). Разумеется, у автора были неприятности. Много лет спустя автор заметки Я.К. Голованов рассказал мне ту половину истории, которая была мне до того неизвестна.

Но было уже ясно, что наши "трепы" закончились. Вечера становились все официальнее. Когда ситуация в отделе драматизировалась окончательно, наши собрания прекратились. Очарование их довлело над нами многие годы. Их насильственное пресечение придавало им романтический ореол. У всех нас была мечта возобновить их при первом удобном случае. И мы сделали это в 1973–1974 годах, когда уже не было Елены Александровны. Однако все изменилось. Мы стали старше. Многие уехали из Обнинска (но, кстати, иногда приезжали на наши возобновленные вечера). Цель наша в значительной степени состояла теперь в создании для Николая Владимировича каких-то проявлений активности. Но, хотя вечера были неплохи, все было мило и естественно и нам никто на этот раз не мешал, это было "мертворожденное дитя". Возобновленный кружок просуществовал меньше года (было 4–5 вечеров). "Субботние трепы" могли случиться только один раз.

Период "субботних трепов" был временем моего первого сближения с Николаем Владимировичем. Происходило оно бурно. После нашего пер-

вого собрания, как-то очень расположившего ко мне Николая Владимировича, он пригласил меня домой "разбирать книги". Это был, пожалуй, самый типичный повод для начала неслужебного общения, который он практиковал. Разбирать его книги, особенно альбомы по искусству, было действительно занятием поразительно увлекательным, тем более что оно порождало разговоры на разнообразнейшие темы, многочисленные воспоминания Николая Владимировича. Так было и в тот раз. Тогда я услышал от него часть его семейных легенд; позже эта коллекция семейных рассказов многократно пополнялась, у меня даже сохранился нарисованный его рукой план их усадьбы в Конецполье. Некоторое время я как будто был болен от всей этой груды впечатлений, удивления, восторга, что, конечно, немудрено, если учесть, что первый встретившийся на моем пути всерьез крупный человек оказался столь мощной и яркой личностью.

После этого я (один и с женой) довольно систематично бывал у Тимофеевых-Ресовских. Я думаю, что все мы – друзья и поклонники Николая Владимировича – могли бы более умеренно дозировать наши визиты к ним; в нашей тяге к этому дому была и беззаботная эгоистичность. Ведь поток их посетителей был непрерывным, особенно в выходные, когда к ним приезжали визитеры из Москвы и других городов. Но они были так неизменно приветливы и так не чувствоваалось досады от посещений и посетителей, что хотелось верить в обоюдность удовольствия от наших встреч. Требовалось соблюдение только одного условия для визита – заранее предупредить хозяев звонком. В одном, пожалуй, следует всем нам отдать должное: зная, что Николая Владимировича смущает потенциальная разрушительная активность малых детей, мы старались по возможности не пичкать ими наших дорогих хозяев (если они сами не включали их в круг общения); однако дети всех людей нашего круга побывали-таки у Тимофеевых-Ресовских и – пусть смутно – сохранили о них память.

Иногда случалось, что Николай Владимирович специально звал меня "на знаменитость". Одно время к нему ездил Л.Н. Гумилев, в то время пытавшийся привлечь для объяснения генеза пассионарности и становления этносов биологические факторы и нуждавшийся в связи с этим в беседах с Николаем Владимировичем. Николай Владимирович очень высоко ценил и интеллект Л.Н. Гумилева, и его концепцию этногенеза, но не поддерживал его биологические интерпретации, и, насколько я знаю, совместной работы у них не получилось. Однажды Николай Владимирович сказал мне: "Заходи вечерком как бы невзначай, будет Гумилев, посидишь, послушаешь". Разумеется, я не заставил себя ждать. Что-то в этом роде бывало и позже.

После разгрома "субботних трепов" все пошло вкривь и вкось. Отдел закрыли. Ученики Тимофеева-Ресовского разъезжались из Обнинска. Именно в те годы он стал болеть и подолгу лежал в больницах. Не иначе как актом милосердия в той ситуации было принятие Николая Владимировича в Институт медико-биологических проблем на должность консультанта (Николай Владимирович до конца жизни сохранил благодар-

ность за это О.Г. Газенко, к которому относился с большим уважением и величал его – с долей юмора, конечно, – не иначе как генералом). Город и институт перерождались на глазах. Я в те годы увлекся другим кружком, образовавшимся около Общества охраны памятников, который тоже вскоре был с треском разогнан. В то время я реже бывал у Тимофеевых-Ресовских, хотя и из тех лет кое-что запомнилось, например встреча Нового, 1973, года, поездки с Николаем Владимировичем в Москву к окулисту. Дело в том, что мои друзья помогли устроить ему консультацию у замечательного окулиста М.М. Авербаха, который взялся отчасти скорректировать зрение Николая Владимировича. Для этого пришлось несколько раз ездить в Институт им. Гельмгольца. Тогда я впервые ознакомился с ритуалом переездов Николая Владимировича на электричках. В поезде занималось совершенно конкретное место в определенном вагоне, и пребывание на другом месте не мыслилось даже теоретически. После посещения окулиста мы ездили по книжным магазинам и магазинам грампластинок на такси с обязательными разговорами с таксистами (он почитал их за тяжелый труд) и одариванием их непомерными чаевыми. Потом эти поездки почему-то прервались, и лишь полгода спустя мы собрались возобновить их. Но произошла катастрофа – среди полного здоровья на Пасху в конце апреля 1973 г., только что проводив гостей, умерла Елена Александровна.

В те дни меня не было в городе, и когда я попал к Николаю Владимировичу, у него были все близкие. Он был почти невменяем. Видеть его подавленность и растерянность было очень трудно и совершенно непривычно. Он искренне недоумевал, как могла Елена Александровна изменить слову: они договорились, что он умрет первым. Те дни вспоминаются как нечто особенно тягостное. Усилиями большого числа друзей и почитателей были организованы похороны. Николай Владимирович очень беспокоился, выделено ли на кладбище рядом с Еленой Александровной место для него.

После похорон Николая Владимировича положили "на починку" в клинику Института медицинской радиологии. Помню, что в больнице решался вопрос о панихиде по Елене Александровне. Необходимо было заказать службу и оговорить непременное участие хорошего хора. Независимо друг от друга этим занялись мы с Татьяной Алексеевной Кисловской (в период похорон и ближайшее время после них основные заботы лежали на ней). Я в тот период изредка бывал в издательском отделе Московской патриархии и там мне помогли договориться о панихиде в церкви Ризоположения на Донской. Татьяна Алексеевна договорилась о панихиде в церкви Троицы на Воробьевых горах. Был выбран второй вариант (помню, меня тронула неловкость Николая Владимировича, связанная с необходимостью отвергнуть мой вариант).

Первая панихида состоялась в воскресенье на Фоминой неделе. Служба была замечательная по торжественности, прекрасно звучал хор. Священник, отец Василий, был очень внимателен к Николаю Владимировичу; он и позже с большим уважением относился к нему, и Николай

Владимирович платил ему тем же. Та панихида была очень важна для возрождения Николая Владимировича. Именно ее успех, то, что она соответствовала образу, мысленно нарисованному Николаем Владимировичем, более чем что-либо иное способствовало включению его в относительно нормальный жизненный круговорот. Эта традиция – заказывать панихиду в той же самой церкви – неукоснительно выполнялась ежегодно и продолжает выполняться по сей день. Только число имен, поминаемых на службе, все увеличивается. Не менее важной частью этой традиции является последующее посещение замечательного дома Надежды Васильевны Реформатской, которая сохранилась и после кончины Надежды Васильевны подвижническими усилиями Марии Александровны Реформатской и Глеба Геннадьевича Поспелова. Встречи и разговоры их в доме незабываемы; это – неотъемлемая часть некоего культа, сложившегося вокруг памяти Николая Владимировича, Елены Александровны, Надежды Васильевны и других замечательных людей этого круга.

Начался период жизни Николая Владимировича, в корне отличающийся от предыдущих: он оказался зависимым от окружающих его людей. Всю жизнь он не думал о быте: быт был организован Еленой Александровной. В связи с тяжелым дефектом зрения он в самом деле не мог себя обеспечить. С годами множились немощи: стало трудно передвигаться, развивалась сердечно-легочная недостаточность. Сын, Андрей Николаевич, настойчиво предлагал перебраться к нему в Свердловск, но Николай Владимирович ни за что не хотел покидать "Калуцкую губернию", прежде всего боясь отдалиться от Елены Александровны. К тому времени в Москву переселились его почти все ближайшие сотрудники, в том числе В.И. Иванов, несомненно наиболее близкий человек в семье Тимофеевых-Ресовских среди обнинцев. В Обнинске оставалась, правда, Е.Н. Сокурова, но что могла она одна? Периодически к Николаю Владимировичу приезжали с целью поддержать его в бытовом плане соратница молодых лет Е.И. Балкашина и невестка (жена его брата Виктора Владимировича); но он как-то настороженно относился к подобной опеке, ершился и, в конечном счете, обе замечательные женщины, не считая возможным навязываться, уезжали. Т.А. Кисловская, жившая в Москве, не могла, конечно, решить все проблемы (я помню, какой вымотанной она выглядела в то время). Правда, уборку в доме делала (за плату) энергичная и очень неглупая женщина – Прасковья Евтеевна (в обиходе – Паня), помогавшая еще Елене Александровне; очень почтительно относясь к Елене Александровне, она имела обыкновение ворчать на Николая Владимировича за его "барство", вплоть до прямых стычек с ним.

Тогда-то и пришло время действовать нам – друзьям Николая Владимировича, остававшимся в тот период в Обнинске. Мы организовали деловую группу, в которой были распределены обязанности по снабжению Николая Владимировича едой, поддержанию других сторон быта, наконец, по устройству его досуга, которого становилось все больше. Под этим "мы" я разумею прежде всего трех человек – Н. Горбушина, К. Склобовского и себя. В этом участвовали и наши жены, но, обременен-

ные семейными заботами (в каждой семье было по два-три ребенка), в качестве основного вклада в наше дело могли предложить лишь освобождение нас от части домашних дел. Мы условились о том, кто и когда покупает еду, кто отвечает за оплату коммунальных услуг, подписку, устройство в больницу, досуг и т.д.

Здесь следует рассказать о некоторых деталях обыденной жизни Николая Владимировича. Питание его было по преимуществу вегетарианским. Его основной пищей были молочные блюда, но жить без ряженки, сливок, сырков он решительно не мог и воспринимал отсутствие этих продуктов как драму. Меня восхищало его равнодушие к путям и средствам, какими добывалось все необходимое для его жизни. Мы как бы подписали с ним незримый договор, по которому обязались обеспечивать его существование необходимым минимумом, а он был вправе требовать качественного выполнения этих обязанностей. В нем не было ни тени нищенской психологии: если взялись за дело, извольте делать его единственным допустимым образом – хорошо, однако есть и другой вариант – отказаться от оказания помощи, и он тоже может быть свободно выбран. Как раз этой психологии и не могла понять и принять Паня.

В связи с этим уместно вспомнить об одном поражавшем меня в тот период обстоятельстве – обилие милосердия по отношению к Николаю Владимировичу со стороны совершенно чужих людей, более того – людей, превратно представлявших его судьбу и деятельность. В магазинах для него откладывались продукты (там знали, кто и когда за ними придет), на почте позволяли подписаться для него на лимитированные издания; тогда все интересное было лимитировано, в больнице сестры и санитарки относились к нему доброжелательно и спускали ему подчас даже резкости. Это, признаться, до сих пор мне не совсем понятно: разговоры о недостатке милосердия в наше время имеют серьезные основания, а тут милосердие проявлялось на каждом шагу, совершенно спонтанно, на разных уровнях. Может быть, дело тут в особости случая с Николаем Владимировичем, тогда как нам не хватает милосердия прежде всего рядового, обыденного? Но даже если так, то наши дела не безнадежны.

Из сказанного, по-видимому, ясно, что я считаю Николая Владимировича достаточно сложным, подчас трудным человеком. Это действительно так, и на таком отношении к нему я настаиваю. Мне известны случаи, когда он бывал несправедлив к своим близким и сослуживцам, слишком категоричен в суждениях, резок с оппонентами. Было больно видеть, как он иногда бывал незаслуженно резок с Е.И. Балкашиной, приезжавшей поддержать его.

Сложность его натуры была одним из ее достоинств. Вероятно, именно поэтому многих людей, хорошо его знавших, никогда не волновала тема апологии Николая Владимировича и с другой ее стороны – в вопросе о его позиции в Германии. Во-первых, никто не признавал за собой права задаваться вопросами относительно его позиций и поступков, во-вторых, зная его, никто не допускал, что в главном, принципиальном его жизнь и

дела могли быть двусмысленными и порочными. Впрочем, как показала суета последних лет, не грех было бы в свое время попристальнее присмотреться к этой теме, хотя бы для отражения атак сомневающихся, обвиняющих и просто негодяев, избравших его имя средством при своих махинациях. Я к этой борьбе оказался не готов, поскольку не запасся документальными свидетельствами, касающимися разных периодов его жизни. И я выражаю свое искреннее восхищение людьми, которые взяли на себя бремя этой борьбы (я имею в виду прежде всего Е.С. Саканян, Н.Н. Воронцова, Вал. И. Иванова, Влад. И. Иванова).

Я упоминал уже, что в 70-е годы Н.В. Тимофеев-Ресовский работал в Институте медико-биологических проблем. Вначале, примерно до 1975–1976 гг. он бывал в Институте два раза в неделю, работая на полставки. Ночевал он при этом у Л.А. Блюменфельда, который был для Николая Владимировича самым уважаемым из знакомых и близких ему людей послевоенной России; мне кажется, что Николай Владимирович всегда волновался, когда говорил об уме, душевных качествах Льва Александровича, о его кафедре, работах, книгах, наконец, о его стихах. Позже, когда Николай Владимирович не мог уже самостоятельно ездить в Москву, некоторые сотрудники Института стали ездить к нему в Обнинск. Будучи человеком в высшей степени ответственным к труду, да и просто к "службе", он старался быть полезным приютившему его Институту, не признавая за собой права на синекуру. Он смешно радовался, что внес вклад в социалистическое соревнование, дав своими публикациями много очков соответствующему отделу.

В связи с его работой в доме стал появляться новый человек, сыгравший несомненно очень важную роль в "жизнеобеспечении" Николая Владимировича в последние годы его жизни – Тамара Илларионовна Никишанова. За ее твердую деловитость, умение хозяйствовать и "держать дом" она получила как титул прозвание "барыня", и этот титул крепко прижился. "Барыня" приезжала в Обнинск чуть ли не два раза в неделю, и всегда в обеих руках ее были полные сумки провизии. Первоначально Тамара Илларионовна приезжала работать с Николаем Владимировичем над диссертацией, посвященной батату (отсюда первоначальное ее название "бататовая барыня"). Позже она ушла из Института, диссертация отпала, но Т.И. Никишанова как будто еще тверже стала руководить делами в этом доме. Доверие Николая Владимировича к ней было безграничным, в ней он видел свою главную и самую надежную опору. Он, очень упорно поддерживавший в доме традиционный порядок и уклад, мог принять любые изменения, которые она вносила, и эти изменения становились новым законом. Надо сказать, что Никишанова никогда не использовала своего влияния не на пользу Николаю Владимировичу. Он относился с вниманием к ее сыну Олегу, с интересом следил за его развитием, беседовал с ним и его другом о биологии.

Днем Николай Владимирович обычно бывал занят с кем-нибудь из приезжих, так или иначе работал. Вечер же был временем досуга, и он любил, чтобы кто-нибудь из нас был с ним. В последние годы эти вечера

стали особенно важными для него, потому что именно тогда он размышлял, вспоминал, думал о будущем (не только земном). Я проводил с ним 2–3 вечера в неделю. Сейчас они вспоминаются как часы тихого и очень серьезного общения (я вообще считаю эти вечера моим главным делом для Николая Владимировича, и если все мы на чем-то специализировались при нем, то я был специалистом по "тихому" Тимофееву-Ресовскому). Он очень не любил, когда от него уходили после таких бесед; предупреждать об уходе следовало за час до реального расставания. Непременным атрибутом вечеров было чтение вслух. Выбиралось что-нибудь из классики, а также периодика. Читали больше "спокойную" классику; горячо любимый им Достоевский никогда не читался вслух. Периодику вначале следовало разметить совершенно определенным образом: предназначенное для прочтения помечалось длинными хвостиками – простые галочки не годились. Из журналов чаще других читались "Природа", "Наука и жизнь", из чисто научных "Зоологический журнал", "Ботанический журнал", "Бюллетень МОИП", "Генетика". Чтение вслух Николаю Владимировичу было значительно более сложным делом, чем может показаться на первый взгляд. Не все проходили через "пробы". Для меня очень ценной была коррекция произношения и ударений, пройденная при этом занятии. На ошибки Николай Владимирович реагировал бурно, и, чтобы не подставлять себя под взрывы, приходилось все быстро усваивать. В сущности, он требовал соблюдения правил устной русской речи, пожалуй, несколько более жестких, чем те, которые приняты сейчас.

Чтение художественных произведений часто прерывалось рассуждениями и посторонними разговорами. При чтении газет ("Известия", "Советская Россия", "Советский Спорт") предпочтение отдавалось критическим статьям. Николай Владимирович верил в силу прессы. При нем было бесперспективно жаловаться на "бардак", царивший кругом; он мог возмутиться: «А что ты делаешь, чтобы бардака не было? Сядь и напиши в "Известия"! Сами во всем виноваты!». Ему было невозможно объяснить, что в тогдашних условиях (боюсь, что и в теперешних) борьба за правду неизбежно должна была поглотить все время и все силы, стать родом профессиональной деятельности и что приходится выбирать между этим занятием и основной профессией. И все-таки в подобных случаях у меня оставалось ощущение его правоты в главном: правда одна, и проходить мимо ее искажений безнравственно, а за "основную профессию" мы просто прячемся. Мне уже приходилось как-то говорить о восхитительной отваге Николая Владимировича, его нежелании рассчитать последствия небезопасных поступков. Это его свойство много раз проявлялось в критические периоды его жизни, он сохранил его до конца своих дней и огорчался, когда видел недостаток этого качества в близких ему людях. Он рвался в бой и требовал этого от других.

Сознание своеобразной ответственности перед ним влияло на наши поступки. Я, например, несколько раз отклонял достаточно жесткие предложения вступить в партию; при этом последним соображением была невозможность объяснить мотивы согласия Николаю Владимировичу

(он знал, что это не вытекало бы из моего мировоззрения). Николая Владимировича очень волновало ухудшение ситуации в стране – падение экономики, культуры, нравственности. Однако он с пиететом относился к государству как таковому, и "подрывная" деятельность менее всего была ему свойственна. Это не было тем союзом с системой, о котором пишет Г.Х. Попов; скорее это – проявление традиционного уважительного отношения к существующей власти, сохранившегося со времени, когда эта власть "была дана Богом".

Часто обсуждается вопрос о религиозности Николая Владимировича. У меня на этот счет нет никаких сомнений. Он был религиозен, хотя широко и демонстративно это проявлялось в основном в последнее десятилетие. Иногда он подчеркивал приверженность даже к букве религиозной традиции (католиков, например, величал схизматиками, не жаловал раскол), хотя формально его религиозность давно не была церковной. В его отношении к вере был очень силен естественнонаучный элемент, взгляд натуралиста. Это проявлялось во многих его рассуждениях на подобные темы – о размерности души, о взаимном распознавании душ. Эти рассуждения группировались вокруг основного его желания последних лет – встретиться с Еленой Александровной и другими близкими ему людьми. На этом фоне вполне естественна та жадность, с какой он буквально набросился на книгу Р. Моуди "Жизнь после жизни". Впервые с этой книгой ознакомил Николая Владимировича в моем присутствии А.И. Борисов, который привез сначала английский текст книги, а затем и русский перевод. Некоторое время все разговоры с посетителями сводились к обсуждению этой книги. Замечательно, что Николай Владимирович, в сущности, мысленно переписал ее, значительно усилив в ней естественнонаучный элемент. Он поделился своим увлечением с очень дорогим и авторитетным для него человеком – О. Цингером. В письме Цингера содержалось вполне естественное сомнение в нашем праве столь пристально заглядывать за порог смерти. Мысль о кощунственности подобного интереса, видимо, произвела впечатление на Николая Владимировича, и он довольно внезапно перестал обсуждать эту тему.

В своих разговорах Николай Владимирович часто касался тем культуры, интеллигенции, национальных проблем. Условно можно сказать, что он был умеренным славянофилом, если разуметь под этим предпочтительный интерес к отечественной культуре при повышенной критичности этого интереса и глубоком уважении ко всем прочим культурам и нациям. В этом вопросе у него не было и тени экстремизма. Воздавая должное русскому народу, он ясно видел его язвы и слабости. С неизменным уважением и восхищением он относился к старой русской интеллигенции, причем считал, что ее традиция не пресеклась и русская интеллигенция, несмотря ни на что, жива. Очень резко отзываясь об американском мещанстве ("среднем американце"), он не забывал упомянуть о замечательной американской интеллигенции, во многом похожей на русскую (в качестве примера обычно приводился Т.-Г. Морган). В его рассуждениях о нациях не было старательного уравнения всех в достоинствах, он

позволял себе иметь среди них ”любимчиков” (армяне, норвежцы и т.д.).

Однажды я получил от него запоминающийся урок понимания счастья. Как-то в период нашего ”второго кружка”, говоря о художнике П.А. Федотове, я сказал, что он был глубоко несчастным человеком, так как вся жизнь у него была нескладная, он не мог как следует заняться творчеством и полностью выразиться, как и многие другие русские художники. Последовала мгновенная вспышка ярости Николая Владимировича: ”Что вы все понимаете в счастье?! Ты что, считаешь, что счастье – это благополучное продвижение по службе? Федотов был художник, он творил! Нам ли судить, был он счастлив или нет?!” Надо сказать, что я за годы нашего общения почти не подвергался атакам его блестящей ярости. К этому времения я уже достаточно хорошо знал его, понимал, кто он и кто мы при нем, и мог сохранять объективность в подобных ситуациях. Говорю это, чтобы не усомнились в том, что я испытал при этом взрыве гнева восхищение и позже неизменно считал его одним из действительно прекрасных проявлений его натуры. Отчасти (не сомневаюсь в этом) это было самораскрытие: он был счастлив несмотря на все перипетии его судьбы.

Иногда он бывал трогательно внимателен. Однажды, придя к нему вечером, я застал его изнемогшим в трудах и перепачканным клеем. Оказалось, что он решил подарить мне альбом литографий Юона ”Сергиев Посад”, изданный в 1923 г. Обложка альбома пришла в ветхое состояние, и Николай Владимирович, найдя подходящий по цвету кусок зеленой бумаги, приводил ее в порядок. На альбоме размашистыми каракулями была поставлена очень трогательная дарственная надпись. Хотя каракули Николая Владимировича красуются на многих подаренных им книжках и оттисках, этот альбом мне дорог совершенно по-особому.

Размеренное течение жизни Николая Владимировича в последние годы изредка прерывалось выездами в Москву (чего стоила поездка на генетический конгресс!). А летом были поездки на теплоходе. Когда-то он вместе с Еленой Александровной и близкими людьми ездил по Лене и Енисею. В последние годы он предпочитал ближний, хорошо обкатанный маршрут – по Мариинской системе. Я участвовал в последнем его плавании, в 1978 г., вместе с М.И. Шальновым. Николай Владимирович не выходил на берег – он знал эти места, к тому же в это время ему уже трудно было передвигаться. Он сидел на палубе, на ветру (он был очень устойчив к холоду), подставив лицо к солнцу. Наши рассказы ”о суше” слушал с интересом. Он вообще любил рассказы о путешествиях. Он мог, например, слушать несколько вечеров подряд мои отчеты о незатейливых путешествиях по Средней и Северной России. Когда теплоход плыл, мы обычно читали Аксакова и Лескова. Смешно было смотреть, как ронял голову, засыпая после сытного обеда, очередной читающий, и слышать ироническое замечание Тимофеева-Ресовского: ”Что-то ты, Миша, гугниво забормотал”.

В Ленинграде его, по прибытии теплохода, встречали по сложившему-

ся ритуалу. К.П. Кашкин предоставлял машину для прогулки по городу, потом на квартире А.Б. Гецовой на Большой Пушкарской устраивали застолье, на котором, как обычно, присутствовали Д.А. Гранин с супругой. Даниил Александрович спокойно и неторопливо спрашивал, умело вел беседу. Николай Владимирович, хотя и уставший и бывший не вполне в форме по нездоровью, был ярок и блестящ (помнится, Гранин сказал: "Моя бы воля, я давал бы Вам каждую неделю выступить по телевидению на вольные темы" – или что-то в этом роде). Николай Владимирович очень хотел сходить со мной в Русский музей, но не смог; он вообще был в ту поездку сильно нездоров.

В последнее десятилетие Николай Владимирович ежегодно ложился "на ремонт" в клинику Института медицинской радиологии. У него с самого начала сложились своеобразные и весьма дружественные отношения с некоторыми врачами-терапевтами этой клиники. Так, он с большим почтением относился к заведующему терапевтическим отделением В.М. Боголюбову. Позже, когда Боголюбов переехал в Москву, его основным лечащим врачом и одним из ближайших людей до конца его жизни стала Маргарита Николаевна Лыскова, человек и врач в самом деле замечательный. Николай Владимирович относился к медицине с иронией, но, хотя и величал врачей "клистирниками", свято и торжественно выполнял все их предписания. Лекарства он с почтительным юмором называл по имени-отчеству тех врачей, которые их прописали («Надо, пожалуй, принять "Василия Михайловича" одну таблеточку»).

Я уже говорил, что больницы, в особенности клиника Института медицинской радиологии, были одним из тех мест, где по отношению к Тимофееву-Ресовскому проявлялось трогательное милосердие. Ему здесь создавали оптимальные условия – всегда одноместная палата, причем одна и та же, питание приносилось в палату, посетителей к нему пускали практически без ограничений.

Переселение в больницу в последние годы происходило с моим участием, и я знал все тонкости этой процедуры. Николай Владимирович всегда страшно волновался в день госпитализации – приедет ли машина, в ту ли палату его положат (всякая другая была неприемлема), как мы обставим эту палату – все ли будет по-прежнему и т.д. Попав в палату, он не переставал волноваться: надо было скорее устроить как следует постель, принести нужное число стульев, лампу, все переставить. Только после этого следовало: "Ну теперь давай почитаем Тургенева". Привязанность к установленному порядку вещей, так сильно проявлявшаяся в последние годы, на мой взгляд, была спасительной. Одинокий, полуслепой, с трудом передвигавшийся, он мог вести полноценное существование только при условии стабильности окружения, полного и неизменного порядка вокруг него. Он и по возвращении из больницы домой начинал с восстановления вида собственной квартиры, ворча на тех, кто в его отсутствие прибирал комнаты. Пребывание в больнице благоприятно действовало на него отчасти именно в связи со снятием бытового напряжения – здесь он был на казенном обеспечении. В боль-

ице у него было еще больше посетителей, чем обычно, особенно по оскресеньям, когда приезжали москвичи. Вечера же по-прежнему были ашими.

Незадолго до нового, 1980, года он чувствовал себя плохо, и все мы чень тревожились. Я несколько раз оставался у него ночевать, что бывало редко. Больница на этот раз помогла мало. Так дело продолжалось есной и летом. К осени прибавились новые проблемы, потребовалась ебольшая операция (боялись не ее, а наркоза). Приходилось периодиески вызывать из Свердловска Андрея Николаевича, отношение к оторому отца в последние годы было особенно трогательно теплым. В ентябре я в очередной – последний – раз положил Николая Владимировича в клинику. Он благополучно перенес операцию, хотя были минуты ревоги, когда Николай Владимирович был в это время по-настоящему емощен. Бывало до слез жалко видеть его растерянность при проявлении этой немощи в присутствии приезжих, даже близких ему людей. В инуты улучшения он был особенно человечен, казался совсем близким.

На этой очень теплой ноте мы фактически расстались: я перешел тогда а работу в Москву, и для меня наступило исключительно трудное время непрерывных переездов, устройства в новом институте и прочих проблем. Мое общение с Николаем Владимировичем свелось до минимума – я изредка забегал к нему. Из клиники он уже не выписался. В один из воих приездов домой я узнал, что накануне, 28 марта 1981 года Николай Владимирович умер. При этом присутствовал один из самых преданных ему людей – Н. Горбушин. Я включился в хлопоты, связанные с подготовкой похорон, которыми уже занимались К. Склобовский, Н. Горбушин, Г. Шеянов.

Запомнилась в эти дни ясная весенняя погода, хотя день похорон был пасмурным. Николай Владимирович обрел свое место рядом с Еленой Александровной, о котором в последнее время много думал. На кладбище запомнилась речь В.П. Эфроимсона, в которой уже намечалась страсть будущей борьбы за Николая Владимировича. Позже были отслужены две панихиды в московских церквах. Отец Александр Борисов произнес серьезную речь-проповедь, посвященную Николаю Владимировичу. Отца Василия уже не было в живых, но его преемник исправно и торжественно отслужил панихиду.

Помимо других выдающихся качеств Николая Владимировича, меня поражает его посмертная сила: в наш век разобщенности он сумел сплотить любовью и преданностью себе большую группу людей разных положений, возрастов, профессий и эта связь, сохраняющаяся после его смерти, есть длящееся существование Николая Владимировича на Земле.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯРИЛИН – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, заведующий лабораторией дифференцировки лимфоцитов Института иммунологии Минздрава России; в 1966–1970 гг. работал в Институте медицинской радиологии АМН СССР (Обнинск) в отделе, который возглавлял Н.В. Тимофеев-Ресовский.

Ц.М. Авакян

О НЕЗАБВЕННОМ ДРУГЕ

...И был Аристарх судим за то, что сдвинул с места святой центр мира.

Коперник

Счастливы, кто первые идут по новому пути: хотя бы они сделали несколько шагов, их имена превозносятся.

Вольтер

У меня возникает огромная душевная потребность говорить о крупном русском ученом Николае Владимировиче Тимофееве-Ресовском, который всегда делил наше горе и радости и был незаменимым другом. Его образ Ученого всегда останется для нас примером. Такие гениальные ученые, как Тимофеев-Ресовский, не умирают. Научного наследия, которое оставил Николай Владимирович, хватит на несколько поколений, это уже есть бессмертие. Лично мне очень повезло. На протяжении двадцати лет я находился в дружеских отношениях с Николаем Владимировичем и его супругой, неповторимой Еленой Александровной, и с людьми, которые их окружали везде. Мне хочется сегодня вспомнить и их имена, имена прекрасных ученых: Л.А. Блюменфельд, В.И. Корогодин, М.И. Шальнов, Н.Н. Воронцов, А.А. Ляпунов, А.Г. Ланг, К.Г. Циммер, А.А. Кач, Н. Бор. Николай Владимирович оказал сильное влияние на биологическую науку в Армении.

История началась с того, что Тимофеев-Ресовский с супругой были приглашены в Армению в НИИ земледелия (г. Эчмиадзин) в 1963 г. В Армении тогда царил еще дух лысенковской лжебиологии. Находились ученые, академики, которые писали: "Надо сказать со всей резкостью, что менделизм-морганизм является теорией, враждебной практике, и в своей основе менделизм-морганизм служит принципу непознаваемости биологических законов". Понятно, какая атмосфера господствовала в биологии в это время в Армении. Мы уже – молодые ученые – хотели из уст "трубадура" услышать о науке вообще и о генетике, биофизике, радиобиологии в частности. Он выступил с циклом лекций. Доклады ученого по классической генетике, стоявшего у истоков развития современной генетики, вызвали огромный интерес у научной общественности и студенчества. Уже в первый его приезд установились дружеские и научные связи с ним.

Николай Владимирович и его ученики, особенно профессор В.И. Корогодин, подготовили для Армении кандидатов наук по различным специальностям: радиационная генетика, популяционная генетика, радиобиология, биогеоценология, медицинская генетика. Впоследствии Ни-



Ереван, 1963 г.
Слева направо Дж. Микаэлян, Н.С. Аджян, Р.Р. Атаян, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Ц.М. Авакян, Н.Г. Нор-Аревян

колай Владимирович неоднократно приезжал в Армению, читал курс лекций в Ереванском госуниверситете, в Институте земледелия, принимал участие в школе физиков в Нор-Амберде, где присутствовали, помимо биологов, такие ученые-физики, как Понтекорво, Алиханян, Мигдал и др.

Фундаментальное значение имело его выступление на Международном симпозиуме в Ереване в 1968 г., где он представил работу о "принципе попадания и мишени" в радиобиологии, объяснив сущность этой теории и дав исчерпывающий ответ, одновременно подвергая критике ученых, которые недостаточно понимали и неправильно интерпретировали ее. Николай Владимирович четко анализировал и строго сформулировал "принцип попадания и мишени", показав, что этот принцип не находится в противоречии с другими теориями. Это весьма поучительное обсуждение, которое проходило в Доме ученых Ереванского физического института, навсегда прекратило схоластический спор, который длился так долго. "Мне кажется, – говорил Николай Владимирович, – что иногда нужно проявлять взаимный юмор. Ну, это моя точка зрения, которой я всю жизнь придерживался. В науке нет ничего хуже звериной серьезности, с которой разные авторы и разные лаборатории цапаются, забыв о том, что все они очень и очень далеки от действительного понимания интимных механизмов, управляющих процессами, ведущие какие-то более или



Симпозиум памяти Н.В. Тимофеева-Ресовского. Ереван. Дом Ученых Ереванского Физического института, 1985 г.
Слева направо: Ц.М. Авакян, В.И. Иванов, А.Н. Тимофеев-Ресовский, Р.Р. Атаян

менее примитивные наблюдения конечной реакции. Поэтому нужно культивировать разные точки зрения, но не нужно проявлять звериной серьезности и отсутствия юмора прежде всего к самим себе".

Николай Владимирович стоял у истоков организации в Ереване лаборатории радиационной биофизики. В 1964 г. совместно с С. Алиханяном, Б. Тарусовым обратился в Государственный комитет по использованию атомной энергии СССР к директору Института физики с просьбой открыть лабораторию. "Я прошу Вас, – писал Николай Владимирович, – рассмотреть и поддержать наше предложение об организации биофизической лаборатории при Ереванском физическом институте".

Прошли годы. Нет больше с нами этого удивительного человека, который умел противостоять обстоятельствам, располагая в то же время абсолютной внутренней свободой. Армянские ученики и друзья Николая Владимировича благодарные ему за поддержку. Они свято хранят память об ученом, который воистину и без прикрас понимал это ответственное слово – ДРУЖБА.

ЦОВАК МИНАСОВИЧ АВАКЯН – заведующий отделом радиобиологии Ереванского физического института. Знаком с Н.В. Тимофеевым-Ресовским с 60-х гг.

Р.Р. Атаян

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ И АРМЕНИЯ

Имя Николая Владимировича было окружено легендами. Сотрудники лаборатории биофизики Армянского института земледелия мечтали лишь увидеть его – о большем мечтать не смели. Повезло С.П. Семерджяну, который летом 1962 г. получил командировку в Миассово. Сурен вернулся в совершенно ненормальном состоянии – он безостановочно восторженно рассказывал о сказочной атмосфере Миассова, о Николае Владимировиче и Елене Александровне. К нашей огромной радости, Николай Владимирович согласился приехать в Армению при первой же возможности. И еще одна радостная весть была для меня – Николай Владимирович в принципе согласился взять меня в аспиранты, разумеется, если я выдержу вступительное собеседование. И программу предложил такую: популярную книжку Александера по радиобиологии и несколько глав из "Биологии" Вилли.

Тимофеевы прилетели к нам в яркий апрельский день, красивый день, такие в Ереване чаще бывают в октябре. И первое же, что увидели наши гости и что поразило их – божественная красота Арарата, великой библейской горы. Потом – гостиница, двухкомнатный номер и неожиданные слова Николая Владимировича: "Помнишь, Лёлька, наш первый приезд в Рим? Мы приехали по приглашению Разетти и были у него дома. Был такой же красивый вечер и с балкона такой же красивый вид". А до этого, когда документы Тимофеевых принимал администратор, в гостиницу прибыла группа физиков – участников Всесоюзной школы. Среди них мы узнали Бруно Понтекорво, о чем сообщили Николаю Владимировичу. Они ранее не встречались, но много слышали друг о друге – брат Понтекорво, крупнейший генетик, был другом Николая Владимировича ("Мы его звали Понтик"). Кто-то из нас подошел к Понтекорво, сказал, что здесь находится Тимофеев-Ресовский. Они пошли навстречу друг другу и обнялись. Оба (и мы тоже) были заметно взволнованы. Поэже они встретились высоко в горах – в Нор-Амберде, где Николай Владимирович по приглашению Артема Исаковича Алиханяна выступил с докладом в школе физиков.

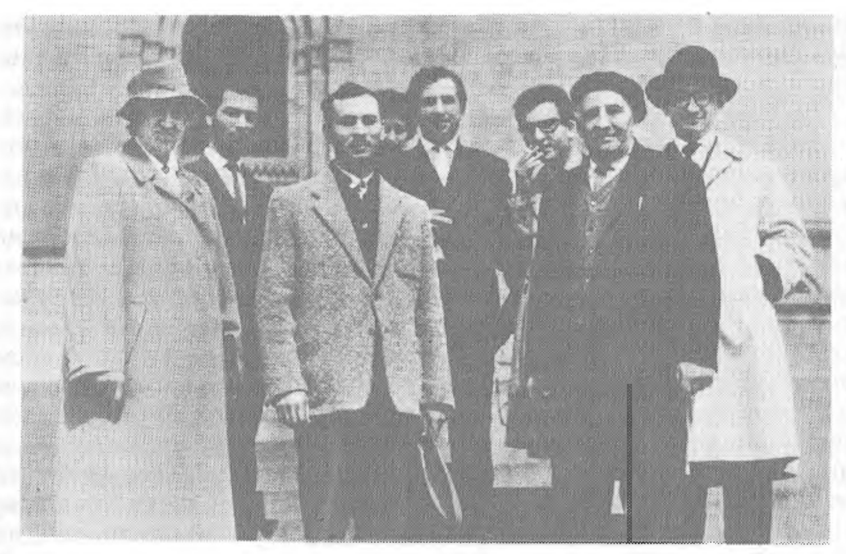
Мы заранее решили, что устроим в номере ужин. И конечно, вопреки нашим планам, Николай Владимирович нас опередил – позвонил в ресторан, заказал кое-какую закуску, легкое вино, кофе. Армяне любят угощать, и, когда Николай Владимирович не позволил нам расплатиться с официантом, возникла некоторая неловкость. Но все уже были во власти Николая Владимировича – стало ясно, что с ним все не так, как с другими.

Мы понимали, что долго задерживаться не следует – гости могли быть

утомлены перелетом, но заставить себя откланяться было выше наших сил. О чем только ни рассказал Николай Владимирович в этот вечер: об Италии и Испании, Моргане, Боре и Вавилове, о Лондонском королевском обществе, о датском короле "Христиане Христиановиче..." И как рассказывал! Такого рассказчика я не встречал. Осталось много магнитофонных записей рассказов и лекций Тимофеева-Ресовского. К сожалению, они не могут дать даже отдаленного представления о той совершенно волшебной, чарующей атмосфере, которая неизменно возникала при живом общении с Николаем Владимировичем. С каким упоением мы слушали Николая Владимировича! Но на душе у меня было неспокойно – я чувствовал, что мне будет невыносимо трудно прийти к нему на экзамен. И вдруг Николай Владимирович неожиданно справился, не меня ли прочат ему в аспиранты. Получив утвердительный ответ, изрек: "Я согласен взять сего джентльмена в аспиранты". Я был наверху блаженства – экзамен не понадобился!

На следующий день состоялась первая лекция Николая Владимировича по генетике. В зале института земледелия в Эчмиадзине собралось много народу. Некоторые из нас собирались делать записи, но после первых же фраз выяснилось, что записывать лекции Николая Владимировича невозможно. На втором часу в зал неприметно вошел руководитель отдела Института, печально знаменитый по августовской сессии ВАСХНИЛ академик. Стало как-тот тревожно. Я облегченно вздохнул, когда он (минут через пять) так же неприметно вышел из зала. Лекция подействовала на всех ошеломляюще – неизменное впечатление от всех лекций Николая Владимировича, которые мне посчастливилось слушать. Казалось, все хорошо. Но на следующий день в зал нас не впустили, пришлось проводить лекцию в лабораторной комнате. Стало известно, что академик накануне был в министерстве и потребовал запретить выступления Николая Владимировича. Как стыдно было за происшедшее! По общему замешательству Тимофеевы-Ресовские могли понять, что что-то произошло, но не подали виду. Лишь через несколько лет Елена Александровна спросила: "Скажите, Ромик, что же произошло тогда, после первой лекции Николая Владимировича?" Я рассказал. И услышал в ответ: "Мы так и думали". Конечно, в те первые дни я еще не представлял, что случившееся вряд ли могло произвести очень уж большое впечатление на Николая Владимировича. Такой поворот событий он мог вычислить и заранее. А тогда мне казалось, что произошло непоправимое, что Армения навсегда опозорилась в глазах Тимофеевых-Ресовских. Не Армения опозорилась! И сейчас, особенно после проведения в Ереване первых чтений памяти Н.В. Тимофеева-Ресовского в 1983 г., я с гордостью сознаю, что нам, его ученикам и друзьям в Армении, удавалось достойным образом принимать Тимофеева-Ресовского в Армении и удалось достойным образом почтить его память.

Тимофеевы-Ресовские приезжали в Ереван три раза. Приезжали с удовольствием. Поездки их по Армении во всех отношениях складывались очень удачно (вышеупомянутый возмутительный инцидент – единствен-



Н.В. Тимофеев-Ресовский и Е.А. Тимофеева-Ресовская с коллегами из Армении. Третий справа Р.Р. Атаян

ное исключение). Мы бывали в интересных местах, встречались с интересными людьми. Елена Александровна писала 19 апреля 1963 года Сурену: "Мы много путешествовали с Николаем Владимировичем, и всюду нас принимали очень хорошо – но так, как вы все устроили, еще не было. Большое, большое Вам спасибо и от меня, и от Николая Владимировича".

Первый приезд Тимофеевых-Ресовских в Армению совпал с днями, когда Т.В. Петросян встречался в матче на первенство мира с М.М. Ботвинником. В эти дни на двух площадях Еревана были выставлены демонстрационные доски, на которых можно было непосредственно следить за ходом партий. В игровые дни по вечерам площади эти были полны народу. За Тиграна болели все. Несколько раз, совершая вечерний моцион, мы с Тимофеевыми задерживались на этих площадях. Николай Владимирович шахматами, как и другими "интеллектуальными" играми, не интересовался совершенно. Но он с большим интересом наблюдал за болельщиками. Через несколько дней после отъезда Тимофеевых Тигран стал чемпионом мира. Я храню телеграмму: "Поздравляю Петросяном. Тимофеев-Ресовский".

Как-то у нас дома Николай Владимирович попробовал красное десертное вино и был в восторге. "Это вино напоминает мне по вкусу Lacrimae Christi, которое я пробовал на приеме у папы Римского. Но это вкуснее, самое вкусное вино, которое мне приходилось пить!" Вино это было получено из винограда, недавно выведенного знаменитым селекционером С.А. Погосяном. Сурен Амбарцумович любезно предоставлял мне нес-

колько бутылок каждый раз, когда я собирался в Обнинск к Тимофеевым. Николай Владимирович с неизменным удовольствием угощал этим вином своих гостей.

Мы бывали с Тимофеевыми в мастерских художников – Минаса, Рубена Адаляна, Арутюна и Армине Каленц. Все они с энтузиазмом демонстрировали свои картины. Впечатление было огромное. Мы были в Историческом музее, в хранилище древних рукописей Матенадаран. Сопровождали нас лучшие гиды. Николай Владимирович превосходно знал древнюю и средневековую историю и культуру. Наши гиды с большим вниманием слушали его и благодарили за интересную беседу. Так бывало всегда. Николай Владимирович щедро делился своими знаниями, и все вокруг него постоянно чему-то учились. Где бы мы ни появлялись, люди незнакомые старались держаться поближе к нам и хоть краешком уха услышать, что он говорил. Мы были на раскопках Двина, древней столицы Армении. Сопровождал нас известный археолог Кафадарян. Сохранилась фотография – на первом плане Тимофеев-Ресовский что-то рассказывает Кафадаряну и нам, сопровождающим его лицам. На почтительном расстоянии за нами следует группа людей – возможно, им и не слышно Николая Владимировича, но им интересно наблюдать за ним. У него всегда было много хороших слушателей, но он сам терпеливым слушателем не был. Мне запомнилась одна встреча, когда Николай Владимирович с большим вниманием выслушал рассказчика, ни разу не прервав его. Это было на развалинах древнего храма Звартноц. Нас встретил человек (к сожалению, я не помню его имени), который в течение долгих лет добровольно охранял памятник, не разрешал растаскивать древние камни, загрязнять территорию. Сразу учуяв, что к нему пришли высокие гости, он попросил разрешения давать пояснения. Он говорил очень быстро (чтобы успеть сказать побольше) на ломаном, но образном русском языке. Говорил с такой увлеченностью, с такой любовью к родной истории, что все заслушались. Николай Владимирович, поблагодарив его, добавил, что бывал на многих древних памятниках истории, но мало где получал такое большое удовольствие. Наш гид был счастлив.

Немногие знают, что Николай Владимирович был большим знатоком музыки. Елена Александровна говорила мне, что в бытность в Берлине они всегда имели абонемент на концерты Берлинского филармонического оркестра, возглавляемого Фуртвенглером. Как-то я пригласил Тимофеевых на концерт Ереванского симфонического оркестра, который под управлением знаменитого дирижера Огана Дурьяна исполнил, в частности, "Картинки с выставки" Мусоргского–Равеля. Исполнение было блестящим, и мы пошли за кулисы, чтобы выразить дирижеру свою благодарность. Восторженные почитатели таланта дирижера почтительно расступились и с удовольствием слушали Николая Владимировича и Дурьяна – они говорили на немецком и французском языках. В дальнейшем Николай Владимирович часто спрашивал меня: "Как поживает этот ваш дирижер? Совершенно замечательный музыкант!"

Любопытен следующий эпизод из жизни Тимофеевых в Берлине, свя-

занный с именами двух великих пианистов – Артура Шнабеля и Артуро Бенедетти Микеланджели. Осенью 1964 г. в Москве кипела концертная жизнь. Я часто уезжал из Обнинска на концерты. Как-то я простоял всю ночь за билетами на Микельанджели. Вечером я был в Обнинске и явился к Тимофеевым "оправдаться", почему меня не было в Институте. (Николай Владимирович никогда не корил меня за отлучки, я сам не чувствовал угрызений совести. Но уж очень часто приходилось отсутствовать этой осенью.) Я сказал, что достал билеты на Микеланджели, и услышал следующее. Микеланджели, антифашиста, участника итальянского сопротивления, обстоятельства вынудили покинуть Италию, и, как это ни парадоксально, он оказался в Берлине. Некоторое время он жил у Тимофеевых. Днем разучивал сонаты Бетховена, вечерами играл для собравшихся Шопена. Но самое потрясающее то, что играл он на рояле Шнабеля. Артур Шнабель, немецкий пианист еврейского происхождения, был вынужден в конце 30-х годов покинуть Германию. Рояль свой он не вывез. Родной брат Елены Александровны – импрессарио Шнабеля – перевез рояль к Тимофеевым-Ресовским.

Как-то в один из приездов Тимофеевых в Ереван мой брат Эдуард Атаян подарил Николаю Владимировичу свою книгу "Аспекты организации и функционирования языковой сферы". Тот сказал: "А Вы знаете, в молодости я написал одну филологическую статейку". Речь шла о некрологе на смерть одного лингвиста, кажется Трубецкого. На следующее утро Николай Владимирович первым делом сообщил мне, что просмотрел книгу и она его заинтересовала. Через несколько месяцев, когда я приехал в Обнинск, он сказал: "А ты знаешь, я с удовольствием прочитал книгу твоего брата. Совершенно замечательная книжка. Шибко умственный у тебя братец. Что он сейчас пишет?"

После первой же лекции Николая Владимировича в Эчмиадзине мы пошли осматривать церкви. В музее Кафедрального собора нас сопровождал молодой священник. Под алтарем собора имеется небольшое помещение – остатки языческого храма V в. до н.э., сохранилась кое-какая мозаика. Туда попадают лишь редкие гости. (Я был там лишь один раз – с Алексеем Андреевичем Ляпуновым.) Наш гид оказался любезным человеком и пригласил Тимофеевых (но только их) спуститься в подземелье. Сотрудник нашей лаборатории Нико Аджян был лично знаком с Католикосом всех армян Вазгеном I. Он предложил Тимофеевым нанести визит Католикосу. Католикос дал согласие на встречу. Через несколько дней Тимофеевы в сопровождении нескольких сотрудников лаборатории пришли в резиденцию Католикоса. Вначале мы нанесли визит вежливости матери Католикоса. Затем нам показали залы резиденции и, наконец, провели к Католикосу. Николай Владимирович и Елена Александровна получили приглашение подсесть к столу, остальные заняли кресла, расставленные вдоль стен. Беседа была на удивление оживленная. Католикос пригласил Тимофеевых в ближайшее воскресенье на службу, которую должен был вести самолично. На воскресенье была запланирована большая поездка в Гарни и Гегард. Но приглашение было заманчивое.

Решили все вместе послушать службу в Эчмиадзине и лишь потом выполнить нашу программу.

Когда мы подошли к Кафедральному собору, пришли в замешательство: был какой-то церковный праздник и в соборе ступить было некуда. Но тут же к нам подошел служитель и провел Тимофеевых в предалтарную часть, где для них в нескольких шагах от трона Католикоса были поставлены два кресла. Мы облегченно вздохнули. Мне казалось, что в этот день церковный хор исполнял изумительную литургию Екмаляна с особым подъемом. Во время службы к Тимофеевым подошел один из епископов и сообщил (об этом мы узнали позже), что сразу же после службы Католикос будет рад видеть их у себя в резиденции на трапезе. Тимофеевы, не желая нас подводить, отказались от этого лестного предложения. С нами любезно согласилась поехать одна из хористок. В одном из полутемных залов выдолбленной в скале церкви Гегард мы в условиях изумительной акустики наслаждались старинными армянскими мелодиями в ее исполнении.

Хочу сказать несколько слов о 2-м Международном симпозиуме по первичным радиобиологическим процессам, который состоял в Ереване в 1968 г. Симпозиум был украшен участием Николая Владимировича. Он был постоянно окружен крупными зарубежными учеными. Они с энтузиазмом восприняли доклад "О принципах попадания и мишени в радиобиологии", прочитанный живым классиком, одним из создателей радиобиологии. (В 3-м симпозиуме в 1975 г. участвовал видный английский ученый сэр Оливер Скотт. Он надеялся встретиться в Ереване с Николаем Владимировичем и был разочарован его отсутствием. Он сказал мне: "Передайте Тимофееву-Ресовскому, что мы в Англии хорошо его помним и очень любим". Николаю Владимировичу было приятно услышать эти слова – он любил Англию и высоко чтил английских ученых.) На заключительном заседании выяснилось, что кто-то из именитых радиобиологов не принимает (или не понимает?) основные принципы радиобиологии, причем, говоря о них, он употреблял слово "теория", от чего Николай Владимирович предостерегал. И при этом терпеливо давал разъяснения: "Как это Вам непонятно? Принцип попадания характеризует дискретную физическую природу излучения, принцип мишени характеризует гетерогенность облучаемого вещества..."

Наибольшее впечатление на меня произвело заседание, на котором председательствовал сам Николай Владимирович. Возник горячий спор между двумя группами ученых, и лишь под его "водительством" все постепенно стало на свои места. Я приведу лишь один фрагмент из заключительного выступления Николая Владимировича:

"Совершенно ясно с общеметодологических позиций, что каждый тип эксперимента может дать только определенное количество информации... Мне кажется, что вот очень важно разделять строгую, точную полученную информацию и, так сказать, то, что на нее накладывается в виде точки зрения автора. И эти точки зрения авторов, конечно, целесообразны и полезны, потому что каждая лаборатория, имеющая свою точку зре-

ия, естественно концентрируя внимание на определенных сторонах нтерпретации, а часто и на определенных типах постановки опытов, носит чрезвычайно существенное в общее решение проблемы. Мне кается, что иногда нужно проявлять взаимный юмор, но это моя точка рения, которой я всю жизнь придерживался: в науке нет ничего хуже вериной серьезности, с которой разные авторы и разные лаборатории цааются, забывая о том, что все они очень и очень далеки от действительюго понимания интимных механизмов, управляющих процессами, ведуцими к какой-то более или менее примитивно наблюдаемой конечной еакции. Поэтому нужно культивировать разные точки зрения, но не ужно звериной серьезности и отсутствия юмора прежде всего к самим ебе".

Мудрые, прекрасные слова! Этот фрагмент, который было бы полезно нать всем научным работникам, мне нравится чрезвычайно. Я приводил ти слова в своем докладе на первых Чтениях памяти Н.В. Тимофеева-Ресовского.

Весной 1964 г. Эдик Акопян и я, физики из Еревана, поступившие в аспирантуру к Тимофееву-Ресовскому, приехали в Обнинск. Он недавно стал заведовать отделом в Институте медицинской радиологии АМН СССР. Николай Владимирович "добился" для нас комнаты в уютном общежитии (ИМР в то время еще не имел своего общежития) в центре города. Отдел занимал весь второй этаж главного здания Института. Николай Владимирович первым делом представил нас всем своим сотрудникам. В его сопровождении мы прошлись по всем комнатам и ознакомились с ведущимися там исследованиями. Нам была выделена большая комната. Столы, термостат, холодильник и микроскопы – все, что нам нужно было для начала работы, – мы получили сразу. Нам с Эдиком надо было освоить методику учета хромосомных аберраций. По просьбе Николая Владимировича обучил нас методике Лев Сергеевич Царапкин. На этой стадии работы мы также пользовались консультациями неизменно приветливых Н.А. Порядковой и Н.В. Лучника. Николай Владимирович продиктовал нам подробные планы работ, и мы приступили к исследованиям.

Это было замечательное время. Вскоре в Обнинск приехал еще один "армянский" аспирант – Арам Зурабян ("Арамушка"). Он получил рабочее место в соседней с нами комнате и сразу же включился в активную обнинскую жизнь. В это же время возникло понятие "Армянская республика в Обнинске", настолько прочно укоренившееся, что я даже не удивился, найдя упоминание о ней в некрологе на смерть Николая Владимировича, написанном проф. В.А. Айхнером в одном из немецких журналов (Dt. Entom. Z. 1982. Bd. 29, H. 1/3). Тимофеев-Ресовский был очень внимателен ко всем своим аспирантам, но отношение его, как и Елены Александровны, к нам, представителям Армянской республики, было совершенно исключительным. Я не помню дня, чтобы Николай Владимирович не зашел в нашу комнату хотя бы на несколько минут. Мы очень любили эти визиты и ждали их. Как только мы с Эдиком слышали его быстрые

шаги в коридоре ("Дед идет!"), сердца наши замирали. Каждый день в 10.30 нас приглашали в комнату Елены Александровны на кофе. Часто Елена Александровна или Николай Владимирович заглядывали к нам в комнату и напоминали, что "вода уже кипит".

А сколько интереснейших часов мы провели у Тимофеевых дома! Нас приглашали по всякому поводу и без повода: "К нам вечером зайдет тот-то, и вам обязательно следует с ним познакомиться" или "Приходите сегодня на обед – мы достали замечательное мясо в кулинарии". Елену Александровну беспокоил вопрос моего питания, Николай Владимирович успокаивал: "А ты не беспокойся, Лёлька, все равно Ромик загнется". Часто здесь бывал А.Н. Тюрюканов ("Тюрюканыч"). Он привозил из Москвы новые книги. Николай Владимирович сразу же их просматривал и ставил в нескольких местах свою подпись. Сколько впечатлений, сколько интересных рассказов, разговоров! Сколько выпитых чашек кофе "по-армянски", чая "без обмана", сколько выкуренных сигарет! ("Лёлька, дай паршивенькую!" – иногда мы тоже просили у Елены Александровны "Север", а вообще все мы предпочитали "Шипку". Когда люди, много понимающие, говорили Николаю Владимировичу, что много курить вредно, он отвечал: "Жить вообще вредно!") А сырковая масса, политая ряженкой и брусничным вареньем! Как все было вкусно! Стол у Тимофеевых был накрыт всегда, а с появлением гостей они первым делом шли на кухню ставить чайник.

Никогда не забуду один вечер у Тимофеевых. Была зима, тридцатиградусный мороз. В пятницу мы с Арамом собирались поехать в Москву. Удобно было ехать электричкой в 3 ч. Позже электрички были переполнены, да и вечер в Москве был потерян. Мы уже собирались подойти к Тимофеевым, попрощаться до понедельника, когда подошла Елена Александровна и пригласила на обед: "Поедем вместе четырехчасовым автобусом, у меня на обед мясо". Это расстраивало наши планы, но не отказываться же от такого приглашения. Мы с Арамом решили – пообедаем и часов в 6 поедем. Но не тут-то было. Засиделись до десяти часов. Тимофеевы жили надалеко от станции, и мы с точностью до минуты знали, когда надо выйти, чтобы успеть на электричку. Но в этот раз что-то недоучли – то ли долго прощались, то ли было скользко и потому шли медленно, но двери электрички захлопнулись у нас перед носом, и мы остались стоять на платформе. Последний поезд на Москву был через полтора часа, а укрыться от мороза было негде. Простояв в растерянности несколько минут, мы поняли, что надо что-то предпринять. Но что? Конечно, пойти к Тимофеевым. (А ведь у нас в Обнинске было много знакомых и друзей и, хотя и далеко, свои комнаты в общежитии.) Мы позвонили в дверь. (Физиономии у нас были, я полагаю, дурацкие!). Дверь открыла Елена Александровна, из-за ее плеча выглядывал Николай Владимирович. Не успела Елена Александровна воскликнуть "Батюшки!", как он бросился на кухню ставить чайник. Через минуту стол был снова накрыт. Мы посидели еще час с небольшим и, счастливые, благополучно доехали до Москвы.

Какое было удовольствие бывать на семинарах с участием Николая

Владимировича, общеинститутских или в кабинете, когда приезжали что-то обсуждать москвичи или ленинградцы, или на городских семинарах, где он читал доклады. Зато как трудно слушать других докладчиков, если ты "привык" к Тимофееву-Ресовскому. А дискуссии? Он умел как никто другой резюмировать основные положения прослушанного доклада, да так, что сам докладчик (биолог, математик, физик) понимал, что в его докладе главное, что – второстепенное. Какими скучными казались те дни, к счастью редкие, когда Николай Владимирович на работу не выходил!

В лекции, прочитанной на Чтениях памяти Дугласа Эдварда Ли 1969 г., Циммер вспоминает, как весной 1936 г. к нему в лабораторию явились двое молодых людей, представились – это были Ли и Грей, крупнейшие впоследствии радиобиологи, – и заявили, что они специально приехали из Англии обсуждать радиобиологию. Циммер тут же посадил их в свою машину и отвез в Бух к Николаю Владимировичу – радиобиологию следовало обсуждать с Тимофеевым-Ресовским. Действительно, кто имел обсуждать что-то с ним – обсуждал, кто имел возможность слушать его лекции – слушал, кто имел возможность находиться с ним рядом – находился. Общение с Николаем Владимировичем возвышало, облагораживало, возвеличивало. Он обладал редким даром вести разговор таким образом, что его собеседники выносили полное впечатление, что он и сам наслаждался общением с ними. Но ведь ясно, что далеко не всегда это было так.

Летом 1965 г. в Обнинске гостили моя жена и дочь. Приехали также брат с супругой. Мы пригласили Николая Владимировича в кафе "Огонек" отобедать. (Елена Александровна была в отъезде.) Это уютное кафе, где в то время было относительно вкусно покушать. (Первое время в "Огоньке" иногда обедали Тимофеевы. Старушка-гардеробщица сказала как-то Тюрюканычу: "Вот появился у нас старичок, каждый раз оставляет рубль или два, с этого и живем".) Естественно, я "на правах хозяина" заказал все самое значительное, что было в меню. Когда все было съедено и выпито, я подошел к официантке, чтобы расплатиться. В каком же оказался дурацком положении, когда услышал, что счет уже оплачен. Как это произошло, никто из нас не понял. В отчаянии я вернулся к столу: "Но Николай Владимирович..." Он лишь произнес своим бархатистым голосом: "Ро-омик!", и я не нашел возможным докончить фразу. У Николая Владимировича было прекрасное настроение, у нас – подавленное, но ненадолго. Мы вышли из кафе. Он, естественно, пригласил нас к себе на чашку чая. Мы, естественно, с удовольствием приняли приглашение и провели чудный вечер.

В декабре 1966 г. закончился срок моей аспирантуры. Я показал Николаю Владимировичу весь экспериментальный материал. Он сказал: "Вполне достаточно для диссертации" – и продиктовал подробнейший план написания работы, вплоть до названий глав, параграфов, таблиц, графиков. И еще сказал: "Во Введении следует идти от общего к частному, в Заключении – от частного к общему". Замечательный совет, очень важный при подготовке любого научного сообщения. В мае 1967 г., заранее

списавшись с Еленой Александровной, я приехал на несколько дней в Обнинск с готовой рукописью. Мы не виделись несколько месяцев, и первые два дня ушли на обмен новостями. На третий день в назначенное время Елена Александровна поставила на стол полный кофейник, все заняли свои места (мое обычное место было по левую руку от Николая Владимировича), закурили сигареты и в несколько торжественной обстановке я начал читать. Николай Владимирович прерывал меня несколько раз, а дважды сказал: "А ведь, Лёлька, я и не знал, что Ромик – прямой потомок Лермонтовича и Пушкинзона". И еще сказал, что работу можно печатать. Мне было грустно. Только в эти дни я с ясностью осознал, что аспирантское время мое закончилось и впредь я не буду иметь возможности так часто встречаться со столь дорогими мне людьми. Конечно, я пользовался любой возможностью попасть в Обнинск. Два раза в год это, как правило, удавалось, но лишь на 1–2 дня. Были еще три более или менее длительные встречи с Тимофеевыми-Ресовскими на Международном симпозиуме в Ереване в 1968 г. (об этом я писал), несколько печальных дней, когда я приехал на похороны Елены Александровны, и 8 дней "под одной крышей" с Николаем Владимировичем зимой 1977 г.

Но до этого был еще 1969 год. До меня доходили слухи, что дела Николая Владимировича плохи – его вынуждают уйти из института. Мне так хотелось в это время быть поближе к Тимофеевым, но по ряду обстоятельств это не удалось. Я хочу привести здесь письмо Елены Александровны, написанное в эти тяжелые дни. Письмо привожу полностью:

«15.07.69 г.

Дорогой Ромик!

Только 12.7, вернувшись из длительной поездки в Новосибирск и Свердловск, нашла Ваше милое письмо. Очень тронута вашим вниманием, большое, большое спасибо.

Съездили мы замечательно – пожили у Ляпуновых как в Раю – у них дивный дом и чудесный огромный сад, а они очень милые. Очень хорошо побывала в Свердловске у Андрея. Вы его мало знаете, но я очень счастлива иметь такого сына. Еще в детстве его воспитательница говорила мне: "Это Бог послал Вам такого сына".

Но жизнь наша делает сейчас большой поворот: сегодня мы оба подали заявление об уходе по собственному желанию из нашего отдела. В письме всего не опишешь – но так сложились обстоятельства, что Николаю Владимировичу пришлось уходить. А я, проработавши 47 лет с Николаем Владимировичем, не хочу без него оставаться ни одного дня. 5 августа мы будем свободны. 7 августа мы едем в Киев, оттуда проедем на пароходе до Херсона и обратно в Киев. В конце августа будем в Обнинске. Что будет дальше – еще не знаем, пока выходим на пенсию. У Николая Владимировича есть несколько предложений. Но точно еще ничего неизвестно.

Я большой оптимист и не унываю. То, что произошло, еще не большое горе, а крупная неприятность. Но для Николая Владимировича это боль-

шая трагедия. Ведь мы приехали на пустое место, а за 5 лет он создал замечательную лабораторию и поставил на ноги большой отдел. Ему очень тяжело расставаться с созданным им делом. Наши сотрудники очень горюют, относятся к нам замечательно. Все это, конечно, грустно, но не надо унывать — пока мы здоровы и головы еще работают. Все наши высокие друзья очень обеспокоены и всячески стараются — они все ставят Николая Владимировича очень высоко и не допускают мысли, что он не будет работать.

Вот такие-то дела, Ромик, — всякое в жизни бывает — а горе у нас и было и есть только одно — потеря старшего сына.

Передайте, пожалуйста, наши самые сердечные приветы всем нашим друзьям.

Ваша Е. Тимофеева-Ресовская

Поздравляю Вас и Вашу жену с рождением Ара. Это замечательно!»

Удивительное письмо! Написанное в состоянии тяжелейших душевных испытаний, оно потрясает отсутствием озлобленности, великодушием и благородством.

Николай Владимирович называл меня "недорезанным интеллигентом". Это мне льстило, но, увы, лишь в последние годы я понял, какой широкий смысл вкладывал он в эти слова. В "Зубре" потрясает образ великого подлеца, постоянно отравляющего жизнь герою повести. Судя по повести, Гранин писал образ Демочкина с вполне определенного лица и при этом документально точно воспроизвел свои беседы с ним. И тем не менее я воспринимаю этот образ как собирательный, обобщенный. Ведь Демочкин один сам по себе существовать не может. Он должен иметь в своем окружении таких же демочкиных, которые к нему прислушиваются, его поддерживают и вдохновляют. Эти демочкины и есть та сила, которая бьет очень существенно по цвету интеллигенции. Демочкины — это общечеловеческая трагедия. Лишь немногим избранным удается в столкновении с ними сохранить внутреннюю свободу и раскрепощенность. Таким был, безусловно, Николай Владимирович. Слишком много тяжелых испытаний выпало на его долю, но он в гордом одиночестве пронес через свою великую жизнь свою трагедию, свою боль. Я пишу "в одиночестве", потому что лишь немногие близкие друзья по-настоящему "чувствовали" Николая Владимировича, а их преданность своему великому другу могла быть для него лишь небольшим, к сожалению, утешением.

Зимой 1977 г. я гостил у Николая Владимировича в течение восьми дней. Незабываемые дни! Мы вставали рано, ложились поздно и все разговаривали. Больше, естественно, говорил он, я слушал. Многое мне было известно, многое было ново. Рассказы о детских годах (Москва, Киев), о предках, о гражданской войне (тиф), о лагерях (пеллагра) оставляли совершенно потрясающее впечатление. Какой русский язык! Мне казалось, что я слышу лучшие страницы Тургенева или Достоевского. Я сейчас поймал себя на мысли, что наибольшее впечатление на меня производили рассказы "русского периода". Воспоминания "германского

периода" (1925–1945 гг.) были всегда очень интересны, они изобиловали многими любопытными характеристиками величайших умов XX столетия, красочными описаниями городов и стран, они воссоздавали научную атмосферу известнейших университетов и т.д. Но, как я понимаю сейчас, именно русская жизнь позволяла полностью раскрыться таланту Николая Владимировича – рассказчика. Для того чтобы полностью оценить величие его как ученого, нужны не только большие знания, нужны годы, новые поколения ученых. Для того чтобы оценить величие Тимофеева-Ресовского – человека, необходимо было длительное общение с ним и умение, способность "видеть" человека. Для того чтобы оценить величие его как рассказчика, достаточно было нескольких минут. Равнодушных слушателей у него не бывало – великий рассказчик признавался сразу и безоговорочно.

В один из дней с утра приехали к нам А.В. Савич и М.И. Шальнов. Они привезли первые главы рукописи книги, которую собирались издать совместно с Тимофеевым. Выпили кофе и стали слушать. Читал Шальнов. Николай Владимирович слушал не перебивая. Когда была дочитана 1-я глава, спросил: "Ну как, Ромик, что ты скажешь?" Я сказал, что, по-моему, неплохо. Он согласился и продолжил: "Я бы написал вот так..." – и полностью передел все, что было написано. Так и проходила читка до момента, когда Шальнов произнес слово "компартментализация". Николай Владимирович не поверил своим ушам. Он переспросил – не ослышался ли? – но вновь услышал это слово. Люди, близко его знавшие, могут представить, что было дальше. Впрочем, представить это невозможно. Сказать, что он "взорвался" – значит ничего не сказать. Я его таким не видел. Он кричал и ругался на чем свет стоит. Деликатнейший Миша Шальнов (Савич благоразумно молчал) пытался вставить, что термин уже вошел в научный язык, но от этого было только хуже. Николай Владимирович был в такой ярости, что становилось страшно за него. Конечно, он категорически отказался быть соавтором книги, если это слово будет оставлено. Он никак не мог успокоиться, потом резко повернулся и ушел к себе в кабинет. Минут десять мы сидели затаив дыхание. Потом я "рискнул" зайти в кабинет и подсел к нему на диван. Он был уже спокоен, смущенно, мне показалось, улыбнулся, спросил, не согласен ли я с ним. Я был согласен и добавил, что, конечно, Шальнов и Савич также согласны. Мы решили пообедать и потом продолжить читку. Николай Владимирович активно редактировал все, что было написано. Поздно вечером я вышел проводить гостей. Шальнов сказал: "Ты не представляешь, Ромик, какой это был полезный день для нас!" Я представлял.

С какой последовательностью Николай Владимирович отстаивал чистоту русского языка! В эти же дни произошел такой разговор. Просматривая телевизионную программу, я что-то заметил о "какой-то серии какого-то фильма". Он прервал меня: "Ро-омик, как ты можешь так говорить? Ведь ты же понимаешь, что можно говорить о серии фильмов, но никак не о фильме из серий!" Мне стало стыдно.

После смерти Елены Александровны Николай Владимирович сказал,

что хотел бы написать "Краткий курс истории генетики" и посвятить ее памяти. К сожалению, книга не была написана. Для подготовки такой книги ему был необходим личный секретарь. Я пытался уговорить его поехать со мной в Армению надолго. Обещал комфортабельные условия для работы и отдыха, машинистку и магнитофон для работы, ограниченное число посетителей и только тех, кого он сам хотел бы видеть, и т.д. Я упрашивал сделать это по крайней мере для осуществления давнишней задумки и предложил также написать "Краткий очерк развития радиобиологии". Ведь никто лучше Николая Владимировича не написал бы этих книг. Но, к сожалению, уговорить его мне не удалось. Он сказал: "Ты знаешь, Ромик, я очень хотел бы поехать в два места – в Ленинград и в Ереван. Но я уже не поеду".

Мне очень трудно писать о нашей последней встрече. В феврале 1981 г. я звонил в Обнинск, но телефон не отвечал. Обеспокоенный, я позвонил Володе Иванову и узнал, что Николай Владимирович находится на лечении в Обнинской клинике. Я приехал в Обнинск в воскресный день. Вошел в палату. Николай Владимирович лежал с закрытыми глазами, дышал очень тяжело. Стало страшно за него. Вскоре он открыл глаза и сразу заметил меня. Я подошел к нему, мы обнялись. Оба были взволнованы и некоторое время не могли говорить. Я даже не смог спросить, как он чуствует себя – видел, что плохо. Зато сам он поинтересовался, как мое здоровье, как домашние, как Армения.

У Николая Владимировича оставался последний экземпляр оттиска статьи в "Природе", и он пожелал подарить его мне. (Эту замечательную статью я включил в сборник "Чтения памяти Н.В. Тимофеева-Ресовского", заодно исправив грубую оплошность – пропуск нескольких строк – при наборе статьи в "Природе".) Он попросил ручку, чтобы сделать дарственную надпись. Писал лежа на спине, а я держал оттиск на удобном расстоянии. Он писал вслепую, долго и мучительно. Наконец поставил подпись привычным размашистым (даже в таком неудобном положении) движением и опустил руку. Я взглянул на надпись... Я никогда не смогу выразить ту отчаянную боль, которую почувствовал – большая часть надписи не "получилась" – паста отошла от кончика ручки. А видел я несколько слов: "Моему самому любимому" и дальше то ли "доброму", то ли "дорогому" – невозможно было разобрать, и еще дальше будто ничего и не писалось. Была видна лишь первая палочка в букве "Т" в подписи. Думаю, что это была последняя запись, которую сделал Тимофеев-Ресовский. Этот оттиск я храню как самую дорогую реликвию, храню также чувство щемящей боли, которую я тогда испытал.

Николаю Владимировичу трудно было говорить. Я предложил, чтобы он вздремнул, а я бы почитал подаренную мне статью. Но он не согласился. Через некоторое время я решил уйти, чтобы не утомить его вконец. Он сказал мне несколько прощальных слов, трогательных и лестных, которые не хочу здесь приводить. Прощаться было невыносимо тяжело – мы оба понимали, что это наша последняя встреча. Мы обнялись, поцеловались и не смогли удержать слез. Я вышел в коридор и почему-то искал

дежурного врача – о чем я мог его спросить или просить? Врача не было, была сестра – подтянутая, опрятная, миловидная. Я спросил только, представляет ли она, что у нее в палате лежит один из выдающихся людей столетия. Она сказала, что делается все, чтобы облегчить ему страдания. Я поблагодарил ее и пошел на станцию.

Мне казалось крайне несправедливым, что этот великий человек, этот гигант, прошедший с гордо поднятой головой через тяжелейшие испытания, доживает свои последние дни в мучениях от обыкновенной человеческой болезни. Когда, примерно через месяц, телеграмма от Володи Иванова известила меня о кончине Николая Владимировича, я, глубоко потрясенный и убитый горем, почувствовал все-таки некоторое облегчение. Сто красных гвоздик – вот все, что я вез с собой в Обнинск на этот раз. Через день после похорон по пути на станцию я зашел к Андрею Николаевичу попрощаться. Андрей предложил мне взять что-нибудь на память о Николае Владимировиче. Я взял несколько английских детективов. Обнинск опустел. Я уезжал, чувствуя, что мне никогда больше не захочется туда вернуться.

РОМЕН РАФАЕЛОВИЧ АТАЯН родился в 1936 г. в Ереване. Доктор биологических наук, старший научный сотрудник отдела радиобиологии Арм. НИИ земледелия, г. Эчмиадзин (Армения). Редактор сборника "Чтения памяти Н.В. Тимофеева-Ресовского", Ереван: Изд-во АН Арм ССР, 1983. В 1963–1966 гг. – аспирант Н.В. Тимофеева-Ресовского.

С.М. Гершензон

ЗАМЕТКИ О Н.В. ТИМОФЕЕВЕ-РЕСОВСКОМ

Я впервые увидел Николая Владимировича в 1924 г., когда был студентом 2-го курса МГУ. Я регулярно посещал еженедельные научные конференции Института экспериментальной биологии, который тогда помещался в небольшом двухэтажном домике в Сивцевом Вражке; на эти конференции их руководитель, Н.К. Кольцов, приглашал студентов-биологов МГУ, где он читал нам лекции. В это время я очень интересовался генетикой, об успехах которой Кольцов говорил в своих лекциях; кроме того, я с увлечением читал незадолго до того появившийся перевод книги Моргана "Структурные основы наследственности". На одной из конференций Института экспериментальной биологии я был, когда там делал доклад Николай Владимирович о своей работе по пенетрантности и экспрессивности одной крыловой мутации у Drosophila funebris. На меня произвел большое впечатление этот блестящий доклад молодого ученого (там им впервые были введены в генетический обиход два упомянутых выше термина). Я попросил моего друга, Владимира Владимировича Сахарова, научить меня работе с дрозофилой (он ведал у Кольцова или у Серебровского, не помню, у кого из них, поддержанием мутантных линий D. melanogaster, привезенных в Москву в 1922 г. Г. Мёллером). Тогда я провел дома "малый практикум" по генетике с дрозофилой (моногибридное и дигибридное скрещивания, сцепление с полом, кроссинговер) и влюбился (на всю жизнь) в этот объект. А вскоре Кольцов предложил мне (а также Б.Л. Астаурову, бывшему старше меня на один курс в МГУ) начать работать в его Институте в должности лаборанта; тогда институт только что переехал в новое здание на Воронцовом поле (теперь ул. Обуха). Там я еще раз видел Николая Владимировича, который уже знал о том, что по рекомендации Кольцова должен скоро уехать в Берлин в Институт мозга к Фогту, решившему открыть у себя генетическую лабораторию. Мы все знали о предстоящем отъезде Николая Владимировича в Берлин и желали ему успеха в этой новой должности.

После возвращения Николая Владимировича из концлагеря и получения им возможности бывать в Москве и Ленинграде, я неоднократно с ним встречался на различных научных конференциях, симпозиумах и т.д.; мы с ним быстро перешли на ты, при встречах он всегда со мною целовался и вообще хорошо ко мне относился, свободно обо всем говорил, как с близким человеком. От него я узнал некоторые подробности его возвращения. После победы Академия наук послала в Берлин делегацию, представители которой должны были отобрать в научных институтах приборы, с тем чтобы они были отправлены в СССР в порядке репарации. В числе этих представителей был член-корреспондент Н.Н. Нуж-

дин (мой бывший ученик, сделавший у меня кандидатскую диссертацию, а после 1948 г. ставший ярым лысенковцем, бросившим жену и женившимся на Дозорцевой, секретаре партбюро Института генетики АН СССР, с помощью которой Нуждин не только устроился в нем на работу, но сделал быструю карьеру). В Берлине Нуждин сообщил нашим "органам" о том, что в Берлин-Бухе работает такой-сякой "невозвращенец" Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, запятнавший себя сотрудничеством с фашистами. Это заявление Нуждина послужило основой для ареста, высылки и отправки Николая Владимировича в концлагерь.

Не помню, в каком году (кажется, в первой половине 60-х), Николай Владимирович написал мне, что он хотел бы летом с Еленой Александровной (женой) совершить поездку на теплоходе по Днепру и просил меня достать им билеты. Мне удалось сделать это (хотя это было не очень просто), я достал им билеты в каюту "люкс" на один из лучших днепровских теплоходов, на рейс Киев–Херсон и обратно. Когда Николай Владимирович с женой приехали в Киев, я ненадолго завез их домой, где моя покойная жена накормила их завтраком, а потом мы отправились на пристань; посадка на теплоход должна была начаться в 11 ч, а отплытие – в 12 ч. Но когда мы приехали на пристань, оказалось, что посадка и отплытие будут на два часа позже объявленного. Эти два часа мы провели на лавочках около причала; на одной сидел я с Николаем Владимировичем, на другой – наши жены. Во время моей беседы с Николаем Владимировичем (не помню повода) почему-то зашел разговор о религии. Привожу по возможности дословно слова Николая Владимировича об его отношении к религии. Он сказал, что он любит бывать на церковных обеднях, если поет хороший хор; слова молитв и музыка к ним написаны очень талантливыми людьми. Особенно это относится к заупокойным службам, которые "прямо за сердце берут". Так же высоко Николай Владимирович ценил и католические церковные службы, если хороши и хор и орган. Но обрядность церковную он полностью отрицал, относился к ней пренебрежительно. Что касается Бога, то он сказал, что, конечно, не верит в "старика Саваофа, сидящего над облаками", т.е. в Бога как личность. Однако он думает, что в природе есть какой-то руководящий фактор, определяющий основные законы природы и ее развитие; такого Бога он признает и в него верит. Кроме того, он считает, что многое в учении Христа сыграло свою роль в установлении нравственных принципов и хотя, его заветы постоянно нарушаются, они, несомненно, оказывали и оказывают известное положительное влияние на поведение множества людей.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ГЕРШЕНЗОН. Родился в 1906 г., академик АН Украины, Герой Социалистического Труда. Ученик С.С. Четверикова. Выдающийся генетик, автор классических работ по исследованию полиморфизма в природных популяциях хомяков и дрозофилы. Открыл мутагенную роль экзогенных ДНК. Знаком с Н.В. Тимофеевым-Ресовским с 1924 г.

О.К. Гусев

В ЗАЩИТУ ЗУБРА И ЗУБРОВ

Н.В. Тимофеев-Ресовский был известен биологам многих стран мира, а после выхода в свет повести Д. Гранина "Зубр" (Новый мир. 1987. № 1 и 2. и два отдельных экспресс-издания) стал знаменитым и в своем отечестве.

Высокую оценку повести и ее главному герою дали профессиональные критики, литераторы, ученые, но в печати появились и иные отклики. Зная о раскладе противоборствующих литературных групп, негативное отношение к произведению Д. Гранина можно было предвидеть. Но вряд ли ученые ожидали, что публикация повести вызовет настоящую травлю ее главного героя – Н.В. Тимофеева-Ресовского.

С Н.В. Тимофеевым-Ресовским мне довелось работать в лаборатории биофизики Уральского филиала Академии наук СССР, жить в одном доме на биостанции Миассово, почти ежедневно встречаться и беседовать в течение двух летних полевых сезонов в 1961 и 1962 годах. Во время нередких командировок в Свердловск я подолгу жил у Тимофеевых-Ресовских и был невольным свидетелем обихода и уклада жизни этой прекрасной, благородной семьи. Все это дает мне право свидетельствовать: появившиеся в печати нападки на Н.В. Тимофеева-Ресовского совершенно не соответствуют действительности.

Один из первых сигналов к началу охоты на Зубра был подан статьей А. Казинцева "Лицом к истории: продолжатели или потребители" (Наш современник. 1987. № 11). Автор статьи пишет: "Из других источников узнаешь, что в Институте кайзера Вильгельма, где работал Зубр, особое внимание уделялось евгенике – науке, которую фашисты пытались использовать для обоснования и практического воплощения своих бредовых теорий. Тимофеев-Ресовский как будто не принимал участия в подобных программах. Однако полученные им результаты могли использоваться и без его ведома".

Логика по меньшей мере странная. Ведь и достаточно смышленому школьнику должно быть ясно, что если "Зубр не принимал участие в подобных программах", то и результатов быть не могло и, следовательно, ими не могли воспользоваться без его ведома.

К облаве на Зубра подключился и В. Бондаренко (Москва. 1987. № 12). Предупредив читателей, что с биологами он не знаком, о Зубре подробно читает впервые и что всю информацию получил из повести Д. Гранина, он "любопытствует": "Интересуюсь... сотрудничал ли, по мнению Д. Гранина, Зубр с нацистами или нет?.. Входила ли в круг научных интересов лично Тимофеева-Ресовского или кайзер Вильгельм института в целом евгеника – наука об улучшении человеческой расы?"

По мнению Д. Гранина, Зубр с нацистами не сотрудничал, он всегда оставался на стороне антифашистов, в чем не мог не убедиться В. Бондаренко, так как повесть не оставляет в этом ни малейшего сомнения. Если бы "любознательности" В. Бондаренко хватило на ознакомление с любым справочным пособием, хотя бы с Большой медицинской энциклопедией (М., 1987. Т. 8), он был бы весьма раздосадован. "Евгеника – сообщает это авторитетное издание – учение о предупреждении возможного ухудшения наследственных качеств человека, а в перспективе – об условиях и методах влияния на совершенствование этих качеств... Перед евгеникой ставились самые гуманные цели".

В настоящее время в США и нашей стране начала осуществляться программа "Геном человека". Человечество очень надеется, что она поможет ему избавиться от многих страшных болезней.

"Надо ли говорить, – пишет в журнале "Коммунист" (1987. № 14) С. Дьяченко, – что советская генетика ничего общего с расизмом не имела. Но Лысенко и его приспешники обвинили наших ученых в связи с фашизмом, а также приписали им извращения евгеники и социал-дарвинизма... В условиях второй половины 30-х годов это была, конечно, целиком демагогическая, но точно рассчитанная политическая провокация, имевшая тяжелые последствия".

Один из приспешников Лысенко, активнейший участник этой политической провокации – И.Е. Глущенко на сессии ВАСХНИЛ в 1948 г. назвал Н.В. Тимофеева-Ресовского "нашим заклятым врагом" ("О положении в биологической науке": Стенографический отчет сессии Всесоюзной академии с/х наук им. В.И. Ленина. 31 июля – 7 августа 1948 г. М.: Огиз–Сельхозгиз, 1948). А в это время Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, едва живой, почти ослепший, недавно выйдя из лагеря, находился в ссылке.

В. Бондаренко опоздал "всего" на несколько десятилетий. И евгеника, и генетика, и кибернетика, и много других "-логий" и "-етик" давно уже не числятся в "продажных девках империализма", а верой и правдой служат не только всему человечеству, но и нашему многострадальному народу.

В статье "Необоснованные обвинения" академик В. Струнников, член-корреспондент АН СССР А. Яблоков и доктор физико-математических наук В. Иванов отвергли все бездоказательные обвинения В. Бондаренко в адрес Н.В. Тимофеева-Ресовского, "замечательного ученого, которым по праву гордится наша и мировая наука" (Литературная газета. 1988. 27 янв.).

Матерым спецом по облавным охотам на Зубров показал себя и доктор исторических наук А. Кузьмин (Наш современник. 1988. № 3). В статье "К какому храму ищем мы дорогу?" он ставит под сомнение многие научные достижения Зубра, отмечает, как бы намекая на что-то предосудительное, что Зубр часто печатался в соавторстве, что его идеалом была "сытая жизнь", что "ни Родина, ни социальная справедливость" для него не значили. И хотя в статье А. Кузьмина хорошо просматривается кон-

сультация одного из наших известных генетиков, научного недоброжелателя Зубра, это не освобождает доктора исторических наук от серьезной моральной ответственности за искажения истории и злонамеренные измышления. Вот так, походя, стараясь как можно больнее ударить по Д. Гранину, оговаривают человека, которого уже нет в живых, которого совершенно не знают и который уже никогда не сможет ответить своим оппонентам.

Высокую оценку научному наследию Н.В. Тимофеева-Ресовского дали доктор химических наук Л.А. Блюменфельд, член-корреспондент АН СССР А.В. Яблоков, доктор физико-математический наук Ю.М. Свирежев, академик О.Г. Газенко (Наука и жизнь. 1988. № 2). Заслуги Н.В. Тимофеева-Ресовского признаны учеными всего мира. Он был награжден многими национальными и международными премиями и меделями.

Николай Владимирович любил трудиться в содружестве, часто публиковался в соавторстве. Летом 1962 г. нам довелось работать над "Словарем основных понятий и терминов эволюционной систематики и биогеографии". Инициатором был я, но мое участие в "Словаре" свелось к составлению словника, подбору литературы, оппонированию, иногда к подготовке черновых набросков. Словарь мы не закончили, хотя и успели дать определения 150 понятиям. Определение таких понятий, как ареал, биогеография, биогеоценоз, биогеоценология, биосфера, вид, видообразование и др., занимало по нескольку страниц машинописного текста. После бурного обсуждения Николай Владимирович, вдохновенно вышагивая по кабинету, диктовал текст статей, которые в дальнейшем почти не требовали правки. А ведь жанр словаря – один из наиболее трудоемких и сложных литературных жанров, он требует предельной четкости мышления, максимальной концентрации мысли, точных и строгих дефиниций. Я был свидетелем огромной эрудиции, почти фотографической памяти, могучей энергии этого выдающегося гомо сапиенса, его самобытно-глубокого взгляда на вещи. Таким, как правило, и был вклад "соавтора" Н.В. Тимофеева-Ресовского во многие совместные публикации.

Анекдотически нелепы попытки А. Кузьмина обвинить Н.В. Тимофеева-Ресовского в искании "сытой жизни". По замечанию Г.Х. Попова, Зубр пошел в науку, "когда из всех возможных занятий наука была самым невыгодным". У Николая Владимировича совершенно отсутствовало влечение к так называемым благам жизни – личным средствам, доходам, накопительству, приобретательству. За два года постоянного общения в рабочей и домашней обстановке я ни разу не слышал от него ни о чем подобном. Это было следствием особого состояния его души, его пожизненного увлечения наукой. Его напряженная духовная жизнь требовала полнейшей самоотдачи, совершенно не оставляла места для подобных "материализмов".

Наука долгие годы оставалась для него "самым невыгодным занятием". Не имея нужных бумажек, степеней и званий, он, будучи заведующим академической лабораторией и всемирно известным ученым,

получал какой-то совершенно неприличный оклад. Но никогда ни на что не жаловался и уж тем более ни о чем не просил.

Волею исторических обстоятельств ему пришлось жить в нацистской Германии. Это беда его, а не вина. Чувство Родины не оставляло его ни на один день. Он прославлял отечественную науку, скрупулезно следил за нишими публикациями, собирал и хранил в специальных папках многочисленнейшие оттиски статей советских генетиков и зоологов, составил замечательную антологию русской и советской поэзии. И все тяжелые годы фашистского тоталитаризма ждал возможности вернуться на Родину.

Доктор экономических наук Г.Х. Попов, высоко и предельно доброжелательно оценив личность и заслуги Зубра, тем не менее считает, что он оставил нам "урок недопустимости ухода от политики, недопустимости пассивного ожидания чего-то". Г. Попов ставит вопрос о мере ответственности Зубра и Зубров "за трагедии всего народа", за примирение с ролью "политических винтиков" (Наука и жизнь. 1988. № 3). Зубры жили в условиях чудовищной инквизиции и тотального страха. Упрекать их в уходе от политики, а тем более говорить об ответственности "за трагедии всего народа" неправильно и несправедливо. И после лагеря и после ссылки Н.В. Тимофеев-Ресовский оставался пламенным трубадуром генетики, критиковал Лысенко и лысенковщину, открыто говорил то, что думал. В его положении это было смертельно опасной политикой. Нет, гордый дух Зубров никому еще не удавалось вытравить до конца! Не разумнее ли говорить об ответственности тех, кто Зубров уничтожал, кто создал такие невыносимые условия жизни, когда любое проявление гражданской активности могло привести к "исчезновению".

Н.В. Тимофеев-Ресовский верил в активную роль разума. В одной из своих поздних работ, призывая к рациональной организации природы Земли, он показал высочайший уровень обобщений.

В последнее время мы научились метаться из одной экологической крайности в другую, тактическое мышление предпочитать стратегическому, игнорировать и искажать данные науки и даже демонстрировать разнузданность все позволяющей себе личности, нахватавшейся лишь верхушек знания и культуры. Такие понятия, например, как преобразование природы, улучшение природы, обогащение природы, сплошь и рядом подвергаются остракизму, а слова "преобразователь природы" стали чуть ли ни бранной кличкой.

Н.В. Тимофеев-Расовский и здесь не побоялся ответственнейших рекомендаций по преобразованию природы.

"Нужно срочно, всеми силами и, главное, всем своим психологическим устремлением современным людям настроиться на перестройку биосферы.. Нужно повышать плотность зеленого покрова... Биологическую производительность природных и искусственных биоценозов", — писал он в статье "Человек и биосфера", которую Ю.М. Свирежев назвал "готовой программой современной глобалистики, концептуальной моделью биосферы" (Наука и жизнь. 1988. № 2).

Зубр был наделен от природы могучим общественным темпераментом.)н не позволил бы ему стоять в стороне от великих дел, если бы даже }убр этого захотел.

›ЛЕГ КИРИЛЛОВИЧ ГУСЕВ – биолог-охотовед, кандидат биологических на-/к, главный редактор журнала "Охота и охотничье хозяйство". Работал в ıаборатории биофизики Уральского филиала АН СССР, которой руководил Н.В. Тимофеев-Ресовский. Два летних полевых сезона, 1961 и 1962 гг., }аведовал полевой группой биостанции Миассово на Южном Урале.

Священник Александр Борисов

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Мое первое знакомство с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским было весной 1965 г., когда на биофаке МГУ впервые за послевоенные годы проводилась генетическая конференция, обозначившая официальное возвращение этой биологической дисциплины в научное русло. Впрочем, в Ленинграде уже не один год М.Е. Лобашев читал классическую генетику студентам и темы кандидатских диссертаций уже не имели нечего общего с лысенковщиной. Но Москва еще оставалась оплотом научного мракобесия. Так что еще в 1964 г., когда я заканчивал МГПИ им. Ленина, курс генетики нам читал "подпольно" зав. кафедрой сельского хозяйства Андрей Викторович Платонов, ученик Жебрака. Он собрал несколько студентов, которым доверял, и предложил прочесть курс классической генетики. Разумеется, все мы с радостью согласились. Это было совершенно удивительное событие. Нам, привыкшим к официозу обычных лекций, было легко и радостно сидеть за одним столом с преподавателем, напротив друг друга, и слушать то, о чем нам все время твердилось не иначе как о "махровом менделизме". Это было равносильно переживанию чуда, когда все наши представления о зоологии и ботанике, наконец, обретали понятную логическую основу. Чередование поколений у низших растений, естественный отбор, эволюция и многое, многое другое – все вдруг стало складываться в стройное здание Природы, подчиняющейся в основе своей простым и величественным закономерностям.

После окончания пединститута я был оставлен в созданной тогда на факультете Проблемной лаборатории, став одновременно аспирантом у профессора Меркурия Сергеевича Гилярова. Я продолжал работать в том же направлении, в каком делал дипломную работу – почвенная зоология. Однако после знакомства с генетикой анализ почвенных проб для учета численности и видового состава разнообразных почвенных чле-

---

нистоногих мне уже представлялся совершеннейшим XIX веком. Просиживать долгими часами за бинокуляром, разбирая и закладывая в постоянные препараты еще недавно столь симпатичных мне клещей и коллембол, казалось мне уже совершенно напрасной потерей времени. На этом фоне и произошло первое знакомство с Николаем Владимировичем.

Естественно, вокруг его имени расползались всякие кошмарные слухи, так что от всей ситуации веяло жутковатой загадочностью и таинственностью. Появление Николая Владимировича на кафедре само по себе уже незабываемое зрелище: породистые, крупные черты лица, громовой голос, совершенно свободная манера держаться и необычайное дружелюбие к аудитории – все это производило впечатление, что вот этот человек вводит нас в мировую науку, до этого времени закрытую от нас. Бор, Планк, Дельбрюк и другие великие легендарные имена спускались с недосягаемых монбланов западной науки и входили в сферу обсуждаемых проблем и вопросов через этого удивительного человека с римской внешностью и дореволюционным произношением, знавшим и дружившим с ними.

Впечатление было, конечно, неизгладимым. Вопрос для меня был решен – оставить почвенную зоологию и искать пути работы в генетике. Тот же Андрей Викторович Платонов через своего друга помог мне попасть в лабораторию Н.П. Дубинина, тогда еще набиравшую силу под крылом Института биофизики. В родном педвузе меня, конечно, все окружили презрением как изменника, все, кроме научного руководителя, М.С. Гилярова, горячо мною уважаемого и любимого. Он, со свойственным ему неподражаемым остроумием, заметил мне: "Ничего, Сашенька, не огорчайтесь! Изменять нельзя только жене, а научному руководителю – вполне допустимо". На протяжении многих лет, вплоть до самой кончины Меркурия Сергеевича, мы всегда открытками поздравляли друг друга с Рождеством и Пасхой.

Следующее яркое воспоминание о Николае Владимировиче – летняя генетическая школа на Московском море. Это было немного похоже на пионерский лагерь, но без его унизительных атрибутов, а лишь с прелестной ностальгической атмосферой общности, простоты, молодости и веселья. И даже некое подобие линейки на открытии и Николай Владимирович в трусах, державший речь перед вольным строем участников, – все это возвращало воспоминание о пионервожатом, только теперь без всякого галстука, ученый с мировым именем приглашает нас всех вместе пожить и, никуда не торопясь, наконец вслать поговорить "за науку". Было что-то необычайно замечательное в этой непринужденной обстановке, в этой возможности плескаться на одном пляже, загорать на жарком солнце, а потом под тенью навеса на равных обсуждать любые, самые, быть может, тогда рискованные проблемы. Впрочем, тогда, разумеется, все ограничивалось рамками науки. Николай Владимирович был, по-моему, совершенно равнодушен к политике. Это не было отрешенностью. Просто для него это было, по-видимому, совершенно неинте-

)есным. Как Церковь, которая существует века при самых разных фор-
мациях, оставаясь сама собой, так и наука для Николая Владимировича была тем вечным, ради которого не стоило отвлекаться на временное и преходящее.

Помню обсуждение предложенной мной возможности сосуществования в природе как "дарвиновских", так и "ламарковских" механизмов, из которых первые просто заметнее и поддаются экспериментальному исследованию, а вторые, которые, собственно говоря, и определяли возникновение типов и классов, гораздо сложнее и станут предметом лишь завтрашней науки. Моя аргументация сводилась к несоответствию между снижением плодовитости более совершенных организмов (например, млекопитающих) по сравнению с вирусами, бактериями, насекомыми и т.п. при одновременном увеличении темпов эволюции. При существовании лишь "дарвиновских" механизмов эволюции видообразование, скажем, парнокопытных или слонов должно было бы просто остановиться. Обсуждение шло совершенно непринужденно, при сохранении, разумеется, уважения к старшим – панибратства никакого не было. Николай Владимирович, помню, сказал: "Ваша гипотеза изящна, но неверна..." Далее следовало подробное объяснение – почему неверна, меня, надо сказать, не убедившее.

В 1968 г. после незначительного события (вызов в районное КГБ по поводу одной самиздатовской рукописи) Н.П. Дубинин решил разогнать лабораторию, в которой я работал (тогда уже образовался Институт общей генетики, а лаборатория наша носила громкое название – "Лаборатория эволюционной генетики". Кроме меня, там работали А.И. Гроссман, в 1972 г. эмигрировавший в Израиль, а затем в США, и Л. Улицкая, ставшая сейчас писательницей и киносценаристом). Я и А.И. Гроссман бросились за помощью и поддержкой к Николаю Владимировичу. Он принял нас как родных, полдня просидели, изливая наши беды. Николай Владимирович решил твердо – не такое сейчас время, чтобы разгонять молодых генетиков. Он обратился к Б.Л. Астаурову и С.И. Алиханяну, вскоре принявших нас к себе на работу. Так что диссертацию, сделанную в дубининском институте, мне пришлось уже защищать на следующий год у Б.Л. Астаурова.

Естественно, в качестве оппонента-доктора я пригласил именно Николая Владимировича, поскольку и тема моей диссертации по хромосомному полиморфизму природных популяций дрозофил была ему близка и интересна.

В 1972 г. я решился еще раз круто изменить свою судьбу, насмотря на то что работа шла и обстановка в Институте биологии развития, во всяком случае, как я ее видел, была совершенно замечательной. Я ощущал все это лишь как благо исключительно "для себя". Как христианину, мне хотелось потрудиться там, где, как я убежден, находятся истоки всех наших настроений – в области созидания человеческого духа – в Церкви. Именно отпадение нашего народа от духовного источника, питавшего национальный организм на протяжении многих веков, привело к деградации на-

рода, уничтожению культуры, развалу науки и экономики. Борис Львович Астауров, услышав о моем намерении уйти из Института, не стал обсуждать вопрос на ходу, а пригласил к себе домой. Это был не первый мой визит к нему – мне довелось и ранее бывать у него в связи с работой по организации Международного генетического конгресса в Москве. После того как я изложил свои обстоятельства, Борис Львович сказал глубоко запомнившиеся мне слова: "Я понимаю, сейчас время очень трудное, возможны разные решения: с Вашим решением я не согласен, но признаю за Вами право поступать так, как Вы считаете нужным. Давайте обсудим, как мы все это будем представлять вышестоящим инстанциям; были ли подобные прецеденты?" Позже до меня доходили сведения, что Борису Львовичу пришлось выслушать много неприятного из-за моего ухода из Академии наук в Духовную академию. Борис Львович скоропостижно скончался летом 1974 г. Никогда ни от него, ни от его родных я не слышал и тени упрека, что доставил Борису Львовичу немало неприятностей переходом на служение в Русскую Православную Церковь.

Вскоре после того как я начал служить в церкви Знамения Божией Матери в Москве (у метро "Речной вокзал"), мне позвонил кто-то из молодых друзей Николая Владимировича и передал его просьбу приехать к нему в Обнинск. Признаться, я ехал с некоторой тревогой – как отнесся этот метр нашей генетики к моей измене науке? Но опасения мои были совершенно напрасными. Николай Владимирович встретил меня необычайно радостно, обнял, пропел даже "Многая лета" и "Ныне отпущаеши", а затем серьезно сказал: "Саша, Вы принадлежите к тем людям, которые строят свою жизнь в соответствии со своими убеждениями, и у Вас это как будто получается". Что и говорить, для меня это было огромной поддержкой и ободрением. Я мог, конечно, предполагать, что Николай Владимирович не был враждебен религии, но узнать, что он был, что называется, практикующим христианином, что он, обладая прекрасным слухом и голосом, в свое время пел в университетском церковном хоре в Москве, было для меня чрезвычайно радостно. Его любимым песнопением было басовое соло "Ныне отпущаеши" композитора Строкина. Он и тогда его исполнял вполне хорошо. Живая в Берлине, он был постоянным прихожанином русской церкви, расположенной неподалеку. Был в дружбе со многими видными деятелями русской православной эмиграции. Бердяев, Франк и другие, имена которых нам знакомы лишь из книг, были его друзьями, нередко встречались у него в Бухе, под Берлином, за чаем и, как он говорил, "и за более горячими напитками".

У меня до сих пор хранится магнитофонная запись взятого мною у Николая Владимировича интервью о его взгляде на взаимоотношения науки и религии. Основная мысль Николая Владимировича заключалась в том, что ни один по-настоящему крупный, именно крупный – подчеркивал он – ученый – естественник (а именно естественников, в отличие от гуманитариев, Николай Владимирович почитал за настоящих ученых) за все обозримое историческое время не был атеистом. На вопрос, не было ли какого-то кризиса в его становлении как ученого и как с детства

воспитанного бабушкой в строгом православии, Николай Владимирович отвечал, что обсолютно никакого кризиса и вообще проблемы на было. Бог создал весь мир, а мы его изучаем – вот и все, а все разговоры о несовместимости религии и науки – совершеннейший вздор.

После моего первого визита в Обнинск уже в моем новом качестве церковнослужителя я довольно регулярно навещал Николая Владимировича по 3–4 раза в год, и всегда это было радостное общение с этим удивительным человеком с обсуждением не только научных, но и богословских проблем. Последнее, видимо, как-то особенно импонировало Николаю Владимировичу, так как ощущалось отчетливое стремление к религиозной и даже церковной жизни, но возможности такого рода были тогда крайне ограниченны. В Обнинске не было действующей церкви. В Москве Николай Владимирович был нарасхват как ученый, да и здоровье и преклонный уже возраст затрудняли обычную церковную жизнь.

В начале 1978 г. Николай Владимирович довольно серьезно заболел, слег в больницу. К этому времени через друзей мне удалось раздобыть книгу Рэймонда Муди "Жизнь после жизни", в которой были собраны рассказы людей, переживших клиническую смерть. Подобный опыт лет за десять до этого пережил один человек, которого я очень хорошо знал. Он вернулся к жизни с полной убежденностью, просто знанием, что существует жизнь души после смерти тела. У меня естественно возникла мысль перевести эту книгу на русский и "запустить" в самиздат. Болезнь Николая Владимировича, желание как-то поддержать соединились с желанием узнать так же и его мнение о книге. Книжку он с радостью взял и в больнице ее читал. Хотя, как известно, после перенесенной в карагандинском лагере пеллагры зрение не позволяло ему читать свободно, лишь с лупой, тем не менее он читал сам и к следующему моему приезду книжку уже прочел, причем с полным одобрением. Благословение Николая Владимировича на перевод было для меня очень важным и радостным. То, что мое доверие к книге и ощущение ее нужности подтверил и Николай Владимирович, буквально окрылило меня. Уже в течение лета перевод был завершен. Ксерокопии с машинописи тиражировались, перепечатывались и распространялись с огромной скоростью. Так что за короткое время книгу прочла, вероятно, не одна тысяча людей.

Сейчас, когда у нас открылась небывалая свобода слова, первым делом появилось сразу два "пиратских" издания, которые воспроизводили самиздатовский вариант даже без указания фамилии переводчика. То обстоятельство, что в сущности Николай Владимирович – крестный отец этого издания, к сожалению, никак не было отражено в книге из-за необычайной предприимчивости издателей.

Спустя три года Николай Владимирович вновь заболел, и почувствовалось, что это совсем серьезно. Я решился предложить ему пригласить священника, чтобы исповедаться и причаститься (я тогда еще служил диаконом и не мог совершать все это сам). Конечно, я боялся его огорчить слишком явным намеком на то, что состояние его весьма тяжелое. Разумеется, я говорил, что ведь он так давно не имел возможности быть

в церкви. В самом деле, оказалось, что не причащался со времени жизни в Берлине. Но все опасения были напрасны. Николай Владимирович совершенно спокойно и очень серьезно сказал, что он будет очень рад, если мне удастся это сделать.

Пригласить к такому человеку нужно было священника такого же уровня. Я на следующий же день поехал к о. Александру Меню и привез его в Обнинск. Было необычайно радостно видеть, как эти два удивительных человека уже через несколько минут буквально вцепились друг в друга, как будто были знакомы всю жизнь О. Александр называл имя: "А знали вы такого-то? Он мог быть в этот момент в Берлине?" Николай Владимир восклицал: "Ну, как же, очень даже встречались... А вот?..." – называется другое имя. Словом, сразу обширный круг общих знакомых, которых один хорошо знал лично, а другой – настолько хорошо по книгам и воспоминаниям, что создавалось огромное пространство общих знаний, воспоминаний, интересов. Время, однако, шло, нужно было переходить к тому главному, ради чего состоялась это встреча. Я вышел, оставив их одних. Часа через полтора о. Александр вышел из палаты и позвал нас (меня и сына Николая Владимировича, Андрея, удивительно красивого и приятного человека). Николай Владимирович полулежал на высокой подушке. Лицо его было заплаканным и совершенно счастливым. Мы простились. Через две недели он скончался.

Прощаясь с Николаем Владимировичем на обнинском кладбище под лучами весеннего солнца, почти каждый считал своим долгом перекреститься, не стесняясь, а как бы даже подчеркивая, что иначе и нельзя. Свою удивительную свободу Николай Владимирович продолжал передавать своим друзьям. На девятый день была отслужена панихида в моей церкви на "Речном вокзале". Было торжественно печально, но не горестно. Осознавалось, что Бог принял эту удивительно чистую душу человека, пронесшего через фантастически сложные и трудные обстоятельства, любовь к истине, благородство, достоинство.

Во время моей единственной заграничной поездки осенью 1990 г. я познакомился в предместье Парижа, Медоне, с русским католиком князем Сергеем Оболенским. Высокий худой старик, похожий на Бунина. Голос, манера говорить, даже интонации были совершенно как у Николая Владимировича. Вместе с людьми, родившимися и сложившимися в начале нашего века, уходит и целая эпоха особого склада русской души и русской культуры того времени. Удастся ли ним запомнить и сохранить ее лучшие черты: внутреннюю свободу, честность и, быть может, самое главное, фундамент всех этих замечательных свойств – веру в Высшее начало, из которого все исходит и к Которому все возвращается.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ БОРИСОВ – настоятель церкви святых Космы и Дамиана в г. Москве. Депутат Моссовета. Кандидат биологических наук, генетик. Н.В. Тимофеев-Ресовский был официальным оппонентом на защите А.И. Борисовым диссертации. Одобрил перевод на русский язык книги Р. Муди "Жизнь после жизни", сделанный о. Александром Борисовым.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

SUMMARY

The present book compiles the recollections of several authors dedicated to the life and activity of one of the most prominent modern biologists – Nikolai Vladimirovich Timofeev-Ressovsky.

N.V. Timofeev-Ressovsky is well-known as a scientist all over the world. He was a member of many Academies (USA, Germany, Italy), was elected as an Honorable Fellow of various scientific Societies, was the winner of many International Prizes.

In Russia the life and fate of Timofeev-Ressovsky became widely known after the publication of the novel by Daniel Granin "The Aurochs".

The unusual biography of Timofeev-Ressovsky, including the period of his work in Germany (1925–1945) became the "present of fate" to Lyssenko and his supporters in post-war years. Since 1948 Timofeev-Ressovsky was chosen as a target for political and scientific discrediting. However, since 1955 (after Stalin's death) N.V. Timofeev-Ressovsky returned to the public activity, and began to organize with a great energy the restoration of the classic genetics in Russia.

His works were devoted to a wide spectrum of actual scientific problems. Among them: the mechanisms of mutations and their role in the process of evolution, mutations and the geographic variability, different aspects of radiation genetics and radiobiology, etc. N.V. Timofeev-Ressovsky is the author of hundreds of papers and many monographs.

N.V. Timofeev-Ressovsky was a scientist, not a politician. Nevertheless, in difficult situations he and members of his family behaved in accordance with principles of honour on which he himself and his ancestors were brought up. So during his stay in Germany Timofeev-Ressovsky saved many soviet people, exportated in Germany as "Ostarbeiter's". Among them – one of the authors of the present book – professor S.N. Warshavsky. He recollected: "...I, as many of us ‹...› owe my life to Nikolai Vladimirovich ‹...› One cannot forget it...".

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

Научное издание

Николай Владимирович
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ

СЕРИЯ "УЧЕНЫЕ РОССИИ.
ОЧЕРКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. МАТЕРИАЛЫ"

Утверждено к печати
Редколлегией серии
"Ученые России. Очерки. Воспоминания. Материалы"
Российской Академии наук

Руководитель фирмы "Наука—Биология"
И.Б. Ветрова
Редактор издательства
А.М. Гидалевич
Художественный редактор
Н.Н. Михайлова
Технический редактор
Н.М. Бурова
Корректор
З.Д. Алексеева

Набор выполнен в издательстве
на наборно-печатающих автоматах

ЛР № 020297 от 27 ноября 1991 г.

ИБ № 58

Подписано к печати 18.10.93
Формат 60×90 1/16. Гарнитура Пресс-Роман
Печать офсетная. Усл.печ.л. 25,0+0,1 вкл
Усл.кр.-отт. 25,1. Уч.-изд.л. 27,9
Тираж 3000 экз. Тип. зак.3433.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство "Наука" 117864 ГСП-7,
Москва В-485, Профсоюзная ул., 90

Санкт-Петербургская типография № 1 ВО "Наука"
199034, Санкт-Петербург, В-34 9-я линия, 12

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "НАУКА"

готовятся к печати книги:

Н.М. АРТЕМОВ, Т.Е. КАЛИНИНА

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕТВЕРИКОВ
(1880–1959)
12 л.

В книге представлена научная биография крупного отечественного биолога профессора Сергея Сергеевича Четверикова – одного из основоположников популяционной и эволюционной генетики. Показан вклад ученого в развитие биологической науки, сформулирован закон равновесия при свободном скрещивании, выявлены роль изоляции в дифференциации вида и значение естественного отбора в процессе адаптивной эволюции, проведены исследования роли генотипической среды в процессе наследственности и эволюции.

Для читателей, интересующихся развитием отечественной науки.

КРУШИНСКИЙ Л.В.
ПРОБЛЕМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ.
Избранные труды. 22 л.

Том избранных трудов Л.В. Крушинского посвящен проблеме формирования нормального и патологического поведения животных. В нем отражена история создания линии Крушинского–Молодкиной (КМ), дается подробное описание целого ряда патологических состояний, которые можно вызвать у крыс с помощью звука. Рассмотрены некоторые механизмы аудиогенного эпилептиформного припадка, миоклонического гиперкинеза острых нарушений кровообращения и способы их предотвращения.

Для биологов, патофизиологов, медиков, психологов, этологов.

ЛЕОН ОБГАРОВИЧ ОРБЕЛИ
Материалы к биобиблиографии ученых.
Серия биологических наук. Физиология.
7 л.

Выпуск посвящен выдающемуся физиологу академику Л.О. Орбели. Книга содержит основные даты жизни и деятельности ученого, очерк научной, научно-организационной, педагогической и общественной деятельности, хронологический указатель его трудов, литературу о нем, а также справочный аппарат издания.

Для физиологов, биологов и лиц, интересующихся историей науки.